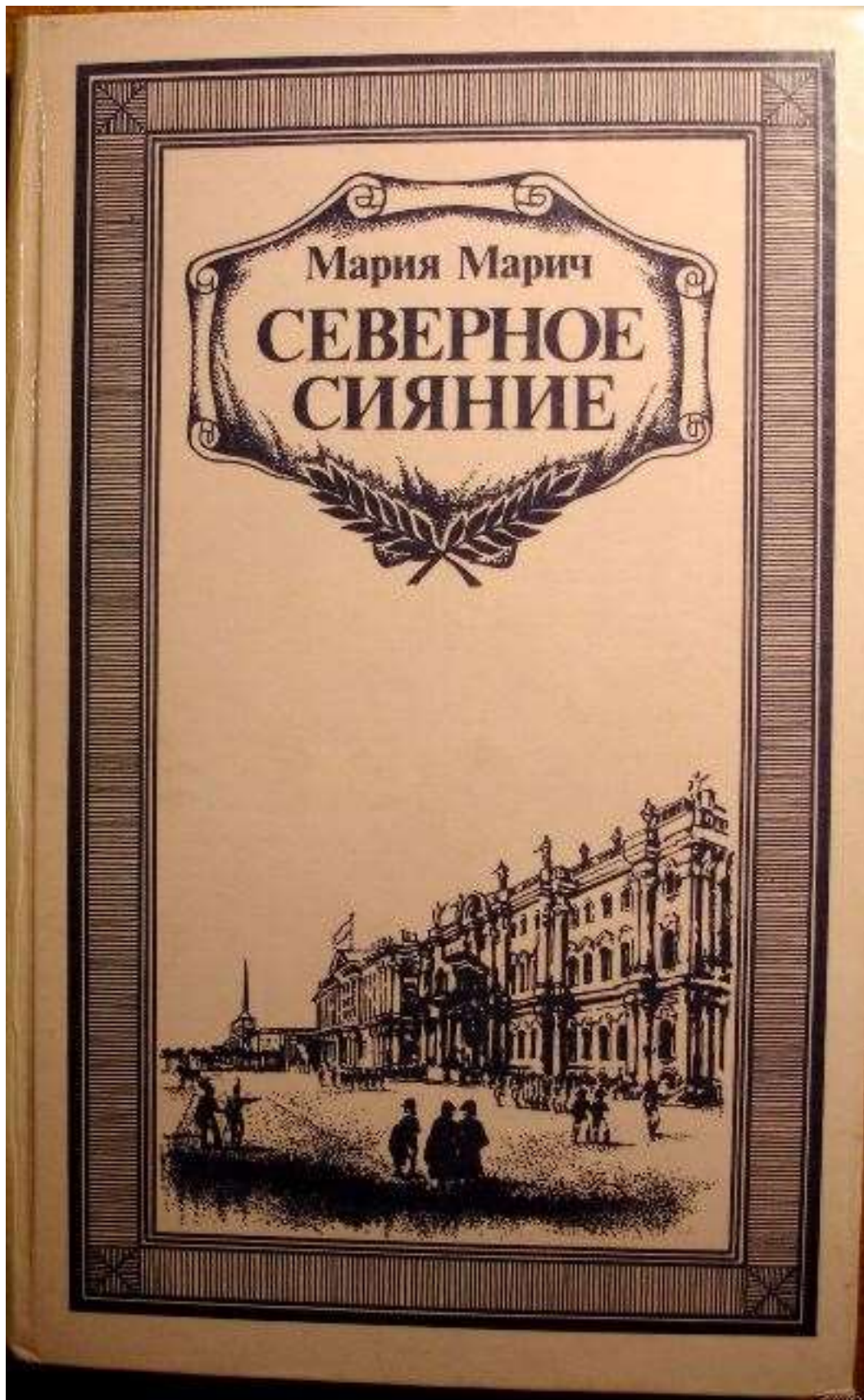


Мария Марич

Северное сияние



Пролог

Сказание о декабристах становится больше и больше торжественным прологом, от которого все мы считаем нашу героическую генеалогию.

Что за титаны, что за гиганты и что за поэтические, что за сочувственные личности!

А. Герцен

Осенью 1815 года союзные армии, разгромившие Наполеона, еще находились в Париже.

Английские войска, нанешие наполеоновской армии последний удар под Ватерлоо, держались надменно, считая себя главной силой, победившей императора, пред военным гением которого еще так недавно трепетал мир.

Прусский фельдмаршал Блюхер, мстя французам за свои прошлые поражения, издавал приказы, глубоко оскорбительные для патриотических чувств французского народа.

Русский корпус размещался в предместьях Парижа. Части этого корпуса, появляясь на улицах столицы, с точностью выполняли приказ своего высшего начальства о соблюдении «всяческой деликатности в отношении побежденных жителей». Под влиянием высшего командования русской армии контрибуция, наложенная на Париж, была уменьшена.

Русское командование запретило взорвать уже минированный Иенский мост.

Когда солдаты русской армии маршировали по городу, парижанки бросали им пунцовые георгины. Солдаты подхватывали цветы на лету и подносили к своим обожженным многими ветрами лицам, скрывая улыбку смущения и удовольствия.

Парижские мальчишки вприпрыжку бежали за отрядами и, захлебываясь от восторга, звонко кричали:

— Да здравствуют героические русские солдаты!

— Да здравствуют добрые и храбрые русские!

Срывая на бегу, белые флаги монархии, эти вездесущие шустрые гамены смело заменяли их обрывками трехцветных республиканских знамен, и вместе с восторженными возгласами в честь русских воинов слышались не менее неистовые крики:

— Долой Бурбонов!

— На фонарь королевских слуг!

На площадях и бульварах, на улицах и набережных, в кабачках и на рынках, по всему Парижу — всюду, где еще так недавно медвежьи шапки наполеоновских гвардейцев взлетали в воздух под крики «Да здравствует император Наполеон!», теперь звучали горячие приветствия: «Да здравствует император Александр! Да здравствует русская армия!»

Общее восхищение русской армией достигло апогея на смотре под Вертю, где, кроме несметного количества жителей Парижа и окрестных селений, присутствовали короли, вельможи, фельдмаршалы со своими свитами и генералитет союзных армий. На высоком помосте, устроенном для всей этой толпы, сияющей орденами, золотом шитых мундиров, белыми и черными плюмажами и султанами, особенно выделялась высокая, немного сутулая фигура Александра I в белом мундире с голубой лентой через плечо. Картинно опершись на перила, он сквозь лорнет всматривался в

проходящие войска.

Военная выправка, амуниция, подвижность и ловкость русской кавалерии, внушительно показанные при церемониальном марше, заставили даже чопорного Веллингтона сказать русскому царю:

— Быстрота и цепкость и в особенности густота марша — великолепны!

Услыхав похвалу английского фельдмаршала, Блюхер не мог отказать себе в удовольствии кольнуть Александра:

— Однако если я не ошибаюсь, в уланском полку не хватает двух эскадронов...

Александр хорошо знал о потерях не только в кавалерии, но и во всей русской армии, с боями прошедшей через всю Европу. Он знал, что за парадным блеском марширующих колонн кроется много тяжелых последствий напряженных и длительных войн. Ничего не ответив прусскому фельдмаршалу, Александр только посмотрел в его багровое, в синих прожилках лицо и, отвернувшись, поспешил принять картинную позу вершителя событий и властителя судеб народов.

Незадолго до выезда из Парижа Александр был очень расстроен докладом своего адъютанта генерала Чернышева о поведении некоторых офицеров русской армии.

По словам Чернышева, эти офицеры посещали либеральные салоны и тайные собрания противников монархии Бурбонов и при всяком удобном случае выражали свои симпатии республиканцам.

Постоянный спутник царя во многих его путешествиях, министр «высочайшего двора», князь Петр Михайлович Волконский всячески старался убедить Александра не придавать докладу Чернышева никакого значения.

— Я позволю себе напомнить вашему величеству, — говорил Волконский, — что генерал Чернышев неоднократно бывал замечен в отклонении от истины и иных весьма упречных проступках.

— Каких, к примеру? — спросил Александр.

— На прошлой неделе разыгрался большой скандал, о котором не перестают болтать в Париже, и по сей день.

— Ах да, — поморщился царь, знавший о дебоше, учиненном его братьями «великими князьями» Михаилом и Николаем совместно с Чернышевым в одном из увеселительных заведений Парижа. Вспомнил, с каким негодованием говорил об этом скандале генерал Ермолов: «Солдаты наши ведут себя куда с большим достоинством, нежели те, кому надлежит сугубо охранять честь нашей армии. Они сознают, что стоят здесь не для пышных парадов, празднеств и кутежей, а чтобы внушить почет и уважение к своей стране».

— Не угодно ли будет вашему величеству, — продолжал Волконский, — вспомнить также конфузный случай с так называемым занятием Шалона. Генерал Чернышев доносил тогда о захвате этого городка его войсками в чрезвычайно пышных реляциях...

Александр не забыл неловкости, которую испытал, когда в ответ на свое сожаление по поводу печальных событий, сопровождавших взятие Шалона, услышал от мэра этого города, что никаких «печальных событий» при этом не произошло, так как город был сдан без боя, а русские войска держали себя вполне благопристойно.

— Предположим, что Чернышев присочинил о бестактных выходках братьев Муравьевых, Трубецкого, Лунина и их друзей на судебном процессе наполеоновских маршалов, — заговорил царь. — Но герцогиня Ангулемская показала мне полученное через Зинаиду Волконскую письмо твоего шурина князя Сергея Волконского, в

котором он ходатайствует о помиловании республиканцев Нея и Лабедойера. Это тебе известно?

— Так точно, государь. Но если бы я сам присутствовал при вынесении им смертного приговора, я также не смог бы не выразить сочувствия осужденным.

Александр недоверчиво прищурился.

— Когда адвокат маршала Нея, — рассказывал с волнением министр двора, — желая спасти жизнь своему подзащитному, указал суду на то, что Ней происходит из Саарбрюккена, уже более не принадлежащего французам, и, следовательно, маршал Ней не подвластен французскому суду, Ней вскочил со скамьи подсудимых с гневным возгласом: «Нет, нет, я француз и хочу умереть французом!» Мне передавали, что при этом возгласе не только с мест, где сидели русские офицеры, но со всех концов судебного зала раздались аплодисменты и крики: «Браво, Ней! Честь и слава мужественному патриоту!»

Александр неопределенно хмыкнул и передернул плечами, но Волконский сделал вид, что не заметил этого, и продолжал:

— Разве могут не вызвать сочувствия у кого бы то ни было слова другого подсудимого, полковника Лабедойера, который заявил судьям, что он, Лабедойер, мог ошибаться в своих суждениях о счастье Франции, но он любил, горячо любит и до последнего дыхания не перестанет любить свое отечество, свою дорогую Францию сыновней любовью и на пороге смерти хочет лишь одного: чтобы ни его дети, ни его внуки никогда не слышали бы упрека в том, что их отец и дед не был патриотом.

— Куда как трогательно, — криво усмехнулся Александр. — И, тем не менее, я возмущен тем, что такие офицеры, как Лунин, Волконский, Трубецкой и их приятели, позволяют открыто выражать свои симпатии противникам монархии. Мне ведь доложено, что толпа французов устроила этим офицерам, когда они вышли из судебного здания, восторженную овацию.

— Толпа называла их великодушными, — тихо проговорил Волконский.

— Мне нет дела до экспансивных французов, — повысил голос царь. — Твоему шурина, князю Сергею, я совсем недавно говорил, что за симпатии к Наполеону, в чем бы они ни выражались, я буду посылать в Петропавловскую крепость любого из моих подданных.

Волконский прямо взглянул в сердитые глаза Александра:

— Я беру на себя смелость, государь, утверждать, что благосклонное внимание к храбрецам бывшей наполеоновской армии вовсе не означает симпатии к поверженному корсиканцу. Что же касается родственника моего, Сергея Волконского, то участием во многих сражениях против Бонапарта он на деле доказал свою к нему ненависть. И если ныне, повинувшись вполне понятному духу гражданственности, князь Сергей и его товарищи...

— Довольно! — резко остановил Александр. — Наслышан я об этом духе «гражданственности»... Отныне моя армия должна стать одной из дивизий великой армии порядка.

— И пусть все эти офицеры знают, что, как они ни возмущались, как ни хлопотали, — Ней и Лабедойер все-таки расстреляны. Пусть они хорошенько запомнят это и впредь не вмешиваются не в свое дело!

Волконский поклонился молча и вышел, держась особенно прямо.

Оставшись один, Александр задумался. Офицеры, о которых только что шла речь, почти все были хорошо известны ему лично. Почти все они являлись представителями

сановной русской аристократии, все имели высокие военные награды, получили блестящее образование, были богаты, перед каждым открывалась широкая дорога военной, придворной или чиновничьей карьеры.

«Чего же им не хватает? — размышлял Александр. — Что им мешает наслаждаться в жизни всем, чем только может судьба радовать своих баловней? Как я ни сердит на них, все же я не могу отказать им в исключительных качествах натуры и характера. Взять, к примеру, Лунина... В двенадцатом году он просил Кутузова о назначении парламентаром к Наполеону, чтобы иметь случай поразить Бонапарта кинжалом. Или сыновья Муравьева-Апостола, которого бабка Екатерина назначила к нам придворным кавалером, а отец посылал то резидентом в Гамбург, то посланником в Мадрид. Его Сергею, кажется, всего двадцать с небольшим, а у него уже имеется золотая шпага „за храбрость“ и Владимир четвертой степени. Мне докладывают, что Трубецкой для чего-то свел Сергея со здешними опальными мыслителями. Зачем это было нужно? Хорош тоже и Никита Муравьев! Этот еще отроком убежал из дому, чтобы сражаться против врагов отчизны. Для чего ему, сыну такого умного отца и воспитаннику Карамзина, понадобилось сообщество фантазеров-утопистов?.. А Сергей Волконский? Знатен, генерал в двадцать семь лет, любимец женщин... Откуда у них такая стойкая приверженность либеральным реформам, вольномыслию? Смог же я отбросить обуревавшие меня в молодости крайние идеи, как одежду, из которой я вырос!..»

Александр откинулся к спинке дивана и закрыл глаза. Сквозь шторы, прикрывающие распахнутые окна, прорывались струи ветра. Они колебали хрустальные подвески люстр. Ударяясь друг о дружку, подвески звенели, как стеклянные колокольчики. Под этот мелодичный звон перед Александром, как из тумана, возникали картины прошлого.

...Беспокойно оглядываясь по сторонам, рассказывает ему, подростку, его духовник на уроке закона божьего о том, что в Париже прогнали короля, разрушили тюрьму Бастилию и выпустили на волю ее узников... Что в Петербурге многие жители радуются этому событию, а некоторые сановники — граф Кочубей, граф Салтыков и другие — даже сделали по сему случаю поздравительные визиты французскому посланнику.

«Вольноглагольство о самодержавной власти, воспалившееся всеми таковыми событиями, неудержимо разлилось не только по столице, а по всей матушке Руси, — испуганно вращая глазами, рассказывал законоучитель. — Ее величество, бабенька вашего высочества, ужась до чего растревожиться изволила...»

Александр присматривался к Екатерине: куда девалась ее величая медлительность, добродушно-лукавая улыбка? Искусственный румянец не освежает, а еще больше подчеркивает бледность лица. Прославленная «бирюза» ее глаз потускнела от тревоги и подозрительности. Бабка не читает больше Александру отрывков из писем к ней Вольтера, не рассказывает о забавных случаях с Дидеротом, когда он гостил у нее в Петербурге. Она приказывает внуку выбросить из головы писания Радищева, которого обзывает бунтовщиком похуже Емельки Пугачева... Сочинение этого «бунтовщика» «Путешествие из Петербурга в Москву» брошено в горящую печь. Александр смотрит на превращающиеся в пепел страницы и как будто еще различает на них запомнившиеся слова: «Оценка печатаемого принадлежит обществу. Оно даст сочинителю венец...»

В одной из тетрадок «наследника цесаревича» еще детской его рукой записаны

стихи из радищевской «Вольности», прославленной сочинителем как «бесценный дар небес, как источник великих дел, как голос, который разбудит русских Брута и Телля, как голос, от которого придут в смятение цари».

— Экое богохульство! — возмущается законоучитель и бросает тетрадь в огонь.

— «Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится, урядник ли благочиния может быть за него истец?» — с горечью спрашивает Александр духовника словами Радищева.

Только швейцарец Лагарп — горячий приверженец философов-просветителей, приглашенный Екатериной сначала в «кавалеры», а затем в воспитатели ее любимого внука Александра, не боится внушать своему тринадцатилетнему ученику, что прочность трона сохраняется лишь там, где государь считает себя первым должностным лицом в своей стране и отцом своего народа, что законы и любовь народная надежней охраняют власть, нежели крепости и солдаты. Лагарп еще не опасается рассказывать Александру о том, как был убит сокрушитель свободы Рима — Цезарь и иные тираны, которые пытались заглушить в сердцах подвластных им народов священный огонь свободы. Лагарп берет с Александра торжественное обещание превыше всего заботиться о благосостоянии народов, которыми ему предстоит управлять.

Но, едва Екатерина скончалась, Павел устраняет Лагарпа и вызывает Аракчеева из Гатчины.

Соединив его руку с рукою Александра, Павел велит им быть друзьями. Заметив, что рубаша на Аракчееве забрызгана грязью, «наследник цесаревич» приказывает выдать ему чистую из своего гардероба...

Услугу за услугой оказывает Аракчеев Александру: это он, Аракчеев, входил на заре в супружескую спальню наследника и давал ему на подпись присланные от Павла экстренные «циркуляры». Это он брал на себя обучение полков, порученных Павлом Александру. Это он чинил расправу над провинившимися в несоблюдении тех или иных «артикулов» гатчинского сумасбродного владыки. Один Аракчеев умел заслонить Александра от отцовского гнева.

В мрачном вихре павловского времени, когда царская милость и жестокая опала сменались одна другою, закружился и сам Аракчеев. Ордена и чины сыпались на него градом, и Аракчеев становился все более могущественным. Налево и направо рсточал он палочные удары, оплеухи, оскорбления.

Узнав, что оскорбленный Аракчеевым полковник застрелился, Павел прогнал Аракчеева в незадолго до этого подаренную ему Грузинскую волость Новгородской губернии. Но вскоре Аракчеев снова в Петербурге. Он возведен в графское достоинство и на своем гербе собственноручно выводит: «Без лести предан».

Теребя за загривок в присутствии Александра своего ирландского дога, Павел изрек: «На пороге своих апартаментов должно неизменно держать злого сторожевого пса».

Видя в Аракчееве такого сторожевого пса, Павел держал его при себе до самой смерти.

Дружеские отношения с Аракчеевым не мешали Александру жаловаться в тайных письмах Лагарпу, что «несчастное отечество мое находится в состоянии, не поддающемся описанию».

Когда был задушен Павел, Александр собственными глазами видел на улицах людей, которые, как в светлый праздник, целовались от радости.

Вскоре по восшествии на престол Александр нашел на своем письменном столе анонимное письмо. Навсегда врезались в памяти Александра строки этого письма о том, что империя, которой ему предстоит управлять, не имеет себе подобной не только в Европе, но и в летописях прошедших веков; что она заключает в себе десять климатов; что от севера до юга и от запада до востока она изобилует бесчисленными по количеству и разнообразию богатствами; что богатства эти не случайны, а заложены в самой ее природе; что Россия владеет реками, кои, изливаясь в пять морей, ожидают только попечительной руки правительства, которая соединила бы их и создала бы этим кратчайший путь «сообщить изделия Европы изделиям Азии, а богатства азиатские — Европе».

«И едва ли не самым ценным достоянием Российской империи, — писал анонимный автор, — являются гражданские добродетели населяющих ее народов».

Узнав, что автором письма был Каразин, тот самый, который в предыдущее царствование за попытку бежать за границу был посажен в Петропавловскую крепость и оттуда смело писал Павлу, что хотел укрыться от жестокости его правления, при котором свободный образ мыслей почитался тяжким преступлением, Александр назначил Каразина правителем дел министерства народного просвещения...

Вслед за Каразиным кто только не предлагал новому царю проектов преобразования государственного строя в России! Вот они выстроились сейчас в воображении Александра, эти «попечители» русского народа: Сперанский, Мордвинов, Новосильцев, Адам Чарторыйский. Подал свой проект и возвращенный из ссылки Радищев... Все они ждут от Александра радикальных реформ в политическом и гражданском устройстве государства. Их не удовлетворяют отдельные либеральные уступки. Никакие посулы не вносят успокоения во взбудораженные умы граждан. Ропот недовольства и разочарования становится все громче, а Александр хорошо знает, что ропот — первое дуновение бури, которая сметает с трона неугодных народу властителей.

«Ропот — это первые языки пламени, из которого рождается пожар революции», — писал Лагарп в тайном послании своему бывшему воспитаннику.

Александр становится страшно. Сторожевой пес — Аракчеев — призывается в Петербург. Аракчеевым хочет Александр заслониться от надвигающейся грозы, как раньше заслонялся от отцовского гнева. Аракчеев пресмыкается у ног царя. Он его неизменный советник во всех делах — личных и государственных. Он его постоянный спутник во всех многократных путешествиях...

Александр был так погружен в думы, что не слышал, как вошел генерал-адъютант Чернышев.

— Манифест выправлен, ваше величество, — доложил он. Александр не пошевельнулся.

«Не слышит он, что ли?» — подумал генерал и громче повторил ту же фразу.

Александр поднял на него глаза, еще сохраняющие выражение досады и огорчения.

— Прикажете огласить, государь?

— Только новые дополнения, — коротко приказал царь.

Чернышев откашлялся и стал читать:

«Самая важность совершенных россиянами подвигов показывает, что не мы то сделали, а бог для свершения сего нашими руками дал слабости нашей великую силу, простоте нашей — свою мудрость, слепоте нашей — свое всевидящее око. Что

изберем? Гордость или смирение? Гордость наша будет неблагодарна, преступна пред тем, кто излил на нас толикие щедроты. Она сравнит нас с теми, кого мы низложили. Смирение же наше исправит наши нравы, загладит нашу вину перед господом, принесет нам честь и славу и покажет миру, что мы никому не страшны, но и никого не боимся».

— Теперь мне нравится, — одобрил Александр, — но обнародовать этот манифест следует, конечно, после того, как вся наша армия возвратится в Россию.

По четвергам Михаил Сергеевич Лунин проводил вечера у госпожи Роже, вдовы своего покойного друга, видного деятеля наполеоновской Франции.

В ее салоне собирались еще уцелевшие в империи Бурбонов передовые люди Франции. Мадам Роже просила Лунина привести к ней «прославленного молодого генерала Волконского», и Лунин зашел за ним в обширный особняк, занимаемый прежде одним из наполеоновских маршалов.

У Волконского, который жил в Париже так же широко и хлебосольно, как и в Петербурге, былолюдно и шумно.

— А, легок на помине, — встретили Лунина его однополчане, — здесь только что высказывалось предположение, что ты непременно вызовешь на дуэль государя Александра Павловича. Даже держали пари!

— За предполагаемый к обнародованию манифест? — с улыбкой спросил Лунин. — Так вы тоже знаете его возмутительное содержание?

— Нет, в самом деле, Михайло Сергеевич, — полушутя сказал Волконский, — хотел же ты когда-то драться с великим князем Константином Павловичем. Так почему бы тебе не вызвать теперь его венценосного брата?

Лунин оглядел взволнованных товарищей, раскурил поданную ему трубку и заговорил, как всегда, с невозмутимым спокойствием:

— Волконский вспомнил случай, когда цесаревич Константин замахнулся палашом на офицера нашего гусарского полка. Этим он оскорбил весь полк. А нынешним манифестом Александр оскорбляет всю Россию. Ведь из манифеста этого явствует, что наши самоотверженно бившиеся с врагом солдаты, наши храбрые офицеры, наши мудрые полководцы, весь русский народ, проявивший чудеса героизма в борьбе с чужеземными полчищами, — все они и недалновидны и слабы... И кабы не господь бог, никаких подвигов свершить не могли бы...

— Возмутительно! — раздались со всех сторон негодующие возгласы.

— Это оскорбление всем русским!

— Разве не своею кровью искупили сотни тысяч русских свободу целой Европы?!

— То, что государь ныне так смиренно склоняется пред богом, — продолжал Лунин с иронией, — несомненно придает его земному величию небесную окраску. Но это — его личные отношения с небом. Нас же интересуют намерения Александра Павловича в отношении того, чем он собирается ознаменовать великие деяния, свершенные русским народом за годы только что законченной тяжелой войны. — Лунин снова обвел лица товарищей своим глубоким взглядом.

— Три года тому назад, — вспомнил Волконский, — когда мадам де Сталь гостила в Петербурге, мне довелось слышать ее разговор с государем. Де Сталь сказала тогда царю, что его характер — уже конституция для России, а его совесть — гарантия этой конституции.

— Французская писательница, видимо, не знала, что в это время Александр уже

послал в ссылку Сперанского за составление будущей русской конституции, — проговорил невысокий офицер с энергичным, умным лицом.

— Кто же не знает, как изменились характер и совесть Александра, — хмуро произнес молодой человек в штатском и, прихрамывая, зашагал по большому пушистому ковру, протянутому через весь кабинет.

— Да, царь уже не масон!

— От воспитания Лагарпа у него ничего не осталось!

— Лагарп, отстраненный Павлом от воспитания своих сыновей, вернувшись к себе на родину, сделался одним из видных прогрессивных деятелей Швейцарии... — снова заговорил Волконский.

— Видимо, по этой причине Александр ни разу не пригласил к себе своего бывшего наставника, — вставил Лунин.

— Летом они встретились на Венском конгрессе, — продолжал Волконский. — Я как раз был в свите государя, когда Лагарп, теперь уже маститый старец, был принят Александром. О чем шла беседа между ними, никто не знает. Но когда Лагарп вышел из царского кабинета, вид у старика был очень огорченный, хотя грудь его была украшена Андреевской лентой и звездой.

— Еще бы не огорчаться! — попыхивая трубкой, усмехнулся Лунин. — Ведь от Александра ждали, что он будет играть на этом конгрессе первую роль, как основатель и охранитель коалиции, свергнувшей Наполеона. А он вел себя, как танцор весьма затейливых кадрилиных фигур. Причем танцор весьма неразборчивый в выборе пары: то увивался за Меттернихом, то за Веллингтоном и Гумбольдтом, то приседал даже перед Талейраном...

— Если бы не бегство Наполеона с Эльбы, неизвестно до чего бы дотанцевался наш царь на этом «танцующем конгрессе»...

— Или вернее на этом собрании победителей для дележа добычи, отнятой у побежденного, — пояснил Лунин. — Идут слухи, что наш император занят сейчас мыслью основать союз с Австрией и Пруссией.

— Я слышал об этом от баронессы Крюднер, — ответил Волконский. — Это будет реакционнейший союз.

— Александр уже на деле заявляет себя поборником консервативных принципов легитимизма.

— Он собирается навести новый порядок в Европе, враждебный свободолобивым чаяниям народов.

— Теперь понятно, для чего государь вызвал в Вену своего лучшего друга — Аракчеева!

— Этот лукавый царедворец уже вырвал из венка былой славы Александра лучшие цветы!

— Аракчеевские когти чувствуются повсюду! — присоединил свой голос к хору гневных возгласов офицер егерского полка.

— В двенадцатом году Аракчеев заявил: «Что мне до отечества, был бы в безопасности государь». Ныне льстивый царедворец мог бы сказать: «Что мне до чести государя — были бы у меня его милости и неограниченное диктаторство...»

Шагающий по комнате русоволосый молодой человек в штатском надел очки и, поворачивая голову в сторону каждого возгласа, терпеливо ждал, пока они стихнут.

— Сейчас Александр не любит вспоминать о своем былом либерализме, — заговорил он, — как не любят вспоминать о грехах молодости. Но для нас невозможно

допустить, чтобы наш народ, победоносно закончивший такую войну, был снова ввергнут в пучину варварства и бесправия... Чтобы наши солдаты, которые удивили мир богатырской силою и величием воинского духа, не заслужили бы права стать, свободными гражданами свободной России. Александр Радищев справедливо указывал Екатерине, что народ российский рожден для величия и славы. — Он подошел к столу и выпил залпом бокал вина, потом вопросительно оглядел всех, как бы спрашивая, может ли он продолжать.

— Говорите, говорите, Тургенев! Говорите, Николай Иванович!

— Мы вас слушаем, комиссар!

«Комиссаром» называли Николая Ивановича Тургенева потому, что, будучи штатским, он сопровождал русскую армию в должности комиссара центрального департамента. Тургенева уважали за его прямодушие, за любовь к наукам, которые он штудировал сперва в Московском, потом в Геттингенском университетах. Старший брат Тургенева, Александр, познакомил его с Жуковским, Карамзиным, Вяземским. Отец братьев Тургеневых, видный масон, с детства внушал сыновьям отвращение к рабству и гордился тем, что о них говорили: «Молодые Тургеневы олицетворяют собою честь и честность».

— Одной из величайших добродетелей нашего народа, — продолжал Тургенев, — добродетелей, которые обеспечивают незыблемость нашего отечества, является всегдашняя готовность русского человека отдать за родину свою жизнь. Кто из вас не согласится, что ратник наш, защищая грудью родную землю, не мечтает о славе — утешительнице умирающих. Что он не ждет себе за это награды, что горькая его участь крепостного не переменится и после двадцати сражений, в коих он участвовал. Что единое его побуждение к неслыханной храбрости — есть только беззаветная его любовь к отчизне...

— Стыд нам и позор! — воскликнул совсем еще юный гвардейский офицер с необыкновенно лучистыми синими глазами. — Стыд и позор, если мы не подвинем вперед дела освобождения от ига рабства миллионов наших сограждан — Он охватил обеими руками свою голову и закачался из стороны в сторону, как от сильной боли.

— Успокойтесь, Сергей Иванович, — Тургенев положил ему на плечо руку. — Я заверяю вас, и Лунина, и вас, Волконский, и всех, кто меня сейчас слушает, что возврат к старому для России невозможен.

— Не потому ли, что вам этого не угодно? — невесело пошутил офицер с длинными украинскими усами.

— Нет, не потому, Иван Иванович. А потому, что войны нынешнего века неопровержимо доказали, что русский человек — одет ли он в сермягу, солдатскую шинель, или в иную одежду — достоин свободы более, чем какой-либо другой народ. Россияне, побывавшие в походах, воочию убедились, что в странах, где рабство низвергнуто, люди живут лучше; следовательно, без свободы улучшения в жизни быть не может. И, если эта свобода не будет дана свыше, мы с вами будем свидетелями, как народ наш сам возьмется добывать ее с оружием в руках...

— Уж не предворяете ли вы о новой пугачевщине? — спросил чей-то насмешливый голос.

Наступила напряженная тишина. Тургенев поправил очки и огляделся.

— Ужасы пугачевщины не повторяются, — заговорил он снова после долгой паузы, — если мы, я позволю называть нас всех передовыми, честными людьми, если мы поможем нашему народу сбросить с себя рабство. А для этого мы должны прежде

всего признать, что вся наша деятельность, как членов масонских лож, теперь совершенно ни к чему. Пышные обряды и таинства масонов, обращения к рабовладельцам с красноречивыми мольбами и увещиваниями о смягчении участи их рабов, благотворительность и милосердие к ближнему своему, всего этого совсем недостаточно, чтобы вознаградить наш народ по его достоинствам. Отбросим в сторону масонские перчатки, отбросим прочь «лопаты», «ключи» и прочие мистические знаки и патенты. Мы вышли уже из политического младенчества, и ныне эти масонские игрушки не имеют никакого значения в большом и важном деле, которое нам предстоит свершить. Настало время объединяться не в ложи «Трех добродетелей», «Соединенных друзей» и иных прочих, не в проектируемый Михаилом Орловым «Орден русских рыцарей», а в союз истинных и верных сынов отечества. Это новое общество должно поставить непреложной своей целью благоденствие всего русского народа, без различия сословий и привилегий.

— Дело говорит!

— Дело! Давно пора!

— Дольше нельзя откладывать!

Тургенев поднял руку:

— Правительство наше злонамеренно держит наш народ в темноте и несправедливости, чтобы управлять им по своему произволу. Такое преступное отношение верховной власти к народу не только мешает нашему отечеству вступить на путь прогресса, но содействует всяческой его отсталости и зависимости от иноземных государств... Это...

— Это невозможно! — стукнул егерский офицер по столу с такой силой, что стоящие на нем бокалы зазвенели и налитое в них вино расплескалось по скатерти. — Немыслимо, чтобы мы, русские, чья власть и имя от неприступного Северного полюса до берегов Дуная, от моря Балтийского до Каспийского, мы, дающие законы бесчисленным племенам и народам, внутри нашего величия не видели собственного неустройства и уничтожения в рабстве народном...

— Увы, Владимир Федосеевич, — вздохнул Тургенев, — большинство наших дворян с ужасом смотрит на возможность потери тиранического владычества над людьми. Оно озабочено лишь отысканием путей для повышения доходов со своих владений и упорно не хочет понять, что богатство государства невысказанно без свободного труда, что крепостной труд, невзирая на крутые меры всяческих надсмотрщиков, куда менее продуктивен, нежели труд свободного крестьянина или рабочего... Ведь многие из нас видели, как работают фабрики с вольнонаемными рабочими...

— Для коммерческих действий народа необходимы свободные правила, — убежденно произнес егерский офицер.

— Говорите, Николай Иванович, что же мы-то должны делать?

— Какие мероприятия должны быть нами проведены, покуда начнет действовать задуманный вами «Союз»?

— Прежде всего: вернувшись на родину, каждый из нас должен дать волю своим крепостным. Тогда и крепостной люд и правительство на деле убедятся, что помещики, в коих живы совесть и человеколюбие, осуществили свое желание видеть своих рабов свободными. Тогда и только тогда народ наш возымеет доверие к тем, кто снял с него ярмо раба. Разительным примером сему может служить мой камердинер Прохор. Все вы видели его неотлучным спутником моих бесчисленных путешествий,

моих больших и малых превратностей судьбы. А знаете ли вы, что Прохор получил от меня вольную семь лет тому назад? В ту достопамятную для него минуту он сказал: «Служил я вам, Николай Иванович, верой и правдой много лет. А уж отныне буду служить еще прилежней».

— Однако не все Прохоры так думают, — улыбнулся офицер, похожий на красивого цыгана. — Мой Мишка напрямик заявляет: «Был бы я вольный — весь свет исколесил бы. Уж больно охота мне знать, какие где люди проживают, какому богу молятся, что пьют-едят, каки-таки у них девки, бабы...»

Кругом засмеялись, но Тургенев с прежней серьезностью проговорил:

— Разумеется, не все крепостные так рассуждают, как мой Прохор, но...

— Но лестницу надо мести сверху, — закончил поручик с энергичным смуглым лицом, сопровождая свои слова решительным жестом.

— Верно, Павел Иванович! Народы умеют свергать своих тиранов. История показала немало сему примеров!

Поручик наполнил свой бокал и поднял его:

— Сегодня кто-то из нас предложил Лунину вызвать на поединок государя за то, что он оскорбил своим манифестом весь русский народ. Такой поединок ничего не изменил бы в судьбе наших соотечественников. Но я убежден, что не за горами другой поединок. Только произойдет он не между Михаилом Сергеевичем Луниным и Александром Павловичем Романовым, а между русским народом и самодержавной властью. За этот поединок я подымаю свой тост.

— Ура! — дружно подхватили все.

Лунин и Волконский шли по тихим улицам ночного Парижа. Опавшие листья устилали тротуары, заглушая звуки шагов. Уличные фонари светили тусклыми огнями. По временам тишину нарушал отдаленный выстрел и топот конного патруля, или проезжал одинокий извозчик с закутанным в плащ седоком. Моросил мелкий осенний дождь.

— Кем сегодня собирается угощать своих друзей мадам Роже? — первым прервал молчание Волконский, слышавший, что в этом салоне гостей всегда ожидает «сюрприз» в виде знакомства с какой-нибудь знаменитостью.

— Сегодня у нее будет воспитанник д'Аламбера — интереснейший человек нашего времени. Он поставил своей жизненной целью переделать социальное устройство человечества. Его учение чуждо пассивной созерцательности энциклопедистов минувшего века. На произведение своих социальных опытов он уже растратил огромное личное состояние...

— Кто же это? — заинтересовался Волконский.

— Сен-Симон...

— А, я много слышал о нем. Между прочим, во время моего пребывания в Англии я посетил фабрику Роберта Оуэна. Этот ученый филантроп тоже проделывает на своей фабрике опыты по переустройству быта и нравственности рабочих. От всего, что я там видел, у меня осталось впечатление наивной затеи, не имеющей перспектив...

— А Сен-Симон убежден, что открывает новую эру в истории человечества, — после паузы проговорил Лунин. — Между прочим, мадам де Сталь рассказывала по секрету, что он развелся со своей любимой женой и явился просить руки мадам де Сталь на том основании, что считает ее единственной женщиной, способной

содействовать ему в осуществлении его планов.

— Это была бы замечательная пара, — улыбнулся Волконский.

— Увы, — тоже шутливо вздохнул Лунин, — де Сталь ответила ему, что для единства действий мужчины и женщины в области мысли им вовсе нет надобности быть мужем и женой.

За беседой они не заметили, как приблизились к площади Карусель. Здесь их внимание привлекли крики и мелькание факелов у ворот Лувра.

— Посмотрим, что там творится, — и Лунин свернул к музею, смутные очертания которого темнели сквозь сетку дождя.

Волконский едва поспевал за ним.

Протискавшись сквозь толпу, они при колеблющемся пламени факелов увидели группу прусских солдат, которые сносили с широкой лестницы Лувра что-то завернутое в холщовые полотнища. Когда солдаты приостановились, их обогнал рыжий капрал, державший над головой статую Гудоновой Дианы. В ее прекрасных бронзовых формах отражались блики горячей пакли, и казалось, что статуя шевелится, как живая.

Расталкивая теснящихся вокруг людей, капрал пробирался со своей драгоценной ношей к забрызганному грязью фургону.

Шум и крики усилились. Лунин ринулся к фургону. У его распахнутой двери высокий солдат пруссак тоже держал в руках небольшую мраморную женскую фигурку. Ее голова как бы в ужасе отвернулась от всклокоченной бороды солдата, мраморные руки стиснули покрывало, накинутое на обнаженные стройные ножки.

«Да ведь это фальконетовская купальщица!» — узнал Лунин скульптуру, которой любовался при посещениях Лувра.

— Проклятые пруссаки! — кричал в лицо солдату старый француз с развевающимися прядями седых волос. — Вы уже стащили с этих ворот Триумфальную колесницу, а теперь грабите наши лучшие сокровища!

Юноша в распахнутой блузе схватил солдата за шиворот:

— Эй, пруссак! — закричал он в исступлении, — разве тебе мало бульварных девок, что ты осмелился прикоснуться к этому чистому мрамору!

Не успел он договорить, как патрульный офицер ударил его саблей, и струйка крови поползла по белеющему в темноте молодому лицу. Юноша зашатался. Его подхватила худенькая женщина в яркой шляпке.

— Зря ты обижаешь парижских девок, мой мальчик, — сказала она, прикладывая платок к его раненой голове.

Толпа оттеснила их к ограде музея и снова плотно сгрудилась у фургона. Но конный отряд врезался в нее, расколол... Над самым ухом Лунина горячо и влажно задышала лошадь. Юноша с размазанной по лицу кровью, уклоняясь от нового удара, нырнул под лошадиное брюхо и исчез. Гонимые конниками, люди с плачем и проклятиями отступали от величественного здания Лувра.

Снова сойдясь на площади, Лунин и Волконский долго шли молча. Наконец, Волконский сказал:

— Ты меня прости, Михайло Сергеевич, но я не могу сейчас войти в салон, где элегантные господа, будь они хоть семи пядей во лбу, беседуют о высоких материях...

При свете фонаря Лунин видел его бледное, расстроенное лицо.

— Я и сам охотно вернулся бы сейчас домой. Но я обещал мадам Роже непременно побывать у нее перед отъездом в Россию. Боюсь, что не смогу выбрать

потом времени для этого визита.

— Наконец-то вы, мой друг! — встретила Лунина мадам Роже, еще не старая милостивая женщина. — Садитесь сюда, поближе к нашему русскому самовару, — она указала на серебряную вазу с двумя ручками и длинным краном из слоновой кости.

Лунин взял чашку чаю и оглядел гостей. Среди нескольких деятелей рухнувшего режима присутствовали хорошо знакомые Лунину член французской академии писатель Шарль Брифо и Ипполит Оже.

Судьба этого молодого француза неожиданно сложилась благоприятно благодаря Лунину и его товарищам. До занятия Парижа русскими войсками Оже служил у молодого портного, который часто посылал его к богатым заказчикам для примерки костюмов.

С такими же поручениями приходил он и к русским офицерам, которые шили у его патрона модные фраки и панталоны. Начальство не только разрешало, но и приказывало им носить штатское платье, чтобы в случае какого-нибудь «эксцесса» во время пирушек в увеселительных заведениях не была опорочена «честь мундира».

Остроумный, развитой и веселый Ипполит полюбился новым заказчикам. Они приручили его к себе и решили определить в русскую армию, вызывавшую искреннее восхищение француза.

По совету Лунина, который знал пристрастие цесаревича Константина к «отпрыскам древних и благородных родов», был найден некий кавалер ордена святого Людовика, согласившийся за собранную офицерами солидную сумму выдать Ипполита Оже — сына скромного судебного чиновника — за своего племянника, знатного аристократа, осиротевшего по вине Робеспьера.

Константин Павлович благосклонно отнесся к написанному Луниным и подписанному кавалером ордена ходатайству о принятии Оже в Измайловский полк, и Ипполит со дня на день ждал производства в офицерский чин. Он так сдружился с Луниным и другими своими покровителями, что решил экспатриироваться из Франции Бурбонов и принять русское подданство.

Несколько в стороне от других гостей, в кресле с высокой спинкой, сидел Сен-Симон. В черном длинном сюртуке и белом без пышных воланов жабо, напоминающем воротник пасторского талара, с пергаментно-бледным лицом и сжатыми губами, Сен-Симон был похож на изваяние.

Гости единодушно хвалили роман Лунина «Лжедмитрий», отрывки из которого он читал здесь в прошлый четверг.

— Это так талантливо, — восхищался Шарль Брифо, — так поэтично и, насколько я знаком с этим замечательным периодом русской истории, так правдиво! Уверяю вас, мсье Лунин, что даже наш Шатобриан не сумел бы так блестяще изобразить московскую трагедию, как это сделали вы в вашем превосходном романе.

— то шедевр поэзии! — восхищенно произнес старик с длинными седыми кудрями. — Поэзия истории должна непременно предшествовать философскому ее пониманию,

— А в романе «Лжедмитрий» поэзии столько, что он воспринимается как музыкальная поэма, — сказала мадам Роже.

— Так ведь мсье Мишель Лунин еще и музыкант! — вырвалось с гордостью у Ипполита Оже, который с самого появления Лунина не сводил с него глаз.

Лунин учтиво благодарил за похвалы.

— Я отношу впечатление, произведенное на вас моим романом, — с улыбкой сказал он, — не столько к моим заслугам, сколько к самой его теме. — Право, я не знаю ничего более назидательного, интересного и поэтического, чем история моего отечества.

— Я вполне согласен с вами, — откликнулся Оже, сам втайне мечтающий написать роман из прошлого русского народа, с замечательными представителями которого он так сблизился в последнее время.

Только Сен-Симон не принимал участия в общем разговоре. Закинув голову, он пристально наблюдал Лунина, словно примеряя его к каким-то своим мыслям.

Когда Лунин отошел от чайного стола, Сен-Симон подозвал его к себе:

— К сожалению, я не имел удовольствия познакомиться с вашим романом, но не сомневаюсь, что похвалы ему не преувеличены. Будет отлично, если, вернувшись на родину, вы всерьез займетесь трудом романиста.

— О нет, — решительно произнес Лунин, — передо мной и моими товарищами стоят совсем другие задачи.

Глаза Лунина загорелись.

Сен-Симон глубоко вздохнул: «И у этого экзальтация подвижничества, как у большинства славянских реформаторов».

— Да, я предугадываю, — со вздохом проговорил Сен-Симон, — вернувшись в отечество, вы со всем жаром молодости не замедлите отдаться бесполезному занятию, в котором не требуется ни системы, ни принципов.

Лунин вопросительно взглянул на него.

— Я совершенно уверен, — продолжал Сен-Симон, — что вы непременно начнете заниматься политикой.

Легкая усмешка тронула губы Лунина:

— А разве вы не признаете такого занятия?

Сен-Симон нахмурился.

— Единственный класс общества, — заговорил он после некоторого раздумья, — класс, в котором я желал бы видеть увлечение политической борьбой, — это индустриальный класс. Интересы этого класса таковы, что они непременно совпадут с интересами огромного большинства общества. Для меня же политика — неизбежное зло, тормоз, замедляющий прогресс человечества.

Лунин закусил губу, чтобы не рассмеяться.

— А что такое прогресс? — спросила от чайного стола мадам Роже.

— Прогресс, — Сен-Симон слегка повернул к ней голову, — прогресс это не что иное, как постоянно увеличивающееся различие между человеком и животным. Уверяю вас, — снова обратился он к Лунину, — чисто политические стремления никогда не могут привести к тем желательным результатам, которые могут дать радикальные экономические реформы. Чтобы провести такие реформы, конечно, нужна предварительная подготовка народного сознания...

Продолжая развивать свои мысли, Сен-Симон зашагал по гостиной, в которой было много бронзы, фарфора, картин и цветов в причудливых китайских вазах. Его сухая фигура с болезненно бледным лицом резко контрастировала со всем кокетливо-нарядным убранством комнаты.

— Рационалистическая философия, — вслух рассуждал Сен-Симон, — имела одну цель: разрушение старой системы. Энциклопедисты ставили перед собою одну

задачу — противопоставить существующему строю со всеми его жестокостями и несправедливостью строй разумный и естественный. Они стремились найти вечные и неизменные законы идеального общественного строя. И тогда, — философствовали они, — в мире должен воцариться Разум, при господстве которого исчезнут с лица земли горе, невежество и нищета. Мне чужда такая концепция...

Остановившись возле одной этажерки, он взял с нее какую-то вещицу, повертел в руках и, поставив на место, снова зашагал, продолжая говорить со сдержанным волнением:

— Я прожил большую жизнь, друзья мои. Жизнь, которая тесно связана с самым замечательным периодом истории моей дорогой Франции. Я пережил четверть века старого порядка, революцию, империю Наполеона и, наконец, реставрацию. И на основе опыта этих великолепных десятилетий я выдвигаю новую идею закономерности общественного развития. Я категорически утверждаю, что будущее человечества зависит от совокупности развития трех двигателей: чувства, науки и промышленности. Человек до сих пор эксплуатировал человека. Со времен далекой древности существовали: господа и рабы, патриции и плебеи, бездельники и трудящиеся. Это история человеческого общества до наших дней. Всеобщая ассоциация — вот ее будущее. Каждому — по его способности. Каждой способности — по ее делам. Вот новое право, которое должно заменить привилегии завоевания и рождения, человек больше не будет эксплуатировать человека, но, соединившись с другими людьми, эксплуатирует мир, отданный в распоряжение всего человечества. Золотой век, который слепое предание помещало в далекое прошлое, в действительности находится впереди нас.

Снова задержавшись у этажерки, Сен-Симон взял ту же вещицу. Это была миниатюрная бронзовая пагода в несколько ярусов. Постукивая ногтем по металлу, позеленевшему от времени, он пристально рассматривал устройство этой древней китайской безделушки.

Считая, что программа четверга уже исчерпана, мадам Роже хотела воспользоваться наступившим молчанием, чтобы дать понять гостям, что пора расходиться. Она встала из-за стола, но в этот момент Сен-Симон быстро обернулся, держа пагоду в протянутой руке.

— Предположим, что эта разделенная на этажи пирамида, — заговорил он с оживлением, — есть конструкция современного общества. В верхних ее этажах живет знать, тунеядцы, которые должны быть выброшены из будущего общества. Вот здесь, у основания пирамиды — рабочий класс, живущий физическим трудом. В следующем этаж — руководители промышленности, ученые, люди искусства. Действительно осуществленное равенство состоит в том, что прежде всего все являются трудящимися. Паразитизм правящих групп исчезает, и все общество представляет собою гармоничный союз людей, занятых полезным трудом... Ах, дорогие друзья! — прервал он себя. — Как мне больно сознание собственной старости! Как ужасно, что я не успел сделать и половины того, что я себе предназначал...

— Хотя известно, что ваш камердинер Диар еще с дней вашей юности будил вас одними и теми же словами: «Вставайте, сударь, вам предстоит свершать великие дела», — поспешила пошутить мадам Роже.

Ее маневр оказался удачным. Шутка вызвала смех. Гости поднялись.

Сен-Симон смущенно взглянул на бронзовые с купидонами часы, тикающие на уже погасшем камине. Стрелки приближались к двум.

На прощанье Сен-Симон крепко и долго пожимал руку Лунина:

— Мне искренне жаль, что вы покидаете Францию. Познакомившись с вами, я не мог не оценить высоких качеств вашего ума...

Лунин низко поклонился.

— В вас, мой молодой друг, — с теплыми нотами в голосе продолжал Сен-Симон, — я хотел найти приверженца моих идей. Через вас я хотел бы завязать сношения с великим русским народом, который в войне с Бонапартом проявил такое великолепное пробуждение общественного сознания, что я стал с надеждой взирать на вашу страну. Вот где, думал я, мои идеи упадут как семена на черноземную почву, вот где взойдут они пышными всходами...

— Нет, мсье Сен-Симон, — строго глядя ему в глаза, ответил Лунин. — Нельзя одежду, скроенную на карлу, мерить на великана. Мое отечество пойдет навстречу «золотому веку» своей дорогой. Я и мои единомышленники знаем, какие силы зреют в нашем народе. Могу вас уверить, что очень скоро вы услышите из России такие вести, которые оправдают самые лучшие чаяния передового человечества...

Оже по обыкновению пошел провожать Лунина. И, как часто случалось раньше, остался у него ночевать.

— Вы очень хотите спать? — спросил Ипполит, как только снял верхнюю одежду.

— Вы неизменно задаете этот вопрос, когда являетесь моим гостем на заре нового дня, — улыбаясь, ответил Лунин.

— Это потому, что меня не перестают терзать сомнения. Но стоит мне поговорить с вами, как в мою душу вливается доля вашего спокойствия.

— Вас до сих пор волнует вопрос об отъезде в Россию? — с мягкой насмешкой спросил Лунин. Раскурив трубку, он протянул ее Ипполиту. — Это трубка мира, которую вам предлагает дикарь в знак нерушимой дружбы.

— Ах, Лунин, не смейтесь надо мной, — взволнованно попросил Оже. — Теперь, когда я понял, что Франции предстоит быть поработенной вооруженной Европой, мне хочется кричать, как смертельно раненному на поле битвы: «Добейте меня, во имя бога!»

— Вот поступите в русскую армию, и случай не замедлит представиться, — пошутил Лунин. — Впрочем, наш царь устал воевать, а тем более против Франции Бурбонов... Послушайте, Ипполит, если пребывание в России не утишит клочкотания вашей галльской крови, мы с вами покинем беззубую старую Европу и найдем применение нашим силам где-нибудь за океаном, среди бунтующих молодцов. Будем приносить людям пользу тем способом, какой нам внушает наш разум, совесть и сердце!

— Вы сбросите с себя мундир офицера гвардии? — недоверчиво спросил Оже.

— Так же легко, как я это сделал сейчас, — Лунин указал на свой мундир, лежащий на спинке кресла. — Для меня, милый друг, возможна только одна карьера — это карьера свободы. Мне необходима свобода мысли, воли, действий. За эти свободы я и мои товарищи будем бороться, куда хватит наших сил. Бороться неустанно и любыми средствами! — закончил Лунин уже совершенно серьезно.

— Иногда я не совсем понимаю вас, дорогой Лунин тихо проговорил Оже. — Порой в вас вспыхивает какое-то пламя суровости и гнева. А иногда вы бываете так сердечны, так добры...

— Вот и отлично, если в человеке есть и дурное и хорошее. За хорошее ему прощают дурное, — уже опять шутливо договорил Лунин.

— Нет, вы бесподобны! — воскликнул Оже. — Как я люблю смотреть и слушать вас, когда вы говорите серьезные вещи, а глаза смеются. О, эти лукавые славянские глаза!

— Уж лучше я сыграю вам что-нибудь на сон грядущий, чем слушать ваши щедрые комплименты, — и Лунин подошел к фортепиано с белеющей в полумраке клавиатурой.

«Какие удивительные люди эти русские, — думал Оже, слушая вдохновенную игру Лунина. — Ремесло войны сделало их мужественными и суровыми. Но какие экзальтированные души у моих русских друзей. Какие это высокие натуры... Сколько у каждого знаний, ума... Я непременно изучу их звучный, богатый язык. По простоте и разнообразию звуков он достоин того, чтобы со временем сделаться международным языком. Я напишу на этом языке такое произведение, которому мог бы позавидовать сам Шекспир...»

— Что вы играли? — спросил Ипполит, когда Лунин закрыл крышку фортепиано.

— Право, не знаю. Прелюдия какая-то, кажется, — рассеянно ответил Лунин.

— Нет, нет, это, конечно, ваше собственное и такое оригинальное, прекрасное, как все, что вы мне играли прежде.

Лунин молчал.

Сквозь кружевную гардину блеснули первые блики зари. Вытянувшись с наслаждением на узкой кровати, Лунин закинул руки за голову.

Ипполит улегся на диване.

— Я много слышал о петербургских белых ночах, — заговорил он после долгого молчания. — И мне почему-то кажется, что сейчас вы сыграли что-то имеющее отношение к этим ночам.

— Когда вы их увидите, — не сразу отозвался Лунин мягким, задумчивым голосом, — вы попадете во власть их магнетического влияния, и вам станет казаться, будто дух Оссиана и его бардов носится в воздухе. А вокруг все полно таинственности и красоты. И все так мучительно, тревожно...

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Улинька

Пред зеркалом, освещенным двумя свечами в бронзовых подсвечниках, стояла крепостная девушка Уляша. На ней примеряли платье для барышни Елены Николаевны, одной из дочерей генерала Раевского, приехавшего со всей семьей в Каменку к именинам своей матери Екатерины Николаевны Давыдовой.

Элен Раевская по слабости здоровья не могла стоять подолгу, как манекен, а Улинька фигурой и ростом была точь-в-точь в барышню: плечи покатые, стан тонкий, ноги стройные. И характером Уляша была не похожа на других дворовых девушек: прощения просить не умела, а если бывала чем недовольна — только опустит ресницы, и тогда казалось, будто мохнатые шмели садились ей на глаза.

Недаром, рассердясь за что-нибудь на Улиньку, старая экономка ворчала: «Ишь ты, гордячка этакая! Повадки-то все господские...»

Надетое на Улиньку платье непременно должно было быть готово к балу в день Екатерины, до которого оставались всего только одни сутки. Под командованием француженки Жоржет суетились девушки, ее помощницы. За умение скопировать любую французскую модель мадемуазель Жоржет, бывшая гувернантка маленькой дочери Александра Львовича Давыдова, была определена портнихой. На этом поприще француженка чувствовала себя превосходно. Кромсать шуршащий шелк, лионский бархат, тафту, кисею и тюль, делать из разноцветных лент банты и пышные шу, собирать кружева и из всего этого создавать красивые наряды — куда интересней, чем воспитывать избалованную, капризную Адель.

Сколько выговоров приходилось выслушивать из-за этой девчонки!

А платья, сшитые под руководством Жоржет, вызывали общее восхищение. Только вот в этом, последнем, таком воздушно-легком, что-то не ладилось. И Жоржет волновалась. Она то отбегала на несколько шагов и, прищурившись, рассматривала платье, то снова бросалась к Улиньке и перекалывала воланы, то опускалась на колени и что-то подрезала или собирала в складки и при этом без умолку болтала, споря или соглашаясь с советами старшей из сестер Раевских — Катериной Орловой. Сама Елена Николаевна безучастно относилась к своему будущему наряду. Улинька тоже стояла молча, пожимая время от времени непривычно обнаженными плечами.

— Мне кажется, что сюда более всего будет идти голубой бант, — авторитетно сказала Катерина Николаевна и взяла из рук Груши широкую голубую ленту.

— Никогда! — вскрикнула Жоржет. Приложив к виску указательный палец, она на миг задумалась. — Надо вот этот!

Моток бледнорозовой ленты с легким свистом заскользил в ее проворных пальцах и превратился в пышное шу.

— Булавка! — приказала Жоржет.

Груша подала бархатную подушечку, утыканную булавками. Розовое шу опустилось на светло-серый тюль. Улинька вскрикнула и подняла руку.

— Ты что? — спросила Катерина Николаевна.

— Булавка уколола, — тихо ответила Уляша. Рубиновая капля крови набухла на ее груди и скатилась на тюль.

— Oh mon Dieu! *note 1* — в ужасе всплеснула руками Жоржет.

— Какая досада! — недовольно поморщилась Катерина Николаевна.

— Пустяки, — равнодушно сказала Элен.

— Да здесь и не будет видать, — ласково зажурчал Грушин голосок, — ведь как раз на этом месте розеточка приходится...

Чуть покраснев, Уля глядела на алое пятнышко.

— На вот, оботри, а то другая капнет, — бросила ей Груша обрезки кружев.

В дверь просунулась лисья мордочка Клаши:

— Михаил Федорович и Василий Львович пожаловали. Видеть вас желают незамедлительно...

— Зови их сюда, — приказала Катерина Николаевна.

Яркий румянец разлился по лицу и по открытым Улинькиным плечам.

— Дозвольте снимать? — торопливо спросила она.

— Но я еще не кончила примерять, — запротестовала Жоржет.

Note 1

О господи! (франц.)

— Ничего, Улинька, стой, как стояла, — сказала Катерина Николаевна. — Пусть мужчины решат, хорошо ли будет платье и... хороша ли ты в нем, — прибавила она с улыбкой.

Елена пожала плечами.

Михаил Федорович Орлов, оглядев Улиньку в лорнет, очень похвалил платье. Жоржет церемонно присела.

Василий Львович, или, как его называли дома, Базиль, младший сын старухи Давыдовой, тоже похвалил туалет, но лицо его выражало недовольство.

— Нехорошо из человека делать манекен, — сказал он по-французски.

— Но это так удобно, — недоумевающе поглядела на него Орлова, — ты видишь, она сложена совсем как Элен.

— Пустяки, Базиль, — поддержал жену Орлов, — в общем, пленительное зрелище.

— Матроны древнего Рима, наряжаясь, имели обыкновение втыкать булавки в грудь своих невольниц, — с укором проговорил Базиль.

Катерина Николаевна обиженно поджала губы. Орлов по-французски стал уговаривать Базиля не сердиться.

— Имейте в виду, что Улинька понимает почти все, — предупредила Элен.

— Неужели? Как это мило! — и снова на Улю был направлен золотой лорнет Орлова и пристальный взгляд Василия Львовича.

— Ты в самом деле понимаешь нас, Улинька? — спросил Орлов.

— Oui, monsieur *note 2*, — ответила она и при этом так радостно-кокетливо взглянула на Базиля, что все засмеялись.

— А ведь ей удивительно идет этот наряд, хотя она немного смуглей Лены! — заметил Базиль, любуясь Улинькой.

— Это потому, что у нее такой яркий румянец, — сказал Орлов.

Около полуночи Улинька уселась на низенькой скамеечке в ногах у барышни, чтобы, по заведенному Еленой Николаевной обычаю, почитать ей перед сном.

Елене Николаевне очень нравилось, как мягко звучал при чтении Ульяшин голос. В особенности, когда она читала стихи.

Их она читала не совсем так, как учила Елена Николаевна, а по-своему.

В этот вечер читали записанные в альбом стихи Пушкина, и в голосе Ульяши было много грустной нежности.

— Ты понимаешь ли, как это хорошо? — вдруг перебила ее Елена.

— Чудесно описывает любовь господин Пушкин, — вздохнула Уля.

— Ведь это из будущего романа, — сказала Елена. — Прочти-ка еще раз.

Улинька опустила альбом на колени и повторила наизусть:

Но гибель от него любезна
Я не ропщу, зачем роптать?
Не может он мне счастья дать.

— Улинька! — воскликнула Елена. — Да у тебя замечательная память!

Note2

Да, сударь (франц).

Улинька молчала.

— Ну, что же ты?

В ответ раздались всхлипывания.

— О чем ты плачешь? — Елена спустила с кровати босые ножки.

Ульяша быстро подала ей вышитые бисером туфли и попросила:

— Дозвольте мне уйти, барышня.

— Да отчего же слезы? — допытывалась Елена.

Уля сжимала губы, но они непослушно вздрагивали.

— Так не скажешь?

— Увольте, барышня...

— Ну ступай.

2. Базиль — гусарский полковник

В канун двойных именин — бабушки Екатерины Николаевны Давыдовой и внучки Екатерины Николаевны Орловой — в Каменском доме шли последние приготовления к этому семейному торжеству.

Старший сын Екатерины Николаевны от второго брака, Александр Львович Давыдов, как распорядитель предстоящего праздника, принимал доклады поваров и, пробуя кушанья и вина, бранил, хвалил и отдавал разные приказания огромному штату прислуги.

Жена Александра Львовича, хорошенькая Аглая, до полудня бегала в коротенькой, до колен юбочке, примеряя то одно, то другое платье из тех, которые ей прислал из Парижа ее отец, герцог де Граммон. Все платья были ей к лицу, но надо было решить, какое именно надеть на завтрашний бал.

В девичьей, как привидения, колыхались на вешалках длинные белые чехлы, накрахмаленные юбки и легкие шарфы.

В нижней гостиной барышни рассматривали привезенные из Варшавы князем Барятинским рисунки модных причесок.

Выдав ключнице Арине Власьевне ключи от сундуков с парадным столовым бельем, серебром и посудой, старуха Давыдова приказала, чтобы ее больше не беспокоили. Усевшись в глубокое кресло, она задумчиво смотрела в окно.

У въезда в усадьбу, на косогоре, мужики устанавливали старую пушку для пальбы в честь именинниц.

По дороге, вдоль еще не замерзшего Тясмина, время от времени показывались экипажи прибывающих в Каменку гостей. Екатерина Николаевна по возкам узнавала хозяев. Вот кишиневская колымага, в которой и прежде приезжал Пушкин. Вот чей-то щегольской дормез, огромный рыдван Лопухиных, высокая, как будка, карета князя Федора Ухтомского... Мужичьих телег и саней она и не считала. А они везли ей из многочисленных ее деревень битую птицу, дичь, мед, варенье, тонкие полотна, вышивки и кружева.

Из заглавных букв названий деревень, принадлежащих старой Екатерине Николаевне, составлялась фраза: «Лев любит Екатерину».

Лев Давыдов женился на Екатерине Николаевне вскоре после смерти ее первого мужа — Раевского.

Второй муж в самом деле крепко любил Екатерину Николаевну.

Все это богатство, почет, гости — для нее ничто по сравнению с его любовью. Но

сердце, которое так нежно и пламенно билось, давно истлело.

И Екатерина Николаевна глубоко вздыхала, думая о прошлом.

Ей надо было отгрустить сегодня, чтобы завтра с гостями быть, как всегда, радушной и веселой хозяйкой.

Уже совсем стемнело, когда Клаша нарушила ее покой: пришла за ключом от заветного шкафа с саксонскими и севрскими вазами — особенно дорогими для старухи подарками покойного мужа.

Екатерина Николаевна, прищурив немного выпуклые, все еще красивые глаза, молча посмотрела на Клашу и так же молча подала ей вычурный ключ.

Клаша опрометью понеслась в большой зал.

Там уже вытянулся во всю длину сверкающий парадный стол. Граненые подвески канделябров бросали на снежно-белые скатерти подвижные радуги. Хрустальные бокалы таили в себе множество пучков сине-зелено-малиновых искр. Сдержанным блеском отливало серебро. Синий с выпуклыми золотыми цветами фарфоровый сервиз чудесным узором тарелок и блюд раскинулся по всему столу.

В буфетной девушки перетирали вазы, украшенные пасторальными пастушками и пастушками, золотыми виньетками, фарфоровым кружевом.

В вазы наливали воду для живых цветов. За ними послали в оранжерею Улиньку и Клашу.

Старик садовник, выходец из Голландии, посмотрел на девушек поверх очков и ткнул пальцем в зеленый низкий ящик с резедой.

— Это для гирлянд, — строго сказал он, — а вот там для стола...

Улинька приподняла ветошь и ахнула:

— Ах вы, мои красавицы! Ну и розы! Ты, Клаша, только погляди хоть на эту! — и она отделила от целого снопа только что срезанных еще влажных роз одну черно-пунцовую. — Ведь что же это за прелесть! — любовалась она цветком.

— Это «французская королева», — с гордостью, как отец о красавице дочери, сказал садовник.

Острое личико Клаши ткнулось в корзинки с пармскими фиалками:

— Вот дух-то райский! Инда сердце заколотилось! Нюхни-ка, Улинька.

Взяв цветы, девушки заторопились.

— Ты, Улья, приди еще, — сказал садовник. — Я буду приготовить корзинка только белые розы.

— Ладно, Франц Карлович, я мигом, — ответила Улинька.

Василий Львович дочитал последнюю страницу французского романа. Встал. Потянулся. Потом подошел к зеркалу и внимательно поглядел на свое отражение.

«Полнеть начинаю. Для тридцати двух лет рановато».

Оправил гусарский полковничий мундир и закрутил тонкие, в стрелку, усы. Постоял неподвижно несколько мгновений.

«Пойти в биллиардную, что ли? Пушкин с нашими, наверно, там».

— Куда это? — окликнул он встретившуюся в полутемной гостиной Улиньку.

Она молча посторонилась, пропуская Василия Львовича. Но он взял ее за руку:

— Ты в мой нынешний приезд все избегаешь меня, Улинька. Отчего бы это?

— Сами знаете, барин...

— Как? Барин? Ты за что же меня из Василия Львовича в барина разжаловала? Почему глаза прячешь? — Василий Львович привлек ее к себе и крепко поцеловал.

Улинька коротко вздохнула.

— Как от тебя цветами пахнет! — прошептал Василий Львович.

Глаза Улиньки блеснули в полумраке.

— А это вот от чего, — она взяла его руку и приподняла. Пальцы Базиля коснулись сначала ее теплой, упругой щеки, потом чего-то прохладно-нежного. Улинька слегка наклонила к нему голову и тихо проговорила: — Понюхайте-ка...

Базиль почувствовал сильный запах розы. Он потянул вколотый в ее косу цветок. Улинька придержала розу. Завязалась легкая борьба.

— Приди сегодня ко мне, Улинька.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Почему же? Неужели ты боишься, что я посягну тебя обидеть? Ведь прежде ты не раз заходила ко мне, и, помнишь, как славно мы с тобой беседовали...

— А нынче не приду, — строго повторила Улинька.

Базиль взял ее за обе руки:

— Да почему же? Почему?

— Сами понимать должны, — с порывистым вздохом ответила она.

— Ах ты, своенравная моя! Упрямец эдакая! — и Базиль снова несколько раз поцеловал ее в губы.

Чьи-то шаги слышались на лестнице. Улинька рванулась из его рук и побежала в оранжерею.

Стоя перед садовником, она все еще испытывала сладостную тревогу, охватившую ее от поцелуев Базиля и от его горячего дыхания.

«Сами знаете», — сказала она Базилю: она была уверена, что и он чувствует то, иное, чего не было между ними в прежние его наезды в Каменку.

Поздно вечером Улиньку послали к ключнице Арине Власьевне за липовым цветом: заболела Елена Николаевна. Прикрывая ладонью свечу, Улинька уже подошла к двери, ведущей в пристройку, где жила Арина Власьевна.

— Так не придешь? — неожиданно слышался голос Василия Львовича.

Улинька вздрогнула.

— Нет, Василий Львович, не приду, — твердо проговорила она и хотела идти.

Но Базиль взял у нее из рук свечу и поставил на подоконник.

— Видно, я больше тебе не мил, — сказал он. — Ну-ка, погляди мне в глаза, — и он приподнял ее лицо за подбородок. При слабом пламени свечи все же было видно, как это молодое красивое лицо залилось густым румянцем.

— Пуще прежнего милы. Чай, сами видите, — с глубокой нежностью произнесла Улинька. — А прийти никак невозможно...

Базиль вдруг крепко взял ее за плечи.

— А если я прикажу тебе нынче же в ночь прийти ко мне, — изменившимся, требовательным голосом спросил он, отделяя каждое слово, — ты, что же, и тогда не придешь?!

Улинька мгновенно побледнела так, что темная родинка над губой сделалась вдруг угольно-черной. Гибким движением освободив свои плечи от пальцев Базиля, она проговорила с горькой усмешкой:

— Помилуйте, батюшка барин, осмелюсь ли я, холопка, послушаться воли господской... — и застыла в обычном для крепостных покорном поклоне. Пальцы ее опущенных рук коснулись пола, а длинная золотистая коса, свесившись через плечо, скользнула по лакированному ботфорту Базиля...

Он резко повернулся и, звеня шпорами, быстро взбежал по лестнице, ведущей в

мезонин.

Всю ночь Улинька просидела у постели Элен. Та несколько раз отправляла ее спать, но Улинька делала вид, что не слышит этих приказаний, и не поднимала головы, склоненной на спинку кровати.

«Ну, и пусть спит», — поправляя подушки, подумала Елена. И уж не слышала, как, осторожно ступая, подошла сестра Маша и прикоснулась пальцами к ее лбу.

При свете свечи пальцы Маши влажно блеснули; она радостно вздохнула.

— Вспотели-с? — чуть слышно спросила Улинька.

— Да, да. Я так рада. Хорошо, что маменьке с папенькой не сказывали, а то бы они взволновались.

Маша заботливо поправила одеяло и попробовала приготовленное для сестры питье.

— А ты не заснешь? — заправляя под кружевной чепчик свои черные локоны, спросила она.

— Что вы, барышня, мне нынче и вовсе не до сна.

— Ну, сиди.

С утра двадцать четвертого ноября старуха Давыдова принимала поздравления. Вторая именинница — Катиш Орлова — сидела рядом.

По обычаю каменского дома, после молебна в гостиной у Екатерины Николаевны собирались на короткое время только свои. К гостям же выходили все вместе под звуки торжественного марша.

Екатерина Николаевна в пышном атласном платье и кружевах, с крупными жемчугами на шее — подарком «светлейшего» дядюшки Потемкина — шла впереди с сыном от первого брака, генералом Раевским. За ними по старшинству двигались остальные. Мужчины в парадных мундирах и фраках, дамы и барышни в шумящих шелковых платьях и драгоценностях, а за ними напомаженные, нарядные дети с гувернантками и гувернерами. Все гости, от генерал-аншефов до кучеров и дворовых девушек, своих и чужих, в этот день должны были одеваться во все лучшее, непременно праздничное.

Поздравив мать и племянницу, Василий Львович, сославшись на головную боль, вышел с заднего крыльца и приказал казачку Гриньке подать верховую лошадь.

Увидев хозяина, пегая грациозная Астра звучно заржала.

Базиль ласково потрепал ее по загривку и, поправляя уздечку, на миг увидел в темном лошадином глазу маленькое отражение собственного лица.

— Вот что, Гриня... — начал было он и запнулся в окне нижнего этажа, там, где помещалась девичья, мелькнуло Улинькино лицо.

Базиль нахмурился, вскочил в седло и, прищпорив Астру, галопом поскакал по дороге к Тясмину.

Впереди расстилались холмистые поля, покрытые ледяной корой. Направо от новой кирпичной с белыми колоннами мельницы виднелись простые ветряки. Как фантастические существа, они взмахивали крыльями, словно пытались подняться над землей. Вокруг ветряков, отыскивая хлебные зерна, кружились стаи ворон. Их картавый крик неумолчно стоял в воздухе.

И во всем этом — и в тускло отсвечивающих ледяной корой полях, и в высоких безлистных тополях, стоящих, как вехи, вдоль дороги, и в ветряках, беспомощно взмахивающих крыльями, — Василий Львович видел ту же грусть, какую чувствовал в собственной душе с момента вчерашней сцены с Улинькой у дверей пристройки.

«Нехорошо, ах, как нехорошо получилось! — болезненно морщился он. — И с какою укоризной она сказала: „Смею ли я холопка, послушаться воли господской...“ Очень кстати вышло, что Элен занемогла, а то Улинька, пожалуй, пришла бы. И уж тогда...»

Базиль всей грудью вдохнул холодный воздух. Астра, как будто понимая настроение седока, замедлила бег. Базиль опустил поводья, снял фуражку и подставил голову порывам холодного ветра.

Возвратившись домой, он увидел на крыльце Улиньку. Она была в розовом ситцевом платье и накинутом на плечи полушалке.

Базиль бросил поводья подбежавшему Гриньке и быстро подошел к девушке.

— Улинька, не сердись на меня, — виновато заглядывая ей в глаза, просительно проговорил он.

Улинька опустила ресницы, и густая тень упала от них на ее свежие щеки.

— Хорошо, что вы подросли, а то уж за стол сейчас пошли, — сдержанно проговорила она.

— А что же ты в одном платье? Ведь холодно. Долго ли простудиться. — Базиль просунул руку под Улинькин платок и ласково взял ее за теплый локоть.

Девушка не могла сдержать счастливой улыбки.

— Где же холодно, — возразила она таким же глубоким, грудным голосом, каким читала пушкинские стихи. — Мне сдается, что сейчас май месяц стоит. — И, широко запахнувшись полушалком, как будто взмахнула крыльями, она побежала на ледник передать приказание Александра Львовича — нести к столу серебряные кадучечки с замороженным шампанским.

3. Атмосфера — семейная

В конце веселого дня в доме выпал тихий час.

Старуха Екатерина Николаевна удалилась в свои комнаты. За нею прошли стройный и моложавый генерал Николай Николаевич Раевский с женою Софьей Алексеевной и маленькой племянницей Аделью.

— Хороша нынче твоя Катенька, — проговорила Екатерина Николаевна, обращаясь к сыну, — и умна и величава.

Раевский самодовольно улыбнулся:

— А разве Елена или Машенька хуже?

— Нисколько, но только те в другом жанре. А эту Пушкин метко Марфой Посадницей окрестил.

— Ох, уж этот мне Пушкин! — передернула плечами Софья Алексеевна.

— В чем дело, Софи? — строго посмотрел на жену Раевский.

— Вечно всех вышучивает, всем клички дает... Вот и Мишеля, будто жука на булавку наколол: «Обритый рекрут Гименя».

— Обритый рекрут! — всплеснула руками Екатерина Николаевна и залилась добродушным старческим смехом. — И ведь придумает же — «рекрут Гименя»... — повторяла она, вытирая выступившие от смеха слезы.

Раевский тоже улыбался, одна Софья Алексеевна сидела со строго сжатыми губами.

— Будь моя воля, — сказала она, когда свекровь перестала, наконец, смеяться, — я бы Пушкина с осторожностью допускала в общество молодых девиц. Иной раз он

такое при них скажет... Мне кажется, что ты, Nicolas, слишком любишь поэта.

Маленькая Адель, положив хорошенькую головку на бабушкино плечо, веселыми глазами посматривала на взрослых.

— Люблю я Пушкина, — сказал Раевский, — и за талант и за ум люблю. Что же касается некоторых его вольностей в обращении и разговоре... — он вдруг взял за руку племянницу: — А ты, Аделинька, что скажешь об Александре Сергеиче?

Девочка оттопырила пухлые губки:

— У какой! Уставится глазами и не моргнет... А то дразнить начнет!

Раевский улыбнулся:

— Что и говорить, озорник.

— Ребенка — и то в покое не оставляет! — с возмущением произнесла Софья Алексеевна и вдруг строго обратилась к девочке: — А ты, вместо того чтобы среди старших вертеться, пошла бы к Сонечке в куклы играть.

Адель вопросительно подняла на бабушку длинные, как у Аглаи, ресницы.

— Ступай, ступай к кузиночке, — ласково подтолкнула ее Екатерина Николаевна, — да вели позвать ко мне отца.

Адель поправила на голове белый бант и убежала.

— Нынче, милые мои, все не так, как в мое время бывало. Вот хоть бы Аделинькины родители, — задумчиво проговорила Давыдова.

— Да уж, — многозначительно вздохнула Софья Алексеевна.

— А теперь каждый хочет жить своим умом. И молодежь тоже, — продолжала Екатерина Николаевна. — У нас нынче меж гостей Миша Бестужев-Рюмин. Мальчик, молоко на губах не высохло, а слышали, как он за обедом князя Федора отделал? Тот ему слово, а Миша ему два...

— Мишель Бестужев преотличнейший юноша, — сказал Раевский. — Да и другие, которые у Базиля, тоже орлята. Один Волконский чего стоит. Вот только горячи они все, пожалуй, не в меру. И эдакая ажитация в умах...

— Но при уме сколь мало в них рассудка, — холодно промолвила Софья Алексеевна.

— Молодость, Софи, молодость, — дотрагиваясь до тонкой руки жены, сказал Раевский. — А помните, тата, что написала деду Потемкину о беспокойных умах императрица Екатерина? — спросил он.

— Это из Вольтера что-то? — прищурилась Екатерина Николаевна. — Письмо это хранится у меня в секретере. Коли хочешь, — возьми.

— Я и так помню, мне не однажды приходилось ссылаться на эти слова в спорах с нынешней молодежью. Страсти, коими они все обуреваемы, безусловно, благородны. Но справедливо писал Вольтер, что нельзя снимать узду с человеческих страстей. Вожжи у этих скакунов надо держать твердо. «Поток должен приносить полям помощь, не затопляя их, а орошая. Пусть ветры очищают воздух, но не превращаются в бурю. Пусть солнце проходит над нашими головами, давая нам свет, но не сжигая нас».

Адель не нашла отца ни в комнатах матери, ни в диванной, где Александр Львович обычно отдыхал после обеда, а ходить на половину к Василию Львовичу ей было запрещено. И она попросила попавшуюся ей навстречу Улиньку:

— Поищи папеньку, он, наверно, у дяди Базиля.

— Сейчас, Аделинька, сбегаяю. Вот только прическу барышням закончу.

4. Демагогические споры

Степан, камердинер Василия Львовича, выслушав Улиньку, нерешительно остановился у дверей кабинета.

Александр Львович был там. Его хрипловатый голос выделялся среди других. Степан тихонько приоткрыл дверь.

— Ты что? — обернулся к нему стоящий неподалеку Василий Львович.

Степан шепотом передал приказание старой барыни. Василий Львович повторил его брату. Но старший Давыдов, догадываясь, зачем его зовет мать, велел сказать ей, что все распоряжения относительно ужина им уже сделаны.

Затем он снова обратился к своим гостям:

— Так, друзья мои, вы никогда ни до чего не договоритесь. Если вы намереваетесь установить порядок в нашем отечестве, то не следует ли прежде всего установить его здесь, в кабинете?

— Ну-ка, Саша, попробуй прибрать их к рукам, — шутливо предложил Пушкину Василий Львович.

— Увольте, лучше толстого Аристиппа будем просить, — указал Пушкин глазами на Александра Давыдова.

Тот сердито погрозил ему и глубже уселся в кресле.

— Пусть председательствует Волконский, — предложил кто-то. — Он старше нас всех!

— Якушкина! Орлова! Алексашу Раевского! Раевского! — повторило несколько голосов последнее имя.

Высокая и очень тонкая фигура Александра Раевского появилась у стола. Его маленькие желто-карие глаза зорко смотрели сквозь стекла очков, губы иронически улыбались.

— Держись, дружище! — крикнул ему Пушкин.

Раевский постучал пустым бокалом о крыло бронзового орла, украшавшего чернильницу. Дождавшись полной тишины, он спросил с напускной серьезностью:

— Итак, кто желает высказаться?

— Поглядите на Пушкина, — шепнул Якушкин Басаргину.

Пушкин, до сих пор полулежавший на диване, приподнялся, выпрямился и обводил всех загоревшимися глазами.

— Как человека я его не понимаю, — шепотом ответил Басаргин... — Какое-то в нем бретерство, *suffisance* *note 3*...

— Я не буду повторять того, что вы уже слышали, — брюзжащим тоном первым заговорил Александр Львович, — я только предостерегаю вас об опасности пересаживать французские идеи на русскую почву. Русский народ пойдет своим особливим путем. Не тяните его к свободе насильно, чуть ли не за волосы... Не зовите к мятежу. Осторожней с ним. Россия, по причине ее пространства и различия образованности населяющих ее народов, не созрела еще до свободы...

— Вздор, — пожав плечами, перебил Якушкин. — «Не созрела до свободы!» Это все равно, если бы рассудить о людях, между снегов, в вечной ночи живущих: они еще не созрели для того, чтобы греться на солнце.

Note3

Самодовольство (франц.).

— Отлично сказал по этому поводу мой кишиневский друг — Владимир Раевский! — воскликнул Пушкин. — «Не человек созревает до свободы, а свобода делает его человеком».

— Владимир Раевский говорил еще, что делать добро гораздо лучше рано, нежели поздно, — одобрительно кивнув Пушкину, вспомнил Орлов.

Александр Львович посмотрел на него утомленным взглядом, несколько раз затаившись из длинной трубки и продолжал:

— И вы сами, первые глашатаи свободы, поспешая утвердить ее, безумными замыслами рискуете в корне погубить начатое дело. Ведь вы знаете, что император ныне не постесняется с вами.

— И даже не император, а Аракчеев, — насмешливо вставил Михаил Орлов.

— Вас одолевает охота просветительства? — спросил Александр Львович. — Что же, учитесь у мудрых философов и гуманных законодателей. Но сомневаюсь, чтобы нашему народу требовалось то, что вы собираетесь ему преподнести.

— Что же, по-вашему, так и оставить его пребывать в длительной летаргии? — строго спросил Басаргин.

Давыдов раскуривал трубку, не торопясь с ответом.

Капитан Якушкин вдруг гневно стукнул кулаком по столу:

— Разбудить народ! Растолкать его от этой пагубной летаргии, растолкать, чего бы это нам ни стоило, — вот наш долг перед родиной.

— Помолчите, капитан, — остановил его Раевский, — Басаргин еще не кончил.

— Якушкин прав, — продолжал Басаргин, — если народ не умеет сам найти путь к собственному благополучию, наш долг указать ему этот путь. Наш народ не сумеет управлять? Мы научим его, как это делать. Мы все сделаем во имя него и для него. Только бы не этот ужасный вековой сон!

— И если бы пушечный гром понадобился, чтобы прогнать этот страшный сон, — опять вмешался Якушкин, — я первый зажег бы фитиль!

Михайло Орлов насмешливо зааплодировал:

— Ну и зажег бы фитиль ты, Якушкин, да Мишель Бестужев-Рюмин, да Серж Муравьев-Апостол, да еще несколько умствующих дворян. А много ли толку получится от этого для миллионов Ванек, Пантелеев да Архипов?

Пушкин крепко охватил скрещенными пальцами свои поджатые колени.

— Помнишь, — обратился он к Александру Раевскому, — помнишь, что было в Одессах, когда Греция восстала за независимость своего отечества? В лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все за ничто продавали свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты. Все шли в войско Ипсиланти, чтобы отдать родине свою жизнь...

— Как вы, Александр Сергеевич, чудесно обратились тогда к ним! — влюбленно глядя на Пушкина, проговорил Бестужев-Рюмин:

Страна героев и богов,
Расторгни рабские вериги...

Пушкин молча посмотрел в светлые глаза Бестужева и чуть улыбнулся ему.

— И вы, Якушкин, помнится, тоже собирались с Завалишиным на помощь грекам? — с иронической улыбкой спросил Александр Раевский. — Завалишин даже греческому языку специально для этой цели выучился...

— Да, я собирался в Грецию, — холодно ответил Якушкин.

— Что же не поехали?

— У нас в Смоленской губернии голод был, надо было поддержать крестьян.

— А Испания? — снова заговорил Пушкин, — разве она не доказала, что значит дух народный, что такое любовь к отечеству? Мне говорил Чаадаев, что в примере Испании есть кое-что очень близко касающееся нас, русских.

— А то как же, — насмешливо подхватил Александр Давыдов, — и в Греции и в Испании сам народ восстал против тирании, и успех революции сделали не Ипсиланти и Риго, а именно сам народ. Вожди только подхватили его чаяния, а наш народ дай бог чтобы через столетие додумался до того, до чего додумались уже итальянцы и испанцы.

— Следовательно, мы должны на целый век оставить всякие помыслы о свободе, так, что ли? — с горечью спросил Басаргин.

И снова заспорили.

Слова «Россия»... «народ»... «мятеж»... «революция»... «свобода» вырывались, как искры из костра, и вызывали новые вспышки спора.

— Вы ожидаете гражданских подвигов от нашего народа, загнанного в крепостное ярмо, а сами-то мы разве вольны не то, что поступать, а даже думать о том, что не угодно подставленной над нами власти? — волнуясь, упрекал товарищей Басаргин. — Разве, говоря по совести, сами мы — не рабы?!

— Российское дворянство искони было свободолюбовиво, — возмущенно возразил Бестужев-Рюмин. — Не из рядов ли дворянства вышли первые российские просветители Новиков и Радищев...

— Исключение не делает правила, — откликнулся все время молча сидевший в углу кудрявый офицер с длинными украинскими усами. И вдруг рванулся на середину кабинета и заговорил, краснея от гнева: — А в большинстве все вы рабы! Только рабы, пользующиеся до поры до времени милостями своего рабовладельца. Вас задарили земными благами — почетом, богатством, крепостными душами. Ешьте до отвала! Спорьте до одурения! Гремите на балах шпорами, кутите, развратничайте, и... коли вам угодно, мечтайте по своим усадьбам и столичным салонам о благе народном! Разве из таких людей вырастают революционеры и республиканцы?! Вам и революция нужна салонная, на розовой воде, бескровная! Вы всё будете ждать, покуда сенат выйдет к вам и любезно осведомится: «Что вам угодно, ваши сиятельства и ваши превосходительства?!» — при последних словах кудрявый офицер подобострастно поклонился, копируя представляемых им сенаторов.

— Кто этот Цицерон с маленькими эполетами и большим темпераментом? — на ухо спросил Пушкин Волконского.

— Подпоручик Горбачевский, — так же шепотом ответил Волконский. — Он милейший, но крайне экзальтированный субъект. Между прочим, сам он оригинальнейшим образом освободил своих немногочисленных мужиков, доставшихся ему в наследство от матери: вышел к ним на крыльцо и произнес вовсе не цicerоновскую речь: «Я вас не знал и знать не хочу. Вы меня тоже не знали и дальше не знайте. Убирайтесь куда хотите, хоть к черту, а я еду в свой полк и к вам никогда больше не заявлюсь!»

— Каков молодец! — засмеялся Пушкин. — Право, он мне нравится...

— А мне не очень, — откликнулся Волконский.

— Не мешайте слушать! — остановил их Орлов.

— До каких же пор вы будете выкликать: «Конституция! Установление! Предначертание!» — с тем же возбуждением продолжал Горбачевский. — Кажется, куда проще, — объявить своим крепостным, что они могут жить как хотят, слушаться кого хотят, управляться кем хотят. А все эти глупости — комиссии, наказания, положения и прочее и прочее, — все это к самому дьяволу на рога. Мы ничего этого знать не хотим!

— Вот они, «славяне»! — с сокрушением произнес Волконский.

— Да, вот мы какие! — сверкнул на него карими глазами Горбачевский. — У меня от всех этих бесконечных словопрений, от вашей благоразумной постепенности такая тоска делается, что я охотно отдал бы ее любому помещику, который не хочет освободить подобру своих крестьян. По мне лучше уж бунт подавайте! Чтобы все вверх дном перевернулось, чтобы каждый мужик с дрекольем! Чтобы каждая баба с ухватом да с вилами!

— Держите его! — сердито пошутил Александр Давыдов.

Басаргин переглянулся с Якушкиным. Оба вспомнили слова Сергея Муравьева-Апостола: «Вы этих „соединенных славян“ держите на привязи. Их можно спустить только тогда, когда наступит время действовать».

— Бездушные вы, господа, вот что я вам скажу! — бросил Горбачевский.

— Это Давыдовы-то «бездушные»? Да у них с бабушкой не одна тысяча душ, — скаламбурил Александр Раевский.

Эта острота никому не понравилась, а Горбачевский ответил ему с суровой гордостью:

— В вашем смысле я и мои товарищи «славяне» самые бездушные из всех здесь присутствующих. От позорного звания рабовладельцев большинство из нас избавлено не только милостью властей, но и собственным волеизъявлением...

Волконский подошел к нему и положил руку на плечо:

— Успокойтесь, Иван Иванович. Придет время, подождите немного...

— Когда же и как оно придет, это желанное время? — громко переводя дыхание, спросил Горбачевский. — И неужто нам ничего не нужно делать, а дожидаться этого времени спокойно, вот так, между балами и обедами, раскуривая люльки?!

— Ведь вы же знаете, что это не так, — возразил Волконский. — Ведь вам отлично известно, что число членов Тайного общества непрерывно растет, что силы его, следовательно, крепнут... Я был на Кавказе, и там у Ермолова тоже есть наши единомышленники...

— Так, значит, это правда, господа! — радостно вскрикнул Пушкин, вскакивая с дивана. — Тайное общество действительно существует?! А ведь я думал, что присутствую всего лишь при одном из обычных демагогических споров. Как я счастлив, что вижу, наконец, свой жизненный путь, облагороженный высокими стремлениями! Вы, князь, — обратился он к Волконскому, — совершите надо мною все формальности... И прошу — не медлите!

Волконский смутился: он не заметил, что, успокаивая Горбачевского, проговорился о Тайном обществе.

Якушкин поспешил вывести его из неловкого положения:

— Удивительно, насколько поэты могут быть наивны: желая усмирить Горбачевского, князь прибегнул к шутке, а Александр Сергеевич принял ее за подлинную правду.

Пушкин побледнел и медленно переводил свой взор с одного лица на другие. Но

все, словно стоворившись, сидели с опущенными глазами. Молчание длилось несколько минут.

— Так вы, оказывается, изволили шутить, господа? — с глубокой обидой заговорил, наконец, Пушкин. — А ведь я поверил! И в эти мгновенья был безмерно счастлив. Будто светлый луч озарил мое будущее, такое безотрадное доселе...

Александр Раевский и Давыдов подошли к нему:

— Полно, Саша, успокойся, друг...

Волконский тоже попробовал успокоить:

— Вам ли, Александр Сергеевич, печаловаться о будущем! Вас знает и любит вся Россия.

Но Пушкин никого не слушал. Он снова обвел всех вспыхнувшим гневом взглядом, стиснул зубы и, высоко подняв голову, стремительно вышел.

Раевский бросился за ним:

— Саша! Подожди! Да подожди же.

Пушкин обернулся только у винтовой лестницы, ведущей в верхний этаж.

— Я все понимаю, — взволнованно проговорил он. — Конечно, вы все можете заниматься благородными делами... Я же такой чести, видимо, не достоин. Мне, следовательно, только и остается, что марать бумагу да еще...

Голос его оборвался. Он взбежал наверх. И тотчас же в захлопнувшейся за ним двери щелкнул ключ.

Раевский пожал плечами и, подождав немного, вернулся в кабинет.

— Ну, что? — встретили его нетерпеливыми вопросами.

— Что он сказал?

— Черт знает, как нехорошо получилось, — сердито проговорил Раевский.

— Пойдите, я его утешу, — сказал Александр Львович, попыхивая трубкой. — Нынче жена моя получила из Парижа письмо от отца. Между прочим он сообщает, что Дюпре де Сен-Мор, известный критик, напечатал о нашем Пушкине нечто крайне восторженное.

Все с живостью обернулись к Давыдову:

— Что же именно?

— Как хвалит?

— Пишет, что поэма русского поэта Пушкина «Руслан и Людмила» является новым доказательством того, что полунощное небо в состоянии расцветать поэтическими вымыслами, украшенными всем великолепием живого и богатого воображения. Он сравнивает нашего Пушкина с пылким итальянцем Ариосто...

— Вот уж зря, — запротестовал Бестужев-Рюмин. — Александр Сергеевич много глубже и значительнее блистательного своего итальянского собрата. И тем не менее — я очень рад, ибо не сомневаюсь, что мнение этого французского критика положит начало всемирному признанию гения нашего русского поэта.

— Во всяком случае, — вмешался в разговор Волконский, — за границей перестанут, наконец, думать о русской литературе, что она является подражательной то французской, то немецкой, то английской.

— И слава, великая слава Пушкину, слава его волшебной музе, которая представит всему миру российскую словесность в столь прекрасном виде! — Произнося эту восторженную тираду, Бестужев-Рюмин вскочил с места. — Надо, не медля ни секунды, сообщить об этом Александру Сергеевичу!

— Вот и походи к нему, — сказал Василий Львович.

— Да еще скажи ему, — прибавил Александр Львович, — чтобы не мешкал и одевался к балу, а то хорошенькие женщины все танцы другим кавалерам раздадут! Впрочем, лучше я сам снесу ему письмо тестя.

Александр Львович запахнул халат и тяжело поднялся с места. За ним вышел Раевский.

— В самом деле, господа, пора переодеваться к балу, — потягиваясь, протянул Орлов. — Пойду Барятинского будить. Без него мазурка не выйдет...

Едва за ним закрылась дверь, Василий Львович предложил.

— теперь, когда остались только свои, можно и Павла Ивановича попросить. Пожалуйста, Якушкин, пройдите за ним.

Якушкин слегка наклонил голову и тотчас же вышел.

— А все-таки мне больно за Пушкина, — со вздохом произнес Бестужев-Рюмин, — не бережем мы его самолюбия.

— Мы его самого бережем, — строго сказал Волконский.

Басаргин пожал плечами:

— Странно. Если мы на алтарь свободы нашей отчизны готовы принести любые жертвы и даже собственную жизнь...

— Полноте, Басаргин! — перебил Горбачевский. — Мы — заговорщики, и в нашем деле прежде всего нужна суровая дисциплина, конспирация... А Пушкин прежде всего сочинитель. И кто может поручиться, что, поддавшись минутному порыву...

— Что вы хотите сказать? — заливаясь краской гнева, подступил к Горбачевскому Бестужев-Рюмин. — Извольте взять свои слова обратно!

Горбачевский исподлобья смотрел на него.

— Успокойтесь, Бестужев, — становясь между ними, примирительно заговорил Волконский, — Горбачевский, вероятно, имел в виду вспыльчивость и неуравновешенность характера нашего поэта...

— Пусть господин Горбачевский сам объяснит свои слова! — не унимался Бестужев.

Волконский с укоризной остановил спорящих:

— Все вы не правы, господа. Если бы мы ценили лиру Пушкина только за ее сладкозвучность, быть может, мы и приняли бы поэта в наши ряды. Но все вы знаете, сколь ценна для наших целей каждая его строка, направленная против деспотизма. Его свободолюбивая поэзия разносится по всей России. Она действует зажигательно на молодежь. Она волнует души, трогает сердца... Вот почему, друзья мои, для нас Пушкин-поэт ценнее Пушкина — члена Тайного общества, которого в любой момент, по прихоти Аракчеева, могут посадить в крепость или сослать в Сибирь.

5. Пестель

Как только Пестель решительными, ровными шагами вошел в кабинет, все подтянулись. Улыбка исчезла с лиц, и сама комната, только что такая оживленная и шумная, как будто приняла деловой и серьезный вид.

Подойдя к столу, Пестель сделал короткий общий поклон, оправил свой длиннополый зеленого сукна мундир с потемневшими погонами и, сев в кресло, положил перед собою принесенную объемистую папку.

— Прежде чем приступить к чтению, — начал он, — я считаю нужным

познакомить вас со взглядами некоторых наших северных товарищей на вопросы, которых я должен буду коснуться в предлагаемых вашему вниманию разделах моей работы.

Он положил пальцы поверх рукописи и так нажал их, что ногти побелели.

Критикуя отдельные пункты конституций, проектируемых в Петербурге вождями Северного Тайного общества Никитой Муравьевым и Трубецким для будущего устройства России, Пестель ни разу не впал в полемический тон, хотя большинству слушателей было известно, как разнится проект его собственной конституции от тех, которые он сейчас разбирает.

Но все знали, что в свое время и в должном месте Пестель непременно даст на все точные ответы. Только нетерпеливый Бестужев-Рюмин, воспользовавшись моментом, когда Пестель, отпив несколько глотков воды, тщательно осушал платком губы, спросил:

— Так неужто правда, Павел Иванович, будто Никита Муравьев считает, что для представительства народного нужны люди, имеющие значительную собственность?

— Да, он так полагает, — подтвердил Пестель.

Бестужев вскочил с места; его ясные глаза, обычно по-детски доверчивые, с изумлением остановились на Пестеле:

— Да как же это так?! Выходит, что самая чистейшая и благороднейшая страсть — патриотизм — должна иметь порукою деньги?! Но ведь в таком разе величайшие патриоты Гракхи и Цинциннат, обеднев, не могли бы быть представителями народными!

— По Муравьеву выходит так, — сказал Пестель. — Однако нам следует придерживаться намеченной последовательности в нынешнем совещании.

Бестужев, собравшийся было сказать еще что-то, послушно затих. И снова в кабинете зазвучал только один размеренный и твердый голос Пестеля:

— Помимо уже известных вам наших расхождений с северянами, в последнюю встречу мою с главными деятелями этой ветви Тайного общества выяснилось следующее: Трубецкой и Оболенский окончательно склоняются к тому, чтобы власть монарха была ограничена в пределах той конституции, которую предлагает Никита Муравьев. Я всячески старался доказать им, что правление, где главою государства является одно лицо, неминуемо кончается деспотизмом. Я напомнил им блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалкое ее состояние, когда республик не стало. Я сравнивал величественную славу Рима во дни республик с плачевным его уделом под правлением императоров. Я приводил в пример историю Великого Новгорода, явно подтверждающую преимущества республиканского правления. К сожалению, они, пожалуй, за исключением Рыльева, остались при своем мнении. Никита Муравьев ссылаясь на конституции Франции и Англии... Будто ему неведомо, что эти конституции суть только покрывала, отнюдь не мешающие английским министрам и французским правителям делать все, что им заблагорассудится, обычно во вред французскому и английскому народам...

— Да они и непорочны, эти монархические конституции, — сказал Волконский, когда Пестель снова остановился, чтобы глотнуть воды. — Происшествия в Гишпании и Португалии являют неоспоримые этому доказательства.

Пестель повел взглядом в сторону Волконского и ближе придвинул к себе принесенную рукопись. Развязывая узелки папки, он продолжал:

— Я обращал внимание наших северных товарищей на главное стремление

нынешнего века, которое заключается в борьбе между народными массами и аристокрациями всякого рода основанными как на богатстве, так и на правах наследственных. Аристокрации эти становятся иногда сильнее самого монарха, примером чему может служить нынешняя Англия. Титулованные и нетитулованные, они служат препоною к народному благоденствию и могут быть устранены только республиканскою властью.

— Но сможет ли наш народ управляться такою властью? — с сомнением спросил Барятинский.

— Опыты всех веков и всех государств доказали, что народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и законы, под которыми они живут, — хмуря брови, ответил Пестель.

Открыв папку, он учтиво попросил больше его не перебивать и, дождавшись полнейшей тишины, начал:

— Эта рукопись является частью моего напряженного, почти десятилетнего труда над планом всеобъемлющих реформ политического и социального уклада жизни русского государства. Из десяти намеченных мною глав первые три большинству из вас уже известны. Они трактуют о границах нашего государства и разделении его на области, округа, уезды и волости; о разделении жителей на коренной народ русский и на многочисленные присоединенные к нему племена, а также о средствах, коими все эти различные народности можно слить в единый русский народ; о различных сословиях, обретающихся в нашем отечестве, об их преимуществах и лишениях и о мерах, которые надлежит принять для того, чтобы слить в единое сословие всех вольных российских граждан. Полагаю, что все, что в свое время по этим трем статьям было мною доложено, в повторении не нуждается.

Пестель обвел всех вопрошающим взглядом. Ответом ему было напряженное внимание.

— Главы четвертая и пятая написаны мною еще вчерне, и о них я пока говорить не буду, — сделав минутную паузу, продолжал он. — В шестой главе я наиболее подробно изложил мои мысли в отношении к будущему устройству и образованию верховной власти. В седьмой — о правительстве в отношении к устройству и образованию государственного правления, в восьмой — об устройстве безопасности в государстве, девятая рассуждает о правительстве в отношении к устройству благосостояния в государстве, и, наконец, десятая содержит наказ для составления государственного уложения, долженствующего быть сводом законов и постановлений. Последние главы в целом еще не окончательно мною продуманы, и я попрошу вашего внимания к важнейшему разделу моей работы — о временном правительстве и его обязанностях

Чем-то необычайно законченным веяло от всего облика Пестеля, от зоркого взгляда его умных глаз, от ровного голоса, от уверенных, словно что-то отсекающих жестов правой руки

Он высказывал свои мысли с таким несокрушимым убеждением, с такою неопровержимой логикой, что слушателям казалось, будто они видят, как строится здание, в котором все высчитано и продумано от фундамента до мельчайших деталей отделки, все неоспоримо, как математическая истина.

— Непреложный закон гражданских обществ, — говорил Пестель, — заключается в том, что каждое государство состоит из народа и правительства и как тот, так и другое имеет свои права и обязанности. Однако же правительство существует для

блага народа и не имеет другого основания своему бытию, как возможное благоденствие всех и каждого в отдельности членов государства. При этом благоденствие общественное должно считаться важнее благоденствия частного, и ежели оные находятся в противоборстве, то первое должно получить перевес. Государственное благоденствие состоит из двух главных предметов: безопасности и благосостояния. Безопасность должна быть первою целью государственного правления, ибо она служит основанием стойкости государственного здания. И если отдельный гражданин собственным усиленным трудом или положенным ему природою талантом может составить свое благосостояние, то утвердить его в безопасности может только крепкая государственная власть. Как вы сами знаете, существующий ныне порядок вещей в нашем отечестве отнюдь не согласуется с высказанными мною и, надеюсь, убедительно доказанными положениями. Нынешнее правительство есть зловластие и, как таковое, подлежит, следовательно, ниспровержению. Временное правительство должно будет немедля уничтожить рабство, в котором многие миллионы граждан до сих пор обретаются. Дворянство должно безотлагательно отречься навеки от гнусного преимущества владения крепостными душами. Народ российский отныне не должен быть собственностью какого-либо лица или фамилии...

— Пора, судари мои, давно пора! — выдохнул Горбачевский.

— Будем надеяться, что истинные сыны отечества с радостью примут это постановление, — сказал Пестель.

— Оптимизм вовсе неосновательный, — шепнул Якушкин Басаргину.

Не то услышав эту фразу, не то догадавшись о ее содержании, Пестель продолжал с угрозой:

— Но ежели, паче чаяния, найдутся дворяне, закосневшие в своих враждебных противу народной массы предрассудках и мыслящие, что вся Россия существует для них одних, ежели б нашелся изверг, который словом или делом вздумал бы этому главнейшему действию временного правительства противиться или даже осуждать оное, то такого злодея должно немедленно взять под арест и подвергнуть наказанию, как врага отечества и изменника против основных его законов...

Пестель говорил уже около двух часов. Заметив усталость слушателей, он решил, что пора кончать.

— Я рассматриваю свою работу, с которою вы теперь еще более ознакомились, как заповедную государственную грамоту, написанную мною для великого русского народа. Грамота эта служит заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержит верный наказ как для самого народа, так и для временного верховного правления. Краткое наименование для нее я заимствовал у Ярослава Мудрого.

— «Русская правда»? — вырвалось у Бестужева.

— Именно, — подтвердил Пестель. — Она должна предупредить все смуты и неурядицы, какие обычно сопутствуют революциям. Недостаток в подобной грамоте ввергнул многие государства в междоусобия и ужаснейшие бедствия.

— Вновь образованные правительства, волнуемые разными страстями и страхами, естественно, допускали беззакония, не имея пред собою ясного и всестороннего наставления и руководства, — сказал Волконский.

— Кроме того, моя «Русская правда» объясняет народу, от чего он будет освобожден и чего может ожидать впредь...

— Когда сам он делается вершителем собственной судьбы, — как бы думая вслух, закончил Сергей Муравьев-Апостол, весь вечер молча просидевший в затененном углу кабинета. — Вспомните радищевское прорицание о русских людях, когда они сбросят с себя рабские оковы: «Скоро бы из их среды исторгнулись великие мужи... Не мечта сие, но взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое столетие...»

Аккуратно выравнивая листы рукописи, Пестель завязывал черные шнурки папки.

В воцарившейся тишине вдруг явственнее донеслись снизу плавные звуки музыки.

— Полонез! — шепнул Барятинский соседу.

Пестель чуть-чуть улыбнулся.

— Я буду очень благодарен каждому, кто укажет мне на возможные несообразности или неточности «Русской правды» при нашем дальнейшем ее обсуждении, а сейчас... — он приложил руку к уху, как бы для того чтобы лучше слышать бальную музыку.

— *Nunc bibendi...* *note 4* — пошутил Якушкин.

Задвигались стулья, кресла. Вошел Степан сменить свечи.

С косогора стали долетать пушечные выстрелы.

Бывший семеновец солдат Михайло подносил к пушке зажженный фитиль и каждый раз вслед выстрелу посылал сложное ругательство.

Пушка скользила с обледенелого склона, и мужики, напрягаясь из последних сил, снова и снова вкатывали ее на верхушку холма.

— Мишка, а Мишка, — вдруг обратился к Михайле один из мужиков, — а что ежели бы пушку повернуть хайлом к господскому дому с той же начинкой, какою француза потчевали, да и пальнуть?

Михайло поднес зажженный фитиль к лицу этого мужика. Из-под вихрастого чуба на него глядели горящие глаза. Глядели пронизывающе и без улыбки. Незастегнутый ворот зипуна оставлял обнаженной худую шею с острым кадыком.

Михайло обернулся в сторону господского дома.

Окна обеих этажей были ярко освещены. Сквозь сетку безлистных ветвей его зоркие глаза видели плавно и мерно движущиеся пары.

Внезапный порыв ветра донес звуки струнного оркестра и едва не загасил тлеющего в руках Михайлы фитиля.

— Пушай их попляшут покуда што, — громко проговорил он. И снова крепко ругнул не то ахнувшую пушку, не то танцующих господ.

6. Бал в зале с колоннами

Знаменитый партизан Отечественной войны, родственник хозяев Денис Давыдов запоздал к торжеству и, приехав в Каменку уже за полночь, ввалился прямо в кабинет к Василию Львовичу в огромной медвежьей шубе — шумный, неуклюжий и веселый.

— Вели подать скорее водки... — заговорил он, как только в клубах табачного дыма рассмотрел хозяина.

Пушкин, забежавший сюда в перерыве между танцами, радостно бросился

Note4

Теперь выпьем. (лат.)

обнимать Дениса.

— Постой, Алексаша, не висни. Дай размотаюсь.

Василий Львович помогал кузену снять шубу, размотать шарф.

— Денис, голубушка моя, — с улыбкой воскликнул Пушкин. — Ты что же в усах? Я слышал, тебя в конноегерскую бригаду перевести полагали, а ты почему-то отказался.

— Не желаю расставаться с красотой природы чернобурой, — покосившись на кончик своего уса, сказал Денис.

— Так ты, значит, совсем обосновался в деревне? — спросил его Василий Львович.

Денис утвердительно кивнул головой:

— Не могу больше возиться с драгунами: пресмыкающееся войско. А сидеть в штабе да надписывать на дурацких бумажках: «к сведению», «к исполнению» и тому подобное — может каждый прапорщик, в сто раз меня глупее.

— Значит, Денисушка, теперь ты вольная птица? — ласково спросил Пушкин.

— Абсолютно! — подтвердил Денис — Учебный шаг, ружейные приемы, размер солдатских пуговиц — все это долой, долой из моей головы! Шварцы-немцы всех видов оружия, торжествуйте! Я больше не срамлю вашего сословия. Едва не задохся, а теперь на чистом воздухе.

— Ур-ра! — крикнул Пушкин.

— А вы все замышляете? — оглядывая гостей веселыми глазами, заговорил Денис. — Русский «Тугендбунд» прожектируете? Ничего не выйдет, наперед вам говорю.

— А как твой роман с панной Злотницкой? — уклоняясь от ответа, лукаво спросил Василий Львович.

Денис взъерошил свои густые темные волосы с седой прядкой спереди. Прядка упала ему на лоб.

— Седины почтенные, — погладил ее Пушкин.

— *La flamme du genie* *note 5*, — насмешливо проговорил Денис, — а вернее — плод невинных и винных проказ

— Нет, в самом деле, как со Злотницкой? — раздался голоса.

— Ах, Злотницкая! — шумно вздохнул Денис. — Вы знаете, как хороши и привлекательны полячки. Но клянусь вам честью, что нет ни одной, достойной стать с нею наряду. Умираю от любви к ней ...

— А толстеешь всякой день, — улыбнулся Василий Львович.

— У каждого свой манер умирать, — вздохнул Денис. — И хотя я ныне не всегда весел, зато часто бываю навеселе.

— Правда ли, что царь принял участие в твоём романе? — спросил Пушкин — И будто бы.

Но Денис перебил его:

— Напрасно царь беспокоился. Вы, наверно, слышали, что в видах моей женитьбы он сложил с меня долг казне. Но так как панна предпочла другого, то я от царской милости отказался.

— Bravo, bravo! — крикнул Пушкин, любовно глядя на Дениса, пока тот

торопливо пил водку и закусывал. — Но ты не горюй, Денисушка: любая из наших красавиц за честь почтет за тебя замуж пойти.

— И то меня в Петербурге усиленно принялись женить. Думал, что и ног не унесу от свах. Особливо старалась в этом отношении Катерина Сергеевна Лунина.

— Та, что за черным Уваровым? — с живостью спросил Пушкин.

— Угу, — обгладывая лапку копченого гуся, ответил Денис. — Очень, между прочим, милая пара. Она отличнейшая музыкантша и, кроме того, привлекает миловидностью и остротой речей, не позволяющих забыть о том, что она приходится родной сестрицей острослову Лунину. Муж ее знаменит своеобразными приемами гостеприимства: «Покорнейше прошу ко мне отобедать, а не то — извольте драться со мной на шести шагах расстояния...»

Пушкин расхохотался так заразительно, что никто не мог удержаться от смеха.

— Мы ведь были с ним в одном полку, — вспомнил Волконский, — он и тогда отличался склонностью к бретерству и большими претензиями на ум и красоту.

— Уваров не без первого, но вовсе без последней, — добавил Денис. — Так эти самые супруги задумали повести на меня любовую атаку во главе с одной весьма соблазнительной вдовой. Как старый партизан, я покуда неуловим, но...

— А брат Катерины Сергеевны все еще в Варшаве? — перебил Волконский

— Да, представьте, с царем не ладил, а Константин Павлович сделал его адъютантом и души в нем не чаает.

— Я считаю Лунина не только другом Марса, Венеры и Вакха, — сказал Пушкин, и веселое выражение его лица сменилось задумчивым, — но все, что мне о нем известно, заставляет меня почитать его умнейшим человеком нашего времени. Многие в этом гусаре напоминают мне другого гусара — моего Чаадаева. Но, находясь ныне в чужих краях, Чаадаев погрузился в изучение философических наук. Лунин же с давних пор занят мыслью о переустройстве политического строя нашего отечества.

— И даже всего человечества, — попыхивая трубкой, прибавил Василий Львович.

— Сегодня, Денисушка, ты увидишь еще одного из плеяды замечательных людей, — серьезно продолжал Пушкин. — Сюда приехал Пестель. Что за революционная голова!

Денис, отбросив салфетку, положил свою большую руку Пушкину на плечо

— Не унимаешься, Алексаша?

— Неумичив от природы, — усмехнулся Пушкин, — в этом недостатке меня еще нянька упрекала.

Денис все так же пристально всматривался в лицо Пушкина. Потом притянул его за плечи и крепко прижал к груди:

— А хорошо, что мы с тобой здесь встретились! А то я собрался было писать к тебе с жалобами на Сенковского: послал я ему в «Библиотеку для чтения» свои вирши, а он их так «исправил», что, ей-богу, я сам себя не узнал... С литерой «ять» у меня, конечно, давние нелады. Но уж, что касается...

— Сенковскому учить тебя русскому языку, — снова повеселев, перебил Пушкин, — все равно как бы внух взялся учить Потемкина...

— Васенька, прикажи, милый, «*Vin de graves*» note 6 бутылочку, — попросил Денис Василия Львовича.

Note6

Название вина (франц.).

Тот вышел.

В коридорах и по всей анфиладе парадных комнат горели люстры, и слуги, осторожно ступая по натертому паркету, разносили подносы с прохладительными напитками, мороженым и фруктами.

Спускаясь по витой лесенке, Василий Львович столкнулся с Машей Раевской.

— Пушкин у вас? — спросила она.

Василий Львович оглядел ее от прически с высоко подобранными локонами до белых бальных башмачков.

— Очень мила, — похвалил он. — И платице и эти бутоны в прическе. А поэта я сейчас позову.

Он вернулся в кабинет, и через минуту Пушкин быстрой и легкой поступью шел Маше навстречу, натягивая на ходу белые перчатки.

— Я опасалась, что вы забудете о том, что нам с вами идти в первой паре, — с улыбкой сказала Маша. — И тогда мне опять влетело бы от тапан.

— Опять? — наклоняя к ней лицо, спросил Пушкин. — За что же в первый раз?

— Зачем я Олизару отказала в мазурке.

— А как Софья Алексеевна узнала об этом?

Маша бегло взглянула на Пушкина.

— Аглая слышала, как я вам обещала мазурку... Ну, и сказала маменьке.

— Ах, так вот она как... — начал Пушкин, и что-то недоброе промелькнуло в его лице.

Маша поспешила переменить разговор.

— Элен нынче необычайно оживлена, — сказала она о сестре, — вы, верно, заметили еще давеча за обедом?

От Пушкина тоже не ускользнуло, что третья дочь генерала Раевского, так не похожая на остальных членов семьи ни своим мечтательно-мягким характером, ни белокурыми волосами и голубыми глазами, во время обеда была действительно очень оживлена. Соседом ее слева был Пестель. Когда он обращался к ней, что-то светлое и горячее, как солнечные блики, скользило по энергичным чертам его лица.

— Элен, конечно, была увлечена соседом слева, — сказал Пушкин. — Оно и немудрено: Пестель интересен до чрезвычайности. Это один из самых оригинальных умов, которые я знаю. Зато ее сосед справа был целиком захвачен моей прекрасной собеседницей.

Пушкин выразительно поглядел на Машу. Она слегка покраснела:

— Волконский, точно, занимателен. Он рассказывал о своих путешествиях забавные истории. Но мое внимание было отвлечено поведением моего несносного *vis-a-vis*...

— А что я? — задорно повел плечами Пушкин.

— Будто вы не знаете! — укоризненно ответила Маша. — Все заметили, что вы ссорились с Аглаей. Вы оба так горячились...

Когда они проходили через гостиную, гувернантка, мисс Матен, отозвав Машу в сторону, заговорила быстро и взволнованно. При этом кончик ее крючковатого носа шевелился так, словно она клевала им что-то.

Поджидая Машу, Пушкин остановился у одной из колонн, отделяющих гостиную от танцевального зала.

Рядом, за карточным столом, слышался зычный голос князя Федора Ухтомского:

— Нет, в самом деле, далась им эта Россия! Брали бы пример с меня. Весь мир

для меня — усадебный дом со всяческими удобствами. К примеру, Англия — фехтовальный и для иных гимнастических упражнений зал. — Князь бросил карты на сукно и загнул палец. — Затем Германия — кабинет для занятий философических. Франция — салон политический, — загнул он еще два пальца.

— И позвольте, ваше сиятельство, добавить, — с улыбкой сказал один из партнеров князя, старик Лопухин, — что в салоне том за плотными драпри скрыт уютный дамский будуар с канапе и прочими привлекательностями.

— Уж ты мастер за занавески заглядывать, павловского двора выученик, — шутливо погрозил ему князь Федор и загнул четвертый палец. — Италия — зимний сад...

— И Россия? — прозвучал сзади резкий вопрос.

Князь Федор с трудом повернул тяжелую, на короткой красной шее голову и встретился с возмущенным взглядом Пушкина.

— А, наш пострел везде поспел! — оглядывая поэта с головы до ног, недовольно проговорил он. — Изволь, и об России скажу. Россия для меня, милый мой, — скотный двор, псарня, пасека, амбары...

— И главным образом девичья, — опять вмешался в разговор старик Лопухин.

За столом засмеялись.

Пушкин, скрестив на груди руки и прислонившись затылком к белой колонне, неотрывно, в упор смотрел на князя Федора.

— И еще? — снова резко спросил он.

— И еще, — хмурясь, отвечал князь Федор, — не перевелись в ней углы, где собираются либералисты, чтобы совместно побредить о разного рода «высоких материях». Вот и твои сынки, — повернулся он к Муравьеву-Апостолу, — кажется, чего им не хватает? Чины, знатность, блистательная карьера. А наемдни послушал я их разговоры с другими молодыми людьми, тоже достойнейших фамилий. Все какие-то «билли о правах» да палаты представителей от народа прожектируют: «Нашим бы мужикам да этикие билли».

Старик Муравьев строго посмотрел на князя Федора:

— Подобных мыслей я от своих сынов не слыхал.

Но князь Федор, не обратив внимания на эти слова, продолжал:

— А я не стерпел да напрямик им и заявил: «Мало еще наших смердов били, чтобы для них билли прожектировать. В стране полатей палаты, говорю, ни к чему...»

— Князь Федор поманил лакея и, взяв у него с подноса бокал с вином, залпом выпил.

— Недурно играете словами, ваше сиятельство, — язвительно улыбнулся Пушкин. — Однако ж и тут проигрыш возможен.

Лопухин перетасовал карты и поспешно спросил:

— Прикажете еще одну партию, князь?

— Уж и не знаю, играть ли. От подобных разговоров у меня каждый нерв в дрожание приходит. Вот проиграюсь по твоей милости в пух и прах, — неожиданно обратился он к Пушкину, — так смотри, как бы тебе не пришлось меня кормить... Поддай-ка вина, — остановил он проходящего мимо лакея и снова осушил бокал.

— Кормить бы еще не беда, — иронически ответил Пушкин, — а вот поить накладно будет.

Партнеры князя расхохотались.

— Не смеяться надо, судари мои, — совсем рассердился он. — Разве не прискорбно видеть такое неуважение и к сану и к летам?! У наших доморощенных

литераторов появилась, эдакая что ни на есть модная манера развязно изъясняться. Недавно попался мне под руку журналишко один с каким-то претенциозным названием. Прочел я в нем статейку некоего господина философа. Батюшки мои, что за тон! Что за выражения! Прочел я ее раз, другой — и, *parole d'honneur* note 7 ничего в голове не осталось.

— Так, быть может, князь, философ не на такую голову рассчитывал? — холодно спросил Пушкин.

Игроки едва удержались от смеха.

Князь Федор швырнул карты:

— Нет, это уж чересчур! Я сам любитель острого словца, но это уж...

— За эту самую статью, ваше сиятельство, — поспешил вмешаться один из игроков, — журнал тот закрыт, и господа умствующие сочинители и предеззостные писаки вряд ли будут иметь в дальнейшем возможность распространять в народе свои мысли...

— И давно пора, давно пора... — раздались голоса других партнеров.

Князь Ухтомский еще раз повернул к Пушкину свою круглую голову на малиновой шее:

— А *propos* note 8, господин сочинитель, ты нынче по какому департаменту числишься?

— Я числюсь по России, — раздельно произнес Пушкин и, круто повернувшись, скрылся за колоннами.

— Слыхали? А позу видали? — возмущенно спросил князь Федор.

— Они все после войны по-наполеоновски руки складывать выучились, — спокойно проговорил Муравьев-Апостол.

— Ну, твоему Сергею и подражать не надо, — сказал князь Федор. — Удивительно он на Наполеона похож, особенно в профиль. Мне рассказывали, что Наполеон увидел однажды в Париже твоего Сергея, когда он еще отроком был, и спрашивает: «*Qui dirajt, que ce n'est pas mon fils?*» note 9

Муравьев-Апостол глубоко вздохнул и стал медленно тасовать карты.

Князь заметил, что старик расстроен, и, желая рассеять его, прибавил:

— Я твоих сынов люблю. Боюсь только, как бы пылкость характера не повредила им. А к дочери, я слышал, Алексей Капнист сватается.

— Как объявим свадьбу, милости просим, — холодно ответил Муравьев-Апостол и снова, глубоко вздохнув, стал сдавать атласные карты...

За колоннами двигались пары. Звуки французской музыки сливались с французской речью и ароматом французских духов...

Князь Федор потер темные мешки под глазами и, дожидаясь, хода Лопухина, принялся разглядывать танцующих.

Одна пара остановилась в простенке у большого зеркала. В молоденькой белокурой девушке князь сразу узнал дочь генерала Раевского — Елену. Ее кавалер,

Note7

Честное слово (франц.).

Note8

Кстати (франц.).

Note9

Кто скажет, что это не мой сын? (франц.)

невысокого роста, смуглый полковник лет за тридцать, взял для нее с подноса лимонаду. Елена поправила украшающую корсаж ее платья гирлянду резеды и взяла бокал.

Отпивая маленькими глотками, она с очень серьезным видом слушала, что говорил ей полковник. Когда она поднимала на него строгие голубые глаза, мужественное лицо полковника светлело.

Ухтомский напряженно морщил лоб, стараясь вспомнить, где он видел этого полковника.

— Милый мой, — наконец, обратился он к Лопухину, — погляди-ка — вон там, у межоконного зеркала, черномазый этот крепыш в полковничьем мундире, — не из витгенштейновских ли адъютантов? Сдается мне, что я встречал его в штабе Второй армии...

— Он и есть, — оторвав взгляд от карт, ответил Лопухин. — Полковник Пестель. У нас в Петербурге болтают, что он из Витгенштейна делает все, что ему заблагорассудится. Сам главнокомандующий и начальник штаба без ума от Пестеля. На обеде у Киселева Витгенштейн так и выразился: «Пестель, говорит, везде будет на месте: и на посту министра и в командовании армией».

Лопухин снова уставился в карты.

— С тобою, батюшка, играть нет возможности, — раздраженно проговорил старик Муравьев-Апостол, — над каждым ходом по часу думаешь.

Князь Федор все так же пристально смотрел в сторону Пестеля.

— Я его родителей знал, — опять заговорил он. — Маменька не то из прибалтийских немочек, не то чухончка, все книги читала. А отец, Иван Борисыч, крепкий был человек. Помню, рассказывал мне как-то Сперанский, как старик Пестель одного вольнодумца проучил. Вздумал тот жаловаться Ивану Борисычу, бывшему в то время в должности сибирского генерал-губернатора, что его-де предшественником, начальником губернии, велено было ему покинуть Сибирь и была выдана ему подорожная, чтобы его нигде не держали более двух-трех дней. Так что ж, вы полагали бы, придумал Иван Борисыч?

Лопухин сделал, наконец, ход и выжидательно смотрел на князя.

Тот вдруг затрясся в смехе:

— Взял Иван Борисыч, да и начертал на этой подорожной: «Из Сибири голубчика этого не выпускать». Так он и носился вечным странником — не более трех дней на одном месте и все в пределах сибирских. Шутник был Иван Борисович. И к тому же чудак-человек: какие доходные посты занимал, а состояние нажить не сумел. Сынов в лучшие полки определил, а должных к тому средств им не дал. А этот сынок, говорят, тоже с папенькиным характером.

— Иван Матвеич его хорошо знает, — сказал Лопухин. — Сына его, Сергея, Пестель первый друг и приятель.

— Павел Иванович редчайшего ума человек, — проговорил Муравьев-Апостол, разбирая карты. — И Сережа мой его точно уважает.

— Еще бы! Противу правительства недовольства высказывать да умничать не в меру Сергей твой тоже горазд.

При этих его словах лысина и уши старика Муравьева-Апостола стали медленно багроветь.

— Беда с ними, — поспешил добавить примирительным тоном князь.

Но Муравьев-Апостол поднял потемневшие глаза:

— Что ты, ваше сиятельство, мелешь? Умничают да умничают сыны мои. Эх, подумаешь, чем корить вздумал! А вы, господа, слышали, как братец и воспитанник князь Федора отличился? — громко спросил он.

К его словам прислушивались и за другими столами.

— В бытность мою послом в вольном городе Гамбурге является ко мне братец его сиятельства прямо из Гатчины. Паричок пудренный, косица, как собачий хвостик, так и виляет. И просит незамедлительно представить его гамбургскому королю и вместе с тем дать знать на съезжую, что высеченный им крепостной его человек бежал. Я ему говорю: «Господин поручик, в Гамбурге ни короля, ни съезжей не имеется». А он вздернул нос с эдаким презрением: «Хорош, говорит, город, где нет ни короля, ни съезжей...»

Последние слова Муравьева были покрыты общим смехом. Князь Федор, записывая свой ремиз, так нажал мелок, что тот рассыпался на мелкие части.

— Еще партию? — предложил Лопухин.

— Разве что последнюю, — согласился князь. — Нынче мне решительно не везет.

Взяв новую колоду атласных карт, он принялся усердно тасовать их.

— Есть, ваше сиятельство, такие люди, — заговорил Лопухин, — которые роковою силой предопределены к проигрышу. К примеру, ваш покорный слуга. Из ста игр — в девяносто девяти в ремизе. Подчас мне сдается, что начни я играть сам с собой — и то найду способ проиграться. Уж сколько раз давал я себе зарок не брать карт в руки! Ан, глядишь, и снова за зеленым полем.

— И это уж до смерти, — убежденно сказал один из игроков.

— Покойный мой дядюшка, граф Зубов, — продолжал Лопухин, — проиграв в одну ночь состояние, коего хватило бы на век всему его мотовскому потомству, дал императрице Екатерине нерушимую клятву никогда даже не прикасаться к картам.

— И что же, сдержал он ее? — все еще хмурясь, спросил Муравьев-Апостол.

— А вот судите сами, господа, сдержал или нет. В карты играть он, точно, перестал, но азарт свой удовлетворять все же находил способы. Однажды проиграл он на... клюкве графу Василию Шереметеву две деревни с бабами и мужиками.

Все с удивлением уставились на Лопухина:

— Полно врать. Каким же это манером, чтоб на клюкве?

— А весьма натурально. Играли они в отгадку, в какой руке целая клюква, в какой мятая, причем заклад был определен в известную сумму.

Взрыв хохота покрыл слова Лопухина. И сам он, довольный тем, что отвел нависшую было ссору, улыбался, притоптывая в такт музыке, игравшей веселый экосез.

Князь Федор сделал несколько ходов и снова уставился на танцующих. Его внимание привлекла стройная черноволосая девушка в розовом платье, с такими же розами на груди и в прическе.

«Неужто Олеся? Сущя красавица, — думал он. — Да она ли это? Расцвела, как майская роза...»

— Эта черненькая, в розовом, твоя, что ли, дочь? — спросил он у Муравьева-Апостола.

— Моя, — в голосе старика прозвучала и гордость и строгость.

Князь Федор поднес к глазам двойной лорнет и не сводил его с девушки, которая с кошачьей грацией скользила по паркету.

Лопухин тоже бросил карты.

— Вы поглядите, господа, на наших девиц, — с восторгом проговорил он, — экие бутоны! Вот бы нам с вами, ваше сиятельство, — подмигнул он князю Федору, — скинуть бы годков хотя бы по двадцать, мы бы показали, что такое старая гвардия.

Медленно потягивая темное, как гранатный сок, вино, князь Федор не переставал любоваться Олесей.

— Стан Сильфиды, — шептал он в восхищении, — плечи Дианы, а какие ножки! Какая, черт возьми, грация! И причем здесь этот мальчишка Капнист? Что он может понимать во всех ее прелестях?

— А Машенька Раевская, видимо, взяла в плен генерала Волконского. Попался вояка! — захихикал старичок в мундире генерал-аншефа.

За другими столами тоже кончали игру,

— Глядите, голубушка Екатерина Николаевна, на эту парочку, — указал старухе Давыдовой ее партнер по висту. — У вас и Денис Давыдов танцевать собирается.

У высокой жардиньерки с живыми цветами стояла родственница Давыдовых Сашенька Потапова, а перед нею, постукивая ногой в такт мазурке, изогнулся в просительной позе Денис Давыдов.

«Ишь ты, молодец, Сашеньку приглашает, — подумала Екатерина Николаевна, — а то она вовсе скучает. Вася нынче мало ею занимается. Поскорей бы повенчать их».

Сашенька, покраснев до слез, что-то говорила Денису. На них оборачивались. Екатерина Николаевна послала лакея мигом сбегать на хоры с приказом прекратить музыку.

Александр Львович очень обрадовался этому распоряжению: только что дворецкий доложил ему, что «Фомушка-повар весьма рекомендует кушать».

Сашенька радостно вздохнула, когда Денис отошел от нее и еще радостней улыбнулась приближающемуся к ней Василию Львовичу.

— Я уж думала, Базиль, вы вовсе забыли о моем существовании, — сказала она, кладя свою худенькую, до плеча обнаженную руку на рукав его гусарского мундира. — За весь вечер ни разу не подошли.

— Милая Александрин, кабы вы знали, как... — и, замявшись, закончил: — как у меня голова болит!

Сашенька ничего не ответила, но поглядела на него так, что он почувствовал и недоверие и нежный упрек.

7. В людской

Мужики после полуночи бросили пушечную пальбу и вернулись в усадьбу продрогишие и голодные.

В большой людской жарко топилась соломой русская печь. Пахло жареным мясом и горячим хлебом. Бренчала балалайка, и неумолчно звучали смех и говор.

Украинская речь смешивалась с русской и звонким «цоканьем» двух поляков — лакея и кучера князя Барятинского. Они, избоченясь, сидели в стороне, пили из принесенной с собой барской фляги и старательно обсасывали смоченные в вине длинные усы.

Печник Серега отбивал на балалайке безудержно-веселый гопак. Поваренок Панас и казачок Василия Львовича Гринька мячами прыгали вприсядку, оба красные, с прилипшими ко лбу вихрами, но с лицами строго неподвижными.

Среди дворовых девушек мелькали и вновь исчезали господские горничные.

Забегала и Улинька. И сейчас же с ней рядом очутился лакей Александра Львовича Степан.

— Больно ты разругалась нынче, Уляша.

— Разругайся с устали, — ответила она и хотела уйти.

— Что же не погуляешь с нами? — удержал ее за руку Степан. — Делов, чай, об эту пору никаких нет.

— Садись, девка, я сказки сказывать стану, — поманил Уляшу и Михайло.

— Починай про Огорчеева, дядь Миша, — попросил Гриня.

— А ну его к лешему Аракчеева, — отмахнулся Михайло. — Чего его вспоминать, на ночь гляючи. Еще приснится, сатана... — И он стал разуваться. — Эх, пятки больные, а то бы я показал, как надобно плясать.

Улинька передала ему кусок жирного пирога и рюмку водки.

— С чего же они у вас эдакие сизые? — кивая на босые ноги Михайлы, с жалостью спросила она.

— А это, вишь, годов пять тому назад полковник Шварц, разъярившись, прогнал нас осенью босиком по скошенной ниве. А жнивье было тогда обледенелое, былки, будто гвозди, в ноги втыкались. А чтоб нагнуться занозу вытащить — никак не смей! Зубы вышибет, запрет. С тех пор слаб я стал на ноги, спортилась, видно, в них в ту пору кровь. Иной раз они у меня до того распухнут, чистые колоды сделаются. Так мне не то что сапог, а и лаптей не обувь.

— У мово папаша тоже ноги больные, — сочувственно проговорил высокий кудрявый парень, слуга князя Федора. — Сгубил их папаня, как Бонапарта из Расеи гнал.

— В армии воевал? — спросил Михайло, жуя пирог.

— Не в армии, а мужицким отрядом верховодил, вроде партизанского вожака был.

— Нешто у мужиков свои командиры были? — недоверчиво спросил казачок Василия Львовича.

— А то не были, — строго ответил Кузьма, княжеский слуга. — Отец мой рассказывал, как наши мужики облаву на врагов устраивали. Обложат, бывало, французов, которые по лесам, ровно волки, прятались. Выловят сколько-нисколько и по начальству предоставляют. Бабы и девки — и те лютовали, вместе с мужиками на врагов хаживали.

— Правильно батюшка твой поведал. О ту пору весь наш русский народ супротив врага поднялся и гнал его до самой парижской столицы. А уж, как пришли мы туда — такой нам почет и уважение жители тамошние оказывали — вспомнить отрадно! Женщины ихние цветики нам живые кидали, платочками махали! — Михайло растрогался воспоминаниями до такой степени, что счел необходимым выпить сразу одну рюмку за другой.

— А ты, дядь Миш, расскажи, как вас начальство привечало, когда вы на родимую сторону возвернулись? — ехидно спросил тот мужик, который накануне предлагал Михайле повернуть пушку в сторону господского дома.

Михайло откусил от соленого огурца и взял из рук Сереги умолкшую балалайку.

— Аль не слышал, что спрашиваю? — не отставал от него мужик с острой бороденкой.

— Отцепись ты от него, Клинок, — сказал Серега, — что пристал, как репей. Вишь, он за балалайку взялся, песню сыграть собирается.

— Ну-кось, дядь Миш, сыграй, какая в душу запала! Сыграй, уважь нас для праздничка! — просили разные голоса.

Михайло тронул струны и, оглядев людскую строгим взглядом, запел немного глуховатым, но приятным тенорком:

Были мы под Полоцком, под Тарутином,
Гнали злого ворога за Березину.
Оглушили навеки всех врагов своих,
Протрубили славушку с Белльвиля в Париж.
Домой воротилися — думали найти
Тебя, мать Расеюшка, в славе да в чести...
Что же очутилося — тебе ж хуже всех:
Чужого-то выгнали — свой ворог насел...

Длинную грустную песню Михайлы прерывали только глубокие вздохи слушателей да потрескивание пылающей в печи соломы. Окончив песню, Михайло снова выпил водки и закусил соленым огурцом.

Гринька, Панас и девушки стали просить его рассказать о семеновцах, которые сложили эту песню.

Не выпуская балалайки, Михайло тихонько касался ее струн. Их меланхолическое побренькиванье еще больше сгущало напряженное внимание, с каким людская слушала трагическую историю восстания Семеновского полка, в котором служил и сам Михайло:

— Началось дело во второй роте. Был в этой роте отменный солдат Бойченко, израненный в сражениях; имел он большие боевые заслуги. Со спеху стал он однажды во фронт, а того не видит, что одна пуговица мундира не застегнута. Известный солдатский истязатель полковник Шварц мигом подлетел к нему и плюнул в самые глаза.

— Ишь ты, супостат какой! — возмутились девушки. — Изверг проклятуций!

— Опосля сего, — продолжал Михайло, — схватил он Бойченку за рукав и повел перед батальоном, а сам приказывает, чтобы вся шеренга плевала солдату в лицо.

Гринька сжал кулаки и сконфуженно провел рукавом по глазам.

— Неужто плевали? — с ужасом спросила Улинька.

— Которые ослушались, были биты тесаком по башке, — ответил Михайло.

— А иные так-таки молчком стояли? — весь подавшись вперед, спросил Клинок.

— А ты знай слушай! — рывкнул Михайло. — Когда об этом безобразии прослышали в первой роте, собралась она самовольно вроде как на переключку. Фельдфебель орет, что не время еще, а рота ему в один голос: «Подавай нам сей минутой капитана Кашкарова, ротного командира!»

Тот прибежал ни жив, ни мертв, а мы ему напрямик заявляем: «Желаем принести жалобу на Шварца. Не хотим долгие терпеть его своим командиром. Весь полк не желает его тиранства». Капитан в ответ: «Я сего мимо начальства сделать не могу. Ступайте спать, а завтра я доложу начальству». Рота ни с места: «Докладывай, ваше благородие, нынче же, потому как дальше ни единого часу терпеть не станем». Поскакали по столице гонцы. Всполошились генералы, и давай к нам в казармы один за другим наведываться. И граф Бенкендорф, и князь Васильчиков, и генерал-губернатор Милорадович... И все в один голос: «Стыдно вам, государевой

роте, бунтовать. Могли уж, коли такое дело, в Ордонанс-гаус пожалиться». — «Жалились, говорим, да толку никакого не получалось. Тиран еще больше после тех жалоб мучает нас». Сам великий князь Михаил Павлович пожаловал и тоже давай укорять: «Не привык я видеть вас в эдаком непослушании. Да знаете ли вы, чего вы достойны за сие возмущение?» — «Знаем, — отвечает рота, — а только семеновцам не привыкать смотреть смерти в глаза». Прошел день. Другой. Ребята стоят на своем. Начальство посовещалось, пригнало к казарме павловцев и под их охраной отослало первый батальон в крепость. Наутро, как раздалась команда: «Стройся!», второй и третий батальоны заявляют: «К чему ж нам пристраиваться, коли нашей головы — первого батальона — нету?» А к вечеру уже весь полк взбунтовался. «Отдайте, кричат, наш первый батальон! Куда вы его задевали?!» А начальство им в ответ: «Ваш первый батальон выпустить никак невозможно — он в крепости. Если хотите, ступайте за ним и вы». Офицеры, которых мы уважали, стали было нас уговаривать: «Шли бы вы, братцы, по казармам». А мы им свое: «Требуем правды — справедливости и чтобы тирана Шварца убрали, а до того — ни с места!»

— Вот, черти, смелые какие! — восторженно вырвалось у Гриньки.

На него зашикали, и снова Михаилу слушали, затаив дыхание.

— Наш бунт весь Санкт-Петербург всполошил, — с гордостью продолжал он. — Пушки на улицы выкатили, снаряды к ним подвезли, как на поле битвы. Адьютанты, словно оглашенные, от одного начальства к другому скакали. Из Петергофа драгун вызвали на всякий случай: а вдруг артиллерия откажется по семеновцам палить. А мы стоим, будто гвозди в дерево забитые. Начальство пробовало нас и поодиночке, и целыми капральствами прощупывать: кто, мол, у нас зачинщики да кто из офицеров возмущал к бунту... А семеновцы все как один: «Сему делу полковник Шварц и никто другой не виноват». Подошел к нам и самый любезный семеновцам офицер — Муравьев-Апостол.

— Вашего барина старшой сын, — шепнул Панас лакею старика Муравьева-Апостола.

— Подошел он к нам, — рассказывал Михайло, — и тихонько сообщает: «За конной гвардией послано, братцы». А мы ему: «Входите в средину, ваше благородие, грудью вас отстоим... А только не обижайтесь — расходиться нам никак невозможно». Подскакал корпусный командир: «Без суда, говорит, вашего первого батальона из крепости не выпущу!» — «Покорнейше благодарим, отвечаем, что ж, видно, где голова, там и ноги. Айда, ребята, в крепость!» И зашагали в Петропавловскую в полном порядке безо всякого караула. Так что когда прибыла на Семеновский плац вооруженная сила, то получилось так, что и усмирять было некого.

— Здорово! — опять восторженно вскрикнул Гринька и бросил шапку оземь.

— Послушать не дает, чертенок головастый, — дернул его за вихры слуга князя Федора, Кузьма, и с жадностью спросил: — А опосля что было, Михайло Васильевич?

— А опосля получилось так: как проходили мы в крепость по улицам, народ толпами за нами валил. Кто сайку подаст, кто калач; а иные деньгами одаривали. Пришли мы в крепость и сами без конвойных по камерам распределились.

— Что же с вами сделали? — спросило несколько взволнованных голосов.

Михайло ответил не сразу. Он вытащил кисет и стал медленно скручивать козью ножку. Людская в ожидании молчала. Даже Гринька, сдерживая любопытство, шумно проглотил слюну.

Затянувшись несколько раз, Михайло, наконец, заговорил:

— Судили нас, фуражных и шинельных бунтовщиков... — губы у Михаила дрогнули. — Кого палками наградили, шпицрутенами попотчевали — по «зеленой улице», как солдаты называли тогда, провели. Двести человек, в уважение к их участию в сражениях и получения многих ран, заместо смертной казни сослали в Сибирь на каторгу, многих рассовали по далеким гарнизонам в ту же Сибирь или на Кавказ. Сам я чуть-чуть не очутился в Кексгольмской крепости, куда многих из моего батальона заперли. Горячкой заболел, как наших угоняли, а потом в инвалидную попал...

— А господа офицеры, небось, сухими из воды выскочили? — прищутив один глаз, спросил Клинок.

— Которые паскуды, так даже к наградам представлены были, а которые с понятием, слышно было, многие в Витебскую крепость посажены.

— А для полковника Шварца тем дело и кончилось? — снова после долгой паузы задал вопрос Клинок. — И где же оный господин нынче проживать изволит? Ась?

У Михаила под обветренной кожей задвигались желваки:

— Военный суд хотел, было воздать ему по заслугам, да заступился сам царь. Посчитал он, сказывали тогда сведущие люди, что аспид Шварц виноват токмо в том, что не взял мер для прекращения неповиновения. Из гвардии, однако ж, Шварца убрали, потому что и переформированный полк отказался от него.

— А ты все же скажи мне, где же он теперь находится? — повторил свой вопрос Клинок. — Нужно мне знать, где он проживает... Истинный крест, до зарезу нужно...

— Где? — злобно передразнил Михайло. — Граф Аракчеев к себе в военные поселения полковничать позвал. Ему такие лиходеи во как надобны...

— Эх, не так бы надо было с полковником тем поступить! — гневно стукнул Клинок кулаком по столу.

— Тебя не спросили, — сурово отозвался Михайло.

Он сидел мрачный и, время от времени протягивая Панасу рюмку, приказывал:

— А ну-ка, плесни еще!

Охмелев, он стал буянить: наступал то на Гриньку, то на Панаса, заставлял их вытягиваться во фронт.

— Отцов ваших так муштровали, а вы лучше, что ли?!

Потом схватился с Клинком:

— Мы разве разбойничать хотели?! Да ты знаешь, что многие из нас по пятнадцати ран на поле брани получили! Мы отечество от врага слобонили... А ты кто? Бродяга, шерамыжник, а меня, семеновца, учить вздумал!

Девушки жались к стенам. Гринька и Панас потирали от нетерпеливого любопытства руки. Накинув полушалок, Улинька убежала в дом.

Лакей и кучер князя Бярятинского, все так же картинно избоченясь и не переставая отпивать из княжеской фляги тягучее вино, внимательно наблюдали за всем, что творилось в людской.

8. Старая барыня

Не успели отшуметь именины, как в Каменке снова началась суета.

Приближались святки.

Повар Фомушка, получивший в подарок за именинный обед плису на шаровары и вышитую рубаху тонкого полотна, уже делал с Александром Львовичем обход

кладовых, птичника и погребов.

Ключница Арина Власьевна перецеживала наливки, никому не доверяя этого опасного по соблазну дела. Снова пересчитывались посуда и серебро.

Вытирая узенькую лодочку-блюдо от великолепного сервиза, Клаша обронила ее, и синие черепки со звоном разлетелись в стороны. Арина Власьевна вихрем подлетела к девушке и больно дернула за косу.

— Мужичье сиволапое! Куроцапы вы, а не девки, — накинулась она на всех девушек, убравших посуду. — На скотный двор вас, а не в господские хоромы. Пойдем к барыне, — потянула она Клашу.

Утирая рукавом слезы, Клаша покорно пошла за ключницей.

Екатерина Николаевна сидела за пасьянсом и о чем-то разговаривала с генералом Раевским, когда Арина Власьевна вошла к ней вместе с Клашей.

— Уж такая неприятность, матушка барыня, не знаю, сказывать ли. Вот эта мерзавка...

— Ежели можно не сказывать — не расстраивай зря, — остановила Екатерина Николаевна. — Знаешь ведь, не люблю расстраиваться.

Клаша упала на колени.

— Блуду я от синего состава разбила, — проговорила она сквозь всхлипывания.

Екатерина Николаевна приподняла унизанные кольцами руки.

— От синего сервиза?! Nicolas, — обратилась она к сыну, — ты помнишь, что это за сервиз?

— Еще бы! Подарок английского короля. Разве допустимо давать такие вещи в руки девкам...

Екатерина Николаевна вдруг насмешливо спросила по-французски:

— Уж не мне ли, или твоим дочкам из-за этого сервиза в судомойки превратиться? И вовсе не потому дорог он мне, что везли его в Россию под воинской охраной или потому, что подарил его король...

— А почему же, маменька? — удивился Раевский.

— Да потому, что подарок этот сделан мужчиной женщине, — с гордостью ответила старуха. — Ступайте прочь, — велела она Арине Власьевне и Клаше.

Когда они вышли, она вновь стала раскладывать прерванный пасьянс, не переставая разговаривать с сыном:

— Честолюбив ты не в меру, мой друг. Я бы ни за что не приняла предложения Волконского. На мои глаза он несколько не люб Машеньке. Да и где ему завладеть ее сердцем? Ведь он ей в отцы годится.

Раевский недовольно кашлянул.

— Вы, тапан, знаете, сколь дороги мне интересы моих дочерей. А Волконский — лучший жених в России.

— Ну и бог с ним. Нам лучших не надо. Нам хороших хватит, — отыскивая пару для трефового короля, возразила мать. — Машенька еще очень молода. Подождем ее выбора.

— А ежели ее выбор окажется неподходящим? — протягивая матери из пасьянса две шестерки, спросил Раевский.

— У меня в доме бывают молодые люди только отличного общества, — веско проговорила Екатерина Николаевна. — Среди них сколько хочешь подходящих женихов.

— Однако, тапан, не стали бы вы прочить Машеньке в женихи, ну, хотя бы

Пушкина...

Екатерина Николаевна пожала плечами.

— Чего скажешь, за сочинителя... — засмеялась она. Потом смешала карты: — Устала я, пошли-ка дочек ко мне. Я за суетой и не нагляделась на них вдоволь. Небось заберешь их с собой в Киев. Там контракты, поди, скоро начинаются.

— Я своих дочек на ярмарки не вывожу, — холодно ответил Раевский.

Когда он ушел, старуха велела позвать к себе Арину Власьевну.

Та явилась с целым ворохом образцов кружев, только что забранных у кружевниц.

Некоторые узоры особенно понравились Екатерине Николаевне, и, узнав имена вязальщиц, она велела выдать им «особливую порцию гостинцев».

— Как вашей милости угодно будет, — кланяясь, сказала Арина Власьевна, — а только осмелюсь доложить: похвальба холопкам — пагуба. Им ни о чем другом и думать не полагается, окромя как господам угодить. А уж как Уляша плетет, так это точно диво! У барыни Аглаи Антоновны на парижских сорочках кружева против Улиных не лучше. Характерная девка, а мастерица первеющая.

Арина Власьевна тяжело опустилась на пол возле корзинки с кружевами и стала сообщать старой барыне новости девичьей и дворни.

Первой к бабушке вошла Маша.

— Ну и глаза у тебя, — взглянув на нее, улыбнулась Екатерина Николаевна, — диаманты черные, а не глаза. Не удивительно, что они закаленного в боях генерала обожгли.

— Разве папенька уже сказывал вам? — с живостью спросила Маша.

Екатерина Николаевна пристально поглядела на нее:

— Дело не в папеньке, а в тебе самой.

— Папенька ничего не может сделать такого, что бы не было прекрасно! — восторженно вырвалось у Маши.

Бабушка усмехнулась.

— Эх вы все влюблены в своего папеньку! — Заметив, что лицо внучки омрачилось, она шутливо взяла ее за ухо. — А с Пушкиным кто кокетничает? Ну-ка, погляди на меня своими угольками...

Маша серьезно поглядела бабушке в глаза и села у ее ног на придвинутый Ариной Власьевной пуф. Она не знала, что ответить Екатерине Николаевне, потому что ей самой трудно было разобраться во всем, что случилось.

Вчера отец передал ей официальное предложение князя Волконского, сделанное через Орлова. Отец дал свое согласие на этот брак. Ему и в голову не могло прийти, чтобы его желание не было законом для дочери. Когда Маша сказала: «У меня к князю Волконскому нет нежного чувства», Раевский удивленно поглядел на нее.

— При заключении разумного брака оно вовсе не обязательно, мой друг. — И, помолчав, добавил: — Особливо брака с таким достойнейшим из достойнейших, как князь Волконский. Впрочем, со свадьбой торопиться не будем...

Вспоминая этот короткий разговор, Маша, прислонившись к бабушкиным коленям, рассеянно перебирала образцы кружев.

Легонько постучав в дверь, вошла Елена. Ее обычно бледное лицо казалось еще бледнее от синего платья с высоким воротником. Она подошла к бабушке и поцеловала у нее руку. Маша подвинулась на пуфе, чтобы дать место сестре.

Екатерина Николаевна опустила взгляд на склоненные к ней головы внучек.

— Ведь эдакие разные — чернушка и беляночка. Кто бы сказал, что сестры. Елена закашлялась и никак не могла перевести дыхание.

— Нынче опять снаряжу вас в Крым, — с беспокойством глядя в ее лицо, сказала Екатерина Николаевна.

— До весны далече, матушка барыня, — вмешалась Арина Власьева. — Можно бы барышню и у нас от грудной болезни полечить. Кабы только милость ваша выслушать соизволили.

— Небылицы какие-нибудь, — небрежно проговорила Екатерина Николаевна.

Арина Власьева поджала губы.

— Как угодно, матушка барыня.

— Нет, бабушка, пусть скажет, — попросила Маша. — Арина Власьева, голубушка, ну же скажите!

Ключница не сразу заговорила:

— Мамзель Жоржет, как жила у графов Лавалей, знавала там крепостного лекаря, — при господах состоял он. И не только всю графскую фамилию пользовал он своими травами, а даже и из иных барских домов к нему за его снадобьем присылали.

Елена, перестав, наконец, кашлять, вытерла лоб концом шейного шарфика и внимательно слушала Арину Власьевну.

— Я сама не раз пила его снадобья, — продолжала старуха, — оно и удары падучей утишает, и дрожание сил отъемлет, мигрену мигом прогоняет, биение нервов останавливает и даже барабаны в ушах смягчит.

Веселый Машин смех прервал ключницу.

— Напрасно изволите смеяться, барышня.

— Нет, это восхитительно! — продолжала смеяться Маша. — «Барабаны в ушах»!

— А состав-то снадобья помнишь? — тоже улыбаясь, спросила Екатерина Николаевна.

— Отлично помню. Чистого сабура, значит, требуется полчашки, цицварного корня да венецианского териаку помалу, окромя сего, еще стираксы да сахарку для вкуса и настоять все на вине. Ужась, до чего полезно!

Елена перешла к книжному шкафчику и стала перебирать кожаные с позолотой на корешках старинные томики.

— Вели нам сюда чаю подать, — приказала ключнице Екатерина Николаевна. — А снадобье свое приготовь, я его сперва на ком-либо из дворовых испытаю. А ты, Машенька, спела бы мне. Давно я твоего голоса не слыхала.

Маша послушно подошла к клавесину.

На легкие прикосновения ее пальцев старый бабушкин клавесин ответил мелодичными грустными звуками, будто зазвенели гусли.

— С таким аккомпанементом нехорошо выйдет, — сказала Маша. — Если желаете, я лучше вам в гостиной спою.

Екатерина Николаевна сама подошла к клавесину и села на стул с высокой резной спинкой. Сдвинув выше локтей кружевные манжеты платья, она взяла несколько аккордов, потом, уронив руки на колени, задумалась.

Обе внучки с радостным нетерпением ждали бабушкиной игры.

И когда ее маленькие, сморщенные пальцы задвигались по пожелтевшим клавишам, девушки, прижавшись друг к дружке, слушали мелодию отлетевшей бабушкиной молодости.

Им казалось, что клавесин то жеманно смеется, то грустит, то наивно воркует. Но

вот бабушка вспомнила что-то бравурное, страстное. Быстрей запрыгали желтые клавиши, и весь палисандровый клавесин задрожал на тоненьких высоких ножках.

Обрывисто прозвучал последний аккорд, и Екатерина Николаевна, откинувшись, уронила руки на колени.

— Что вы играли? — взволнованно спросила Маша.

— Не помню... — бабушка огляделась, будто отыскивала глазами только что всплывшие в памяти образы прошлого.

Наступило долгое молчание.

— Не нравится мне твой наряд, — вдруг обратилась Екатерина Николаевна к младшей внучке, — цвет темный, шея и руки закрыты. Подайте-ка что-нибудь из журналов мод. Хотя бы вот тот сборник в красном переплете. Я выберу фасон, а Жоржет его к современному подгонит.

Маша взяла с полки большую красную книгу.

— А, знаю, бабушка, это «Новости господина Флориана». Прочти-ка предисловие, Ленуся.

Елена, открыв книжку, пробежала глазами несколько строк и улыбнулась.

— «Государыни мои, — начала она вслух. — Вот новые новости господина Флориана в российском платье. Повергаю их к стопам вашим, зная, что вы всегда любили писателя, коего слог, подобно тихому, приятно по камешкам журчащему ручью, привлекает к себе все чувствительные сердца. Благосклонное принятие ваше, сверша желания мои, побудит меня и впредь упражняться в переводе книг, вам приятных. Впрочем, имею честь быть ваш всегда истинный обожатель».

— Как забавно! — перелистывая книгу, сказала Елена.

— А вы на фасоны поглядите, — пышность какая, красота... Вот этот, например. У меня точь-в-точь такой был сделан из тафты в Париже. На голове чепец из белого гофре, убранный пунцовой лентой. В ушах большие круглые золотые серьги. На шее белый флеровый пышный полуоткрытый платок, затем коротенькое пьеро с флеровыми рукавами, тоже обшитое пунцовой лентой. Юбка такая же, как пьеро, и пунцовые атласные башмачки.

— Прелесть вы в таком туалете были, наверное, несказанная! — воскликнула Маша.

Екатерина Николаевна снисходительно улыбнулась.

— Тогда пунцовый цвет очень носили, — продолжала она задумчиво, — хотя в то же время появилась уже мода обшивать платья черным и желтым цветом. Ее называли *a la contre revolution note 10*. Но по причине близости ее к фонарному столбу была она опасна и потому скоро исчезла. Еще была у меня к этому костюму шляпа из тафты с блондами. Дядюшка Потемкин очень любил, когда я надевала ее вместо чепца немного набок, а здесь спускалась гирляндка из цветов и пышный бант. Я в таком туалете на миниатюре изображена. Она и у вашего отца должна храниться.

— Я ее видела, бабушка, — снова направляясь к книжному шкафчику, ответила Маша. — Позвольте мне взять у вас одну книгу.

Она достала коричневый томик. Открыла первую страницу: «Генриетта де Вальмар, или мать, ревнующая к своей дочери, истинная повесть, служащая последованием к „Новой Элонзе“ господина Ж. Ж. Руссо».

Note10

Контрреволюционная (франц.).

— Это мне можно читать? — спросила Маша, показывая бабушке книгу.
Екатерина Николаевна улыбнулась:
— Уж коли вы Пушкина слушаете и читаете, так и это можно...

9. Сочинитель Пушкин

За дверью послышались стремительные шаги, и молодой мужской голос спросил разрешения войти.

— Легок на помине, — ласково встретила Пушкина Екатерина Николаевна.

— Проститься пришел, — сказал Пушкин, почтительно кланяясь.

— Куда это торопишься, батюшка? — прищурилась Екатерина Николаевна.

— В проклятый Кишинев, а то Инзушка рассердится за длительную отлучку и посадит на гауптвахту или на несколько дней оставит без сапог.

Бабушка и внучки рассмеялись.

— Он тебя будто мальчишку школит, — сказала Екатерина Николаевна. — Да оно и стоит. Наслышаны мы через Мишеля о твоих кишиневских проказах.

Глаза Пушкина весело блеснули.

— Надеюсь, Орлов не обо всех моих проделках рассказывал?

— Достаточно и тех, о которых поведал, — с ласковой насмешкой ответила Маша.

— Меня увлекает образ Калипсо, — задумчиво проговорила Елена. — Правда ли, что, когда они встретились в Константинополе, Байрон полюбил ее?

Пушкин залюбовался устремленными на него серьезными голубыми глазами.

— Ты его о таких вещах не спрашивай, — с шутливым испугом предупредила внучку Екатерина Николаевна.

— Отчего же, — улыбнулся Пушкин, — весьма возможно, что гречанка эта целовалась с Байроном. Однако не это меня пленило в ней, а ее пение. Она исполняет сладострастные турецкие песни несколько в нос, под аккомпанемент жестов и глаз, которые при этом сверкают таким огнем, что за пылкий темперамент ей можно простить и ее длинный нос, и...

— Полно, Александр Сергеевич! Пожалуйста, без подробностей, — остановила Екатерина Николаевна. — Расскажи-ка нам лучше, чем тебя у кишиневских хозяев угощали, какие там вина или, может быть, особенные блюда какие?

Усевшись на низеньком пуфе, Пушкин стал подробно рассказывать о кишиневских каймаках, мамалыге, о восхитительном варенье — дульчацы и крепком молдавском кофе, который нигде не бывает так приятно пить, как лежа на широком, покрытом пестрым ковром топчане, в салоне кишиневского боярина или будуаре его супруги.

— Если бы вы видели этих боярынь-кукониц! — прерывая свой рассказ, воскликнул Пушкин. — Они разряжены в аляповатые венские моды, нарумянены, набелены, глаза подведены. И при этом на плечах неизменная турецкая шаль, а на ногах папучи — эдакие смешные сапожки. Одна бояресса, усевшись на диван, незаметно сняла свои папучи. А я их спрятал...

Дамы расхохотались.

В комнату, грузно ступая, лениво вошел Александр Львович.

— Вот опоздал, — встретила его Екатерина Николаевна. — Александр Сергеевич здесь по твоей части интересное насчет бессарабских кушаний рассказывал.

— Он и то обещал мне мамалыгу собственноручно приготовить, — ответил Александр Львович.

— Друзья мои, все эти восточные яства надоедают так же быстро, как прятая любовь восточных женщин, — сказал Пушкин. — Твоих же обедов, Александр Львович, не превзойти никому во всем свете. А молдавского вина, разведенного водой, после твоего лафита и кло-де-вужо никто из вас даже и не пригубил бы.

— Нет, эту самую мамалыгу у них славно подают. — Александр Львович прищурился и стал поразительно похож на Потемкина. — Да, да, — повторил он, — умеют. А тебя мы так скоро не отпустим. Я, тамап, хочу написать к Инзову, чтобы он не подумал, будто Пушкин сбежал куда-нибудь.

— Прекрасно придумал, — одобрила Екатерина Николаевна. — Там у меня найдешь бумагу, а перьев вели из кабинета подать.

Александр Львович подошел к палисандровому бюро и шумно отодвинул тяжелое кресло.

Маша потянула ручку звонка, висевшую на широкой малиновой ленте. Явился Степан. Александр Львович молча сделал рукой несколько движений, выражающих намерение писать.

Степан подал большой лист синеватой с дворянской короной бумаги и несколько хорошо очинённых гусиных перьев. Александр Львович так же молча указал ему на незажженные свечи.

— От меня генералу поклон напиши, — велела сыну Екатерина Николаевна.

Пока Александр Львович писал, Пушкин вполголоса убеждал Елену не уничтожать ее переводов из Вальтера Скотта и Байрона, называя их превосходными.

Елена, краснея, упрекала его за то, что он подбирал эти разорванные ею переводы.

— Но, мадемуазель Элей, — оправдывался Пушкин, — поймите же, что страстность моей натуры проявляется и в любви к английской поэзии... Разве вы не заметили этого, когда в бытность мою у вас в Гурзуфе вы обучали меня английскому языку по «Чайльд Гарольду»?

— Помнишь, как в день твоего рождения Александр Сергеич прочел наизусть «From Anacreon» *note 11* Байрона и ты так хвалила его произношение? — спросила сестру Маша.

При упоминании о Гурзуфе лицо Пушкина, за минуту перед этим дышащее неудержимым оживлением, вдруг затуманилось.

— Гурзуф! — горячо вырвалось у него. — Прелестный край! Любимая моя надежда — опять увидеть его полуденный берег... Проснуться ночью и слушать шум моря... Заслушиваться им целые часы... А утром выйти на балкон и заглядеться пленительной картиной: разноцветные горы сияют, плоские кровли татарских хижин кажутся издали ульями, прилепленными к горам... Тополи, как зеленые колонны, стройно возвышаются между ними... Слева — Аюдаг. В тумане — Чатырдаг. Кругом синее чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный... Сбежать вниз и, как друга, обнять мой кипарис...

«Кто может находить его некрасивым?» — думала Маша, заглядевшись на Пушкина.

Note11

«Из Анакреона» (англ.).

— А знаете, Александр Сергеевич, — прервала она наступившую тишину, — когда Катиш с Мишелем были в Гурзуфе, тамошние татары уверяли их, что на кипарис, под которым вы так любили сидеть, постоянно прилетает соловей и поет... поет...

Пушкин глубоко вздохнул.

— Пернатый гость моего кипариса счастливей меня... Простить себе не могу, зачем я наслаждался гурзуфской природой с беспечностью неаполитанского *lazzaroni note 12*. Не для того ли, чтоб мой жадный взор ныне вновь стремился увидеть таврические волны и чтоб чувство, столь мучительное в своей неудовлетворенности... — он вдруг замолчал и остановил на Маше долгий взгляд.

Она смутилась.

Снова наступила тишина, нарушаемая скрипом гусяного пера в руке Александра Львовича.

Вошел Степан с горящей свечой и зажег стоящий на бюро канделябр. Александр Львович продолжал писать, уткнув двойной подбородок в ослепительно белое жабо.

— От тебя что передать? — неожиданно обернулся он к Пушкину.

Тот вскочил с места так быстро, что длинные полы серого его сюртука взметнулись над малиновым пуфом,

— Напиши к нему, что:

Я стал умен и лицемерю,
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь — мои стихи...

и еще что:

Я променял Вольтера бредни
И лиру — грешный дар судьбы —
На часослов и на обедню
Да на сушеные грибы...

— Bravo! Bravo! — захлопали дамы.

Александр Львович залился хохотом, тряся складками жирного подбородка.

Отдышавшись и поохав от смеха, он посыпал письмо из серебряной песочницы и посушил над свечой.

— А теперь послушайте и мой экспромт, — предложил он, сдувая с письма крупы пса: — «Милостивый государь мой, Иван Никитич! По позволению Вашего Превосходительства Александр Сергеевич Пушкин доселе гостит у нас, а с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев. Но, простудившись очень сильно, он не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долгом своим поставляю уведомить Ваше Превосходительство и при том уверить, что коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, тотчас же не замедлит отправиться в Кишинев».

Note12

Бездельник (итал.).

— Очень хорошо написал, — похвалила Екатерина Николаевна. — Святки Александр Сергеевич у нас погостит, на крещение все в Киев съездим, а там видно будет... Так как же, Машенька, — обратилась она к внучке, — так и не споешь нынче?

— Спою непременно, только в гостиной, под новые клавикорды.

— А кишиневские певицы аккомпанируют себе на кобзахи тростянках, — сказал Пушкин. — Эти инструменты настоящие цевницы. — Он вполголоса пропел отрывок дикого и страстного молдаванского напева, закончив его словами: «Ар-дема... фридема...»

— Это напоминает цыганскую песню, которую вы нам однажды спели, — вспомнила Маша. — Там еще были слова: "Режь меня, жги меня". Помнишь, Элен?

Но Елена не слышала этого вопроса. Стоя у окна, она неотрывно глядела на поданный к крыльцу небольшой экипаж. Возле экипажа человек в высоких ботфортах, согнувшись, что-то исправлял у заднего колеса. Рядом стоял Василий Львович в накинутой на плечи шинели и без шапки. Он с кем-то оживленно разговаривал, но с кем, Елене не было видно из-за навеса над крыльцом.

Наконец, возившийся у экипажа человек выпрямился, потрогал молотком железный обод колеса и обернулся. Елена узнала в нем механика Шервуда, уже несколько месяцев жившего в Каменке.

Василий Львович протянул руку и свел с крыльца невысокого коренастого полковника.

«Так и есть — Пестель!» — узнала его Елена и невольно прижала руку к забившемуся сердцу.

Незаметно для других она протерла концом голубого шарфика запотевшее от ее дыхания стекло.

Ей показалось, что, вскочив в экипаж, Пестель поднял глаза к окну, у которого она стояла, и, чуть-чуть улыбнувшись, прикоснулся к козырьку своей фуражки.

Вспыхнув до корней волос, Элен медленно наклонила голову.

10. У гувернантки

Накануне отъезда в Петербург, не найдя племянниц в гостиной, где обычно перед ужином собиралась молодежь, Василий Львович решил, что все они у мадам Жозефины, старой гувернантки, живущей в Каменке на покое.

Проходя по знакомым с детства комнатам, слабым полуосвещенным светом редких канделябров, Василий Львович видел в зеркалах свое отражение и тусклый блеск эплет.

В дверях между залом и диванной тяжелая бахрома драпри слегка растрепала ему волосы. Он пригладил их обеими руками и, как всегда, с удовольствием почувствовал их шелковистую густоту.

Из комнаты мадам Жозефины слышался оживленный говор.

— *Entrez note 13*, — ответили на стук Базиля разные голоса.

Все обернулись к нему, но Базиль встретил только один застенчивый и радостный взгляд Сашеньки Потаповой.

Сашенька с самых именин хозяйки дома гостила в Каменке, однако между нею и

Note13

Войдите (франц.).

Василием Львовичем, к огорчению Екатерины Николаевны и ее внучек, ничего решительного относительно их женитьбы сказано не было.

Сашенька подвинулась на диване, и Василий Львович сел возле нее, опершись на расшитую бархатную подушку.

— Что это вы все такие красные? — наклонившись к Элен, спросил он.

— Вы только послушайте... — взволнованно отвечала она.

Старая гувернантка строго посмотрела на Василия Львовича и поправила очки.

— Я не помешал? — спросил Базиль.

— Что вы, несколько, — ответила Маша, — продолжайте, продолжайте, madame.

Француженка, видимо, говорила о чем-то волнующем и ее и молодежь.

Якушкин стоял против нее, опустив голову, и крепко сжимал спинку стула, на котором сидела Маша.

Князь Барятинский, нагнувшись к Базилью, кивнул в сторону старой гувернантки:

— Вот, мой друг, как любят свою родину!

— И все же не столь беззаветно, как русские, — горячась, вступил в разговор Басаргин, — двенадцатый год явно показал, на какие подвиги способен наш народ, когда дело идет об отечестве. Дайте ему только хороших честных вожатых, покажите, что вы заботитесь о нем, и тогда ведите его куда угодно. Он заплатит вам за каждое сделанное для него добро неограниченною преданностью, самым бескорыстным усердием.

— Счастлив тот, кто так думает, — вздохнул Базиль.

— Я скоро кончу, — выразительно посмотрев в их сторону, сказала Жозефина. — Или, может быть, уже довольно?

— Нет, нет! Мы хотим вас слушать! — раздалось в ответ несколько голосов.

— Я сказала, — продолжала Жозефина по-французски, — что мой народ тридцать пять лет тому назад оповестил весь мир о свободе, равенстве и братстве. От ветра свободы, подувшего из Франции, стали разлетаться троны, как будто бы они были сделаны из карт... Даже ваш император... — француженка замялась.

— Что наш император, мадам? — насмешливо спросил Якушкин.

— Император Александр дал все же конституцию Польше и, может быть, даст ее, наконец, и России.

— С тем, чтобы Аракчеев был первым министром, — иронически добавил Василий Львович.

— Будто Аракчеев и сейчас не является им фактически, — сказал Якушкин.

— Я не понимаю, господа, — вдруг звонко проговорила Сашенька, — что же, по-вашему, мы так и останемся навсегда рабской страной?!

— Какая-токая рабская страна? — неожиданно появляясь на пороге, спросил генерал Раевский.

— Папенька, сюда пожалуйста! — радостно позвала Маша.

Но Раевский сел возле Элен и озабоченно прикоснулся губами к ее лбу.

— Опять горяч, — хмурясь, сказал он. — Лекарства мои принимаешь?

— И ваши, папенька, и те, что Арина Власьевна изготовила.

— И их принимай. Народные средства самые наивернейшие. А вы что? Небось, опять обсуждаете дела политические? — обратился он к притихшей молодежи. — Пошли бы лучше в зал попрыгать. А Россия без вас устроится.

Маша схватила обе руки отца и прижала их к своим пылающим щекам:

— Не говорите так, папенька. Ведь вы это несерьезно.

Раевский погладил ее по голове.

— Вот и ты, князь, — улыбнулся он Барятинскому, — у нас, небось, устроителя отечества из себя кажешь, а девицам и в голову не приходит, какой ты сорви-голова.

— Помилуйте, ваше превосходительство... — Барятинский придал лицу невинное выражение.

— Вот вы каков, — засмеялись барышни.

— Лоло, варшавскую прелестницу, помнишь? — погрозил генерал.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — уже с искренним испугом повторил Барятинский.

— То-то же. Ну, марш в зал. Да Пушкина зовите, а то его целый день что-то не видно.

— Я посылал за ним Степана, — сказал Василий Львович, — говорит, что Пушкин лежит в бильярдной на столе и пишет.

— Порыв вдохновенья, — тихо сказала Элен. — А все же его следует дозваться.

Раевский взял ее под руку и повел в зал. Барятинский предложил руку Маше, Василий Львович — Сашеньке.

— Говорят, вы превосходно танцуете русскую? — спросил он, задерживаясь в дверях.

Сашенька радостно улыбнулась:

— Ко мне здесь все слишком снисходительны. Правда, что вы уезжаете в Петербург?

— Да, собираюсь и буду вас просить писать ко мне.

— Я опасаюсь, что в шумной нашей столице, при всех ее веселостях и приятных рассеяностях, вы скоро забудете меня, провинциалку.

— Сашенька, ведь вы знаете отличное мое к вам расположение.

Неожиданный звон чего-то упавшего на пол заставил их обернуться.

Они не заметили, как в комнату вошла Улинька. Снимая нагар со свечей, она уронила серебряные щипцы и, став на колени, старательно вытирала концом передника восковые брызги на паркете. Француженка сердито смотрела на нее поверх очков.

Из зала послышались звуки клавикордов, и женский голос запел по-итальянски:

— Ah, tempi passati no tornano piu'! *note 14*.

— Это Маша! — шепнула Сашенька. — Какой у нее прекрасный голос!

— С годами он становится все лучше и лучше, — восхищенно произнес Базиль. Взявшись за руки, они направились в зал.

Навстречу шел Степан.

— Где Александр Сергеевич? — спросил Базиль.

Степан, улыбаясь, развел руками:

— Они всё в бильярдной. Велели-с подать одеваться. Я принес сюртук. «Хорошо, говорят, очень хорошо», а сами все пишут. Я стою и жду. А они: «Сейчас, сейчас, душа моя». И опять все пишут. Весь пол листочками засыпали. Потом Александр Львович вошли. Взяли меня за рукав, вывели, и дверь сами тихонько прикрыли.

11. Верноподданные

Note14

Ах, прошлое время назад не вернуть! (тал.)

Придворный медик Виллье, неотлучно находящийся при Александре I, с беспокойством замечал, что в последний день смотра Второй армии у царя вокруг глаз легли темные облучи усталости и вся фигура как-то обмякла.

Видимо, и всех утомил затянувшийся смотр.

До семидесяти тысяч человек — пехота, кавалерия и артиллерия — маневрировали на пространстве в несколько квадратных верст, то распадаясь на длинные цепи, то сливаясь в правильные каре и колонны.

Выдвигая вперед свои оркестры, войска располагались полукругом у огромного царского павильона.

За павильоном на высоких строганых скамьях, пахнувших отсыревшими досками и смолой, сидели гости, среди которых было много нарядных дам. Их смех и возбужденные голоса смешивались с рывканьем и откашливанием тромбонов, волторн и взвизгиванием корнет-а-пистонов.

У походного аналая стояли два священника. Дежурные офицеры сутились у обеденных столов. И все это шумело, гудело, двигалось и ослепительно сверкало.

Сверкали начищенные трубы духовых инструментов, золотые погоны, бахрама эполет, звезды, ордена, иконы, хоругви, драгоценные украшения женщин, сверкали хрустальные бокалы и вазы, серебро ножей и вилок на накрытых к парадному обеду столах.

Командующий армией граф Витгенштейн нетерпеливо следил за мерно катящимися волнами войск.

В начале смотра он испытывал к солдатам глубокую благодарность за то, что они так же, как и он, стремились показать царю, что армия Витгенштейна находится в образцовом порядке. Но к концу смотра это чувство рассеялось под влиянием усталости и голода.

Витгенштейн, как и большинство офицеров, все чаще поглядывал в сторону Тульчина, где на обширном поле виднелись искусно сделанные из соломы павильоны с белеющими на обеденных столах скатертями.

Когда мимо царя проходила бригада, которой командовал Волконский, Александр окликнул его.

— Я очень доволен вашей бригадой, мсье Серж, — проговорил он. — В полках сказались следы ваших трудов. И по-моему, — царь понизил голос, — для вас гораздо выгоднее продолжать эти труды, нежели заниматься устройством моей империи, в чем, извините меня, вы и толку не имеете.

Волконский молча поклонился.

«Неужели царь знает о Тайном обществе?» — тревожно подумал он.

Отвернувшись от Волконского, Александр обратился к начальнику штаба Киселеву тоже с выражениями благодарности за усердную службу:

— Не знаю, чем вас и наградить, Павел Дмитриевич. Другому подарил бы земли или людей, но вы никогда этого не просите.

Киселев тонко улыбнулся.

— Я знаю, государь, что вы охотно дарите, но не уважаете тех, кто напрашивается на дары. Мне же уважение ваше дороже наград!

Александр понравился ответ. Он улыбнулся и снова навел лорнет на войска.

Проходили последние шеренги пехоты.

Александр подозвал к себе верхового полковника и что-то сказал ему. Полковник,

сделав под козырек, круто повернул высокого серого коня. Тот взвился, и сильное его копыто задело царскую ногу.

Александр поморщился. Мгновенно вокруг него образовался рой блестящих мундиров. Злополучного полковника оттеснили несколько офицеров и штатских, которых до этого момента не было заметно.

Царь, чуть побледнев, что-то сказал дежурному генералу и медленно направился к колыхающимся хоругвям. За ним, как хвост за павлином, двинулась пышная, пестрая свита.

После молебна Александр, чуть-чуть прихрамывая на ушибленную ногу, вошел в ближний павильон.

Заиграла музыка. Царь занял место в середине стола.

Над его креслом возвышалось лучистое сияние, устроенное из штыков, пик и сабель.

Сейчас же возле царя появился Аракчеев.

Среди нарядных свитских мундиров Аракчеев, в своей старой, полинявшей шинели и фуражке с тусклым козырьком, выделялся, как ржавая лейка среди цветочных клумб.

— Обезьяна, — шепнул Басаргину князь Барятинский.

— Ничего подобного не мог себе представить, — также тихо откликнулся Басаргин.

Многие из присутствующих тоже впервые видели жестокого сподвижника Александра и с любопытством его рассматривали.

Аракчеев поражал своей отталкивающей внешностью. Безобразны были его толстые мясистые уши, огромный нос со вздутыми сизыми ноздрями и мокрые широкие губы. Взгляд его мутно-серых глаз колот своей злобной подозрительностью.

Свояченица генерала Киселева, хорошенькая княжна Потоцкая, шепнула сестре:

— Какое чудовище! И эти отвратительные губы! Брр... — брезгливо вздрогнув, она плотнее закуталась горностаевой мантилькой.

— Тише, Ольга, — испуганно ответила Киселева и чуть слышно прибавила: — Ужасен! Суший орангутанг...

Хлопнули первые пробки шампанского. Витгенштейн провозгласил здоровье царя. Музыка заиграла туш.

Артиллерийские и ружейные салюты раскатисто громыхнули по степи. Десятки тысяч солдатских глоток выдохнули троекратное «ура». И только после этого людям скомандовали: «Вольно!»

Эта команда будто выдернула стальной стержень, на котором держалась вся напряженная парадность. Измученные солдаты врассыпную побежали к палаткам и кухням. Не успели отойти затекшие от однообразного положения мускулы шей, плеч и спин, как над толпой уже всплескивались шутки и смех.

— Гляди, хохол, в генералы произведут, — зубоскалил коренастый рядовой над марширующим уже по инерции товарищем.

— Чего не буває, — флегматично ответил украинец.

— Вань, гляди, аль не несут ли и нам с царского стола? У меня что-то глаз запорошился, не видать ничего, — подтрунивал другой над товарищами, которые, отхлебнув обычных щей, сплюнули.

— Хоть бы для праздника вкусней чем попотчевали.

Снова грянул орудийный салют.

— Чего же не орете, черти? — выругался взводный. — Хотите, чтоб из-за вас и меня упекли!

— Ура! — озлобленно закричали солдаты. — Ура, ура!

— Слышите, ваше величество, восторженные клики воинов? — обратился к царю Аракчеев. — Клики сие суть лишь слабое выражение той преданности, которой переполнены сердца всей армии, от командного состава до последнего рядового.

Александр позволил слезам выступить на блеклую голубизну его глаз и с растроганным видом наклонил голову.

Уже за обедом стало известно о наградах и передвижениях по армии. Поражались тому, что Александр неожиданно милостиво отнесся к Киселеву, недавно убившему на дуэли одного из друзей юности царя. Говорили о Михайле Орлове, который на замечание царя о том, что в 16-й дивизии «в людях заметно неблагоприятное направление духа», так взглянул на него, что царь, оборвав себя на полуслове, вонзил шпоры в своего белого коня и поскакал дальше.

Слушая застольные речи, Александр делал вид, что верит всем этим излияниям, и улыбался той присущей ему «прельстительной» улыбкой, которую каждый мог принять на свой счет.

После того как царь провозгласил тосты, сначала в честь командующего армией Витгенштейна, потом в честь Киселева, Аракчеев сердито почесал свой огромный мясистый нос и заерзал на месте.

Дождавшись, когда улегся взрыв возгласов, вызванных последним царским тостом, он, держа по привычке голову набок, обратился к Киселеву своим гнусавым голосом:

— Радуюсь за вас, Павел Дмитриевич, что его величество так вами довольны. Желал бы я поучиться у вашего превосходительства, как угождать государю. Позвольте мне побывать в вашей Второй армии. Даже не худо было бы, если бы ваше превосходительство взяли меня на время к себе в адъютанты.

Аракчеев улыбался, но улыбка эта походила на угрожающий оскал.

«Дорого обойдется Киселеву царский комплимент», — подумали многие и с нетерпеливым вниманием ждали ответа начальника штаба.

Александр, все время переглядывавшийся с хорошенькими женщинами, тоже обернулся к Киселеву.

Тот поднялся.

Его жена наклонилась к Басаргину и испуганно зашептала:

— Ради бога, передайте скорее мужу, чтобы он был осторожней.

Киселев заметил волнение жены и успокоил ее взглядом.

— Что же, граф, — раздался его голос, — милости просим погостить во Второй армии. А вот относительно того, чтобы взять вас в адъютанты, — извините. После этого вы можете пожелать и меня своим адъютантом. А я этого отнюдь не хочу...

Послышался смех. Улыбнулся томно и Александр.

Аракчеев пробежал по лицам сверлящим из-под нависших бровей взглядом и хотел было привычным жестом поковырять в широких ноздрях, но спохватился и так воткнул в ростбиф вилку, что она с визгом скользнула по тарелке.

Царь снова обратился к Киселеву:

— Мы с графом приглашаем ваше превосходительство посетить вместе с нами военные поселения.

Киселев почтительно поблагодарил за приглашение.

— Эта дама рядом с Басаргиным жена Киселева? — тихо спросил царь Аракчеева.

— Направо — жена, а слева — свояченица. Извольте видеть, ваше величество, — писаная красавица. К ней молодой Нарышкин сватается.

Нарышкин приходился близким родственником Марии Антоновне Нарышкиной, с которой Александр находился в долготетней связи и от которой имел дочь Софью, тихую, слабогрудую девушку с прозрачными печальными глазами.

Царь глубоко вздохнул. Ему вспомнился последний вечер у Марии Антоновны на ее даче под Петергофом. Милые глаза. Полная белая рука, нежно охватившая его плечо, и ласковая угроза: «Смотри же, если не приедешь долго — велю нашей дочурке разлюбить тебя. Да я и сама не могу, если тебя подолгу не вижу...»

— Наш губернатор Милорадович без памяти влюблен в эту красавицу, — продолжал Аракчеев, облизывая и без того мокрые губы. — Говорят, что для ее потехи скачет на одной ножке и кричит петухом.

Ольга Потоцкая, заметив, что Аракчеев то и дело поглядывает на нее, инстинктивно сжалась. Но тотчас же рассердилась за это на себя и постаралась выдержать замаслившийся аракчеевский взгляд.

— Ведь и то сказать, ваше величество, разве для эдакой женщины не наделаешь глупостей...

— Да, чего для нее не сделаешь, — думая о своей незаконной дочери, вслух повторил царь слова Аракчеева. И предложил тост «за прекрасных дам».

Аракчеев первый закричал «ура».

— «Без лести предан», — шепнул о нем Бярятинский Басаргину.

— Да, этот бес лести предан чрезмерно, — отвечал тот. — Ведь для Аракчеева острый нож то, что царь зовет в поездку по военным поселениям Киселева. А смотрите, как юлит.

Обед тянулся не так долго, как ожидали. Царь явно чувствовал недомогание и время от времени дотрагивался до ушибленной ноги. Считая нужным показать свое по этому поводу "беспокойство, многие понизили голоса и прогнали с лиц оживление.

Наступал ранний вечер. Вся степь и соломенные павильоны зажглись алой зарей. Подул свежий ветер, и концы белых скатертей на столах, завернувшись с наветренной стороны, опрокинули несколько бокалов.

Виллье посоветовал царю ехать не верхом, а в коляске, чтобы не натрудить поврежденную ногу. Царь послушался. В то время как он осторожно усаживался на широком сиденье, экипаж окружила блестящая толпа.

Александр расточал любезные улыбки, куда рядом с ним не уселся Аракчеев.

— Я бы этого полковника не то что сквозь строй прогнал, а четвертовал бы, мерзавца, — прогнусавил Аракчеев Витгенштейну. — Истинно говоря, не верю я, что он не преднамеренно ушиб государя. Ведь полковник-то полячок... — дернул себя за нос Аракчеев и сердито отвернулся.

После отъезда царя искусственно приглушенное в конце обеда оживление вспыхнуло с новой силой.

Вновь запенилось шампанское. На гладко строганном дощатом помосте под звуки духового оркестра закружились пары. Зазвучал женский смех.

Некоторые вышли из павильонов и любовались уже побледневшей зарей. На ее желто-зеленом фоне дымились и вспыхивали многочисленные лагерные костры. Возле них особенно четко вырисовывались солдатские силуэты.

Пестель, все время державшийся одиноко, подошел к стоящим в стороне

Волконскому и Сергею Муравьеву-Апостолу.

Еще во время обеда главнокомандующий сказал Пестелю, что царь доволен молодецким видом солдат Вятского полка и приказал передать его командиру — полковнику Пестелю — свою благодарность.

Об этом, видимо, уже знали, потому что Волконский встретил Пестеля ироническим замечанием:

— Выходит, Павел Иванович, что сочинитель «Русской правды» больше всех угодил государю.

— Сарказм, — поморщился Пестель. — А ваши дела, кажется, хороши, князь? Государь так благосклонно говорил с вами.

— Но что говорил! — ответил Волконский.

Передав разговор с царем, он просил совета, как поступить: сделать вид, что не понял намека, или выяснить значение царских слов.

— Конечно, попытайтесь выяснить, — сказал Пестель. — Я убежден, что он многое знает. А теперь нам неудобно держаться вместе. Жду вас вечером к себе.

12. У забытой копны

Небольшой кабинет Пестеля был весь уставлен полками с книгами. На стенах, кроме портретов родителей и любимой сестры, висели географические карты, на столе лежали аккуратно сложенные стопки бумаги, исписанной и чистой. В чугунном бокале белел пучок остро очинённых гусиных перьев. Мебель была только самая необходимая: стол, диван, два деревянных стула и узкая походная кровать с жесткой подушкой. Ковров не было, и только у входа лежало домотканное полосатое рядно. Окна выходили на запад. Вечерами, когда садилось солнце, Павел Иванович отдергивал пошире синюю штору и подолгу оставался у окна. Особенно любил он момент, когда красный солнечный диск, коснувшись земли, скрывался за горизонтом, оставляя легкую малиновую дымку. И сразу темнело небо и становились заметными еще бледные звезды.

В этот вечер особенно хороша была среди них Венера.

«Так же сияла эта звезда в Каменке, — любясь ею, думал Пестель. — Голубая звезда... Почему мне так приятен ее свет? В Дрезденской галерее есть мадонна... Голубоглазая, светлая и такая легкая, воздушная... Как похожа на нее Элен Раевская...»

Пестель отошел от окна, как будто рассердясь на себя за то, что поддался очарованию голубой звезды.

«Я должен проходить в жизни мимо всего голубого. Оно не для меня. Мои цели властительно требуют всех моих умственных и душевных сил. Пути, мне определенные, лишены извилин. Мои сподвижники... кто они? Где среди них характеры античных героев? Восприняв свободолюбивые идеи отечественных и западных мыслителей, мои товарищи способны исходить речами об эгалитарном обществе и курить фимиам вождям французской, испанской и итальянской революций. Они обладают прекраснодушием и с радостью готовы принести себя в жертву родине. Но где их поступки? Где дела? Разве пламенное человеколюбие Радищева не должно было зажечь его собратий? Однако искры его гения падали на толщу крепостничества и угасали. Радищев надорвался в непосильной борьбе...»

Пестель не переставал ходить по комнате, и лицо его становилось все мрачнее. Он

вспоминал долгие беседы с одним из первых членов «Союза Благоденствия», Николаем Тургеневым. С какой горечью тот восклицал: «Что за прелесть жить в сем хаосе унижения и мрака! У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость, одним словом все, что не позволяет земле превратиться в пространную пустыню или в вертеп разбойников. Когда же будет на нашей улице праздник? Душно! Душно...»

Перед Пестелем вставали образы пламенных патриотов, их страстные чаяния видеть Россию свободной, взлеты надежд и унылость безнадежности.

«Неужели прав был Капнист? — остановился в своих думах Пестель на разговоре с женихом сестры Сергея Муравьева. — Неужели прав был он, когда сказал, что наши прожекты немислимы? „Допустим, мы совершим переворот, — говорил тогда Капнист. — Но ему последует не революция, а народный бунт... Наступит для России снова смутное время“.

Пестель прекрасно помнил, что он возражал Капнисту. Он говорил, что чем дольше русский народ будет скован рабством, тем страшнее будет этот бунт. Он напоминал своему оппоненту слова Радищева: «Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже развитию его противиться не сможет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечность. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрушении их, тем стремительнее они будут во мщении своем...»

«Как знать, — мыслил Пестель, — если бы императрица Анна, подстрекаемая своим любовником Бироном, не изорвала кондиций, ограничивающих ее самовластие, быть может, судьбы народа российского сложились бы по-иному. И я с моими единомышленниками не был бы подобен страждущему принцу Гамлету, дерзновенно усомнившемуся в добродетели своей матери. Разве мысль о том, что наша отчизна, быть может, страдает порочной склонностью к рабству и невежеству, не терзает наши сердца? А что, ежели пассивное недовольство властью станет губительной привычкой россиян?»

Пестель прислонился к оконному косяку и снова остановил глаза на голубой Венере, высоко сияющей в вечернем небе.

— Вы что же в темноте, Павел Иванович? — вдруг раздалось с порога.

Пестель вздрогнул.

— Неужели мечтаете? — входя, спросил Волконский.

Пестель почувствовал, как жарко стало лицу, но ответил сдержанно:

— Я не умею мечтать, князь.

— В таком случае обдумываете, как положить под ноги непокорных северян? — пошутил Волконский.

Но Пестель вдруг загорячился:

— Я знаю, что во мне видят честолюбца. В последнее мое пребывание в Петербурге я убедился, что даже Рылеев избегает полной со мной откровенности. В течение долгой беседы я пытался выведать от него, какое правление он полагает наиболее желательным для благоденствия нашего отечества. Я старался живо представить ему политическое самочувствие и англичанина, и американца, и испанца. А Рылеев все ускользал от прямого ответа, пока, наконец, полушутливо не заявил мне, что не прочь видеть в России императора, однако ж, с тем, чтобы власть оно не

превышала власти президента.

— Так вы и не договорились по самому кардинальному пункту в вопросе нашего объединения с северянами? — с сожалением спросил Волконский.

— Увы, ясности не достигнуто не только в Петербурге. Разве я не замечаю какого-то непонятого мне опасения в отношениях со мною даже со стороны Сергея Муравьева-Апостола. Разве вы не видите...

— Полно, Павел Иванович, — перебил Волконский, — ни он, ни кто-либо другой не посмеет усомниться в искренности и основательности ваших свободлюбивых стремлений...

— И, тем не менее, — в свою очередь прервал его Пестель, — я знаю, что многие подозревают меня в диктаторских наклонностях. Мне тогда только удастся разрушить это предубеждение, когда я перестану быть председателем Южной думы и даже удалюсь из России за границу. Это уж решено, и я надеюсь, что вы, по вашей ко мне дружбе, не будете против...

Волконский, пораженный горечью, звучавшей в последних словах Пестеля, стал убеждать его не принимать к сердцу злоречие некоторых лиц, которые выбыли из членов Общества и желают оправдать свое, отступничество. Он говорил, что только один Пестель может управлять и ходом дел, и личностями и что поэтому его уход нанесет удар успешным действиям всего Тайного общества.

Пестель, скрестив на груди руки, молча слушал. И чем искренней звучал голос Волконского, тем заметнее проступало выражение удовольствия на строгом лице Пестеля.

Когда Волконский замолчал, Пестель крепко пожал его руку.

— А где же остальные? — спросил он уже обычным спокойным тоном.

— Они ждут у ворот. Хотим предложить вам пройтись в поле. Сегодня все выпили лишнего, а прогулка освежит.

— Как угодно.

Пестель запер на ключ ящики письменного стола и вышел вслед за Волконским.

У ворот на скамье сидели Сергей Муравьев-Апостол с Бестужевым-Рюминым и какая-то заплаканная изящно одетая женщина. Когда Пестель с Волконским подошли, Бестужев, волнуясь и сам чуть не плача, рассказал им, что дама эта собирается просить царя о помиловании ее пятнадцатилетнего сына, ссылаемого на Кавказ за какую-то провинность. Сергей Муравьев мало принимал участия в разговоре, но в его лице было что-то такое, что заставляло женщину обращаться со своим горем именно к нему.

Успокоив ее и указав, где и когда ей лучше всего обратиться к царю, Муравьев проводил ее до крестьянской избы, в которой она остановилась, и догнал своих товарищей, когда они уже вышли за околицу.

Пестель с Волконским пошли впереди. Муравьев с Бестужевым немного отстали.

После выпитого за обедом вина все четверо с наслаждением вдыхали бодрящий воздух осенней ночи.

Крупные звезды рассыпались в небе сверкающим узором. В степи догорали солдатские костры. Лагерь затихал.

У высокой, забытой в поле копны Пестель остановился.

— Сядемте здесь.

Муравьев бросил на землю свою шинель, и все опустились на нее.

— Утомительный спектакль, — потянулся Волконский. — А царю нипочем. Привык носить маску и менять роли... Наболтал тогда в Польше невесть чего, дал ей

кущую конституцию, поляки и торгуются ныне с нами, как цыганы на киевских контрактах... А между тем еще зимою на совещании в Киеве мы им напрямик заявили, что союз Польши с Россией ни в коем случае не должен быть в ущерб последней и никаких кондиций о новых границах мы поэтому обсуждать не станем...

— При наших встречах с представителями польского Патриотического общества — подполковником Крыжановским и князем Яблоновским, — сказал Бестужев-Рюмин, — мы с Сергеем Ивановичем познакомили их с тем границеположением, которое намечено вами, Павел Иванович, в «Русской правде». Мы заверили их, кроме того, что часть польской земли, на которой поляков проживает больше, нежели русских, также будет безоговорочно возвращена Польше.

— И они удовлетворились? — спросил Пестель.

— Как будто бы. Но высказали пожелание, чтобы русское Тайное общество еще до переворота предприняло бы некоторые конкретные меры...

— Например? — опять спросил Пестель.

— Например, чтобы полякам, имеющим дела в русских судах, было бы оказываемо особое покровительство.

— Я уже просил об этом члена Тайного общества сенатора Краснокутского, когда виделся с ним в Петербурге, — сказал Пестель. — Поляки забывают, — с досадой продолжал он, — что мы можем добыть себе свободу без всякой посторонней помощи. А вот ежели они пропустят предлагаемый случай, то пусть тогда отложат всякую надежду увидеть свой народ свободным.

— По этому поводу польский делегат Гродецкий сделал мне тонкий намек, что, если поляки поднимут знамя восстания, Англия обещала им свою поддержку, — сообщил Бестужев.

— Еще бы, — негодуя произнес Волконский. — Англия всегда готова поддержать любое начинание лишь бы так или иначе подорвать могущество России. При последнем нашем свидании князь Яблоновский снова заявил с большим высокомерием, что если мы собираемся вмешиваться в польские дела, то это все равно, что обеим странам оставаться под властью одного владыки. Напрасно я заверял его, что в польском вопросе право народа побежденного должно будет взять верх над правом благоудобства победителей. На этот раз делегаты Польши отмалчивались и уклонялись от прямых ответов так же, как это было в Киеве. И мы снова расстались ни с чем.

— Обычная картина, — раздраженно передернул плечами Сергей Муравьев. — Когда Варшавское общество прислало к нам в Василько в Крыжановского, он без околичностей заявил, что не уполномочен к окончательным решениям. И опять никакой конвенции заключено с ним не было.

— Зато у нас отлично налаживается дело с обществом «Соединенных Славян», — радостно сообщил Бестужев-Рюмин. — Узнав на последнем собрании в Млинищах о том, что Южное общество уже располагает готовою конституцией, именно вашей, Павел Иванович, «Русскою правдой», «славяне» пришли в большое воодушевление. Они правильно рассудили, что по своей республиканской сути она значительно ускорит устройство государства после переворота. Какие это золотые люди!

— Кое-кого из «славян» я знаю, — сказал спокойно Пестель, — братьев Борисовых, Андреевича, Горбачевского. Но, на мое мнение, большинство из них слишком юны, чтобы участвовать в деле большой государственной важности.

Бестужев даже привскочил:

— Полно вам, Павел Иванович! Во-первых, они уж не так-то молоды, — многие из них мои сверстники...

Невольная улыбка тронула губы Пестеля. Улыбнулся и Волконский. Не видя этого в сгустившейся темноте, Бестужев продолжал с той же горячностью:

— Второе — молодость отнюдь не служит препятствием для истинно патриотических чувств и деяний. К примеру — римскому императору Августу Октавиану исполнилось всего восемнадцать лет, когда он победил Марка Антония. Верно, что те люди, коих мы с вами назвали, очень молоды, но, боже мой, какие это замечательные патриоты! Помнишь, Сережа, когда мы обсуждали вопрос о начале действия и намечались для выступления первая батареинная и вторая легкая роты восьмой бригады, как славно воскликнул командир пятой конной роты: «Нет милостивые государи, я никому не позволю сделать первый выстрел за свободу моего отечества! Эта честь должна принадлежать моей роте. Я начну. Да, я!»

Муравьев вспомнил, что он сам был до такой степени растроган горячим порывом этого командира, что бросился его обнимать.

— Я только не согласен с их обширными замыслами соединения всех славянских племен, — сказал он. — Они предлагают раскинуть между морями Черным и Адриатическим, Балтийским и Ледовитым федеративный союз республик, населенный русскими, поляками, сербами, хорватами и прочими славянскими народами. А посреди этого союза создать новую столицу, в которой на высоком троне будет восседать богиня просвещения...

— Никчемная затея, — прервал Пестель. — Романтические мечты столь же грандиозные, сколь неосуществимые.

— Но нам с Сергеем Ивановичем уже удалось склонить «славян» к необходимости истребить в России прежде всего все злоупотребления, кои мешают ее благоденствию! — с гордостью заявил Бестужев.

— Весьма важно также, — прибавил Муравьев, — что среди «славян» имеется немалое количество подлинных республиканцев, которые стремятся в должном направлении действовать по линии субординации и на нижних чинов. Офицеры ведут разъяснительные беседы с унтер-офицерами и фейерверкерами, а те создают вокруг себя группы так называемых «поверенных» из рядовых. У нас уж установлены связи между нашими людьми и кое-кем из таких поверенных. А через них возникнет в дальнейшем и возможность влияния в желательном для нас смысле и на более широкую массу...

— Ну, уж это вы оставьте! — с досадой отмахнулся Пестель. — Мы можем и должны посвятить свои жизни для блага нашего народа, но при нынешнем уровне его развития отнюдь не требуется, чтобы его массы принимали участие в затеваемом нами деле. *La masse n'est rien. Elle ne sera que ce que voudront les individus qui sont tout* *note 15*. А ваши славяне, чтобы вы о них ни говорили, все же больше похожи на италианских карбонариев, нежели на русских заговорщиков.

— И все же, — упрямо настаивал Муравьев, — я совершенно убежден, что, коли славяне дадут слово действовать, они его сдержат, когда придет время выступать...

— Скорей бы только пришло это желанное время! — вырвалось у Бестужева.

— Об этом самом я скоро снова буду говорить в Петербурге, — поглядев на него,

Note15

Масса ничто. Она будет лишь тем, чего захотят выдающиеся личности, которые — всё (франц.)

проговорил Пестель.

— Мне писал брат Матвей, — сказал Муравьев, — что вас, Павел Иванович, там с нетерпением поджидают.

— Особливо Никита Муравьев? — иронически спросил Пестель.

— Придется вам с ним снова ломать копыя, — сказал Волконский, которому было хорошо известно, что между этими главными деятелями Северного и Южного обществ существуют особенно резкие разногласия.

— В Петербурге сейчас наш Вадковский. Он, правда, не в меру доверчив. И все же через него я достаточно осведомлен о том, что делается у северян. Он пишет мне, что Николай Иванович Тургенев, который недавно прибыл из-за границы на побывку в Петербург, тоже не согласен с моим планом разделения земель среди освобожденных от крепостной зависимости хлебопашцев, — говорил Пестель с раздражением. — Тургеневу, видимо, не по вкусу даже предложение Никиты Муравьева о наделении крестьян двумя десятинами на двор, без выкупа или за выкуп, уплаченный государством душевладельцам. А я считаю, что для того, чтобы освобождение от рабства создало для крестьян лучшее противу прежнего положение, — сиречь — чтобы их свобода стала истинной, а не мнимой, совершенно необходимо широкое обеспечение их земельным наделом с сохранением общинного землевладения.

— С выкупом все же от помещиков или безвозмездно? — быстро спросил Бестужев-Рюмин.

— К величайшему моему сожалению, — глубоко вздохнул Пестель, — я еще не успел со всею тщательностью разработать эту самую сложную отрасль грядущих реформ. Однако же я твердо убежден, что наделение крестьян землею должно быть произведено путем принудительного отчуждения половины помещичьих земель. От доброй воли правительства будет зависеть выдать помещикам за это, хотя бы и не в полной мере, денежное вознаграждение из казны.

— Разумеется, Верховное правление должно будет принять все меры, чтобы падение крепостного ига не произвело волнений в государстве, — сказал Волконский, когда Пестель умолк.

После долгой паузы Пестель заговорил с тем же раздражением:

— Я знаю, что большинство титулованных и денежных аристократов со всею силою восстанут против потери власти над тысячами крепостных душ... Но позволял ли когда-нибудь гений зла предлагать добро и не объявлял ли он всегда войну не на живот, а на смерть, тем более ожесточенную, чем о более значительных интересах шло дело? Я предвижу, что в Петербурге мне предстоит выслушать от наших товарищей северян много крикливых обвинений. Ну, что ж! — уже с угрозой закончил он. — Я готов!

— И вы, Павел Иванович, и Волконский совершенно правы: Никита Муравьев стал значительно умереннее в своих политических воззрениях, — с грустью сказал Сергей Муравьев. — Никита уже не почитает необходимостью учреждение республики, за которую столь горячо ратовал на нашем первом съезде. Он уже не прочь удовлетвориться конституционной монархией. И даже советуется на этот счет с Трубецким. И я опасуюсь, что, ежели мы еще и еще будем отдалять время выступления, поправеет не только Никита. Ведь Михайло Орлов уже вовсе для нас потерян. Ведь и...

— Увидим! — прервал Пестель и стиснул пальцы так, что они хрустнули в суставах.

— А все вы виноваты, — продолжал, горячась, Сергей. — Кабы вы, князь, не настаивали на оттяжке, — обернулся он к Волконскому, — и тоже не присылали мне отговаривающих посланий, дело наше, может быть, уже было бы завершено, тирания уже не угнетала бы моих соотчичей, освобожденный народ уже отдавал бы свой свободный труд на превращение России в государство, благосостоянию коего могли бы позавидовать многие державы... Решившись раз на тоlikое дело, мы поступаем безрассудно, оставаясь в бездействии. Мы умножаем опасности, угрожающие нам на каждом шагу.

Пестель резко поднялся.

— Нет, Сергей Иванович, — твердо произнес он. — Нет, мы еще далеки от момента, когда риск оправдывается соображениями разума. Преждевременное выступление поведет к потере людей, ergo note 16 к ослаблению наших сил, ergo к отдалению осуществления наших планов...

«Будто уравнение алгебраическое решает, — с неприязнью к Пестелю подумал Сергей. — Холодный планщик. Разве ему неизвестно, сколько страданий приносит русскому солдату и крестьянину всякий лишний час продления самовластия...»

— Ну, предположим, что тогда, в Бобруйске, вам удалось бы убить царя, — продолжал Пестель, — разве не нашлось бы других кандидатов на трон?

— Поляки обещали нам, во всяком случае, не выпускать Константина из Польши, — сказал Бестужев-Рюмин.

Пестель пожал плечами:

— Есть еще Михаил, есть еще с десятков возможных претендентов. Всех их следует предварительно истребить, дабы предупредить возможность реставрации абсолютизма.

— Такое многочисленное истребление, по-моему, излишне, — строго возразил Муравьев.

— Ведь у великих князей есть дети. Неужто и их?.. — с жалостью спросил Бестужев.

— Достаточно двух главных, — произнес так же строго Сергей, — остальные сами не захотят вступить на залитый кровью трон...

— Романтик вы, Сергей Иванович! Русским царям не привыкать всходить на трон по окровавленным ступеням. Право же, неисправимый вы романтик, — повторил Пестель.

Волконский молча всматривался в лица своих товарищей, освещенные трепетным сиянием звезд. Спор между Пестелем и Муравьевым будил в нем тревогу.

— Как долго дымятся костры! — указал в сторону лагеря Бестужев. — И люди еще не спят. Слышите пение?

— Что же, князь, выяснили вы царевы слова? — спросил Пестель.

— Киселев помог, — ответил Волконский. — Когда он передал царю о моем недоумении по поводу его слов, Александр сказал: «Мсье Серж, — так он называет меня в отличие от других Волконских, — должен понять меня в том смысле, что я хотел бы, наконец, видеть его остепенившимся». И обещал подробнее поговорить об этом со мною лично.

— Обычная увертливость, — заметил Муравьев. — Право, если нам удастся

Note16

Следовательно (лат.).

лишить его престола, он сможет с успехом подвизаться на театральных подмостках... Удивительный позер...

Опять долго помолчали.

Покусывая поднятую соломинку, Сергей Муравьев первым нарушил это молчание:

— Сегодня за обедом царь поздравил нас с поимкой Риего. Он, видимо, безмерно рад этому... А все же — счастливая Испания! Там армия, произведя революцию, не запятнала себя террором, а вот нам всем суждено омыть руки в крови.

Бестужев ближе заглянул в печальные глаза своего друга, и ему захотелось обнять его и поцеловать в загорелый лоб с белой каемкой у густых волос. Но присутствие Пестеля и Волконского стесняло. Он подавил порыв и, найдя горячую руку Сергея, крепко пожал ее...

— Увидят со временем, что есть и в России Бруты и Риеги, — с чувством произнес он.

Снова наступило молчание.

Вдруг по ту сторону копны раздались шаги и говор нескольких человек.

— Нет у меня листка того. Да Ваня небось и без него упомянул, — явственно послышался молодой, немного запыхавшийся голос.

— Знаем и без листка, — сердито откликнулся другой. — Кто же не знает, что Александр и сам был согласен удавить Павла. Иные этому, может, и порадовались. А народ в каких когтях был при Павле, в тех и ныне находится. Нас на французской стороне цветиками закидывали, а тут усы с мясом вырывают. По тыще палок дают да солью тело наше иссеченное посыпать велят...

— Вы слышите, друзья? — весь затрепетав, прошептал Сергей Муравьев. — Это из моих солдат, я узнаю.

— Тсс... Тсс...

Несколько человек, темнея силуэтами, проходили мерным солдатским шагом совсем близко.

— Кому ж нам жалиться, Захарыч? — раздался тоскливый голос.

— «Жалиться!» — злобно передразнил Захарыч. — Себе жальтесь. От вас самих беда происходит.

Солдаты разом остановились.

— Чего плетешь, растолкуй.

— А дело говорю. Кабы нас, семеновцев, не раструсили по всей Расее, — показали бы мы им! Силен царь, правильно, силен. Да кем силен, дуралеи?! Нами. Мы его сила. Без нас был бы он, может, пастухом...

«Мои слова», — пронеслась у Сергея радостная мысль.

— Царь разбойничает, а мы его поддерживаем, — говорил тот же невидимый солдат, — всяческие его начальники издеваются над нами, а мы только мычим, как скоты бессловесные...

— Что ты, Никита Захарович, — остановил его обиженный голос, — уж больно строго попрекаешь ты нас! Люди мы темные, забитые... Ну, что мы можем?!

— Оно, конечно, людишки мы маленькие, — с горечью произнес Никита, — об этом и спорить нечего. А только не мы ли, эти самые людишки, изгнали из России несметную вражескую силу? Кто проливал за отечество свою кровь и под Смоленском, и под Белокаменной на Бородинском поле, и в чужих землях. Кто землю российскую пашет? Чьим трудом помещики добро копят? Все нашим старанием. А

каково нам за наши труды приходится? Досыта едим ли хлебушка? Не продают ли нас, как скот, — куда мужа, куда жену, куда ребят малых?.. Не губят ли наших девок и молодух барским надругательством?

В наступившем молчании, казалось, было слышно дыхание замерших на месте людей. Потом Никита снова заговорил с тою же страстной укоризной:

— Мужиков и баб по шесть дней в неделю на барщину гоняют. На собак нас меняют... Детей в кантонисты отымают... Вот еще военные поселения придумали. Так в них не то, что силу нашу дочиста выкачивают — души наши выпотрошить собираются. А разве нас на царской службе по щекам не лупят? Шпицрутенами не потчуют? Сквозь строй по «зеленой улице» не гоняют? А вы все ищите, кому бы пожаловаться?! В бою дозволения помереть не спрашивали, а за облегчение свое постоять никак ума не приложите...

— Так ведь эти самые слова в листках, которые в казарме найдены, прописаны, — перебил Никиту взволнованный голос, — ну, точь-в-точь такие же самые.

— То-то и оно, — многозначительно ответил Никита.

— Ну, пошли, что ли, — проговорил он через несколько минут. — Огня нет ли у кого, ребята?

Послышалось цоканье кремня, и запах украинского тютюна поплыл в безветренном воздухе. Вспыхнувшие огоньки цыгарок задвигались вместе с равномерным топотом ног и слились с темнотой безлунной ночи.

— Каково, а?! — с радостью воскликнул Муравьев.

— Чудесно, Сережа! — и, уже не стесняясь присутствием Пестеля и Волконского, Бестужев бросился Муравьеву на шею.

В ночной тишине слышались меланхолическое пересвистывание кузнечиков и тревожные выкрики какой-то ночной птицы.

13. Известно — царь...

В кабинет Пестеля сквозь синюю неплотно задернутую штору проник утренний свет.

Волконский проснулся и посмотрел на спящего хозяина.

Что-то неожиданно детское было в его лице, в открытой нежной шее, в подложенной под щеку руке.

«Русский Вашингтон», — вспомнил Волконский прозвище Пестеля среди членов Тайного общества и стал осторожно одеваться. Но при первом же шорохе Пестель открыл глаза.

— Как, вы уже собираетесь, князь? Велите по крайней мере подать себе завтрак.

— Благодарю, в моем дормезе имеется погребец. А выехать лучше раньше, у меня еще много дел.

Поднявшись с постели и умывшись студеной колодезной водой, Пестель взял в руки тяжелые гимнастические гири.

— Вы прямо в Киев? — спросил он.

— Да, — ответил Волконский. — Меня там будут ждать, — с гордой радостью прибавил он.

— Генерал Раевский с дочерьми все еще гостит у Давыдовых? — спросил Пестель, медленно сгибая руки с тяжелыми гирями.

Волконскому показалось, что в тоне Пестеля звучало нарочитое равнодушие.

«Сказать ему, что мое сватовство принято?» — подумал Волконский, но, взглянув на выпукло обозначившиеся под смуглой кожей тугие бицепсы Пестеля, коротко ответил:

— Да, Раевские пока в Каменке. Но скоро должны прибыть в Киев.

Пестель проводил гостя до сеней,

— Когда вернусь из Петербурга, непременно надо будет собраться всем нашим в Киеве, — сказал он на прощанье.

Волконский торопливо пошел к дому, где помещался штаб армии, чтобы получить нужные для венчания документы.

Улицы Тульчина, несмотря на раннее утро, были полны народа. Ждали проезда царя. Ничего, кроме любопытства и испуга, Волконский в жителях не заметил. Женщины, боязливо озираясь, старались закрыть своими «спидницами» жмущихся к ним ребятишек. Мужчины стояли у заборов, держа в руках шапки и картузы. Только петухи по-обычному деловито горланили на плетнях.

Из-за церкви показалась царская коляска. Кроме царя, в ней ехали Киселев, Виллье и сутулый, похожий на сыча Аракчеев.

Прикладывая пальцы к светлой с красным околышем фуражке, Александр кланялся по сторонам с однообразием заводного болванчика.

Когда его коляска поравнялась с колокольней, с противоположной стороны улицы бросилась к самым колесам та самая женщина в изящном наряде, которую Волконский видел накануне. Она опустилась на колени прямо в дорожную пыль и крикнула:

— Ваше величество!

Крик прозвучал так надрывно, что Волконский вздрогнул. Царь приказал остановиться.

Женщина на коленях приближалась к коляске. Подол ее тяжелого платья оставлял на пыли длинный след.

— Ваше величество! Я за сына!.. Его ссылают на Кавказ. Он мальчик!.. Ему пятнадцать лет. На что он там годится?

Ее лицо дергалось сдерживаемыми рыданиями, голос обрывался.

— Пятнадцать лет? Он может быть флейтистом, сударыня, — ответил царь.

Просительница увидела устремленные на нее, будто сделанные из голубого стекла, глаза. Их холод проник к ее сердцу.

— Государь, верните его мне! Его отец погиб за вас и родину под Бородином. Ведь вы можете...

— Не могу, законы не позволяют.

Женщина заломила руки:

— Законы во власти царей.

— Нет, сударыня, законы выше царей! — театрально произнес Александр и дотронулся затылком в белую лайку рукой до околыша своей фуражки.

— Трогай, — скомандовал Аракчеев.

Коляска понеслась. За ней другая, третья. В последней сидел Басаргин. Он раскланялся с Волконским и крикнул:

— Я с поселений скоро буду к вам!

Несколько дворняжек с озлобленным лаем бросились за экипажами.

Немолодая беременная крестьянка подошла к женщине, продолжавшей, стоя на коленях, глядеть вслед царской коляске.

— Годи журиться, — ласково сказала она. — Звистно — царь.

Она мягко, но сильно приподняла женщину за плечи и, поддерживая, повела за собой.

Та шла, понуро опустив голову, и тяжелый шлейф ее зеленого платья волочился по пыли.

14. Устрицы и медальон

Александр Львович Давыдов собственноручно выбирал из круглой корзины черноморские устрицы, привезенные Шервудом.

— Ах, молодец, ах, золото мое! — хвалил он Шервуда. — И как это ты так быстро обернулся! Ну и устрицы!

Он откладывал на отдельное блюдо самые маленькие и старательно обирал с них морскую траву, которой они были прикрыты.

— Фомушка, ты эти, помельче, ко мне в кабинет снеси и лимончиков положи.

Повар Фома не разделял восторга своего барина.

«Нешто это кушанье? Расколупнешь, а в середине ровно слизь, а то и похуже», — думал он.

Шервуд еще не успел переодеться с дороги и, весь забрызганный грязью, докладывал Александру Львовичу о необходимости произвести срочный ремонт на новой мельнице и о расходах на эти исправления.

Александр Львович на полуслове поднялся и ушел вслед за Фомой, который немного брезгливо держал в руках серебряное блюдо с устрицами. Шервуд с едва заметной усмешкой смотрел вслед, но обычной злобы за пренебрежение, с которым обращались с ним русские бары, на этот раз не чувствовал. Уж слишком удачной была его поездка. Радовало Шервуда не то, что в его карманах осталась порядочная сумма из выданной Александром Львовичем на расходы. Трепетало от счастья сердце Шервуда потому, что, случайно познакомившись в Нежине с молодым офицером драгунского полка Федором Вадковским, он заполучил от этого офицера то, о чем в своих мечтаниях лазутчика и помышлять не смел. Шагая по своей полутемной комнате, Шервуд еще и еще раз возвращался мыслью к своей нежинской удаче.

Две-три фразы, сказанные Вадковским при их случайной встрече по поводу Давыдовых, сразу подали сыщику мысль, что Вадковский один из «тех».

Что «те» волнуются, хлопчут, собираются, действуют — это Шервуд знал.

Аракчеев уже давно крикнул всей шпионской псарне: «Ищи!» И Шервуд стал ретиво искать, ибо знал, что охота идет на ценную добычу.

В имени Давыдовых с первых же дней он учуял, как чует охотничья собака, что здесь, непременно здесь, надо остановиться. И сделал «стойку».

В разговоре с Вадковским Шервуд явственно услышал шорох подстерегаемой добычи.

Венгерское вино, выпитое за обедом, развязало язык этого драгуна.

— Вы англичанин, — чокаясь с Шервудом, говорил он, — и, конечно, гордитесь своим островом. Но и самоед любит свою страну, любит прогорклый жир северных оленей, любит вечный снег, слепящий ему глаза. Уверяю вас, мистер Джон: в России были и есть люди, пламенно любящие свое отечество, почитающие за счастье отдать ему свою жизнь! Вы слышали когда-нибудь о Новикове, о Радищеве, о Чаадаеве?! Вы знаете о том, что лучшие сыны России и теперь стремятся к тому, чтобы отечество наше вступило, наконец, на путь истинного просвещения и свободы...

— Ах, если бы это было так! — с умело выраженным сочувствием ответил Шервуд.

— Даю вам слово! — пылко воскликнул Вадковский.

Еще бутылка. Еще свободолюбивые тосты. Затем последовало приглашение Вадковского заехать к нему на квартиру «откушать кофе» и послушать игру на скрипке.

Вдохновенная игра офицера вызвала искусственные восторги Шервуда.

Душа Вадковского распахнулась широко — по-русски. Он обнял гостя и с улыбкой указал ему на футляр от скрипки.

— Вот ящичек. Знаете, что в нем?

Возбужденный не столько вином, сколько игрой на скрипке и приятной беседой, Вадковский смотрел в лицо Шервуда доверчивым блестящим взглядом.

Шервуд тронул внутреннюю бархатную обивку футляра крепкими, покрытыми веснушками пальцами.

— В ящичке, вероятно, канифоль?

Вадковский засмеялся.

— А вот и не угадали!

Подали кофе. Вадковский наполнил прозрачные чашечки.

— Сейчас велю подать коньяку.

Он хлопнул в ладоши, но слуга не появился. Вадковский сам пошел за коньяком.

Момент — и футляр в руках Шервуда. Крышечка от бокового ящичка поднята... Под ней желтая канифоль... А это?

Крепкие веснушчатые пальцы схватили белый листок. Имена, имена: Волконский, Пестель, Юшневский, Басаргин, Давыдов, Барятинский, Поджио, Охотников, Лихарев и еще... еще...

Глаза впились в фамилии, но мозгу не запечатлеть всех... Послышались шаги.

Футляр в сторону, а клочок бумаги под рубашку, в медальон с портретом девушки...

Заперев дверь на ключ и плотно завесив окна, Шервуд открыл медальон.

— Теперь уж скоро-скоро я буду не только унтером Украинского полка. За этот листок меня наградят так, как умеют награждать русские цари за оказанные им услуги. Если грубый конюх Бирон мог сделаться здесь правителем государства, то я, Шервуд, не глупей его. Я тоже далеко пойду! И уж тогда посмотрим, что скажет твой отец, надменный русский самодур, — злобно проговорил вслух Шервуд, еще раз поглядев на хорошенькое личико в миниатюрной овальной рамке, и захлопнул медальон.

15. Незадача

Старшая горничная старой барыни, татарка Куля, советовала девицам умыться чистым снегом в первую утреннюю зарю после поворота солнца на весну. От такого умывания, уверяла она, лицо должно принять на себя всю снежную белизну, а румянец побледнеет лишь тогда, когда зацветут первые розы. Тогда придет время девушкам любить, и уж дело юношей вернуть румянец на их побледневшие щеки. Надо только, чтобы по снегу этому еще не ступала человеческая нога.

Слушая Кулю, барышни смеялись и обещали выскочить на рассвете за чистым снегом. Но в заветную зарю они крепко спали. Только Улинька еще затемно сошла во двор с малого крыльца. Набрав в пригоршню снега, она потерла им свои еще горячие

со сна лицо и шею.

Во дворе уже было движение. Несколько распряженных крестьянских лошадей стояли под навесом, а у саней с широкими крыльями возились люди.

«Это не наши, — присматриваясь к их зипунам и высоким шапкам, подумала Улинька. — Должно, из дальних деревень ходоки».

Она обмотала вокруг шеи конец теплого платка и окликнула казачка Гриньку, вертящегося среди приехавших:

— Чьи это?

— Москали из Курской вотчины к барину Василию Львовичу, — переминаясь с ноги на ногу, ответил Гринька. — Я им объясняю, что барин в столицу уехал, а они свое долдонят: «Барина нам надобно».

Гринька подкинул вверх стоптанную баринову туфлю и ловко поймал ее босой, красной, как у гуся, ногой.

Один из мужиков, сухонький старичок, подошел к Уле.

— Врет холоп аль правду баит? — испытующе глядя ей в лицо, спросил он. — Нам и староста сказывал, что уехал, дескать, молодой барин. Да не верим мы. Ведь и по весне, когда приходили, то ж было. Как ни кинемся, все нету... Будь милостива, покличь.

— Да взаправду нет Василия Львовича. Коли согласны, барыне Екатерине Николаевне доложу, — предложила Уля.

Подошли другие мужики, поглядели молча на Улю, обвели глазами многочисленные окна господского дома.

— Вишь, незадача вышла, — обернулся к ним старик. — А когда барина назад ждете?

— Неизвестно, — вздохнула Уля.

Мужики еще постояли молча. Старик поковырял кнутовищем тонкий ледок у крыльца.

— Ну-к что же, зови барыню.

— Почивают они еще. Обождите. Да вы бы в людскую шли. Гринь, скажи Арине Власьевне, чтобы обогреться пустила, да самовар, который побольше, поставь.

— А я што, кухонный мужик, что ли, чтоб самовары раздувать? — весело скаля зубы, отозвался Гринька. — Я барский казачок!

— Ладно, ладно, знаем, кто ты, — тоже улыбнулась Уля, — однако ж, проводи мужиков.

— Шагом марш, — шутливо скомандовал Гринька. — За мной, лапотники! Ать, два.

Екатерина Николаевна не пожелала принять ходоков в доме.

— От них все мебели мужичьим духом пропитаются, — сказала она Улиньке. — Я лучше сама к ним во двор выйду.

Накинув шубу узорного бархата на лисьем меху, она вышла на парадное крыльцо. Лакей Степан подал ей покрытый сукном табурет и стал поодаль вместе с дворней, собравшейся поглядеть на ходоков.

Мужики по знаку дворецкого подошли и, скинув шапки, заговорили все вместе:

— Матушка барыня, оглянись на наши горькие слезы. Защити от твоих поверенных — приказчиков. Разоряют они нас. Невмоготу стало. А суда на них не сыщешь, хоть лоб взрежь. Как приезжают за оброком, винища навезут уйму. Мужиков, ребят споят, и даже бабы которые и те пить горазды стали. А воры твои

тому и рады — всё в заклад берут. Вот какое разорение наше получается...

— Пойдите, — поморщилась Екатерина Николаевна, — пусть говорит кто-нибудь один.

— Для чего же один? Дело наше общее. Как мир нас всех к твоей милости послал, все и гуторим. Ведь вон даль экую до тебя добираться пришлось.

— Откуда вы? — обратилась Екатерина Николаевна к маленькому старику, слегка выдвинувшемуся вперед.

— Из вотчины твоей Маквы, матушка. Запрошлым летом был у нас сынок твой, Василий Львович. Опосля его побывки облегченье у нас вышло. Да опоили нашего старосту Василия Кондратьевича поверенные твои, сломали его душу. Вовсе шальной стал мужик. Ему ныне только и любо, что с твоими поверенными гульбу заводить, песни распевать да винище хлестать, раздуй их...

Старик бросил оземь сношенную шапку и, приставив коричневые пальцы к носу, протяжно высморкался.

Екатерина Николаевна сделала брезгливую гримасу.

— Невежество, — сочувственно проговорил лакей Степан.

Старик понял гримасу Екатерины Николаевны по-своему:

— Не сердись, матушка, на глупые речи, что тебе наскучили. Мы люди, стало быть, несмысленные.

— Куды! — хором сказали мужики.

— А ты заступись за нас. Пошли сынов своих дела наших разобрать, — продолжал старик, не сводя глаз с лица старой барыни.

В голосе его была мольба, но глаза смотрели требовательно и сурово.

— Коли узнает староста, что били мы тебе челом, озверее, сгинь его голова. Сынам нашим в набор рекрутский всем лоб забреет. А ты заступись.

— Заступись, матушка, — опять хором сказали мужики и поклонились до земли.

Екатерина Николаевна послала Степана позвать Александра Львовича.

— Экие вы неудалые! — раздумчиво сказала она мужикам. — Уж за такой госпожой, как я, людям будто и сетовать не на что. Я ли вас не жалею...

— Матушка, мы не об тебе толкуем, — ответил старик. — Продли господь тебе живота и веку. Милует царь, да не жалуется псарь. Опузател староста наш. Убери его. Невмоготу нам.

Екатерина Николаевна нетерпеливо оглянулась.

«Да что же он нейдет?» — подумала о сыне.

— Сбегай-ка, Улинька, поторопи барина.

Уля метнулась в дом.

Наверху, у комнат Александра Львовича, стоял Степан.

— Звал?

— Нет. Постучал я, а они дверь приоткрыли, и прочь прогнали. С Аглаей Антоновной разговор у них сурьезный идет. Страсть какой сердитый Александр Львович.

Уля осторожно подошла к двери.

Из-за нее слышались сердитый голос Александра Львовича и отрывистые реплики Аглаи.

«Пушкин, Пушкин», — несколько раз уловила Уля среди французских фраз.

Уля постучала.

— Убирайтесь вы все к черту! — рявкнул Александр Львович, распахивая дверь.

— Маменька просят к мужикам выйти. Из Курской они.

— К черту, всех к черту! — затопал ногами Александр Львович и захлопнул дверь. — И если вы не прекратите свои шашни, — весь багровый, подходя к жене, продолжал он прерванный разговор, — я поступлю с вами по-русски.

Аглая закрыла хорошенькое личико холеными в кольцах руками и заплакала:

— Вы настоящий деспот. Вы тираните ваших слуг, вашу жену. Я умру со скуки, живя в этой Каменке. То, что во Франции считали бы грациозной шалостью, свойственной молодой женщине... у вас за это могут побить...

— Перестаньте лгать. Ваши отношения с Пушкиным — не шалость. Вы слишком опытни в таких делах!

— О, как меня оскорбляют! — истерически воскликнула Аглая. — Мой бедный отец... Если бы он слышал...

— Ваш отец, промотавшийся кутила, рад был сбить вас с рук любому жениху, а не то что мне, Давыдову!

— Александр! — умоляюще протянула руки Аглая.

Александр Львович отвернулся от нее так быстро, что тяжелые кисти его халата, взлетев, ударились о голое Аглаино плечо. Она потеряла ушибленное место и, натянув на плечи кружевной пеньюар, испуганными, заплаканными глазами следила за грузной фигурой мужа.

— Даю три дня на сборы, — бросил он, — в воскресенье мы уедем в Петербург.

Аглая едва сдержала радостное восклицание и только с робостью спросила:

— А наша дочь?

— Ей здесь будет лучше.

— Нет, нет, — загорячилась Аглая, — Адель мы возьмем с собой.

Давыдов, заложив руки за спину, остановился против жены.

— Я никак не могу решить, чего в вас больше: распущенности, наглости или глупости, — проговорил он, не сводя с нее тяжелого взгляда. — Вы ревнуете к Пушкину нашу девочку...

— К этому самонадеянному мальчишке! — возмутилась Аглая.

«Я многое отдал бы, чтобы этот „мальчишка“ не был Пушкиным», — подумал Давыдов, снова принимаясь шагать по спальне.

У него в кармане лежала эпиграмма Пушкина на Аглаю. Вчера вечером, взяв по привычке французский роман, чтобы просмотреть несколько страниц перед сном, Александр Львович обнаружил в книге этот злополучный листок. Давыдов сознавал, что в эпиграмме не было клеветы, и не чувствовал гнева против ее сочинителя. Но чем дальше шагал он по спальне, тем большая ярость закипала в нем против спокойно спящей жены. Он несколько раз останавливался возле кровати и смотрел на Аглаю. И ему казалось, что она и во сне улыбается своей дразнящей улыбкой, что поза ее слишком фривольна, что и ночной чепец у нее такой, какие носят парижские кокетки.

Сжав кулаки, он заставлял себя вновь и вновь до самой зари удерживаться от того, чтобы не разбудить жену. Но утром, как только он услышал ее грассирование: «Bonjour, mon ours» *note 17*, — весь его напряженно сдерживаемый гнев прорвался.

Он резко отшвырнул протянутые с сонной негой полные руки и осыпал жену грубыми ругательствами, мешая французские с русскими, забывая, что она не

Note17

Здравствуй, мой медведь (франц.).

понимает по-русски.

Но по выражению его лица Аглая видела, что ее оскорбляют. Глаза ее, еще по-сонному томные, налились слезами. Она вскочила с постели и всю ссору просидела в одном кружевном пеньюаре, прикрыв голые колени ног ковриком из белого меха.

Она злилась на мужа, злилась на Пушкина за то, что он совсем не тот рыцарь, какого она ожидала найти в каждом новом поклоннике. Злилась на всех русских и на все русское, сложное и непонятное, о чем только можно было догадываться и что никак не умещалось в ее пустой головке...

Как только Александр Львович, стукнув дверью, вышел из спальни, и его тяжелые шаги затихли, Аглая быстро пересела к туалетному столику и с беспокойством впиалась в свое отражение.

Она провела пальцами у глаз, потом потерла покрасневший нос.

«Конечно, от слез портится кожа, — вздохнула она. — В Петербурге, прежде всего, заеду к Полине Гебль. Она знает чудесный крем. А жаль, что из-за того, что Александр так рассердился, мне не удастся побывать в Киеве на свадьбе у Marie. Впрочем, это не будет веселая русская свадьба. Marie так грустна. Она совсем не влюблена в этого генерала Волконского. И я тоже терпеть не могу таких слишком умных, слишком серьезных и слишком воспитанных мужчин».

Когда в спальню вошла Клаша с кофе и сухариками, обсыпанными строганым миндалем, Аглая, стоя перед зеркалом, расправляла голубой бант на пеньюаре и весело мурлыкала шансонетку.

— Eh bien, comment ça va? *note 18* — встретила она Клашу.

— Сава хорошо, — улыбнулась девушка и, поставив серебряный поднос с завтраком на круглый столик, стала прибираться комнате.

Смакуя душистый кофе, Аглая рассматривала свежее остренькое личико Клаши, следила за легкими ее движениями.

«И зачем этой девчонке такие маленькие стройные ножки, — думала она, — зачем ей эти золотистые завитки на затылке?»

Аглае очень хотелось поболтать с Клашей, поделиться радостью — тем, что наконец-то она, Аглая, уезжает из этого захолустья, из этой деревенской Каменки в блестящий Петербург. И ей было очень досадно, что Клаша не понимает по-французски.

«Ужасная, ужасная страна! Чтобы горничные не говорили по-французски!»

В бильярдной, у окна, из которого была видна на берегу Тясмина новая мельница с белыми колоннами, стояла Маша Раевская. Ее пальцы быстро перебирали бахрому накинутой на плечи бабушкиной кашемировой шали.

Бросив на зеленое сукно бильярдного стола перчатки и шляпу, Пушкин, уже одетый по-дорожному, исподлобья пристально смотрел на Машу.

— Горше всего, — волнуясь, говорила она, — что ведь вы, Александр Сергеич, несравненно лучше того, чем показываете себя в подобных произведениях. Так зачем же, зачем вы...

Пушкин сокрушенно вздохнул:

— Поймите же, Мари, что проклятая эпиграмма эта не должна была попасть в ваши руки, а тем более Александру Львовичу. В дружеском обращении я предаюсь

Note18

Ну, как живем? (франц.)

резким и необузданным суждениям, но когда б вы знали, как мне нестерпимо досадно, что со мной поступают, как с умершим. Мои стихи — моя бедная собственность. Зачем же друзья мои самовольно распоряжаются ими?

Горечь и раздражение звучали в голосе Пушкина. Его утомленное бессонницей лицо было бледно и уныло.

— Прощайте, Мари, — после долгой паузы тихо сказал он.

Маша подняла на него большие черные глаза и протянула руку.

— Увидимся ли? — нежно пожимая холодные тонкие пальцы, спросил Пушкин. — Нынче я уезжаю в Кишинев. Куда ушлют оттуда и когда — не знаю. А вы скоро едете в Киев... Там вас ждет счастье. Не так ли?

Маша глубоко вздохнула.

Пушкин, еще на одно мгновение задержав ее руку, прикоснулся к ней горячими губами. Потом, выпрямившись, схватил со стола шляпу и перчатки и быстро вышел.

Бильярдный шар, задетый его резким движением, медленно покатился по столу и, столкнувшись с другим, остановился.

Маша глядела на него полными слез глазами.

У крыльца звякнул и залился колокольчик.

Смахнув слезы, Маша бросилась наверх, в комнату бабушки, но, когда выглянула в окно, во дворе, кроме казачка Гриньки и двух девушек, несущих на коромыслах тяжелые ведра, уже никого не было.

А через несколько минут из-за поворота показалась неуклюжая кишиневская колымага. Серая накидка пушкинской шинели, поднятая ветром, прикрыла его плечи и голову.

Кучер высоко занес кнут, и прыгающая на скверных рессорах колымага скрылась за косогором...

16. На берегу пруда

Князь Федор позвонил. Вошел Кузьма, как всегда босиком, потому что князь требовал, чтобы слуги по утрам показывали ему, что не только руки, но и ноги у них чисто вымыты.

— Зови Николашку да скажи, чтобы бритвы были остры, а то я его самого топором брить прикажу!

Кузьма молча поклонился.

Князь требовал, чтобы люди только отвечали на вопросы, и нарушителей этого приказа жестоко наказывал.

Был среди княжеской дворни печник Епифан — немой старик.

Ходил слух, что в молодости он был барским камердинером, но проболтался однажды покойной княгине о том, чего жене знать не полагалось. Разгневанный князь приказал мяснику отрезать Епифану язык — в-назидание другим болтунам. Ходил будто Епифан в столицу жаловаться на такое жестокое самоуправство, да кто мог и кто не побоялся бы понять немого крепостного человека знатного вельможи — князя Федора?

Страшным призраком кары за болтливость бродил с тех пор по усадьбе немой Епифан.

«Скотина должна быть бессловесной, — решил князь, — а по мне холоп — та же скотина, только выучившаяся ходить на задних ногах».

И в те недели, когда он приезжал в свою вотчину, с полей не доносились протяжные, меланхолические песни украинских косарей и жниц. Тишина склепа разливалась и по огромному барскому дому, и по роскошному саду, и по тенистому парку с античными статуями и затейливыми беседками.

Немой, мрачный Епифан, набрав за пазуху камней, бродил в предзоревые часы по аллеям сада и сгонял с обрызганных росой кустов поющих соловьев. Его старые глаза не могли видеть звенящего в вышине жаворонка, но Епифан швырял камни в само пламенеющее небо...

Кузьма вернулся с парикмахером Николашкой и, раскрыв «Историю» Карамзина, ждал приказа начинать чтение.

Князь любил, чтобы во время бритья ему читали вслух. Но на этот раз он словно забыл о Кузьме. Задумался и не видел, как неотрывно следил Кузьма за лезвием бритвы, легко скользящим по сизой княжеской шее.

— Кузьма! — вдруг громко позвал князь.

Кузьма вздрогнул так, как будто его поймали за преступным делом.

— Вели закладывать новую коляску да подай одеваться. К Муравьеву-Апостолу поеду.

Кузьма молча вышел.

Закончив туалет, князь Федор выслал людей и снова подсел к зеркалу. Собственноручно подкрасил фиксатуаром усы и тронул румянами дряблые щеки. Потом достал из потайного ящичка флакон с заветными духами — подарок Екатерины Второй. Запах, интимно-вкрадчивый и пряный, защекотал притуплённые нервы. Тонкие ноздри красивого носа дрогнули. Князь взял овальное зеркальце на длинной ручке из слоновой кости. Зеркало бесстрастно отразило старое помятое лицо.

«Только и остался один нос», — вздохнул князь. И вспомнил... Императрица Екатерина, полулежа на синем шелковом диване, слушала однажды его, кабинет-секретаря, доклад. Слушала, казалось, внимательно. Но вдруг, оборвав на полуслове, приказала повернуть в дверях ключ. Когда это было исполнено, сказала, тяжело дыша: «Откуда у тебя эдакий прельстительный нос?» — и потянулась к князю влажными, чувственными губами.

В тот же день Потемкин ревниво сказал новому фавориту: «А ты, князь, видимо, знаешь, куда нос совать...» И, оскорбленный, подал императрице прошение об увольнении в отпуск в Новгород для инспекции войск...

А на князя Федора посыпались обильные милости. Одна из них — эта украинская вотчина — и до сих пор острее всего напоминала князю золотую пору его жизни. Одряхло тело, складками легла пожелтевшая кожа на когда-то алебастровом лице. А старые глаза все еще с былой жадностью останавливались на красоте молодости, утомленное сердце порывалось усладить себя былыми волнениями. Но тяжело течет по склерозным жилам старческая кровь.

И от злого раздора между бессильной плотью и неукротимым темпераментом самодурство князя увеличивалось с каждым годом.

Князь Федор знал, что старик Муравьев-Апостол, к которому он едет, не любит его. В семье Муравьевых его не любили и все три сына и обе дочери. Но это не останавливало князя от наездов в Бакумовку.

Когда младшая из дочерей, Елена, невеста графа Капниста, смотрела на князя с откровенной неприязнью в изумрудно-зеленых глазах и ее гордые губы, морщились в

ответ на его изысканные комплименты, князь ощущал прилив вновь вспыхнувшей страсти.

Весь утонченный арсенал екатерининского «ферлякурства» *note 19* выдвигался князем навстречу холодности Елены, и в поединке слов и взглядов князь Федор находил острое наслаждение.

У самой Бакумовки, деревни Муравьева-Апостола, экипаж с трудом подымался на крутой холм, окруженный глубокими оврагами, лошади скользили на мокрой после последнего дождя дороге.

Князь Федор боялся, что они не вынесут тяжести экипажа, и, высовываясь из окна, заискивающе просил кучера:

— Осторожней, Панас! Полегче, голубчик.

А когда миновали опасное место, он ударил Панаса тяжелым набалдашником трости:

— Проклятый холоп! Куда тебя понесло, подлый раб!

Панас не обернулся. Только кнут взвился высоко и больно хлестнул по лошадям.

На широкой площадке перед помещичьим домом молодежь играла в горелки.

Все три сына Ивана Матвеича были в Бакумовке. Приехал из Бобруйска Сергей. Вернулся из Петербурга легкомысленный и жизнерадостный Матвей и, сбросив адъютантский мундир, приступил к своим любимым занятиям: целыми днями возился он в саду с цветами, полол клумбы и для их поливки сам носил из колодца воду.

Меньшой брат Ипполит, окончивший военное училище и уже определившийся в свиту государя, подтрунивал над занятиями брата и шутливо обещал рекомендовать его в лучшие цветководства столицы.

Все братья были хороши лицом и сложением, только Сергей казался слишком широкоплеч.

Гостил здесь и Алексей Капнист, жених Елены.

Эта дочь Муравьева-Апостола не была так хороша, как старшая — Екатерина, уже вышедшая замуж за Бибикова — адъютанта брата царя — Михаила Павловича. Но очаровательны были ее сверкающие, как изумруд, зеленые глаза и яркая улыбка.

Елена, или, как ее звали по-украински, Олеся, была похожа на свою покойную мать — дочь сербского генерала. Такая же жизнерадостная, с такими же гибкими, ловкими движениями и такая же приветливая.

Особенно восхищал всех ее грудной, лукавый смех. От этого смеха князь Федор терял голову. Как услышит, так будто что-то обожжет его и неудержимо повлечет к этой девушке, дерзко поглядывающей на него своими чудесными глазами.

Олеся первая узнала в госте князя Федора.

— Сюда, князь! К нам! — крикнула она. — Становитесь в пары — будем в горелки играть!

— Прежде всего, Олеся, старость нуждается в уважении, — строго сказал дочери отец, который, сидя на складном стуле, наблюдал, как веселилась молодежь.

— Кабы князь слышал, что вы назвали его стариком! — улыбнулась Олеся. — Держу пари, что мое неуважение его меньше обидело бы, нежели ваша защита.

Муравьев-Апостол молча погрозил дочери пальцем и пошел навстречу гостю.

За обедом Алексей Капнист, служивший в Киеве адъютантом у генерала

Note19

Faire la cour — ухаживать (франц.).

Раевского, рассказывал, что свадьба Марии Раевской с Волконским — дело решенное: он своими глазами видел присланный из Парижа подвенечный наряд для невесты.

— Должен сказать, что тюлевая фата удивительно идет мадемуазель Мари. Я присутствовал в гостиной, когда сестры упростили ее примерить этот очаровательный убор. Только странно, что невеста очень грустна.

— Быть может, сквозь дымку подвенечного вуаля мадемуазель Раевская видит свое туманное будущее? — задумчиво проговорил Сергей.

— Почему туманное? — с удивлением спросила Олеся.

Сергей промолчал.

— В самом деле, почему вы так сказали? — спросил с подозрением князь Федор.

— А потому, — ответил за брата Матвей, — что Волконский в два раза старше своей невесты, а такие браки по страсти не заключаются,

Князь Федор недовольно хмыкнул.

— Я не согласна с тобою, Матвеюшка, — звонко сказала Олеся, — по-моему, можно влюбиться и в старика.

«Экая кокетка!» — с досадой подумал о дочери Муравьев, заметив, как просияло при этих ее словах лицо князя Федора.

— Вот видите, молодой человек, — обратился князь к Матвею, — выходит, что вы ошиблись, как, впрочем, ошибаетесь и во многом другом. А все потому, что нынешние молодые люди берутся судить решительно обо всем, хотя зачастую сами ничего не знают... Так-то, молодой человек...

— А вы, старый человек, забыли и то, что знали, — неожиданно вспыхнул Матвей. Князь Федор побагровел.

«Ну, если бы не Олеся, я бы с тобой поговорил как следует!» — мысленно пригрозил он Матвею.

— А скажи, Алеша, стихотворец Пушкин бывает теперь у Раевских? — поспешил прервать наступившую неловкую паузу старик Муравьев-Апостол.

— О, нет! — ответил Капнист. — Пушкин теперь в Одессе, а граф Воронцов — не Инзов. Я слышал, что поэт не очень-то ладит с графом...

— Удивительный характер, — проворчал князь Федор. — Не ужиться с Воронцовым — истым европейцем и джентльменом.

— Но этот европеец носит ежовые рукавицы, — возразил Капнист.

— Да, граф Воронцов чопорен на манер английских лордов, — вмешался в разговор Ипполит. — Я видел его с графиней на лицейском балу. Зато графиня Елизавета Ксаверьевна — само очарование. Наши все от нее без ума. Говорят, что Пушкин посвятил ей прелестные стихи.

— Ах, как бы мне хотелось поговорить с Пушкиным! — восторженно вырвалось у Олеси. — Только не знаю, смогла ли бы я выразить ему мое восхищение его поэтическим даром. Мне кажется, что нет ни одного из его прекрасных творений, которого я не знала бы наизусть.

— А вот после обеда я тебя проэкзаменую, — шутливо пригрозил ей Ипполит. — У нас в училище мы часто устраивали друг другу подобные проверки.

— Было бы куда полезнее, если бы эти проверки устраивались в отношении обязательных предметов, а не пушкинских стишков, — наставительно проговорил князь.

Молодежь переглянулась, но под строгим взглядом отца Ипполит только сдержанно кашлянул, а Матвей скомкал свою накрахмаленную салфетку.

— Даже выразить не умею, как бы я хотела хоть один раз поговорить с Пушкиным! — снова мечтательно произнесла Олеся.

— Если вам угодно, — сказал Капнист, — мы сможем заехать в Одессу, когда будем совершать наше свадебное путешествие.

Князь Федор поперхнулся и раскашлялся так, что лицо его побагровело и все тучное тело заколыхалось в тяжелых содроганиях.

Перед вечером к Сергею прискакала целая кавалькада: Горбачевский, братья Борисовы — Андрей и Петр, Андреевич, Кузьмин, Суханов, Щепилла и Мишель Бестужев-Рюмин. Посидев недолго в гостиной, они один за другим вышли в сад под предлогом осмотра заграничного насоса, привезенного Ипполитом в подарок брату Матвею для облегчения его поливочных работ.

— Очень нехорошо, что князь Федор видит нас всех вместе, — с досадой проговорил Горбачевский, как только вся компания отдалилась от дома. — Этот облезлый лев, разумеется, не замедлит сделать для себя соответствующее заключение.

— Во-первых, князь больше похож на стервятника, нежели на льва, даже облезлого, — возразил Бестужев, — во-вторых, в присутствии мадемуазель Олеси он решительно никого и ничего не замечает.

— Как бы Капнисту не пришлось звать его на поединок, — улыбнулся Сергей.

Перебрасываясь шутками и не начиная того важного разговора, ради которого все они съехались в этот день в Бакумовку, они шли по широкой аллее со сводчатым потолком из густых ветвей старых лип.

Аллея эта начиналась у цветника перед домом и тянулась до большого пруда, который уже стал зацветать пасмами тины и большими, как зеленые тарелки, листьями купавок. На одном из них сидела пестрая лягушка и, порывисто дыша, посылала в предвечернюю тишину протяжное кваканье. Из леса по ту сторону пруда, как бы делаясь с нею своими тоже грустными переживаниями, откликнулась одинокая кукушка.

Сложив руки рупором, Мишель Бестужев громко спросил:

— Сколько жить мне на веку?

Кукушка умолкла.

— Как, вовсе не ять?! — воскликнул Мишель.

Кукушка молчала.

Бестужев, обернувшись к разместившимся на длинной скамейке товарищам, спросил с деланным равнодушием:

— Верить ей или нет?

— Ты ее просто спугнул, — успокоительно ответил Сергей.

Бестужев схватил камешек и, изогнувшись, пустил его вскользь по поверхности пруда. Прежде чем скрыться под водой, камешек подпрыгнул несколько раз, всплескивая брызги.

— Ловко, — похвалил Горбачевский, — у нас такой бросок называют «дед бабу перевез».

— А вы не заметили, сколько раз он подпрыгнул? — спросил Бестужев. — Я загадал, что коли — чет, то кукушка врет, а коли нечет...

— Бросьте, Бестужев, — перебил Борисов, — во всяком разе кукушкам верить нельзя. Врут они, эти лесные гадалки, как цыганки на ярмарке. Я в этом убедился на опыте. Лет шесть тому назад, восемнадцатилетним юнкером я стоял со своей частью в имении пана Собаньского, где этих легкомысленных птиц было превеликое

множество. И вот, бывало...

— Если это тот Собаньский, — перебил, Андреевич, — о котором я слышал от Люблинского, то он известен не только обилием кукушек в его майорате, но также и тем, что покровительствует искусствам и наукам, а главное — давал и дает большие суммы на нужды Польского тайного общества.

— Он самый, — подтвердил Борисов. — Но разрешите мне докончить о кукушках, поскольку Бестужев, видимо, весьма огорчен нынешней вещуньей.

— Вот уж несколько, — запротестовал Мишель, но в его глазах притаилась печаль.

— Я очень любил слушать их незатейливое кукование, — продолжал Борисов. — Но стоило, бывало, мне задать любой из них извечный вопрос о долголетию, как они замолкали, словно по уговору. А я, как видите, все живу и еще надеюсь пожить свободным гражданином грядущей Российской республики.

Борисов вынул из кармана перочинный нож и стал очищать от листьев ветку, сломленную с прибрежной вербы.

Его брат, не спускавший с него любовного взгляда, куда тот рассказывал выдуманную для спокойствия Бестужева историю о кукушках, заметил с улыбкой:

— А все же, Петруша, из поместья пана Собаньского ты вернулся совсем иным человеком.

— Да, ты прав, — серьезно ответил Борисов, — но кукушки здесь ни при чем... Произошло же это потому, что, имея уйму времени и доступ к редчайшей библиотеке Собаньского, я совсем пылом набросился на чтение. Гельвеций, Гольбах, Адам Смит, Вольтер... Какую бурю мыслей рождали они в моем распаленном мозгу! Их безграничный культ разума захватил меня полностью, и в душе моей возникла мучительная борьба между их рациональными идеями и моими христианскими убеждениями. Я потерял сон, аппетит... Я бродил по аллеям парка, отгоняя теснившие меня мысли. Товарищи почитали меня влюбленным в таинственную незнакомку. А незнакомка, к которой я тогда, да и теперь пылаю страстию, — это моя мечта о вольности и всеобщем счастье не на небесах, а на земле. Пережив мучительную душевную борьбу, я отринул христианского бога смирения и всепрощения и сделался убежденным атеистом и революционером. Таковым я пребываю и поныне.

— Это по разуму, Петруша, — возразил младший брат, — а сердце твое преисполнено самыми христианскими чувствами...

Слушая Борисовых, Сергей Муравьев шагал около скамьи. Уголки его губ нервно дергивались, глаза светились сосредоточенной мыслью.

Все молчали, выжидательно поглядывая на него.

Обстрогав сорванную ветку до влажной белизны, Петр Борисов заострил ее конец и стал чертить на песке затейливый рисунок. Это был восьмиугольник с единицей посредине, от которой к краям расходились лучи. С наружной стороны восьмиугольника он вывел на равном расстоянии четыре якоря.

Сергей задержался возле рисунка.

— Как это отдает масонскими эмблемами. Это, вероятно, и есть пресловутый знак общества «Соединенных славян»? — спросил он.

Борисов утвердительно кивнул головой:

— Мы с братом Андреем и нашим близким другом Павлом Выгодским долго обдумывали его начертание и пришли к заключению, что именно такой рисунок полностью изображает наш «девиз». Вот эта единица является символом нашего

единства, — начал он объяснять наклонившимся над рисунком товарищам. — Восемь граней — суть восемь объединенных славянских племен. Четыре якоря — четыре моря, омывающих будущее славянское государство: Белое, Черное, Балтийское и Адриатическое с их обширными портами,

— Этот Выгодский тоже член вашего Общества? — спросил Муравьев. В его прищуренном взгляде, а может быть, в интонации голоса Борисову почудилось пренебрежение.

— Да, он член нашего Общества, кажется, единственный не принадлежащий к дворянскому сословию, — вызывающе ответил он. — Наш друг происходит из крестьян, а для того, чтобы иметь возможность получить образование, он воспользовался чужими документами.

Муравьев пожал плечами, и это его движение тоже было понято, как недоумение и даже недовольство.

Вспыльчивый Горбачевский язвительно стал перечислять:

— Среди членов нашего Общества имеются и «почталионовы дети»: к примеру, бухгалтер комиссионерства третьего пехотного корпуса Иванов, который превыше всех поэтических творений ставит пушкинский «Кинжал». И благороднейший человек, хотя и чиновничий сын, Сухинов, и Веденяпин, в родовом майорате которого насчитываются три крепостные души...

— Мы, братья Андреевичи, хотя и дворяне, но тоже живем вопреки своих званий, — вставил Андреевич, — ни капитала, ни крестьян у нас нет...

— И таких у нас большинство, — уже с гордостью продолжал Горбачевский. — Зато все мы готовы жизнью заплатить за наши устремления и в помощь себе призываем не только сиятельных и превосходительных, но и простых храбрых и смелых людей вовсе «малого состояния», которые добывают себе пропитание не чужим, а собственным трудом. И кроме того...

— Виноват, Иван Иванович, — остановил его Муравьев. — Мы собрались здесь для того, чтобы сговориться об окончательном слиянии Южного общества с тем, которое представляете вы, Борисовы, Андреевич, Сухинов и Кузьмин... Между тем ваш тон...

— Изысканному тону, признаюсь, не обучен, — сердито буркнул Горбачевский.

— Вернемся к вопросу о пропаганде среди нижних чинов, — поспешил предложить Бестужев-Рюмин, заметив страдальческое нетерпение на лице Сергея.

Тот еще раз молча прошелся вдоль скамьи, потом заговорил с внешним спокойствием:

— Я полагаю, что именно ссылками на Библию и евангельскими текстами мне, скорее всего, удастся внушить солдатам мысль о несправедливости их положения и поднять их на сопротивление с теми, кто служит причиной столь тяжелой жизни. Я прочту им те страницы Библии, которые содержат прямое запрещение избирать царей и повиноваться им. Когда они усвоят это повеление божие, то нимало не поколеблются поднять оружие против своего царя.

— Зря вы это все говорите, — резко произнес до сих пор молчавший Кузьмин, — зря, зря, зря, — повторил он несколько раз, притоптывая сапогом. — Я не вижу ни малейшей надобности говорить с русским солдатом языком монахов и попов. Во-первых, потому, что оные «духовные особы» не только не пользуются в нашем умном народе уважением и авторитетом, а почитаются первейшими плутами и дармоедами. Во-вторых, на ваши библейские тексты попы найдут другие в Новом или

Ветхом завете, которые будут подтверждать обратное.

— Нет, вы неправы, — краснея от сознания своей собственной неуверенности, сопротивлялся Сергей, — религия всегда была сильным двигателем человеческого сердца. Надо только отделить истину христианского учения от вредных наслоений. Я скажу солдатам: «Апостол Павел поучал: „Ценою крови куплены есте, не будете рабы человекам“. Но царь украл вашу свободу и, следовательно, нарушил господний закон. Вот почему вы должны ополчиться на нарушителей слова божия, взять оружие и следовать за глаголющим во имя господне...»

Горбачевский и его товарищи откровенно рассмеялись. Только Бестужев, сохраняя серьезность, нетерпеливо ерошил светло-русый хохолок, задорно торчащий над его отрочески чистым лбом.

— Надышались вы там, за границей, у разных аббатов да капуцинов духа этого божественного, — заговорил Горбачевский. — Уверяю вас, что крестовым походом против тирании ни русский мужик, ни русский солдат не ополчится. А значит, и не к чему ему этим голову забивать понапрасну.

— Интересно, в каком же духе собираетесь действовать вы? — хмуро спросил Сергей. — Уж не пустите ли вы в дело политические трактаты?

— Мы не собираемся действовать, а уже действуем, — заявил Андреевич. — Мы связываемся с людьми через таких поверенных нашей роты, как, например, фейерверкер Иван Фадеев, ефрейтор Иван Зенин или через таких старых служак, как Камбалюк или Андреев, — людей крепких и рассудительных. Мы объясняем солдатам, что служат они непомерно долго, что жалованье получают грошовое, на него и ваксы для сапог да точила для штыка не купишь. Мы говорим, что они, как бессловесные скоты, вынуждены безропотно сносить строгости и жестокие наказания, исходящие от всякого рода начальства. И что по всем этим причинам они погружены в вечное уныние, тогда как они-то и составляют основание силы и славы Российского государства. Мы, — с увлечением продолжал Андреевич, — напрямик открыли им о существовании Общества, которое ставит своей целью избавление их от столь невыносимой жизни. Но общество это, говорим мы им, не может достигнуть своей цели без действия самих солдат. А посему они должны упорно бороться за свои права. И ежели они на такое дело решатся, то последствием сего перво-наперво явится уменьшение срока службы, лишение начальства права обижать их по своему капризу, а ошибки во фронтовом учении не навлекут на них палочных и шпицрутеновых ударов...

— Это все говорите вы, — остановил Андреевича Муравьев, — а слышали ли вы, что говорят солдаты? Понимают ли они вас?

— Понимают, и еще как! — откликнулось несколько голосов.

— Есть, конечно, среди них люди, — продолжал Андреевич, — которые отвечают уклончиво, вроде того, что «дело это надо допрежь всего досконально обмозговать» или «Дай-то бог, чтобы облегчение вышло»; но имеются и такие, которые решительно заявляют, что готовы на все, ибо сознают, что солдатам все равно умирать, так уж лучше отдать жизнь за счастье своих братьев.

— Нужно только приобрести их доверие, — блестя глазами, убежденно произнес Борисов.

— А тогда, — с тем же увлечением добавил Кузьмин, — солдаты пойдут за нами на штурм самовластья с такою же беззаветною храбростью, как шли в самые опасные атаки на врага.

— Приобретение любви и доверия со стороны рядовых, — говорил Борисов, — сделалось ныне моей страстью, ибо без них, без солдатской массы, не может быть успеха в задуманном нами деле. На занятиях с ними по словесности мы применяем метод пропаганды свободолюбия, придуманный майором Раевским. В прописях, подлежащих, списыванию, мы пишем слова: «свобода», «конституция», «вольность». Для грамматического разбора даем такие предложения: «Миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры» или: «Патриотизм есть светильник жизни гражданской».

— А я, сообщая правила о прописных буквах, — с улыбкой сказал Андреевич, — привел такие собственные имена, как Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михайло Кутузов и даже Марат, и даже Риего... Люди стали расспрашивать о носителях этих имен, и в результате получился большой пропагандистский успех!

— Это замечательный прием для проведения нужных нам бесед с людьми, — сказал младший Борисов. — Правило о прописных буквах, коими следует начинать каждую стихотворную строку, я однажды применил на таком примере:

Пролита кровь сия была
Во искупление свободы...

— Сколь счастлив был бы тираспольский узник, когда бы узнал, что он не зря томится в крепостных стенах, — вспомнив о Владимире Раевском, с чувством произнес Бестужев-Рюмин, и его светлые глаза затуманились.

Во время горячих речей «славян» Горбачевский одобрительно кивал головой, и чем уверенней звучали их слова, тем радостней становилось у него на душе. Он так и впивался горячим взглядом в лица своих товарищей и при этом, как дирижер хорошо сыгравшегося оркестра, делал рукой короткие, но выразительные движения.

— А еще, — снова заговорил Андреевич, волнуясь, — мы обращаем внимание солдат на грабительство казною и помещиками тех многих миллионов граждан, кои кормят все наше государство трудом рук своих, сиречь на обездоленное прозябание крепостного крестьянства...

Кузьмин вдруг подошел к Муравьеву вплотную и, гневно глядя ему в глаза, отчеканил:

— Заявляю вам, милостивый государь, что коли понадобится, то я сам могу взбунтовать не только один Черниговский полк, но и целую дивизию. Нынче поручик Горбачевский сказал, что в Каменке решили еще чего-то ждать. Что ж, господам князьям и генералам любые сроки не страшны, над ними не каплет. А для народа продление тирании сулит неисчислимыя бедствия, нестерпимые муки.

Сухинов тоже вскочил с места, и в его движениях и в высоко поднятом указательном пальце были тот же гнев и страстная нетерпимость.

— Вы, слышно, опять затеваете какие-то совещания в Петербурге и Киеве, — не громко, но с угрозой произнес он — ну, что же, совещайтесь, совещайтесь! Только помните одно: когда нам понадобится, мы сами найдем дорогу и на Петербург и на Москву... Так и передайте там господам северянам, мыслителям и резонерам... — он поклонился и, взяв Горбачевского за руку, быстро направился с ним к конюшням, где под навесом стояли их лошади.

Наступило долгое, тяжелое молчание.

Со стороны выезда из усадьбы донесся топот лошадиных копыт, а через несколько минут два всадника проскакали по мосту, переброшенному через речку

Бакумовку. Их силуэты, как в темном зеркале, промелькнули в ее глади.

— Хорошо, что другие «славяне» не так себя держат, — глядя вслед скачущим офицерам, с большой грустью проговорил Муравьев, — а то к началу возмущения мы имели бы недисциплинированный отряд революционной армии, а *gardeperdue* note 20, как называет таких молодцов Лунин.

— Неужели в вашем Обществе нет никакого устава, никакой присяги? — спросил Бестужев у Борисовых.

— Ведь без дисциплины никакого дела начинать нельзя, — продолжал взволнованно Сергей. — Подчинение руководству — необходимое условие победы.

— Не беспокойтесь в этом отношении за «славян», Сергей Иваныч, — убежденно произнес старший Борисов. — Вступая в Тайное общество, они дают суровую клятву и сдержат ее при любых условиях.

— Скажите нам эту клятву, — потребовал Сергей.

Борисов встал со скамьи и, подняв, как для присяги, руку, торжественно заговорил:

— «Вступая в число „Соединенных славян“ для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественно присягаю в следующем: клянусь быть всегда добродетельным, верным нашей цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми его ужасами не вынудит меня указать тиранам моих друзей и их намерения. Клянусь, что уста мои тогда только откроют название сего Союза перед человеком, когда он докажет несомненное желание быть участником оногo; клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха вспомоществовать вам, друзья мои, с этой святой для меня минуты. Клянусь, что ничто в мире не будет в состоянии тронуть меня. С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройдя тысячи смертей, тысячи препятствий, — пройду и посвящу последний вздох мой свободе и братскому союзу славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть угрызания совести будут первою мезтью за гнусное клятвопреступление, пусть... — Борисов быстрым движением извлек из-под мундира короткий кинжал и, прижав его на момент к своим губам, продолжал с пафосом: — Пусть сие оружие обратится острием в сердце мое и наполнит оно адскими мучениями, пусть минута жизни моей — вредная для моих друзей — будет последнею, пусть от сей губельной минуты, в которую я забуду свои обещания, существование мое превратится в цепь неслыханных бед. Пусть увижу все любезное сердцу моему издыхающим от сего оружия в ужасных мучениях, и оружие сие, достигая меня, преступного, пусть покроет меня ранами и бесславием и, собрав на главу мою целое бремя физического и морального зла, выдавит на челе моем печать юродивого сына природы».

«А ведь Пестель был прав, сравнивая „славян“ с итальянскими карбонариями, — подумал Сергей, слушая слова клятвы, — это настоящие масоны из ложи „Свободных пифагорейцев“. Только у тех присяга пересыпана еще более энергическими заклинаниями. Там сказано еще, что в случае измены каждый из них должен быть готов к тому, чтобы „тело его было разорвано на куски, брошено в огонь, обращено в пепел, рассеяно по ветру, а имя вызвало омерзение у масонов всего мира...“

Проводив всех офицеров, Сергей с Бестужевым еще долго ходили по двору, обсуждая дальнейший план действий.

Note20

Головорезы (франц.).

Олеся, вернувшись с полянки, до которой она провожала жениха, села за пяльцы и неохотно слушала, что говорил ей князь Федор. Изредка она отрывала глаза от узора и подымала их на князя. Тогда он ближе наклонялся к ней и высохшими, как от жажды, губами спрашивал:

— Где вы, мадемуазель Элен, выучились эдакому изысканному вкусу и в подборе вышивальных шелков и в собственных нарядах? Намедни видел я вас в прелестном желтом платье с лиловой бархаткой на шейке, а в нынешнем туалете, — князь Федор с жадным восхищением оглядел Олесю, — в нынешнем туалете вы еще обольстительней.

— А я у цветов или бабочек перенимаю, что к чему идет, — серьезно ответила Олеся. — Вот, к примеру, видели ли вы, какие чудесные ирисы вырастил на своих клумбах братец Матвеюшка? Лиловые, а краешки ярко-желтые. А нынешнее платье я скопировала у бабочек «орденская лента». Видали когда? Сама дымчатая, а на крылышках голубые каемочки. Только это мой секрет, князь. — Она шутливо погрозила пальцем.

Князь схватил этот маленький розовый палец и прижал его к своим губам. Олеся с усилием отдернула руку и брезгливо обтерла палец о край вышивания.

— Так как же, Сережа? — останавливаясь у амбара, спросил Бестужев.

— На днях я буду окончательно говорить с моими солдатами. Я проштудировал библию и думаю все же воспользоваться ее текстами.

— А может быть... Может быть, «славяне» действительно и правы? — робко спросил Мишель. — А вдруг эта мистика и в самом деле ни к чему?

— Самое главное, Миша, — это цель, — уверенно ответил Сергей, — и пути к ее достижению следует выбирать только такие, какие народному пониманию доступны.

Долго еще шагали они с Мишелем от амбара до конюшни и обратно.

— Господа! — неожиданно раздался голос князя Федора.

Оба обернулись к террасе.

— Хотите, чтобы я сказал, как далеко простираются ваши планы? — перевесившись через балюстраду, спросил князь Федор.

— Ну-ка, князь? — иронически улыбнулся Сергей.

— От амбара до конюшен. До конюшен! — повторил князь и зычно расхохотался.

17. Беседа

Сергей Муравьев и ефрейтор Никита, бывший семеновец, поджидали в условленном месте, на опушке леса, группу солдат своего полка.

Давно не было дождя, и трава, на которой они сидели, поредела и пожелтела. Пожелтели и свернулись листья на деревьях. Затих птичий гомон. Было душно.

Далеко гроыхало, и в небе то появлялись, то исчезали небольшие тучи, похожие на клочья запыленной ваты.

— Так как же, Никита? — и в голосе Сергея звучала нетерпеливая настойчивость.

— Опасливый народ, ваше благородие, не доверяются.

— Чего же они боятся?

— Барская, говорят, затея.

— А ты им из моего «Катехизиса» читал? О боге говорил?

Никита махнул рукой.

— Паренек один, самый что ни на есть сметливый в нашей роте, такое мне сказал: «Бог, говорит, тот же царь. Ежели что не по его воле, так лбом оземь». Вишь, какой народ, ваше благородие...

— Что ж, по-твоему, и затевать нечего?

Никита с жалостливой усмешкой посмотрел в огорченное лицо Сергея и, как ребенка, успокоил:

— Для чего не затевать. Вишь, что сказали... Затевать бесприменно. Народ — он раскачается.

Солдаты подошли по три в ряд и дружно поздоровались с любимым офицером. Сергей испытующе оглядел их потные от жары лица.

— Садись, ребята, — делая вокруг себя жест рукой, сказал он.

— Ничего постоим, — слышались голоса.

Однако один за другим стали опускаться на траву.

«Сказать им напрямик все как есть, — подумал Сергей, — открыться и в существовании Тайного общества? А если отпугну? Ведь вот вижу, что не свой я им...»

Он снова пытливо оглядел солдат.

Они сидели как будто вольно, но поза была у всех одна и та же: плечи неподвижны, грудь вперед, голова вполоборота к офицеру и носки запыленных тяжелых сапог вывернуты в стороны.

— Есть среди вас грамотные? — спросил Сергей.

— Так точно, ваше благородие. Панфилов грамотей.

— Панфилов, ты Библию читаешь когда-нибудь?

Солдат вскочил на ноги и вытянулся во фронт:

— Никак нет, ваше благородие.

— Да ты сядь.

— Несподручно сидючи отвечать, — застенчиво улыбнулся Панфилов.

— Садись, — потянул его за полу Никита.

Панфилов посмотрел на солдат.

— Ничего, садись, Панька, — одобрили они.

— А почему не читаешь? — спросил Сергей.

— Где же читать, ваше благородие, — вздохнул Панфилов.

— Нешто при нашенском житье полезут в голову книжки, — заговорили ему в тон и другие, — одну муштру только и знаем. Она все из нас выбила. Шагаешь, а у самого на уме: таков ли размер шага, не опущено ли плечо, не сдвинулся ли ремень? А чуть зазевался — получай в ухо, вроде как бы в задаток, а за сотней палок не забудь опосля прийти. А то и вовсе шкуру спустят...

И начались жалобы. Сначала робкие, отрывистые, потом гневные, похожие на угрозу. И шершавые слова «муштра», «шеренга», «шпицрутен», «цыцгаус» повторялись множество раз с одинаковой злобой и ненавистью.

Слушая солдат, Сергей испытывал смутное чувство растерянности.

«Ведь вот он — горючий материал, коего пламя должно испепелить тиранию, — размышлял он, — но отчего же искры, бросаемые в него, вызывают лишь чад угрюмого брожения, лишь вспышки одиночных расправ, а не яркое зарево восстания? Отчего? Отчего?»

— А вы понимаете, что служит причиной вашего бедственного положения?

Его вопрос повис без ответа.

— От бога, что ли, так положено? — Сергей приподнялся с травы. — Как полагаешь ты, Панфилов?

Прежде чем ответить, Панфилов снова взглядом спросил товарищей. И те поддержали:

— Бог тут, ваше благородие, ни при чем вовсе. Начальство вредит.

Сергей встал, отряхнулся и, шагая по пыльной траве, стал говорить.

Все, что передумал, что перестрадал за них, все старался выразить в словах. И сидевшие на выгоревшей траве люди поняли его, потому что почувствовали любовь и муку в его задушевном голосе, в опечаленных глазах.

— Бог запрещал клясться, — бросал Муравьев короткие фразы, — а цари заставляют присягать им на верность. Бог создал человека свободным. Для чего же русское воинство и русский народ несчастны? Цари похитили их свободу, сделали рабами. Цари — нарушители воли бога, и да будут они прокляты, как притеснители народа. Так я говорю, друзья мои?

— Правильно! Верно!

— Цари окружают себя телохранителями, велят молиться за них по церквям, приказывают помещикам и всякого роданачальству народ держать в крепости и страхе... Тиранствовать над ним...

— Супостаты!

— Известное дело — изверги! — откликнулись солдаты.

— Что же делать вам — силе, на которой зловластие зиждется? — спросил Сергей.

— Известно чего, — густо краснея, проговорил Панфилов и с корнем выдернул несколько пучков травы. — Вот чего с ними делать, — отшвыривая пучки один за другим в сторону, сказал он.

— Правильно! Верно! До смерти, что ли, терпеть их? — раздался голоса.

— Пойдете за мной? — весь загораясь и чувствуя, что зажигает других, воскликнул Сергей.

— Куда угодно веди нас, ваше благородие

— Верите мне?

— Верим. Куда скажешь, пойдём, — отвечали солдаты.

— Ополчимся против тиранства, — опускаясь на колени, как для молитвы, продолжал Сергей, — отвратим раболепство, выберем новых апостолов из простого народа, а не из знатных господ. Подвигом этим очистимся. И горе тем, кто нам воспротивится! Как вялую траву, долой их, продавших души свои и торгующих душами ближнего своего. Страшное наказание постигнет их!

— Правильно рассудил, ваше благородие! — Крепко сжатые кулаки поднялись над головами. — Выдавай оружие! Веди, — наши черниговцы все за тобой пойдут!

— А за вашими и наши встанут! — твердо сказал Никита.

— Гуртом выходит, ребята! Важно! — счастливо улыбнулся Панфилов.

— Скорей бы только!

— Невмоготу стало!

— Давно пора! — раздавались гневные восклицания.

Сергей, радостно улыбаясь, вытирал платком разгоревшееся лицо.

— Теперь уж скоро, братцы! Ждите — скоро!

Расходились, когда вокруг все потемнело от приближающейся грозы.

Солнце, еще с утра тускло светившее сквозь разорванные облака, будто черным

абажуром, прикрылось огромной тучей. Дождь зашептался с верхушками деревьев, зашуршал по сухой, выжженной траве. Крупные капли падали на дорожную пыль и расплывались большими, похожими на стертые пятки, пятнами.

Держа фуражку в руках, Сергей неторопливо возвращался в Бакумовку. Ушедшие далеко вперед солдаты сняли рубахи, подставив под дождь голые спины и плечи.

18. Ссылочный невольник

В знойном от ослепительного солнца воздухе душно и сладко пахло отцветающей акацией. Ее бело-зеленые сережки устлали улицы Одессы.

По одной из них, ведущей к казенному зданию, в котором помещалась канцелярия новороссийского генерал-губернатора, энергично размахивая тростью с тяжелым набалдашником и переброшенным на руку плащом, шел Пушкин. Сдвинутая на затылок широкополая шляпа с высокой тульей кидала резкую тень на его лицо, концы белого фулярового шарфа и палевый жилет.

Прохожие — одни молча оборачивались на этого молодого человека необычайной наружности, другие приветствовали его почтительным поклоном, третьи открыто выражали ему свой восторг.

Но Пушкин шел, никого и ничего не замечая.

Взбежав по лестнице в канцелярию, он, запыхавшись, спросил попавшегося ему навстречу чиновника-инвалида.

— Александр Иваныч у себя?

Чиновник испуганно взглянул в разгоряченное лицо поэта и, посторонившись, сделал пригласительный жест в сторону кабинета правителя канцелярии.

Привстав из-за стола, Казначеев указал на кресло:

— Покорно прошу садиться, Александр Сергеевич.

Устало опустившись в кресло, Пушкин снял шляпу и обмахивался ею, как веером. Казначеев выжидательно глядел на него, теребя свои седеющие бачки.

Пушкин молчал, покусывая губы.

— Жара нынче невыносимая, — первым заговорил Казначеев, — не желаете ли кваску? Жена прислала, с ледком. Пожалуй, и не растаял еще...

— Премного благодарен, — неопределенно сказал Пушкин.

— Вот и отлично, — обрадовался правитель канцелярии и с готовностью повернулся к стоящему рядом в простенке шкафу. На нижней его полке, в зеленоватом от оконных штор сумраке, блеснула граненая пробка большого графина.

Казначеев взболтнул темно-янтарный квас, и белая пена засияла радужными пузырями.

— И ледок в сохранности, — протягивая Пушкину наполненный до краев стакан, довольным тоном проговорил Казначеев.

Пушкин сделал несколько жадных глотков.

— Нектар, — сказал он, держа перед собою недопитый квас, в котором весело ныряли и вновь всплывали золотистые точки. — Суший нектар...

Казначеев самодовольно разгладил усы:

— Уж моя дражайшая половина на сей предмет такая искусница, что...

— Так вот что, — перебил Пушкин и тяжело поставил на стол свой стакан. — Вот по какому поводу я вас беспокою, добрейший Александр Иванович...

— Весь внимание, — настороженно нагнулся через стол Казначеев.

— Вам, конечно, известно, — строго заговорил Пушкин, — что граф Воронцов посылает меня в Херсонский, Елисаветградский и Александрийский уезды на предмет собирания сведений о появившейся в тех местах саранче и о средствах, употребляемых к ее уничтожению?

— Как же, как же, оное распоряжение его сиятельства даже в реестр уже занесено.

Пушкин вскочил с места:

— Поторопились... Однако прошу вас в таком случае, принять от меня официальные на сей счет объяснения.

— Извольте говорить, — вздохнул Казначеев.

— Ни в какие отношения с начальством поименованных уездов я входить не стану, — чеканя слова, Пушкин ударял указательным пальцем по краю стола. — Сочинять рапорты, я не горазд. На служебном поприще никогда не был отличен, ибо сам заградил к этому путь, выбрав другую профессию.

— Извольте говорить о стихотворстве? — робко спросил Казначеев.

— Именно, — повысил голос Пушкин. — Стихотворство — мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и независимость. И граф Воронцов не смеет лишать меня ни того, ни другого.

Казначеев снова беспокойно потеревил бачки:

— Я пытался было высказать мои соображения его сиятельству в том смысле, что всякий другой чиновник был бы более подходящим для исполнения такого поручения, нежели вы... Но его сиятельство, однако...

— Что, однако? — опять нетерпеливо перебил Пушкин.

— Однако на все мои доводы его сиятельство отозвался в таком духе, что... — Казначеев замялся.

— Да говорите же, Александр Иванович! — вскрикнул Пушкин.

— Граф сказал, что жалование, положенное вам от казны, обязывает вас в какой-то степени... — и растеряно замялся под гневным взглядом Пушкина.

— Благоволите передать его сиятельству, — резко заговорил поэт, — что, находясь в двух тысячах верстах от Петербурга и Москвы, я лишен возможности своевременно сбывать написанное мною столичным книгопродавцам и журналистам. Правительству угодно было вознаградить меня за это мизерной суммой в семьсот рублей. Я принимал эти деньги не как жалованье, но как паек ссыльного невольника. И я охотно готов отказаться от этого пайка, ежели из-за него не могу быть властен в моем времени и занятиях.

Правитель канцелярии, как бы защищаясь, поднял обе руки.

— И слышать такие речи не хочу, — испуганно проговорил он, — а уж передавать их его сиятельству тем паче не стану ни в коем случае! Ведь ничего, кроме лишнего противу вас неудовольствия, в результате не получится. Граф нипочем не отменит раз положенного решения, особливо в случае, когда оно уже пошло по инстанциям и в Общее Присутствие тамошних уездных городов.

— Так, по-вашему, придется ехать?

— Неминуемо, Александр Сергеевич, — категорически подтвердил Казначеев.

— Добро же, — протянул Пушкин.

И, схватив шляпу, бросился вон.

— Экой шумной, — сокрушенно покачал головой ему вслед инвалид-чиновник.

Пушкин стремительно шел к отелю француза Рено, где занимал небольшой номер.

На перекрестке улиц Ришелье и Дерибаса поэт остановился и посмотрел на балкон своего номера. Холщовые занавеси на нем были приподняты, и подле кадки с запыленным фикусом виднелась женская фигура в длинной мантилье.

После мгновенного раздумья Пушкин махнул рукой и зашагал дальше.

— Свезу к морю, ваша благородия? — предложил ему знакомый извозчик-молдаванин.

Пушкин легко вскочил в рессорный фаэтон.

— Пошел быстрее, Романыч!

— Куда завсегда? — спросил Романыч, взмахивая кнутом.

Фаэтон заколыхался по накатанной дороге, поднимая клубы тяжелой пыли. Коляска уже скрылась из виду, а пыль, как густой серый туман, еще долго висела вдоль дороги.

Вот и пустынный берег.

Спрыгнув на ходу, Пушкин бросил извозчику обычное «подождешь» и стал спускаться к морю с крутого склона. Мелкие камешки и ракушки шуршали под его ногами и струйками катились вниз.

Он подошел к самой воде, снял шляпу и, постояв неподвижно несколько минут, стал перепрыгивать все дальше и дальше от берега по поднимавшимся над водой камням.

Чтобы не упасть с их скользкой, вылощенной волнами и поросшей водорослями поверхности, он балансировал руками и движениями всего своего гибкого тела.

На высоком, похожем, на гигантскую львиную голову, выступе подводной скалы поэт остановился. Соленый ветер обдавал его лицо мириадами водяных пылинок.

Сбросив плащ, Пушкин прилег на него, подперев голову рукой.

Волны катились мимо скалы ровными грядами, задевая ее пенными гребнями. А вокруг, куда только мог достигнуть взор, расстилалась бескрайняя синева моря. Солнце растворялось в ней золотыми змейками, обручами, звездами. И все это кружилось и качалось на волнах, ослепляя своим мелькающим блеском.

Пушкин восторженно созерцал этот раскинувшийся перед ним зелено-сине-золотой простор.

Ветер теребил курчавые пряди его волос, волны захлестывали край его плаща.

«Какой, однако, нынче выпал тяжелый день, — думал поэт, не отрывая глаз от моря. — Вот уж истинно говорят: одна беда никогда не приходит...»

Кроме назревающей ссоры с Воронцовым, Пушкина с утра потрясла горестная весть. Зайдя, по обыкновению, рано в приморский трактир, чтобы выпить крепкого, по-молдавски сваренного кофе и послушать разноязычный говор моряков, прибывающих в одесский порт со всех концов мира, Пушкин вдруг услышал разговор за соседним столом:

— Вовсе замучила меня лихорадка, — рассказывал своему собутыльнику смуглый матрос, — от такой самой хворобы и этот знаменитый лорд Байрон помер. Об нем только и разговору было от Миссолонги до самой Одессы...

Пушкин подбежал к матросу, стал его расспрашивать... Весть была жестока и несомненна: умер Байрон, которого он называл «властителем дум», «пламенным демоном с огромным человеческим талантом»...

«Какой высокий предмет для поэзии — его смерть», — размышлял Пушкин, невольно вслушиваясь в равномерный плеск бегущих волн.

Под этот ритмичный плеск откуда-то из глубины сознания, из сокровенных

тайников души стали возникать все явственней и явственней сначала отдельные слова, потом целые звучные строфы. Пушкин восторженно, провел рукой по увлажненным глазам, приподнялся. Губы его дрогнули и зашептали с неизъяснимым чувством;

Исчез оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец...
Шуми, взволнуйся непогодой,
Он был, о море, твой певец...

Александр Николаевич Раевский с самого утра разыскивал Пушкина. Зайдя в гостиницу Рено, он встретил в занимаемом поэтом номере княгиню Веру Федоровну Вяземскую, которая в это лето жила со своими детьми в Одессе,

— Я видела Александра Сергеевича с балкона и хотела встретить его, — сказала она Раевскому, — но он, наверное, направился куда-то в другое место. Отыщите его, мсье Раевский, и непременно пришлите ко мне. Я скоро уезжаю из Одессы и имею от мужа строжайший наказ — привезти самые подробные сведения о настроении, планах и писаниях Александра Сергеевича.

Выйдя из отеля, Раевский сразу напал на след Пушкина. Маленький грек, продавец халвы из соседней лавчонки, на вопрос о поэте ответил, ласково блестя маслинно-черными глазами:

— Пускин говорил вознице: «Посел! Посел!» — и поехал вот туда, к морю.

Раевский окликнул извозчика, и тот подтвердил:

— Молдаван Романыч повез господина Пушкина на берег. Я сам сколько раз его туда же возил. Знаю и где он любит бывать. Пожалуйста, мигом доставлю...

На крутом берегу, в тени от фаэтона, сидел на пыльной траве Романыч. На коленях у него лежала мелкая копченая рыбешка, которую он целиком отправлял в рот.

— А барин куда пошел? — спросил Раевский.

Романыч ткнул блестящим от рыбьего жира пальцем влево и вниз.

Пройдя шагов двадцать, Раевский увидел полулежащего на скале Пушкина и стал осторожно спускаться по сыпучему склону берега.

— Эй, Пушкин! — окликнул он, уже пробираясь по скользким влажным камням. — Право, в этой живописной позе ты куда интересней, чем в кишиневском архалуке и феске с кисточкой. И ежели б графиня Елизавета Ксаверьевна поглядела на тебя сейчас...

Пушкин медленно обернулся. Его глаза поразили Раевского своим выражением. Они как будто впитали в себя глубину и смятение моря, от которого только что оторвались.

— Ты что-то сказал о графине Воронцовой? — тихо спросил поэт.

— А ты будто не слышал?

— Нет, не слышал. Вот это мешало. — Пушкин обернулся к морю, широко простирая к нему руки.

— Эка невидаль, — равнодушно пожал плечами Раевский, — такая же вода, в какой бабы тряпки полощут, только много и соленая. И совершенно напрасно ваш брат — поэты наперебой восторгаются морями и океанами. По-моему, Тясмин у нас в Каменке куда лучше и поэтичней!

Усевшись рядом с Пушкиным, Раевский протяжно зевнул. Пушкин снова

обернулся к морю и замер. Раевский несколько минут насвистывал модную песенку.

— Ты намереваешься в ближайшие дни повидаться с Елизаветой Ксаверьевной? — наконец, спросил он.

— Если она позволит — с радостью, — ответил Пушкин.

— Нынче я зван к Воронцовым на обед. Могу выбрать минуту, чтобы поговорить о тебе.

— Будь другом, — попросил Пушкин, — вечером я буду в опере и надеюсь, что ты привезешь мне туда благожелательный ответ.

— Разве нынче поет Каталани? В таком разе и я непременно буду. Да, чуть было не забыл, — спохватился Раевский, — я заходил к тебе и встретил княгиню Вяземскую.

— Веру Федоровну! — воскликнул Пушкин, и лицо его осветилось улыбкой. — Знаешь, Александр, сколь ни люблю я ее мужа, но считаю, что он все же недостоин такого ангела. Я преклоняюсь пред ее душевными качествами...

— Только ли пред душевными? — прищурился Раевский.

— Александр! — с серьезной укоризной проговорил Пушкин.

Раевский передал ему просьбу Вяземской и, поднявшись, отряхнул с сюртука мелкие ракушки.

Море начинало розоветь от лучей закатного солнца. Совсем близко от берега проходил под парусами стройный корабль. На верхушке самой высокой мачты развевался турецкий флаг.

— С каким бы наслаждением поплыл я на нем, — глядя вслед кораблю, с глубоким чувством произнес Пушкин.

Раевский пристально поглядел на него.

— Ты и с султаном не поладил бы, — проговорил он насмешливо.

— Нет, отчего же, — возразил Пушкин, — тот, по крайней мере, не корчил бы из себя просвещенного европейца, как это делает наш с тобой тезка...

Они молча постояли еще некоторое время. С удаляющегося корабля донесся мелодичный звон склянок. Несколько горбатых дельфинов всплеснулось совсем близко от берега.

— Пойдем, что ли, — предложил Раевский.

— Побудем еще немного, — попросил Пушкин.

— Ну, ты — как знаешь, а мне скучно. — Раевский снова зевнул и, осторожно ступая по мокрым камням, пошел к берегу. — Я тебя на извозчике подожду, — крикнул он, уже карабкаясь наверх.

— Нет, уж поезжай без меня! — махнул рукой Пушкин. — Мне нынче хочется подольше побыть у моря...

Когда Раевский, утомившись от крутого подъема, поднялся наверх, его извозчик тоже угощался копченой рыбешкой, ловко сплевывая косточки на середину пыльной дороги. Увидев Раевского, он вытер полою своего балахона смоляную бороду и подтянул кушак.

— Небось, думали, что господа утонули? — спросил Раевский.

— Нешто вы долго пробыли, — ответил Романыч, — я вот своего курчавого барина завсегда сюда вожу. Так уж его иной раз ждешь, ждешь... И лошадь отдохнет всласть и сам я, сколько снов перевижу, покуда барин мой назад поедет...

— Да тебе-то что за беда, — разваливаясь в коляске, сказал Раевский, — лишь бы за простой заплатил.

— Платить-то он платит. Не всегда в срок, а заплатит беспременно, — сообщил Романыч.

— Ну, пошел к дому генерал-губернатора! — приказал Раевский своему извозчику.

Тот еще раз вытер полой длинного кафтана щеки и бороду и полез на козлы.

Деля прощальные визиты перед отъездом из Одессы, княгиня Вяземская посетила и Елизавету Ксаверьевну Воронцову.

Она, пожалуй, не сделала бы этого, если бы не хотела испробовать еще одно средство облегчить участь Пушкина. В эти последние дни ей стало известно, что Воронцов, желая избавиться от Пушкина, добился распоряжения из Петербурга о высылке поэта в Псковскую губернию. И Вяземская решила просить жену Воронцова, чтобы та повлияла на мужа и постаралась избавить поэта от этой новой беды.

— То, что случилось с Пушкиным, — говорила она во время этого визита, и слезы блестели на ее добрых близоруких глазах, — делает меня и моего мужа глубоко несчастными. Заточить этого пылкого, кипучего юношу в глухую псковскую деревню за неосторожные стихи... Это, это... — от волнения Вяземская не сразу нашла нужное выражение, — это так немилосердно, это *coup de grace note 21*, графиня. Если бы вы видели, в каком состоянии он прибежал ко мне, когда узнал, что высылка его из Одессы решена. Без шляпы, бледный, как мертвец... И самое ужасное, что ссылка обрывает его работу над «Онегиным».

Графиня Воронцова, тоже до крайности взволнованная этой беседой, снова повторила уже несколько раз сказанную гостье фразу:

— Я приложу все старания, чтобы смягчить гнев моего мужа.

19. Граф Воронцов — лорд и меценат

Новороссийский генерал-губернатор граф Михаил Семенович Воронцов, которого за его приверженность ко всему английскому звали лордом и англоманом, сидя в своем на английский лад обставленном кабинете, разбирал донесение одного из тайных агентов.

На каллиграфически выписанных листках в осторожно-витиеватых выражениях сообщалось, что:

«Злонамеренные стихи, о коих ваше сиятельство распорядиться изволили, воистину сочинены господином Пушкиным, доказательством чему служат прилагаемые собственноручные его строки, найденные среди его измятых, подлежащих выметению бумаг. Окромя них, при сем прилагаю перехваченное письмо того же господина Пушкина к его столичному приятелю князю Петру Андреевичу Вяземскому с двумя добавленными в том же конверте стишками. Одни в виде поминаньица за упокой души некоего раба божия Байрона, другие, предерзостные до крайности, не имею смелости повторить, против кого направил их, сей отчаянный виршеплет».

Элегия «К морю», в которую входило «поминаньице за упокой души раба божия Байрона», уже ходила по Одессе в рукописных экземплярах, и Воронцов тоже знал ее. Но четыре строки пушкинского письма, после слов: «каков Воронцов»:

Note21

Удар, которым добивают смертельно раненного (франц.).

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец,
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что будет полным, наконец... —

эти четыре строки, как четыре пощечины, горели на графском лице.

— Нет, каков мерзавец! — прошипел он, комкая листки доноса. — Не в псковскую деревню упечь его следовало бы, а в крепость, в железа... в каторжные работы...

Резкий стук в дверь прервал злобные мысли графа. Он едва успел сунуть перехваченное письмо Пушкина в ящик письменного стола, как в кабинет вошла Елизавета Ксаверьевна.

Ее обычно веселое молодежливое лицо было искажено сдерживаемым гневом. Маленькие губы, о которых говорили, что они «требуют поцелуев», были бледны и подергивались как от боли.

— Что с вами, Бетси? — оглядев жену строго-недоумевающим взглядом, спросил Воронцов.

— А то, что вы, выдавая себя за цивилизованного европейца, поступили, как истый дикарь... низко, отвратительно...

Граф выпрямился во весь свой высокий рост и оперся холеными пальцами о малиновое сукно стола.

— Я прошу вас думать, о чем вы говорите, — резко сказал он.

Елизавета Ксаверьевна прижала руки к вискам.

— Это ужасно, — заговорила она с возмущением, — написать донос на Пушкина — это недостойно, порядочного человека. А вы называете себя аристократом. Правда, русским аристократом, — язвительно добавила она.

Воронцов шагнул к жене.

— Я глубоко сожалею, — с ледяным спокойствием заговорил он, — я сожалею, что вы в свое время поступили столь оплошно, сочетав себя именно с русским аристократом, а не с кем-либо из польских претендентов на вашу руку. Но должен вас предупредить, что вы, видимо, худо осведомлены об истинном положении дела с Пушкиным. Он сам просил об отставке.

— Еще бы! Служить у вас после того, как вы послали его на саранчу в качестве какого-то коллежского секретаря...

— Он и есть коллежский секретарь, — с тем же замороженным спокойствием проговорил Воронцов.

— Пан Иезус! — как всегда в минуты душевного волнения, по-польски воскликнула Елизавета Ксаверьевна. — И это говорите вы, покровитель просвещения, новороссийский меценат...

— Кабы Пушкин, должным образом выполнил возложенное на него поручение, — продолжал Воронцов, — я имел бы повод сделать о нем даже представление к какой-либо награде. Но вместо серьезного доклада он предпочел распространять о своей поездке озорные стишки, а затем представил прошение об отставке. А поскольку он числится по Иностранной коллегии, я не мог не снести по этому вопросу с графом Нессельроде.

— И просить убрать поэта из Одессы, — зло закончила Воронцова.

— Да, убрать его вон отсюда, — отчеканил Воронцов, — и убрать туда, где общество настроено не столь либерально, как в Одессе, и где влияние крайних идей не будет столь пагубно для этого неуимчивого либералиста.

— Так ведь это же и есть настоящий донос! — вскрикнула Елизавета Ксаверьевна. — И вы... вы мстите Пушкину за то, что он не пресмыкается перед вами, как другие. За то, что он пользуется всеобщей славой как замечательный поэт, а вы... вы... только...

— Прекратим эту сцену, — багровея, проговорил Воронцов. — Я не хотел касаться еще одной причины, по которой считаю необходимым убрать отсюда Пушкина.

— Бог мой, что еще? — настороженно спросила графиня.

— А то, что он не ограничивает своего волокитства госпожой Ризнич и ей подобными. И то, что я не желаю, чтобы и вокруг имени моей жены шелестели листки стишков вроде тех, которыми он наградил супругов Давыдовых!

— Неправда! — возмущенно вырвалось у Воронцовой. — Элегические строки, которые Пушкин посвятил мне, прелестны. И я не Аглая...

— А я не Александр Давыдов, — повышая голос, перебил Воронцов, — и не возьму во внимание, что провинившийся дерзкий чиновник Пушкин, кроме пасквилей, умеет сочинять еще усладительные для вашего уха вирши!

Елизавета Ксаверьевна подняла руки к ушам:

— Перестаньте, я не могу вас больше слушать!

— Нет, извольте слушать, — потребовал Воронцов. — Я не допускаю мысли, чтобы вам, лестно было видеть у ваших ног влюбленного Пушкина. Ибо в сем случае вы были бы вынуждены делить свой успех с разного рода гречанками, молдаванками, итальянскими актрисами и танцовщицами.

— Замолчите же, я не хочу вас слушать! — графиня снова зажала уши.

— Как вам угодно.

Воронцов умолк.

— Я поеду с детьми в Белую Церковь к татан. Я устала от всей этой истории, и мне хочется отдохнуть.

— Как вам угодно, — повторил Воронцов.

Когда жена вышла, он опять кончиками пальцев взял пушкинское письмо, вложил его в конверт и бросил к казенным пакетам, приготовленным к очередной почте.

Вечером, оставшись с графиней наедине в ее будуаре, Александр Раевский, целуя ей руки, говорил:

— Как счастливо все обошлось, как хорошо! Гроза, собравшаяся над нами, разразилась в ином направлении.

— Да, но мне совестно перед Пушкиным. Я пыталась говорить с Мишелем, но ничего нельзя сделать. Он так против него настроен, так озлоблен. Мы даже поссорились, и я решила уехать в Белую Церковь.

— Как счастливо, — еще раз вырвалось у Раевского, и его маленькие желто-карие глаза загорелись. — Я не замедлю приехать туда, и мы снова будем вместе... И как вместе?! Помнишь, Бетси, наши браницкие «вместе»? — дрогнувшим от страсти голосом шепотом спросил он и порывисто обнял ее.

Графиня торопливо отвела его руки.

— Нам надо быть осторожней, — быстро проговорила она.

— Мы ли не умеем быть таковыми? — хитро прищурился Раевский.

— Вы говорите о Пушкине? — вдруг нахмурилась Елизавета Ксаверьевна. — В таком случае скажу вам напрямик — это гадко! Пушкин верит вам, как дитя. Ему и в голову не приходит, что вы ввели его в мой салон на роль ширмы. Это... это... это — холопский поступок.

Раевский иронически улыбнулся:

— Уж не прав ли граф в своих опасениях относительно вашего излишнего расположения к Пушкину? Мне тоже начинает казаться, что вы слишком близко принимаете к сердцу судьбу поэта.

— Не знаю, что думает мой муж о моих отношениях с Пушкиным, — холодно возразила Воронцова, — но мне сдается, что дело не столько в беспокойстве графа, сколько в вашей собственной ревности.

Раевский побледнел. Он понял, что Елизавета Ксаверьевна, разгадав его лицемерие в отношении Пушкина, испытывает стыд. А он знал, что женщины никогда не прощают тех, кто такой стыд вызывает.

И прикрылся обычной маской циника:

— Итак, африканское происхождение Пушкина дает ему возможность сделаться современным Отелло... И его Дездемона...

Графиня перебила его:

— И у этого мавра тоже оказался Яго. Бедный Пушкин! — почти с нежностью продолжала она после паузы. — Он так упивался в Одессе обществом, оперой, морем...

— И женщинами, — уже приняв свой обычный насмешливый тон, добавил Раевский. — А это он найдет и в Псковской губернии.

Графиня холодно посмотрела на него и позвонила. Когда пришел лакей, она велела позвать детей и до ухода Раевского не отпускала их из будуара.

20. «Картины отрадные»

Трехдневное пребывание в вотчине Аракчеева «Грузино» становилось невтерпеж Басаргину.

Находясь в свите царя, он сопровождал его в осмотре близрасположенных военных поселений. Ни вымытые стекла чистеньких, выкрашенных в желто-розовую краску изб, ни купидоны и амурсы, отлитые на чугунных печных заслонках, ни жирные гуси на холщовых скатертях столов, ни складно сшитые мундиры не заставили Басаргина поверить тому, что все это смягчало и скрашивало мрачную жизнь военных поселенцев. По застывшим в испуге глазам, по неестественным, вымученным движениям, по привычке ежеминутно боязливо озираться — он понял, что все, что было известно ему и его товарищам о жизни этих людей, в действительности было еще мрачнее.

Красивые избы с мезонинами были так холодны, что вода в кадках замерзала. Домашний скот содержался в таком же порядке, как ружья и мундиры, но зачастую эту же выскребленную щетками скотину гоняли на пастбища за десятки верст от села, откуда она возвращалась домой изнуренная и тощая.

Больница сияла чистотой мебели и полов, но больные боялись ступить на эти полы и, вместо того чтобы выходить через дверь, прямо с кровати прыгали в окна. Боялись сесть на скамейку, чтобы не сдвинуть ее с указанного места. Боялись опереться о стол, чтобы не стереть свежеположенной краски.

Поселенцы во время полевых работ жили в мазанках без печей. Работали больные лихорадкой и цынгой. Слепли от глазных болезней. Но на показ начальству выходили в мундирах без пылинки, с лихими песнями и присвистом.

А ночью по всему поселению звучал надрывный кашель, сплевывались сгустки крови, раздавались стоны и громкая спросонья брань.

И чем больше знакомился Басаргин со всем укладом жизни военных поселений, тем больше убеждался в длинной цепи фальсификаций и хитро скомпонованной бутафории, которые были придуманы Аракчеевым для сокрытия подлинного, бесчеловечного, быта военных поселенцев.

Возвращаясь в ближайшую к аракчеевскому дому «связь», — так назывались однообразно устроенные в поселениях избы на две семьи, — Басаргин обычно долго не мог заснуть.

Его жизнь, обеспеченная чужим трудом, безоблачно счастливая в последние полгода со времени женитьбы, казалась ему невозможно несправедливым благом. Будто тоскливые глаза поселенцев беспощадно корили его за это счастье.

Хотелось оправдаться перед ними и перед самим собой. И он старался думать об опасности, которой подвергает свое благополучие тем, что участвует в Тайном обществе. Пробовал вообразить себя в крепости, в ссылке, но представления эти были туманны, а ярко и соблазнительно всплывали перед глазами другие картины. В особенности такая: уютная нарядная спальня. Туалетный стол с двумя свечами перед овальным зеркалом, а перед ним на круглом табурете, вся розовая — то ли от счастья, то ли от розовых колпачков на свечах — жена. Распустила косы, и волосы закрыли ей плечи и спину.

И ему хочется подойти к ней, раскинуть душистую тяжесть волос. Он делает порывистое движение. Вздрагивает — и уютная комната уплывает. Он снова в аракчеевской вотчине. Одиноко. Тоскливо. Какая-то гнетущая тишина. И хочется зажмурить душу, как жмурят глаза, когда в непроницаемой темноте вдруг вспыхнет яркий свет...

«Если нынче не уедем, — решил он, проснувшись на рассвете, — то скажусь больным и уеду один».

Наскоро одевшись, Басаргин вышел на крыльцо.

Солнце еще не всходило, и небо на востоке было сиренево-розовым. В парке и по двору двигались молчаливые люди, скребя и подметая и без того чистые дорожки и лужайки. От церкви плыл какой-то глухой, будто придушенный колокольный звон.

Басаргин взглянул в сторону аракчеевского дворца. Все окна его были плотно закрыты тяжелыми ставнями. У главного крыльца застыли часовые.

Розовость зари отражалась на их обнаженных шашках и вызолоченных буквах надписи: «Без лести предан», — девизе аракчеевского герба, прибитого над главным входом во дворец.

У правой его пристройки мелькал в окне белый поварской колпак. Басаргин вспомнил, как по приезде в Грузино Аракчеев обратился к царю: «Грузинский хозяин испрашивает позволенья кормить своего благодетеля в Грузине своею кухней».

Царь наклонил голову, и вся челядь «своей кухни» затрепетала. Знала, чего стоит угодить свирепому, скупому Аракчееву, когда он хочет похвастаться своим угощением перед высоким гостем.

Басаргин пробовал заговаривать с людьми, проходящими мимо крыльца, но они пугливо шарахались от него, указывая глазами на дворец. Только камердинер

Киселева, узнав в Басаргине свитского офицера и поздоровавшись с ним, проговорил:

— И все вот так же — молчком, будто воды в рот набрали. Опасаются потревожить графа. И так злобен, а не выспится — лютей зверя, сказывают, становится. — Он ближе подошел к Басаргину и, понизив голос, продолжал: — Да кабы только графа, а то полубовницы его, Настасьи Минкиной, тутошний народ пуще графа страшится. А и зла же, говорят, подлая! В прошлую пятницу опять двух девок насмерть заперола. Вот и нынче в черном флигеле всю ночь, слышно, людей истязали. И как только они, сердешные, терпят... — Камердинер сокрушенно вздохнул и замолчал.

Басаргин хмуро глядел в отдаленный угол двора, где стоял выкрашенный в темную краску небольшой флигель с крошечными под самой крышей отверстиями вместо окон.

На дверях этой домашней тюрьмы, которой неизвестно почему было дано название «едикуль», висел тяжелый замок. Огромный, похожий на матерого волка, пес лежал на цепи у самого порога едикуля.

Басаргин спустился с крыльца и вышел за ворота. Часовые, не сменившегося ночного караула провожали его усталыми глазами, покуда он не свернул к реке.

Волхов, еще охваченный ночным туманом, дремотно катил свои воды.

Вдоль его крутого высокого берега, как солдаты встрою, фасадом к реке вытянулись по прямой линии поселенческие избы. Каждая в два этажа, около каждой изгородь игрушечного садика с чахоточными деревцами и гладко выстроганными скамейками. Над каждой — серый столбик дыма. И над всеми — уныние и тишина.

На лугу с вытопанной травой шло ученье. Люди, подтянутые, вылощенные, трепетно-напряженные, готовились к царскому смотру.

Аракчеев собирался щегольнуть перед царем разводом с церемонией.

Офицеры, проходя по фронту, выравнивали солдатские шеренги, грубо толкая людей в грудь и живот. Зуботычины и пощечины звучали приглушенно. Без обычного раската раздавалась и обычная крепкая ругань.

С минуты на минуту могло появиться высокое начальство.

— Ты что рожи строишь! — вдруг бросился к рядовому Аксенову подпоручик Ефимов, прозванный солдатами Кулаковым, и полновесная пощечина едва не свалила с ног щуплого Аксенова.

— Виноват, вашбродь, муха ужалила, щека-то и дернулась...

— Чурбан нечесаный, скотина! — выругался Ефимов. — Я тебе покажу «муху»! Обтесать болвана! — приказал он старшему.

— Слушаюсь, вашбродь, — последовал ответ.

Аксенов поднял свалившийся от удара кивер и, отряхнув, надел. Правая щека его багровела.

Ефимов сделал несколько шагов и снова остановился.

— Ну, как стоите, черти бесхвостые! — разом тряхнул он за плечи двух круглолицых парней. — Гренадеры вы аль бабы старые? Сколько раз вам сказывал: должно всеми средствами подаваться вперед, а отнюдь на оные не упираться. Да не наваливайтесь на левый бок, скоты!

И, проходя дальше, оправлял на солдатах амуницию и кивера. При этом старался захватить вместе с сукном мундира и больно ущипнуть руку, грудь или плечо стоящих перед ним людей.

В церкви, куда Басаргин зашел на обратном пути, уже все было готово к службе.

Ждали выхода Аракчеева и его «высокого» гостя. Молодой священник с красными пятнами на худом лице все поглядывал через открытую дверь на графский дворец.

Басаргин осматривал церковь. На одной из ее стен висел бронзовый медальон императора Павла I, а под ним бронзовый полукруг надписи: «И прах мой у ног твоих». Под надписью на полу лежала массивная могильная плита со скорбным ангелом у изголовья. Она была окружена бронзовой, редкой работы оградой.

— Кто здесь похоронен? — спросил Басаргин у священника.

Тот неопределенно усмехнулся.

— Извольте прочесть, там написано.

И снова выглянул в дверь.

Басаргин наклонился к плите.

«Здесь погребено тело новгородского дворянина Алексея Андреевича Аракчеева», — прочитал он и с изумлением обернулся к священнику.

Тот, не дожидаясь вопроса, сказал с такою же усмешкой:

— Граф для себя приготовил могилку.

В это время послышался шум на главной аллее.

Священник быстро отошел от Басаргина и сделал знак дьякону. Тот вышел на амвон и, как только царь с Аракчеевым показался в дверях церкви, зычно провозгласил:

— Благослови, владыко!

Молящихся было немного. Кроме царя, Киселева, Басаргина и приехавшего прямо из Петербурга графа Кочубея, еще несколько свитских офицеров.

Царь, картинно отставив правую ногу, истово крестился, устремив глаза прямо перед собой. Аракчеев же все время вертел головой по сторонам, наблюдая присутствующих. Несколько раз его мутно-липкий взгляд останавливался на Басаргине.

«Что ему надо от меня?» — удивлялся тот.

Как только служба кончилась, Аракчеев предложил царю прогуляться по парку. Ему хотелось показать Александру грациозный павильон, выстроенный в том месте, где царь в свой прошлый визит в Грузино завтракал на открытой лужайке.

Строить павильон выписали смуглого, с целой гривой черных волос итальянца.

Строил он павильон сперва на белой плотной бумаге то углем, то чернилами. Потом целыми днями от зари до зари суетился среди сотни мужиков. А те, в мокрых от пота на спине и плечах рубахах, копали землю, месили глину, рубили лес и носили мраморные плиты. Итальянец жестикулировал, выкрикивая певучие слова, а мужики гнули спины, подымали и опускали ломы, топоры, молотки и при этом... итальянец никак не мог понять: не то пели, не то стонали.

Лохматые, босые мужики корявыми, замаранными глиной руками создали изящный белый мраморный павильон со стройными колоннами, прекрасным порталом и лестницей, увитой розами.

Итальянец, уезжая, сказал с гордостью:

— Этот павильон имеет право стоять под небом Италии.

Аракчеев уплатил итальянцу, сколько следовало по уговору. Для мужиков же приказал выкатить бочонок прокисшего вина. А над уходящими ввысь белыми колоннами велел прибить свой тяжелый герб с неизменной надписью: «Без лести предан».

Царь, похвалив павильон, пожелал войти в него. Киселев, сдерживая улыбку,

шепнул что-то Басаргину. Оба они знали, что если перевернуть украшающие павильон зеркала, то на обратной их стороне обнаружатся картины, поражавшие своей чудовищной непристойностью даже выдавших виды екатерининских вельмож. Но царь, видимо, не знал или сделал вид, что не знает этого секрета.

Вскинув лорнет, он поглядел на себя в одно из зеркал и, заметив бледность лица, нахмурился.

Аракчеев поспешил закончить осмотр павильона.

— А теперь осмелюсь предложить вашему величеству прокатиться по Волхову в ялике, дабы осмотреть дома поселенцев и принять парад.

Когда подъехали к новой пристани, выстроенной у самого военного поселения, Басаргин не узнал виденного утром безлюдного села.

У ворот каждого дома стояли семьи живущих в нем людей. Все мужчины — крестьяне и определенные к ним постояльцы-солдаты — были одеты в мундиры, фуражки и штиблеты, а женщины и ребятишки — в праздничные наряды. На правом фланге стояли ротные командиры.

Царь медленно ехал по улице в коляске.

Несколько раз он останавливался, принимал рапорт и следовал дальше.

У избы крестьянина Семенова он вышел из коляски. Жена Семенова, Прасковья, высокая и на редкость красивая, кланяясь в пояс, поднесла ему хлеб-соль.

Царь вошел в избу.

На столе дымилась миска с супом и рядом, на круглом блюде, лежал жареный гусь.

Царь зачерпнул ложкой из деревянной миски и одобрительно наклонил голову.

— Прекрасно, суп из курицы! Очень питательно, — сказал он и оглянулся на присутствующих, как бы спрашивая: «Ну, а дальше что?»

Аракчеев забежал вперед и заговорил своим гнусавым голосом, проглатывая концы слов:

— И никакой зависти, ваше величество. Ни бедных, ни богатых. Умеренное благополучие, чистота и порядок.

И распахнул перед царем дверь.

— Очень, очень доволен, — сказал царь, кивая в сторону Прасковьи, застывшей в низком поклоне.

Аракчеев снова загнусавил:

— Старость, ваше величество, иногда оспаривает самое большое усердие... Но утешаю себя, если угодил вашему величеству.

Едва только они вышли из избы, как в нее вбежал шустрый паренек и, схватив гуся и миску с супом, задворками побегал мимо других изб, чтобы занести «питательные» блюда в ту из них, куда царю снова вздумается войти.

Вечером Прасковья получила царский подарок — голубой, вышитый серебряным позументом сарафан. Но надеть его она не могла: ее исхлестанная накануне по приказу Настасьи Минкиной спина покрылась багровыми рубцами. Рубаха прилипла к запекшейся крови, и отодрать ее было невозможно.

Подперев голову обеими руками, женщина с ненавистью глядела на голубой сарафан и думала тяжелую думу.

А когда наступила ночь, Прасковья, пригибаясь у плетней, прибежала к военной «гошпитали» и прошмыгнула в каморку к фельдшеру.

— Светик ты мой ясный, — горячо зашептала она, — дай ты мне яду. Изведу я ее,

подлюю... Все равно нету нам при ней жизни никакой! — и затряслась в отчаянных рыданиях.

Утешая, фельдшер погладил ее по спине.

— Ох, не трожь! — вскрикнула Прасковья. — Не трожь: исполосована я в кровь... Моченьки нету... — и упала грудью на край стола. — Поди, принеси яду, — молила она в слезах. — Вынеси, касатик родименький, вынеси! Я повару передам. С нами он заодно...

— Так ведь травили уж ее. Отлеживается, анафема. Что же зря себя губить будете!

— А ты, касатик, который посмертельней изо всех ядов раздобудь. Поди, поди, милой! Ночью-то никто не увидит. Ты и огня не зажигай...

— Ну-к что ж, обожди тут, — вздохнул фельдшер, — я и без огня обойдусь...

Скупой Аракчеев заранее отдал приказ кухмистеру:

— Не вздумать всех гостей обносить теми же кушаньями, кои для государя и его свиты состряпаны!

И на одинаковых блюдах подавалось разное: хозяину, царю и генералам — одно, остальным гостям — иное.

Рюмки тоже были неодинаковы: у «высоких» гостей большие, у остальных — поменьше.

Басаргин заметил, что большинство офицеров почти ничего не ели. Знали, что за каждым куском, который подносился ими ко рту, следит жадный и быстрый взгляд Аракчеева и что за тонкой перегородкой сидит огромная баба Настасья Минкина и огненными черными глазами смотрит в специально для нее продолбленную щелку в столовую.

Граф Кочубей, выпив несколько бокалов вина, обратился к Аракчееву с речью, в которой вспоминал свое первое посещение новгородских поселений вместе со Сперанским и то приятное «чувствие», какое произвело оно на них обоих.

— Но нынешнее обозрение, — говорил Кочубей, — явило картину еще более отрадную. На этих благодетельствованных вашим вниманием берегах Волхова не было ничего похожего не только на произведение ума, но и рук человеческих. До самого Чудова ничего, кроме десятка ветряных мельниц, на боку лежащих, не было видно. А что же мы зрим теперь? Там, где были болота, выстроены благоустроенные дома... Невежественные люди обращены к культуре и благоденствию...

Тонко очерченные губы Басаргина насмешливо дрогнули. Киселев чуть заметно подмигнул ему и заговорил искусственно наивным тоном:

— Удивительно, как это Николай Михайлович Карамзин не оценил в должной мере высоких заслуг нашего уважаемого хозяина.

Александр заметил злую гримасу Аракчеева и холодно ответил Киселеву:

— Мой историограф так объяснил свое отношение к поселениям: «Русский путешественник уже стар и ленив на описания».

— А жаль, — вздохнул Кочубей, — жаль, что Карамзин не внес своей лепты в сокровищницу восхвалений военным поселениям.

Царь допил последний бокал и откинулся на спинку стула.

Аракчеев поднялся с места и, низко поклонившись сначала царю, потом гостям, заговорил, проглатывая концы слов:

— Покорнейше благодарю батюшку моего, благодетеля и государя, и вас, дорогие гости, что не побрезговали моим деревенским хлебом-солью. Прошу извинить за

скромность яств и питий.

Царь встал из-за стола и направился в комнату, где стараниями Аракчеева все до мелочей было сделано похожим на рабочий кабинет Александра в Царском Селе.

Там в течение нескольких часов между усталым, обмякшим царем и его неутомимым временщиком длилась тайная для всех беседа...

На успенье произошло в Грузине страшное событие.

Настасья Минкина осталась недовольна содержанием погребов и приказала отменно наказать дворецкого. Трижды принимались бить старика батогами. Как доходили до ста ударов, он переставал шевелиться. Его отливали водой, дожидались, чтобы застонал, и снова били. Когда, наконец, понесли его, окровавленного, в избу, один из дворовых, тот, что держал передний конец рядна, хмуро сказал другому:

— Придется тебе, дядя Аникий, гроб нынче мастерить.

Аникий взглянул на безжизненно болтающуюся голову дворецкого, по которой ползали мухи, и сердито ответил:

— Не впервой плотничаем по такому случаю.

Но дворецкий Стромилов не умер.

Настасья приказала госпитальному фельдшеру лечить его всячески, потому что на многие дела был Стромилов мастер и другого такого в Грузине было не сыскать.

А попробуй купить у кого из помещиков стоящего человека, так ведь столько заломят!

Стромилов медленно поправлялся.

И как только начал ходить, доплелся, шатаясь, до кухни к своему приятелю, повару Тимофею Лупалову.

Лупалов свеживал барана.

— Работашь? — тяжело опускаясь на лавку, спросил Стромилов.

— Работаю, — коротко ответил Лупалов и посмотрел в истомленное лицо дворецкого.

— А я вот ослаб. То есть руки ничего, а тело — ни лечь, ни сесть. А ежели на брюхо перевернусь, дышать нечем.

Помолчали.

— Сам ты его прикончил? — кивая на распластанного барана, спросил Стромилов.

— А то кто же? Известно, сам.

— А трудно?

— Чего трудно. Абы нож вострый.

— А другие сказывают — самое трудное дело убойное.

— Это которые дела не знают. Горло режут, а я вот сюда, под ребро, — он дотронулся кончиком блестящего, похожего на кинжал ножа до своего левого бока. — Раз — и крышка.

По безжизненному лицу Стромилова пошли яркие пятна. Глаза неотрывно следили за окровавленными руками Лупалова.

— Рраз — и крышка, — раздельно повторил он слова Лупалова.

Тот, вытерев нож о фартук, бросил его на стол и направился к кадке с водой мыть руки.

Легкий шорох и короткий вскрик раздались за его спиной.

Он быстро обернулся и обмер.

Стромилов, зажав в обеих руках нож, похожий на кинжал, вонзил его в свой

левый бок, как раз в то место, куда только что показывал Лупалов.

— Рраз — и крышка... — еще раз слетело с белеющих губ дворецкого, и острый блеск его широко открытых глаз стал гаснуть.

Скоро в кухне собралась почти вся дворня. Глухой ропот прорывался сквозь страх, как пар из-под крышки клокочущего котла:

— Извести ее, подлюгу!

— Терпеть мочи нет!

— Задавить гадюку!

— Стой, ребята! — вдруг крикнул Лупалов. — Шапки скинуть!

Головы обнажились.

— Вынь из его нож! — сказал хлебник Горынин поваренку Ваське.

— Боюсь, дяденька!

Кухмистер Аникеев потянул из рук покойника нож. Нож не поддавался.

— Эж стиснул! — качая головой, проговорил кухмистер.

— Не трожь! — звенящим голосом крикнула Пашутка, младшая комнатная девушка Настасьи Минкиной. — Самой как сказали — велела не трогать, покуда граф вернется.

Сквозь толпу пробирался высокий старик, слесарь Горланов. Приблизившись к мертвому, он заглянул в его лицо и шумно вздохнул.

— Зря ты себя погубил, Андрей Иванович, — как к живому, обратился он к покойнику. — Убил бы ты сперва Настасью, когда была она с тобой в погребе, а уж опосля и сам зарезался бы. Заставил бы ты нас вечно за тебя бога молить... Ослобонил бы ты нас... А так, что же зря кровушку свою чистую пролил...

В толпе всхлипывали.

Пашутка сняла с головы белый платочек и прикрыла им мертвое лицо.

А вечером Минкина чинила дворне допрос. Прослышав о Пашуткином беленьком платочке, она велела наказать ее розгами и для «смирения» посадить на сутки в едикуль.

Порол Пашутку, по приказу Минкиной, вновь назначенный дворецкий Иван Малыш.

Малыш не раз просил разрешения графа жениться на Пашутке, но Аракчеев, ничего не разрешавший без согласия Настасьи, отказывал...

Минкиной самой нравился красавец Малыш, и она явно давала ему понять это. Но время шло, а Малыш не переставал угрюмо опускать глаза всякий раз, когда встречался с горячим взглядом черных Настасьиных глаз.

В деревянный сарай, где хранилась зимняя утварь и где по углам лохмотьями висела паутина, в полночь, при свете ныряющей в облаках луны, проскальзывали осторожные тени.

Последней прибежала тоненькая Пашутка.

— Только-только заснула, окаянная, — прошептала она, присаживаясь на передок саней. — А тетка Дарья здесь?

— Тутотка я, — послышалось в темноте. — И дядя Федор и Васютка возле.

— И я тут, — тихо проговорил Лупалов.

— А Ванюша где?

— На санках я, — чуть слышно отозвался Малыш и положил голову на теплое Пашино плечо.

— Что ж, ребята, — заговорил Горланов, — сидеть некогда. Все знаем, зачем

пришли. Подошел конец терпенью нашему. Всех измучила Настасья...

— Ребеночек мой живехонек остался бы, кабы не она, — со слезами проговорила Дарья. — Угнала в прачки, а ребеночка отняла.

— Ладно, — оборвал Горланов. — Слыхали. Знаем.

— Дядя Федор, утоплюсь я али удавлюсь, нету терпенья мово, — тоскливо проговорила Паша.

— Полно, Пашенька, — Малыш погладил ее по щеке. — Рубаху последнюю отдал бы, коли кто порешил бы зверюгу, — скрипнул он зубами.

— Кто сделает такое дело, много оставит по себе богомольцев, — вздохнул Лупалов.

— Так что, выходит, ребята, не жить Настасье на этом свете? — спросил Горланов.

— А то как же, — ответило несколько голосов. — Свирепеет день ото дня... Лютует... Мочи нашей не стало...

— Знаем, — опять оборвал Горланов. — Не об этом речь. А вот... кто и как...

Стало так тихо, что слышно было, как повизгивает ржавый флюгер над крышей графского дворца.

— Отравить, — шепнула Дарья.

— Не берет ее яд. Семенова Прасковья злющего яду раздобыла. Подсыпали в кашу. Нажралась Настасья, а толку — чуть. Помаялась денька два животом — и хоть бы што.

— Уж чего только ни переиспытали над нею. К ворожеям, к колдунам бегали. Травы плакучие ей под голову клали. Ничто не умягчает.

— Зарезать надобно, — веско сказал Горланов.

— Не иначе, — вздохом пронеслось во тьме.

Пашутка в темноте нашла братнину руку и крепко стиснула ее.

— Тебе, братец, сделать это... Тебе.

Поваренок Вася шумно вздохнул:

— Жалко мне жисти своей, братцы.

Опять приумолкли.

— А ты скроешься опосля, — сказал, наконец, Лупалов.

— Тетка Акулина сколько разов в бегах находилась. Она тебе все трахты объяснит.

— А коли пымают?

— На себя все приму, — горячо зашептала Пашутка. — Пытать станут, все одно на тебя не докажу, вот при народе зарок даю. Только прикончи ты ее. Как уезжает граф, спит она в своей горнице. На болты позапрется, а нам с Аксюткой по бокам постели ложиться велит. Я на зорьке тебя впущу...

— Так ведь кричать она станет. Свиною колешь — и то кричит, — возразил Вася.

— А пушай кричит, кто ее спасать кинется? — с ненавистью прошептал Малыш.

— Тсс... — насторожился Лупалов.

Прислушались.

— Слышите? Никак притаился кто-то тут под стеной?..

Пашутка крепко прижалась к Малышу:

— Боюсь я. Не душенька ли дяденьки Строилова бродит.

— Цыц... — зашикали на нее.

И снова притаили дыхание.

Вдруг с дороги явственно донеслись лошадиное ржанье и топот.

Вася приник к щели в стене:

— Никак к нам?

Дремавший у едикуля пес зазвенел цепью и громко залаял. В верхних окнах барского дома зажегся свет и запрыгал по стеклам все ближе и ближе к парадным дверям.

— Расходись, ребята! — приказал Горланов. — Да, глядите, с опаской. Выбирай время, как месяц за тучу скроется.

Торопливо, но бесшумно проскальзывали, будто бескостные, в едва приоткрытую дверь и легкими тенями проносились вдоль стен к девичьей, к кухне, к людской.

21. В особняке над обрывом

Полковник лейб-гвардии Преображенского полка князь Сергей Петрович Трубецкой, один из главных деятелей Северного тайного общества, перед Новым годом получил назначение в Киев на должность дежурного офицера при штабе 4-го пехотного корпуса.

Предстоящий отъезд из Петербурга на неопределенно длительный срок не только не огорчил Трубецкого, но по ряду причин был для него даже желательным.

Главная причина заключалась в том, что его жена, Катерина Ивановна, тяжело перенесла осенью смерть брата, никак не могла поправиться, и врачи настоятельно советовали ей уехать из Петербурга.

Граф Лаваль, отец Катерины Ивановны, убеждал дочь отправиться в Ниццу, где жили его родственники. Мать настаивала на Италии. Но Катерина Ивановна ни за что не хотела расставаться с мужем и уверяла родителей, что она прекрасно поправится в Киеве, где так много солнца и где ее не так будут мучить воспоминания о брате, утомлять бесчисленные визиты, приемы и другие беспокойства великосветской жизни. Из-за этих же беспокойств возникла и другая причина, по которой Трубецкому хотелось уехать из столицы. Дело было в том, что Никита Муравьев, снова переработав проект своей конституции и дополнив ее вступлением, роздал три ее экземпляра, собственноручно переписанные, членам Северной директории — Пущину, Оболенскому и Трубецкому на отзыв.

Замечания, сделанные Оболенским и Пущиным, были несущественны. Но Никита с нетерпением ждал отзыва Трубецкого.

А тот все оттягивал его из-за недостатка времени и болезни жены.

В Киеве Трубецкой собирался с должным вниманием заняться разбором муравьевской конституции. Он понимал, что с этим надо было торопиться.

Хотя в последний приезд в Петербург Пестель слышал много возражений против новых глав «Русской правды», но все же его республиканская программа начинала находить сторонников и в Северном тайном обществе. Рылеев открыто поддерживал некоторые статьи пестелевой конституции. Оболенский, Кюхельбекер, Каховский и Бестужевы тоже заметно склонялись на сторону республиканцев.

Это обстоятельство очень беспокоило Трубецкого, и он надеялся, что встреча с Сергеем Муравьевым-Апостолом, который тоже недолюбливал Пестеля, поможет им обоим ослабить опасное влияние «кишиневского корсиканца», как они называли в интимных разговорах Пестеля.

В Киеве Трубецкие поселились в прекрасном особняке на обрывистом берегу

Днепра. Кроме нескольких украинских девушек, весь штат прислуги был привезен из Петербурга.

Так же богато и изысканно был обставлен будуар Катерины Ивановны, так же манили к себе широкие диваны и кресла в кабинете князя, так же носился по комнатам белый, как ком ваты, шпиг Кадо... Только из окон особняка виднелась не Нева — то синяя, с качающимися на ней белопарусными судами, то одетая в ледяные оковы и закутанная в снежное одеяло, — а необозримые просторы днепровского левобережья.

Большие приемы Трубецкие устраивали редко и только такие, какие вызывались официальной необходимостью. Зато еженедельно по четвергам у них собирались самые близкие друзья и единомышленники. Четверги эти неизменно затягивались за полночь, почему и получили название «четверго-пятниц».

В эти дни из Василькова приезжал Сергей Муравьев-Апостол, из Каменки — Василий Львович Давыдов, из Любар — Артамон Муравьев, из Умани — Волконские...

Бывали у Трубецких и другие члены Тайного общества — Барятинский, Юшневский и чаще всех Михаил Бестужев-Рюмин. Полтавский полк, в котором он служил, в эту зиму стоял в Киеве. Изредка появлялся и Пестель, который читал здесь новые страницы «Русской правды», выслушивал критику со сдержанной холодностью и, ничего не обещая в смысле высказанных пожеланий, увозил свою рукопись до нового приезда.

Старинный особняк над Днепром был и главным штабом связи между Северным и Южным тайными обществами

Оболенский, Рылеев и Никита Муравьев присылали сюда из Петербурга «гонцов» с самыми ответственными, секретными поручениями.

В последнем письме Никита Муравьев, писал Трубецкому, что уезжает из Петербурга в Москву, а поэтому просит возвратить туда проект его конституции, который он на досуге собирался окончательно доработать.

Трубецкой уже сделал много замечаний на полях муравьевской рукописи. Почти со всем, что писал Никита, Сергей Петрович был согласен. В особенности нравилось ему вступление. Он даже решил прочесть его жене. Но, не считая возможным посвящать Катерину Ивановну в тайну, знание которой могло в дальнейшем принести ей вред, он долго раздумывал, как это сделать, и, наконец, нашел выход:

— Каташенька, — сказал он однажды жене, которая сидела за пяльцами неподалеку от его письменного стола, — я сделал перевод из одного французского мыслителя. Не желаешь ли послушать, как он звучит по-русски?

Катерина Ивановна подняла на мужа темные ласковые глаза, которые только что внимательно рассматривали сложный узор на голубом атласе.

— Конечно, прочти, — сказала она с улыбкой. — Ты как будто даже взволнован этой работой, — и стала спокойно вдевать в иглу оранжевую шелковинку.

Трубецкой подошел к жене и поцеловал ее в подбородок, который, как белая нитка, разделял ее гладко причесанные черные волосы.

— Тебе, Каташенька, очень идут эти серьги, — сказал он, осторожно дотрагиваясь до больших с алмазными подвесками серег, которые Катерина Ивановна получила в подарок из Молдавии от своей крестной матери.

Трубецкой вернулся к письменному столу и, вставив ключ в один из ящичков, несколько мгновений стоял неподвижно. Потом решительно встряхнул головой и щелкнул замком.

Достав плотную сафьяновую папку, он открыл ее ключом, висевшим среди брелоков на его часовой цепочке.

Каташа с удивлением смотрела, как муж осторожно развернул папку и снял несколько слоев бумаги с пачки небольших листов, исписанных бледными фиолетовыми чернилами.

«Опыт всех народов и всех времен доказал, — начал вполголоса читать Трубецкой, — что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества, что она несогласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека...»

— А если этот человек король? — спросила Катерина Ивановна.

— Вот именно, мой друг, — с расстановкой произнес Трубецкой, — но изволь слушать: «Невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они сами в таком случае оказываются вне законов — вне человечества».

— Да полно, Сержик, — перебила Катерина Ивановна, — какие же у французов государи...

Трубецкой сделал вид, что не слышит ее реплики, и продолжал:

— «Одно из двух: или законы справедливы — тогда почему же государи не хотят подчиняться оным, или они несправедливы — тогда зачем хотят они подчинять им других? Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ русский заслуживает то и другое...»

— Как, однако, умен твой французский мыслитель! — с лукавством проговорила Катерина Ивановна.

Трубецкой взглянул на нее. Ее мягкий профиль был так же прилежно склонен над вышиванием, но оттянутая серьгой мочка маленького уха покраснела.

Трубецкой прочел еще страницу, другую, третью, потом, отложив рукопись, стал думать вслух:

— Но какой же образ правления более всего приличен русскому народу? Даже в самом просвещенном деспотизме кроется величайшая опасность. Еще Дидро указывал Екатерине, что под продолжительным влиянием *un despotisme juste et éclairé* note 22 «народ погружается в сон, хотя и сладкий, но смертельный для его умственного развития». Я полагаю, что лишь федеративное, или союзное правление могло бы удовлетворить всем условиям и согласило бы величие русского народа с гражданской свободой. И стоящий во главе Российской державы государь непременно должен согласовать свою деятельность с законодательным собранием избранных от лучшей части русского общества достойнейших его представителей...

Воткнув иголку в голубой атлас, Катерина Ивановна, затаив дыхание, слушала мужа. А он как будто бы вовсе забыл о ее присутствии и уже снова принялся за рукопись, внося в нее только что возникшие мысли. Один лист исписывался за другим. Их набралась целая стопа, когда за дверью послышалось осторожное покашливание и почтительный вопрос:

Note22

Деспотизма справедливого и просвещенного (франц.).

— Позвольте доложить, ваше сиятельство?

Трубецкой быстро вложил «проект» в папку и запер ее в письменном столе на ключ.

— Князь и княгиня Волконские, Артамон Захарович Муравьев с супругой и подполковник Муравьев-Апостол, — доложил старый с седыми баками лакей, как только Трубецкой разрешил ему войти.

Катерина Ивановна очень обрадовалась этим гостям. К Марье Николаевне Волконской она питала глубокую симпатию еще с тех пор, когда та была окружена романтическим ореолом любви к ней поэта-изгнанника Пушкина, сочинениями которого Катерина Ивановна восторгалась больше, чем Байроном, Мольером и Расином.

А присутствуя на свадьбе Волконских, Катерина Ивановна была так растрогана заплаканными глазами невесты, что почувствовала к ней необычайную нежность. И с самого того вечера между обеими женщинами возникла горячая и крепкая дружба.

С Верой Алексеевной Муравьевой и с ее мужем отношения были тоже приятельские, а Сергея Муравьева-Апостола Трубецкой уважал больше из многих своих единомышленников. Накинув на плечи легкую кружевную косынку, Катерина Ивановна поспешила к гостям. Они привезли много новостей. Только что возвратившаяся из Москвы Вера Алексеевна рассказывала, кто из знакомых на ком женился, у кого кто родился, какие самые последние модные туалеты выставлены на Кузнецком мосту... И среди этого вздора, между прочим, сообщила, что следом за нею в Киев скачет известный сочинитель Грибоедов, который задержался на одной из подкиевских почтовых станций из-за поломки рессоры в коляске.

Сергей Муравьев-Апостол, до сих пор рассеянно слушавший болтовню Веры Алексеевны, при упоминании о Грибоедове многозначительно переглянулся с Трубецким и Волконским.

Новость, сообщенная Марьей Николаевной, была еще интересней: графиня Браницкая, родственница Раевских, звала Волконскую к себе в Белую Церковь погостить до большого бала, который она предполагает дать в честь «высокого гостя», ожидаемого туда через короткое время.

— Как это хорошо! — вырвалось у Сергея Муравьева.

— Просто замечательно, — подтвердил Артамон.

Трубецкой опять обменялся с ними многозначительным взглядом и поспешил переменить разговор:

— А скажите, Вера Алексеевна, правда ли, что Москва так же чрезмерно занята грибоедовской комедией, как и наш Петербург?

— По-моему, даже больше. Мне довелось слушать ее у княгини Зинаиды Волконской. Боже мой, что за эф-фект! Не обошлось, конечно, и без курьезов! В комедии одно из действующих лиц, кажется Загорецкий, возмущается баснями: «Насмешки вечные над львами, над орлами! Кто что ни говори, хотя животные, а все-таки цари...» Так едва чтец произнес эти слова, как два почтеннейших генерала промаршировали через салон и демонстративно покинули его, не простясь даже с хозяйкой. А старая тетка Веневитинова, которую, как на беду, зовут Марьей Алексеевной, так разобиделась, что не осталась ужинать и в слезах уехала домой... Говорят, что лучшие актеры мечтают сыграть Чацкого, Фамусова...

— Мне и Михайло Орлов рассказывал, насколько популярна эта комедия, — сказал Волконский. — Между прочим, Орлов сам диктовал ее сразу нескольким

молодым офицерам, которые уезжали в отпуск в самые отдаленные углы России.

— Однако же автор не очень-то доволен таким способом распространения его пьесы, — продолжала Вера Алексеевна. — Да и в самом деле — мало ли что пропустят, изменят или вовсе добавят от себя все эти переписчики. А между тем, сколько таких списков уже ходит по рукам! Только и слышно, как молодежь цитирует отдельные выражения из «Горя от ума».

— И уж, наверное, разучивают ее наизусть, как сочинения Пушкина, — сказала Марья Николаевна.

— Александр Бестужев писал ко мне, что Пушкин прислал ему свой отзыв об этой комедии, в которой самым умным персонажем почитает не Чацкого, а самого Грибоедова, — сказал Трубецкой.

— А вы знаете, что пресловутый роман Грибоедова с балериной Телешевой закончился довольно банально, — наливая себе сливок в тарелочку с земляникой, проговорила Вера Алексеевна. — Актриса предпочла сувениры графа Милорадовича поэтическим приношениям господина сочинителя... А Грибоедов очень, очень интересен. И умен и в разговоре остр, хотя несколько меланхоличен... Впрочем, он, конечно, явится к вам с визитом, и вы сами увидите...

— Пушкин очень высоко ценит его талант, мне об этом сказывал мой тесть, — проговорил Волконский,

— Если Пушкину нравится, значит Грибоедов и на самом деле очень даровит, — задумчиво произнесла Марья Николаевна.

Разговор о Грибоедове продолжался и в кабинете у хозяина, куда мужчины удалились курить.

— Итак, друзья мои, — сразу же начал Сергей Муравьев, как только Трубецкой плотно закрыл дверь и задернул тяжелую портьеру, — сегодня мы окончательно удостоверились в двух важнейших обстоятельствах. Первое — сведения о намерении царя во время маневров третьего корпуса жить в Белой Церкви подтверждаются самой владелицей этого имения Браницкой. Следовательно, наш «белоцерковский план» — затея вполне реальная. Вы, Волконский, оба Раевские и Давыдовы, все вы близкие родственники Браницкой, и не будет ничего подозрительного, если вы приедете к ней в гости даже в то время, когда у нее будет жить царь. А живя в имении, вы когда угодно сможете переодеться солдатами и стать на караул у царских покоев. И тогда явится полная возможность проникнуть в них и покончить с тираном,

Сергей замолчал и вытер свое пылающее румянцем возбуждения лицо.

— Только не надо ставить об этом в известность Пестеля, — продолжал он после минутного молчания. — Павел Иванович как будто бы предполагает начать восстание с освобождения майора Владимира Раевского из Тираспольской крепости. Пестель, разумеется, не согласится с нашим планом и, конечно, начнет снова, как и на последнем съезде во время здешних контрактов, вычислять, прикидывать и отговаривать... А между тем настало время действовать, иначе нас всех переловят, как зайцев.

— Да, — вздохнул Волконский, — Басаргин говорил мне, что Киселев весьма прозрачно намекнул ему, будто подлец Витт уже сделал на нас донос Аракчееву.

— Что вы говорите?! — вскричал Трубецкой.

— Есть и еще более скверные слухи о предательстве других негодяев, — хмурясь, проговорил Сергей. — И надо, чтобы наша Васильковская управа взяла инициативу в свои руки. Даю вам слово, что, если вы будете медлить, я сам произведу возмущение в

войсках. Уверяю вас, что как только будет покончено с царем, третий корпус двинется на Москву.

— Пестеля мы оставим в Киеве возглавлять наблюдательный корпус и воздействовать на южные военные поселения, — сказал Трубецкой.

— Отлично придумано, — одобрил Сергей. — Общий дух неудовольствия в армии — гарантия того, что к третьему корпусу станут присоединяться другие войска. А в это время северяне подымут столичный гарнизон и сделают Сенату требование о преобразовании государства на началах новой, гуманной законности.

— Бригген приезжал ко мне от Бестужева и Рылеева еще зимою, чтобы уточнить вопрос о подготовительных среди кронштадтских моряков мерах к насильственному увозу царской семьи за границу, — медленно проговорил Трубецкой. — Это, конечно, в том случае, если Александр станет упорствовать в нежелании подписать акт об ограничении самодержавной власти.

— В таком случае его не следует выпускать из России, — решительно проговорил Артамон Муравьев.

Сергей одобрительно кивнул головой.

— А если в тыл восставших войск ударит Кавказский корпус? — спросил Трубецкой.

Сергей порывисто обернулся к нему:

— Вы, князь, кажется, изволили запомнить, что Кавказский корпус — это Алексей Петрович Ермолов...

— В бытность мою на Кавказских минеральных водах, — сказал Волконский, — я повстречался там с Якубовичем...

— С тем самым, который вызвал Грибоедова за его участие в дуэли Шереметева с Завадовским? — спросил Артамон.

— С тем самым, — ответил Волконский. — Так этот Якубович уверял меня, что на Кавказе существует Тайное общество.

— Якубович — человек с большой склонностью к авантюризму, — сказал Сергей, — но Ермолов... Ермолов в молодости испытал на себе прелести тюрьмы и ссылки. Ермолов — герой двенадцатого года, засвидетельствовавший под Кульмом и Бородином свою личную храбрость и беззаветную преданность родине; Ермолов, называющий в приказах солдат «товарищами»; Ермолов, отказавшийся усмирять итальянскую революцию, не пойдет усмирять русскую революцию, когда мы поднимем знамя восстания...

Сергей несколько раз быстро прошелся по кабинету. Потом остановился у окна и, скрестив руки, долго смотрел на далекие степи заднепровья, ярко-зеленые после половодья и весенних дождей.

— Надеюсь, вы теперь понимаете, — начал он, вновь возвращаясь к дивану, — почему для нас так важен в настоящее время приезд сюда Грибоедова? Вам известно, какими тесными узами связан он с Ермоловым? Говорят, проконсул Кавказа души в нем не чает.

— Я совершенно убежден, что Рылеев посылает его к нам именно как посредника между нами и Ермоловым, — сказал Артамон Муравьев.

— Считаете ли вы, господа, что с Грибоедовым можно открыто говорить о «белоцерковском плане»? — пытливо оглядев товарищей, спросил Муравьев-Апостол.

— Рылеев еще в прошлом году говорил мне, что Грибоедов наш, — ответил Трубецкой, раскуривая длинную трубку. — Однако ж я его в Общество не принимал...

— Почему? — так же пытливо спросил Сергей.

Трубецкой выпустил несколько синих колец душистого дыма и, медленно роняя слова, ответил:

— Мы много советовались по этому вопросу с Никитой Муравьевым. Вы знаете, что он в нашем деле придает большое, если не сказать главное, значение пропаганде. Мы с ним согласились, что Грибоедовская комедия будет иметь должное воздействие на умы в смысле пропаганды желательных для наших целей идей, и решили в отношении этого автора держаться так же осторожно, как и в отношении Михайловского изгнанника. Впрочем, во время одного разговора с Грибоедовым мы пробовали испытать его на предмет зачисления в члены Тайного общества, и оба пришли к выводу, что Грибоедов не верит в возможность преобразования российского устройства...

— Как, совсем не верит? — сердито спросил Сергей.

Трубецкой развел руками.

— Александр Сергеевич стал вышучивать незыблемость вольтеровской идеи о значении пропаганды — созидательницы общественного мнения, которое якобы одно способно опрокинуть любой деспотизм...

— А вот мы, южане, посвятим Грибоедова в наши планы свержения самодержавия. И вы увидите, какое это произведет на него впечатление!

— Посмотрим, — вздохнул Трубецкой.

— Посмотрим, — повторил за ним Волконский.

В наступившую тишину ворвался залихватый лай Кадо, веселый женский смех, потом аккорды на фортепиано, под аккомпанемент которого зазвучала ария Розины из «Севильского цирюльника».

Волконский узнал голос жены.

«Она, бедняжка, пользуется тем, что здесь нет отца, который запретил ей петь по причине беременности», — подумал он.

— Моя Веруша тоже отлично поет, — шепотом произнес Артамон. — В особенности народные русские песни. В Москве, на именинах у Михайлы Орлова, ее слушал Грибоедов; так он пришел в такой восторг, что сел за фортепиано и весь вечер аккомпанировал Верочке. Особенно хорошо у них получилась эта песня: «Уж ты, камень ли мой, камешек, самоцветный камень, лазоревой!» — пропел Артамон с таким отсутствием голоса и слуха, что все рассмеялись.

— Ну, если Вера Алексеевна поет так, как ты изобразил, сомневаюсь, чтобы не только такой взыскательный музыкант, как Грибоедов, но и вообще кто-нибудь мог прийти в восторг, — пошутил Сергей.

— Ей-ей, господа, я сам слышал, как Александр Сергеевич сказал: «Да одна такая русская песня стоит многих французских романсов!» Он экспромтом подбирал аккомпанемент и к другим народным песням, которые исполняла Верочка.

22. Желанный гость

Приехав в Киев, Грибоедов остановился в принадлежащей Печерской лавре «Зеленой гостинице», неподалеку от Арсенала.

После непредвиденной задержки в пути, Грибоедов прежде всего велел приготовить баню.

Покуда он усердно парился, камердинер Алексаша достал из чемоданов все

необходимое, чтобы Александр Сергеевич смог отправиться с визитами: узкие в клетку брюки со штрипками, коричневый сюртук, кремовый жилет, украшенный пуговицами из дымчатого топаза, белоснежную рубашку с туго накрахмаленным вдоль застёжки рюшем и высоким воротником, затем тончайшего фуляра галстук-косынку и такой же носовой платок. Слегка опрыскав все эти предметы модного туалета тонкими духами, Алексаша занялся наведением глянца на штиблеты с тупо срезанными носками. Он то дышал на них, близко поднося ко рту, то снова принимался изо всей мочи тереть бархатной тряпицей до тех пор, пока в них, как в черных зеркальцах, стали отражаться огни горящих перед иконами лампадок.

Алексаша протянул штиблеты к самому носу гостиничного парикмахера в монашеской ряске, дожидавшегося Грибоедова, и коротко спросил;

— Видал?

Монах только молча развел руками, не находя слов для выражения своего изумления перед этой необычайного блеска и формы обувью.

Тщательно выбрив столичного гостя, он предложил ему «загофрировать шевелюру». Но Грибоедов разрешил только слегка взбить над лбом каштановую прядку еще не совсем просохших волос и сделать начесы на виски.

Время «являться», то есть делать визиты официальным лицам, еще не наступило, и, наскоро выпив кофе, Александр Сергеевич решил прогуляться по городу. Тот же парикмахер-монах порекомендовал ему пройти на Владимирскую горку, «с коей окрест разверзается наиприятнейшее зрелище».

«Давно я не видел такого синего неба, — подумал Грибоедов, едва спустившись с крыльца, — а какова прозрачность воздуха! И как совсем по-летнему тепло!»

Киевская весна и в самом деле уже встретилась с летом. В оврагах, пересекающих город, еще по-весеннему журчали ручьи, а через заборы садов уже свешивались наливающиеся вишни-скороспелки, в садах набухали бутоны роз, улицы совсем просохли, и выстроившиеся вдоль них тополя шелестели молодой листвой, как будто приветствуя прохожих бесчисленным множеством серебристых флажков.

Омытые весенними ливнями и высушенные теплыми ветрами купола церквей и соборов перехватывали солнечные лучи и, расплавив их в своих золоченых панцырях, разбрызгивали во все стороны щедрыми струями.

Дойдя до Владимирской горки, Грибоедов опустился на старую нагретую солнцем скамью с замшелыми подставками и отлогой спинкой, подпертой колыями.

Левобережье развернулось перед его глазами чудесной панорамой.

Днепр не совсем вошел в берега. Кое-где по заливным лугам еще голубели озерцами и болотами остатки половодья.

Но необозримые степи уже покрылись травами, и казалось, что зеленый густой туман стелется над землей до самого горизонта.

По сверкающей зыби реки медленно плыли плоты. На одном из них горел костер, и ветер раскачивал над ним белый столбик дыма. Грибоедов заменил очки лорнетом, и ему стал виден и подвешенный над костром чугунок и сидящая рядом молодая женщина в белой рубахе и малиновой «спиднице».

На другом плоту несколько мужчин в синих шароварах и высоких шапках мастерили что-то из свежевостроганных досок. От края этого плота поднялся сивоусый старик и стал быстро и беспорядочно размахивать блестящим топором. Грибоедов даже привстал, с любопытством всматриваясь в эти движения, и увидел, что никакого топора не было, а в вытянутых из воды сетях бились плоские

серебристые рыбы. Подбежавший к старику русоволосый мальчуган, приплясывая от радостного нетерпения, ловко подхватывал и швырял в корзинку рыб, которых кидал ему дед.

«А как славно было бы очутиться и мне на этих плотах, — с глубоким вздохом подумал Грибоедов. — Как отлично было бы построгать с мужиками доски, побалагурить с молодежи в малиновой юбке, а потом, откушав свежей ухи, растянуться вот на том ворохе смолистых стружек и смотреть на это величественное, спокойное небо, на эти пушистые белые облака и... плыть, плыть, ни о чем не думая, ничего не вспоминая...»

Перенесясь в воображении на эти медленно уходящие вниз по Днепру плоты, Грибоедов с особенной остротой почувствовал душевную усталость от всего пережитого за минувший год.

Он не хотел, но не мог не думать о славе, которую принесла ему его комедия «Горе от ума», о славе, налетевшей на него, как ураган на степной дороге, с вихрем и грозowymi зарницами. О славе, которая то поднимала его на вершины счастья, то ввергала в пучину горьких разочарований и отчаянья. Он не мог не вспоминать о мучительных столкновениях с цензурой, которая не пропускала «Горе от ума» ни в печать, ни на сцену. Он не переставал мысленно полемизировать с враждебной журнальной критикой, защищая свою комедию, как защищает отец любимое свое дитя от несправедливых и злых нападок...

Он гнал от себя мысли о предстоящем свидании с Трубецким и Муравьевым-Апостолом, с которыми должен будет по поручению Рыльева и Бестужева говорить «по наисерьезнейшему делу».

Грибоедов любил этих людей и беспредельно уважал их за благородные стремления, но он не видел смысла приобщаться к делу, в успех которого не верил...

Он сложил лорнет и опустил его в карман. Легкий ветер, доносившийся из-за Днепра, обдавал его разгоревшееся лицо запахом полевых цветов.

Над кустом молочая, неподалеку от Грибоедова, вилась стрекоза. Она будто высматривала что-то среди сочных стеблей, то опускаясь на них, то вновь отлетая. Ее прозрачные крылышки переливались всеми цветами радуги, когда она, повиснув в воздухе, чуть-чуть шевелила ими над своим тонким, грациозным тельцем.

И Грибоедов, помимо своей воли, вспомнил то, о чем больше всего ему не хотелось вспоминать. В его памяти вдруг всплыл образ балерины Телешевой, с ее меланхолической нежностью, с неожиданными вспышками буйного вакхического веселья... Вспомнил их страстную любовь и внезапный болезненный разрыв...

Плоты ушли уже так далеко, что казались стайкой чаек, опустившихся на воду, а Грибоедов все еще сидел неподвижно на ветхой скамье, раскинув руки вдоль ее спинки.

Начиная от степенного лакея с седыми бакенбардами, узнавшего в Грибоедове петербургского посетителя своих господ, все — и хозяева, и гости — встретили Александра Сергеевича с искренним радушием. Он переходил из объятий в объятия — от Трубецкого к Волконскому, от Волконского к Артамону Муравьеву. Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин крепко жали ему руки.

Катерина Ивановна, усадив гостя между собой и Марией Волконской, поспешила начать самый приятный, по ее мнению, разговор;

— Когда же, наконец, мы получим удовольствие от чтения вашей комедии не по

рукописи, а в печатном виде?

— На это воля божья да цензорская, — с шутливым смирением ответил Грибоедов.

— Ох, уж эта мне наша цензура! — вздохнул Трубецкой. — Ее смирительный камзол суживается по мере роста общественного мнения. А между тем русскому уму, который всегда любил и любит простор, тесно и душно в пеленах цензурного устава. Право же, мы уже достигли совершеннолетия. Я представляю, как цензурные оглядки должны теснить грудь, откуда исходит голос сочинителя, как цепенеет рука, которая пишет...

— Еще Радищев называл цензоров «урядниками благочиния», — сказал Муравьев-Апостол. — Он совершенно справедливо полагал, что один несмышленный цензор может принести делу просвещения величайший вред. Ведь по большей части чиновники цензурного ведомства не отличаются богатством воображения и, во всяком случае, талантом автора, взятого ими на прицел.

— Цензоры рассуждают весьма просто, — насмешливо улыбнулся Волконский, — они уверены, что строгость не подвергнет их ни малейшей ответственности, а снисходительность подвергнет огромной.

— Вашу комедию, Александр Сергеевич, многие называют феноменом, который не появлялся со времени фонвизинского «Недоросля», — обратилась Вера Алексеевна к Грибоедову.

— Однако ж у нее есть и враги, — возразил он. — Ведь с ее появлением на многих скалозубах загорелись шапки.

— Но таких скалозубов гораздо меньше, нежели поклонников вашей комедии, — продолжала Вера Алексеевна. — Всех, кто указывает на недостатки «Горя от ума», называют зоилами и навязчивыми говорунами...

— Их больше всего смущает в моей комедии отсутствие привычной челяди театральных подмостков, — небрежно произнес Грибоедов. — В самом деле, кто у меня *jeune premier*? *note 23*

— Во всяком случае не Чацкий, — откликнулась Волконская.

Грибоедов с улыбкой наклонил голову.

— Кто «благородный отец»?

— Конечно, не Фамусов... — раздалось сразу несколько голосов.

— Кто инженерю?

— Не Софья...

— И отнюдь не Лиза...

— Это наша национальная, долгожданная русская комедия, и великое вам, Александр Сергеевич, за нее спасибо, — с чувством проговорил Артамон Муравьев и отвесил Грибоедову поясной поклон.

Грибоедов встал и тоже низко поклонился.

Чернобровая девушка в украинском наряде, с нитками разноцветных бус на высокой груди, внесла поднос с угощением. За нею вошла другая, такая же яркая от пестрого узора на рукавах рубахи, от бус и лент, а больше всего от молодого, свежего румянца и искрящихся карих глаз.

Девушки быстро и ловко расставляли перед гостями чай, марципаны, сухое

Note23

Первый любовник (актерское амплуа) (франц.).

варенье и душистую парниковую землянику.

Дамы окружили Грибоедова.

— Воля ваша, Александр Сергеевич, — кокетливо говорила Вера Алексеевна, — но прежде, нежели отправиться на Кавказ, вы непременно должны погостить у нас в Любаре. Помните ваше обещание написать для меня ноты песенки, которую распевала жена смотрителя почтовой станции, где мы с вами ели галушки со сметаной?

— Почту за честь и заранее предвкушаю удовольствие от вашего исполнения этой прелестной украинской песенки.

— А из Любар съездим с вами, Александр Сергеевич, на ярмарку в Бердичев, — Артамон Муравьев дотронулся до острого под тонким сукном колена Грибоедова. — Там такие цыганки, которых ни в Питере, ни в Москве, ни в одном хоре не сыскать. А как они пляшут! — Артамон зажмурил глаза и попытался движением своих полных, широких плеч передать тот страстный трепет, которым молодые цыганки сводили с ума всех, кто любовался их пляской в шумных ярмарочных балаганах.

Попытка Артамона изобразить нечто похожее на этот танцевальный прием вызвала общий смех.

Грибоедова упростили сесть за фортепиано. Волконская согласилась петь дуэт с Верой Алексеевной.

Но у Грибоедова разболелся мизинец, поврежденный пулей Якубовича. Указывая на вспыхивающие за окнами молнии, Александр Сергеевич сказал:

— Прошу прощения. Мне, право, совестно, но к перемене погоды палец мой становится вовсе непригодным для клавиатуры...

— Вам, должно быть, скучно в Грузии, в этой кавказской Сибири, не правда ли? — спросила Катерина Ивановна.

— Помилуйте, княгиня, — горячо возразил Грибоедов, — какая же Грузия Сибирь? Ее природа удивительна: над головой носятся потомки Прометея терзателя, кругом снежные вершины гор, сугробы и стужа; но стоит спуститься с Ка-шаура — и попадаешь к весенним берегам Арагвы...

— А летом там, говорят, нестерпимая духота? — сказала Марья Николаевна.

Жарковато, — подтвердил Грибоедов, — зато нет ничего приятнее, как гулять по утрам или вечерам под сводами зелени и на каждом шагу встречать перед глазами грозди винограда. А что может быть прекраснее тифлисских садов! — воскликнул он с увлечением. — Сколько в них роз, сирени, лилий, пионов! И тут же произрастают ореховые и фиговые деревья, пирамидальные тополя... Сад, в котором я с особым удовольствием провожу часы досуга, принадлежит вдове начальника артиллерии Ахвердовой. В полугоре над этим садом повис, как птичье гнездо, монастырь святого Давида. К нему по четвергам собираются чадроносицы. Идя друг за дружкой, они сливаются в белую непрерывную ленту, извивающуюся по тропинкам. После поклонения чудотворным мощам они рассыпаются, подобно стае лебедей, по всей горе. Ветер взвывает их чадры, и кажется, будто взмахами белых крыльев они манят вас к себе на высоту. Сколько томных черных глаз, сколько нежнообрисованных личиков мне случалось тут видеть...

— А признайтесь, Александр Сергеевич, были вы влюблены в одну из этих чадроносиц? — игриво спросила Вера Алексеевна.

— Это, вероятно, очень поэтично — любовь такой красавицы, — задумчиво проговорила Марья Николаевна.

— Я даже написал по этому поводу стихи, — сказал Грибоедов.

— Прочтите, прочтите! — слышались просьбы.

— Стихи заведомо неудачные, — улыбнулся Грибоедов, — но если дамы настаивают...

И он продекламировал с нарочитой страстностью:

Странник, знаешь ли любовь,
Не подругу снам покойным,
Страшную под небом знойным?
Как пылает ею кровь?
Ей живут и ею дышат,
Страждут и падут в боях,
С ней в душе и на устах...
Так самумы с юга пышат...

— А все же, Александр Сергеевич, скучновато вам там без общества? — спросил Волконский.

— Отнюдь нет, — быстро ответил Грибоедов. — На Кавказе я много писал, занимался турецким и персидским языками. К тому же у меня там фортепиано. Что же касается до общества, то чавчавадзевского имения «Цинандали» я не променяю на аракчеевский Петербург, коченеющий в лапах этого временщика. Правда, в тифлиссских гостиных меньше, чем в столичных, искусных краснобаев, меньше высмеянных Денисом Давыдовым «аббатиков, бьющих в набатики», но чего стоит общество одного Ермолова! Алексей Петрович — редкостный человек, и я готов повсюду следовать за ним, как тень. Как он занимателен, сколько у него свежих мыслей! Остроты так и рассыпаются им целыми пригоршнями. Все мы, «ермоловцы», знаем, какой он бывает беспощадный ругатель. И, тем не менее, солдаты, которых он избавил от муштры, которых он в приказах называет «товарищами», боготворят его.

При этих словах Сергей Муравьев шумно перевел дыхание, а Бестужев-Рюмин крепко потер ладони.

Грибоедов с увлечением рассказывал о том, как в одном из полков ермоловского корпуса перед выстроившимися солдатами были торжественно сожжены на костре розги.

— За Алексея Петровича Ермолова, — предложил тост Трубецкой, когда седовласый лакей внес на серебряном подносе высокие бокалы с замороженным шампанским.

Все чокнулись и выпили до дна.

Между светским разговором в гостиной Катерины Ивановны и беседой, которая на другой день происходила в кабинете Трубецкого, ничего общего ни по тону, ни по содержанию не было.

Как только появился Бестужев-Рюмин, последний, кого дожидались, Сергей Муравьев-Апостол без лишних слов посвятил Грибоедова в «белоцерковский план» и в упор задал ему вопрос — возьмет ли он на себя привлечь на сторону войск, которые южане собираются поднять на революционное выступление, Алексея Петровича Ермолова.

Грибоедов долго молчал. И чем дольше длилось его молчание, тем менее неожиданно должен был бы прозвучать его отрицательный ответ. Но когда Грибоедов

произнес, наконец, твердое и решительное «нет», все вздрогнули, как от внезапно грянувшего выстрела. А затем снова наступила пауза, еще более гнетущая.

Ее нарушил холодный вопрос Сергея Муравьева:

— Не угодно ли будет вам дать объяснения?

Протерев очки, Грибоедов надел их и спокойно оглядел обращенные к нему строгие лица.

— Извольте-с. Я удостоверился, что генерал Ермолов чрезвычайно занят борьбою с Персией за утверждение российского господства на Кавказе, и хотя бы по этой одной причине вряд ли сочтет возможным отвлечь свой корпус на внутригосударственные столкновения. А затем... Не в моих правилах убеждать кого бы то ни было в том, в чем я сам не убежден абсолютно. А вам угодно, чтобы я стал уговаривать — кого же? Ермолова — человека с обширнейшими способностями, военного и государственного деятеля, с его умением разбираться в самых сложных обстоятельствах, с его мудрой головой...

— Именно по этим перечисленным вами качествам, — перебил Бестужев-Рюмин, — наше Тайное общество и наметило Ермолова вместе со Сперанским и Мордвиновым в члены Временного правительства. Именно поэтому мы и прибегаем к нему, как к главнокомандующему...

— Именно по этим своим качествам, — в свою очередь перебил Грибоедов, — Ермолов никогда не согласится ввязаться в дело, затеянное сотней прапорщиков, которые вознамерились изменить государственный строй России.

— Милостивый государь! — подскочил к нему Бестужев-Рюмин.

Муравьев-Апостол взял его за руку и притянул к себе:

— Успокойся, Мишель. А если за этими «ста прапорщиками» пойдут целые батальоны? — обернулся он к Грибоедову.

— Вы имеете в виду военный бунт? — спросил тот.

— А вы не верите в военные революции? — задал вопрос Волконский.

— Примеры Испании, Пьемонта и Неаполя ничего не говорят ни вашему сердцу, ни уму? — спросил Трубецкой

— Военный бунт, как и дворцовый переворот, — все это большая или меньшая поножовщина... кутерьма... — с убеждением произнес Грибоедов.

— Бог знает, что он говорит! — возмутился Бестужев.

— Насколько мне известно, — сказал Волконский, — вы, Александр Сергеевич, не придаете особого значения и пропаганде в деле борьбы с самовластием?

— Пропаганда — пропаганде рознь. Пушкин справедливо упрекал моего Чацкого в том, что он рассыпается в красноречии перед Скалозубом, Фамусовым и прочими весьма тугими на моральное ухо персонажами... Частенько находясь среди наших московских и петербургских единомышленников, людей большею частью до последней степени прекраснодушных, я диву давался: как только они не выкипели до сих пор в пламенных излияниях на самые благороднейшие темы!

— Интересно, по каким признакам мсье Грибоедов причисляет себя к «нашим единомышленникам»? — ядовито усмехнулся Бестужев-Рюмин.

Грибоедов стиснул зубы. Помолчал и продолжал с глубокой искренностью:

— Прошу вас верить, что я всей душой и разумом разделяю с вами убеждение в необходимости переустройства существующего ныне в нашем отечестве порядка вещей. Но я совершенно в такой же степени убежден и в том, что способы, избранные вами для достижения этой великой цели, ни в какой степени не могут привести к ее

осуществлению. Какими посулами увлечете вы народ? Ведь у вас даже в самых кардинальных вопросах — об освобождении крестьян от крепостного рабства и о Временном правительстве — не существует должной ясности и договоренности... — Грибоедов вопросительно оглядел всех, но никто не проронил ни слова. — В Петербурге я слышал, что роль будущего Временного правительства, этого революционного органа, сводится лишь к созыву Великого собора, который должен будет выработать ограничительные для самодержавной власти меры. Пестель же, да как будто бы и вы, Сергей Иванович, согласились на том, чтобы продлить диктатуру Временного правительства чуть ли не на десять лет с тем, чтобы за это время устроить наше отечество на основе пестелевой «Русской правды» с созывом Народного веча...

Перечисляя и другие разногласия, действительно существовавшие между Северным и Южным обществами, Грибоедов проявил большую осведомленность даже в тех противоречиях, которые встречались и внутри каждого из этих ответвлений Тайного общества.

Но как ни убедительны были некоторые его доводы о плохой подготовке Тайного общества к принятию радикальных мер, никто с ним не соглашался. А его утверждение, будто трехдневный бунт Семеновского полка стоил гораздо больше многих фонтанов красноречия, которое хорошо лишь тогда, когда оно «сопряжено с действием посредством оружия», вызвало гневные возражения.

Грибоедов слушал их с видом терпеливым и спокойным. Только его закинутая на ногу нога в натянутых штрипками узких брюках дрожала мелкой непрерывной дрожью.

— Еще Владимир Раевский доказывал, что Россия требует скорейшего преобразования, — возмущенно говорил Сергей Муравьев. — Честь и слава такому краснобаю, Александр Сергеевич.

— А тот, кто не требует перемен безотлагательно, недостоин носить имя патриота! — краснея до корней своих светлых волос, крикнул Бестужев.

Грибоедов вздрогнул.

— Экой вы однако... — начал было он, медленно разделяя слова, но между ним и Бестужевым встал Волконский.

— Позвольте сказать и мне, — тоже с волнением заговорил он. — Великие события войны с Наполеоном вознесли русский народ на первое место среди народов Европы. Мы, наиболее сознательные его представители, стали съезжаться в Киев к Михайле Орлову, который был тогда здесь начальником четвертого пехотного корпуса. Съезды эти давали нам случай ближе узнавать своих единомышленников и сеять семена политического прогресса. Мы вступили в новую колею непоколебимых убеждений, что наша преданность отечеству обязывает нас выйти из быта ревнителей шагистики и угоднического царедворничества. Я вступил в новую жизнь с гордым чувством гражданина и с твердым намерением исполнить свой долг перед нашим народом.

— Какие красивые слова, князь! — поморщился Грибоедов и с досадой закусил нижнюю губу.

Волконский пожал плечами.

Потом говорил Трубецкой, говорил, как всегда, сдержанно, примирительно, указывая, на необходимость понимания друг друга и деликатного подхода к особо «болезненным проблемам».

Его несколько раз перебивал Бестужев, но Сергей неизменно останавливал его то

жестом, то повелительным взглядом.

Сам он больше не вступал в разговор. Его душа, жаждущая патриотических подвигов, была переполнена горечью. Упершись локтями в колени, он охватил руками голову.

«Грибоедов умен! Необычайно умен, — думал он. — И если он высказывает то, что ему диктует его гениальный ум, значит, и я и мои товарищи ошибаемся... И ошибаемся, быть может, с ужасающей непоправимостью...»

До него долетали отдельные фразы и слова, то гневные, то полные упреков... Но кто их произносил — не доходило до его сознания. Он как будто бы потерял ощущение времени и не сразу понял, кто так настойчиво трясет его за плечо.

— Пойдем, Сережа, пора, — говорил ему Бестужев. — Все уже разошлись...

Сергей поднял глаза. В кабинете, кроме Бестужева и Трубецкого, никого не было.

— А где же Грибоедов? — спросил он.

— Александр Сергеевич ушел внезапно, ни с кем не простившись, — растерянно произнес Трубецкой. — Артамон хотел было догнать его, но... Ах, как все у нас с ним скверно вышло. Не угодно ли остаться ночевать? Я прикажу приготовить постели...

— Нет, князь, мне нужно спешить в Бакумовку. Олеся вызывает.

Сергей встряхнул головой, пожал Трубецкому руку и поспешно направился к выходу. Бестужев торопливо следовал за ним. В прихожей, слабо освещенной догорающей свечой, дремавший на подушке Кадо залаял было, но, узнав хозяйских гостей, тотчас же сконфуженно завилал хвостом.

В эту ночь Грибоедов пробовал писать письма своим друзьям — Бегичеву и Одоевскому, но перо выпадало из рук, мысли туманились. Он рвал в клочья едва начатые листы почтовой бумаги и опять доставал из дорожного бьюара новые. Один раз вместе с бумагой оттуда выпал и покатился по полу какой-то маленький предмет. Грибоедов поднял его. Это был портрет-миниатюра Телешевой в бальном, с открытыми плечами платье, с венком из мелких роз на взбитых волосах. Без ощущения былой тоски Грибоедов подержал портрет перед своими близорукими глазами, потом снова вложил в оклеенный фиолетовым муаром бьюар.

«А зря я не отдал этого сувенира графу Милорадовичу, — иронически подумал он, — старик окончательно удостоверился бы, что я больше не состою в его соперниках, и от законной спеси взял бы, да и свеликодушничал: снял бы свой запрет на постановку „Горя от ума“ даже воспитанниками Театральной школы. А как славно разыграли они под руководством Каратыгина мою комедию на репетиции! Каратыгин — Репетиллов привел в восторг даже таких строгих ценителей театрального искусства, как Кюхельбекер и Александр Бестужев».

Грибоедов задумчиво прошелся несколько раз по затененной предрассветными сумерками комнате и подсел к начатому письму.

«Сам я в древнем Киеве, — писал он Одоевскому, — надышался здешним воздухом и еду далее. Здесь я прожил с умершими: Владимиры и Изяславы совершенно овладели моим воображением... — Он опять отложил перо. — Ну, к чему это я пишу неправду? А разве я могу написать о том, что было нынче у Трубецкого? Разве „урядники благочиния“ не вопьются пиявками в мои строки?..»

В лавре зазвонили к заутрене. Узкие окна осветились розовато сиреневым светом. Грибоедов раскрыл их настежь. Вместе с прохладой в комнату проник запах свежей травы и горячего хлеба. Медленные, как будто задумчивые звуки колокола немного успокоили Грибоедова. Он долго прислушивался к этому равномерному протяжному

звону, потом порывисто подошел к спящему за перегородкой Алексаше и, разбудив его, приказал немедленно собираться в дорогу.

23. Августейшее семейство

Осенью 1825 года, вернувшись в Петербург после одной из многочисленных поездок по России, царь навестил свою жену Елизавету Алексеевну, которая жила уединенно в дальних апартаментах Зимнего дворца.

Перемена, происшедшая в жене за время его путешествия, поразила Александра. Ее огромные глаза, когда-то пленявшие его своим выражением наивности и неги, теперь были окаймлены коричневыми кругами, а взгляд выражал испуг и упрек. Вся она, прежде гибкая и грациозная, не признававшая иных фасонов, кроме безрукавных и очень открытых на груди и плечах, теперь была в каком-то темном, тяжелом платье и зябко куталась в горностаевую накидку.

Поднося к губам маленькую руку жены, Александр вздрогнул: шафранная желтизна кожи и синеватая окраска ногтей делали ее похожей на руку покойницы.

Однако, всматриваясь в лицо Елизаветы прищуренными глазами, Александр заставил себя произнести очень ласково:

— Ну, слава богу! Вы, видимо, лучше себя чувствуете, Лиза.

— Это потому, что вы со мной, — улыбнулась она.

Бескровные десны обнажились при этой улыбке.

«Совсем плоха», — с жалостью подумал Александр.

— А все же я вам пришлю моего Виллье. Начинается осень, и, я полагаю, вам лучше уехать на юг, в Таганрог.

— Вы хотите меня услатить? — Елизавета приподнялась в кресле. Ее лицо совсем помертвело. — Разве я вам мешаю? Или это желание той?

— Успокойтесь, — голос Александра зазвучал тем ласковым тембром, которого она давно не слышала. — Сядьте, вы дрожите, — продолжал он. — Какие нелепые мысли приходят вам в голову! Ну, что вы так смотрите на меня?

— Нет, нет, — как бы защищаясь, подняла Елизавета восковые руки, а глаза ее продолжали испуганно и пытливо смотреть в глаза Александра. — Нет, конечно, вы неспособны на это, если бы даже там и требовали этого.

— Там все кончено, — медленно проговорил Александр и отошел к окну.

Стоя к жене вполоборота, он чувствовал на себе ее недоверчивый взгляд. Но знакомое в последнее время чувство равнодушия и усталости начинало вытеснять только что затеплившуюся к ней жалость.

— Вот вы опять хотите обмануть меня, — срывающимся голосом заговорила после долгого молчания Елизавета. — Говорите, что с Нарышкиной все кончено. Но мне известно, что вы чуть ли не ежедневно бываете у нее на даче.

«Императрица, а выслеживает, как охтенская мешанка», — подумал царь. Но и эта мысль не вызвала раздражения.

— Софи опасно больна, Уверяю вас, я езжу туда исключительно ради моей дочери.

Неподдельная искренность последних слов вызвала слабый румянец на худых щеках Елизаветы. Она протянула к мужу руки и заговорила, переходя с французского языка на русский, волнуясь и торопясь:

— Александр, умоляю тебя, скажи мне, посоветуй, что я должна сделать для того,

чтобы ты перестал заслонять мне собою весь мир. В моих мыслях я вижу тебя не таким, каким ты сейчас стоишь передо мной, когда во всем твоём облике нет ничего, кроме нетерпеливого желания поскорее уйти отсюда... когда в твоих глазах столько холода...

Александр молчал. Елизавета вытерла выступившие слезы и продолжала так же торопливо:

— Когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе всегда, и наяву и во сне, — ты почти неизменно стоишь передо мной в серебристом глазетовом кафтане с брильянтовыми пуговицами. На груди у тебя горит алмазный «Андрей Первозванный»... И как часто я вижу себя подле тебя — в белом парчовом платье, в подвенечной вуали... Вокруг музыка, торжественный хор... С бастионов Петропавловской крепости в честь нашего бракосочетания палят пушки. К небу взлетают блистательные фейерверки. Нарядная толпа ликует. Я слышу ее восторженное восхищение нами: «Психея соединена с Амуром!» А мы с тобой так полны любви друг к другу... Так счастливы...

Александр продолжал молчать. Он не слышал слов жены; он смотрел в окно, отдавшись своим мрачным думам.

У Петропавловской крепости на Неве качался, как лебедь, легкий корабль с белыми парусами. Глядя на спокойные волны Невы, Александр вспомнил ее, какой она была год назад, когда ринулась на город бурными, сокрушающими потоками. Вспомнил пену бушующих валов, отчаянные вопли людей и свой собственный ужас, когда явственно услышал чей-то голос: «Отец хочет смыть кровь, пролитую сыном...»

«Кто сказал это? Я был один на балконе. Должно быть, я сам».

И снова, как тогда, ледяной комок подкатил к его сердцу, и оно задрожало в тоске.

— Мне необходимо ехать, — хрипло проговорил он, отходя от окна.

— Так скоро? — испугалась Елизавета. — Я утомила вас.

— Нет, мой друг. Но мне пора.

Когда он прикоснулся губами ко лбу, знакомый запах его духов лишней раз больно напомнил ей о невозвратном прошлом.

Прежде чем отправиться в Царское Село, Александр поехал к брату Николаю Павловичу в Аничков дворец.

Николай только что вернулся из Красного Села, где присутствовал при линейном учении второй бригады первой гвардейской пехотной дивизии. Он был доволен солдатами и командным составом и весело рассказывал о своих впечатлениях жене, Александре Федоровне.

Маленькая дочь их ползала в подобранной рубашонке по светлому ковру, застилавшему небольшой кабинет.

Разговаривая с женой, Николай не переставал следить за движениями девочки.

Перебирая руками, она боком подтаскивала вперед свое крепкое, в складках тельце и после нескольких продвижений оглядывалась на отца, как будто призывая его в свидетели своих успехов. В один из таких поворотов девочка опрокинулась на спину и громко заплакала. И сейчас же из дверей выскочили две няньки и закудахтали над нею — одна по-немецки, другая по-английски.

Николай взял у них плачущего ребенка и стал ходить из угла в угол.

В это время доложили:

— Государь император.

Николай сунул дочь няньке и пошел навстречу брату.

Они поцеловались и прошли в кабинет, где оставались до обеда.

Николай не любил того веселого шума, который царил на половине матери, а потому почти всегда обедал со своей семьей в маленькой столовой своих апартаментов.

Александр не хотелось есть. Но Николай и Александра Федоровна так горячо упрашивали его, что он, наконец, согласился.

За обедом царь был заметно расстроен, отзывался обо всех с раздражением и несколько раз во время наступавшего молчания, как будто собираясь сказать что-то важное, окидывал значительным взглядом лица брата и невестки. Но проходило несколько минут, молчание начинало давить, и Николай первым затевал разговор.

Уже за десертом, когда лакеи удалились, Александр, прервав рассказ брата о состоянии второй бригады, заговорил вдруг с подчеркнутой многозначительностью:

— Меня радует твое разумное отношение к своим обязанностям. Радует, что ты, в отличие от двора, ведешь правильный образ жизни, что ты умерен и аккуратен, ибо все это тебе необходимо, как... — он сделал паузу и решительно закончил: — как будущему государю.

Николай с женой слушали его с широко раскрытыми глазами.

— Вы удивлены? — взглянув в их окаменелые лица, продолжал царь. — Так знайте же, что Константин, мой законный наследник, решительно отказался от престола и за себя и за своих потомков.

«Черта с два, будут у этого распутника дети», — подумал о Константине Николай.

А Александр продолжал с серьезностью, переходящей в торжественность:

— Что касается меня, то я решил отказаться от царствования и удалиться от мира. Европа теперь, более чем когда-либо, нуждается в монархах молодых, вполне обладающих энергией и силой, а я уже не тот, каким был прежде.

Он опустил голову и замолчал.

Николай переглянулся с женой, и оба стали успокаивать царя и отказываться от возлагаемой на них короны. Николай говорил, что не чувствует в себе для этого ни достаточных сил, ни достаточной крепости духа, что у него одно желание — «служить государю в назначенном кругу обязанностей» и что далее сего его помыслы не простираются.

— Да, да, — подтверждала слова мужа Александра Федоровна.

Александр больше не глядел в их лица, но в их голосах за чувствительными, растроганными нотками слышал прорывающееся ликование.

Дав им выговориться, он сухо произнес:

— Это все так. Но Константин пишет маменьке решительный отказ, а мне в бытность мою в Варшаве прямо сказал, что скорее готов сделаться моим вторым камердинером и чистить мне сапоги, чем принять престол. А вы знаете, что он столько же упрям, сколь и легкомыслен.

Николай хотел возразить еще что-то, но старший брат перебил:

— Эта минута еще не наступила, но она близка. И цель нынешнего разговора с вами — только та, чтобы вы заблаговременно приучили себя к мысли о непреложно и неизбежно ожидающей вас будущности.

Он встал и, торопливо простившись, уехал, не заходя в комнаты матери.

Четверка сильных вороных, артистически управляемых лейб-кучером Ильей, вихрем несла изящную, похожую на раковину коляску Александра мимо залитых

сентябрьским солнцем желтых полей в Царское Село.

Царь, сняв тяжелую шляпу с галуном и высоким плюмажем, глубоко вдыхал пахнущий увяданием воздух.

— У императора ужасно плохой вид, — сказала мужу Александра Федоровна. — Куда девались его прежняя жизнерадостность и вид всеми обожаемого монарха? Неужели кончина этой истерички Крюднер так подействовала на него?

— Ну, нет, брат совершенно охладел к ней в последние годы, — сказал Николай.

— Однако под ее влиянием он отказался от шестнадцатилетней связи с Нарышкиной. А это не так легко.

Николай улыбнулся:

— Друг мой, иногда от шестнадцатилетней связи легче отказаться, чем от шестнадцатидневной.

— И эта ужасная подозрительность ко всем, — продолжала Александра Федоровна. — Прежде я приписывала это его глухоте. Но из сегодняшнего разговора вижу, что ошибалась. Тебе известна моя любовь к государю, и мне так прискорбно видеть подобные слабости в человеке со столь прекрасным сердцем и умом.

— Да, наделал дел и теперь ретируется, — вдруг грубо заговорил Николай. — Военные поселения придумал. Казенных крестьян, видишь ли, в пожизненных солдат обращать, да еще в таких, у которых подчинение начальству должно быть еще беспрекословнее, нежели у обычного солдата. А что получилось? Мужики бунтуют против помещиков, а военные поселенцы против государственной власти! Мужики хватаются за вилы и дреколья, а поселенцы обучены обращению с оружием... Кто же опаснее?! Ну-ка вспомни, что я тебе рассказывал о бунте в Чугуевских военных поселениях?

— Это было ужасно! — Александра Федоровна даже вздрогнула при этих словах мужа.

— Тройную полицию завел, — продолжал Николай, — едва ли не всех своих камергеров в шпионы превратил. Массонские ложи закрыл, а на место кликуш и ханжей, как грибов после дождя, развелось всяких либералистов, якобинцев, сочинителей и прочей мрази. Умствования, которым он предается, не спасут Россию от политических потрясений наподобие тех, которые свирепствовали во Франции. А русский карбонаризм будет еще наглей!

Трясущимися от злобы руками Николай вертел детскую погремушку, и ее бубенцы звякали нелепым аккомпанементом к его отрывистым фразам:

— Святоша! С квакерами, с монахом Фотием возится! Бабушкина века людей уважает, а Сперанского подальше отослал, чтобы не торчал бельмом на глазу. Полякам — конституцию, финам — самоуправление! С республиканцем Лагарпом тайно, как институтка, любовными записочками переписывается... А знаешь ли, что мне недавно рассказывал о Лагарпе муж покойной Крюднер? Оказывается, этот сумасбродный старик все еще разъезжает по белу свету и где только может с пеной у рта грозит врагам революции гильотиной!

— Этим он может вовсе скомпрометировать Швейцарию перед Европой, — покачала головой Александра Федоровна.

— Еще бы! — подтвердил Николай. — А наш братец, то ли из упрямства, то ли в угоду своему бывшему наставнику, при случае не прочь назвать себя «республиканцем в душе»... А сам Аракчеева у своего кабинета, как цепного пса, держит! Чтобы всех, кто сунется к царю, за икры кусал... Кстати оби крах... — Николай вдруг зло

рассмеялся: — Ты знаешь, кто-то пустил сплетню, будто Александр на маскараде у Нарышкиной, где он был в чулках и башмаках, имел накладные икры. Мне Ламсдорф по секрету рассказывал, что, услышав об этой сплетне, Александр взволновался, как заядлая кокетка. Вот тебе и «уход от мира»!

И снова засмеялся так, как будто деревянная колотушка застучала у него в горле.

— Бери от него империю! Садись на трон! А что меня в этом случае ожидает, ты знаешь?

Он отшвырнул погремушку в угол, хрустнул пальцами и несколько мгновений молча всматривался в приоткрытую дверь. Потом подошел к Александре Федоровне, пригнулся к самому ее лицу и зашептал:

— У Константина в Польше лучшая армия. Передумай он — и я самозванец. На Кавказе — Ермолов с обстрелянными войсками. Имеется тайное донесение, что на юге — Пестель... Здесь — тоже заговорщики... Все они только и ждут случая. Мне Бенкендорф давным-давно список показывал. В нем даже и те, кто считается цветом аристократии, армии... адмирал Мордвинов, князь Трубецкой...

Он захлебнулся злобой. Выпрямился и заметался.

— Ну, если буду царем хоть сутки, я им покажу! Я им, канальям, покажу!

Александра Федоровна с испугом следила за ним взглядом. Губы его, казавшиеся кроваво-красными на необычайно белом лице, не переставали шептать угрозы. Он весь дрожал и дергался.

— Успокойся, я знаю, что в тебе есть все, чтобы управлять такой страной, как Россия, — сказала Александра Федоровна уверенным голосом.

Николай резко обернулся,

— Такой, как Россия? — повторил он.

— Конечно, — ответила Александра Федоровна и, взяв в руки рукоделье, стала спокойно нанизывать бисер на шелковинку.

— Можно, маменька? — раздался за дверью детский голос.

Николай распахнул дверь.

Семилетний мальчик в красном, обшитом золотым галуном мундире, с барабаном на груди и саблей в руках, при виде отца вытянулся по-военному.

— Наследник цесаревич, — с гордостью кивнул на сына Николай.

Александра Федоровна, откинув голову, из-под опущенных век тоже смотрела на мальчика.

— Я предчувствовала всегда, что ему быть императором, — сказала она.

— Вольно! — громко скомандовал Николай.

Мальчик взвизгнул и бросился матери на шею.

24. «Нечаянно пригретый славой»

Александр ничего не мог с собой поделать: он непрерывно ощущал неминуемо грозящую ему опасность. Всюду ему чудились заговоры, возмущения. В любой шутке находил он скрытый намек, замаскированное недовольство, упрек... Петербург стал для него враждебным и чужим, и он переехал в Царское Село. Царскосельский дворец сделался его любимой резиденцией. Здесь он не чувствовал того тайного страха, который в Петербурге полз за ним от мрачного Михайловского замка, от холодного блеска Невы, от высоких парадных комнат Зимнего дворца.

Полз невидимо, как ядовитый, бесцветный пар, и от него некуда было скрыться.

Всюду — и в душных ризницах Александро-Невской лавры, и в благоухающих будуарах светских красавиц, и на улицах, и на площадях столицы, — всюду ужас перед грядущим тревожил его усталый мозг, сжимал слабеющее сердце.

В Царском Селе Александр ввел в дворцовую жизнь однообразный порядок и принимал лишь самое необходимое участие в государственных делах.

Управлял Россией Аракчеев, видевший в ней огромное военное поселение, в котором людям надлежало мыслить, чувствовать и действовать по тем самым «артикулам», которые были введены в его собственной вотчине.

Решив, что только железная рука Аракчеева способна подавить проявления общественного недовольства, Александр выдал временщику бланки за свою подписью, наперед санкционируя все, что вздумается занести на чистую бумагу всеми ненавидимому и всех ненавидящему Аракчееву. Все представления министров, все решения Сената, Синода и Государственного совета, все объяснительные записки отдельных членов этих государственных учреждений и их личные письма к Александру доходили до него только по усмотрению Аракчеева.

И в то время как Грузино и мрачный дом Аракчеева в Петербурге, на углу Литейной и Кирочной, служили суровой школой «уничужения и терпения» для всех — от фельдмаршалов и генерал-губернаторов до фельдфебелей и мелких чиновников; в то время как вся Россия стонала под ударами палок, и ни седины старости, ни детская слабость, ни женская стыдливость не избавляли от применения этого средства, и битье процветало в школах, в деревнях, на торговых площадях городов, в помещичьих конюшнях, у барских крылец, в сараях, на скотных дворах, в лагерях, казармах — всюду по спинам людей привольно гуляли палка, шпицрутен и розга, — в Царскосельском дворце, окруженном тенистым парком с кристально чистыми прудами, по которым бесшумно плавали величавые черные и белые лебеди, царили покой и тишина.

В шесть часов утра камердинер Анисимов вошел в царский кабинет и стал приводить комнату в порядок.

Шум его движений не мешал Александру спать не только потому, что он был глуховат, но и потому, что бабка Екатерина нарочно заставляла шуметь в детской маленького Александра, чтобы приучить его спать при всяких условиях.

Поставив на столик возле узкой походной кровати душистый чай с густыми сливками и тарелку с «arme ritter» *note 24* — поджаренными гренками из белого хлеба, Анисимов придвинул медный таз со льдом, положил на спинку кровати чистые полотенца и громко позвал:

— Ваше величество!

Александр открыл глаза.

— А, хорошо, — проговорил он и, быстро спустив ноги, скинул ночную рубашку. Анисимов стал растирать его желтоватое тело прозрачными кусками льда.

— Виллье приехал? — спросил Александр.

— Так точно, ваше величество. Ожидает приказания войти.

Александр ел гренки, запивая чаем.

В это утро Виллье впервые после долгого перерыва разрешил ему утреннюю прогулку.

Note24

«бедный рыцарь» (нем.)

Широкая аллея, по которой, слегка опираясь на трость, шагал Александр, вела к плотине на большом озере. Там жили белые и черные лебеди. Александр любил кормить их собственноручно, для чего к его приходу приготавливались корзинки с пищей.

И на этот раз, как только он подошел к зеленой скамье на берегу озера, величавые птицы медленно подплыли к нему. Их красноклювые головки на длинных шеях напоминали фантастические цветы на тонких стеблях.

Царь подошел совсем близко к воде. Следовавшие за ним лакеи подали ему корзинку с кормом.

Натянув перчатки, Александр брал из нее ломти хлеба и бросал лебедям. Они, грациозно изогнув шеи, погружали в воду свои плоские алые клювы и с журчанием вылавливали пищу. На их лоснящихся черных и белых перьях сияли крупные капли воды.

Александр долго любовался лебедями. Потом, бросив испачканные перчатки в пустую корзину, медленно пошел вдоль пруда, чуть-чуть прихрамывая.

К девяти часам ко дворцу начал съезжаться генералитет, чтобы сопровождать царя на ученье гвардейской артиллерии.

Офицеры разбились группами, вполголоса обсуждая последние новости.

В это время: на взмыленной лошади прискакал фельдъегерь с известием о смерти царской дочери, Софьи Нарышкиной.

Ставленник Аракчеева, барон Дибич, недавно назначенный начальником главного штаба, с ядовитой любезностью обратился к министру Двора князю Петру Волконскому:

— Государь так интимен с вашим сиятельством, что вам более, нежели кому иному, следует сообщить ему сию прискорбную весть.

Волконский посмотрел не в глаза барону, а выше, на дыбом торчащие пряди жестких волос.

— Иной раз, ваше превосходительство, тяжелее быть оповестителем несчастья, нежели самому его испытать, — холодно проговорил он и отошел к медику Виллье.

Через приемную быстро прошел лакей, несший на овальном серебряном подносе завтрак царю: чернослив и простоквашу.

— Монашеская трапеза, — насмешливо подмигнул Михаил Орлов своему адъютанту Охотникову.

— Спасается в миру, — тоже шепотом ответил адъютант.

Вдруг все смолкли.

На пороге стеклянной двери, ведущей из парка, показался Александр.

Отвечая на приветствия, он, как всегда, картинно наклонял голову, чуть дотрагиваясь кончиками пальцев до красного околыша фуражки. Вскинув лорнет, он бегло оглядел присутствующих и прошел к себе. Виллье последовал за ним.

В то время как царь завтракал, лейб-медик с помощью камердинера перебинтовывал его больную ногу.

— Дело заметно идет на поправку, ваше величество, — сказал Виллье с облегченным вздохом. — Слава богу, слава богу...

— А разве было опасно? — спросил Александр, отодвигая тарелку с недоеденным черносливом.

— Я опасался антонова огня, ваше величество.

Вошел Волконский и молча остановился против царя. Тот с удивлением поглядел

на него. Волконский перевел дыхание, но продолжал молчать.

— Что? Что случилось? — тревожно вырвалось у царя. Почему это молчание? Говорите же, я вам приказываю отвечать!

— Ваше величество... Гонец от Марии Антоновны... Мадемуазель Софи...

— Умерла?! — упавшим до шепота голосом спросил царь.

Волконский низко опустил голову.

Александр отшатнулся. Лицо его побледнело до синевы. Грудь порывисто вздымалась.

— Вам дурно, государь? — наклонился над ним Виллье.

Александр полуоткрыл полные слез глаза и жестом попросил оставить его одного.

— Что же, вероятно, артиллерийское учение будет отказано? — спрашивали в приемной Волконского после того, как он рассказал о случившемся. — Можно и по домам?

Волконский неопределенно разводил руками.

Но царь вышел, как и было назначено, ровно в половине одиннадцатого. Как всегда, туго затянутый в мундир; как всегда, держа шляпу так, чтобы между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица от галуна кокарды; как всегда, слегка надушенный «Английским медом».

Мерным шагом, ни на кого не глядя, он дошел до середины приемной и, вскинув голову, не то приказал, не то спросил:

— Отправимся...

В этот момент, как и в течение всего смотра, лицо его ничего не выражало, кроме обычной любезности и привычного желания пленять и очаровывать.

На пятой версте по петергофской дороге от непомерно быстрой езды пала одна из четверки лошадей, мчавших Александра на дачу Нарышкиной.

Кучер Илья, соскочив с козел, торопливо отстегивал упряжь.

Царь даже не взглянул на бившегося в предсмертных судорогах коня.

— Скорей, Илья! Торопись! — приказал он. — Режь постромки!

Снова замелькали будки, шлагбаумы, верстовые столбы. Зазвенел в ушах ветер. И снова остановка: упала вторая лошадь. Кровавая пена заклубилась на ее оскаленных зубах. Бока ввалились.

Вытирая глаза рукавом кучерского плисового камзола, Илья отрезал куски упряжи, дрожащими руками.

— Скорей, скорей! — требовал Александр.

Марья Антоновна Нарышкина, одетая в глубокий траур, стояла у гроба дочери, когда по шороху осторожных шагов и смятенному вокруг шепоту поняла, что приехал царь.

Не дожидаясь приказания, все вышли.

Александр показался на пороге.

— Она... наша девочка... — указала Нарышкина на гроб и зарыдала.

Александр сделал несколько быстрых шагов и наклонился над покойницей.

— Софи! — тихо позвал он. — Софи! — И слезы живого стали падать на мертвое лицо и скатываться к золотистым прядям у крошечных мраморных ушей.

Марья Антоновна провела платком по лицу царя. Он выпрямился.

— С нею оборвалась последняя нить, которая привязывала меня к жизни, — глухо проговорил он и опустился на колени.

Крестясь, он припадал лбом к полу, и огни горящих возле покойницы свечей

дрожали в золотой бахrome его эполет.

— Государь, — спустя несколько дней, сказал князь Васильчиков, — осмелюсь высказать вашему величеству совет об облегчении душевной тяжести.

Царь молчал.

— Архимандрит Фотий, — вкрадчиво продолжал Васильчиков, — видел новое откровение, прямо касающееся вашего величества.

Царь прислушался.

— Графиня Орлова писала графу Аракчееву, советуясь, доложить ли о сем вашему величеству. Но, видя грустное вашего величества расположение, я счел долгом предложить вам, государь, снова принять Фотия... Можно было бы даже нынче ввечеру ввести его тайным образом с секретного хода, дабы посещение это не стало гласным...

— Разве он в Петербурге? — со вздохом спросил Александр.

— Так точно, государь. У графини Анны Алексеевны Орловой.

— Хорошо, привози...

Реакционная клика всех стран и всех эпох имеет своих типичных представителей. Таким был в конце царствования Александра I невежественный и дерзкий монах Фотий.

Головокружительная его карьера объяснялась тем, что направляла ее всемогущая рука Аракчеева.

Аракчеев, стремясь все к большему влиянию на царя, убирал со своего пути всех, кто мог бы в той или иной степени мешать ему в осуществлении полного своего владычества.

После того как ему удалось добиться значительного отдаления от царя его постоянного советника и спутника во всех путешествиях князя Петра Волконского, Аракчеев задумал устранить министра народного просвещения и духовных исповеданий князя Александра Голицына. Голицын был другом царя с детских лет, а в последние годы дружба их окрепла еще больше на почве увлечения мистицизмом. И все же Аракчеев старался убедить Александра, что все предприятия Голицына по части духовного просвещения — не что иное, как революция под прикрытием религии.

Для полного успеха своих намерений Аракчеев решил использовать графиню Орлову, богатую и фанатически-религиозную истеричку.

Влюбившись в дерзкого и беспутного монаха, она возила его по великосветским салонам, где Фотий, разыгрывая роль вдохновенного обличителя нечестия, произносил безудержно-наглые речи, густо пересыпанные крепкой бранью.

Речи производили на слушателей ошеломляющее впечатление.

Вскоре Фотий окончательно поселился в доме «дщери-девицы» графини Орловой и получил доступ не только в ее девическую спальню, но и ко всему ее колоссальному состоянию.

Слава Фотия достигла, наконец, своей вершины: монах был приглашен к самому царю.

После первой аудиенции Александр призывал его не раз для душевнеспасительных и покаянных бесед.

В этот последний визит Фотий был полон аракчеевскими наставлениями, а царь был охвачен мрачной меланхолией и чувствовал себя одиноким, несправедливо обиженным и обозленным на всех и на все.

Когда Фотий вошел в освещенный одним канделябром кабинет, царь молча подошел под его благословение. Потом взял его за руку и усадил на диван. Сам сел напротив, поставил локти на колени и, подперев ладонями щеки, пристально уставился в красное, слегка опухшее лицо монаха.

— Страждешь, государь? — спросил Фотий пропитым басом.

— Стражду, отче, — тихо ответил Александр.

— Смирнейший царь, — начал Фотий, — царь, яко кроткий Давид; царь мудрый, царь по сердцу божию, достойный сосуд благодати святого духа, облегчи душу свою, пролей слезу, яко росу, на руно окрест сходящую. Господь узрит скорбь своего помазанника. Он поразит врази твои внутренние, кои, яко гады, клубятся в гнездилищах революции.

Александр закрыл глаза, а Фотий продолжал все с большим и большим жаром:

— Пресеки мановением десницы своея нечестие. Да падут богохулы и да онемеет язык расколов. И общества богопротивные, яко же ад, сокруши. Ты, победой над Наполеоном возвеличенный, убоишься ли зверя рыси, горлинкой прикинувшегося? Не отринешь ли министра духовного? Один у нас министр — господь Иисус Христос...

Все тише, но все явственней долетали до царя слова Фотия.

Они ударили в сердце, и оно содрогалось тоскливым ожиданием грядущих бед.

Фотий сам испугался, когда увидел, что сделал с царем своими зловещими заклинаниями.

Положив руки крестом на склоненную к его коленям царскую голову, Фотий заменил иступленный шепот умильной речью:

— Вижу над тобой благодать святого духа, яко фимиам кадильный. Твори молитву, царь! Господь с тобою...

Александр упал на колени и, подняв глаза ввысь, заговорил в тон Фотию:

— Господи, буди милость твоя ко мне! Я же готов исправить все дела и твою святую волю творить.

Не вставая с колен, он обернулся к Фотию и так же растроганно попросил:

— Сотвори о мне здесь молитву ко господу, да осенит меня сила всевышнего на всякое благое дело!

— Царю небесный, утешителю... — начал нараспев Фотий.

А через полчаса, уверив Александра, что не только в его душе, но и на небесах «великая радость ныне», Фотий уезжал с приказанием царя, чтобы относительно увольнения Голицына Фотий сам придумал план «для свершения намерения в дело».

25. Дела мирские

Князь Голицын, поссорившись у Орловой с Фотием и понимая, что этим самым он отстраняет себя от участия в управлении государством, сам попросил Александра освободить его от всех занимаемых должностей.

Вертя в руках золотой лорнет, Александр со свойственной ему одному ледяной задушевностью ответил:

— И я, любезный князь, уже не раз собирался объяснить с вами чистосердечно. В самом деле, вверенное вам министерство как-то вам не удалось.

— Я это понимаю, государь. Пришла пора... — Голицын стиснул зубы так, что скулы явно обозначились на его гладко выбритых щеках.

Александр помолчал, как бы дожидаясь, не скажет ли Голицын еще чего-нибудь.

Потом продолжал:

— Я думаю упразднить ваше сложное министерство, но... принять вашу отставку никогда не соглашусь. Нет, нет. Я вас прошу взять на себя главное управление почтовым департаментом.

Голицын еще крепче стиснул зубы.

— Да, почтовым департаментом, — заторопился вдруг Александр. — Таким образом, дела пойдут по-старому, и я не лишусь вашей близости, вашего совета.

При последних словах он позвонил в колокольчик.

Вошёл камердинер Анисимов с пакетом.

— От графа Алексея Андреевича Аракчеева лично к вашему величеству прибыл по неотложному делу унтер-офицер, — доложил Анисимов.

Царь вскрыл пакет.

«Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству, — писал Аракчеев, — что посланный фельдъегерский офицер Лан привез сего числа от графа Витта 3-го Украинского уланского полка унтер-офицера Шервуда, который объявил мне, что имеет донести вашему величеству касающееся до армии, состоящее будто в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству...»

Александр не стал читать далее. Уронил руки на колени, и тоска, как тошнота, заполнила все его существо.

— Опять, опять это, — вслух проговорил он и вдруг коротко бросил Голицыну: — Вы свободны, Александр Николаевич.

Так и расстались, не взглянув друг другу в глаза.

По уходе Голицына Александр, будто забыв о присутствии камердинера, долго стоял неподвижно у стола.

Потом, опустившись в кресло, устало проговорил:

— Пусть войдет этот Шервуд.

И полужакрыл глаза.

Он не поднял их и когда Шервуд, вытянувшись во фронт, остановился посреди кабинета.

— Запри дверь.

Шервуд исполнил приказание.

— Что ты мне хочешь сказать? Да подойди ближе.

Шервуд сделал еще несколько шагов.

— Ваше величество... — зная, что царь глуховат, зычно и отчетливо начал Шервуд, но царь приподнял лежащую на коленях руку:

— Не кричи так.

— Государь! Против спокойствия России и вашего величества существует заговор.

Полуопущенные веки царя чуть дрогнули:

— Почему ты это думаешь?

Шервуд стал торопливо излагать все, что узнал от Вадковского, все, что раньше видел и слышал в Каменке и в поездках по поручению Давыдовых к их зятю, Орлову, в Кишинев. Называл одну фамилию за другой и то, о чем догадывался острым чутьем сыщика, выдавал за достоверные факты.

При некоторых произносимых Шервудом именах царь недоуменно поднимал брови, но продолжал слушать.

— А скажи... скажи, много ли этих... этих недовольных?

— По духу и разговорам офицеров вообще, а в особенности южных армий, полагаю, что заговор распространен довольно широко и, если принять во внимание, что заразительные утопии имеют те же свойства быстрого распространения, как и злейшие болезни — чума и холера.

— А среди высшего командования, — перебил царь, — и государственных деятелей тоже обнаружены очаги заразы?

Шервуд замялся. Александр приподнял глаза до его подбородка.

— Полагаю, что да, — проговорил доносчик. — Деяния некоторых государственных сановников временами столь вредны благополучию России, что не чем иным, как явным злонамеренней, объяснить их невозможно.

— Ты о чем? — коротко спросил царь.

После минутного колебания Шервуд с азартом игрока, идущего ва-банк, сказал:

— Взять хотя бы военные поселения, государь.

— Что?! — Александр всем корпусом повернулся к Шервуду. — Я не ослышался?! У графа Аракчеева?!

Шервуд выдержал устремленный на него взгляд.

— Военные поселения, ваше величество, ненавистны крестьянам, — твердо проговорил он. — Они разорительны для них. Крестьянам дают ружья и мундиры, а у них зачастую нет хлеба даже для того, чтобы прокормиться со своей семьей. А к ним ставят еще постояльцев — солдат да кантонистов. Я сам, будучи с докладом у графа Аракчеева, собственными ушами слышал и собственными глазами видел многое, что при нынешних обстоятельствах может быть весьма опасным...

— Помолчи немного, — остановил Александр Шервуда и снова откинулся к спинке кресла.

«А что же в таком случае означает все то, что я видел в военных поселениях? — мысленно спросил он себя. — Неужто всего лишь цепь мистификаций? Ужели Аракчеев обманывает меня мнимым благодеянием поселенцев, как обманывал Потемкин мою бабушку?»

И мгновенно вспомнил себя еще мальчиком в кабинете Екатерины. Он сидит у ее ног на скамейке, обитой голубым атласом, и смотрит на нее снизу вверх. Ему виден ее круглый двойной подбородок, веселые глаза. Он слушает один из ее рассказов «касательно российской истории».

«В восемьдесят седьмом году, — повествует Екатерина, и ее румяные губы морщатся улыбкой, — задумала я обозреть мое маленькое хозяйство в Екатеринославском наместничестве да в Тавриде. Князь Потемкин птицей облетел те края и видоизменил их донельзя. Что за дворцы настроил, что за дороги! Римским не уступят. На левом берегу Днепра город Алешки соорудил. Глядеть любо. Завистники князя Григория опосля ввали мне, что многие дома, кои пленяли мой взор, были намалеваны на холстине, и что мужиков от бывшей спешки в работе ужась как много перемерло. Однако ж сколь усладились мы сим приятным путешествием... Да вы, господин Александр, никак плакать собираетесь? Чувствительное сердце!»

Бабушка ласково берет его за ухо...

Александр вздрогнул. Несколько мгновений растерянно смотрел на Шервуда, потом глухо спросил:

— Еще что?

Шервуд встрепенулся:

— Его превосходительство министр финансов...

— Канкрин? — царские брови снова удивленно поднялись.

— Так точно, государь. Господин министр издал гильдейское постановление, коим крестьянам и мещанам запрещается возить из уезда в уезд продавать хлеб и всякого рода произведения свои. Постановление это сковало внутреннюю в государстве торговлю и вызвало ропот и беспорядки среди сельских жителей. Граф Михаил Орлов ввел обязательное обучение грамоте во всех своих поместьях. Его ланкастерские школы — рассадники вольности. Многие из поименованных мною помещиков вводят оброк. Я мог бы еще кое-что сообщить вашему величеству... Но, сознавая необходимость принять скорые меры для пресечения распространения заговора, порешил продолжать доскональное расследование.

— Спасибо, Шервуд, — тихо сказал Александр.

Шервуд низко поклонился:

— Я исполнил только долг присяги и честного человека.

— Спасибо, — еще раз вяло сказал Александр. — Работай в этом направлении... Ты в каком чине? — он взглянул на унтер-офицерский мундир Шервуда и продолжал: — Может быть, тебе удобнее будет продолжать начатое тобою дело, будучи офицером. Я прикажу...

«Выдержка, Джон!» — ликующе пронеслось в мозгу Шервуда.

— О нет, государь, — горячо воскликнул он, — мое производство может вызвать подозрение! Повременим...

Александр сделал вид, что не заметил фамильярности этого «повременим», и продолжал слушать.

А Шервуд, войдя в роль горячего патриота и верноподданного плел всё более густую паутину предательства и не замечал, что лицо царя стало покрываться серым налетом и полуопущенные веки совсем закрылись.

Александр испытывал то ощущение физической тоски, которое все чаще находило на него в последнее время.

Голос Шервуда звучал откуда-то издалека, и каждое его слово как будто расплывалось перед глазами багровым пятном.

— Поезжай в Грузино, — с усилием произнес царь, — там с Аракчеевым все обсудите и уж потом сообщите мне, что надумаете предпринять. — И протянул Шервуду два изнеженных, как у женщины, пальца.

Шервуд почтительно прикоснулся к ним крепкими губами.

Прошло совсем немного времени, и Шервуд, осторожно ступая по натертому паркету аракчеевского дома, направлялся вслед за старым лакеем к кабинету хозяина.

Он застал графа ползающим на четвереньках перед огромным диваном. В ответ на бравое приветствие Шервуда Аракчеев только слегка повернул к нему свою взлохмаченную голову и, не меняя позы, буркнул:

— Присядь, сударь, покуда што. — Потом достал из кармана белый платок, потер его концом под диваном и, поднявшись с пола, поманил к себе слугу:

— А ну-ка, скажи на милость, что здесь обозначено? — поднося платок к самому лицу старика, спросил он со зловещей ласковостью.

— Вижу некоторую желтизну, ваше сиятельство, — бледнея, отвечал слуга.

— А почему бы она желтизна могла приключиться? — тем же тоном допрашивал Аракчеев, не сводя со старика сверлящего взгляда.

— Должно полагать, от желтого воску, ваше сиятельство. Паркетчики и то

обижались, что воск...

— Мне до паркетчиков дела нет, — оборвал Аракчеев. — Тебе с дворецким приказано блюсти порядок и чистоту в хоромы моего дворца. Вам приказано, чтобы паркет блистал, как лед на Волхове. Однако вы, я вижу, запомнили, как надлежит выполнять мою волю и что полагается нарушителям оной. Так подай-ка мне чернил и перо. Ужо напишу приказец о примерном наказании.

Трясущимися руками старик взял с ломберного столика медный бокал с пучком гусиных перьев и такую же массивную чернильницу.

Аракчеев развернул толстую тетрадь с заголовком «На предмет приказов о наказаниях провинившихся» и уже поднес к чернильнице перо, как вдруг заметил на нем несколько трепещущих пушинок.

— Кто очинял перья?! — гаркнул он.

— Свиридыч, ваше сиятельство...

— А послать ко мне хромого шута! Видать, он тоже по едикулю соскучился.

Когда старик вышел, Аракчеев долго тер платком свою багровую физиономию и висячий нос с раздувающимися широкими ноздрями.

— Не изволите себя беречь, граф, — участливо произнес Шервуд. — Стоит ли эдак расстраиваться из-за ничтожных пустяков.

— Я, сударь мой, порой и серьезнейшими делами не столь прилежно занимаюсь, как безделицами да пустяками, — переводя шумное дыхание, возразил Аракчеев. — А знаешь ли, какое впечатление производит это в умах? — Он хитро прищурил глаз. — А вот какое: «Ежели граф Алексей Андреевич замечает ошибки даже в пустяках, то с каким же вниманием вершит он дела государственной важности?..»

— Мудро. Весьма мудро, — несколько раз повторил Шервуд.

— К примеру, возьми какое-либо перо из тех, что стоят в бокале на ломберном столе, — велел Аракчеев.

Шервуд исполнил приказание.

— Посмотри, как оно подстрижено, — продолжал Аракчеев.

— Углышком, ваше сиятельство.

— А это вот, что мне холуй дал, — напрямик. По моему же приказу все перья должны быть подстрижены одинако. Оный приказ, впрочем, приложим не токмо к перьям. Одинаким надлежит быть множеству предметов и домашнего обихода смердов, и пища ими потребляемая, и одежда. И никакого попустительства в исполнении сих правил быть не должно, ибо малейшее попустительство со стороны властей ослабляет должное к ним почтение и страх.

— Однако сколь же затруднительно подобное неустанное попечительство, — сочувственно вздохнул Шервуд.

— А ты как думал? — разваливаясь на штофном диване, сквозь зевок произнес Аракчеев. — Мудрость управления на уготованном нам волею всевышнего и государя нашего посту дается усерднейшею и многолетнею службой. А теперь, господин унтер-офицер, рассказывай, с чем прибыл. — И он указал концом сапога на близстоящее кресло.

Присев на его край, Шервуд принялся докладывать.

А вечером за ужином в аракчеевской столовой он пил крепкую настоянную на спирту наливку, почтительно чокаясь с хозяином и развязно с Настасьей Минкиной.

Деловая беседа уже подходила к концу. Все были довольны придуманным планом: распустить слух, что начальство заподозрило Шервуда в причастности к

крупной растрате казенных денег, о которой тогда много говорилось и в столице и в провинции. В связи с этим делом Шервуда будто бы и вызывали в Петербург. Но в столице его невинность была установлена, и ему в утешение будто бы была выдана денежная награда и годичный отпуск.

Сфабриковали и фальшивый документ, все как полагается: «По указу его величества императора Александра Павловича, самодержца всероссийского и прочая и прочая... 3-го Украинского уланского полка унтер-офицер Шервуд уволен в отпуск» и т. д. и поставили подписи: «Главный над военными поселениями начальник, генерал от артиллерии граф Аракчеев и начальник штаба Клейнмихель». За последнего тоже расписался Аракчеев. «Пусть-ка воспротивится», — подумал он с усмешкой.

Шервуд ликовал: невинно пострадавший, гордо опечаленный, он ли не вызовет к себе горячих симпатий тех восторженных безумцев? Ему ли не окажут полного доверия?

О, он хорошо знает их.

На своей груди Шервуд ощущал рядом с овальным медальоном полученный документ, и счастливое возбуждение все время не оставляло его.

— Экой веселый паренек, — кивала на него Минкина и подливала ему в рюмку из того же графина, что и Аракчееву.

— Нынче веселость в цене, почтенная Настасья Федоровна, — скалил Шервуд крепкие желтоватые зубы.

Аракчеев кривил рот наподобие улыбки и глотал концы слов:

— Смотри, Шервуд, не ударь лицом в грязь.

Шервуд самоуверенно щурил наглые глаза и снова тянулся чокаться.

Настасья, опершись о стол огромной жирной грудью, не сводила глаз с крепких чувственных губ Шервуда и тоже пила рюмку за рюмкой.

Когда Аракчеев, встав из-за стола, повернулся к иконам и стал истово креститься, она незаметно дотронулась до спины Шервуда своей тяжелой рукой и, обдавая его пьяным дыханием, шепнула:

— Приходи ночью в мою горницу...

— Империя должна сетовать на ваше величество, — с сокрушением говорил генерал-адъютант князь Васильчиков,

— За что? — спросил Александр.

— Не изволите беречь себя, государь.

— Хочешь сказать, что я устал?.. Да, многое для славы России нами сделано. Кто больше пожелает — ошибется. Но... Вот эти, вот... — он постучал пальцем по лежащим перед ним доносам, — вот эти, вот...

— Ну, с этими дело уладить ничего не стоит, — бросив презрительный взгляд на доносы, сказал Васильчиков. — Сибирь давно нуждается в заселении, ваше величество.

Желая рассеять настроение царя, Васильчиков принялся рассказывать о том, что весь Петербург обеспокоен состоянием здоровья императора.

— Народ с таким волнением ловит всякое известие о самочувствии вашего императорского величества.

— Какой народ? — спросил царь.

Васильчиков смутился.

— Весь народ, государь... В салонах только и разговору...

Губы Александра шевельнула ироническая улыбка.

— Ну что ж, мне приятно это слышать. Хотя, признаюсь, трудно верить, чтобы «весь народ» так уж мною интересовался. Но, в сущности, я был бы доволен сбросить с себя бремя короны, которое невыносимо тяготит меня в последнее время.

Васильчиков огляделся по сторонам, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не услышал этих царских слов.

Когда он вышел, Александр снова развернул последний донос, полученный от генерала Бенкендорфа. Стремясь убедить царя, что источником революционного брожения в России служит не пробудившееся политическое сознание русского народа, а лишь навеянные извне чужеземные идеи, Бенкендорф писал:

«В 1814 году, когда русские войска вступили в Париж, множество офицеров свели связи с приверженцами разных тайных обществ. Последствием сего было то, что они напитались гибельным духом партий и получили страсть заводить подобные тайные общества у себя. Сии своевольно мыслящие порешили возыметь влияние на правительство, дабы ввести конституцию, под которою своеволие ничем не было бы удерживаемо, а пылким страстям и неограниченному честолюбию предоставлена была бы полная воля. Воспламеняемые искусно написанными речами корифеев революционных партий, хотят они управлять государством...»

Александр вспоминал, что еще десять лет тому назад в Париже рассказывал ему об этом генерал Чернышев...

Он взял в руки лежащий отдельно список имен членов Тайного общества:

«Николай Тургенев нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит гильотиною...»

— Тургенев грезит гильотиною, — вслух проговорил царь. — И те, что помечены Шервудом, — и Трубецкой, и Волконский, и все Бестужевы и Муравьевы, все они, благодетельствованные моими неисчислимыми милостями, все они, ослепляясь скрытым честолюбием, споспешествуют безумным затеям... Готовят гибель мне... А не постигают собственной гибели!

Он скомкал в руке список и бросил его под ноги.

«Бенкендорф говорит, что зародыш беспокойного духа особенно крепко укоренился в войсках. Но он думает, что при бдительном надзоре и постоянных мерах это может быть отвращено. Да, оно должно быть отвращено. Должно! Должно!»

Александр вскочил и, быстро подняв с пола брошенный комок бумаги, расправил его, присоединил к другим доносам и аккуратно вложил все в чистый конверт. Потом на цыпочках подошел к двери и прислушался.

В приемной шел тихий разговор.

«Проклятая глухота», — подумал сердито Александр и приложил руку к правому уху, на которое лучше слышал.

Но за дверью совсем смолкли.

Александр быстро вышел в приемную.

Недавно прибывшие сюда Киселев и Орлов при появлении царя не успели спрятать веселые улыбки. Александр холодно посмотрел на них, едва выслушал рапорт и снова ушел в кабинет.

Генералы с изумлением переглянулись.

Через несколько минут Киселев был приглашен к царю.

Александр, видимо, неловко себя чувствовал.

— Как здоровье вашей супруги? — любезно спросил он.

Киселев поблагодарил.

— А мадемуазель Потоцкая, я слышал, вышла за Нарышкина?

— Так точно, государь.

«Что бы еще ему сказать?» — подумал царь.

И вдруг у него сорвалось:

— А вы о чем смеялись с Орловым? Всё недостатки мои обнаруживаете? Скажите же какие именно? Что вам смешно во мне?

Александр улыбался своей «прельстительной» улыбкой, но глаза его, больные и испуганные, так и шарили по лицу Киселева.

— Помилуйте, государь! И в мыслях у нас такого не было. Прикажете позвать Орлова и Кутузова, он за миг перед выходом вашего величества отлучился. Анекдот о поэте Пушкине рассказывал нам Орлов. Весьма потешное происшествие. Извольте, государь, приказать позвать их, дабы они подтвердили истину моих слов. Иначе я из кабинета не выйду.

Александр продолжал испытующе смотреть в огорченное лицо Киселева.

— Ах вы, шутники, — наконец, сказал он. — Расскаж-ка и мне случай с Пушкиным.

— Не могу, ваше величество, — ответил Киселев.

— Тайна, значит?

— Никак нет: нескромно, государь.

— И в Михайловском не унимается? — спросил царь и, не дождавшись ответа, прибавил: — Ну, как знаешь.

26. Сентябрьской ночью

«Никому не нужен... для всех в тягость... Как труп, уже оплаканный, но непохороненный...» — думал Александр о себе незадолго до отъезда в Таганрог.

Не хотел никого видеть и к Марье Федоровне в Павловск поехал только для того, чтобы мать не надоедала потом упреками.

«Ну, и оставили бы меня в покое, а то все пристают...»

Он вспомнил последний визит Карамзина, который в конце разговора сказал: «Вам, государь, еще так много остается сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала». Карамзин произнес эту фразу с несвойственной ему настойчивостью, и выражение его глаз, обычно задумчивых, показалось Александру дерзко-требовательным.

А за час до Карамзина Голицын, приглашенный к завтраку, тоже приставал с советами. Сперва осторожно, а потом уж без обиняков стал доказывать, что акты, изменяющие порядок престолонаследия, неудобно на долгое время оставлять необнародованными и что в случае какого-либо несчастья из-за этого может возникнуть большая опасность.

«Ужасно надоедлив, — думал о Голицыне Александр, — ведь сказал же я ему, что господь все знает и все устроит лучше нас, смертных... Насилу отвязался».

При этом Александр улыбнулся болезненно и лукаво. Вспомнил, что показал Голицыну конверт с собственноручной надписью: «Вскрыть после моей смерти». И Голицын успокоился. А в конверте были вложены две молитвы, записанные со слов Фотия, и ничего больше.

В Павловском дворце у матери Александр застал, как всегда, мишурную кутерьму. Шушукались и хихикали молоденькие фрейлины, сновали красавчики пажи,

к которым Марья Федоровна не утратила склонности до глубокой старости, вертелись в клетках и, грассируя, болтали попугаи, лаяли моськи и болонки.

Мать застал за клавирами. Она аккомпанировала черноглазой молодой фрейлине, исполняющей сентиментальный французский романс.

— *C'est bien. C'est tres bien. Mais pas de betises, pas de betises...* *note 25*

Молоденькая фрейлина, очевидно, знала, о каких *betises* говорит императрица, и скромно опустила длинные ресницы. При виде матери, как всегда немилосердно затянутой, в открытом с высокой талией платье, со страусовым пером в головном уборе, с белым на черной ленте мальтийским крестом на голой шее, Александр пожалел, что приехал.

«Всемиловнейшая родительница наша, — почему-то официально назвал он ее в мыслях, — все еще упорствует в борьбе со старостью».

Марья Федоровна встретила сына восторженными восклицаниями. Мельком спросила, правда ли, что он уезжает с женой в Таганрог. Не дождавшись ответа, похвалила за то, что он снова возвращается «*a son premier amour*» *note 26*. И, вспомнив, что тут присутствует молоденькая фрейлина, поспешила переменить разговор.

— А мы с моей черненькой, — так она называла фрейлину Александру Россет, — развлекаемся. У нее голосок небольшой, но музыкальность редкая.

Фрейлина церемонно присела. Александр посмотрел на нее так, как смотрят великим постом богомольные старухи на скоромное. И черненькая сконфуженно поспешила спрятать свой башмачок, умело выставленный при реверансе.

В продолжение всего визита Александр был уныл и рассеян.

За завтраком почти не прикасался к блюдам. Следил, как пажи, безошибочно угадывая каждое движение Марьи Федоровны, ловко подставляли золотые тарелки то под длинные белые перчатки, то под веер, которые она протягивала им через плечо, бесшумно ставили фарфоровые приборы с кушаньями и так смотрели при этом на нее, что Александру начинало представляться, будто он видит за их спинами угодливое влияние хвостов.

Императрица без умолку говорила, и от ее картавой болтовни у Александра началась мигрень. Он заторопился уезжать, и Марья Федоровна, взяв его под руку, пошла проводить. Но Александр видел, с каким трудом после обильного завтрака она двигалась на необычайно высоких каблуках, и, не дослушав ее советов относительно здоровья невестки, простился.

Когда он сел в коляску и закрыл глаза, ему казалось, что материнские каблуки продолжают стучать не по натертому паркету, а по его холодным вискам.

Приехав с женой из Киева в Петербург, князь Сергей Петрович Трубецкой, сделав необходимые по службе визиты, отправился к Никите Муравьеву с письмом от Пестеля.

Покойный отец Муравьевых, один из самых образованных людей своей эпохи, будучи сенатором и министром народного просвещения, слыл покровителем литературы и науки.

Среди постоянных посетителей муравьевских литературных вечеров неизменно

Note25

Хорошо, очень хорошо! Но только без глупостей, только без глупостей... (франц.)

Note26

К своей первой любви (франц.)

присутствовал Николай Михайлович Карамзин, стоявший в зените своей литературной славы и на пороге славы историографа.

В свое время Муравьев помог ему в издании «Вестника Европы», и с тех пор Карамзин стал близким другом всей его семьи.

После смерти Муравьева жена его Екатерина Федоровна на некоторое время будто лишилась рассудка.

Карамзин, как нянька, ходил за ее малолетними сыновьями, а когда Екатерина Федоровна оправилась от горя, он остался ее неизменным советником в их воспитании.

Часто и подолгу он проводил время в большой библиотеке, оставленной Муравьевым. Здесь были написаны многие страницы «Истории государства Российского».

На верхней площадке лестницы Трубецкого встретила совсем седая, но сохранившая былую стройность Екатерина Федоровна.

Она приветливо улыбнулась:

— Вы к Сашеньке или к Никите?

— Я бы желал видеть Никиту Михайловича.

Выражение не то строгости, не то гордости мелькнуло в лице Екатерины Федоровны.

— У него Николай Михайлович Карамзин и поручик Анненков...

— Очень буду счастлив видеть обоих.

— Прощу, — указала Екатерина Федоровна на массивную дубовую дверь кабинета сына.

Никита, увидев Трубецкого, быстро подошел к нему и тряхнул руку на английский лад.

— Очень, очень одолжил посещением. А вот, узнаешь? — указал он взглядом на сложенного, как Геркулес, поручика с очень приятным лицом и добрыми близорукими глазами.

— Как же, имел удовольствие слышать о вашем приезде, Иван Александрович.

Анненков, офицер кавалергардского полка, состоял членом Северного общества. Он недавно приехал в Петербург из Пензенской губернии, где у него были огромные владения и где он должен был разведать, есть ли на Волге и в Приуралье члены Тайного общества.

Поправив очки, Анненков приблизился к Трубецкому. Даже в его походке чувствовалась большая физическая сила.

Обменялись дружескими рукопожатиями.

— Надолго ль? — спросил Трубецкой.

— Нет, скоро в Москву, к маменьке. — Анненков покраснел.

«Значит, правда, что он влюбился в какую-то француженку и едет к матери за разрешением на брак», — вспомнил Трубецкой о переданной ему женой последней светской новости и, улыбнувшись Анненкову, с почтительным поклоном подошел к Карамзину.

— Вы, князь, небось тоже из тех, кто судит, рядит, спит и видит конституцию, — подавая Трубецкому мягкую, будто бескостную руку, спросил Карамзин.

И, заметив смущение Трубецкого, поспешил прибавить:

— А жаль, что вы не изволили прибыть получасом раньше. Послушали бы, как меня Никитушка за мою «Историю государства Российского» отчитывал да наставлял.

И то не так и это зря написал. Знал бы, что мне так за нее попадет, — в голосе Карамзина звучала обида, — писал бы только одни сентиментальные повести...

— Полноте, Николай Михайлович, — вспыхнув, перебил Никита. — Вы отлично знаете, что муза Истории еще дремлет у нас в России. А между тем ничто так не возбуждает духа патриотизма, как именно исторические сочинения. Нашим воинам обычно ставят в пример прославленных героев других народов, как будто мы, русские, скудны своими... Как будто у России не было Румянцевых, Суворовых, Кутузовых! Ваша "История" — событие неизмеримого значения. Однако ж, читая ее, мы гордимся не столько выведенными в ней государями, сколько деяниями русского народа, высокими стремлениями его национального духа. Именно национальный дух народа считал Суворов непреодолимой единственной преградой завоевателям...

— Знаю, наслышан я об этом, — неожиданно раздраженно остановил Никиту Карамзин. — И, тем не менее, осмеливаюсь заверить вас, молодые люди, что мятежные страсти искони волновали общества, но благотворная власть обуздывала их бурное стремление. Насильственные средства губительны. История не раз являла нам примеры несовершенства порядка вещей в государствах. Бывали положения более ужасные, нежели те, кои мы с прискорбием наблюдаем ныне в отечестве нашем. Однако же государства сии не разрушались.

Никита порывисто взял в руки скрученную в трубку свою рукопись критического разбора «Истории» Карамзина и заговорил, немного заикаясь:

— Итак, Николай Михайлович, история прошлых времен должна погружать нас в сон нравственного спокойствия? Но ведь несовершенства несовершенствам рознь. Несовершенства времен Владимира Мономаха подобны ли таковым во времена Ивана Грозного? И не возжигают ли такие сравнения наши душевные силы и не устремляют ли их к тому совершенству, которое существенно на земле? Не мир, но вечная брань должна существовать между злом и благом. Священными устами истории праотцы взывают к нам: не посрамите земли русские!

— Никитушка, — тихо окликнула Екатерина Федоровна, — не волнуйся так, дружок!

— Сейчас, маменька. Вот вы, Николай Михайлович, сами говорили нынче о государе...

Карамзин вздохнул.

— Душой я давно и навеки расстался с ним с того времени, как увидел, что единственно кому он доверяет, является искательный царедворец Аракчеев. Когда я привез государю восемь томов моей «Истории государства Российского», я никак не мог добиться высочайшей аудиенции, покуда не испросил на нее согласия Аракчеева. Граф даже изволил любезно пошутить при этом: «Если бы я был молод, я поучился бы у Вас! А ныне — поздно!» Аракчеев низверг не только Сперанского и Мордвинова. Он приобрел в глазах государя право полновластного...

— Вот вам и пример, — перебил Никита. — Вот и выходит, что судьбы миллионов людей зависят от человека, своевольно желающего повернуть колесо истории назад. И по... по... мните, — заикаясь все сильнее, продолжал Никита, — как это у Горация?.. «Какую бы глупость ни учинили цари, за все расплачиваются народы». Вот прелести самодержавной власти, столь вами восхваляемой.

Никита сел рядом с матерью и, наклонившись, поцеловал ее руку.

— Однако не станешь же ты отрицать, что самодержавие подняло Россию, угнетенную татарским игмом? — спросил Карамзин.

— Чтобы поставить на колени перед собою, — быстро добавил Никита. — А ныне оно всю тяжестью давит на тех, у кого от двухвекового стояния в сей позе суставы заныли нестерпимо. Дальше так продолжаться не может. Иначе не постигнут ли внуков наших бедствия еще ужаснее тех, которые претерпевали наши деды?

Карамзин торопливо вынул золотую табакерку, украшенную эмалевыми пастушками и чувствительной надписью, — подарок императрицы Елизаветы Алексеевны, — и дрожащими пальцами захватил щепотку нюхательного табаку.

Екатерина Федоровна решила положить конец спору, волнующему и сына и старого друга.

— Прошу ко мне на чашку чаю.

Трубецкой и Анненков поклонились.

Карамзин, отряхнув пылинки табака, галантно подал ей руку.

— В бытность мою в тысяча семьсот восемьдесят девятом году во Франции, — выходя, обратился он к Екатерине Федоровне, — когда грозные тучи революции носились уже над башнями Парижа...

Дальше не было слышно.

— Вы меня подождите, я на несколько минут останусь с Никитой Михайловичем, — сказал Трубецкой Анненкову.

Когда он вышел, Трубецкой вынул из внутреннего кармана мундира синий конверт, запечатанный сургучной печатью. Печать изображала улей с надписью: «*Nous travaillons pour la meme cause*» *note 27*.

— Это теперь наш общий девиз, — сказал Трубецкой, заметив, что Никита внимательно рассматривает печать.

— Значит, южные пылки республиканцы нашли общий с нами девиз, — улыбнулся Муравьев и вскрыл пакет. — Нет, это бог весть что такое! — воскликнул он после минутного чтения. — Вы посмотрите, что он пишет. Ведь они всю царскую фамилию хотят истребить. Пестель, хотя и иносказательно, но все же изъясняется: «*Les demi mesures ne valent rien; ici nous voulons faire maison nette*» *note 28*. Истинно высокие дела требуют чистоты рук. А это, — он помахал листом пестелева письма и еще возмущеннее повторил: — Это бог весть что такое.

— Однако, — мягко заговорил Трубецкой, — только что в споре с Николай Михайловичем вы сами настаивали на необходимости противопоставить злой воле самодержца активное противодействие...

— Ну, князь, — перебил Муравьев, — мы, коли помните, и на нашем прошлогоднем совещании не могли согласовать наши мнения с южанами, хотя Павел Иванович позволил себе стукнуть кулаком по столу и властно объявить: «Так будет же республика!» А ныне, скажу напрямик, горестные для меня, как для патриота, размышления возбудили во мне непреложную мысль: мне с Пестелем не по пути.

При этих словах он подошел к горящей на столе свече и зажег письмо.

Когда огонь дошел до его пальцев, он бросил в пепельницу обуглившуюся бумагу и придавил ее тяжелым пресс-папье.

— Я это особенно ясно понимаю теперь, после того как тщательно изучил проект

Note27

Мы работаем для одной и той же цели (франц.).

Note28

Полумеры ничего не дадут. Здесь нам нужно смести все начисто. (франц.)

вашей «Конституции», — со вздохом проговорил Трубецкой. — Он слишком разнится от пестелевой «Русской правды». Не удивляйтесь некоторым моим замечаниям, которые найдете в возвращаемой вам рукописи. И считаю, что уступки, сделанные мною Пестелю, всего лишь драпировка, за которой мы с вами можем строить наши батальоны.

Не желая продолжать этот разговор, Муравьев пригласил:

— А теперь пойдете к маменьке. Вы знаете, что я с женой снова уезжаю завтра в Орловскую, к ее родне. Там, у Чернышевых, Alexandrine всегда хорошо себя чувствует.

За чаем, Карамзин рассказывал о своем трогательном прощании с императрицей Елизаветой, которая на днях выезжает в Таганрог, и о слухах об отъезде туда же государя.

Говорили о том, что спешно проводится новый тракт ввиду того, что Александр намерен ехать стороной от больших городов.

— Я убежден, — говорил Карамзин, — что в уединении таганрогской жизни государыня восстановит свое здоровье и исцелит свою душевную рану возобновлением нежной дружбы с любимым супругом.

Никита был молчалив, и гостей занимала его молодая жена. Очень миловидная, но слишком хрупкая и бледная, порывистая в движениях и словах, она оставляла впечатление какого-то болезненного беспокойства.

Екатерина Федоровна несколько раз заботливо опраивала на ее худеньких плечах соболью пелерину.

— Поедемте ко мне, князь, — попросил Анненков, как только они с Трубецким вышли от Муравьевых. И поспешно прибавил: — И Давыдовых повидаете.

Этим «и» он выдал себя.

«Не терпится ему показать свою красавицу, как дитяти новую игрушку», — подумал Трубецкой.

— Пожалуй, поедем.

Вороной рысак Анненкова понес их вдоль Мойки, казавшейся черной в осенней ночи.

В одной из женщин, встретивших их шумными восклицаниями и смехом, Трубецкой узнал Аглаю Давыдову. Другую, высокую, стройную, с лукавыми черными глазами и черными, по последней моде причесанными волосами, видел в первый раз.

— Моя... Pauline, — представил Анненков.

Что-то очень милое было в голосе француженки, когда она сказала:

— Друзья Ивана Александровича — мои друзья.

Трубецкой ответил ей любезностью и стал спрашивать Аглаю о Каменке и всех многочисленных ее обитателях. Аглая отмахивалась:

— Ужасное место. Веселиться не умеют. Барышни до одурения зачитываются романами и декламируют стихи этого... — она покраснела, но все же закончила: — этого несносного Пушкина. А мужчины целые вечера — старые за зелеными столами, а молодые читают умные книжки и ведут ужасно таинственные разговоры. Впрочем, — оборвала она себя, — приедет муж, и он вам все, все расскажет. А теперь я помогу Pauline.,,

Она выпорхнула в соседнюю комнату, и сейчас же оттуда донесся хохот и веселое канареечное щебетанье на французском языке.

Скоро приехал Александр Львович Давыдов с целой корзиной изысканных

закусок и исполинским ананасом.

На кухне денщик Анненкова рубил лед и клал его в серебряное ведерко для шампанского.

Александр Львович, засучив до пухлых, как у женщины, локтей рукава мундира и завесив салфеткой все ордена, украшающие его грудь, собственноручно приготавливал необыкновенный салат, чему его когда-то научил пленный наполеоновский генерал.

На вопросы Трубецкого он отвечал:

— Сейчас, князюшка, дай только с этим омаром справиться.

Или:

— Погодите моментик, а то желток свернется — и весь соус погиб...

Анненков и Давыдов хохотали, заставляя смеяться и Трубецкого.

Далеко за полночь князь Трубецкой медленно ехал по Невскому на сонном извозчике.

Навстречу промчалась запряженная тройкой коляска.

В высокой фигуре сидящего в ней военного с тускло белеющим во тьме плюмажем треуголки Трубецкой узнал царя.

Тройка пронеслась по пустынному Невскому и круто остановилась у ворот Александро-Невской лавры.

Царя встретил заранее предупрежденный о его приезде митрополит Серафим.

Монахи, как черные солдаты, стояли в две шеренги от ворот до церкви.

Ее двери были открыты настежь, и огни свечей в черноте ночи казались особенно яркими.

Пройдя в церковь, Александр опустился на колени перед ракой Александра Невского и во все время молебна, всхлипывая, отбивал поклоны.

После молебна Серафим пригласил царя в свои покои.

Александр зашел, но разговаривал стоя.

— Я уж и так полчаса по маршруту промешкал, — объяснил он свою торопливость.

— А у нас, государь, схимник в лавре живет. Благочестивый старец Алексей. Повидать не угодно ли?

Александр, поколебавшись, согласился.

Позвали старца.

— Коли посетил митрополита, то и меня не обессудь. Келейка моя рядышком, тебе ее все едино не миновать, — строго проговорил желтый, как покойник, старец.

— Как не миновать? — вздрогнул Александр.

— Да ведь к воротам-то пойдешь, а келейка моя рядышком. Зайди, не побрезгуй...

Александр опять колебался.

— Аль неохота? — испытующе спросил старец.

Втянув голову в плечи, как будто входил в студеную воду, Александр двинулся за схимником.

— Входи, не бойсь, — распахнул старик низенькую дверь.

Александр инстинктивно отпрянул назад.

Черный пол, черный потолок, черные безоконные стены. Черное деревянное распятие с тусклой лампадой. Холод могилы. И тишина склепа.

— Входи, — властно произнес схимник.

Александр шагнул через порог.

Старик пал на колени и потянул Александра за полу сюртука:

— Молись, царь.

Александр простерся на полу и вдруг услышал слова отходной молитвы себе, еще живому и будто уже мертвому от леденящего ужаса, сковавшего все его существо.

Старческий голос вывел его из забытья.

— Взгляни сюда, государь, — манил его схимник, приподняв край черного полога.

Александр, шатаясь, приблизился.

На черном столе в углу стоял черный гроб, в котором лежали какие-то одежды и пучок восковых свечей.

— Се ложе для сна моего — временного и вечного. И не моего, а всех нас. И твоего, царь. В нем воспримешь покой от трудов земных. А покуда ходишь в живых, долг твой — бдиль над церковью и народом православным. Тако хочет господь бог наш. Тако хочет он... Ступай.

Бледный, с красными от слез глазами Александр прошел к воротам лавры.

Вслед ему монахи пели что-то мучительно-заунывное, а Серафим читал напутственные молитвы.

— Скорей, Илья, — проговорил царь разбитым голосом и тяжело опустился на мягкое сиденье коляски.

Лошади помчались...

У заставы Александр с тоской обернулся назад. В предрассветных сумерках начинали вырисовываться огромные мрачные контуры Петербурга.

В начале Белорусского тракта к царской коляске присоединились еще три. В одной ехали лейб-медик Виллье, начальник главного штаба генерал Дибич и князь Петр Волконский. Остальные занимали свитские офицеры, камердинеры и лакеи.

Царь никого не позвал к себе. Он как будто сбросил со своего духовного облика все причудливо разукрашенные одежды и никому не хотел показывать обнажившееся под ними убожество.

27. Русские завтраки

В доме «Американской компании» у Синего моста, в небольшой квартире, занимаемой отставным поручиком Кондратием Федоровичем Рылеевым, стоял обычный гул голосов, который всегда сопровождал его «русские завтраки». Русские они были не потому, что, кроме ржаного хлеба, квашеной капусты и чаю почти ничего на стол не подавалось, а потому, что в этих завтраках, как в фокусе, отражалось «клокотание умов» пробудившейся к жизни русской общественности.

Здесь спорили так, как умеют спорить только русские: подолгу, горячо, с упоением.

Пламенная любовь к отечеству, счастье России, неотъемлемые права человека и гражданина, свобода, вольность, борьба с самовластием, значение литературы и назначение русского писателя — были излюбленными темами этих споров.

Вокруг Рылеева, вдохновенного поэта, вождя Северного тайного общества, объединились все, кто страстно желал видеть Россию свободной и счастливой, вся передовая талантливая литературная молодежь от Пушкина до Кюхельбекера.

Грибоедов перед отъездом в Персию привел к Рылееву своего молодого друга, князя Александра Ивановича Одоевского.

В тесном кабинете Рылеева или за его обеденным столом Одоевский с большей охотой, чем в богатой гостиной своего отца, читал свои элегические импровизации, искренние и восторженные, как и он сам.

Глядя в его сияющие глаза, слушая его молодой, вибрирующий голос, Рылеев часто вспоминал слова Грибоедова об Одоевском: «Каков я был до отъезда в Персию — таков Саша Одоевский плюс множество прекрасных качеств, которых я никогда не имел».

Постоянными рылеевскими гостями были братья Александр, Михаил и Николай Бестужевы — все члены Тайного общества!

Старший из них — Николай, капитан-лейтенант 8-го экипажа, участник многих дальних плаваний, историограф русского флота, начальник Морского музея, талантливый художник и механик, всесторонне образованный, страстно ненавидящий крепостное право, установил такие отношения с матросами своего экипажа, что имел полное основание говорить: «Мои матросы за мной всюду пойдут».

В часы долгих споров и дружеских бесед у Рылеева он рисовал карикатуры, набрасывал портреты присутствующих, вызывающие общее одобрение.

Второй брат, Александр, штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, в детстве любил воображать себя Карлом Моором и затевал с товарищами игры, в которых надо было выдерживать воображаемые бури на палубе тонущего корабля и отражать атаки пиратов.

Впоследствии ребяческие его мечты нашли осуществление в политическом заговоре и литературной работе. Герои его романов, которые он выпускал в свет под псевдонимом «Марлинский», обладали такими же мятежными, романтическими страстями, как и сам автор.

Александр Бестужев-Марлинский был одним из самых близких друзей и сподвижников Рылеева по Тайному северному обществу и по изданию «Полярной звезды».

На собраниях у Рылеева он обычно не любил читать свои произведения.

Это делал охотно — и часто против воли автора — младший из братьев, Михаил.

Михаил Бестужев блестяще начал карьеру во флоте, но из чувства солидарности к обиженному по службе своему товарищу Торсону, перешел в лейб-гвардии Московский полк, где сделался одним из тех офицеров, о которых солдаты говорили: «Хоть и барин, а душа человечья».

Михаил писал кудреватые и манерные стихи «в подражание лорду Байрону» и весело смеялся и над собственным творчеством и над своими критиками. Самым строгим из них был старший брат Николай.

— Побольше простоты, Миша, больше смысла, — требовал он. — Помни, что ни один серьезный человек не одевается московским франтом. Побрякушки и разноцветные банты его галстухов никак не заменят отсутствие ума...

Бестужевы часто привозили к Рылееву своего товарища, лейтенанта Михаила Кюхельбекера, похожего в одно и то же время и на свою красавицу мать и на своего некрасивого брата Вильгельма, поэта и литератора, лицейского товарища Пушкина, приятеля Одоевского и почитателя Рылеева.

Вильгельм Кюхельбекер, или, как его звали по-лицейски, Кюхля, чаще других появлялся у Рылеева, смешил его жену своей рассеянностью, своей долговязой фигурой и заплетающейся неуверенной походкой. А дочь Рылеева, шестилетняя Настенька, находила его самым интересным из всех посетителей. Ей он делал из

одного и того же кусочка бумаги лодку, петуха, коробочку и даже лягушонка.

Вернувшись домой, Рылеев слышал еще в прихожей среди других голосов заразительный смех Пуцины и так обрадовался что, забыв поздороваться с другими, бросился к нему на шею. Рылеев горячо любил Пуцину, любил потому, что не любить его было невозможно.

Пуцину любили в родной семье. Любили сверстники детских лет, в их числе и дворовые ребята. Любили товарищи по лицу. Любили в гвардейском полку, а когда он оставил блестящую военную карьеру, чтобы занять «с целью уничтожения лихоимства и улучшения нравственности» скромный пост надворного судьи, полюбили и товарищи по службе, и подчиненные, и загнанные, запуганные «сидельцы на скамье подсудимых». Но больше и нежнее всех любил его Пушкин.

Всякий раз, когда Пуцин приезжал в Петербург, в квартире Рылеева становилось как будто веселей и уютнее.

— Давно ли из Москвы? Здоров ли? Долго ли ждал меня? — засыпал его вопросами Рылеев.

— «Чуть свет уж на ногах — и я у ваших ног». Не правда ли, Наталья Михайловна? — спросил Пуцин жену Рылеева.

— Ах, как чудесно пишет Грибоедов, — откликнулась она и, сконфузившись от устремленных на нее взглядов, скрылась в свою комнату.

Рылеев за нею:

— Что же не хочешь посидеть с нами? Ведь я тебя с утра не видел, а там Пуцин, и я не могу не быть с ним.

— Иди, иди к нему, — она быстро поцеловала его и отвернулась.

— Ты словно недовольна?

Наталья Михайловна положила руки к нему на плечи; из ее глаз так и брызнуло горячей нежностью.

— Кабы не ты, за Пуцину пошла бы. Ты люб мне так, что выразить не умею. Но ты... ты не весь мой... Я это всем сердцем чувю.

Рылеев ближе заглянул в большие темные глаза и улыбнулся непонятно: полугордо, полувиновато.

— Друг ты мой нежный, — проговорил он ласково и ушел в кабинет,

— Рылеюшка, прочти, что ко мне написал, — попросил Александр Бестужев, как только он показался в дверях. — Да утихомирьтесь вы! — окрикнул он расшумевшихся гостей

Стало немного тише.

Рылеев, положив руку на спинку стула, на котором сидел Бестужев, начал:

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу,
Мой друг, не даром в юноше горит
Любовь к общественному благу.

Пуцин протянул рюмку.

— Чокнемся, милый. Ты — поэт. Истинный поэт. И ты не сердись на моего Пушкина. Он тебя хоть и бранит, но любя.

При упоминании о Пушкине все вдруг обратились к Пуцину:

— Голубчик Иван Иванович, расскажите же нам о нем. Да подробней!

Всем было известно, что Пущин недавно был в Михайловском.

— Да что же, — задумчиво улыбаясь, начал он, — Александр Сергеевич стал как будто серьезнее.

— Нет, нет, — перебило его несколько голосов, — с самого начала. Как встретились?

Пущин снова улыбнулся как-то особенно задушевно.

— Как встретились? — повторил он. — Приехал я к нему рано утром. Он как был в кровати, так и выскочил на крыльцо — босиком, в одной рубахе. Смотрим друг на друга. Целуемся... Вот тут, — Пущин провел рукой по горлу, — у меня сдавило. У него тоже слезы на глазах. Схватил я его в охапку и почти внес в комнату. Комната поменьше этой. Знаете, как у него: повсюду книги, листы исписанной бумаги и огрызки перьев.

— Это у него с лица привычка — огрызками писать, — вспомнил Вильгельм Кюхельбекер, и его голубые навывкате глаза подернулись нежностью.

— Погоди, не перебивай, — попросил Николай Бестужев.

— А потом началась кутерьма, — продолжал Пущин. — Вопросы без ответов. Восклицания, смех. Прибежала нянька — старуха Арина Родионовна, засуетилась с умываньем, угощением. Наконец, успокоились. Заставил он меня без конца рассказывать. И сам говорил. Вспомнил утверждение своего кишиневского друга, Владимира Раевского, о том, что Россия, восшедшая на высокую степень гигантской славы, требует скорейшего преобразования, ибо могущество отечества нашего, при зыбком основании на рабстве многих миллионов его граждан, может так же скоро обратиться в ничтожество, как и в степень возвышения. Пушкин, как заправский политэконом, веско доказывал, что свобода политическая необходима и для развития коммерческих действий русского государства и что просвещение, вторгнувшееся в умы, заставит многих устремить внимание на общее благоденствие отчизны. Не помню, в какой связи коснулись мы слухов о нашем Обществе. И я, каюсь, прямо сказал ему, что поступил в это новое служение отечеству.

— Что же он? — спросил князь Оболенский.

— Взволновался, но выпытывать не стал. «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого все еще держат в Тираспольской крепости, — говорил он с грустью. — Я в Кишиневе успел тогда предупредить его о грозящем ему аресте, об этом из случайно услышанного разговора Инзова с генералом Сабанеевым». А потом вздохнул: «Может быть, говорит, вы и правы, что мне не доверяете. Верно, я такого доверия не стою — по многим моим глупостям».

Голос Пущина дрогнул.

— Потом читал он твои, Рылеев, «Думы».

Рылеев покраснел.

— Бранил их, мне уже сказывали.

— Да нет, милый, — ласково сказал Пущин. — Если ты насчет «Дум» и «dumt» *note 29* — так ведь он это для красного словца.

— Он и мне говорил, чтоб ты побольше писал, — вмешался Александр Бестужев. — Но его мнение таково, что коли ты хочешь «гражданствовать», то пиши прозой.

Note29

Игра слов: «dumt» по-немецки — глупый.

— Будто сам он не гражданствовал в стихах, — сказал Николай Бестужев, продолжая зарисовывать на клочке бумаги длинный профиль Кюхельбекера.

Рылеев строго поглядел на него:

— Не трогать нашего чародея! Он прав. Какой я поэт...

— Молчи, Рылеев, — перебил Александр Бестужев. — Твой «Войнаровский» по соображению и ходу стоит наравне с поэмами Пушкина. Обаяние Пушкина в его стихах, которые катятся жемчугом по бархату. Зато у тебя сила чувствований, жар душевный!

— Нет, в самом деле, — продолжал Бестужев. — Стоит перевести на иностранный язык любую поэму Александра Сергеевича, как прелесть его чудесного слога слабеет. Мощь же твоих мыслей, хотя и не столь изящно подчас выраженных, остается нерушимой...

И заспорили о назначении поэзии и о гражданском долге поэта...

— Пушкин очень интересовался, как обстоит дело с «Полярной звездой», — сообщил Пущин.

— Своенравие иных цензоров нестерпимо! — с жаром отозвался Рылеев. — А все Аракчеев! Его злобная, подозрительная политика, подобно лазутчику, вкрадывается во все отрасли жизни. Нет места, куда бы ни проник его подсмотр. Нет происшествия, которое не отозвалось бы в аракчеевском «дионисиевом» ухе...

— А вы слышали, за что закрыт «Дух журналов»? — спросил Оболенский. ~ Оказывается, за статью «Надежды англичан по случаю нового русского тарифа».

— Ну да, зачем свободу торговли превозносили? — с шуточной серьезностью сказал Александр Бестужев. — Опасаюсь, что и к тем пьесам, которые Пушкин прислал через тебя, цензура тоже прицепится.

— А каково ему самому приходится от наблюдателей, — рассказывал Пущин. — Я вам говорил, что привез ему в подарок рукопись «Горе от ума». После обеда стал он читать ее вслух. Да как читал! Как восторгался! Вдруг вкатывается рыжий монах и рекомендуется настоятелем соседнего монастыря. Извиняется, что помешал, юлит. А сам вынюхивает: нет ли, дескать, чего недозволенного?.. Пушкин немедля приказал подать чаю и рому, до которого монах оказался большим охотником. И так усиленно потчевал его Александр Сергеич, что монах вскорости совсем осоловел и едва дотянул ноги до своих саней... Как только мы остались вдвоем, Пушкин снова принялся за чтение грибоедовской комедии...

— А вообще скучает он в деревне? — с лаской в голосе осведомился Одоевский.

— Признался, что вначале очень тоскливо было. А нынче он много пишет. Сказывал он мне, что собирается писать историю нынешнего царствования языком обличителя. Начал было читать мне свою трагедию о Борисе Годунове, потом раздумал. Зато какие нас ждут новые главы «Онегина»!

— А кто у него бывает? И сам ездит куда? — раздавались вопросы.

— Кроме рыжего монаха, никого при мне не было... Стихи свои он няне, Арине Родионовне, читать любит. Да говорил мне еще Александр Сергеич, что бывает часто у своих соседок в Тригорском. Очень расхваливал их... Заметил я еще среди девушек-кружевниц одну премиленькую... Олей звать...

28. «Кочующий деспот»

Любимым удовольствием Александра I во время жизни в Таганроге были поездки

далеко за город в открытом экипаже вдвоем с Елизаветой. Сопровождающая их свита держалась во время этих прогулок в стороне.

Обычно серое Азовское море в ясные дни октября сливалось с прозрачной голубизной высокого неба. С необозримых окрестных степей веяло пряным запахом скошенных нив.

— Ах, какие очаровательные просторы! — восхищалась Елизавета Алексеевна. — Как жаль, что здесь нет садов! Они были бы, наверное, необычайно хороши под этим южным голубым небом.

Александр задержал взгляд на посвежевшем лице жены и слегка прижал к себе ее худенький локоть.

— Я сегодня же прикажу вызвать из Ропши садовника Грея и сам начертаю план сада, — мягко сказал он.

Елизавета покраснела, и ее поблекшие глаза на момент блеснули.

Александр увлекся своей ролью нежного, кающегося мужа и играл ее как талантливый актер.

Елизавета в течение долгих лет страстно ждала именно таких между ними отношений и не хотела замечать их искусственной теплоты. Она старалась быть сдержанной, боясь спугнуть призрак супружеского счастья, реющий в таганрогском дворце. Но все же ее нетерпеливая страстность иногда прорывалась и грозила нарушить идиллию спокойного житья.

В одиноких утренних прогулках Александр стал обдумывать выход из создавшегося положения.

Излюбленным средством, издавна применявшимся им в коллизиях семейной жизни, была разлука.

И Александр решил снова совершить хотя бы кратковременное путешествие. Надо было только придумать какую-либо уважительную причину, чтобы не расстроить начинающую поправляться жену. Для этого необходим был Аракчеев. Тот с полуслова поймет его желание и устроит все так, как ни Дибич, ни «старая баба» — Петр Волконский — придумать не сумеют.

Кличку «старая баба» царь дал Волконскому с тех пор, как тот, встретив однажды в дверях спальни императора молоденькую фрейлину, громко ахнул и бросился назад с такой стремительностью, что переполошил дремавшего камердинера и спавших лакеев.

Не успел Александр отправить Аракчееву приглашение приехать, как из Грузина было получено отчаянное письмо.

«Батюшка, ваше величество, — писал Аракчеев, — случившееся со мной несчастье, потеряннем верного друга моего, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка. Друга моего Настасью Федоровну зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову приклонить».

Царь уронил письмо на колени и долго сидел неподвижно, уставив глаза в одну точку. Дибич осторожно кашлянул.

— Ты знаешь? — не оборачиваясь к нему, спросил Александр.

— Так точно. Курьер рассказал подробности ужасного события. Говорит, что граф в полном расстройстве, от всех дел отошел. Ни одного человека к себе не допускает и все конверты, на его имя получаемые, в том числе равномерно и от вашего

величества, повелел распечатывать генералу дилеру, а к нему ничего не пересылать.

— Непозволительное поведение, — нахмурился Александр. — И это делает верный слуга в такое, по его же словам, «бурное и опасное время». Ведь я ему передал все сведения и бумаги, добытые Шервудом о Тайном обществе. И так надеялся, что он возьмет нужные меры!

Заложив руки за спину, он несколько раз прошелся по небольшой комнате. Потом остановился против Дибича и долго смотрел в его полнокровное лицо с торчащими над лбом прядями жестких волос.

— Что ты сейчас думаешь? — вдруг спросил царь шепотом.

Дибич смутился:

— Трудно ответить, ваше величество. Мысли столь гибки и быстротечны...

Александр круто повернулся на каблуках и снова зашагал.

— Ах, кабы можно было, — заговорил он, — хоть на один кратчайший миг вскрыть человеческий череп и одним глазком поглядеть, как в нем ворочаются мысли. А то вечная загадка мучит душу, мутит разум. Я никому и ничему не верю ныне. Всюду фальшь. Всюду измена. Вот вчера за завтраком в простокваше попался какой-то твердый кусочек. Быть может, то был яд.

— Помилуйте, ваше величество. Кусочек глины, отпавшей при нагревании сосуда, Виллье отменно исследовал.

— Виллье, — сердито прервал царь. — А ты думаешь, Виллье... Впрочем, кухмистер изрядно наказан за свой проступок. Оставим это... — И, помолчав, продолжал: — А все же Аракчеева следует ободрить. Самовольное отрешение его от дел извиняется болезненным состоянием, вызванным пережитым горем. А знаешь, Дибич, я убежден, что Минкину убили по злобе на графа, а не на нее самое. И нет ли здесь наущения тех...

— Кого, ваше величество? — тихо спросил Дибич.

— Будто не знаешь. Тех, наших будущих Робеспьеров, Маратов и Дантонов. Ведь мои друзья — их враги. И, поражая Аракчеева, они наносят удар мне.

Дибич шумно вздохнул.

— Вот что, — снова остановился перед ним царь. — Ты объяви новгородскому губернатору мою волю, чтобы в грузинском преступлении он всеми мерами старался дойти — не было ли каких тайных направлений, или подущений... А к графу я сам напишу.

В тот же вечер Александр за полночь писал длинное письмо Аракчееву с уверениями в своей искренней любви и выражением «выше всякого изречения» сочувствия в постигшем его несчастье. Царь настойчиво звал Аракчеева к себе в Таганрог, чтобы «беседы с другом, разделяющим его скорбь, могли смягчить остроту оной». «Но заклинаю тебя всем, — заканчивал Александр письмо, — вспомни отечество, сколь служба твоя ему полезна и необходима. А с отечеством и я неразлучен. Ты мне необходим. Дай себе все нужное время на успокоение душевных и телесных сил. Вспомни, сколь много тобой произведено и сколь все оно требует довершения».

И когда запечатал конверт, взял другой лист, и снова быстрые строчки косыми зигзагами ложились на атласную бумагу.

«Отец архимандрит Фотий! Граф Алексей Андреевич находится в крайнем упадке духа, близком отчаянию. Вы, с помощью всевышнего, много можете подействовать на душевные его силы. Подкрепя их, вы окажете важную услугу государству и мне, ибо

служение графа Аракчеева драгоценно для отечества».

Подписался. Положил перо, потом снова взял и прибавил внизу:

«Письмо сие хранить в тайне».

И понеслись экстренные курьеры с одного конца России на другой. Из Таганрога в Грузино, из Грузина в Таганрог. Скакали день и ночь, не щадя ни лошадей, ни собственных сил. Мчались по размокшим осенним трактам, сворачивали для сокращения пути на вязкие проселочные дороги, пробирались сквозь леса, прислушиваясь к голодным завываньям волков, радовались далекому лаю псов и истово крестились, завидев в непроглядной тьме желтые огоньки мужичьих изб. Передохнув за миской щей, снова бросались в черные дали, проклиная свою жизнь и тех, по чьей воле они сломя голову мечутся по бескрайним российским равнинам.

Александр несколько раз повторял в письмах Аракчееву свое настойчивое желание видеть его у себя. А тот упорно отказывался лично «облобызывать колени своего высокого друга», ссылаясь на «лихорадку и биение сердца».

«И почему он не едет сюда?» — думали приближенные царя об Аракчееве и никак не могли найти ответа.

Этот вопрос решен был очень просто на кухне.

Курьер из Грузина проговорился о том, что «убивцы, комнатная девушка Настасья Пашутка и ейный брат поваренок Васька, а с ними еще пять душ, пошли под суд, и, сказывают, положено их до смерти забить».

— Ну, знамо дело, — говорили в кухне, — граф и сидит там, ровно вурдалак на погосте. Кровушка свежей дожидается испить.

Одному из петербургских курьеров князь Петр Волконский вручил письмо к своей жене, в котором, говоря об Аракчееве, особенно сердито закручивал хвостики корявых букв:

«Со временем государь узнает все неистовства злодея, коих честному человеку переносить нельзя, открыть же их нет возможности по непонятному ослеплению к нему государя. Между тем его величество растерял и еще более растеряет многих достойных своих приверженцев, а беспорядок в ходе государственных дел от сего только усилится. Аракчеев ныне сам раскрыл свой характер тем, что, когда постыдная история в Грузине приключилась, то, забыв совесть и долг отечеству, бросил все и удалился в нору к своим тварям. После сего гнусного поступка нетрудно угадать, какие низкие чувства у сего выродка ехидны.

Змей пресмыкающийся, которому императором столь много благодеяния оказано, пренебрегает опасностью, в которой, как тебе известно, в связи с разоблачениями о Тайном обществе, находится спокойствие государства, для дохлой, рябой, необразованной, дурного поведения бабы. Пусть вдумаются в сие те, кому надлежит».

И «вдумывались» в это и в Петербурге и в Москве. Вдумался, наконец, и сам Александр.

Сразу перестал не только писать, но даже и говорить об Аракчееве. И если Дибич, Волконский или кто-нибудь другой упоминал его имя, Александр чуть приподымал брови и отмалчивался. Но все же «грузинское несчастье» использовал.

— Лизанька, — сказал он однажды жене, — я очень потрясен несчастьем моего друга и хочу, по совету Виллье, рассеять нервы кратковременным путешествием. Новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов, коего ты недавно у меня видела, считает крымский воздух весьма полезительным. Он полагает, что я еще до дождей и холодов успею вернуться в Таганрог.

Елизавета побледнела.

Но Александр продолжал с кокетливостью:

— Я бы призвал кого-либо из Петербурга разделить в мое отсутствие ваш досуг, кабы не знал, что, кроме меня, вы ни в ком не нуждаетесь.

Лицо Елизаветы просветлело:

— Я счастлива видеть вас убежденным, что вы составляете для меня все.

Князь Петр Волконский, сидевший с Дибичем в другом конце зала, украдкой поглядывал в сторону «царственной четы».

— Не налюбуюсь на наших «молодоженов», — сказал он.

— Бойтесь, как бы не сглазить, — улыбнулся Дибич.

Александр находился в самом веселом расположении духа, когда ему доложили о приезде из южных поселений графа Витта.

Царь сделал недовольную гримасу.

— Мне не хотелось бы заниматься серьезными делами накануне отъезда, — сказал он Волконскому.

— Как вам угодно, ваше величество. А только граф просил передать, что дело важности чрезвычайной.

— Ах, как меня утомили все эти чрезвычайной важности дела — вырвалось у Александра. — Двадцать пять лет я прослужил России. И солдату в этот срок дают отставку. Знаешь, князь я помышляю переселиться в Крым, зажить там частным человеком. А тебя, — уже шутливо продолжал он, — сделаю своим библиотекарем... Ну, зови Витта.

И снова в течение часа слушал Александр обширный доклад все о том же Тайном обществе и о лицах, стоящих во главе его. Всё новые фамилии, а некоторые из прежних упорно повторяются по нескольку раз.

— У заговорщиков уже даже приготовлены законы под именем «Русской правды», — докладывал Витт. — Капитан Майборода в своем доносительном письме сообщает, что законы эти, написанные полковником Пестелем, спрятаны в двух зеленых портфелях, которые хранятся в определенном месте и, коль скоро приказ об аресте Пестеля последует, могут быть оттуда извлечены.

Александр слушал Витта, как слушают рассказ о тяжелом, но чужом несчастье, и с болезненной морщинкой в углах рта ждал, когда тот кончит.

Когда граф умолк, Александр вяло пожал его руку, попросил пока продолжать свои расследования и подробно доносить ему об их ходе.

Витт уехал разочарованный. Он ожидал горячих выражений благодарности, повышения по службе и даже приказа о немедленной ликвидации Тайного общества. А вместо всего этого видел в лице царя рассеянность и нетерпение, с трудом скрываемые под обычной любезностью.

После отъезда Витта Александр долго перелистывал привезенные им бумаги и другие документы, хранившиеся в письменном столе.

В кабинете стало совсем темно. Вошел камердинер Анисимов с зажженными свечами.

— Должно, гроза будет, ваше величество. Небо вовсе почернело.

Александр продолжал разбираться в бумагах. Складывал их в ящики с таким удовольствием, как в отрочестве складывал свои ученические работы перед рождественскими и пасхальными вакациями, которые Лагарп, по примеру университета, ввел в свои занятия с Александром.

Снова вошел Анисимов и взял со стола свечи.

— Зачем? — удивленно спросил Александр.

— Извольте видеть, ваше величество, небо прояснилось. А сидеть при свечах днем на Руси почитается худой приметой.

— К чему же она? — спросил Александр дрогнувшим голосом.

— К покойнику, ваше величество.

Думал ли Александр, что меньше чем через месяц он, схватив в Крыму жестокую лихорадку, будет лежать в этой самой комнате, на смертном одре и коснеющим языком просить старика священника исповедовать его «не как императора, а как простого мирянина».

29. Смятение

— Serge, ты спишь? — услышал Трубецкой за дверью кабинета голос жены. И радостно улыбнулся.

Вчера долго ждал ее возвращения с бала, сам не поехал — чувствовал нездоровье, да так и уснул у себя в кабинете.

— Сейчас, мой друг.

Торопливо отдернул шторы и запахнул халат. Княгиня Катерина Ивановна, маленькая, плотная и уютная, вошла быстрыми, мелкими шагами.

— Вообрази, Serge, из дворца прислали с известием о кончине государя.

Трубецкой побледнел. Вскочил, потом снова сел рядом с женой, взял ее пухлые ручки и сжал так, что она поморщилась.

— Это ужасно, Каташа, — проговорил он.

Катерина Ивановна смотрела на него с удивлением. Знала, что последний год он был раздраженно-недоволен императором, и эта бледность лица и горестное восклицание были ей непонятны.

Трубецкой заторопился:

— Я сейчас поеду во дворец.

Неуклюже задвигался по кабинету, натягивая мундир, не попадая в рукава.

Каташа рассказывала:

— Наши дамы «королевской крови» волнуются: «Как, простая полька, — то есть теперешняя жена Константина, — будет их императрицей?!» Конечно, для всех принцесс это ужасно.

Она улыбалась, показывая разом обе ямочки на щеках и одну, особенно веселую, на круглом подбородке.

— Дай я пристегну.

Помогла пристегнуть шпагу и заботливо повязала шею теплым шарфом.

— Да, да, конечно, — рассеянно проговорил Трубецкой, думая не о жене Константина, простой польке, которая шокирует принцесс, а о том, что надо скорее все узнать во дворце и спешить к Рылееву, к Оболенскому...

Помнил решение Северного и Южного обществ «положить за начатие действия естественную или насильственную, смерть императора».

— А все же жалко государя, Сержик? — заглядывая в тревожные глаза мужа, спросила Каташа.

Он посмотрел на нее, маленькую, сверху вниз и поцеловал в тонкий как белая ниточка на черном шелке, пробор.

— Нет, не жалко... Но перемена самовластительного правителя всегда вызывает тревогу...

— Пришли на молебен, а уходим с панихиды, — сказал один из адъютантов графа Милорадовича Трубецкому, когда он поднялся по комендантской лестнице Зимнего дворца.

— Сейчас будем присягать...

— Константину? — спросил Трубецкой.

Адъютант наклонился к уху Трубецкого:

— Великий князь Николай Павлович сказывал графу Милорадовичу о воле покойного государя касательно наследия престола.

— А именно?

— Будто не знаете, князь? Константин Павлович давно отказался от престола. И, следовательно, Николай...

Адъютант отскочил от Трубецкого: через комнату торопливыми и в то же время неуверенными шагами, никого не замечая, бледный, с растрепанными рыжеватыми волосами и бачками, проходил Николай.

— К маменьке советоваться, — подмигнул ему вслед дежурный офицер.

Комната постепенно наполнялась.

Звеня серебряными шпорами, самоуверенной походкой вошел Бенкендорф, сияющий орденами и золотой бахромой эполет.

Как большой магнит, он притянул к себе пестрые мундиры, шитые золотом и украшенные орденами.

Трубецкой хотел подойти, но показался Милорадович тоже в полной парадной форме. Он уже не подражал покойному Александру в походке и манере вскидывать голову. Шел, деловито и строго глядя прямо перед собой. За ним на бархатной подушке несли золотой ковчежец.

— Завещание покойного государя, — услышал Трубецкой чей-то шепот.

Милорадович, князь Голицын, Бенкендорф, Лопухин а за ними остальные сановники вошли в залу Государственного совета.

Тяжелые дубовые кресла с высокими спинками отодвинулись и, приняв шитые мундиры, густые эполеты, седины и лысины, снова сомкнулись вокруг покрытого пунцовым сукном стола.

Князь Александр Николаевич Голицын, показывая душевную скорбь голосом и движениями, первым взял слово:

— В бозе почивший государь император Александр Павлович оставил завещание с тем, чтобы оно было прочтено тотчас же после его смерти, прежде приступления к какому-либо действию, в том числе и к присяге...

Граф Милорадович хмуро оборвал его:

— Считаю долгом напомнить членам Государственного совета, что в отношении престолонаследия государь, по существующим в России законам, не может располагать престолом по духовному завещанию. А посему завещание из уважения к покойному императору прочтено быть должно, но исполнения по оному быть не может.

И, вынув из ковчега пакет, вскрыл его таким жестом, каким вскрывал конверты из модных лавок со счетами на имя танцовщицы Телешевой: крупные счета, но не платить по ним было нельзя.

Прочел, отделяя каждое слово, аккуратно свернул и оглядел неподвижных

сановников.

— А теперь пойдёмте присягать императору Константину Павловичу, — громко проговорил адмирал Мордвинов.

Но Бенкендорф, теребя шнур аксельбанта, запротестовал:

— Следовало бы все же пригласить его высочество Николая Павловича.

Милорадович насмешливо улыбнулся:

— Его высочество уже изволил присягнуть. Во всяком случае, считаю неудобным призывать его высочество в Совет.

Загорелся спор. Одни настаивали на приглашении Николая, другие были на стороне Милорадовича и законов о престолонаследии.

В комнатах Марьи Федоровны тоже горячились и ссорились.

— Если ты сам присягнул Косте, то, разумеется, теперь все кончено и воля нашего ангела поправа, — плаксиво говорила Николаю мать.

— Попробуйте не присягните, — почесывая редкие бачки, возражал Николай. — Нынче я с караульными солдатами сам беседовал. Они и Константину не хотели присягать. Насилу Потапов уломал их. «У нас, говорят, есть царь». — «Так ведь он помер», — объясняет им Потапов. А они в ответ: «Не верим. Мы не слыхали, чтобы он и больной был». Им, видите ли, не доложили. Рассуждают, подлецы... А Милорадович тоже подлец! «Что мне, говорит, воля покойного государя! Закон о престолонаследии — превыше чьей бы то ни было воли!» Ну и пусть давятся этим законом...

Забегал и заругался, как будто был не в бомбоньерочно-нарядном будуаре матери, а на фрунтовом учении в Гатчине, у покойного своего отца.

— А все эта нелепая таинственность... Братец домашними сделками думал ограничиться...

— «Наш ангел на небесах», — снова вспомнив вслух первые строки письма Елизаветы из Таганрога, всхлипнула Марья Федоровна.

Николай злобно передернул плечами.

— Один на небесах... другой в Варшаве... а я тут изволь распутываться...

Он сердито выхватил платок и высморкался так громко, что Марья Федоровна вздрогнула.

«Unser grosser Trompeter fangt schon wieder an...» *note 30* — подумала она, как всегда возмущаясь манерой сына оглушительно сморкаться.

— Вот даже Дибич пишет, что о кончине государя он, прежде всего, сообщил Константину, — развертывая перед матерью письмо, заговорил Николай. «Яко старшему брату покойного императора и, следовательно, по существующему закону, наследующему всероссийским престолом. Ибо, кроме сего закона, мне, как прежде, так и ныне, совершенно неизвестны никакие другие, государственные на сей предмет положения». Видите, вот и выходит, что я самозванец. Ну, уж и напишу я братцу!

Он схватил лист бумаги и перо и, навалившись на стол, начал:

«Брат Константин, если ты немедля не приедешь...»

«Нет, грозить ему не годится. Он, как покойный папенька, от этого только пуще взбеленится».

Изорвал лист в мелкие кусочки и взял другой:

«Любезный Константин. Ради бога, не покидай нас и не оставляй одних. Как мы

Note30

Наш высокий трубочник опять начинает громыхать (нем.).

все несчастны...»

Опять порвал.

«Его чувствительностью не тронешь», — подумал о Константине и снова взялся за перо.

Но доложили о приходе графа Милорадовича.

«Что ему нужно? Ведь знает же, что я присягнул», — беспокоился Николай, но позвать велел.

— Государственный совет убедительнейше просит ваше императорское высочество, — заговорил Милорадович, — удостоить его своим посещением, единственно в том предмете, чтоб из собственных уст вашего высочества услышать вашу непреложную волю.

Николай ехидно осклабился:

— Ишь вы, скорые какие. Законники, а меня к беззаконию побуждаете. Я не член Государственного совета и посему присутствовать на его заседаниях права не имею. — И не мог удержаться, чтобы не прибавить ядовито: — Уж коли вы по канонам поступаете, так позвольте же и мне им следовать.

И отвернулся.

Когда Милорадович выходил, Николай прошептал сквозь стиснутые зубы:

— Законники без...

Через четверть часа Милорадович возвратился.

— Государственный совет послал меня испросить дозволения *in corpore* явиться перед лицом вашего высочества, дабы, приняв изустное приказание, немедленно исполнить оное...

Николай не слушал далее.

«Ага! — ликующе пронеслось в его мозгу. — То мне свои законы навязывали, а то за приказаниями явились».

— Я сейчас выйду в приемную залу, — постарался он ответить совсем равнодушно.

К сановникам вышел той гордой поступью, какой позже приводил в восторг дам на придворных балах. Все черты бескровного лица были каменно-неподвижны.

И слова падали однообразно холодно, как взмахи сабли на солдатском ученье.

— Я вас... — на миг запнулся: «Прошу — нельзя, приказываю — рано». И нашелся: — Я вас убеждаю для блага государства немедленно, по примеру моему и войска, принять присягу на верное подданство государю императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложения не приму и слушать не стану.

— Какой рыцарский подвиг! — прошептал князь Голицын с таким расчетом, чтоб Николай услышал.

— Ничего не вижу достойного похвалы, — продолжал Николай. — Простое исполнение долга и закона.

Голицын умоляюще сложил руки:

— Ваше величество... виноват, ваше высочество...

— Умело ошибся князь, — прошептал один сановник другому.

Голицын просил разрешения Государственному совету посетить Марью Федоровну. Согласие было дано. Выслушивая соболезнования, она старалась по лицам узнать о том, что произошло в зале. И осторожно заговорила:

— Мне совершенно известно положение, сделанное моим Александром в рассуждении Николая. И я вас уверяю, что все это сделано по доброй воле и по

непринужденному согласию моего Константина...

— Это все ни к чему, татам, — шепнул Николай, подавая ей оброненный платочек. И еще тише: — Я приказал присягать Константину.

Глаза Марьи Федоровны блеснули злобой. Она поднесла к ним платочек и поспешила докончить:

— Со всем тем я одобряю поступок этого... этого... рыцаря.

Она взяла Николая за руку, точно так, как брала в детстве, чтобы в наказание за упрямство отвести к дядьке Адлербергу. Потом выпустила эти холодные пальцы и, не отнимая платка от лица, ушла во внутренние комнаты дворца.

По уходе членов Государственного совета Николай быстро подошел к столу и написал без единой помарки:

«Любезный Константин. Предстаю перед моим государем присягою, которую уже принес ему со всеми меня окружающими Ваш брат и ваш верный подданный на жизнь и на смерть Николай».

И сейчас же, не вставая, другое письмо — к Дибичу в Таганрог:

«Гвардия, город — все присягнули, я сам привел Государственный совет к присяге. Все спокойно и тихо. Поцелуйте за меня, несчастного брата, гроб моего благодетеля».

30. Совершенное недоразумение

В тот день, когда Петербург узнал о кончине Александра, «русский завтрак» Рылеева, несмотря на то, что хозяин чувствовал недомогание, затянулся до поздней ночи.

Первым привез весть о смерти царя Пущин.

Не успел он досказать всех связанных с нею слухов, как примчались братья Бестужевы.

— Вы уже знаете?!

— Нынче в семь утра вбежал к нам Якубович. Думали — убьет. Зубами скрежещет: «Вы, говорит, вырвали его у меня. Не дали мне мезтью насладиться. Умер царь в Таганроге». Выбежал, через короткое время вновь ворвался, как оглашенный, с известием, что во дворце присягают Константину и будто есть слух, что это зря, ибо царем надлежит быть Николаю. Такова, дескать, воля покойного.

— Какая воля! — раздался голоса. — Кто ее слышал? Отчего Александр при жизни не оповестил страну? Вздор! Николай — узурпатор, самозванец.

Приехал Трубецкой:

— Ну, что? Как? Что во дворце?

Окружили. Оглушили вопросами. Затормошили.

— Да, все идет, как следует. Все присягнули Константину и Николай Павлович первым...

— Смутное время грядет! — вдруг раздался голос из прихожей.

Вбежал запыхавшийся князь Щепин-Ростовский

— Николай хочет быть царем! Требуем Константина! Во дворце никто ничего не знает. Все шушукаются. Трубецкой, Рылеев, говорите, что нам делать.

— Да, да, — поддержали его. — Приказывайте!

Трубецкой прислонился спиной к теплым изразцам печи:

— Погодите, друзья. Дайте нам поразмыслить над совершившимися событиями.

Конечно, действие, которое представлялось нам в неизвестной дали, придвинулось. Бude слухи о намерениях Николая справедливы — согласимся, что никакой другой случай не будет столь благоприятен для приведения в исполнение наших целей...

— Правильно! Справедливо! Быть наготове! — покрыли его слова бурные крики.

— Поедем к тебе или к Оболенскому: здесь не дадут поговорить, — вполголоса проговорил Рылеев.

Но уехать им не пришлось.

Без конца входили и выходили все новые и новые люди. Одни, не снимая шуб, сообщали последние новости, подхватывали те, которые слышали здесь, и вновь исчезали. Другие присаживались к столу, обжигаясь, глотали горячий чай, спрашивали, отвечали, спорили.

Подросток, казачок Петрушка, и старая девушка Дуняша к вечеру с ног сбились. И колокольчик в прихожей звякал поминутно, и шубы подавать надобно было, и самовар подогреть, и калачей подкупать.

Наталья Михайловна помогала.

Перекинув через плечо полотенце, мыла чашки, колола щипцами сахар и улыбалась ворчанью Дуняши:

— Чистое светопреставление! День-деньской бестолочь. Где они и слова все разные находят... Кажись, ни разу еще эдакого содома не бывало. Ныне такие гости нашли, что впервой вижу.

— И все хорошие люди, — сказала Наталья Михайловна.

— Да уже наш-то дурного человека к себе не допустит, — с сердитой лаской проговорила Дуняша, не чаявшая души в Рылееве. — Оттого и идут все к нему, что уж больно душевный наш Кондратий Федорович. Такого-то человека поискать да поискать.

Наталья Михайловна повесила полотенце и направилась в детскую.

Проходя мимо столовой, заглянула в узенькую щель не совсем притворенной двери. Синий туман табачного дыма мешал рассмотреть лица. Ближе к двери сидело несколько человек, которые показались незнакомыми.

Один из них вдруг обернулся к ней лицом.

— Князь Оболенский! — обрадовалась Наталья Михайловна.

Она знала, что князя Евгения Петровича муж очень любил и рассказывал ей о нем много замечательных историй. В особенности поразил ее один поступок Оболенского: юноша Кашкин, единственный сын у матери, был вызван на поединок офицером, опытным дуэлянтом. Оболенский принял вызов на себя и убил на дуэли офицера. Мать Кашкина, считая Оболенского спасителем жизни и чести своего сына, целовала ему руки. А он не мог простить себе убийства человека, который ничего плохого ему, Оболенскому, не сделал. И с тех пор дух его был всегда неспокоен: Оболенский искал для себя нравственных вериг. Его лицо с безукоризненно правильными чертами только изредка освещалось меланхолической улыбкой. По этой-то улыбке Наталья Михайловна сразу узнала его в клубах табачного дыма.

«Кондратий, наверное, рад-радешенек, что князь Евгений приехал», — подумала она, зная, что Рылеев очень ждал приезда Оболенского.

В детской был полумрак от горевшей голубой лампы. Настенька спала, крепко обняв желтую байковую собачку с тускло блестящими бусинками вместо глаз.

Поздно вечером Рылеев на минутку забежал в комнату жены. Она сидела на низенькой скамеечке перед изразцовой печкой и помешивала кочергой нагоревшие

угли.

— А Настенька спит? — спросил Рылеев.

— Давно, — коротко ответила Наталья Михайловна.

Рылеев вдруг опустился перед нею на колени.

— Ты что? — ласково провела она рукой по его темным густым волосам и, улыбаясь, заглянула в глаза.

Лицо ее, зубы и гладко зачесанные, за уши волосы — все отливало подвижным блеском раскаленных углей.

Несколько мгновений Рылеев молча смотрел на нее.

— Никак не привыкну я к твоей красоте, Наташа, — с серьезной страстностью проговорил он. — Каждый раз как будто впервой тебя вижу. А вот нынче при взгляде на тебя какая-то особенная сладостная боль охватывает.

Наталья Михайловна еще раз погладила его по голове.

— Полно, родной. Что это ты? Никак слезы на глазах?

— Нет, друг мой, нет, ангел-утешитель, — прошептал Рылеев и положил голову к ней на колени.

— Не жар ли у тебя? — встревожилась она, дотронувшись губами до его лба.

— Нет, ничего, погорячились мы там... — Рылеев чуть двинул рукой в сторону кабинета.

— Нынче новые у тебя. Кто это — глаза глубокие, высокий такой?

— О ком бы это? Что-то невдомек...

— А тот, что позже приехал, собою нехорош и на всех смотрит, как отец на расшалившихся ребятишек. Дуняша его шубу припрятала было: «Неровен час, стащит кто», говорит. А шуба, правда, целый клад, вся на черно-бурых лисах. Чудо как хороша!

Рылеев улыбнулся.

— Это Трубецкой.

— Тоже сочинитель?

— Да, ангел мой, только он... не стихи сочиняет.

Наталья Михайловна широко раскрыла глаза. Рылеев поцеловал их и, уходя, сказал:

— Ложись, милый друг. Я приду поздно.

Отвечая кому-то на один из бесчисленных вопросов, Рылеев вдруг взялся за горло, будто сдавленное сухими, шершавыми пальцами.

«Нет, видимо, Наташа права. Простудился я. Вот и озноб», — подумал он.

Хотел пройти к жене, чтобы взять ее теплый платок, но кто-то резко дернул его за полу фрака. Рылеев обернулся.

Сердитые глаза в упор смотрели на него.

— Ты что, Каховский?

— Послушай, скоро ли эти болтуны уберутся восвояси?

— Что ты, голубчик? Чего сердишься?

Наклонился и погладил по плечу, но Каховский сбросил его руку и продолжал тем же недовольным тоном: — Сам знаешь, о чем речь должна быть.

— Так ведь поутру с Трубецким обо всем условились...

— Ни о чем не условились. Ахали и всякие превыспренние речи произносили...

Пусть уходят!

— Да ведь не выгнать же их?

Презрительная улыбка шевельнула сухие губы Каховского:

— Невежливо? От князей вежливостью заразился? Те и помереть готовы из вежливости.

Каховский отвернулся сердито и ни слова не сказал, пока не разошлись все те, при ком нельзя было говорить о самом главном.

Как только наступила эта минута, Каховский встал, подошел к столу и, не садясь, впился в Трубецкого взглядом. Трубецкой вдруг покраснел, но глаз не опустил.

— Нынче нам Рылеев сказывал, — медленно заговорил Каховский, — что Северная директория назначила вас, князь, в диктаторы. Отдавая всего себя служению на благо отечества моего, осмеливаюсь спросить, какими силами мы располагаем, какие действия решено предпринять для успеха затеваемого дела? И еще: что надлежит исполнить мне, человеку одинокому, без богатства и знатности, уволенному за болезнью от службы Астраханского кирасирского полка поручику Каховскому?

Рылеев пристально смотрел на него и не понимал, а сердцем чувствовал, что за этим нарочито деловым тоном Каховский прячет острую муку сомнения и в Трубецком, и в нем, Рылееве, и в Оболенском, и во всех тех, кто здесь только что спорил, восклицал и клялся заветными клятвами.

— Ну что же. Будем отвечать по пунктам, — снисходительно улыбнулся Трубецкой. — Наши силы... Морские... Лейтенант Завалишин принят в Общество. Но держится в стопине и успехов своих в распространении наших идеи среди матросов не объясняет. Но лейтенант Торсон завербовал изрядное количество лейтенантов и мичманов. Среди них Дивов.

— Дивов — мальчишка, ракета. Если и привлечет к себе внимание, то лишь на краткий миг, — сказал Бестужев.

— Но возмутить матросов он сумеет, — проговорил Рылеев, зябко поеживаясь. — А сменить начальство и захватить крепость сможешь ты, Бестужев.

— Ни меня, ни Завалишина матросы не послушают, — спокойно ответил Михаил Бестужев. — Им нужен приказ их же начальников.

— Пустяки вы говорите, — рассердился Рылеев. — Гвардейский экипаж будет наш.

— По причине того, что ты сего желаешь? — с иронией спросил Каховский.

— Ты, братец мой, ходячая оппозиция, — полусердито ответил Рылеев, — тебя не переговоришь.

— Итак, князь? — снова обратился к Трубецкому Каховский.

— За Московский полк можно ручаться. Не правда ли, Бестужев? — спросил Трубецкой.

Бестужев утвердительно кивнул.

— Финляндский и лейб-гренадерский тоже наши, — сказал Рылеев.

Трубецкой подробно пересчитывал батальоны и роты полков, в которых среди офицеров многие были членами Тайного общества.

Но, вслушиваясь в интонации его голоса, всматриваясь в длинное усталое лицо и, в особенности в очертания бесхарактерных губ, Каховский ничему из того, что тот говорил, не верил.

— Что же касается вооруженных сухопутных сил на юге, — после небольшой паузы продолжал Трубецкой, — то они давно готовы. Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин надеются произвести военную революцию без малейшего кровопролития. Оба они убеждены, что угнетаемые помещиками

крестьяне, притесняемые начальством солдаты и офицеры, а также разоренное дворянство по первому знаку возьмут сторону восставших. Павел Иванович Пестель сетовал, правда, что Сергей Муравьев больно скор и что ему с большим трудом удастся сдерживать южан от их нетерпеливого стремления выступить. Но если это все же случится невдолге, Пестель, разумеется, тоже подыметься, а за ним большая сила. Никита Муравьев недавно показывал мне письмо Павла Ивановича, в котором он напрямик спрашивал, готовы ли мы к выступлению, а ежели нет, то когда именно сможем выступить.

— А что ему ответил Никита? — спросил Оболенский.

— Никита прислал мне в Киев для окончательного согласования свой проект конституции. Мне не нравится излишняя его предосторожность и стеснение для народа... А сам Никита, к сожалению, снова повез свою супругу в орловскую деревню... Александра Григорьевна очень хворает после неблагополучных родов, — сочувственно проговорил Трубецкой.

— Так, — сказал Каховский. — Крысы начинают покидать корабль.

— Теперь касательно вашего третьего пункта, — делая вид, что не слышал фразы Каховского, продолжал Трубецкой. — Меня, право, смущает ваш вопрос. Мы все положили отдать себя на служение отечеству. И я не понимаю... почему вы, Каховский...

— Извольте, я изъяснюсь. Для блага моего отечества я готов бы и отцом моим пожертвовать. Но мне надо быть твердо уверенным, что я не паду жертвой ради тщеславия других.

— Экой ты, право, — вырвалось у Рылеева. — Бери пример с Якубовича. Тот, однажды доверившись нам, без рассуждений готов всячески жертвовать собой...

— Все это у него хвастовство, бравада, — хмуро прервал Каховский.

— Он давно предлагал убить государя, да мы не допустили, — продолжал Рылеев.

— Что же так?

— Время не пришло.

— А когда придет, тогда кого удостоите?

— Обстоятельства покажут, — в один голос сказали Трубецкой и Оболенский, переглянувшись между собой.

Каховский заметил это.

— Прошу вас, господа, — бледнея, заговорил он, — запомнить однажды и навсегда: если вы разумеете меня кинжалом, то, пожалуйста, не уколите. Я готов жертвовать собой отечеству, но ступенькой к возвышению ни даже тебе, Рылеев, ни кому другому не лягу.

Оболенский с жалостью глядел в его искаженное обидой и страданием лицо. Захотелось успокоить его.

— Чудной вы: то пожертвовать жизнью собираетесь, а то самолюбие ставите выше... Право, зря раздражаетесь, Петр Андреевич.

— Я не Андреевич, а Григорьевич! — бешено крикнул Каховский. — А жертвовать собой — не значит жертвовать честью. Памятайте это, ваши сиятельства!

Резко повернулся и выбежал в прихожую. Там, оборвав вешалку на воротнике шинели, схватил ее и ринулся вон...

В то время как курьеры везли в Варшаву Константину письма из Таганрога и Петербурга, в то время как на монетном дворе чеканились рубли с изображением

профиля этого нового царя и все витрины петербургских магазинов выставили наскоро отпечатанные портреты Константина, «похожего на папеньку, но в издании чудачествами дополненном», как выражались столичные остряки, — сам Константин неистовствовал от злобы и досады, запершись в кабинете своего варшавского дворца.

«Насильно с престолом лезете, — грозил он кулаком невидимым верноподданным, — а потом, как отца, задушите. Ведь я-то Николая знаю! Он ни перед чем не остановится. Еще неизвестно, не его ли рук дело, что Александр так внезапно к праотцам отбыл. Уж больно невтерпеж Никсу на трон усесться... И письмо, какое любезное прислал! Все для того, чтобы потом всякие подозрения отклонить. Посмотрим, посмотрим», — часто перемигивая коротенькими светлыми ресницами, теребил он оставшиеся вокруг лысины волосы. И вновь хватал письмо Николая, в котором тот умолял: «Arrivez ai nom de Dieu». *note 31*.

«Сейчас, сию минуту поскачу к вам удавливаясь! — кривлялся Константин. — И матушка кличет. Будто моих писем об отречении престола ни Дибич, ни Волконский, ни сам братец Никс не получали. Ведь я же велел Михаилу категорически передать, что никакая сила не может поколебать моей решимости. Дядьку Опочинина присылали. Думали растрогать воспоминаниями юности».

В дверь осторожно постучали.

Константин замер.

Стук повторился.

— Кто? — испуганно крикнул Константин.

— Флигель-адъютант его высочества Лазарев с эстафетой из Санкт-Петербурга.

Константин на цыпочках приблизился к двери и приложил ухо. Несколько голосов шушукались, но о чем — разобрать нельзя было.

Так же бесшумно отошел и приказал:

— Просунь, что привез, под дверь внизу.

Зашелестела бумага, и невидимая рука продвинула конверт, Константин схватил его обезьяньим движением.

«Его императорскому величеству государю Константину Павловичу от председателя Государственного совета князя Лопухина», — увидел он на конверте.

«Так, так...» — и, не читая, разорвал в куски.

Как дразнящий язык, высунулся из-под двери другой длинный конверт.

И снова:

«Императору Константину от великого князя Николая».

Этот вскрыл. Снова уверения в верноподданстве и братских чувствах и во имя всего этого настойчивые уговоры прибыть в столицу, «ибо упорство твое оставаться в Варшаве будет причиной несчастий, которых последствий я не отвечаю, но в которых, по всей вероятности, сам первый паду жертвой...»

— Трусит братец! Ах, как явно трусит! — бросая письмо на стол, презрительно проговорил Константин.

Но, вспомнив, что и сам сидит запершись, вспыхнул весь и ринулся к двери. Ключ щелкнул.

— Ну-с, пожалуйста, ваше превосходительство, — широко распахнул дверь Константин перед Лазаревым.

Note31

Бога ради, приезжай! (франц.)

Тот вздрогнул и, шагая по-военному, переступил порог.

— Честь имею явиться, ваше императорское величество!

— Как, как, как?! — скороговоркой переспросил Константин.

Лазарев выпятил грудь и вздернул плечи:

— Ваше императорское вел...

Но Константин, быстро сложив два кукиша, поднес их к самым губам генерала.

— А это видал?! Я тебе покажу «величество»! — он затопал ногами и забрызгал слюной парадный генеральский мундир. — Я вам всем покажу такое «величество»... Узнаете вы у меня, как моей воли слушиваться!

Лазарев дергал головой, как взнузданный конь, и выпученными глазами водил за бегающим по комнате Константином.

— Я тебя под арест засажу! И всех, всех под арест! Ступай в комендантскую! Скажи, чтоб немедля под арест, дабы одумался в одиночестве. Все вы прохвосты! Все кобели...

Генерал шелкал шпорами.

— Прочь! Чтоб глаза мои не видели...

Генерал спиной пятился от наступающего на него Константина.

Константин хотел снова запереться на ключ, но слышались легкие шаги, шуршанье шелка, и мягкий женский голос попросил по-польски:

— Позволь войти. Нельзя же так.

— Входи, не заперто.

Вошла жена Константина, княгиня Лович, статная, полногрудая, с круглым выхоленным лицом, которое немного портил слишком высокий лоб. Но княгиня знала этот недостаток и закрывала лоб целой гирляндой подстриженных густых завитков. К тому же золотисто-карие глаза ее казались еще ярче из-под этих доходящих почти до бровей кудряшек,

— Ты все еще сердишься, коханный мой? — спросила она.

— Надоели, покою не дают. С «величеством» лезут...

— Послушай, может быть... Ведь я знаю, что русские цари должны непременно жениться на принцессах. И то, что я... Одним словом, ты сам понимаешь, о чем я хочу сказать.

Константин остановился перед ней, растопырив ноги и наклонив голову. Круглые навывкате глаза его зашныряли по ее осанистой, красивой фигуре. Кустики его бровей казались совсем белыми на покрасневшем лбу.

«Опять не верит», — подумала Лович.

— Да, я вас хорошо понимаю, княгиня, — заговорил Константин по привычке перемигивая короткими выцветшими ресницами. — Вы сначала надеялись, что я сяду на трон и посажу вас рядом русской государыней. Затем вы убедились из дальнейших событий, что сему не бывать. Теперь вы положили освободить себя от уз с полковником Константином Романовым, ибо сей несчастный не то что царем быть не может, а даже и супружеские обязанности по причине своего тщедушия не всегда исполнять в силах...

Лович поджала румяные губы и возмущенно повела полными плечами.

— Ну что, угадал?

Она молча повернулась к выходу.

— Постой!

Константин хотел схватить ее за плечо, но рука скользнула по шелковому платью

и зацепила длинное жемчужное ожерелье, на котором висел лорнет. Ожерелье порвалось, и жемчужные бусинки рассыпались по паркету.

Лович повернула голову через плечо и смерила Константина презрительным взглядом с головы до узких, с кисточками ботфорт.

В прошлом Лович знала много мужчин, а натуру своего нынешнего супруга изучила в совершенстве. Она знала, что когда он разбушует, робость и подобострастие бывали только маслом, подливаемым в огонь его самодурства. В этих случаях нужен ушат холодной воды. И таким ушатом облила:

— Ты цо зрбил? Пся крев...

Константин заползал по ковру и паркету, собирая бусинки и каждый раз, когда клал их в теплую, надушенную ладонь Лович, терся щекой о шелестящий шелк, покрывающий ее колени.

— Ну-ну, кисанька, не сердись, — лебезил он, — прости своего котика, погладь по шерстке, а то все против... против...

— Давай вместе напишем Николаю, — примирительно предложила Лович.

Она была не злопамятна. А жизнь любила всякую: и прежнюю, когда была маленькой актрисой с большим числом поклонников, и нынешнюю — жены наследника российского престола. Она не прочь была надеть на свои по-мальчишески подстриженные кудри корону русской императрицы, во-первых, потому, что очень любила крупные бриллианты, а во-вторых, такие головные уборы можно видеть не на многих женщинах.

Но если этого почему-то нельзя, то и не надо. В Варшаве можно жить даже веселей, чем в холодном и чопорном Петербурге да еще будучи императрицей, у которой вся жизнь на виду.

— Ну, хочешь, напишем?

— Хорошо, хорошо, — обрадовался Константин. — Только условие: официальное письмо с тобой. А частное уж я сам. Хочу душу отвести.

Через час Лазарев был снова позван в кабинет Константина.

— Вот, дорогой генерал, — нарочито вежливо заговорил Константин, — письма: князю Лопухину — одно, брату Николаю — другое.

Протянул, но сейчас же отдернул.

— Впрочем, это частное вслед за вами свезет мой курьер. Это — августейшей родительнице. А третье, — Константин помахал перед самым носом генерала большим конвертом, — его величеству государю императору. Понял?

— Так точно, ваше императорское...

— Ну?

— Высочество! — выпалил Лазарев.

— То-то же, да чтоб больше меня не беспокоили, а то я вас всех пошлю... — и выругался так крепко, что стоявший по ту сторону дверей часовой невольно крякнул.

Через неделю Николай Павлович слушал проект нового манифеста к народу по поводу своего восшествия на престол.

Карамзин и Сперанский каждый представили свой текст, но Николаю не нравился ни тот, ни другой.

— Уж очень много у вас о любви да о сердцах невинных, Николай Михайлович.

Царь обиделся на Карамзина за то, что в тексте манифеста он написал: «Да благоденствует Россия истинным просвещением умов и непорочностью нравов, плодами трудолюбия и деятельности полезной, мирною свободою жизни гражданской

и спокойствием сердец невинных». И далее: «Да исполнится все, чего желал тот, коего священная память должна питать в нас ревность и надежду стяжать благословение божие и любовь народа...»

— Точно о своей «Бедной Лизе», которая при всей своей непорочности и невинном сердце стяжала любовь Эраста, а потом утопилась из-за нее, — презрительно усмехнулся Николай.

Но Сперанский подправил манифест, подчистил, влил в карамзиновскую превыспренность и чувствительность строгую деловитость, усвоенную при управлении Сибирью, где народ независим, крепок и в случае чего прет на рожон, как медведь в тайге. В общем, вышло так, как хотелось царю.

Николай взял перо.

— Какое нынче?

— Тринадцатое, ваше величество, — разом откликнулись оба сановника.

— Не люблю этого числа, — и царь опустил перо.

— Ах, кабы его высочество Константин Павлович изволил прибыть и лично отречься, то сего совершенного недоразумения не произошло бы! — вздохнул Карамзин.

— Кабы, кабы, — передразнил Николай. — Прочтите вот — и он протянул письмо Константина.

Сановники столкнулись над ним лбами.

«Приглашение ваше приехать не может быть принято мною, и я объявляю вам, что удалюсь еще дальше, коли все не устроится согласно воле покойного императора...»

Сановники вздохнули с облегчением.

— Осмелюсь спросить, ваше величество, — заговорил Сперанский, — слышно было, что экстренный курьер привез еще одно письмо частного характера. Быть может, обнаружение сего последнего...

Деревянная колотушка вдруг заколотила в горле Николая.

— Уморил, Михайло Михайлыч, право, уморил, — хохотал он. И стал шарить в карманах.

Наконец, достал измятый лист бумаги, покрытый шутовским, прыгающим почерком Константина:

— Нате обнаружьте!

Сунул к серьезным голубым глазам Сперанского набор остроумных, но цинично-грубых фраз, пересыпанных самой изысканной руганью по адресу престола, Государственного совета, митрополита, войск и всех тех, кто поспешил с присягой на верность ему, Константину.

Сперанский протянул листок Карамзину. Тот по старческой дальнорзости, стал читать его, держа в вытянутой вперед руке.

— Это вам не сентиментальный бульончик, коим изъясняются героини романов, — тяжело дыша от смеха, проговорил Николай. — А как Лопухина отбрил? Читали? Ведь Константин прав: Государственный совет не смел присягать, не спросись его воли, а лишь по моему приказанию. Где ж это видано, чтобы по распоряжению наследника присягали царю? Ну, дело прошлое. А теперь.

Взял перо. Обмакнул и подписал:

«Дано в С. — Петербурге. Декабря 12, в лето от Р. Х. 1825.

Николай».

31. Чрезвычайные обстоятельства

Трубецкой, узнав от своего шурина, австрийского посла Лебцельтерна, о решительном отказе Константина от престола, поспешил из дворца к Рылееву.

В столовой было, как всегда, шумно илюдно. Трубецкого будто не заметили. Он прошел прямо в маленький кабинет. Князь Оболенский выжимал в тазу салфетку, снятую с горячего лба больного Рылеева.

— Обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные, — заговорил Трубецкой, подходя к дивану, на котором лежал Рылеев. — Цесаревич отрекся бесповоротно. Нынче поутру прибыл курьер...

Рылеев быстро спустил ноги.

— Постой, Евгений, — отстранил он руку Оболенского с влажной салфеткой. — Коли так, нам надлежит непременно воспользоваться этими обстоятельствами. Такого случая упустить нельзя. Когда переприсяга?

— Манифест уже заготовлен Карамзиным совместно со Сперанским. Завтра будет присягать двор, а на четырнадцатое — войска.

Рылеев, вскочив с дивана, почувствовал головокружение, но преодолел его. Схватил из рук Оболенского салфетку, быстро провел ею по лицу и шее, отбросил и с неожиданной силой крепко обнял, стиснул разом обоих — Оболенского и Трубецкого.

— Четырнадцатого и начнем...

Сказал тихо и просто, но Трубецкой вздрогнул и побледнел, как будто над ним громыхнуло.

— Что вы, Кондратий Федорович! Так сразу и начинать?.. А как же... А как же?.. — обернулся растерянно, как будто отыскивая что-то, и обрадовался, — нашел: — Как же начинать, когда еще ни один из проектируемых законов для будущего государственного устройства России не получил окончательного согласования...

Рылеев отмахнулся от этих слов:

— Наше дело допрежь всего разрушить ныне существующее деспотическое правление, а уже Великий Собор, руководствуясь единым стремлением — гражданственного благоустройства россиян, решит какой государственный устав принять!

— А как же без южан? — так же недоумевающе спросил Трубецкой.

Рылеев, торопливо переодеваясь, продолжал:

— Пора, друзья! Пора! Сейчас выйдем к ним, — он кивнул на запертую дверь столовой, — и объявим, что пробил час. Я убежден, вспыхнет и на юге зарево мятежа...

— При моем последнем свидании с Пестелем он, правда, сказал, что и у них, за начатие действия, положена смерть императора, однако... — помогая Рылееву завязать шейную косынку, все с той же растерянностью проговорил Трубецкой,

— Я опасуюсь Пестеля. Куда бы лучше Михайло Орлов, — сказал Рылеев. — Сами знаете, что Пестеля по многим его чертам у нас побаиваются.

Трубецкой вспомнил Орлова, каким видел его недавно в Киеве: «Сидит в кругу семьи Раевских-Волконских на низенькой скамеечке у ног своей жены „Марфы Посадницы“. На растопыренных пальцах держит моток розового гаруса, с которого Екатерина Николаевна наматывает клубок. За целый вечер ни разу не спросил о делах Общества. Был серьезно занят обсуждением вопроса, в каких костюмах кому быть на

предстоящем костюмированном балу у графини Браницкой.

И решил прямо сказать:

— Для нас Орлов потерян. Его взяла в плен семья Раевских, но я послал письмо к Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу через его брата Матвея.

Когда вошли в столовую, Рылеев коротко, как военный приказ, объявил:

— Четырнадцатого сего декабря выступаем!

Гул голосов на миг утишился. Так замирает костер, в который подбросили хвороста, только на миг, чтобы снова вспыхнуть ярким пламенем.

— Наконец-то! Дожили!

— Вольность грядет! Вот она, Россия! Vivat!

Жали друг другу руки. Обнимались. В смехе прятали слезы радости.

— Послушайте вы, дон-кихоты российские, — захлебывающимся от счастья голосом крикнул Александр Бестужев, — вы представляете, как четырнадцатого сего декабря народ русский всесокрушающей лавиной двинется ко дворцу добывать себе, волю! И с ним вместе русское воинство, приносящее свою жизнь на алтарь благоденствия отечества... А мы с вами идем впереди и кликами свободы...

— Ну уж клики выкликать ни к чему! — резко оборвал Каховский. — Русский народ не мыслит свободу абстракцией. Скажите ему: «Братцы, царевич Константин за народ! Не выдавать его Николаю!» — и народ не пустит Николая на трон. Скажите ему: «В Сенате воля спрятана», — и это сделает большее действие нежели сто катехизисов, сочиняемых Сергеем Муравьевым-Апостолом, твердящих о свободе, равенстве и братстве. Да еще надобно, чтобы народ видел, что среди нас есть люди, значащие в государстве, достойные уважения!

— Ты еще азиатец, Каховский, — улыбнулся Рылеев. — Тебе обязательно нужны звезды да седые кудри.

Каховский провел языком по сухим губам:

— Мне, Кондратам Федорович, этого не нужно. Я-то хорошо понимаю, что и под седыми волосами могут быть пустые головы.

— Ладно, ладно, не волнуйся. У нас есть и звезды и седины: Ермолов, старик Муравьев-Апостол, Сперанский, Раевский...

Каховский недоверчиво взглянул на Рылеева:

— Сперанский и Раевский наши?

— В генерале Раевском я не сомневаюсь, — ответил Рылеев, — он истинный патриот и, наверно, примкнет к нам, когда придет время действовать. И Сперанский тоже. Как вы думаете, Гавриил Степанович, — обратился он к Батенкову, — встанут эти замечательнейшие русские патриоты во главе народа, когда он двинется на штурм твердынь самовластия?

Батенков, сблизившийся со Сперанским во время его генерал-губернаторства в Сибири, по возвращении Сперанского в Петербург был сделан членом Совета военных поселений, но долго на службе у Аракчеева не удержался: с детства не мог без слез видеть птицу в клетке, а аракчеевский едикуль приводил его в полное расстройство. В степенном Батенкове жил чувствительный энтузиаст.

Это почуял в нем Рылеев с первой встречи и без колебаний принял в Тайное общество.

— Что вам сказать о Сперанском? — попыхивая трубкой, ответил Батенков. — Разве у этого старика выведаешь, что он думает. За годы изгнания Сперанский научился глубоко таить свои мысли и чувства. При одном частном разговоре по

поводу будущего состава Тайного общества, он полушутя сказал: «Одержите сперва верх, а тогда многие на вашей стороне будут». Нечто подобное пришлось мне слышать и от Мордвинова: «Сперва одолейте противника, а там уже кому, чем быть покажут обстоятельства».

— Народ сам укажет своих избранников, — твердо произнес Каховский.

Батенков быстро обернулся к нему:

— Вы все о народе да о народе. А я скажу, что перевороты снизу, от народа, опасны. Зачем нам французский восемьдесят девятый год? Лучшее средство — овладеть самым важным пунктом в деспотическом правлении, сиречь верховной властью. Для этого надо употребить, если нет достаточной силы, ловкую интригу. И вы, Каховский, правы, предлагая выдумку с актом о воле, хранящимся в Сенате. А уж ежели Сперанский и иже с ним увидят себя окруженными приведенными в борение народом и войском, то подпишут тот манифест, который мы им поднесем.

Князь Щепин-Ростовский с шумом отодвинул стул, обежал вокруг стола и схватил большую руку Батенкова обеими горячими руками: «Как хорошо сказали, Гавриил Степанович! Все меры для свержения тирании хороши. Интрига так интрига. Убийство так убийство...»

— Что вы, князь! — испуганно остановил его Трубецкой.

Но Щепин отмахнулся. Его лицо так и пылало. Голос срывался:

— По-моему, убить цесаревича и пустить в народе слух, что это сделано по наущению Николая Павловича.

За Щепиным повскакали другие.

— Дело! А тем временем в Польше извести Константина!

— А с прочими членами императорской фамилии что делать?

— Истребить в Москве во время коронации!

— Нет, лучше раньше захватить у всенощной, когда будут в церкви Спаса. У нас все дворцовые перевороты происходили ночью.

— Я предлагаю, — громче других раздался голос Каховского, и все обернулись к нему, — я предлагаю всеми силами идти ко дворцу, а то как бы нас всех не перецапали поодиночке, покуда мы будем здесь разглагольствовать.

— Да мы уже и заявлены, — сказал Рылеев. — Ростовцев сам признался мне и Оболенскому, что он изустно и письменно уведомил Николая о нашем заговоре.

— Видите, я прав, — проговорил Каховский, — нас арестуют прежде, нежели мы успеем сделать что-либо значительное.

— Сейчас не арестуют, — с уверенностью возразил Пущин. — Николай теперь в рассуждении охотника: ему хочется выследить, чтобы захватить целиком весь выводок...

— Но каков Ростовцев! Попадись мне этот подлец! — Щепин-Ростовский поднял кулак.

— Ростовцев уверял меня, что никого не назвал, а только предупредил Николая о возможном кровопролитии — сказал Оболенский.

— А ты и поверил, — усмехнулся Николай Бестужев — Ростовцев ставит свечи и богу и сатане. И Николай использует его донос, когда найдет нужным.

— Что вы все с царями возитесь, — хмуро проговорил Каховский. — Будто в них дело. Придет время — уж возьмем меры.

— Якубович давно рвется посчитаться с Романовыми, — сказал Оболенский. — Только я почему-то вовсе не верю ему.

— Не веришь этому храброму кавказцу? — удивился Рылеев.

— Кавказец, может быть, и храбр, да одно дело храбрость бретера и дуэлянта, а другое — храбрость заговорщика, — ответил Оболенский.

— Да и вы, Каховский, сколько мне известно, пожалуй, не прочь сыграть русского Брута? — спросил Николай Бестужев.

Каховский вспыхнул:

— Как прикажете вас разуметь, милостивый государь?

— Что вы, Петр Григорьевич, горячитесь! — успокаивающе опустил к нему на плечо руку Пущин. — Мы все против самодержавной власти. Бестужев просто пошутил. У него юмор в характере.

— Юмор висельника, — сердито бросил Каховский и вновь уселся в темном углу на стуле, втиснутом между шкафом и стеной.

Рылеев встал. Похудевшее за болезнь лицо его с резко обозначившимися скулами стало покрываться неровными пятнами румянца. Глаза засветились огнем вдохновения.

«Попробуй описать эти пламенеющие звезды», — пронеслось в мыслях Александра Бестужева, засмотревшегося на рылеевские глаза.

— В силу стекшихся обстоятельств, — начал Рылеев, — надлежит нам отбросить все фразы и принять такое решение: арестовать всю императорскую фамилию и задержать ее в крепости до съезда Великого собора. К народу от имени Сената написать манифест, в котором изложить, что Константин и Николай от престола отказались, а посему он, Сенат, почел необходимым задержать императорскую фамилию и созвать представителей всех сословий, которые должны будут решить судьбу Российского государства. К сему присовокупить, что для сохранения порядка общественного устройства Сенат передает власть Временному правительству. Способнейшим для написания такого манифеста я почитаю старейшего из членов Тайного общества — Владимира Ивановича Штейнгеля, которому и предлагаю это препоручить.

— Позволь, Кондратий Федорович, — сказал Пущин, — разве тебе неведомо, что над проектом этого манифеста давно работает Трубецкой? Что же вы молчите, Сергей Петрович? — обратился он к Трубецкому.

— Он у меня все еще в наброске, — покраснел тот, — но мы можем заняться им вместе с Владимиром Ивановичем. Тем более что мы все знаем вкус и изящество его письма по его отличным журнальным статьям...

— Полно льстить, — отмахнулся Штейнгель. — Однако если уж мне оказывается такая честь, я и сам сочиню манифест. Вы тут договаривайтесь, а я пойду писать.

Он поднялся и, отвесив низкий поклон, пошел к выходу.

— А если нас ожидает неудача? — спросил Трубецкой, наклоняясь через стол к Батенкову.

— Если неудача — тогда ретироваться на военные поселения — ответил тот. — Многие из вас знают, что поселения являют собой страшную картину несправедливостей, притеснений, все виды отъявленного деспотизма. Я провел в них несколько лет и знаю, какой ненавистью к существующему строю дышат поселенцы. Там и ждать, покуда подойдет Пестель со Второй армией и Ермолов с Кавказским корпусом.

— Неудачи быть не может, — таким тоном произнес Рылеев, что все обернулись к нему. Подавшись вперед, он продолжал с величавым спокойствием: — Что

почитаете неудачей? Ежели возможность быть неподдержанными войсками, то такая возможность вероятна. Ежели мыслите, что мы падем жертвами наших замыслов, скажу, что и это возможно. Что полковник Пестель не откликнется на наш призыв? Что убиение царской фамилии не сходно ни с нашими правилами, ни с сердцем? Что неизбежный акт этот бросит тень на святое дело вольности? Сие ли почтем неудачей?

«Так, должно быть, течет с огнедышащей горы расплавленная лава», — думал о речи Рылеева Александр Бестужев.

— Ежели все перечисленное постигнет наше начинание, — говорил Рылеев, — все же это не будет неудачей. И, повинувшись вещему чувству, я провозглашаю: начинать! Непременно начинать!

Как будто вместе с этими словами в душную комнату ворвался вихрь. Пахнул, сорвал всех с мест, закружил, завертел. И возгласы один другого зажигательней взлетали, как языки пламени над пылающим костром:

— Начинать, непременно начинать! Если хоть один взвод солдат придет, и то начинать! Искра рождает пожар! Уничтожим тирана! Истребим дворцовую нечисть! За вольность и умереть не жаль!

— Ах, как славно мы умрем! — в упоении воскликнул Одоевский.

— Нет, нет! — крикнул Вильгельм Кюхельбекер. — Мы не умрем! Мы будем очевидцами высочайшей степени благоденствия Руси! Бог не вотще даровал русскому народу его чудесные способности!

— Итак, ножны изломаны и сабли спрятать некуда, — торжественно проговорил Рылеев. — Сбор наших войск назначаем на Петровой площади, против Сената, коего не допустим до присяги Николаю и заставим выдать манифест о созыве народных представителей от всех сословий.

— Какие войска будут выведены на площадь? — спросил Николай Бестужев.

— У нас есть сведения, что полки Измайловский, Финляндский, егерский, лейб-гренадерский и Московский не будут присягать Николаю, — с уверенностью ответил Рылеев.

Бестужев вздохнул, но не сказал, что командир второго батальона Финляндского полка, несколько дней тому назад бывший «в наилучшем расположении» к предстоящему восстанию, утром пришел к нему с заявлением, что «не намерен принимать участия в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах».

— Выведя измайловцев из казарм, мы пойдем с ними к московцам, — продолжал Рылеев, — и, увлекая одни воинские части примером других, будем направлять их на Петрову площадь. Как ваша рота, Сутгоф?

— Я непременно приведу ее на площадь, — по-военному вытягиваясь перед Рылеевым, отвечал Сутгоф, ротный командир лейб-гвардии гренадерского полка. — Мы с лейтенантом Арбузовым займем дворец. Я был нынче в Морском экипаже и удостоверился в полной готовности людей следовать за своими командирами.

При последних словах Сутгофа вошел Якубович, черноусый, черноволосый, с черной повязкой на глазу. Его не любили за многие неблагоприятные поступки.

«У него и душа будто черная», — заключил Александр Бестужев, когда услышал, что Якубович, зная, что Грибоедов отличный музыкант, намеренно прострелил ему на дуэли руку.

— Завтра я приведу артиллерию, — заявил Якубович с важной непреложностью.

— Он нас погубит, — шепнул Бестужев Оболенскому.

— Сейчас уже за полночь, друзья, пора расходиться, — закончил Рылеев, — а

завтра...

— Завтра...

— Завтра...

— Завтра...

Когда остались впятером, Трубецкой стал записывать названия полков, которые завтра будут выведены на площадь, и против каждого ставил фамилии тех офицеров, которые за эти части отвечали.

— За Финляндский, лейб-гренадерский и Московский полки ручаюсь. Они присягать не будут, — заглядывая в записку, еще раз подтвердил Рылеев.

— Но ежели увидим, что на площадь выходят мало, рота или две, то мы не должны идти туда и не должны действовать, — кладя карандаш, проговорил Трубецкой.

— Не должны действовать?! — угрожающе произнес Каховский. — Всё будете разговаривать? Мне эти филантропические разговоры до смерти надоели. Дела хочу, а не слов.

Рылеев пристально посмотрел на него и взял из рук Трубецкого список полков.

— Мало, очень мало, — вздохнул он. — Но это ничего. Все будет ладно. И мы сумеем показать, что дух вольности уже реет над родной землей...

— Хорошо сказал, милый друг, — обнял его Пущин. — И если завтра мы ничего не предпримем, то во всей силе заслужим название подлецов.

Трубецкой вздохнул:

— А знаете, я уверен, что полки на полки не пойдут и междоусобие не возгорится. Сам царь не захочет кровопролития, отступится от самодержавной власти. И все обойдется без огня...

Говорил так, будто уговаривал сам себя. Как уговаривал себя в детстве не бояться грома: « Не дрожи, Serge, не дрожи. Ведь учителя изъяснили тебе, что грохот этот сам по себе не опасен», — но все-таки голову под подушку прятал.

— Мы должны действовать с обдуманной постепенностью, — продолжал он. — Сосредоточив войска на площади перед Сенатом, мы поставим их под ружье и попытаемся добиться переговоров с властями.

— А если с нами не пожелают разговаривать?! — спросил Каховский, сдерживая гнев.

— Оставим войска на бивуаках и сделаем ту же попытку на второй день и при этом заявим, что хотим дождаться приезда Константина. Нам чрезвычайно важно сохранить в наших действиях вид законности.

— А если Константин не приедет? — выкрикнул Каховский.

— Ну, как не приедет? Обязательно приедет. Вы его не знаете, — не замечая тона Каховского, ответил Трубецкой.

— А все же?! — спросил Рылеев.

— Обстоятельства покажут, что тогда делать, — сказал Трубецкой, обматывая вокруг шеи Каташин шарфик.

— А твоя тактика, Кондратий? — с отчаянием спросил Каховский.

— Моя тактика заключается в одном слове — дерзай! — медленно, но твердо проговорил Рылеев. — Это тактика революции. Итак, до завтра, Трубецкой?

И никто не понял, был ли то ответ на вопрос, или Трубецкой по рассеянности повторил:

— Обстоятельства покажут, — и стал застегивать шубу на черно-бурых лисах,

заранее принесенную из прихожей, чтобы нагрелась.

Пожав руки Рылееву и Оболенскому, Трубецкой поклонился Каховскому.

«Этот, пожалуй, может не протянуть мне руки, — подумал Трубецкой, — Уж больно злобно он на меня глядит. Ну и бог с ним.»

— Чудной он какой-то, — сказал Оболенский, как только за Трубецким закрылась дверь. — Точно из ваты сделан, право...

— А в деле храбр до самозабвения, — с улыбкой проговорил Пущин. — Под Бородином он полсуток под ядрами и картечью провел. В другой раз без единого патрона с одной ротой прогнал французов из лесу.

— А все же для диктатора он слишком мягок. Право же, из ваты, — повторил Оболенский.

— Зато в случае успеха в Наполеоны не сыграет, — возразил Пущин.

— Да, это не Пестель, — усмехнулся Оболенский.

— Я пойду, — проговорил Каховский, когда Рылеев, проводив Трубецкого, вернулся в кабинет. — Распоряжения какие будут на завтра? — он коротко исподлобья взглянул на Рылеева.

Тот медленно подошел к нему. Обнял за плечи и заглянул в мрачные глаза.

— Ты все дела хочешь, Каховский? Слушай. Я знаю твою самоотверженность. Знаю — ты сир на сей земле. Так вот, сделай завтра дело: истреби императора.

— Удостоили! — выдохнул Каховский и снял со своих плеч руку Рылеева. — Убить царя — мудреного ничего нет. И всех их зарезать нетрудно. Я льстил себя мечтой убить тиранство, а не единичного тирана. Но... может ли положение России при каком бы то ни было перевороте быть хуже, как теперь? А потому... Много не рассуждаю и соглашаюсь.

Рылеев вынул из кармана кинжал и, держа его в руке, снова обнял Каховского. За ним потянулись остальные.

— Пустите, — резко освободился Каховский. — Что задабриваете? Небось думаете: «Не наш он. Пришелец со стороны. А мы, дескать, люди чистые». Рано радуетесь. Кинжал оставьте при себе, у меня свой найдется, — и ринулся прочь из теплой комнаты в холодно-мутную темь декабрьской ночи.

32. Силы морские и сухопутные

Роты Московского полка кончали ужинать. Солдаты аккуратно разложили вокруг опустевших мисок деревянные, блестящие от постного масла ложки и стали размещаться по нарам.

В темноте переговаривались вполголоса:

— Завтра, слышь, с утра сызнава на присягу погонят...

— Беспременно погонят. Старшой сказывал.

— Эх, цари, цари!.. И от живых от них беспокойства не оберешься, а помрут — и того хуже. Молись, чтоб его господь бог в ад не упек, а опосля на верность новому присягай...

— Да еще то одному, а то другому. Вроде как ныне.

— Ничего, новым венником париться будем.

— Эт-то так. Да кто ж все-таки будет окончательный? — Микола вместо Константина править будет.

— Аль не поладили братья?

— Вестимо. Константин между поляков обжился, полячку, пыхать, за себя замуж взял. Когда под Калишем стояли, я го самолично видал. Обрядность на нем вся польская. Обличьем в батюшку Павла Петровича, такой же курносый, рыжий и росточком мал...

— И я видал — чистый Павел, — подтвердил кто-то.

— А Миколай тоже небось штука.

— Одна сатана, — ответил тот же голос.

— Вот кабы который из них срок солдатчины урезал, — вырвалась из глубины души чья-то заветная мечта.

— Да кабы насчет воли...

— Вишь, чего захотели, — с горечью откликнулись с дальних нар. — Держи карман шире...

— О-хо-хо, хо-хо, — сокрушенно вздохнул кто-то.

Настала тишина, долгая и напряженная. Потом послышался зевок. Другой. Третий.

Вдруг голос, уверенный и твердый, проговорил:

— А куда бы лучше было, братцы, кабы царей вовсе не было.

— Видно, без них невозможно, — послышалось насмешливое возражение. — Французы вот, к примеру, десять годов тому назад Бонапарта сбросили, а вместо него Людовика Дизвитова *note 32* поставили.

— Что ж, братцы, — зазвенел совсем молодой тенорок, — выходит, без царей никакая держава стоять не может?

— Походил бы с мое по белу свету, знал бы, что без царей люди куда почище нашего живут, а которые дурни...

— Слышь, Яригин, ты того, полегче, братец, — шепотом остановил товарища солдат Колокольцев, — забыл, как поручик Бестужев наказывал, чтоб до утра побереглись. Завтра делов хватит... А коли нас заране сцапают...

— Ладно, дождем утра...

На полковом дворе в полумраке утренних сумерек строились роты московцев.

Поправляли кивера, пристегивали сумки с патронами.

Михаил Бестужев, торопясь к казармам полка, столкнулся у калитки с Каховским.

— Ну как? — спросил тот.

— Сейчас выйдем. Я уже на рассвете был здесь. Люди, брат, золотые. Поняли с полуслова.

— Смотрите же, не погубите лейб-гренадеров. — Каховский погрозил пальцем. — Они тоже выходят.

— Рады стараться, — отдал честь Бестужев и вошел в калитку.

Вместе с Щепиным-Ростовским отдавал последние распоряжения:

— Не забывать же присяги, ребята. Заверяем, что никакой облигации от Константина Павловича не было, и присяги ему до тех пор не изменять, покуда он сам лично не потребует.

— Чего там, — говорили меж собой солдаты, — как присягнули Константину, так тому и быть. А то повадятся, словно в чехарду друг через дружку на трон скакать, а на наших спинах рубцы останутся.

Note32

Dix huit (XVIII) (франц.).

— Это как пить дать...

— Знамя где?

Над полком взвилось боевое знамя.

— Сюда подай! — крикнули из пятой роты.

— Ишь вы, больно прытки, — ответил знаменный унтер.

Рядовой Колокольцев подбежал к нему:

— Подай, тебе говорят.

Схватился за древко. Другие подбежали на подмогу. Завязалась борьба. Древко затрещало.

Щепин с обнаженной саблей протиснулся в гущу. Ткнул в плечо рядового. Тот отскочил:

— Да ведь я за вас, ваше благородие! За Константина!

— Не безобразь! — скомандовал Щепин. — Стройся колонной в атаку!

— Колонной в атаку! — скомандовал у ворот и Бестужев. — Шагом марш!

Двинулись к воротам, но навстречу генерал Фредерикс.

— Стой! Куда? — крикнул он багровея.

А в ответ такое же грозное:

— Вы за кого, генерал?!

— Я присягнул государю Николаю Павловичу. Что за... — и не договорил: сверкнуло лезвие сабли в руках Щепина, и Фредерикс упал.

— Шагом марш! — снова прозвучала команда.

Солдаты двинулись. Но опять раскаты начальнических окриков, громкий спор, какая-то возня. Снова раненые — генерал Шеншин и полковник Хвоцинский. Кто-то захлопнул тяжелые ворота. Часть полка осталась во дворе, другие роты двинулись. И пошли... пошли. Знамена распущены, мерная дробь барабана бодрила, ускоряла шаг. Вот уже Фонтанка.

Московцы шли по запорошенным снегом улицам туда, к каменной площади, где Медный Всадник вздыбил уздой могучего коня.

И как снежный ком, двигаясь, обрастает снегом, так обрастал, разбухал и ширился Московский полк от все большего и большего числа примыкавших к нему людей...

Батальон Гвардейского экипажа, собранный возле казарм, приготовили к присяге. Принесли аналой. Пришел полковой священник. Заняв было место возле аналая, он вдруг отошел сторону и растерянно переминался с ноги на ногу.

Генерал Шипов, бригадный командир, держа царский манифест вытянутыми вперед руками, читал его, зычно повышая голос в начале каждой фразы.

Матросы хмурились: только что стало известно, что двух мичманов, которые отказались присягать новому царю, увели на гауптвахту.

— Погляди-ка, как у бригадного командира руки дрожат, — шепнул один матрос другому.

— Краденое держит, — пожал тот плечами.

Издали послышалась ружейная пальба. Матросы насторожились.

Шипов очень торопился дочитать манифест и все же не успел: с шумом распахнулись ворота, вбежал Николай Бестужев:

— Ребята! наших бьют! Не выдавать! За мной!

Матросы, как один, ринулись за ним.

«Орудия захватить бы из арсенала», — на бегу вспомнил Бестужев, но остановиться не мог.

Он уже перестал ощущать себя отдельным существом от бегущих рядом с ним. Он стал частицей человеческого потока, несущегося с гулким топотом и громкими криками к Неве и дальше, на Петрову площадь, где Медный Всадник вздыбил медного коня...

Прямо через Неву поручик Сутгоф и батальонный адъютант Панов вели по льду три роты лейб-гренадер. Вскарабкавшись по обледенелым гранитным ступеням, они вышли против Зимнего дворца и быстрым маршем направились в его внутренний двор.

Комендант Башуцкий, выбежав навстречу, стал пожимать офицерам руки:

— Сколь радостно видеть усердие молодых командиров и вас, молодцы гренадеры, к защите престола.

— Стой! — отшатнулся Сутгоф.

Среди саперов, стоящих у входов во дворец, раздался хохот.

— Вот ускочили, так ускочили! — пошутил взводный.

— Назад, ребята, это не наши, — скомандовал Сутгоф — И бегом за ворота.

— Мерзавцы! — вырвалось у Башуцкого

— Эх, — с сожалением вздохнули саперы, а молодой подпоручик из французов недоуменно пожал плечами.

— За мной, ребята! — командовал Сутгоф.

— Здорово, гренадеры! — раздался вдруг оклик Николая.

Не сразу узнали его голос. Совсем не тот, что бывал на ученье. Вместо грубой властности — вибрирующая неуверенность.

Ответили сдержанно:

— Здравия желаем, ваше императорское высочество.

Николай проглотил «высочество», но оно холодным комом застряло в груди.

«Значит, не за меня». И уже совсем смирно проговорил;

— За меня — направо. Нет — налево.

— Налево! — приказали Панов и Сутгоф.

— Налево! — откликнулись гренадеры и маршем зашагали к каменной площади, к Медному Всаднику.

Рано утром генерал Воропанов, собрав всех офицеров лейб-гвардии Финляндского полка, поздравил их с новым императором и прочел, особенно внятно отчеканивая каждое слово, об отречении Константина и манифест Николая.

Белокурый поручик Андрей Розен вдруг отделился от вытянувшейся шеренги офицеров и еще по-юношески звонким голосом спросил:

— Если все читанные вашим превосходительством бумаги тождественны подлинникам, в чем имею причины сомневаться, то почему нам не приказали сразу же после кончины государя императора Александра Павловича присягать Николаю Павловичу?

Генерал оторопел. Не сводя налившихся кровью глаз с белокурого поручика, он отступил на несколько шагов и, глубоко забирая воздух после каждого слова, проговорил:

— Поручик Розен, о том думали и рассуждали люди и постарше и поумнее нас с вами...

Услышав насмешливое покашливание, генерал вовсе побагровел.

— Господа офицеры! — по-начальнически крикнул он. — Вы неприлично ведете себя. Да... да... неприлично... Неблагопристойно... Ступайте по своим батальонам и

приводите людей к присяге. И чтоб все было, как подобает! Иначе...

— Иначе вот что, — проговорил Розен, когда, вернувшись домой, прочел оставленную ему Рылеевым записку: «Вас ждут у вашего полка...»

— Распорядись, Анюта, чтобы не распрягали, — попросил он жену, которая с тревогой смотрела в его как будто внезапно постаревшее лицо. — Я должен сейчас же ехать...

— Андрюша, почему ты не глядишь на меня? — спросила Анна Васильевна, бледнея. — Должно быть, началось то, о чем ты мне рассказывал?

— Да, Анюта, то самое...

— А мне можно с тобой?

— Нет, мой дружок, нельзя тебе...

Она глубоко вздохнула:

— Ну, поезжай, господь с тобой... — Перекрестила и поцеловала в лоб, — только помни: я тебя жду.

На Исаакиевском мосту кучер обернулся.

— Ты что?

— Не проехать, ваше благородие. Народ валом валит.

Розен приподнялся в санях. Взглянул и вздрогнул.

От самого моста, по которому он ехал, и дальше вплоть до Исаакиевской площади и по самой площади, — всюду двигались и перекатывались с места на место густые толпы.

Пестрели шляпки, платочки, картузы, шапки, шали, блонды чепцов, купеческие кафтаны, армяки и кацавейки.

А в середине, у самого памятника Петру, над стройным четырехугольником по-военному одетых людей развивалось боевое золотисто-зеленое знамя Московского полка.

— Поезжай домой, — выпрыгивая из саней, приказал Розен кучеру и, придерживая длинную шпагу, звякавшую по булыжнику мостовой, стал пробираться к москвцам.

У самого каре кто-то взял его за плечо.

— Пуцин...

— Здравствуй, Розен. Видишь — маловато нас... Если можно, достань еще людей.

— А где же Трубецкой?

— Пропал... А может быть, спрятался... Так, если можно, достань помощи. А нет — и без тебя тут довольно жертв.

— Я сейчас, — и Розен бросился назад, в свой Финляндский полк. Запыхавшимся голосом он торопил солдат:

— Проворней, проворней! Вложить кремни. Взять патроны. Должно спешить, ребята. Нашей помощи ждут.

Батальон выстроился. Офицеры стали у своих рот. В это время от корпусного командира Воинова прискакал адъютант с приказанием вести батальон к Зимнему дворцу.

Двинулись колоннами.

На набережной граф Комаровский передал тот же приказ от имени царя.

Посредине Исаакиевского моста раздалась команда;

— Ружья заряжай!

Солдаты стали креститься.

Розен оглянулся назад: за его стрелками стояло еще шесть взводов, а впереди только один — карабинерский.

И, когда граф Комаровский скомандовал: «Вперед!» Розен, набрав полные легкие крепкого, холодного воздуха выдохнул всей грудью:

— Стой!

Никто не шевельнулся.

Напрасно командиры взводов пускали в ход все испытанные средства: окрики, ругань, угрозы... Солдаты стояли без движения.

— Подлецы! Мерзавцы! — кричал на них Комаровский. — Не слушаетесь команды, прохвосты!

— Всех не наслушаешься! Уж больно вас много, — несло по солдатским рядам. — Небось наш командир знает, что делает...

А по обеим сторонам шумел народ и ободряюще поддерживал стрелков:

— Молодцы ребята! Ай да молодцы! Что супротив своих идти! Часок подержитесь, а там по-своему повернем!

Комаровский в бешенстве стегнул своего коня и поскакал ко дворцу. И как бросают камнями в злого пса, так вслед ему понеслись насмешки:

— Гляди, шею свернешь — век плакать заставишь!

— Миколаю почтеньице передай!

Командиры взводов тоже разбежались.

Капитан Вяткин уговорил было карабинеров. Но лишь только они тронулись, снова раздалось грозное: «Стой!»

— Стой смирно и в порядке! — подняв шпагу, крикнул Розен. — Вы оттого не идете вперед, что присягали Константину. Так стой же! Я отвечаю за вас. И мою команду слушать!

— Рады стараться! — пронеслось по рядам карабинеров.

33. Четырнадцатое

В семь часов утра к Рылееву приехал его товарищ еще по кадетскому корпусу полковник Булатов.

Ночью Рылеев был у него и уговорил взять на себя командование теми войсками, которые перейдут на сторону восставших без своих начальников.

У Рылеева уже был князь Трубецкой.

— Вот вам, Трубецкой, помощник, — взяв Булатова за руку, сказал Рылеев. — Его, как храброго участника. Бородина, знает и любит весь гарнизон столицы и особенно гренадерский полк. Так помните же, друзья, — всем быть на площади и у всех одно стремление: привести как можно больше людей. Ну, ступайте...

Уже на улице Трубецкой и Булатов столкнулись с Михаилом Бестужевым.

Обменялись короткими словами.

— За ним?..

— Да. И вместе на площадь.

Рылеев вышел к Бестужеву в кафтане простолюдина поверх фрака и в смушковой шапке.

— Что это ты так странно вырядился? — улыбнулся Бестужев.

Рылеев смущенно оглядел себя.

— Пусть этот русский кафтан сроднит солдата с крестьянином при первых шагах их гражданской свободы, — проговорил он с чувством.

— Оставь эту затею, милый друг, — засмеялся Бестужев — уверяю тебя, что русский солдат не понимает таких символических тонкостей. А заметив из-под полы твоего кафтана фрачную фалдочку, примет тебя за лазутчика и, чего доброго, огреет прикладом.

Рылеев стал послушно снимать кафтан:

— Ты, пожалуй, прав. Это по-мальчишески как-то у меня получилось. Итак — без затей! Мечты наши близки к осуществлению. Но что ожидает нас самих? — как бы подумал он вслух.

— Меня ждут в Гвардейском экипаже, — вдруг заторопился Бестужев. — Пора идти, Кондратий.

Рылеев встряхнулся:

— Я только на момент к жене... Ты подожди, пожалуйста!

Он метнулся в комнату Натальи Михайловны. Оттуда послышался ее испуганный вскрик, потом быстрый взволнованный разговор. И Рылеев снова появился на пороге.

— Ну, я готов. — Он был очень бледен и оттягивал обмотанный вокруг шеи шарф, как будто тот был слишком туго завязан.

С распушенной косой, в вышитых бисером туфлях на босу ногу, еще розовая от сна, но вся дрожащая от страшной яви, следом за Рылеевым вбежала Наталья Михайловна. Не поздоровавшись с Бестужевым, она схватила его за рукав шинели и потянула в угол, где теплилась лампада.

— Вот перед образом скажите правду — куда вы уводите моего мужа? Ведь на погибель... Чует мое сердце, чует...

Бестужев молчал. Она бросилась к мужу:

— Не уходи, Кондратий, светик мой, не уходи!

Забыла, что рядом стоит чужой, прильнула всем телом — целовала губы, лоб, руки. И молила глазами и словами:

— Не уходи, не уходи!

Рылеев гладил ее по голове, старался успокоить ободряющей улыбкой. Но губы не слушались, а глаза не умели лгать.

Наталья Михайловна разрыдалась.

Из детской выбежала Настенька, босая, в длинной ночной рубашонке. Остановилась. Мгновение недоумевающе смотрела на родителей. Потом подбежала к матери, обняла и с упреком сказала:

— Папенька, вы что же маменьку огорчаете?

— Проси его, Настенька, проси, чтобы не уходил.

Девочка хотела рассердиться на отца, но не могла. Было что-то такое в его лице, отчего она тоже бросилась к нему со слезами:

— Папенька, миленький папенька...

Бестужев, стиснув зубы, поспешил из комнаты.

Рылеев с трудом разжал цепкие звенья нежных рук и выбежал вслед за ним.

До Фонтанки шли молча.

— Ну, я в казармы к солдатам, — вздохнув, как после слез, сказал, наконец, Рылеев. — Выпровожу их к Сенату, а сам в другие полки... А ты к матросам?

— Да.

И расстались.

Пройдя несколько шагов, Бестужев обернулся. Силуэт Рылеева быстро удалялся, чуть темнея в утреннем снегопаде.

Во второй роте Преображенского полка день начался так же, как вчерашний, позавчерашний и все иные... И вдруг, когда вся рота встала на молитву, распахнулась дверь, и в клубах морозного воздуха появился кто-то в штатском и в смушковой шапке. На бледном лице видны звездами сияющие глаза.

Мягкий, но настойчивый и уверенный голос зазвучал в тишине:

— Ребята, нынче начальство погонит вас на клятвопреступление. Не присягайте новому царю. Новый царь — новая кабала. Требуйте Константина. Ждите его, он идет из Варшавы...

Фельдфебель приблизился кошачьим шагом.

— Вы, сударь, кто такой будете?

— Я ваш доброжелатель, ребята. Поверьте, что искренняя любовь к вам заставляет меня говорить такие речи.

— Эва что, — протянул фельдфебель и кинулся к дежурному командиру.

А солдаты с жадностью слушали торопливые, горячие слова:

— От вас будет зависеть облегчение вашей жизни. Константин любит ваш полк. Николай ненавидит его. Константин уменьшит срок службы. Николай замучит муштрой. Константин обещает волю...

Дежурный офицер подкрался к говорящему, повернул его лицом к свету. И вдруг смутился:

— Простите, Кондратий Федорович, не узнал.

Еще несколько фраз, и Рылеев так же внезапно исчез, как и появился.

Дежурный офицер вышел вслед за ним и больше к солдатам не возвращался.

Во взбудораженной роте по адресу фельдфебеля раздавались:

— И послушать не дал как следовало, доносчик! погоди ты у нас, лазутчик...

Пушин пил крепкий, как пиво, чай, когда к нему вошел Рылеев

— Я был в казармах. Потом на площади, там никого нет. Поедем к Трубецкому.

— Да ведь рано еще. Впрочем, поедем, коли тебе не терпится.

Пушин надел длинную шинель с бобровым воротником.

Взял мягкую шляпу.

— А ты что же налегке? — заботливо спросил он Рылеева, на котором сверх фрака было накинуто коротенькое пальтецо.

— Так удобнее.

У подъезда богатого особняка графа Лавалья — отца княгини Трубецкой — долго звонили, покуда старик швейцар в синем сюртуке с позументом открыл тяжелую дверь.

— Князь Трубецкой дома?

— Рано утром выходить изволили, но вскорости вернулись и послали кучера в Сенат к его превосходительству сенатору Краснокутскому. Должно с приглашением, ибо господин сенатор тотчас же на наших санях к нам пожаловали.

— Он и сейчас у князя? — нетерпеливо спросил Рылеев.

— Никак нет, отбыли. А князь Сергей Петрович в опочивальню пошли. Камердинер сказывал, что...

— Нам незамедлительно надобно видеть князя Трубецкого, — перебил Рылеев старика.

Тот пристально оглядел гостей и развел руками:

— Уж и не знаю, как быть...

Из буфетной вышел лакей с серебряным подносом, на котором стояли кофейный прибор, сливки и вазочка с печеньем.

— Их сиятельству завтрак? — спросил старик,

— Князь Сергей Петрович приказали подать, — ответил лакей.

— Голубчик, — обратился к нему Пущин, — доложи, что желаем его видеть.

Лакей неторопливо поднялся по лестнице.

Через несколько минут Рылеев и Пущин вошли к Трубецкому.

Увидев их у себя в этот час, он весь засветился радостью:

«Значит, там на площади никого нет. И ничего не будет. И все будет хорошо. И завтра можно будет так же, как сейчас, тихонько, на цыпочках, зайти к Каташе, поцеловать теплое плечо, прикрыть одеялом крохотную ножку, а потом выйти в кабинет пить кофе и беседовать с этими милыми умниками о чем-нибудь хорошем, возвышенном».

— Очень рад вас видеть, — приветливо заговорил Трубецкой, — а у меня только что был наш Краснокутский. Оказывается, Сенат полностью уже присягнул Николаю и все сенаторы разъехались по домам. Так что, если бы мы захотели осуществить намерение в отношении передачи нашего манифеста Сенату, то и передавать-то его, выходит, некому...

Трубецкой проговорил все это с добродушно-насмешливой улыбкой и засуетился с угощением:

— Садитесь сюда, поближе к столику. Я велю подать завтрак. У меня чудесный ром, вывезенный еще...

— Виноват, князь, — Рылеев шагнул к Трубецкому. — Вы, кажется, изволите шутить. А ведь мы за вами пришли...

Трубецкой смутился.

— Но ведь... но разве на площади есть кто-нибудь? — спросил он упавшим голосом.

— Пока нет, но мы должны быть первыми.

Трубецкой смотрел на Рылеева и не узнавал. Смугло-желтое лицо его было сурово, глаза блестели холодным сухим блеском.

Обернулся к Пущину. У того во взгляде была обычная ясность, но строгость необычайная...

От этих устремленных на него глаз Трубецкой густо покраснел, отставил поднос, запахнул халат. И заговорил, торопясь и путаясь:

— Ах, какие вы, право. Ну, предположим, придет рота, другая или даже несколько батальонов... Впрочем, я ничего не говорю... Вы не сердитесь, друзья, а только подумайте сами...

Рылеев, стиснув кулаки, кусал губы.

«Ведь он его ударит», — испугался Пущин и крепко взял Рылеева под руку.

— Пойдем, князь выйдет следом за нами. Не правда ли, Трубецкой?

— Ах вы, чудачки, чудачки! Через полчаса меня здесь не будет.

— Виляет, — со вздохом сказал Пущин, когда они вышли на улицу.

Рылеев хмуро молчал.

Прошли до угла Офицерской и вдруг явственно услышали многоголосый гул и отчетливую барабанную дробь.

Рылеев весь затрепетал и ринулся вперед.

Пушин едва поспевал за ним.

На углу Гороховой остановились. Густая толпа преградила путь.

— В чем дело?

— Гвардия бунтует.

— Почему?

— Не хочет присягать Николаю. За Константина идут...

— Ур-ра! Ур-ра, Константин! Гляди, войска!

И расступились шпалерами вдоль тротуаров.

— А ведь началось! — с восторгом вырвалось у Рылеева. Он потащил за собой Пущина. — Скорей туда, к ним!

По мостовой скорым шагом, переходящим в бег, с развевающимся знаменем, под барабанный бой и крики «ура» двигались по направлению к Сенату солдаты Московского полка.

Прорвалась плотина, зорко оберегаемая самодержавной властью, и бурные людские потоки устремились к Сенатской площади.

У памятника Петру Михаил Бестужев остановил своих москвичей и роты поспешно построились в каре. Щепин-Ростовский, опершись на татарскую саблю, шумно переводил дыхание.

Из толпы показался Рылеев. Подбежал к Бестужеву. Обнял, трижды поцеловал. И сквозь слезы шепнул:

— Со светлым праздником, милый друг.

Пушин, проходя мимо солдат, перекидывался с ними шутливыми замечаниями.

Рылеев подбежал к нему.

— Мало, ах, как мало! Но я побегу, я приведу... измайловцев. Я уговорю лейб-гренадер...

И исчез в людской гуще.

— А Якубовича видел? — тихо спросил у брата Александр Бестужев.

— Как же, — с насмешливой улыбкой ответил Михаил, — когда мы подходили к Синему мосту, откуда ни возьмись он. Обнаженной шашкой над головой машет. Ну, точно на черкесов идет...

— Тс... вот он.

— Что ж, — подходя, начал Якубович, — ведь я говорил, что затеяли вы неудобноисполнимое дело... Войска-то маловато...

— Я не помню, чтобы ты это говорил, — ответил Бестужев. — А вот, что ты вчера сулил артиллерию привести, — помню твердо.

Якубович сердито поправил черную повязку и хотел что-то сказать, но в это время с Галерной улицы послышались звуки музыки, крики «ура» и барабанная дробь.

Подходил батальон Гвардейского экипажа во главе с Николаем Бестужевым.

— Ура! — встретили матросов москвичи.

— Ура! Ура! — подхватила толпа.

Батальон выстроился в колонну позади Московского полка. Моряки и солдаты переговаривались:

— Что-то ваши не все будто?

— Подойдут, дайте время! Только глядите, ребята, чтоб дружней!

— А то будто сами не знаем...

Из-за Исаакиевского собора донеслось звонкое цоканье подков, и тотчас же из солдатских рядов раздались радостные крики:

— Кавалерия к нам скачет! Ур-ра!

— Ур-ра, Константин! — подхватили и матросы.

Но конная гвардия пронеслась мимо и стала строиться у Адмиралтейства.

На Дворцовой площади один за другим появлялись полки Кавалергардский, Преображенский, Семеновский и позже часть Московского полка, которая не пошла за Бестужевым. Эту часть удалось уговорить остаться в казармах прискакавшему туда великому князю Михаилу Павловичу, который был шефом Московского полка.

Чтобы убедить солдат в законности требуемой от них новой присяги, Михаил Павлович прибегнул к тому же приему, который имел успех в казармах конной гвардии: сам подошел к аналою и первым присягнул Николаю, заставляя солдат повторять за собою торжественную клятву.

— Наши-то хороши! — презрительно кивали стоящие у памятника москвичи на своих однополчан, выстроившихся на Дворцовой площади, — супротив своих пошли, сукины сыны...

— Ты был в конной артиллерии? — спросил Оболенский Пущина.

— Да, но Сухозанет не пустил в казармы.

— Однако нас, видимо, считают серьезным противником, — сказал, подходя, Бестужев. — Смотрите, какие силы стягивают.

— А вон и наших прибывает, — радостно указал Оболенский на роты приближающихся лейб-гренадер.

Снова загремело ликующее, многократное «ур-ра!»

Гренадеры стали строиться налево от москвичей, не обращая внимания на уговоры полкового командира Стюрлера, прискакавшего им вслед. /

Каховский подошел к нему:

— Прощу вас немедленно удалиться!

— Прочь пошел! — топнул на него ногой Стюрлер.

Каховский выстрелил. Два гренадера отнесли в сторону смертельно раненного Стюрлера.

— Мы с батальонным командиром Пановым уж и надежду стали терять, — рассказывал Сутгоф, блестя синими, от шведа-отца унаследованными глазами. — И вдруг... Саша Одоевский вызывает меня и говорит, что люди готовы. Мы к ним: «Ребята, за нами, впе-е-ред!» И все семь рот хлынули

...Снова появился Каховский. Подошел и слушал молча. Боком, цепляясь одной ногой за другую, приблизился Кюхельбекер:

— Оболенский, где же наш диктатор?

— Не знаю, почему Трубецкого нет, — развел тот руками.

— Но послушайте, ведь нельзя же без начальника!

— Конечно, конечно, — поспешно согласился Оболенский. — никоим образом невозможно...

Подошли другие.

— Так как же быть?

— А будьте вы, Бестужев, начальником.

Николай Бестужев решительно отказался:

— На море — с удовольствием, а на сухом пути я, лейтенант, понятия в командовании не имею.

— Тогда вам, Оболенский, — Кюхельбекер взял его за руку и подвел к солдатам. — Вот вам, братцы, новый начальник.

Оболенский застенчиво улыбнулся, постоял минуту перед каре и вернулся к Бестужеву.

— Так как же быть? — снова повис тревожный вопрос.

— Подождем, — попробовал успокоить Оболенский.

— Чего ждать?

— Где Рылеев?

— Где Трубецкой?

— Трубецкой пропал куда-то, Рылеев мечется по полкам, уговаривает, людей, — сказал Пущин.

— Нашел время. Теперь уже только один язык возможен — язык оружия.

— Но ведь Трубецкой сказал — без него огня не начинать.

— Трубецкой, Трубецкой! — сердито передразнил кто-то. — А сам он где?

Каховский полными муки глазами смотрел на своих товарищей, переходящих с одного места на другое. Их растерянный вид и суматошные движения заставляли его страдать.

Он видел, что и солдаты с удивлением смотрят на своих новых начальников, которые то и дело сходятся группами, шепчутся, переглядываются и вытягивают шеи, всматриваясь в даль проспектов.

Одоевский и Пущин время от времени подходили к солдатам.

«Точно в светском салоне занимают гостей разговорами», — с горечью подумал о них Каховский.

— Смотрите, Анненков наш, с кавалергардами стоит. Вот и ладно, не пойдет же он против нас. Однако кавалерия в атаку идет.

— Пущин, командуйте вы.

— Да я в штатском, а впрочем... — он быстро подошел к солдатам:

— Ребята, я бывший военный, будете слушаться моей команды?

— Рады стараться, — оживились солдаты. — Только командуйте. А то что зря стоять.

Кто-то подал Пущину саблю.

— Го-товьсь! — раздалась его звучная команда.

Лошадиные морды конной гвардии вплотную придвинулись к каре. Клубы морозного пара от дыхания коней смешались с людским дыханием.

Зазвучали ружейные выстрелы.

— Ур-ра! — громынуло по всей площади, перекаатилось за Неву и по окрестным улицам.

Лошади, скользя и спотыкаясь, шарахнулись назад ко дворцу.

— Спасибо москвцам... Поверх голов стреляли, а то бы многих положили, — говорили кавалеристы.

И снова атака, такая же нестройная, спотыкающаяся. И переговоры между нападавшими и мятежниками:

— И чего прете, дуралеи? Ведь не за себя одних стоим. За всех...

— Попрешь, коли посылают, — отвечали с коней. — А вы держитесь, ребята.

И снова затишье с обеих сторон. Подскакал, было, генерал Сухозанет.

— Ребята, государь надеется, что вы образумитесь. Он жалеет вас.

Сухозанет, — крикнул Оболенский, — давай конституцию!

Сухозанет тряхнул султаном. Чей-то кирпич попал в этот султан, и из него посыпались перья. Раздался дружный хохот и свист. И генерал галопом вернулся ко

дворцу.

Еще несколько генеральских султанов — и снова свист, крики и комариное нытье пуль.

— Озябли, ребята? — подошел к каре Александр Бестужев.

— Есть маленько, ваше благородие.

Бестужев, сам не зная для чего, отдал приказание лейб-гренадерам стать на фасы, а москвцам — внутрь каре.

— Эдак в господских залах кадрили танцуют, ей-богу, — сказал усатый гренадер.

— Ума не приложим, чего топчемся на одном месте! — раздавались голоса. — Ноги отекли. Руки ружей не держат, пальцы свело. Есть охота!

Из толпы кто-то передал солдатам краюху хлеба. Потом другую, третью. Солдаты ломали их и ели. К Каховскому подошел Якубович.

— Стоим? — спросил он со злорадством.

— Стоим, — отрезал Каховский.

Якубович засвистал было что-то бравурное, но, взглянув в лицо Каховского, оборвал и спросил:

— А признайтесь, Каховский, что, если бы вы все согласились с моим предложением — разбить кабаки, захватить в церквях хоругви да двинуть всенародным крестным ходом, не стояли бы мы здесь так бездейственно, не морозили бы людей. Так ведь испугались рылеевского *moralite note 33*: «Подвизаемся, дескать, делу великому, и средства должны быть чистейшие...» Не по этой ли причине и ты не исполняешь того, о чем просил тебя Рылеев и чего он не допустил поручить мне?!

Каховский мрачно смотрел в устремленный на него насмешливый глаз.

— Нет, не поэтому, — проговорил он резко. — А потому, что, ища случай нанести удар Николаю, я должен был бы покинуть площадь и шататься возле Зимнего дворца. А это считаю бесчестным.

— Так-с. Ну, вы постойте, — дерзко улыбнулся Якубович, — а мне что-то неохота, к тому же голова изрядно болит. — И он скрылся.

Александр Одоевский нервно потирал руки.

— И Булатова нет, и Трубецкой пропал, — повторял он шепотом. — Булатов сам рассказывал мне, что попрощался со своими детьми и готов на все. А вот... и вовсе не явился. Что же это?!

Братья Бестужевы тихо разговаривали между собой.

— Ты обижался на меня за мои шутки по поводу затеваемого дела. А ведь так и вышло: ну, разве с эдакой малостью хотя бы и преданнейших солдат можно надеяться на успех? — говорил Михаил.

— Погоди еще крест ставить, — сам до глубины души огорченный ходом дела, все-таки возразил Александр.

— Как только стемнеет, многие к нам перейдут, — утешал Пущин.

— А вот и еще помощь, — указал он на небольшую группу юношей в кадетской форме.

Четким шагом они приблизились к каре и, отдав честь, остановились.

Один из них выступил вперед и доложил по-военному:

— Мы, посланцы Морского и Первого кадетского корпусов явились испросить

разрешения сражаться в ваших рядах за счастье нашего отечества, — в его еще ломающемся голосе звучала твердая решимость...

Лица у кадет были еще совсем по-детски округлы, но в глазах светилось подлинное мужество.

Пушин вдруг почувствовал, что вот-вот заплачет растроганными слезами. Он низко нахлобучил шляпу и отошел в сторону.

Бестужевы переглянулись. У обоих сердца наполнились гордостью.

Они крепко пожали юношам руки.

— Благодарите своих товарищей за благородные намерения, — с чувством проговорил Михаил Бестужев, — а себя поберегите для будущих подвигов.

Будто темная тень упала на молодые лица. Несколько минут кадеты стояли неподвижно, как бы в нерешительности.

— Молодцы кадеты! — бодро и дружелюбно произнес Николай Бестужев. — Запомните: если нас постигнет неудача — вам надлежит довершить в будущем начатое нами дело. А сейчас, налево кругом! Шагом марш! — как на ученье приказал он.

Посланцы дрогнули и, подчиняясь приказанию, замаршировали прочь.

— Присутствие этих милых птенцов рядом с усатыми гренадерами, поистине, оригинально окрасило бы наше восстание, — глядя им вслед, со вздохом сказал Михаил Бестужев.

— Участие детей в таком деле — небывалый факт в летописях истории, — задумчиво откликнулся старший брат.

— Но каковы русские ребята! — восторженно воскликнул Александр. — Напиши о таких — скажут выдумка...

— Смотрите-ка! — раздался чей-то удивленный возглас. — Попы зачем-то к нам!

Из придворной кареты, остановившейся у главного штаба, вышли два старика священника. Один, осанистый и русобородый, остался у кареты, держась за открытую дверцу. Другой, щуплый петербургский митрополит Серафим, придерживая полы длинной тяжелой рясы, шел прямо к каре.

Толпа расступалась. Солдаты ждали, что будет. Некоторые сняли шапки. Другие только подтянулись. Кругом погашало.

— Воины, — задребезжал в морозном воздухе старческий голос. — Воины! Вы против бога и отечества поступаете: Константин Павлович письменно и словесно трижды отрекся от российской короны. Синод, Сенат и народ присягнули государю Николаю Павловичу. Вы только одни дерзнули восстать супротив вашей священной обязанности. Я, первосвященник церкви, умаливаю вас — успокойтесь! Не пролейте крови одноземцев ваших. Отказался, точно отказался царевич. Коли не верите мне, — он высоко поднял над головой золотой крест, — сему кресту поверьте...

— Вы так же можете быть обмануты, как и мы, — прозвучал в настороженной тишине голос Каховского. — И зачем только нас уговариваете не приступать к кровопролитию? Силой слова и креста убедите противную сторону не проливать нашей крови. Поглядите туда, владыко. Видите, что затевают там. Пушки против нас выкатывают.

— Ступай к ним! Тут тебе нечего делать, — послышались негодующие возгласы.

Солдаты надели скинутые шапки. Из их рядов раздавалось:

— Ступай прочь, николаевский калуфер. Не верим тебе. Пора тебе помирать, а не морочить народ!

— Ты сам за две недели двум царям присягал!

Кто-то дернул его за длинную рясу:

— Поворачивай оглобли, старик!

— Да попроворней, чего оробел!

— Безбожники, исчадия ада... — шептал Серафим трясущимися губами и, пугливо пятясь, отступал.

На груди камней и досок, возле лесов строящегося Исаакиевского собора, мещанин в расстегнутом кафтане, с грязно-малиновым шерстяным шарфом на шее рассказывал:

— Видя такое варварское на все российское простонародье притеснение, Константин Павлович и вознамерился уничтожить оное. Съездил он к австрийскому королю. «Одолжи, говорит, тысяч сто войска, а то мои господа благородные первеющими мерзавцами и подлецами объявились. С престола меня вон долой, чтоб я за простой народ не стоял...»

— Господа — первеющие подлецы и есть, — уверенно слышалось в толпе.

— Не все подлецы, — сказала женщина, повязанная платком, с заячьей муфточкой в руках, — поглядите хоть на этих, что перед солдатами расхаживают. Явно — господа: погоны золотые, обличье тоже благородное. И разговор, сама слышала, учтивый. А ведь вот, забыв высокое свое положение и богатство, грудь под пули подставляют. И за кого, спрашивается? А ну-ка, рассудите!

Мещанин заглянул женщине в лицо:

— Чего ты, сударыня, в военном деле понимаешь?

— Дело не военное, а народное, — заступился за женщину парень с топором за ременным поясом.

— Эт-то так. Ишь, народу и впрямь сколько привалило...

— Держись, Микола! — звонко и насмешливо крикнул кудрявый каменщик в фартуке, сидевший верхом на толстой балке постройки. И, подбросив шапку, поймал ее на лету концом сапога.

— Дядь, дай ружжо подержать, — попросил мальчик в огромном картузе, закрывающем его лицо до румяных щек

Гренадер улыбнулся в бороду.

— Подержь...

Мальчишка стал на цыпочки и старался заглянуть в дуло.

— Нет, что ж, бывают и господа, за народ которые, — примирительно начал было обстриженный в скобку, судя по «оканью», ярославец.

— Ух ты, разжалобился... господский заступник, — подбежал к нему сухопарый человек в поношенной шинели. И лицо его было сухонькое, с белокурой бородкой, и взгляд серо-голубых глаз острый, хватающий. — Под пулями стоят, дескать, господа благородные. Скажи, отвагу нашел в чем. Нет, кабы хоть одного из них кнутом отодрали, вот бы я поверил, что поравняли они себя простому народу.

— Долго ль, коротко ль, а сего им не миновать, — поддержал его въехавший в толпу извозчик.

— Константин, сказывают, народ у господ не дольше, как на шесть месяцев оставит, а там под себя возьмет. Царские будем.

— Смышлен, видать. Башка на плечах не зря болтается, — ухмыльнулся кудрявый парень.

— Робя, гляди, генерал расскакался больно! — крикнули с верхних лесов, и над

головами пролетели камни, щепки и палки в генерала Воинова, подскакавшего к переднему ряду каре.

— Не галдите! Чевой-то лопочет, не слышать...

— Гони его, улю-лю...

Ловко брошенная палка сбила генеральскую шапку с кокардой. Лошадь взвилась. Седок пригнулся и ускакал ко дворцу.

В небольшом выходящем окнами на Неву кабинете новый император всероссийский Николай Павлович суетился вокруг стола, на котором лежал план Петербурга.

Генерал-адъютант Бенкендорф и назначенный петербургским военным генерал-губернатором граф Милорадович с лицами, будто запорошенными пылью, стоя навытяжку, слушали отрывистые приказания царя:

— У главного входа во дворец поставить девятую стрелковую роту лейб-гвардии Финляндского полка. Общую охрану дворца поручить саперам. Первый и второй взвод преображенцев, а также кавалергардский полк построить на Дворцовой площади. Вот здесь, — он хотел отчеркнуть карандашом, но нажал так, что кончик сломался. Николай швырнул карандаш на пол и властно продолжал: — Мост у Крюкова канала и Галерную улицу занять павловцам. Конной гвардии обогнуть Исаакиевский собор и выстроиться до Невы. К Конногвардейскому манежу послать Семеновский полк. Измайловскому полку быть здесь, — он провел ногтем от Синего моста до Адмиралтейского проспекта.

— Его высочество с генералом Толем находятся при этом полку, — доложил Бенкендорф.

— Знаю. Финляндский полк...

— Государь, — перебил Бенкендорф, — с этим полком также неблагополучно...

— Этот полк из моей второй дивизии, — запальчиво возразил Николай. — И я, командир, знаю своих людей...

— Ваше величество, — продолжал Бенкендорф, — имеется донесение что, когда первый взвод этого полка дошел до середины Исаакиевского моста, поручик Розен скомандовал «стой», и люди не пошли дальше.

— Розен? — Николай метнулся к столу, где лежал доставленный Дибичем из Таганрога список членов Тайного общества.

— К черту финляндцев, — выругался он, пробежав взглядом по фамилиям. — Я сам с первым батальоном преображенцев встану на углу Вознесенского и Адмиралтейского проспектов. Сюда мне и доносить...

Он снова наклонился к карте:

— Смотрите.

Генералы нагнулись.

— Видите, круг почти замкнут.

В кабинет быстрыми шагами вошел князь Васильчиков.

— Ну? — выпрямился Николай.

— Ваше величество, — Васильчиков перевел шумное дыхание. — Атаки конной гвардии и кавалергардов успеха не имеют...

— Измена? — хрипло спросил Николай.

— Гололедица, ваше величество... Лошади падают... Подковы без шипов, гладкие...

«И сам я как по гололедице вступаю на престол. Вот-вот упаду», — мелькнула у

Николая мысль, и будто увидел себя, жалкого и смешного, карабкающимся на ступени трона.

Хрустнул пальцами, хотел что-то сказать, но только лязгнул зубами, как голодный волк.

— Еще раз осмелюсь посоветовать вашему величеству, — тем же вкрадчивым голосом, каким недавно предлагал Александру душеспасительные беседы с Фотием, Васильчиков в третий раз предложил двинуть против мятежников артиллерию.

— Я сейчас буду туда сам, — не глядя ни на кого, сказал Николай.

— Слушаюсь, ваше величество.

Крутой поворот к выходу, но на пороге задержка.

Генерал, генерал Алексей Орлов. За ними генерал Сухозанет — и все с одним и тем же:

— В офицерах неповиновение.

— В людях беспокойство...

— Дело идет дурно.

— Прикажите...

— Повелите...

— Разрешите...

И назойливые советы:

— Артиллерия необходима.

— Картечи бы им!

А в дверях опять звон шпор, золото мундира, а выше красное лицо и тревожно насупленные брови. И снова обрывистый рапорт:

— Ваше величество, Московский полк в полном восстании. Шеншин и Фредерикс тяжело ранены. Мятежники идут к Сенату. Я едва их обогнал. Ради бога, прикажите двинуть против них первый батальон Преображенского полка.

— Генерал-майор Стрекалов, распорядитесь на фланги батальона поставить стрелков, — приказал Николай.

Один Левашев порадовал:

— Измайловский полк в полном порядке и ждет ваше величество у Синего моста.

— Сейчас, сейчас выйду. Оставьте меня одного. Да, граф, — задержал Николай Милорадовича, — какова цена вашим уверениям о спокойствии столицы? Вот вам и «мальчишки, альманашники»...

Милорадович выпятил грудь колесом.

— Я отправлюсь к бунтовщикам и уверен, что мне удастся уговорить их.

Николай язвительно усмехнулся:

— Вы, граф, так долго командовали гвардией, что вам, конечно, скорее поверят, чем кому-либо иному.

Милорадович щелкнул шпорами.

Оставшись один, Николай заломил руки на затылок, пригнул голову к холодному мрамору столика с исчерканной вдоль и поперек картой Петербурга и несколько минут оставался неподвижен.

Потом вскочил, взял колокольчик и от его дребезжания вздрогнул всем телом.

Влетел адъютант.

— Ты к шталмейстеру, князю Долгорукову, отправишься в Аничкин дворец. Скажешь, чтоб взял детей с обеими императрицами и привез их, если возможно будет, сюда. Если нет — в Царское Село. Придворных карет не брать, найми извозчичьи. И

чтоб ни-ни. Головой ответишь. Понял?

— Не извольте...

— Ступай, ступай...

Свист, хохот, улюлюканье, кирпичи, камни неслись из толпы навстречу каждому царскому посланцу, который отваживался приблизиться к мятежным войскам.

— Батюшки, глядите — сам генерал-губернатор прет...

— Где? Где? Братцы, дайте же взглянуть.

— Да вон, в санках стоймя стоит. За кучерово плечо держится.

Граф Милорадович, как был на присяге во дворце, в одном мундире с голубой андреевской лентой через плечо, промчался к казармам и через несколько минут подскакал к самому каре на белом тонконогом коне. Выхватив из ножен золотую саблю, он высоко поднял ее над головой:

— Ребята! Сабля сия подарена мне цесаревичем Константином в знак крепкой его ко мне дружбы. Изменю ли другу своему вовлечением вас в злостный обман? Истинно говорю вам — Константин Павлович отрекся по доброй воле...

— Слышали такое! Не верим! — отозвались из каре. — Пускай сам нам об этом скажет.

— Неужели среди вас нет никого, кто бывал со мной в боях против внешних врагов?! Пусть смело скажет: обманывал ли я когда своих солдат?

Солдаты молчали.

Милорадович ближе подъехал к цепи, выставленной Оболенским впереди каре, и уже по-начальнически крикнул:

— Ну, детушки, побаловались и хватит! Марш по казармам!

Старший в цепи унтер-офицер фузилярной роты Луцкий выставил перед лошадьё Милорадовича штык.

— Ты что делаешь, мальчишка? — грозно крикнул Милорадович.

— Отъезжайте, граф, — подойдя, строго сказал Оболенский.

— Куда нашего шефа девали? — гневно спрашивали из солдатских рядов. — Не будем менять присягу. Эдак каждому заезжему принцу присягать заставите...

— Вот вам истин... — начал, было, Милорадович, занося руку ко лбу.

Но в этот момент где-то совсем близко щелкнул пистолетный выстрел. Оболенский обернулся. Каховский медленно заносил за спину еще дымящийся пистолет.

Милорадович, как-то неловко клонясь к лошадиной шее, цеплялся пальцами за длинную разметанную гриву. Оболенский ткнул лошадь штыком. Она рванулась и, не доскакав до угла Дворцовой площади, сбросила с себя, как мешок с кладью, обмякшее тело, затянутое в шитый золотом мундир с голубою андреевской лентой.

Золотая сабля, блеснув мгновенным лучом, уткнулась в снег.

Рядовой Яригин выбежал из строя и поцеловал Оболенского.

— Ты что?

— А что начали бой...

— Это не я...

Каховский пожал плечами.

— Вот теперь бы самое время в атаку идти, — настойчиво заговорили солдаты. — Ишь как у них закопошились.

— Пушки подкатывают ближе. И чего ждем? В военном деле не полагается зря время убивать. Гляди, сам Микола возле пушек вертится, а братца к нам шлет.

Действительно, Михаил Павлович приближался к памятнику. Остановив коня шагах в двадцати, он стал рассказывать то же, что говорил артиллеристам и москвцам. Уверял, что Константин и ему заявлял о нежелании принимать корону. Но в ответ слышал упорное:

— Пусть сам Константин объявится!

— Надоели, — вдруг услышал Бестужев ленивый голос Кюхельбекера.

— Кто?

— Да они, — ткнул пистолетом Кюхельбекер в сторону дворца и прицелился в Михаила.

Бестужев схватил его за руку. Но выстрел раздался. Михаил Павлович, втянув голову в плечи, галопом поскакал назад.

— Ваше величество, прикажите послать за шинелью, — заботливо предложил Бенкендорф, когда увидел Николая на Дворцовой площади в одном мундире. — Ветер становится резким, и мороз усилился.

— Ты советуешь — за шинелью, Васильчиков — за артиллерией. Вижу, дело предстоит жаркое...

— Совсем одурели, каналы, — кивая в сторону Сенатской площади, поддакнул Бенкендорф. — Генерала Милорадовича ранили.

«Допрыгался хвастунишка», — подумал Николай.

— Послать к нему моего... — спохватился и «медика» не прибавил. «Может быть, для меня самого пригодится», — подумал с опаской.

Но Бенкендорф догадался:

— Не беспокойтесь, ваше величество. Врач Петрашевский уж и пулю вынул. Граф обрадовался, что она оказалась не солдатской. Разумеется, ее пустил кто-либо из каналов и фрачников.

— А ты в артиллерии уверен? — перебил Николай.

— Абсолютно, ваше величество.

— Когда она придет, прикажи Сухозанету построить правым флангом к бульвару, а левым — к Невскому проспекту, — и царь поскакал к измайловцам.

Он старался держаться особенно молодецки. И когда спросил у батальона: «Пойдете за мной?» — внешне вопрос прозвучал почти спокойно.

Батальон молчал, а за него во все горло гаркнул генерал Левашев.

— Рады стараться, ваше императорское величество!

— Ежели есть среди вас такие, которые хотят идти против меня, — продолжал Николай, — не препятствую. Присоединяйтесь к мятежникам.

— Ишь ты, смиренный какой, — сказал насмешливо кто-то в задних рядах.

— Ежели таких среди измайловцев нет — к атаке в колонну! Первый и второй взвод, вполоборота нале-во!

— Ур-ра! — опять неистово закричал Левашев и, как дирижер, взмахнул рукой.

— Ур-ра! — нестройно ответили измайловцы и двинулись к Адмиралтейству.

А им навстречу гремело:

— Ур-ра-а, Константин! Ур-ра-а!..

Откуда-то — не понять откуда — запели и зажужжали, как злые осы, пули...

— Ты рискуешь головой, — Михаил Павлович потянул Николая за угол.

Генерал Толь неотступно следовал за ними.

— Государь, прикажите очистить площадь или... — проговорил он угрюмо.

— Или что? — лязгая зубами, спросил Николай.

«Трусит он так или замерз?» — подумал Толь.

И, глядя прямо в будто замороженные глаза Николая, отрубил:

— Или откажитесь от престола.

— Я послал за артиллерией...

— Она прибыла с замедлением и без снарядов, — сообщил Михаил.

— За снарядами послать в артиллерийскую лабораторию и привезти их хотя бы на извозчиках! — иступленно крикнул Николай и так вонзил шпоры в коня, что тот взвился на дыбы и, как бешеный, понесся к бульвару.

Едва удалось осадить его у самой ограды. На всем скаку подлетел генерал Комаровский:

— Ваше величество, извольте...

Но Николай перебил с испугом:

— Кто этот белокурый полковник? Он сегодня уже несколько раз попадаетея мне на глаза. Смотрите, как он подозрительно держится.

Заметив, что говорят о нем, Булатов сделал быстрое движение, словно собираясь достать что-то из бокового кармана. Потом резко отдернул руку и юркнул в толпу.

Николай отъехал на несколько шагов.

— Ваше величество... — снова начал Комаровский и опять не договорил: прямо перед самой мордой царского коня откуда-то появился высокий драгунский офицер с черной повязкой на одном глазу, черноусый, черноволосый. В правой руке он держал обнаженную саблю, на острие которой был надет его головной убор с белым султаном. Выпуклый черный глаз дерзко уперся в лицо царя.

— Что вам надо? — вздрогнул Николай.

Офицер вытянул руку с саблей в сторону Сената и с чувством проговорил:

— Я был с теми, государь. Но оставил безумцев и явился к вам. Примите блудного сына, ваше величество! — трагическим шепотом dokonчил он.

— Как вас звать, капитан? — спросил Николай.

— Якубович, ваше величество.

— Спасибо, вы знаете ваш долг, — и, наклонившись с седла, Николай протянул драгуну два пальца.

— Довожу до сведения вашего величества, что мятежники дерзновенны и жаждут крови. Они...

Николай остановил его движением руки:

— Я осведомлен обо всем, господин... Якубовский...

— Якубович, — поправил драгун.

Но Николай уже отвернулся к подскакавшему генералу:

— Ну что, Сухозанет?

— Снаряды привезены, и орудия заряжены картечью, ваше величество.

— Хорошо, Сухозанет. Попытайтесь там в последний раз, — царь движением подбородка указал в сторону памятника Петру, уже окутывающегося сумерками.

Сухозанет стрелой помчался туда.

— Мало тебе Стюрлера и Милорадовича, — упрекнул Николая Михаил.

На Сенатской площади вспыхивали молнии ружейных залпов. Из белых дымков прибойно хлынул грозный многоголосый гул.

34. «Диктатор»

В Главном штабе старший адъютант дежурного генерала Яковлев прочел только что полученный из Сената манифест о вступлении на престол Николая, сложил его аккуратно и задумчиво посвистал.

«Выходит, что слухи о волнении в гвардии и о каком-то заговоре — вымысел праздных умов», — думал он, шагая по комнате.

Задержавшись у окна, он оглядел площадь и ахнул:

— Батюшки! А ведь и впрямь неблагополучно! Люди, войска! Пойти узнать...

В коридоре встретил князя Трубецкого и поразился его болезненным видом.

— По нездоровью вам и выходить не следовало бы, ваше сиятельство. Прошу в кабинет его превосходительства, — он распахнул дверь и пропустил вперед Трубецкого. Присядьте на диванчик. Вот манифест с приложением, извольте почитать. А я пойду разузнаю... — и Яковлев быстро удалился.

Трубецкой опустился на клеенчатый диван, уставился в еще пахнущий типографской краской манифест, но читать не мог. Буквы слились в черные полосы, и от этих черных по белому строк рябило в глазах. В кабинете было тихо, так тихо, что Трубецкому вдруг стало жутко. Он вытащил золотые на вычурной цепи часы. Взглянул на них и снова положил в карман.

«Однако который же все-таки час?»

Он опять достал часы и долго смотрел на стрелки.

«Что-то странное происходит со временем или со мною самим», — подумал он и вдруг прислушался: неясный гул долетал со стороны Дворцовой площади.

Трубецкой быстро подошел к окну, протер затуманившееся от его дыхания стекло рукавом мундира и увидел Дворцовую площадь, заполненную различными войсковыми частями: эскадроны конной гвардии в железных кирасах и касках, кавалергарды в белых колетах... Роты Измайловского полка, батальон егерского, гренадеры, семеновцы...

Дальнозоркими глазами Трубецкой жадно всматривался в эти войска и узнавал знакомых ему начальников полков.

Перед родным ему Преображенским полком мерно шагал его приятель, весельчак и картежник Славка Исленев.

Возле левофлангового павловца, круто выпятив грудь, стоял граф Ливен. Князь Мещерский что-то кричал своим гренадерам. Командир полка граф Апраксин гарцевал перед кавалергардами...

«Но почему же все они в одних мундирах? — удивленно отметил Трубецкой. — Ах да, ведь все сегодня утром были приглашены для присяги во дворец, а вместо дворца очутились на морозе... А рядом с Апраксиным... Нет, не может быть... Анненков?! Но он же наш...»

В воображении Трубецкого всплыла последняя встреча с Анненковым: Полина Гебль, Аглая Давыдова, исполинский ананас в руках Александра Львовича...

— Боже мой, и этот полк! — Трубецкой отшатнулся, протер глаза и снова прильнул к стеклу.

На Дворцовую площадь входили со стороны Невского проспекта стройные шеренги Московского полка с Михаилом Павловичем во главе.

Навстречу полку двигалась кавалькада всадников. В одном них Трубецкой сразу узнал Николая, в других — генералов Бенкендорфа, Васильчикова, Толя, Комаровского. Трубецкой не спускал глаз с Николая. Вот он поднял руку и что-то говорит солдатам. Вот отъехал с Михаилом в сторону, и сейчас же возле них очутился

Толь. Генерал что-то сказал, и Николай, как бешеный, помчался к бульвару, Комаровский следом... Вот царь остановился, и перед ним...

«Нет, не может быть... Я, конечно, обознался... Якубович! Он, он! Его черная повязка, его усатое лицо. Что-то белое на кончике его сабли... Так вот оно что! Вместо обещанного предводительства артиллерией — парламентар! Николай протягивает ему руку, значит мир заключен», — пронеслись у Трубецкого отрывистые мысли. И когда рассмотрел в стороне одинокую фигуру полковника Булатова, уже не удивился: Булатов предупреждал, что если увидит у Сената мало войска, «не станет себя марать». — «А у Сената дела, видимо, совсем плохи... Да и сам диктатор хорош! — упрекнул себя Трубецкой, чувствуя, как кровь горячим потоком прихлынула к лицу. — Гляжу на площадь, как на шахматную доску, и мечтаю, как бы сыграть хотя бы вничью...»

Словно в ответ на эту мысль, за окнами загремели пушечные выстрелы...

Батарея артиллерии, тускло освещаемая мерцанием сумерек, повернула жерла пушек к Сенатской площади.

— Больше нельзя терять ни минуты, — категорически заявил царю князь Васильчиков. — Немедленно картечь!

— Хорошо начало царствования, — поморщился Николай. — Картечь против подданных...

— Для того чтобы спасти престол, — торопливо подсказал Васильчиков. — Смотрите...

Без шапки, с растрепанными волосами, белый, как мел, галопом примчался Сухозанет.

— Сумасбродные! Требуют конституции, — едва мог он выговорить и закашлялся до синевы.

Николай скрипнул зубами.

— Батарея, орудия заряжай! — зычно раздалась его команда. — За-ря-жай!

А оттуда, из серого предвечернего тумана с чернеющим силуэтом вздыбленного коня, грозный отклик рокочущего:

— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а-а!

— Пальба орудиями по порядку! Правый фланг начинай! Первая!

— Первая, первая, первая! — пронеслось от Адмиралтейства и замерло у Невского проспекта.

Но выстрела не было. Пальник Серегин бросил уже зажженный фитиль в снег и придавил сапогом.

Николай пригнулся с седла к поручику Бакунину:

— Так вот как у вас...

— Виноват, ваше величество.

Бакунин метнулся к пушке.

— Ты что же? — встряхнул он пальника за грудь.

— Свои, ваше благородие.

— Я тебе, сволочь... Если бы я сам стоял перед дулом — и то должен палить.

Схватил фитиль. Серегин успел подтолкнуть дуло вверх. Грянул выстрел. Первый снаряд попал в сенатскую стену под крышу. Многократным эхом откликнулись ему ружейные выстрелы.

Николай спрыгнул с лошади и сам подбежал к пушке. Пригнул дуло. И снова скомандовал:

— Вторая, жа-ай — пли! Третья, жа-ай — пли!

Царь уже не смотрел туда, где падали люди, корчась в лужах крови с выкатившимися от ужаса и боли глазами. Он все повторял, притопывая правой ногой:

— Жа-ай! Пли! Жа-ай! Пли-и!

У Дворцового моста, куда кинулись обезумевшие толпы, тоже зарывкали пушки. Часто, оглушительно.

— Пали, пали! — орал фейерверкеру Левашев. — Жай! Пли!

— И наводить не надобно! — кричал на ухо Николаю Васильчиков. — Расстояние — рукой подать...

— Вся эта шваль стадом держится! — вопил в другое царское ухо Толь. — Давно бы так...

Николай приказал выкатить пушки на набережную, и картечь завизжала вдоль Невы. Рвала лед и взметала его острыми зеркальными осколками. Люди падали в мутно-черную воду, окрашивая ее струями крови.

«Ишь разгулялся как!» — с невольной брезгливостью подумал Михаил о брате, который не переставал топтать ногой и, как одержимый, с пеной на посиневших губах, неистово вопил:

— Жай-жай! Пли-и-и!

В Главном штабе вздрагивали стены и окна дребезжали и звенели.

— Значит, все-таки началось! И началось страшно! — шептал Трубецкой, вытирая со лба капли холодного пота.

Постоял несколько минут в остолбенении, потом схватился за голову и ринулся вон. А навстречу — испуганная стая военных чиновников. Лица бескровные, хохолки на головах торчком, фалды мундиров, как петушиные крылья при переполохе.

— Куда вы, ваше сиятельство! Не ходите! На Петровой площади бунт! Слышите, пушки палят?

Но Трубецкой, крепко держась за перила, спустился с лестницы,

У самого выхода столкнулся с правителем канцелярии:

— Не ездите, ваше сиятельство, — схватил тот Трубецкого за рукав. — Ужас что творится... На Морской, у Сената, у Адмиралтейства да, кажется, по всей столице пальба! Всюду войска, народ, убитые... Я своими глазами лужи крови видел... Слышите — пушки!

— Я тут неподалеку, к полковнику Бибикову, — отвечал Трубецкой. — Он должен быть в курсе...

У Бибикова пробыл несколько минут. Невпопад отвечал на вопросы и ничего не понимал из того, что говорил полковник. Извозчик отказался везти на Миллионную:

— Помилуйте, вашбродь, что ж под пули ехать! — И, хлестнув мерина, свернул в переулок.

И снова двор Главного штаба. Какие-то ящики, обитые железными обручами. Замерзшие лужи, кирпичи. Потом витая лестница и открытая дверь в канцелярию. А там суetyающиеся люди, бледные и говорливые. И все о том же, о том:

— Убитых сотни!

— А сколько потопленных в Неве!

— И всех хватают, всех тащат в крепость!

— Не в крепость, а во дворец!

— Стюрлера, говорят, — наповал!

— А Милорадович еще жив, но помрет не нынче-завтра. Арендт, говорят, рукой

махнул, как увидел рану...

Трубецкой прислонился к стене. Перед глазами поплыли оранжевые круги, сердце забилося где-то около горла, и темное забытье обморока заволокло сознание.

Он пришел в себя в какой-то каморке, на деревянной скамье. Возле него суетился старик, — должно быть, сторож или дворник.

— Вот и очнулись, ваше благородие. Я вас и водицей сбрызгивал. Вишь, сердце зашлось как...

— Да, я очень нездоров, — слабым голосом ответил Трубецкой и стал застегивать шинель. — Помоги, братец, спуститься да кликни извозчика.

— Сейчас-то, пожалуй, можно и ехать. Пальба вовсе утихомирилась. А куда прикажете нанимать?

— На Миллионную, к дому австрийского посольства.

— Тогда пушай через Аглицкую набережную везет, а то иначе не проехать: пикетов наставлено видимо-невидимо...

Как Трубецкой и надеялся, Катерина Ивановна, едва только узнала, что он ушел из дому, а в городе спокойно, тотчас же поехала к своей сестре — жене австрийского посланника Лебцельтерна, который обычно обо всем знал.

Здесь с волнением обсуждали события, и отсутствие Трубецкого всех тревожило.

Когда он, наконец, появился, Каташа бросилась ему навстречу, хотела попрекнуть за то, что заставил ее так беспокоиться, но, взглянув на него, только спросила:

— Что с тобою, Сержик? Ты очень бледен...

Трубецкой устало опустился на близ стоящее кресло.

— Тоска, Каташа... Лютая тоска...

— Пойдем в гостиную, мой друг, — звала Катерина Ивановна. — Там папа, мсье Воше и секретарь французского посольства. Мсье Легрен и мсье Воше были сами очевидцами того, что творилось на Сенатской площади...

— Мне никого не хочется видеть, Каташа...

— И напрасно, Сержик. Пойдем — на людях развлечешься.

— Что за ужасная история, князь? Отчего она вдруг возникла? — встретили Трубецкого возмущенными вопросами Лаваль и Легрен. — Почему бунтуют гвардейцы?

— Вероятно, в некоторых ротах забыли прочесть завещание покойного императора относительно его преемника, — не глядя никому в глаза, ответил Трубецкой.

— Полно, князь, — возразил Легрен, — дело совсем не в нескольких ротах. На мой взгляд, у мятежников было не менее трех тысяч штыков и при этом из привилегированных полков и Гвардейского экипажа. Да и среди тех, кто стоял у дворца, тоже было немало колеблющихся. Я собственными ушами слышал, как некоторые солдаты говорили: «Вот стемнеет, и мы туда перейдем», то есть к мятежным войскам.

— Но у мятежников не было артиллерии, — сказал Лаваль.

— Я знаю точно, что и артиллерия колебалась, — заявил Лебцельтерн. — У двух батарей при выезде оказались перерезанными построики, а у тех, что прибыли на Дворцовую площадь, не было снарядов... Мой атташе видел, между прочим, перед каре противу правительственных войск также и штатских, которые держались весьма воинственно.

— Да, да, я с графом Шварценбергом проходил близко и узнал среди этих

штатских некоторых молодых людей, которых встречал у вас, князь, — обратился Воше к Трубецкому. — Все они точно ожидали чего-то,

Трубецкой покраснел, а Воше, принимая из рук Катерины Ивановны чашку душистого чая, продолжал:

— Я видел там и князя Александра Одоевского. Он был очень оживлен. Мне, между прочим, говорили, что два эскадрона конной гвардии на быстром аллюре прорвались между Сенатом и мятежниками и сразу же стали их окружать. В общем слухов масса — и все такие ужасные...

— Да, тяжелый день, — вздохнул старик Лаваль. — Несомненно, что у мятежников был какой-то замысел, но что-то мешало им проявить должную инициативу.

— Вероятно, они убедились, что их средства несоразмерны их замыслам, — глухо произнес Трубецкой.

«Он совсем болен», — с беспокойством всматриваясь в лицо мужа, решила Катерина Ивановна.

— *Que diable!* — с сердитой насмешкой проговорил секретарь французского посольства. — *Si on a voulu faire une revolution, se n'est pas comme cela qu'il fallait s'y prendre!* *note 34*

— А быть может, неудача произошла оттого, — возразил Воше, — что у них не было смелого и энергичного военачальника.

Трубецкой поперхнулся чаем и закашлялся. Потом извинился перед хозяйкой и, ссылаясь на сильную головную боль, вышел вместе с Каташей.

В квартире Рылеева стояла необычайная тишина. Хозяин и гости устало обменивались словами. Горела одна свеча, кем-то небрежно сдвинутая на край стола.

— Не могу забыть глаз Яригина, — сжимая виски, с тоской говорил Бестужев. — Когда мы добежали до середины Невы, уже против самой Петропавловской крепости я остановил людей. Я решил занять крепость. Стали строиться. И в этот момент ядро — в самую гущу. Огонь, кровь... Вдруг лед стал опускаться, и жадная вода... Нет, не могу... — он опустил голову и замолк.

— Чудо, что из нас никто не ранен, — проговорил Пущин.

— Как не ранен? — откликнулся Рылеев. — Дух мой смертельно ранен. А это хуже, тяжелее ран телесных!

— А вы, Владимир Иванович, так и не дописали манифеста? — насмешливо спросил Каховский.

— Да ведь оказалось, что и дописывать было не к чему, — теребя очки, ответил Штейнгель.

— Так, так, — Каховский пристально рассматривал свой кинжал.

Штейнгель тоже посмотрел на его клинок и, не подумав, сказал:

— Впрочем, и вы не выполнили порученного. — А сказавши, тотчас же пожалел; по худому, за один этот день постаревшему лицу Каховского прошла болезненная гримаса.

— Будет с меня... Стюрлера и Милорадовича на душе имею, — глухо произнес он и протянул кинжал: — Возьмите эту вещицу на память обо мне. Ведь вы-то спасетесь...

Note34

Черт возьми! Если уж захотели сделать революцию, то не так надо было за это браться! (франц.)

Штейнгель взял кинжал и положил возле себя на стол.

Помолчали.

Рылеев опустил руку Михаилу Бестужеву на плечо:

— Я написал нынче Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, предваряя его, как все получилось у нас и чтобы они же не натворили. И чтобы осторожно полагались на таких людей, каким оказался Трубецкой, — как будто с трудом выговорил он последние слова.

Штейнгель собрался уходить. Каховский заметил, что он прикрыл кинжал салфеткой и оставил лежать на прежнем месте.

Каховский промолчал и вскоре после ухода Штейнгеля тоже стал прощаться.

— Увидимся ли, Петя, друг? — крепко сжимая его руку, спросил Рылеев.

Каховский сунул кинжал в карман. Постоял у порога.

— Поклонись от меня Наталье Михайловне и Настеньке.

И ушел.

Всю ночь он бродил по улицам, пустынным и тихим. Костры, зажженные расставленными пикетами, горели, как погребальные факелы над одетым в снежный саван Петербургом. Надрывно завывала поднявшаяся метель. Каховскому хотелось скрежетать зубами, как скрежетал кто-то невидимый там, у памятника Петру.

— Ужели я лишаюсь рассудка? Но нет же, нет, — я явственно слышу скрежет... — И Каховский быстро побежал к памятнику.

— Что же это? Кто там скрежещет так страшно? — крикнул он, и сам испугался своего голоса.

А из темной амбразуры ворот кто-то ответил:

— Это, батюшка, кровь соскоблить велено. Чтоб к утру и следов не осталось. Вот саперы да хожалые и стараются... работают...

«Дорогой, дорогой Константин! Твоя воля исполнена, но, боже мой, какую ценой! — писал брату Николай. — Будем надеяться, что этот ужасный пример послужит к обнаружению страшнейшего из заговоров. События вчерашнего дня все же лучше безъясности, в которой мы находились. Революция была на пороге России. Но она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором. Мне доносят, что Милорадович скончался, Стюрлер тоже в отчаянном положении. Какие чувствительные потери. Временным военным генерал-губернатором я назначил Голенищева-Кутузова. Он единственный человек, на которого я могу положиться в настоящий критический момент.

У нас имеются доказательства, что все велось неким Рылеевым, статским, и что много ему подобных состоят членами этой гнусной шайки...»

35. Прерванный маскарад

В одной из комнат, отведенных графиней Браницкой семье Давыдовых-Раевских, шло секретное совещание.

Молодой жене Базиля Давыдова, Сашеньке, нездоровилось. У нее то и дело кружилась голова и под сердцем, будто чугунная гирька перекатывалась.

Через спинку вольтеровского кресла свесилось приготовленное для маскарадного наряда белое атласное домино...

— Поверь, Элен, невозможность присутствовать на маскараде смущает меня главным образом потому, что я знаю, сколь огорчительно будет для Базиля не видеть

меня среди масок. Он опять станет упрекать меня в капризах. Ведь он так настаивал, чтобы я сюда приехала. Даже странно, почему ему этого так хотелось...

— А ты ему объясни, что нездорова.

— Душенька, Элен, мое нездоровье связано с большою радостью... Но я хочу сообщить об этом Базилю в день его именин, в Новый год...

— Ах, вот что! — Элен чуть порозовела.

Груня, подаренная Екатериной Николаевной Сашеньке в горничные, положила на колени белые атласные туфельки, к которым пришивала муаровую ленту.

Поглядела, напряженно сдвинув золотистые брови, на Сашеньку, и вдруг всплеснула руками:

— Ох, родимые вы мои матушки, — зажурчал ее веселый голосок. — Да чего же я надумала! — Она вскочила с ковра: — Сей минутой Уляшку кликну. Она парик седой пудрить побегла.

Всплеснулся розовый сарафан, и тугая коса с синей лентой закачалась по спине.

— Да в чем дело, сказывай.

— Сейчас, сей минутой!

Опрометью выбежала и скоро снова появилась в дверях. За ней вошла Улинька, тоже запыхавшаяся. В одной поднятой руке она держала серебристый пудренный парик. В другой — пульверизатор.

— Изволили звать? — спросила она, и глаза ее, как всегда, когда они обращались к Сашеньке, посветлели и блеснули так, как блестит синим утром первый тонкий ледок.

— Погоди, — заслонила ее Груша. — Извольте выслушать, каково я хитро придумала: Уляша с барышней Еленой Николаевной точка в точку одного роста, а супротив вас, барыня, ежели и повыше, то самую малость. Мы ее заместо вас и обрядим. Барину Василию Львовичу и невдомек будет, что не вы. Уляша заместо вас все танцы спляшет, а вы тем временем на постелюшке на мягонькой сладко почивать будете.

— А ведь недурно, Элен? — улыбнулась Сашенька.

— Чего уж лучше, — торжествующе проговорила Груша.

Елена внимательно поглядела на Уляню.

Та без улыбки опустила глаза, и стало похоже, будто мохнатые шмели уселись у ее вздрагивающих век.

— В самом деле, Улинька, — сказала Елена. — Отчего бы тебе не поплясать? Ты ведь большая мастерица в танцах.

— А коли по голосу узнают? — тихо спросила Улинька.

— Чего сказала, по голосу! — насмешливо передразнила Груша. — Барышни нарочно орешек в рот берут, чтоб в машкераде разговорную манеру изменить.

— Так как же, Улинька? — спросила Александра Ивановна.

— Как вашей милости будет угодно, — ответила Уля, и розовые пятна выступили у нее на лбу и щеках.

Костюмированный бал у графини Браницкой не отличался пышностью ее обычных балов.

Многие из военных носили траур по императору Александре, а потому танцевали из них только те, кто был в маске.

Графиня Браницкая в седых буклях и пышном чепце, стоя в высоких дверях зала, оглядывала в лорнет стремительно несущиеся в grand rond'e маски.

«Любинька Шаховская — истая Аврора, — рассуждала она об одной из них, — но зачем бриллиантов столько повесила? Даже головка под их тяжестью клонится. Кажись, все маменькины драгоценности в ход пошли».

Кто-то слегка прикоснулся к плечу графини. Она обернулась. Ее дочь, Елизавета Ксаверьевна Воронцова, устало облокотясь на руку Александра Раевского, проговорила:

— Я пройду к себе, maman, я очень утомлена. — И, высоко держа украшенную диадемой голову, она стала продвигаться среди танцующих. Раевский шел следом за нею.

У выхода из залы Воронцова что-то сказала ему. Он поклонился и, пропустив ее вперед, остался стоять у двери.

«И чем только все это кончится? — с беспокойством думала Браницкая, уже давно знавшая о связи дочери с Раевским. — Неужто. Воронцов так и не догадывается ни о чем? А ведь Павлик весь в Раевского», — вспомнила она о меньшем сыне Воронцовых. И ей вдруг захотелось сейчас же пойти взглянуть на этого своего любимого внука, который с вечера что-то слишком капризничал.

Но две маски — испанский монах и альпийская пастушка — остановились возле нее.

— Графиня, *la mort ou la liberte?* *note 35* — спросил монах.

Его молодой взволнованный голос показался Браницкой знакомым.

— Что за карбонарийские вопросы! — упрекнула она,

— Умоляю вас, графиня, ответьте! — просил монах.

«Ну, конечно, это Мишель Бестужев, — узнала графиня, — экой сумасбродный!»

И ответила холодно:

— Кому что полагается...

Монах звякнул шпорами под длинной черной рясой и, обняв свою даму, закружил ее в бешеном темпе загремевшей с хор мазурки.

Графиня, поджав губы, снова взглянула туда, где стоял Раевский. Тот с явно выраженным нетерпением слушал Базиля Давыдова.

— Сегодня сюда ожидался Пестель и братья Муравьевы, — говорил Давыдов. — Ты их не заметил среди масок?

— Нет, не заметил. Элен также осведомлялась о Пестеле. Странно, что у ангелов может возникать интерес к злым духам, — проговорил Раевский с сарказмом.

— А разве интерес демонов к добродетели менее удивителен? — намекнул Давыдов.

Раевский пошевелил тонкими губами:

— И ты приписываешь мне эту пушкинскую кличку? Кто же в сем случае добродетель, коей я интересуюсь?

Давыдов смешался.

— Все наши дамы добродетельны, — с поспешной шутливостью ответил он. — И первая из них вот то одинокое домино — моя супруга.

Он быстро заскользил в противоположный угол залы, где, опершись о золоченую спинку вычурного диванчика, стояла маска в белом атласном домино.

— Как я доволен, что ты, наконец, появилась, Сашетта! — сказал он. — Идем

Note35

Смерть или свобода? (франц.)

танцевать.

Маска молча положила руку ему на плечо.

Базиль, сделав несколько первых шагов, крепче обнял даму и вдруг почувствовал, как она вздрогнула и прильнула к нему.

— Сашетт, ты сегодня необычайна, — все ускоряя темп танца, говорил Базиль, — я не узнаю тебя...

А белое домино, едва касаясь паркета, тянулось к своему кавалеру и каждым своим ритмичным движением и еле уловимой под кружевом маски улыбкой.

Амур в розовом трико, блестя отороченными серебром кисейными крылышками, порхал вокруг альпийской пастушки. Блестящая стрела его колчана с шаловливой угрозой прикасалась к вееру, которым раскрасневшаяся пастушка — Олеся Муравьева-Апостол — прикрывала свою декольтированную грудь.

— Вы нынче так грустны, — шептал амур, — все ищите кого-то глазами, все вздыхаете. Успокойтесь, граф Капнист здесь...

— Ах, я вовсе не о нем беспокоюсь, — невольно вырвалось у Олеси.

Амур ближе нагнулся к ее маленькому ушку, алевшему меж гроздей черных локонов.

— Так неужто о князе Федоре? Экой он счастливец! Надо спешно передать ему такую весть. А то, глядите, какая у него постная физиономия. Скорбящий сатир, да и только...

— Полно болтать глупости, амур, — прервала Олеся. — Я не спокойна за братьев. Сережа и Матвей обещались быть сюда, а между тем...

— Ах, я упорхаю! — вскочил амур. — К вам приближается сатир, и мои крылья самовольно уносят меня прочь.

Амур быстро засеменял затянутыми в розовое трико крепкими ногами. Крылышки затрепетали, и их серебряные галуны загорелись радужными искрами.

К Олесе подошел князь Федор.

— Позвольте присесть?

Олеся молча указала веером на освободившееся кресло.

Князь грузно опустился в него, и Олеся почувствовала, как что-то пряное, густое и горячее стало обволакивать ее голову, плечи, всю ее, от соломенной пастушьей шляпки до красных сафьяновых туфель.

«Духи у него такие крепкие, — мелькнула у нее мысль, — или это оттого, что он так глядит на меня».

Князь провел языком по губам и шумно вздохнул:

— Зачем вы бежите меня, Олеся?

— Затем, что вы преследуете меня, князь.

В узких прорезях ее маски блеснули зеленоватые глаза. С маленьких губ слетел короткий смешок. Князь придвинулся ближе.

— Олеся, — заговорил он глухо, — Олеся, откажите Капнисту. Что даст вам этот мальчик? Олеся, вы знаете, что я могу значить при нынешнем дворе. Вам известно, сколь я богат. Всякое ваше желание станет для меня сладостным законом. По выражению вашего взгляда, по малейшему движению ваших губ я стану угадывать ваш каприз прежде, нежели вы успеете его выразить... Со мною вы узнаете...

— Простите, князь.

Олеся, приподнявшись, всматривалась в отдаленный конец зала.

Там, в дверях, возле графини Браницкой появились какие-то новые фигуры.

Испанский монах быстро подлетел к Олесе.

— Тур вальса, милая пастушка, — пригласил он.

Олеся положила руку ему на плечо, и они понеслись вдоль

— Мадемуазель, — тихо заговорил монах. — Там возле графини — жандармы. Не пугайтесь, мадемуазель Олеся. Они спрашивают о Сереже...

Лежащая в руке Бестужева-Рюмина маленькая рука Олеси дрогнула и похолодела.

— Я сейчас исчезну с бала, чтобы успеть предупредить Серёжу, — продолжал Бестужев.

— Мне дурно, мсье Мишель, — слабо проговорила Олеся. — Проводите меня на место и попросите ко мне Алексея Капниста. Он, вероятно, у карточных столов...

Мишель крепче охватил затянутый в черный бархат тоненький стан Олеси и осторожно повел ее к диванчику, стоящему неподалеку от графини Браницкой.

Взяв из рук Олеси веер, Мишель торопливо взмахивал им над ее белевшим из-под кружев лицом и в то же время жадно прислушивался к словам старухи Браницкой.

— Это так нелепо, господин Ланг, — говорила она жандармскому офицеру. — Право же, я сначала подумала, что кто-то из расшалившейся молодежи шутки ради вырядился в форму жандармов. Мыслимо ли в моем доме искать изменников государю?!

— Виноват, графиня, но по долгу службы я обязан, — сдержанно, но настойчиво возразил Ланг сильным голосом. — Я сам никогда бы не...

— Я не позволю, — перебила графиня, — насильственно снимать маски со своих гостей. Но уверяю вас, что тех, кого вы ищите, у меня нет. А ежели были бы, я сама привела бы их к вам!

Ланг опять что-то возразил. Браницкая гневно повысила голос.

Вокруг них стали останавливаться пары.

Музыка перестала играть. Послышался тревожный шепот, возгласы. Торопливо зашаркали ноги, зашуршали шлейфы. Легкие туники вспархивали, как взметнувшиеся от ветра мотыльки...

Большой зал, только что такой шумный и многолюдный, пустел и затихал.

Граф Капнист подбежал к невесте.

— Олеся, не волнуйся, дорогая. Мерси, Мишель, — протянул он руку Бестужеву, но тот уже ринулся прочь.

Черным смятым крылом мелькнула в дверях его монашеская ряса,

Лакей князя Федора, Кузьма, передав кучеру Панасу приказание закладывать лошадей, побежал к старой господской прачечной, где жил его отец, много лет назад купленный графиней Браницкой у князя Федора за редкое умение присвистывать песельникам в плясовых песнях.

— Рубаху бы мне чистую, тятенька, — глухо проговорил Кузьма.

— Что-то не во-время, сынок? — удивился старик.

— Самое время подошло, — таким тоном ответил Кузьма, что старик, приподнявшись на лежанке, пытливо уставился в его лицо, слабо освещенное тлеющей лучиной.

— Сказывай, что надумал.

Сын молчал.

Старик спустил отекшие, как колоды, ноги и, шаркая, подошел к лучине. Со стоном раздул ее и, взяв в руки, обернулся к сыну. Тот стоял, опустив голову.

Красный отблеск огонька заерзал по его землисто-серому с плотно сжатыми

губами лицу.

— Видать, ты давешней своей думы-то не кинул. Так, што ли? — тихо спросил старик.

— И не кину!

Кузьма стукнул кулаком по столу. Чашка с отбитой ручкой с жалобным звоном стукнулась о брошенный на стол кнут.

— Неугомонный ты больно, Кузьма. На рожон-от прешь. Ну, чего надумал?

Старик снова подул на лучину. Несколько искорок упало на земляной пол. Лучина вспыхнула ярче.

— А то надумал, тятенька, что мы с Панасом порешили нынче же прикончить нашего князя. Как выедем с ним к оврагам, как почнем нахлестывать лошадей... Пущай и они сгинут, абы из старого пакостника дух вон...

— А как же сами-то вы с Панаской? — как стон, вырвалось у старика.

Кузьма тяжело опустился на лавку рядом с отцом.

— Мы-то? Останемся в живых — пути-дороги сыщем... А только лучше бы и мне конец...

Лучина, догорев, обожгла старика. Он растерянно уронил ее и поплевал на пальцы.

— Тебе, Кузьма, на покров двадцатый годок всего минула, а ты жизнь свою загубить собираешься. Нешто мысленно такое... — с глубокой скорбью проговорил старик.

— Ни к чему мне теперь жизнь, тятенька, — простонал Кузьма.

— Чтой-то так, сынок?

— А то, что собирался я Панасову сестренку Катюшку замуж за себя взять. И она согласна была. Спросил я у князя разрешения на свадьбу, а он: «Ладно, говорит, только покажь мне кака-така невеста твоя. Я и не упомяну девки такой»

— Так-так, — настороженно произнес старик.

Кузьма глубоко перевел дыхание:

— Увидел князь Катюшку, за косы потрепал шутейно. «Золотые, говорит, у тебя, девушка, косы. Ну, что ж, говорит, иди замуж, да только допрежь свадьбы послужи в моих палатах...» И забрали Катюшку в господские хоромы. Попервоначально все как будто ничего было. А в самый сочельник прибежала Катюшка вечером к буфетчику и спрашивает для барина моченых вишен. Расстроенная такая, рассказывал мне опосля буфетчик, сама не своя... Меня в ту пору дома не было — по приказу князя возил я муравьевской барышне в Бакумовку оранжерейные цветы. Вернулся я утром, а у нас по всей усадьбе переполох: Катюшка сгинула. Всю деревню обыскали — нету... По княжескому велению всю округу исколесили — нету! Под вечер прибегли из-под Бакумовки мужики и сказывают, будто видела бабка Лавриха на утренней заре у лесной опушки девку простоволосую. Бабка сунулась было к ней, а девка как заорет, как шархнет от нее, вроде полоумная, в лесную гущу... — Кузьма перевел шумное дыхание. Оно обдало жаром склоненное к нему отцовское лицо.

— Ну-ну, сынок...

— Доложили обо всем князю, — продолжал Кузьма, перехватывая воздух. — Приказал он весь бор обыскать. Да разве бакумовский бор, обыщешь! В нем от гущины и днем темно, будто ночью... Кричали мы, свистели, аукали, да только белок напугали, и волк в чаще взвыл. Как стемнело, мужики пошли по домам, а я всю ночь напролет по лесу шарил и все кликал Катюшку, покуда голоса не стало. А она так и не

отозвалась... — Кузьма не то всхлипнул, не то поперхнулся.

— Ну-ну, — опять произнес старик.

— Приплелся я в усадьбу, — после долгой паузы снова заговорил Кузьма, — кличут меня к князю. Вошел я. Он хмурый-прехмурый по комнате шагает, а на столе возле кровати блюдечко с моченым вишеньем... Эх... «Кузьма, — говорит князь, — найди Катюшку. Отыщешь — женись на ней хоть сегодня». Я молчу, знай, прибираю спальную. Сдернул с постели одеяло и будто мне кто песку горячего в глаза сыпнул: на простыне алая Катюшина ленточка, та самая, что я ей в Тульчине на ярмарке купил и своими руками в косу вплел...

— Вишь, дело какое... — выдохнул старик.

— Ну, дашь рубаху? — поднявшись с лавки, сурово спросил Кузьма.

— Сейчас, сынок. Дай огонек раздую. Кремень-от куда-то запропастился...

Старик шарил вокруг себя. Хотел встать, но ноги не слушались.

— Возьми, сынок, сам. Под лавкой у печи сундучок. Под ремнем рубаха-то свернута.

Кузьма ощупью нашел сундук. Отбросил крышку. Пахнуло из сундука цвелью. Запустил руку. Сверху армяк, за ним полушалок покойной матери — его по родному запаху узнал Кузьма. Рядом холодная кожа ремня, а под ним на шершавом нестроганном дне рубаха колкого холста.

— Одна она у тебя? — спросил Кузьма.

— Одна-разъединая, касатик, — ответил старик. Да ништо, бери.

В темноте тяжело зашаркал к сыну. Нащупал его горячую всклокоченную голову и притиснул к своей худой груди

Не поднимаясь с колен, Кузьма охватил отекие отцовские ноги и тихо проговорил:

— Прощенья прошу, тятенька...

36. Облава

Князь Сергей Волконский торопил кучера. Но полозья уходили глубоко в снег, и лошади с трудом влекли ныряющие, как челнок, сани.

Надвигался вечер. Снег синел. Из-за лесу поднялась красная, похожая на закатное солнце, луна.

Волконский плотнее закутался в медвежью шубу.

— А мы не собьемся с дороги?

— Никак нет, ваше сиятельство. Опосля этого лесу выедем на большой тракт, что бежит на Киев. Левай пойдет проселочная на Белую Церковь, а вправо — к Тульчину.

Волконский закрыл глаза.

Суматоха последних дней, связанная с объездом полков для приведения к присяге новому государю, вызвала усталость не только физическую, но и душевную. И то, что ему пришлось заставлять людей присягать Константину, которого Волконский, наравне с другими членами Тайного общества, терпеть не мог, и смутные, но настойчивые слухи о предательстве Шервуда, Бошняка и в особенности Майбороды, к которому был так доверчив даже осторожный Пестель, и, наконец, отрывочные, как первые дуновения грозы, сведения о событиях четырнадцатого декабря в Петербурге — все это давило мозг, и мрачные мысли текли медлительно, как вода по дну илистого

оврага.

Волконский был твердо уверен, что жестокая расправа, которую произвел в Петербурге Николай, была бы немислима при Александре.

«Стыда ради европейского, — думал Волконский, — Александр не дал бы такой гласности делу, затеваемому против его власти. Ведь он хотел, во что бы то ни стало слыть в Европе обожаемым монархом! Стноить нас в Шлиссельбурге — на это он пошел бы. Решил бы, что огонь, спрятанный под спудом, не только не виден, но и не опасен. Но он ошибся бы жестоко, ибо прав был Лунин, когда говорил, что от людей можно избавиться, а от их идей — никогда»:

При воспоминании о Лунине, перед волей, умом и образованностью которого Волконский преклонялся, в памяти его всплыл вечер, когда по дороге из Одессы в Варшаву Лунин заехал к нему, уже женатому, в Умань. В тот вечер Лунин вдохновенно играл на фортепиано, а потом по просьбе Марьи Николаевны с чувством спел арию из «Вильгельма Телля».

Лунин в свою очередь упросил застенчивую Марию Николаевну спеть, и, к удивлению Волконского, она в этот вечер пела так, как будто снова была в Каменке у Давыдовых: свободно и страстно звучал ее голос, а глаза сияли черным огнем.

В тот вечер она пела арию Розины из «Севильского цирюльника».

«Эта ария будто нарочно создана для голоса Маши, — вспоминал Волконский. — Но как давно она не поет... Ах да, в ее положении петь вредно. Но когда снова будет можно, непременно попрошу ее спеть мне эту арию».

В ушах Волконского явственно звучали певучие мелодии Россини. Под эти звуки ему вдруг привиделась Флоренция... Утопающая в цветах вилла... Томный взгляд и флейтоподобный голос певицы Каталани... Вот она встала навстречу Волконскому в белом платье, воздушном, как майское облако. Ее руки протянуты ему навстречу, и пышные рукава, как белые крылья, взлетают при каждом ее движении.

— *Ecco alfin, mio carissimo!* note 36 — произносит она нежно.

Волконский склоняется над ее выхоленными, душистыми руками. Но Каталани быстро хватает его за плечо и уже не музыкальным, а испуганным мужским голосом настойчиво повторяет:

— Ваше сиятельство, а ваше сиятельство...

Волконский с изумлением открыл глаза.

Над ним близко белело лицо кучера. В темных впадинах его глаз светился ужас.

— Ты что, Василий?

— Ваше сиятельство, извольте-с проснуться.

Волконский распахнул шубу. Морозный воздух охватил шею, грудь. Струйкой проскользнул по спине. Прогнал сонное забытье.

— В чем дело?

— Как выбрались мы на тракт, проехали версты с две, слышал я с той стороны — из-под Белой Церкви колокольчик. Обрадовался, обернулся к вашему сиятельству. Да вы задремать изволили. Ну, погоняю, а сам на козлах нет-нет, да и привстану. Нетерпеж разбирает поскорей встречного опознать. Уж будто и разглядел вдалеке тройку. А колокольчик так и вовсе явственно слышен стал. Да вдруг как закричит кто-то, не то конь ржаньем предсмертным, не то человек погибающий... и тройки как

Note36

Наконец-то, мой самый дорогой! (итал.)

не бывало...

— Пустяки говоришь, — оглядываясь по сторонам, сказал Волконский.

— Никак нет, ваше сиятельство. Вот крест святой правду истинную сказываю. А ежели... — и вздрогнул всем телом.

Вздрогнул и выпрямился в санях и Сергей Волконский.

— Что-с, слышите?

Жуткий крик, в самом деле похожий не то на жалобное лошадиное ржанье, не то на отчаянный человеческий вопль, несся откуда-то из-за снежных сугробов. Лошади стали и тревожно прядали ушами.

— Оборотень, ваше сиятельство, — прошептал Василий, — как бы кони не понесли, — и стал крестить лошадой мелкими частыми крестами. — Места здесь овражные, крутые. Не ровен час...

Тот же крик еще раз прокатился по снежной холмистой равнине.

— Поезжай туда. Несчастье с кем-то, — велел Волконский.

— Помилуйте, ваше сиятельство! Нешто можно свертать, куда оборотень кличет. Место тутошнее лихое. Овраги, сказывают, ровно нечистой силой выкопаны.

Он вскочил на козлы, тронул вожжи, и лошади, чувствуя под снегом твердый накат большой дороги, побежали под звонкий напев колокольчика.

Месяц поднялся высоко и бросал на снег бесчисленные голубые искры. Лошадиные спины заиндевели, и шерсть, мохнато-белая, торчала на них, как клочья ваты.

«Напрасно все же я не отвез Машу к Раевским, — вспомнил о жене Волконский. — Время тревожное. Скорей бы Линцы. Там у Пестеля все разужнаю в точности».

Волконский снова плотно завернулся в шубу, вытянул, насколько позволяли сани, ноги и покорно отдался цепкому сну.

В Линцах у большого дома, в котором жил Пестель, Василий придержал лошадей. Волконский проснулся.

У Пестеля не видно было света, а на крыльце стояли солдаты.

«Неладно что-то», — тревожно подумал Волконский. И, приподнявшись в санях, громко спросил:

— Командир Вятского полка полковник Пестель дома?

Один из солдат медленно пошел от крыльца к воротам.

— А вы что за люди будете? — всматриваясь в приезжих, проговорил он.

Василий спрыгнул с козел.

— Их сиятельство князь Волконский осведомляются насчет господина полковника, а ты должен отвечать. Видишь, чай с морозу вовсе простыли, а ты — кто да что.

Часовой ближе подошел к саням.

— Так и есть — князь Волконский — тихо, будто про себя, проговорил он и, наклонившись к самому лицу князя, еще тише продолжал: — Полковник Пестель вчерашнего числа вызван в Тульчин и находится за караулом. Бумаги опечатаны. Спешите отсюда прочь, ваше сиятельство. Да прикажите кучеру подвязать колокольчик, как мимо штаба ехать будете. А то там генерал Чернышев с жандармами из Санкт-Петербурга. И приказ нам дан, чтобы всех, кто станет полковника спрашивать, препровождать неукоснительно в штаб.

Его лицо показалось Волконскому знакомым.

— Где я тебя видел? — спросил он.

— В Каменке, с поручиком Басаргиным приезжал из Тульчина, — скороговоркой ответил солдат. — Поспешайте, ваше сиятельство.

Василий что-то подтянул у дуги и высоко занес кнут. Лошади рванули, заскрипели полозья... И снова над Волконским темно-синее с мерцающими звездами небо, опаловый обруч вокруг зеленоватой луны, а внизу снежные поля, по которым рассыпаны мириады алмазных зерен.

Граф Витгенштейн принял от Волконского присяжные листы и молча выслушивал рапорт о состоянии 19-й дивизии. По лицу графа Волконский видел, что он чем-то расстроен и слушает невнимательно.

— А как здоровье вашей супруги? — неожиданно перебил Витгенштейн. — Я слышал, что она беременна и на сносях?

Волконский утвердительно наклонил голову.

— Княгиня в Умани?

— Да, граф, и я покорнейше прошу вашего разрешения позволить мне отлучиться из Умани, для того чтобы отвезти жену мою для родов к родителям в Болтушку.

Витгенштейн исподлобья коротко взглянул на Волконского.

— Наделали дел, — после некоторого молчания сердито заговорил он. — И куда только ваши горячие головы заносились?! Куда, я вас спрашиваю, а?

Волконский молча стоял перед ним с опущенными глазами.

— Конечно, конечно, поезжай за женой, — продолжал Витгенштейн уже более миролюбиво, — ее надо оградить от возможных волнений. Только один уговор: в Каменку к Давыдовым не заезжай!

— Слушаюсь, — тихо ответил Волконский.

«Значит, облава действительно началась», — подумал он и хотел идти.

Но Витгенштейн неожиданно взял его под руку и потянул к себе:

— А что, князь, ты кого признаешь государем? — тихо спросил он.

— Того же, кого и вы, граф.

— Я — Константина, — хмуро проговорил Витгенштейн, — на то и закон о престолонаследии...

От Витгенштейна Волконский прошел к Киселеву. Его пригласили в гостиную, где сидела хозяйка дома и какой-то офицер очень болезненного вида.

Киселева приветливо протянула Волконскому руку.

— А мы с monsieur Басаргиным нынче вспоминали вас,

Басаргин с трудом привстал с кресла и попытался улыбнуться, но его восковое лицо только искривилось болезненной гримасой.

«Так вот что сделала с ним смерть жены», — с жалостью подумал о нем Волконский. Но сказать Басаргину ничего не мог и только крепко пожал его худую холодную руку.

Минуту все трое напряженно молчали.

— Муж скоро будет, — первой заговорила Киселева. — И знаю, что он похвалит меня за то, что задержала вас. Впрочем, я пошлю точно узнать, когда он приедет.

Извинившись, она вышла.

— Итак, конец, князь? — тихо спросил Басаргин.

— Где Пестель? — так же торопливым шепотом вырвалось у Волконского.

— Пройдите к дежурному генералу Байкову. Павел Иванович под присмотром в его квартире. Попытайтесь свидеться с ним. И скажите, что... все кончено. Я третьего

дня из Москвы.

— Ну, что там?

— Видел наших. Орлов все пошучивает. Говорит, что петербургский разгром — не конец, а только начало конца. Был у него и Якушкин. Орлов свел его с Мухановым. А тот, быв очевидцем четырнадцатого, настаивал на том, чтобы, во что бы то ни стало выручить плененных товарищей, и напрямик заявил, что поедет в Петербург и убьет царя. При этих словах Орлов взял его за ухо, потянул к себе и чмокнул в лоб. Затем направил нас всех на собрание к Митькову, а сам туда не приехал. Сказался больным, хотя был в мундире, при ленте и орденах.

Волконский глубоко вздохнул. О Михайле Орлове он не беспокоился. Знал, что его брат, Алексей Орлов имеет большое влияние на нового царя и в обиду Михаила не даст. Но страшила судьба Пестеля. И решил увидеться с ним непременно.

Как только Киселева возвратилась в гостиную, Волконский стал прощаться.

— Что же вы торопитесь, князь? Отужинайте с нами, — пригласила она. — Муж прислал сказать, что сейчас будет. Право, оставайтесь.

Но Волконский отказался.

Когда он выходил, Киселева печально покачала ему вслед головой.

Некоторое время она и Басаргин сидели молча.

— Князь Волконский, наверно, знает... — начала Киселева и умолкла.

— О чем? — Басаргин строго поглядел на нее.

Она покраснела до слез.

— Вы отлично знаете, мсье Басаргин, наше с мужем к вам расположение. И поэтому, прошу вас, не посчитайте мою откровенность за неуместную навязчивость... Я слышала некоторые разговоры мужа с генералом Чернышевым. Над вами, князем Волконским и вашими друзьями собирается гроза. Но вы можете спасти себя полным открытием тайны, связывающей вас с теми, кто уже во власти правительства...

Басаргин встал:

— Вы мне советуете сделать то, чего мне не позволит моя совесть.

— Но тогда вы погибнете! — с тоской произнесла Киселева.

Басаргин поднес к губам ее руку и спокойно проговорил:

— Если бы я услышал эти слова даже тогда, когда была жива моя жена и жизнь для меня была прекрасна, даже тогда я не нашел бы иного ответа.

— Я так и знала, иного ответа ни вы, ни ваши друзья дать не можете...

Киселева закрыла лицо руками и умолкла. Послышался звон шпор, и в гостиную вошел Киселев. Он пристально оглядел жену и Басаргина. Тот встал.

— Поручик Басаргин, — начал Киселев таким официальным тоном, каким раньше никогда не обращался к Басаргину.

Басаргин стал во фронт:

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Извольте следовать за мной.

И круто повернулся к выходу. Басаргин, твердо ступая, шел следом.

У дверей кабинета Киселев остановился и приподнял тяжелую портьеру:

— Прошу.

В четком звяканье шпор, в том, как Киселев отодвинул кресло, и в жесте, которым он пригласил Басаргина садиться, подчеркивалась официальность.

— Вы принадлежите к Тайному обществу, — заговорил Киселев, отчеканивая слова. — Правительству все известно. Советую вам во всем признаться чистосердечно.

— Разрешите, ваше превосходительство, узнать, в качестве кого вы изволите меня допрашивать: как начальник штаба, которому я обязан давать официальные показания, или как Павел Дмитриевич, с которым я не могу не быть откровенным.

— Разумеется, как начальник штаба.

Басаргин поднялся:

— В таком случае, не угодно ли будет вашему превосходительству сделать мне вопросы на бумаге, дабы я мог письменно ответить на них? На словах же мне больно говорить с вами, как с судьей и смотреть на вас просто, как на правительственное лицо.

Киселев задумался.

— Хорошо, — сказал он, наконец, — вы получите вопросы.

Басаргин поклонился и пошел к двери.

— Постой, постой, либерал, — остановил его Киселев тем интимным тоном, каким обычно говорил со своими друзьями. — Останься отужинать с нами. Давно мы с тобой не виделись. — Подошел к Басаргину и обнял. — Любезный друг мой, — мягко продолжал он, — не знаю, до какой степени ты замешан в этом деле. Помочь я тебе ничем не могу. Но в одном могу заверить — это в моем к тебе уважении, которое не изменится, что бы с тобой ни случилось. Завтра я пришлю запечатать твои бумаги. По предписанию военного министра они должны быть отосланы к нему вместе с арестованными. Если ты еще не отдохнул с пути, можно денька два повременить.

— Нет, нет, Павел Дмитриевич, чем скорее, тем лучше. Ничего нет тяжелее неизвестности.

Киселев вздохнул и протянул руку:

— Мы, еще свидимся, друг мой.

Волконский, запорошенный снегом, путаясь в длинных полах медвежьей шубы, поднялся по ступенькам крыльца и постучал щеколдой. Дверь открыл денщик. Бросив ему на руки шубу, Волконский без доклада переступил порог соседней комнаты.

За столом, ближе к окну, сидел Пестель. Лицо его было по обыкновению, серьезно и замкнуто. Сухая рука рассеянно вращала ложечку в стакане с крепким, как пиво, чаем.

Генерал Байков у самовара курил длинную с бисерным чубуком трубку.

По замешательству генерала Волконский понял, что его приход был некстати, и решил сделать вид, что ничего об аресте не знает, а пришел поговорить о продовольствии дивизии.

Генерал слушал настороженно, догадываясь, что в словах Волконского относительно предстоящих посещений тех или иных пунктов для закупки продовольствия есть что-то важное для Пестеля, потому что при упоминании названий некоторых местечек и городов Павел Иванович делал едва заметные то положительные, то отрицательные движения головой.

Волконский уже терял всякую надежду обменяться с Пестелем хотя бы несколькими фразами наедине. Но неожиданно вошел денщик с докладом о прибытии экстренного фельдъегера с депешами. Как только Байков вышел, Волконский быстро зашептал:

— Павел Иванович, ваш Майборода оказался подлым предателем. Мне доподлинно известно.

Пестель стиснул зубы так, что скулы обозначились под смуглой кожей, но ничего не ответил.

— Мы все заявлены, — продолжал Волконский, — вы взяты нынче, я — завтра.

— Смотри, — тихо и размеренно заговорил Пестель, — смотри, не сознавайся ни в чем! Я же, хоть жилы мне будут в пытке тянуть, ни в чем не сознаюсь. Одно только необходимо сделать — это уничтожить мою «Русскую правду». Она одна нас может погубить. Скажешь Юшневскому...

Генерал Байков вернулся в комнату, держа кипу бумаг.

— Просто голова кругом идет, — сказал он, опускаясь на табурет. — Ни-че-го не понимаю! В правительстве такое беспокойство, будто война с турками.

Расставаясь, Волконский и Пестель крепко пожали друг другу руки.

— Ты к своим? — тихо спросил Пестель.

— Да, отвезу жену к родителям.

— Прошу кланяться княгине и мадемуазель... Элен, — с некоторой заминкой добавил Пестель и застенчиво улыбнулся, обнажив ровные, крепкие зубы.

Княгиня Марья Николаевна неловкой походкой, переваливаясь, подошла к широкой кровати красного дерева с бронзовыми украшениями и, откинув одеяло, долго стояла неподвижно.

Потом снова вернулась к столу и взялась за шитье. Крошечный чепчик был почти готов. Оставалось только обшить его кружевом и прикрепить ленточки-завязки.

Спать не хотелось. И даже не то чтобы не хотелось, а в последнее время она боялась ночей.

— А вдруг роды начнутся, а я и не замечу? Как ты думаешь, нянюшка, может такое случиться? — наивно спрашивала она у приставленной к ней на это время старой няньки Волконского.

— Полно, княгинюшка, — с улыбкой успокаивала старуха. — В девичестве, известно, всякие небылицы в голову втемяшиться могут. А уж ныне должно тебе знать, что как придет твой час, так не токмо сама глаз не сомкнешь, а иной раз и всему дому вздремнуть не допустишь.

Мария Николаевна сжала кулак и надела на него чепчик, чтобы тогда наметить средину, где собиралась пришить голубой бантик.

«Неужели у него будет такая крохотная головка?» — подумала она об ожидаемом ребенке.

И вдруг ее собственный бледный кулачок порозовел, и на нем ясно стали обозначаться круглые глазки, беззубый младенческий улыбающийся рот... Сердце застучало в радостном испуге, а голова ближе и ближе клонилась, к столу, пока не коснулась лежащей на нем стопки нарядного детского приданого.

За окном яростно залаял цепной пес, и отрывисто звякнули бубенцы.

Марья Николаевна выпрямилась и затуманившимися глазами оглядывала ставшую вдруг как будто незнакомой комнату.

По всему дому слышались суетливые шаги, громкие голоса, мелькали зажженные свечи.

Марья Николаевна накинула длинную шаль, прикрывающую ее обезображенную беременностью фигуру, и поправила развившиеся локоны.

Вбежала Клаша.

— Их сиятельство пожаловали! — и сейчас же опрометью кинулась назад.

— Маша, здравствуй, — быстро входя, заговорил Волконский. — Здорова ли? — И, не ожидая ответа, торопливо прибавил: — Вели затопить камин. Озяб я в пути.

Марья Николаевна с беспокойством глядела на него.

— Озяб? Но ведь у тебя весь лоб влажен. — Она взяла свой кружевной, надушенный вербеной платок и провела им по лбу мужа. — Что с тобой, Сергей? Ты сам не свой.

— Никаких вопросов при людях, — быстро ответил Волконский по-французски. — Прошу тебя.

Пока разжигали камин, он нетерпеливыми шагами ходил по спальне и рассеянно слушал, что говорила жена:

— Я получила нынче записочку от брата Александра. Он пишет, что маскарад у тетушки Браницкой прошел неудачно. Многие из ряженных были сразу узнаны, и забавных интриг совсем не наблюдалось. И закончился костюмированный бал как-то неожиданно...

— Да, да неожиданно, — задумчиво повторил Волконский, — совсем неожиданно...

Когда они остались наедине, он на полуслове перебил жену:

— Да, Маша, маскарад окончен, и надо... Помоги-ка мне. — Он подошел к столу, открыл один ящик, другой и стал быстро просматривать лежащие в них бумаги. Одни оставлял, другие мял и, протягивая жене, коротко приказывал: — В огонь, в огонь...

С трудом наклоняясь, Марья Николаевна бросала их как пылающие дрова и снова оборачивалась к мужу.

На одном из нераспечатанных конвертов, которые тоже надо было сжечь, она прочла: «Полковнику Пестелю от Михаила Бестужева-Рюмина», — и робко спросила:

— Может быть, этот все же надо передать по назначению?

Не оборачиваясь, Волконский велел:

— Сжечь! Немедленно сжечь!

Пакет задымился, и струйка растопленного сургуча, как кровь, потекла по белым листкам.

Приняв из рук мужа новую пачку бумаг, Марья Николаевна вдруг попросила:

— Сергей, позволь мне оставить это письмо Пушкина.

— Нет...

— Оно мне дорого, как знак нежной дружбы поэта ко всему нашему семейству...

Волконский пожал плечами.

— Ты дитя, Маша, и не понимаешь серьезности положения. Пестель арестован.

— За что?

— После, после, Маша... А сейчас делай, что я прошу.

И вновь склонился над бумагами.

Марья Николаевна ближе пригнулась к накаленной: решетке камина. Бросила всю пачку, кроме одного письма. Его тихонько просунула за низкий на груди вырез платья. Это было письмо от Пушкина.

Утром Волконский отвез жену в имение Раевских — Болтушку.

Дорогой в туманных, непонятных выражениях старался объяснить ей свой внезапный приезд, уничтожение бумаг и необходимость скорее возвратиться в Тульчин.

В семье Раевских тоже было беспокойно.

Генерал получил известия из Петербурга и из штаба Второй армии. Запершись у себя в кабинете, он никого не впускал. Потом велел позвать Волконского и долго беседовал с ним наедине.

Прощаясь с женой, Волконский с большим усилием сохранял спокойный вид.

Ему казалось, что в ее глазах, ставших еще больше от густой синевы под ними, он видит горький упрек.

— Ты мне не все сказал, Сергей, — тихо произнесла Марья Николаевна, когда он, уже в шубе, последний раз целовал ее руку.

Эта ее фраза тем же упреком и жалобой звучала в его ушах всю обратную дорогу в Умань.

Через неделю старик Раевский коротко известил зятя, что «Машенька разрешилась от бремени сыном, коего решено наречь Николаем».

Волконский бросился в штаб за разрешением на поездку в Болтушку.

— Разрешить не могу, — сказал дежурный генерал, — но на вашу отлучку, если она будет наикратчайшей, буду смотреть вот так, — генерал растопырил пальцы и прикрыл ими глаза.

На другой день утром Волконский, загнав лошадей, был уже в Болтушке.

В полутёмной от прикрытых ставней спальне жены ему протянули туго спеленатый сверток. На желто-розовом личике младенца по-стариковски мигали круглые глаза с припухшими веками. Волконскому показалось странным, что, держа в руках своего первенца, он ничего не испытывает, кроме любопытства, да еще страха как-нибудь не повредить этому крошечному тельцу, теплоту которого он ощущал сквозь плотный свивальник.

Волконский ближе поднес младенца к окну, как будто надеялся, разглядев его, почувствовать радость отцовства. Но обеспокоенный светом ребенок сморщился и заплакал, показывая розовый крошечный язычок.

Волконский испуганно передал его на руки теще и подошел к жене. Она лежала с закрытыми глазами. По ее пылающему лицу пробежали темные тени. Губы вздрагивали и шевелились, как будто она что-то шептала. Волконский вплотную приник ухом к этим потрескавшимся, сухим губам. Их жаркое дыхание опалило его. Он выпрямился, взял лежащее в тазу со льдом полотенце, отжал и приложил его ко лбу и щекам жены. Она перевела дыхание, но глаз не открыла.

Софья Алексеевна подошла к Волконскому с заготовленными упреками, но, увидев его лицо, отвернулась и заплакала.

— Как она могла простудиться? — вполголоса спросил Волконский.

— Да все отец, — всхлипывая, ответила Софья Алексеевна. — Как начались схватки, я хотела уложить Машеньку в постель, а Николай Николаевич накричал на меня, чтобы я не вмешивалась. Будто не я семерых рожала, а он. Велел ей в кресле сидеть до самого конца. Повитуху из деревни привели. Он ее не допустил к Машеньке. За акушеркой послали в город, да кучера сказывали — заставы повсюду. Привезли ее, когда Машенька уже родила. Тогда только отец позволил уложить бедняжку. Простыни холодные были, что ли, или что другое, а только ее сразу в жар кинуло.

Во время обеда Раевскому подали экстренный пакет с сообщением о восстании Черниговского полка.

— Сыны Ивана Матвеича Мурвьева-Апостола все замешаны — взглянув поверх очков на Волконского, сказал Раевский. — Теперь пойдут хватать налево и направо...

Волконский написал жене несколько писем и просил, на случай его ареста, передавать их ей, будто бы полученными от него в разное время.

Когда он, попрощавшись со всеми, вышел на крыльцо, к нему с бокового выхода через калитку выбежала Элен. Придерживая обеими руками бархатную шубку, она, дрожа от волнения, проговорила:

— Я вас очень прошу, Серж. Коли вам придется свидеться с полковником Пестелем, то скажите ему, что он... что я... — Слезы повисли у нее на ресницах. Голос оборвался. Она несколько раз порывисто вздохнула. — Скажите ему... Нет, не могу... — и, зарыдав, скрылась за глухо стукнувшей калиткой.

Недалеко от Умани, у полузанесенной снегом мельницы, в морозном рассвете показался бегущий навстречу человек. Всмотревшись в него, Василий обернулся к Волконскому:

— Никак наш уманский повар Митька, ваше сиятельство. Так и есть — он...

Утопая по колени в снегу, Митька, сокращая расстояние, бежал по целине.

Василий остановил лошадей.

— Ваше сиятельство, — еще не добежав до саней, запыхавшись, закричал Митька, — не ездите в Умань: к нашему дому часовые приставлены, и вхожие двери запечатаны. Я с вечера убег, под ветряком дожидался вас...

— Спасибо, Митя, — Волконский откинулся к спинке саней и всей грудью вдохнул морозный воздух. — Садись, братец, подвезем тебя.

— Неужто не повернете назад?

— Нет, не поверну. Так надо, — и Волконский тронул Василия за плечо. — Живей в Умань!

37. Начало конца

Находясь постоянно через брата Матвея, живущего в Петербурге, в тесных сношениях с главными деятелями Тайного общества, Сергей Муравьев-Апостол пришел к заключению, что, хотя пропаганда свободолюбивых идей разрастается вширь и вглубь и число членов Тайного общества непрерывно увеличивается, время для победоносного восстания еще не пришло. Вожди отдельных его разветвлений еще не сговорились между собой о составе и местонахождении главного штаба революции; никто из них не мог указать точно количество вооруженных сил, на которые можно было бы положиться во время восстания; и основные лозунги, за осуществление которых предполагалось вести борьбу, еще не были выработаны.

Поэтому, получив письмо от Пестеля, в котором тот незадолго до своего ареста извещал о смерти Александра I и связанных с нею намерениях Северной директории начать восстание, Сергей Иванович пришел в страшное беспокойство. Прежде всего, он помчался в Киев к Трубецкому, чтобы просить отговорить Рылеева от безумной попытки произвести «выкидыш свободы». Но Трубецкого в Киеве не было: он отправился вместе с женою в Москву, а оттуда в Петербург, где собирался провести весь свой отпуск.

Старик Муравьев-Апостол и в особенности Олеся обрадовались скорому возвращению Сергея в Бакумовку и собирались вместе встретить рождественские праздники. Матвей тоже находился в эти дни дома. Олеся принялась учить братьев мелодичным украинским колядкам, уговаривая обоих принять участие в хождении со звездой по мужицким хатам, где к сочельнику заготавлился «узвар» и «кильца ковбасы»...

Но за два дня до сочельника из Василькова прискакал нарочный с требованием от командира Черниговского полка Гебеля немедленного прибытия обоих братьев в штаб полка.

У себя в васильковской квартире Сергей застал Бестужева-Рюмина, Щепялу,

Сушинова и Кузьмина. Все они находились в необычайном волнении — в этот день до них дошла весть об аресте Пестеля и о событиях в Петербурге 14 декабря. Все они требовали от Сергея указаний, как им следует теперь поступить, чтобы спасти Тайное общество от окончательного разгрома.

После бурного совещания Муравьеву удалось уговорить их обождать с решительными действиями до тех пор, пока он не выяснит истинного положения вещей, для чего немедленно отправится в Киев, а если понадобится, оттуда в Петербург.

— По дороге в Киев я обязательно побываю в Житомире у корпусного командира. Быть может, и тех сведений, которые я получу от него, будет достаточно, чтобы нам здесь поднять знамя восстания, — обещал Сергей своим товарищам.

— Мы сумеем возмутить весь Черниговский полк и приведем его в Киев в полной походной и боевой амуниции, — заверяли они, обнимая Сергея при прощании. — В Киеве мы соединимся с нашими другими войсками и грянем на Москву! То-то будет дело!

— Не забудь, Сережа, испросить для меня у командира корпуса разрешения съездить к маменьке, она очень плоха, — попросил Мишель Бестужев, слезы затуманили его глаза. — Ты ведь знаешь — я у нее один...

Подливая Сергею Муравьеву замороженное шампанское, корпусной командир генерал Рот рассказывал:

— С нынешнею экстренной почтой получил я новые сведения о возмущении четырнадцатого декабря. Пишут ко мне, что в руках правительства уже почти все нити заговора и взяты самые энергичные меры для полного обнаружения его членов, где бы таковые ни находились.

Сергей с виду невозмутимо следил за золотыми пузырьками, которые поднимались со дна его бокала и таяли в белой пене.

Звон хрустала заставил его вздрогнуть.

— Ваше здоровье, Сергей Иванович.

— Ваше здоровье, генерал.

— Из Москвы мне тоже пишут, — обсасывая смоченные шампанским усы, продолжал Рот, — будто бы Растопчин, прослышав о бунте, выразился весьма удачным каламбуром. — Генерал просунул руку за ярко-красный борт мундира и вытащил вскрытое письмо. — Хотя я каламбуров и стишков не любитель и не чтец, но растопчинские оглашу не без приятности. — Он водрузил очки на свой лиловый с красными жилками нос и, держа письмо в вытянутой, руке, прочел: — «En France les-cuisiniers ont voulu devenir princes, et ici les princes ont voulu devenir cuisiniers» *note 37*. Истинный балагур этот князь, — смеялся генерал. — Помню, когда в двенадцатом году пришлось ему Москву разгружать... Да вы что, Сергей Иваныч!

Сергей, откинувшись к спинке стула, закрыл глаза и крепко ухватился за край стола.

— Простите, ваше превосходительство, — медленно проговорил он. — Чувствую некоторое кружение головы и усиливающийся озноб. Позвольте отблагодарить и разрешите ехать далее. Опасаюсь, как бы нездоровье не застигло меня прежде моего прибытия домой.

Note37

Во Франции повара захотели стать князьями, а у нас князья захотели сделаться поварами (франц.).

— Как знаете, Сергей Иванович. Вижу, что вы не в себе, и весьма сожалею по сему поводу. Да, едва не забыл. Я снова представил вас в полковые командиры и на этот раз, полагаю, успешно.

Сергей как сквозь туман видел лицо генерала. На миг ему показалось, что красные отвороты генеральского мундира прыгнули выше — к щекам и к носу. Он встряхнул головой.

— Так как же, ваше превосходительство, относительно моего ходатайства за поручика Бестужева-Рюмина?

— Ах, да, — поморщился генерал. — Уж и не знаю, как быть. Ведь вам известно, что бывшие семеновцы лишены права отпусков...

— Но ведь обстоятельства, понуждающие Бестужева просить...

— А вы можете поручиться, что истинная причина действительно болезнь госпожи Бестужевой-Рюминой? — перебил генерал.

— Помилуйте, ваше превосходительство, болезнь горячо любимой матери никогда не могла бы быть для Бестужева только предлогом.

— Ну хорошо. Постараюсь.

Генерал Рот еще что-то рассказывал, но Сергей взволнованный всем, что слышал, думал лишь о том, как бы поскорее известить обо всем своих друзей и принять совместные решения.

Едва дождавшись конца обеда, он поспешил распрощаться с генералом.

— Скорей, голубчик! Как можно живей в Троянов! — торопил он солдата, которого неизменно брал с собою за кучера не потому, что тот умел хорошо править, а потому, что у этого маленького рябого паренька был удивительный голос; ласка и печаль, смиренная тоска и разгул причудливо сочетались в переливах его песен.

Слушая их, Муравьев смотрел на тонкую шею певца, обмотанную домотканым шерстяным шарфом. Казалось невероятным, что из груди этого сидящего на облучке тщедушного солдата могли вылетать такие упоительные звуки.

Иногда, увлеченный пением своего кучера, Сергей Иванович начинал ему вторить. И тогда два голоса, первый — звонкий и летучий, как пение птицы, второй — мягкий и хорошо обработанный, сплетались под звон медных с нарезками бубенцов.

В Троянове Муравьев-Апостол зашел к одному из офицеров Александрийского гусарского полка, члену Тайного общества.

Выслушав сообщение о событиях в Петербурге, гусар взволнованно спросил:

— Должно полагать, что пришла пора и нам извлечь мечи из ножен?

Сергей щурил глаза, будто старался рассмотреть какой-то далекий предмет.

— Прежде всего, надо получить возможно точные сведения о состоянии умов среди нижних чинов и их готовности примкнуть к возмущению, — после долгого молчания ответил он.

— В моем эскадроне, куда ни кликну, все за мною пойдут, — уверял гусар. — У нас и среди нижних чинов есть «славяне».

— И многие проникнуты нашими устремлениями настолько, чтобы от слов перейти к делу? — недоверчиво спросил Сергей.

— У нас дисциплина крепка, а это самое главное, Сергей Иванович. Ведь пушки палят в ту сторону, куда их прикажут повернуть.

Муравьев все так же щурился, словно всматривался вдаль.

Вошел деньщик с подносом, на котором стоял кофейник, и шипела на сковороде яичница.

— Закусите со мною, — предложил гусар, замечая необычайную бледность гостя. Муравьев отказался:

— Мне до ночи необходимо непременно поспеть в Любар...

У Артамона Муравьева Сергей застал брата и тотчас же передал обоим все, что слышал от Рота о трагедии, разыгравшейся в Петербурге 14 декабря.

Матвей изменился в лице, а Артамон, сжав кулаки, стал грозить и новому царю и генералам, которые участвовали в подавлении восстания:

— Подождите, мы вам покажем! Не уйти вам от народного суда! Не думайте, что наш народ останется навечно покорным рабом вашим. Не думайте, что русское дворянство обречено на вечный позор рабовладения. У нас есть совесть, и трепещите, тираны: она проснулась!

Матвей насмешливым взглядом следил за жестикуляцией Артамона.

Сергей молчал. Он всячески боролся с охватывающей его усталостью, но выпрениие слова Артамона все же звучали как будто издали.

Вдруг за окном раздалось лошадиное фырканье, стукнули двери с крыльца в прихожую, потом в смежных комнатах и в кабинет ворвался Михаил Бестужев-Рюмин.

— Сережа, милый мой друг! Как я счастлив, что застал тебя здесь! Жандармы ищут тебя. Есть приказ арестовать тебя и направить в Петербург. Они были у графини Браницкой, полагая, что ты там... — Он прижимался морозной щекой к щеке Сергея, обнимал его, гладил руки.

Матвей строго отстранил его от брата:

— Расскажите все толком, Мишель.

— Садись сюда, Миша, грейся и рассказывай, — попросил Сергей.

Артамон замер на месте.

— Я уже предупредил Щепилу, Соловьева, Сухинова и Кузьмина о случившемся. — Бестужев шумно передохнул: — Тут же мы держали совет. Наши напрямик заявили, что они тебя жандармам не выдадут. Они только не знали еще, где ты находишься. Стали высказывать различные планы оповестить тебя об опасности, как вдруг слышим стук в ворота, а затем в окна. Приказываем денщику отпереть, и... — вообразите! — вваливается наш Гебель с двумя жандармскими офицерами да прямо к тебе в кабинет. Перерыли все, забрали бумаги — и назад. Наши верхами им вслед по житомирской дороге. Сразу поняли, что за тобой, и порешили: Щепиле, Кузьмину и Сухинову немедля собрать свои роты и вести к тебе, а мне скакать на розыски, чтобы предварить обо всем...

— Значит, все кончено, — с глубокой скорбью произнес Матвей. — Нас ожидает та же участь, что и наших северных друзей...

Подперев голову, Сергей напряженно обдумывал, что ему следует предпринять в эти минуты.

Он видел, какой бледностью покрылись лица Артамона и брата.

— Да, да, — повторял Матвей, — мы погибнем, погибнем...

— Затем, чтобы дать отчизне дышать пленительным духом вольности, — патетически произнес Бестужев-Рюмин.

— Аминь! — с каким-то веселым отчаянием согласился Матвей — А посему я предлагаю не дожидаться, покуда с нами сделают то же, что сделали с нашими единомышленниками в Санкт-Петербурге, а самим убраться из жизни. А чтобы не было грустно умирать, вели, Артамон, подать шампанского!

Артамон курил, отвернувшись к окну. Густые струи табачного дыма подымались

над его головой. Вся его фигура как будто ссутулилась.

— Рано ты, брат, заговорил о смерти, — произнес, наконец, Сергей, — мы не вправе располагать нашей жизнью по собственному усмотрению. Мы все поклялись отдать ее на благо отечества и эту клятву должны сдержать!

— Ты прав, Сережа. — Бестужев порывисто схватил руку Сергея и крепко пожал ее. — Ты прав. Не надо говорить о смерти, когда родина призывает нас к подвигам во славу...

— Пойдите, Бестужев, — нетерпеливо оборвал Матвей. — Фраз достаточно. Что ты полагаешь делать, Сережа?

Сергей поднялся с кресла, подошел к Артамону. Он стоял все в той же позе, лицом к окну, синему от наступившего вечера.

— Артамон, — заговорил Сергей, слегка касаясь его руки. — Момент чрезвычайно серьезный. И ты можешь еще много помочь нашему делу. Тебе надлежит собрать Ахтырский полк и увлечь за собой александрийских гусар. Я нынче беседовал с одним из офицеров этого полка. Они наши. Затем с этими полками явитесь нечаянно в Житомир и арестуйте корпусную квартиру. Ведь ты не раз обещал нам решительную поддержку.

Артамон стоял все так же неподвижно.

— Я сейчас напишу две записки, — отходя от него, сказал Сергей.

Бестужев торопливо вырвал из своей записной книжки несколько листков и протянул Сергею.

Тот, не садясь, написал на каждом по несколько строк и отдал Артамону.

— Вот одну отошли немедля Горбачевскому, другую в восьмую бригаду...

— Пойдите, — перебил Артамон. — Я сейчас же скачу в Санкт-Петербург, к государю. Я расскажу ему все подробно о Тайном нашем обществе, представлю, с какою целью оно было составлено, что намеревалось сделать... Я уверен, что государь, узнав наши добрые и патриотические намерения, оставит нас всех при своих местах. И, наверно, вокруг него найдутся люди, которые примут нашу сторону. А посему записки твои надо... вот что... — Он поднес их к свече и разом зажег обе.

Сергей отступил на шаг. На его белом, как алебастр, лбу резко обозначились суровые морщины.

— Я жестоко обманулся в тебе, Артамон, — заговорил он с негодованием, — ибо поступки твои относительно нашего Общества заслуживают всевозможных упреков. Когда я хотел принять в Общество твоего брата, он, будучи прямодушен, откровенно объяснил мне, что образ его мыслей противен всякого рода революциям и что он не хочет принадлежать ни к какому противуправительственному Обществу. Ты же, коли помнишь, принял предложение с неописуемым жаром, осыпал нас обещаниями, клялся сделать то, чего мы даже не требовали. А ныне, в столь критические минуты, когда дело идет о жизни и смерти всех нас, ты не только отказываешься от помощи, но даже не хочешь уведомить наших членов об угрожающей мне и им опасности. После сего я прекращаю с тобой не только дружбу, но и знакомство. С этой минуты все мои сношения с тобой порваны.

Сергей быстро отошел в полутемный угол комнаты и что-то торопливо отыскивал среди своих бумаг. Бестужев кусал губы.

Матвей молча в упор, смотрел на Артамона. Тот вдруг заговорил извиняющимся тоном:

— Вот Сережа рассердился на меня. А что собственно я могу сделать? Полк я

принял недавно. Ни офицеров, ни солдат не знаю. К такому важному предприятию полк, конечно, вовсе не подготовлен. А посему выводить людей на подобное дело — значит заведомо идти на неудачу.

Бестужев так и рванулся к Артамону:

— Я, господин полковник, думаю совершенно противное. Если бы вы проявили должную решимость и волю — все было бы хорошо. Ежели вы сами не желаете говорить с людьми, соберите полк к штаб-квартире, а остальное предоставьте мне.

Сергей снова сделал движение к Артамону:

— Я еще раз обращаюсь к твоей чести и совести. Коли ты отступаешься в эту знаменательную, трудную минуту, не мешай нам делать свое дело. Отошли мои записки в восьмую бригаду. Это моя последняя к тебе просьба, Артамон. Единственная услуга, которую я от тебя требую.

— Экая беда, — проговорил Артамон. — И, как нарочно, Веруши нет дома. Опять ускакала в Москву, как говорят, «за песнями». — Он растерянно огляделся и встретился с тяжелым, немигающим взглядом Матвея. — Ну, хорошо, хорошо, пиши, пожалуй, — сказал он. — Записку Горбачевскому я отошлю.

Сергей снова набросал записки. Одну протянул Артамон, другую — Бестужеву-Рюмину.

— Отдай кому следует, — тихо проговорил он.

— Дайте мне лошадь, — обратился Бестужев к Артамону, — я сейчас же свезу записку в восьмую бригаду.

— С удовольствием бы дал, кабы она у меня была, — чуть-чуть покраснев, ответил Артамон, — а вы отпрягите от Серезиной тройки пристяжную и скачите куда угодно.

— Благодарю за совет, — холодно бросил Бестужев, — ведь я кажись, сказывал вам, что мой возок изломался и что я взял у еврея форшпанку, которую едва ли и тройка довезет. А как же уедет Сереза?

— Оставь, Миша. — Сергей стал натягивать шинель, — Ты с нами, Матвей?

— Ну, разумеется.

38. Зарево на юге

Бескрайний непроходимый лесной покров разорвался у небольшой деревни на три густо-синих бора. «Трилесы» назвал когда-то владелец-помещик эту захудалую деревушку. И будто забыл о ней. Толку от нее было мало. Мужики в ней рослые, крепкие, словно старые дубы, характером сучковаты. Бабы цепкие, как коряги, смуглые и молчаливые. Ребятишки, как грибы, все больше на опушке лесной возятся. И глушь и тишь в Трилесах такая, будто бескрайний бор только на время расступился и вот-вот снова сдвинет деревья и кусты и уберет в свою таинственную гущу избушки, похожие на пни и кочки, вместе с их одичалыми обитателями.

Сальная свеча мигала желтым огоньком. От этого миганья шаткие тени скользили по низкому потолку и закоптелым стенам избы, в которой квартировал поручик Кузьмин.

Самого Кузьмина не было дома, и братьев Муравьевых с Михаилом Бестужевым встретил подслеповатый, маленький, почти карлик, денщик.

— А их благородие в Васильков подались, — заявил он гостям. — Заходите, заходите, панове. Водицы согреть для чаю, чи в шинок сбигти за горилкой? — спросил

он, когда приехавшие, сбросив шинели, уселись на лавках вокруг непокрытого скатертью стола.

— Покуда ничего не надо, голубчик, — ответил Сергей. — Поди, мы позовем, коли понадобится. Надо скорее вызвать всех сюда, — продолжал он. И, придвинув к себе свечу, написал Кузьмину:

«Анастасий Дмитриевич! Я приехал в Трилеса и остановился в вашей квартире. Приезжайте и скажите Соловьеву, Щепиле и Сухинову, чтобы они тоже как можно скорее ехали в Трилеса.

Ваш *Сергей Муравьев* ».

— Миша, пошли эту записку с кем-либо из здешних рядовых, — обратился он к Бестужеву-Рюмину.

Тот поднялся с лавки и стал застегивать шинель.

— Куда ты? — удивился Сергей.

— Записку твою отошлю, а сам поскачу в Радомысль к Повало-Швейковскому, а от него — по другим полкам.

— Останься до утра...

— Куда же, глядя на ночь, скакать, — пожал плечами Матвей. — Удивительная у вас стремительность в поступках.

Бестужев только укоризненно посмотрел на братьев.

Прислонившись затылком к стене, Сергей закрыл глаза.

Матвей хмуро следил за поспешными движениями Бестужева.

— Я скоро вернусь, — сказал тот, выходя.

— Пойди, Сережа, приляг, — ласково прикоснулся к плечу брата Матвей.

Сергей медленно поднял веки.

— Да, хорошо бы уснуть.

Он встал и потянулся. Потом прошел за перегородку. Рассмотрел в полумраке узкую кровать, прикрытую ковриком. От прикосновения к полотну наволочки мгновенный холодок пробежал по телу. Это было последнее ощущение яви. Затем пришел глубокий сон.

Полковник Гебель с жандармским офицером Лангом, войдя через час в эту избу, после того как вся она по их распоряжению была окружена квартировавшей в Трилесах ротой, несколько мгновений растерянно оглядывался.

— Ужели успели уйти? — сипло спросил Ланг. — Однако же шинели и фуражки здесь...

Гебель поднес палец к губам. В наступившей тишине слышалось ровное, глубокое дыхание спящих людей.

Гебель и Ланг шагнули на цыпочках за перегородку. Оба Муравьевы крепко спали; Сергей — вытянувшись на постели, Матвей — сидя у брата в ногах, с опущенной на спинку кровати головой. На табурете у изголовья тускло поблескивали дула пистолетов.

Гебель глазами указал на них Лангу. Тот бесшумно схватил их и рассовал по карманам.

Гебель громко кашлянул.

Матвей открыл глаза и сразу вскочил на ноги. От его резкого движения проснулся и Сергей.

— По высочайшему повелению вы арестованы, господа офицеры, — объявил Гебель.

Сергей закинул руки за голову и протяжно зевнул.

— Ну, и что же дальше, господин полковник? — спокойно спросил он.

— Утром вы вместе с братом будете отправлены при фельдъегере в Санкт-Петербург.

— Так до утра можно еще изрядно поспать, — улыбнулся Сергей, — с вашего разрешения, господин полковник? — Он повернулся лицом к стене и затих.

Гебель снова переглянулся с Лангом, и оба как-то неопределенно хмыкнули.

— Вам больше ничего не остается делать, как приказать подать чаю, — посоветовал Матвей

Всю ночь он не сомкнул глаз. Сергей же, спал или, делая вид, что спит, лежал в той же неподвижной позе, отвернувшись лицом к стене. Матвей подходил к столу, пил чай и беспрестанно набивал трубку крепким табаком.

Жандарм сначала следил за каждым его движением. Потом веки у него набрякли и перестали подниматься.

Гебель пробовал завязать разговор и с Лангом и с Матвеем, но Ланг отвечал все более и более невпопад, а Матвей сказал лишь одну фразу:

— Брат очень устал. Не будем мешать, ему спать.

И больше не проронил ни слова.

Гебель сердито прихлебывал чай, потом так же сердито тыкал вилкой в плохо зажаренную курицу. А часа через два сердито храпел, уронив седую голову на вытянутые по столу руки. Закинув голову к стене, храпел и Ланг.

Серо-голубой туманный свет пополз от окна и отогнал темноту в углы избы. Прокричал петух, ему ответил другой. По обледенелому срубам колодца звякнули ведра.

Матвей хотел подойти к Сергею, но в эту минуту явственно услышал скрип примерзших к снегу ворот, лошадиный топот и громкие голоса. Он припик к окну.

Два верховых офицера о чем-то говорили с караульными, оживленно жестикулируя.

Струдившиеся было солдаты расступились, и офицеры взбежали по шатким ступеням крыльца.

Через минуту в избе зазвучали взволнованные и гневные фразы:

— Сергей Иваныч где?

— Я сию минуту, — раздался голос из-за перегородки.

А вслед за ним начальнический окрик Гебеля:

— Поручик Кузьмин, объявляю вам строгий выговор за самовольную отлучку из роты. Поручик Сухинов, объявляю строгий выговор за неявку к новому вашему назначению.

— Ладно, ладно, — сквозь стиснутые зубы бросил Кузьмин. — После поговорим.

Дверь снова распахнулась.

— Здесь, голубчики, — быстро входя, заговорил Щепила. — Я тебе говорил, — обернулся он к следовавшему за ним Соловьеву.

— Убрать их следует немедленно...

— Что это значит, господа офицеры? — задрожал от злости и страха Гебель.

Ланг тоже испуганно мигал глазами.

— Я требую повиновения. Немедленно отправляйтесь каждый по своим местам, — приказал Гебель.

— Помолчите, полковник, — холодно проговорил Сергей Муравьев.

И поманил к себе офицеров.

Несколько минут они шепотом о чем-то совещались. Затем Щепила и Соловьев выбежали к солдатам. Сергей, прильнув к стеклу, видел, как оживились и заулыбались лица солдат в ответ на слова офицеров.

— Ланг, распорядитесь, чтобы закладывали лошадей, — приказал Гебель.

Ланг вышел и столкнулся в сенях с Щепилой.

— А, подлая тварь! Подслушиваешь нашу беседу с людьми...

Щепила схватил солдатское ружье, стоящее в углу сеней.

— Не жаль тебе пули на эдакую дрянь, — отвел его руку подошедший Соловьев.

Ланг бросился бежать. На шум выскочил из избы Сухинов.

— Беги за ним! — велел Щепила. — Иначе он известит дивизионного командира о начале возмущения и тем пресечет наш успех.

Стреляя вверх, Сухинов бросился за жандармом.

— Что за шум? — раздался с порога обозленный окрик Гебеля. — Долго ли будут продолжаться подобные безобразия?!

В упор глядя исподлобья на Гебеля, Щепила пошел на него.

— Нет, господин полковник, — отчеканил он, — это не безобразие, а революция... — И, сжав приклад ружья, ткнул Гебеля штыком.

Тот завопил неожиданно визгливым голосом и схватился за штык. За окнами послышался шум, крики. Зазвенели разбитые стекла. Соловьев ринулся в избу. Она была пуста. Сквозь выломанное окно он увидел обоих Муравьевых-Апостолов без шапок и шинелей. Братья о чем-то возбужденно разговаривали с солдатами. Потом метнулась окровавленная фигура Гебеля, за ним ринулись Щепила, Кузьмин и Сергей Муравьев, Сергей первый догнал Гебеля и стал бить его прикладом.

— Сережа! Сережа! — оттягивал брата подбежавший Матвей.

Сергей был в исступлении.

— Так ему так! — кричали солдаты. — Всю ночь караула не сменял, немчура проклятый! Наскрозь, до самой души, на морозе простыли. Теперь и в избы погреться пойти можно бы...

И один за другим стали расходиться, не обращая внимания на вопли Гебеля.

Соловьев ударом штыка свалил его на землю. Подбежал Щепила, схватил Сергея за плечи, с усилием отнял у него ружье и вдвоем с Матвеем отвел в избу. Скоро вернулся Кузьмин.

— У меня есть ром, — сказал он. — Сейчас налью Сергею Ивановичу, — и, разбираясь в шкафу, говорил с одышкой: — Эдакий живучий этот Гебель. Лишь только вы отошли, он приподнялся и на карачках пополз к воротам. Я за ним. А тут ехал какой-то сердобольный монах. Подбежал к Гебелю, схватил в охапку его тушу, кинул в сани и хлестнул по лошадям.

— Это ужасно, — вырвалось из посиневших губ Сергея.

Кузьмин поднес ему стакан рому.

— Что ужасно, Сережа? — спросил Матвей.

— Упустили Ланга, покалечили и все же упустили Гебеля. Драка, а не революция.

Он залпом выпил ром и с усилием встал на ноги:

— Однако *si le vin est tire, il faut le boire* note 38. Поручик Кузьмин, соберите роту и

Note38

Если вино откупорено, его надо пить (франц.).

следуйте с ней в Ковалевку. Я поеду ко второй гренадерской роте. Поручик Щепила и Соловьев отправятся через Васильков к своим ротам.

— Слушаем, господин подполковник, — с радостью встретили офицеры первое революционное распоряжение своего командира.

Генерал-майор Тихановский 1-й писал:

«Секретно. Командиру Кременчугского пехотного полка.

До моего сведения дошло, что полковник Гебель вчерашнего числа поутру, прибыв в селение Трилеса, хотел по высочайшему повелению взять находившегося там Черниговского пехотного полка подполковника Муравьева-Апостола с братом его, отставным подполковником же, под арест с присланными для препровождения его жандармами в Санкт-Петербург. Но бывшие при нем не в малом числе офицеры до того Гебеля не допустили и при неотступном одного требовании прибили его и изранили штыками, взяв под свой караул. Сам же подполковник Муравьев-Апостол, после означенного происшествия, собрав квартирующую там 5-ю мушкетерскую роту, выступил в город Васильков. При приближении к Василькову выставленная против него, Муравьева, цепь стрелков в 3 часа пополудни соединилась с восставшими с криками «ура». И мятежники беспрепятственно овладели местечком. Вступив туда с буйством и заряженными ружьями, Муравьев выпустил арестованных накануне по приказу майора Трухина офицеров и криминальных нижних чинов, посадив командующего полком майора Трухина под арест, взял в свое ведомство знамена и полковой казенный ящик, обольщая солдат свободой и уверяя их, что к ним других полков нижние чины будут присоединяться. Носятся слухи, что по принятии какой-то присяги мятежники выступят завтра в поход.

По сему важному случаю предлагаю вашему высокоблагородию собрать все наличные роты вверенного вам полка в полковую штаб-квартиру и наистрожайшим образом приказать батальонным и ротным командирам внушить нижним чинам в случае чего, помнить в недавне данную его императорскому величеству государю Николаю Павловичу верноподданническую присягу, и не соглашаться ни на какие обольщения. И если бы случилось проходить с батальоном или полком подполковнику Муравьеву-Апостолу, не верить никаким предъявлениям повелений. Стараться офицеров и солдат убедить оставить его, Муравьева, как ложного начальника. А его, равномерно, как и штабс-капитана Соловьева, поручиков Кузьмина, Сухинова и Щепилу, подпоручика Бестужева-Рюмина и рядового, разжалованного из полковников, Башмакова, велев арестовать, доставить за строжайшим караулом в дивизионную квартиру в местечко Белую Церковь. Между тем предворяю вас всеми мерами стараться узнавать о движении означенного подполковника с полком хотя бы в отдаленности от полковой вашей штаб-квартиры. И мне доносить наиподробнее, не медля нисколько.

Ежели вы осведомитесь, что мятежники близко от вас, то двиньтесь на них и поражайте.

Внушите всем подчиненным воинам всю глупость поступка мятежников, но не разглашайте онога заблаговременно».

Генерал написал секретную бумагу, запечатал пакет пятью полковыми печатями.

А все же бумага эта попала в руки 5-й мушкетерской роты фельдфебелю Шутову.

Отдав ее Сергею Муравьеву, Шутов полным веселого задора взглядом следил за выражением лица Сергея, пока тот читал ее.

— А генерал Тихановский видел, кто тебе ее передал? — складывая лист, спросил

Сергей.

Шутов лукаво улыбнулся:

— Где там видеть! Он на меня окрысился, когда узнал, что я веду команду в Васильков. «Ты, спрашивает, знаешь, что делается в полку?!» — «Так точно, говорю, знаю, затем туда и идем». — «Ворочайтесь, говорит, назад, на ротный двор. Марш в дивизионную квартиру!» А мы все в один голос: «Никак нет ваше превосходительство, не можем мы вертаться, потому как от нашего батальонного командира имеем приказ прибыть в Васильков!» Генерал ажно побагровел весь, глаза рачьими стали, кулаки сжал, бранью так и сыплет. Наши придвинулись было к нему, по-сурьезному вроде отнестись хотели. Генерал давай по-иному разговаривать, улещать стал. «Об тебе, Шутов, приказ, говорит, есть, что должен ты в офицерский чин быть произведен...» — «Спасибо, отвечаю, за милость ваше превосходительство, а только пусти с дороги...» Хотел, было, я арестовать его, и ребята подмигивают, что, мол, бери, мы не препятствуем. Но, не имея на этот счет никакого приказа, поддался я шаткости мыслей...

— Хорошо, Шутов, — похвалил Сергей. — Веди команду на площадь. Я сейчас сам туда буду.

Шутов сделал под козырек и вышел.

Легкий и стремительный, с мальчишескими прядями белокурых волос, вбежал Бестужев-Рюмин. Его светлые глаза сияли восторгом, руки так и поднимались, как будто затем, чтобы обнять каждого встречного: ведь здесь, в Василькове, все — и офицеры, и солдаты — все были свои, родные, близкие...

— Площадь полна воинами, Сережа! — захлебываясь от счастья, быстро говорил он. — Все в полной походной амуниции. Музыканты — и те явились. Все взяли оружие из цейхгауза и стали в ряды. И вообрази, — он расхохотался по-ребячески залихватно, — вообрази, одной из первых на площадь пришла шестая мушкетерская рота, которую еще вчера Трухин поставил караулить арестованного Сухинова. Ха-ха-ха! — закатывался Бестужев. — А сам арестованный шествует впереди роты и тоже хохочет, вот так же счастливо, как и я...

Сергей улыбнулся.

За дверью раздался голос Матвея:

— Сережа, тебя ждут.

Молодой священник, отец Даниил, вызванный Муравьевым на площадь для совершения молебна, стоял у походного аналоя бледный и растерянный. Беспреданно оглядываясь на выстроившиеся колонны солдат, он скользил по их лицам изумленным взглядом. Выглянувшее из-за темного бора солнце казалось красным диском, поднятым в клубах морозного воздуха над стройными рядами войска. От такого ли солнечного света, или оттого, что бодрые, новые слова и шутки оживляли улыбкой обычно унылые лица солдат, но отец Даниил не узнавал их.

«Будто на светлый праздник вышли», — думал он.

— Выслушайте меня со вниманием, батюшка, — обратился к нему Сергей Муравьев. — Русское духовенство в трагические моменты русской истории, во времена бедствий нашего отечества, издревле являлось смелым и бескорыстным защитником прав народных. Я уже объяснил вам давеча цель восстания и наши намерения. И ваша обязанность перед этими людьми, — Сергей вытянул руку в направлении солдатских рот, — ваша обязанность содействовать нам в этом благом деле молитвою и крестом. Готовы ли вы, отец Даниил?

— Я не о себе думаю, Сергей Иванович. Коли помру... — отец Даниил поднял палец, Бог рассудит! Но у меня жена, дети... Что будет с ними, если ваше предприятие не удастся? Бедность, нищета и поругание ожидают сирот моих...

Сергей обернулся к Сухинову:

— Мой приказ об изъятии полковой кассы выполнен?

— Так точно, господин подполковник, — отрапортовал Сухинов, — казначей ни за что не хотел отдавать деньги, и мои люди едва его не прикончили за это.

— Выдайте семейству отца Даниила двести рублей, — приказал Муравьев, — а вы, батюшка, будьте уверены, что ни Россия, ни я никогда не забудем вашей услуги.

Отец Даниил молча оглянулся на дьячка. Тот подергал себя за ворот длинного подрясника, откашлялся и скороговоркой сообщил:

— Молебная книжица и катехизис при мне.

Сергей о чем-то советовался по-французски с братьями и Бестужевым, потом сказал по-русски:

— Прошу вас, батюшка, начинайте.

Священник не спеша надел облачение и подошел к аналою. При первых словах молебна голос его звучал тихо и неуверенно. Но, подхваченное сильными солдатскими голосами, к которым присоединились мужские и женские голоса горожан, окруживших плотным кольцом стройные колонны воинов, пение это ширилось, крепло, выливаясь в мощный хор.

Белый пар от людского дыхания, клубясь над поющими, заалел от лучей уже высоко поднявшегося солнца.

Сергей смотрел на серьезные, просветленные лица солдат и думал о том, какими словами возможно выразить значение этих исторических минут в судьбе каждого из них и всех примкнувших к ним — женщин, детей и стариков.

Он не хотел читать им свое заранее написанное обращение. Теперь оно казалось ему слишком церковным и выспренным.

И когда священник умолк, Сергей выступил вперед и заговорил просто и душевно. Его слова доходили до каждого солдата, стоящего даже в последних рядах:

— Судьба ли, бог ли умилосердился над нашей отчизной, послав смерть главнейшему из наших тиранов. Все бедствия русского народа проистекали от самовластного правления. Всем вам ведомо, что творилось в нашем отечестве до сего дня. Хлебопашцы, чьим трудом живет государство, — бессловесные рабы своего господина. Многострадальное и многомиллионное крестьянство наше невыразимо угнетено податями, барщиной и оброками. По жизни трудового сего люда невозможно выключить его из числа каторжников. Не менее бедственен жребий русского солдата, не огражденного никакими законами от самовластия любого начальника, от самого наибольшего до того, кто лишь одною ступеню стоит выше угнетаемого. Четверть века несет каждый солдат свою жалкую участь, а когда седовласым старцем возвращается в лоно оставленного семейства своего, не находит он зачастую даже родных могил... Ум его и сердце, истерзанные зловластием больших и малых тиранов, напрасно ищут, чем утолить душевную скорбь сиротства.

В толпе слышался женский плач, вздохи. Лица солдат стали еще серьезней и строже.

— Какие минуты, Сережа! — сквозь слезы восторга шепнул Бестужев Муравьеву.

А тот продолжал, повышая голос:

— Отныне злостное сие правление рушится. Россия станет свободной! Забудем

многолетнее раболепствие наше, не покусимся ни на какие злодеяния и междоусобные распри! Российское воинство грядет установить правление народное, основанное на справедливых законах, равно обязательных для всех граждан российского государства. Да пребудет отныне русский народ в мире и спокойствии! Да отдаст он свой свободный труд на созидание благосостояния и могущества своего отечества. Да охранит он свою обновленную отчизну и свою волю всеми своими помыслами и силами всегда, ныне и присно и вовеки веков!

— Аминь... — тихо проговорил отец Даниил.

— Ура! Ура! Ура! — провозгласили солдаты.

— Ура! — подхватили люди, одетые в сермяги, кацавейки, армяки и полушубки.

Из толпы этих людей вышел степенный старик, держа в руках лоснящийся запеченной коркой и посыпанный солью каравай.

Низко поклонившись солдатам, он сказал:

— Хлеб-соль нашу примите, солдатушки.

За ним подошла молодая женщина с большим ситом, в котором лежали еще теплые украинские пышки и «перепечки».

Солдаты делили между собою угощение. А им подносили еще и еще.

— Теперь читайте мой «Катехизес», батюшка, — сказал Сергей Муравьев, подавая несколько исписанных четким почерком листов.

Священник смотрел на них с недоумением.

— Читайте, читайте, — настойчиво повторил Сергей.

Первые вопросы и ответы «Катехизиса», составленного Муравьевым-Апостолом, отец Даниил читал быстро и невнятно.

— Надбавь духу! — слышались требования.

— Громче, батя! Громче!

«Что значит, быть свободным и счастливым? — усилил голос священник. — Без свободы нет счастья. Апостол Павел говорил: „Ценою крови куплены есте, не будете рабы человекам...“ Для чего же русский народ и русское воинство несчастны? — Оттого, что цари похитили у них свободу. Стало быть, цари поступают вопреки воле божией? — Да, конечно. — Должно ли повиноваться царям, когда они поступают вопреки воле божьей? — Нет! Оттого-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям...»

— Слышишь, Максимов, — подтолкнул один солдат другого, — слова-то те самые, что под Бакумовкой слышали...

— То-то и оно, — строго ответил Максимов.

— А то как же, — поддержали еще двое.

— Цыцте, ребята, — зашикали на них, — дайте послушать.

И снова наступила напряженная тишина.

В тишину эту, нарушаемую только голосом отца Даниила, ворвался вдруг залихватый звон бубенцов. Из-под горки взлетели на площадь небольшие открытые сани. В них, держась рукой за плечо кучера, стоял молодой офицер.

— Ипполит! — радостно крикнул Матвей, первым узнав младшего брата, и бросился к нему навстречу.

— Я все, все понимаю, — блестя зелеными, как изумруд, глазами, целуя братьев, говорил Ипполит. — Эти люди и эти войска! Боже мой, как все это прекрасно! Это то же, что было в Петербурге? Ну, разумеется, то же, я все знаю! И как славно, как удачно, что в сию торжественную минуту я с вами!

Сергей погладил Ипполита по румяной щеке с темнеющими шелковистыми бачками.

— Не правда ли, он очень похож на Олесю? — спросил он у Матвея и тотчас же обратился к Ипполиту: — Только не вздумай здесь оставаться... Поезжай к отцу и сестре. Воображаю, как они о нас беспокоятся!

Ипполит прижался к Сергею:

— Как, оставить вас в такое время! Ни за что! Я чувствую, что все окончится удачей, потому что такое прекрасное дело не может не увенчаться полным успехом...

— А если нет? — тихо спросил Сергей. — Вспомни, что у отца не останется ни одного сына.

— Если неудача, — проникновенно ответил Ипполит, — если мы ошиблись в своих надеждах, то честью клянусь пасть мертвым на этом роковом месте.

Подошел Кузьмин. Услыхав последние слова Ипполита, он протянул ему руку:

— Дайте свою. Я тоже сказал себе: «Свобода или смерть». И клянусь, что и меня не возьмут живым!

Они крепко обнялись.

— Давай обменяемся пистолетами, — предложил Ипполит.

— Я готов с радостью!

Когда прозвучал последний ответ «Катехизиса»: «Для освобождения страждущих близких своих и всей родины надлежит сплотиться всем вместе против тиранства и установить свободу в России, а кто отстанет, тот, как Иуда-предатель, будет, анафема, проклят», — Сергей снова обратился к окружившим его со всех сторон людям:

— Всем ли вам теперь понятно, на что мы идем? У всех ли хватит мужества оставаться стойким до конца? Отважитесь ли вы на великий подвиг?

И на каждый из этих вопросов слышал дружный многоголосый ответ:

— На все готовы!

— Все за тобой пойдём!

— Верим тебе! Верим!

К ясному морозному небу взлетали картузы, шапки, треухи...

Вечером Сергей Муравьев чертил на белом листе бумаги план своего похода. Оба брата, Сухинов, Щепила и Кузьмин внимательно слушали каждое его слово. Бестужев красными от бессонных ночей глазами следил за движением карандаша в руках Сергея.

— Я полагаю вести полк из Василькова через Бердичев к Житомиру, — говорил Сергей. — У Житомира и произойдет соединение с полками восьмой пехотной дивизии.

— Конечно, — сказал Матвей, — хорошо бы воспользоваться лесистой местностью, но по разведке Сухинова путь этот прегражден уланским полком.

— Тогда свернем на Житомир кратчайшей дорогой и пойдём через Фастов и Брусилов таким путем.

Он стал соединять точки деревень, выпрямляя только что намеченную линию.

— Но эта местность не обладает никакими природными прикрытиями для пехоты, — возразил Матвей. — И если иметь в виду, что, по разведкам, против нас собираются значительные силы...

— Откуда они возьмутся? — прервал Бестужев. — Будто вам неизвестно, что во всех окружных полках у нас свои люди

Матвей иронически улыбнулся:

— Вы уверены, что мгновенные порывы и пылкие уверения неких лиц на деле не окажутся праздным пустословием?

Сергей глубоко вздохнул:

— Увы, я горько убедился в этом. И в поступке Артамона и в том, что мне доносят о других наших единомышленниках. Мне невольно идут на мысль слова Пестеля: «В решительный момент, когда надо будет доказать, что мы не шутили, не развлекались совещаниями, многие отрекутся, не дождавшись даже, когда пропоет петух». Ну, да что толковать! Нашему выбору представляется смерть или заточение.

— А если так, — вмешался в разговор Кузьмин, — то не ясно ль, что лучше умереть с оружием в руках, нежели всю жизнь прожить в железзах!

— Мы обязаны довершить дело, начатое в Петербурге, — продолжал Сергей. — Так или иначе, но наше выступление отвлечет некоторым образом внимание царя, сосредоточенное ныне на расправе с нашими северными товарищами и, быть может, в какой-то степени смягчит их участь... Нам надлежит положить: держать людей в строгой дисциплине, тотчас же по окончании восстания образовать в городе временное правление и выдать прокламации об освобождении крепостных. Часть революционной армии должна охранять порядок. Другую, поведем за собою на соединение с иными восставшими войсками... А затем двинемся к столице.

— И если солдаты не пойдут за нами добровольно, — хмурясь, прибавил Матвей, — то будем гнать их силой.

— Что?! Что вы такое сказали! — бросился к нему Бестужев-Рюмин. — Голубчик, отрекитесь наипоспешнейше от таких выражений! Для завоевания вольности не должно быть никакого принуждения. Нужен только один энтузиазм! Энтузиазм все разрушает и все создает! Ныне решается судьба деспотизма. Ненавистный тиран, по чьему приказу Сенатская площадь обогрена чистейшей жертвенной кровью... тиран, бросивший наших друзей в каменные мешки Петропавловской крепости... Слышишь ты, тиран, трепещи! Дни твои сочтены!

— Не шумите, Мишель, — остановил сердито Матвей Бестужева, потрясающего пистолетом. — Ипполит задремал...

Понизив голос, Сергей отдавал приказание Модзалевскому, который должен был ехать к генералу Раевскому.

— Вы должны очень спешить, дабы передать генералу, ежели он не арестован, сведения о нашем восстании, расспросить его о том, что он думает предпринять. Объявить ему о наших надеждах на Киев, где так много членов нашего и Польского общества. Сверх того, не забудьте узнать о мерах, принятых правительством против нас. Какие полки назначены воспрепятствовать нашим успехам и кто будет ими командовать. Далее, старайтесь по дороге распространять мой «Политический катехизис». Переоденьте для сего расторопных рядовых в партикулярное платье и пустите их в народ...

Разбросанные по белой бумаге черные точки намеченного Сергеем Муравьевым пути в дни 30 и 31 декабря 1825 года ожили в виде деревень и местечек с народом, изумленно и радостно встречающим своих избавителей: одних — от мук солдатчины, других — от крепостного рабства. Весть о походе Муравьева о его замыслах доходила каким-то непонятным образом в самые глухие уголки Черниговщины. Будто те струи свободы, которые колебались над его полком, были легче воздушных слоев и потому стремительней разносились над белыми полями к занесенным снегом деревням. Не «Политический катехизис» был тому причиной, а из уст в уста передавались среди

крестьян и солдат слухи о том, что Муравьев обещает народу волю, что в нем, Муравьеве, совесть «не господская, а барин он душевный».

— Надясь у нас, — рассказывали солдаты, — рядового при нем секли, так в их благородии душа обмерла. Глаза под лоб закатились. Будто неживой стал. Сердце, значит, зашлось. Насилу водой отпоили... Во какой он, наш Сергей Иванович!

И встречали Муравьева хлебом-солью, просили защиты, жаловались на обидчиков. И обещали:

— Всем миром за тобою пойдем. Живот свой за тебя положим, избавитель ты наш!

В канун Нового года настала последняя дневка. Революционные войска стояли в селении Мотовиловке.

— Зачем эта дневка? Что нам медлить? — рассуждали между собой солдаты. — Лучше б идти маршем до самого Житомира. А то с неделю валандаемся, ни друзей, ни недругов не видать...

Услыхав один из таких разговоров, Соловьев подошел к солдатам.

— Муравьев знает, что делает, — старался он успокоить их. — Надобно немного обождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас, какие с нами...

— Какие-никакие — все едино, — возражали солдаты. — Картечь да пуля у всех одинаковы. Вон, слышать, которые из унтеров скрылись невесть куда. И из наших рядов иные больно часто по сторонам озираются.

Соловьев передал Муравьеву о недовольстве солдат.

Сергей тотчас же вышел к ним. Солдаты, не разместившиеся по избам, разложили костры и топтались вокруг них, грея спины и ноги. От костров окружающая темнота казалась сажей. Небо нависло тяжелой периной, из которой падали крупные, как рваное перо, снежинки. В воздухе пахло кашей и дымом.

Сергей подошел к костру, и сейчас же вокруг сдвинулись солдаты.

— Не страшитесь ничего, друзья мои, — говорил им Сергей, неотрывно глядя в пылающий костер. — Вас не должно смущать бегство подлых трусов, недостойных разделить с нами трудности и страдания, неизбежные в свершаемом нами великом и благородном предприятии. Если кто-либо из вас столь малодушен, что из бегства ничтожных людей делает невыгодные заключения о нашем деле и желает покинуть своих товарищей, пусть сейчас оставит ряды и, покрытый позором, идет куда хочет...

Среди солдат слышались негодующие фразы:

— Пусть только осмелятся! Брюхами на штыки нанижем.

— Расходитесь по квартирам, братцы, — сказал Муравьев. — Утром выступаем.

Бодрое, сочное «ура» прокатилось над деревней и шархнулось вдаль по смутно белеющим снежным полям.

Эти поля были еще затянуты предзаревой бледностью, и темные деревеньки казались родимыми пятнами на лице земли, когда полк быстрым маршем двинулся к Белой Церкви.

Муравьев предполагал соединиться в этом местечке с 17-м егерским полком, но посланный вперед Сухинов узнал от казаков, охранявших имение графини Браницкой, что полк этот уже выступил оттуда. И Сергей решил еще раз изменить маршрут на Житомир, где, он был уверен, его ждет Горбачевский и другие «славяне» с их ротами.

Сергей не знал, что не успел он выехать от Артамона, как тот снова сжег оставленную для Горбачевского записку.

Два дня шли солдаты, не только не требуя длительного отдыха, но, наоборот,

торопили скорей продолжать путь. А между тем многих на перекличках уже не досчитывалось, и песельники, заведя песню, не встречали дружного подхвата и присвиста.

На третий день снова подошли к разорванному на три части синему бору у Трилес. Оставив в стороне деревню, Муравьев построил взводы, замкнул полк в густую колонну и продолжал путь.

Молча вышли за выгон и свернули прямо в поле.

Вдруг где-то громыхнуло.

— Пушки, — гулом пронеслось по рядам.

Прошли еще с полверсты. Внезапно из-за пригорка слева метнулись огненные языки, и грянуло еще несколько орудийных выстрелов.

В рассеянном дыму показались конные гусары.

Муравьев приказал готовиться к бою.

Лица солдат мгновенно изменились: стали сосредоточенны, и в глазах засветился ясный и острый блеск.

Защелкали ружейные курки. А оттуда, из-за пригорка, где уже ясно виднелись жадные хоботы пушек, снова рев... и грохот картечи, разорвавшейся в густых рядах солдат.

Упали первые воины. И среди них первым упал Щепила.

С мертвого лба слетела шапка, и густые черные волосы венчиком обрамили глубоко ушедшую в снег голову.

Этот черный венчик у лица Щепилы и красный от крови снег под его откинутой в сторону рукой было последнее, что ясно видел Сергей Муравьев. Потом будто кто-то ударил его по голове бутылкой, и из нее по лицу потекло горячее красное вино. Он вытер это липкое вино рукавом и командой пытался восстановить боевой порядок.

Но солдаты падали под частыми разрывами ядер, разбегались в стороны.

Быстро, как в сказке, набегали сумерки. Темнело, и в этом неумолимо надвигающемся мраке металась фигура Кузьмина, Сухинова, Соловьева, брата Матвея.

Потом подбежал Ипполит и прорыдал:

— Сережа, ты умираешь? Я за тобой...

Близкий щелчок пистолетного выстрела. И перед глазами... кажется... Олеся с зажатым в высоко поднятой руке цветком настурции. Но все это мелькнуло и исчезло.

Три леса сдвинулись и поглотили все...

На краю Трилес в придорожной корчме большая русская печь потрескалась, и из щелей тонкими струйками пробивался дым.

— Нельзя ли открыть дверь? Сережа снова впал в беспамятство, — попросил Матвей Муравьев, боясь пошевелиться, чтобы не побеспокоить тяжело раненного брата, приникшего к его плечу.

Соловьев пошел к двери.

— Куда? — выросла перед ним фигура часового.

— Открой дверь, здесь душно.

— Не приказано.

Соловьев медленно побрел к лавке.

— Подойди ко мне, — позвал его из затененного угла Кузьмин.

Соловьев повернул к нему, но Матвей окликнул:

— Сереже дурно. Помогите мне положить его на лавку.

— Иди, иди, — проговорил Кузьмин. Вытащив из-под рубахи припрятанный под раненой рукою мокрый от крови пистолет, он вложил дуло в рот и нажал курок...

Изба наполнилась часовыми.

— Волоките и этого туда же, к тем двоим, — сердито приказал офицер из охраны. У одного солдата валенки пропитались кровью и онучи промокли.

— Пятки зазнобишь по такому холоду, — сердито бормотал он.

Поскользнувшись у порога, офицер гадко выругался.

— Не смей браниться над покойником! — сурово остановил его кто-то из темноты.

— Да еще над каким покойником! — сказал сквозь слезы другой голос.

Наступил хмурый рассвет. В углу, на земляном полу, белели три трупа. С них сняли одежду, и они были похожи на статуи античных героев.

Ипполит улыбался мертвыми губами. К этим губам приникли вздрагивающие губы Сергея.

— Прощай, прощай! — шептал он, и несколько горячих слез упало на лицо покойника.

Матвей поцеловал руку Ипполиту, потом Щепиле и Кузьмину.

От дверей раздался окрик:

— Арестованные! Следуйте за мной!

Матвей помог Сергею подняться с колен.

Еще раз оглянулись на распростертые тела и, шатаясь, пошли за конвоиром.

КНИГА ВТОРАЯ

1. Инквизитор

Заняв прародительский престол, вчерашний бригадный командир Николай Павлович Романов с ожесточенным рвением принялся за разгром Тайного общества.

Уже с вечера 14 декабря, когда с площадей и улиц Петербурга еще не успели убрать трупы убитых и соскоблить кровь, ознаменовавшую начало нового царствования, когда по всей столице еще продолжалась облава на разбитые части восставших войск, к Зимнему дворцу со всех концов города в санях, каретах и пешком доставлялись под конвоем участники заговора, бывшие и не бывшие в этот день на площади у памятника Петру.

Сквозь расставленные по дворцовым залам пикеты, под бряцание оружия, топот солдатских сапог, звон офицерских шпор и начальнические окрики арестованных приводили к комнате, у дверей которой стоял усиленный караул от лейб-гвардии саперного батальона.

В этой комнате новый царь лично допрашивал арестованных и сам набрасывал пункты допросных листов для генерала Толя, которому поручал дальнейшие допросы своих пленников. Здесь же Николай собственноручно писал записки коменданту Петропавловской крепости генералу Сукину, отдавая приказания, как кого содержать, из направляемых в крепость «арестантов».

Уже в самом начале следствия Николай пришел к твердому убеждению, что списки членов Тайного общества, которыми он располагал по доносам Шервуда, Майбороды и Бошняка, а также объяснительные записки Бенкендорфа, Васильчикова

и Витта, в свое время поданные покойному Александру и известные ему, Николаю, еще до событий четырнадцатого декабря, далеко не отвечают действительности и раскрытый заговор гораздо шире и глубже.

За убитыми на Петровой площади и улицах столицы, за новыми и новыми арестованными, за этим разгромленным передовым отрядом мятежников расстроенному воображению царя мерещился неведомый, но страшный своей силой арьергард, вся простонародная, мужицкая и солдатская Россия, взбудораженная этими «канальями фрачниками и закоренелыми злодеями из военных», которые заразили ее «буйным своеволием дерзновенных своих мыслей и намерений...»

Первые часы своего царствования Николай создавал всевозможные планы и выискивал разные средства, с помощью которых он решил, во что бы то ни стало добиться полного проникновения в тайны заговора и до конца истребить Тайное общество со всеми его разветвлениями и корнями.

Он завел для себя «особую тетрадь» в лиловом кожаном переплете с медным затвором, в которую заносил все приходящие ему по этому поводу иезуитские мысли.

Первой записью в этой тетради был набросок правил, по которым следует вести допросы:

«Всякое арестованное лицо, здесь или откуда привезенное, должно доставляться на главную гауптвахту.

Дежурный флигель-адъютант доносит об этом Толю или Левашеву, они — мне, в котором бы часу ни было, хотя бы во время обеда или сна. После сего, оное лицо приводить ко мне под конвоем...

Допрос начинать увещанием говорить сущую правду, ничего не убавляя и не скрывая. Уверять, что не ищю виноватого, а желаю дать возможность оправдаться. Предостерегать от усугубления виновности ложью или запирательством. Обещать прощение за откровенность. Ответы записывать со слов возможно полнее, а затем требовать обширных письменных показаний. О каждом знать слабые стороны души и через них действовать».

Ко времени ареста Рылеева «слабые стороны души» его, в результате старательнейших розысков, уже настолько были известны царю, что он считал вполне возможным воспользоваться ими на предстоящем допросе.

Николай уже знал, что святыней рылеевской души была его любовь к родине, к поэзии, к красавице жене и к маленькой дочери; знал, что доброта и необычайная доверчивость свойственны его сердцу.

«Рылеева называют рыцарем „Полярной звезды“, — прочел царь в донесении одного агента. — Рылеев является не только издателем сего модного альманаха, но и сочинителем пьес „Войнаровский“ и „Думы“, кои привлекли к себе внимание обширнейшего круга восторженных почитателей. В писании сих и им подобных сочинений господин Рылеев видит свое служение общественному просвещению России и ее преуспеянию в деле политической свободы».

«В квартире Рылеева, — доносил другой сыщик, — на собраниях, именовавшихся „русскими завтраками“, не только проходили неоднократно совещания членов злоумышленного общества, но даже самый план действий 14 декабря и диспозиция боевых сил были обсуждены именно в кабинете Рылеева».

Царь внимательно прочел еще одну характеристику Рылеева, которая была записана, как на это указывал сам доносчик, со слов писателей Греча и Булгарина:

«Господин Греч, издающий журнал „Сын отечества“, — стояло в этой тщательно

проштудированной царем характеристике, — сам собирается подать по начальству верноподданническую записку о причинах гнусного нынешнего и пагубного взрыва. О хорошо знакомом ему Рылееве он отозвался в следующем духе: Рылеев — небогатый дворянин, воспитывался в кадетском корпусе, учился хорошо, но был непокорен и дерзок с начальниками, за что бывал сечен нещадно. Однако в продолжение оных экзекуций не произносил ни жалоб, ни малейшего стога и, став на ноги, снова начинал грубить старшим. Кратковременно побывав в военных походах, посетил он Дрезден и Париж, откуда осенью 15-го года побрел обратно в Россию и вышел в отставку подпоручиком. Не получив, таким образом, никакого совершенствования в науках, стал служить по гражданскому ведомству и, увлекшись вместе с тем стихотворством, напечатал в „Невском зрителе“ предерзостные стихи, будто бы в подражание Персиевой сатире к Рубеллию, а на самом деле об Аракчееве, коего назвал неистовым тираном, жестоким временщиком и подлецом. Откуда залезли в его голову либеральные идеи — сказать затруднительно. Ведь большинство прочих заговорщиков было воспитано за границей, а сей неуч, коего и господин Греч и господин Булгарин называли „цвибелем“, был ослеплен идеями республиканских доблестей, видимо, понаслышке от своих образованных товарищей — каковы бывшие воспитанники Лицея: Пушкин Кюхельбекер, Дельвиг, а также сочинители Александр Бестужев и Грибоедов. Господин Булгарин вспомнил, что еще в январе сего года Рылеев сказал ему: „Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим“, а сегодня, имея насчет Рылеева темные предчувствия, господин Булгарин зашел к нему в восьмом часу пополудни на квартиру, где находились также барон Штейнгель, Бестужев и некто Каховский. Рылеев тотчас же взял Фаддея Венедиктовича Булгарина за руку и выпроводил в переднюю, говоря: „Ступай домой, тебе здесь не место“. Господин Прокофьев, директор Русско-Американской компании, в которой Рылеев служил в должности правителя дел, отметил, что в начале своего служения Рылеев трудился ревностно и с большою пользой, но потом, одурев от либеральных мечтаний, охладел к службе и валил через пень-колоду».

Эта характеристика Рылеева казалась царю особенно заслуживающей внимания. Он даже приказал доставить себе упомянутую в доносе «сатиру» и, прочтя ее, долго размышлял, почему Аракчеев нашел более удобным не узнать себя в ней, чем разделаться с ее автором со всею жестокостью, какую он проявлял неизменно ко всем своим врагам.

«При случае надо будет спросить у него самого», — решил Николай и подсел к письменному столу, чтобы продолжать ранее начатое письмо к Константину. Но едва он набросал несколько строк, как явился обер-полицмейстер Шульгин с рапортом о том, что сочинитель Рылеев доставлен во дворец.

— Как он держался при аресте? — с любопытством спросил царь.

— Весьма прилично, ваше императорское величество. Взят он был флигель-адъютантом Дурново около 11 часов вечера из квартиры, где лежал в кабинете на диване в полной дневной одежде. Благословив наскоро дитяню-дочь, Настенькой назвал ее и, облобызав изнемогшую под бременем горести жену, арестованный спокойно предался в руки властей.

— Говорил ли он что-либо в назидание семейству? — спросил Николай.

— Никак нет, ваше императорское величество. Лишь служанке, заливавшейся горячими слезами, сказал: «Гляди за Настенькой прилежно, Дуняша». Вот и все слова. Да еще во время следования ко дворцу слышал Дурново неоднократно горестные

восклицания арестованного: «Все погибло, все кончено...»

Отрапортовав, полицмейстер стоял все так же, вытянувшись в струнку, и не сводил верноподданнических глаз с царя, вновь принявшегося за письмо:

«Обрываю, дорогой брат, так как в это время мне докладывают, что привели Рылеева. Эта поимка из наиболее важных».

Николай решительно отложил письмо в сторону и приказал:

— Ввести арестованного.

— Кондратий Федорович Рылеев? — спросил Николай в ответ на молчаливый поклон вошедшего.

— Так точно, государь.

— Род занятий?

— Литератор.

— Слышал, но не могу этому верить, — строго проговорил царь, — ибо, насколько я понимаю, в обязанности сочинителей не входит рысканье по казармам на предмет подстрекательства солдат к неповиновению начальникам.

— В наш век, государь, и поэт не может оставаться равнодушным зрителем бедственного состояния его отчины, — ответил Рылеев, избегая пытливо устремленного на него взгляда.

Несколько минут длилась пауза.

— Говори со мною откровенно, — почти просительно произнес царь. — Будем помнить одно: ты — сын отечества, я — его отец...

Он решительно шагнул к Рылееву и, приподняв за подбородок концами пальцев его опущенную голову, заглянул в большие скорбные глаза.

— Нет, нет, — медленно, с облегченным вздохом произнес царь — зеркало души твоей ясно... И лицо простое и открытое. Я рад, что мое представление о тебе как о человеке добром и честном, но лишь по тягчайшему стечению обстоятельств замешавшемся в столь кровавое дело, видимо, было правильным. Ты не мог жаждать крови, которая по вашей вине была пролита нынче на улицах столицы.

— Мы полагали, что дело обойдется без кровопролития, — тихо промолвил Рылеев, — мы много надеялись, что солдаты не станут стрелять в своих братьев.

— К чему же собственно вы все стремитесь? — с показным участием спросил царь. — Чего, к примеру, не хватает в жизни всем этим господам? — при последних словах он постучал острым ногтем по лежащему перед ним списку членов Тайного общества. И неожиданно протянул его Рылееву.

Тот взял его дрогнувшей рукой. Перед глазами, как будто начертанные раскаленным металлом, замелькали фамилии:

«Трубецкой... Пущин... Рылеев, Бестужевы... Пестель... Муравьев...» И снова: «Бестужевы... Оболенский...».

«Все, все заявлены... И если нас всех ждет крепость или даже смерть — дело наше погибнет. Если не навеки, то очень, очень надолго. Как же мне спасти хоть немногих... Как не дать с корнем вырвать посеянные нами семена вольности?!» — в отчаянии думал Рылеев.

Николай как бы невзначай положил перед ним письмо Ростовцева, полученное им за два дня до восстания

Рылеев знал об этом письме от самого Ростовцева, который признался, что лично передал его царю.

Ростовцев писал Николаю, что он зря доверяется льстецам и наушникам, чем

многих честных людей против себя раздражил. Умолял подождать царствовать и настоятельно советовал вызвать из Варшавы Константина и, если он действительно не хочет вступать на престол, заставить его всенародно на площади заявить об этом.

— Да государь. Убиение одного императора могло не только произвести никакой пользы, а наоборот, оно могло быть пагубно для сокровеннейшей цели нашего Общества, ибо вопрос о новом преемнике престола, как уже не однажды бывало в истории, мог разделить умы, породить междоусобия и привести Россию к ужасам Смутного времени. А уж если бы ни одного претендента на престол не осталось, вопрос об образе российского правления должно было бы волей-неволей предоставить разрешить Великому собору...

Царь прерывал Рылеева неоднократно: «так, так» и «говори, говори...»

И Рылеев, увлекаясь все больше мыслью воздействовать на царя, который искусно облекался в личину «отца отечества», потрясенного разразившимися событиями, говорил о пламенном желании членов Тайного общества видеть Россию на высочайшей степени благосостояния для всех в ней проживающих и в особенности для «многомиллионного русского крестьянства, находящегося в уничижительном для всей русской нации крепостном состоянии». Он говорил о великих заслугах русского народа в войне с Наполеоном, о необходимости просвещения, отсутствие которого мешает России занять подобающее ей место в ряду других государств. Он старался убедить царя, что прогресс невозможен без свободомыслия, а преследовать людей за то, что они хотят свободно мыслить, так же несправедливо, как бить слепого за то, что тот, излечившись от слепоты, стал вдруг различать предметы.

Николай долго и, казалось, внимательно слушал Рылеева.

Потом стал задавать ему вопросы о характере и отдельных поступках того или иного участника заговора. Рылеев восторженно отзывался о своих товарищах. В особенности превозносил он «истинно рыцарскую натуру» Каховского, который «предан родине до крайних пределов самоотвержения».

— А что тебе говорил этот патриот сегодня ввечеру? — неожиданно спросил царь.

— Он с полной искренностью сокрушался о совершенных им злодеяниях, но что именно он говорил, я не помню, ибо находился в сильном волнении духа и был занят судьбою моей семьи. Мысль, какие средства пропитания найдет для себя и малютки дочери жена моя, и в сии минуты угнетает меня тягчайшим образом.

Едва Рылеев проговорил эти слова, Николай дернул сонетку и, как только дежурный офицер показался на пороге, приказал:

— Передать моему казначею, чтобы завтра же отослал от моего имени две тысячи рублей госпоже Рылеевой.

Когда он снова обернулся к Рылееву, тот сидел, уронив голову на спинку стула. Плечи его вздрагивали.

Заметив, что взгляд Рылеева скользит уже по последним строкам письма, Николай перевернул его на другую страницу, где рядом с подписью Ростовцева было написано:

«Подпоручика лейб-гвардии егерского полка Якова Ростовцева произвести в поручики. За откровенное признание награжу дружбой. Николай».

Рылеев прочел эти слова.

«А что, если царь и в самом деле способен оценить откровенное признание. Да нет, не может быть... А вдруг?» — мучительно колебался Рылеев.

А Николай, придавая голосу проникновенную печаль, говорил:

— Подумай сам, Рылеев, — каково мне было узнать, что подобное дело затеяли главным образом военные, которые верой и правдой призваны служить отечеству... А разве Рылеев не воевал с Наполеоном? Разве не встречался ты в битвах за родину лицом к лицу со смертью... — царь сделал вид, что у него перехватило дыхание, и умолк.

— Я верно служил отечеству, когда оно нуждалось во мне, как в войне, — прямо глядя в лицо царю, ответил Рылеев. — Ныне наступил для России век гражданского ее мужества, и она требует от своих верных сынов гражданских подвигов. За счастье своих соотчичей, страждущих под жестоким скипетром самовластья, за свободу моего отечества я отдам свою жизнь с тою же готовностью, с какою отдал бы ее на поле брани!

— И они, эти твои сподвижники, так же понимают свой гражданский долг? — спросил Николай.

— Чистота и святость наших намерений едины, — твердо произнес Рылеев.

— А что бы вы сделали, если бы сегодня все полки перешли на вашу сторону? — после долгой паузы снова спросил Николай.

— Когда все войска перешли бы на нашу сторону, мы предложили бы вашему величеству собрать Великий собор выборных от каждой губернии и каждого сословия.

— А если бы я на это не согласился? — и, не дождавшись ответа, продолжал: — Тогда вы решили всех нас зарезать? Знаю и об этом, Рылеев, знаю: дворцовые перевороты не новость в нашей истории...

— Люди, совершавшие такие перевороты, имели свои корыстные, властолюбивые цели, — возразил Рылеев, — мы же хотели блага народного и во имя сего блага готовы принести любые жертвы. И прежде всего себя самих, — чуть слышно добавил он.

— А затем меня и всю нашу фамилию, не так ли? Зачем вам понадобилось истребление всей царской фамилии? Тоже, скажешь, для блага родины?

Царь на цыпочках подошел к другой двери и, приподняв тяжелую портьеру, шепотом сказал генералу Толю:

— Продолжайте допрос. Дайте ему бумаги, пусть господин литератор побольше пишет. А я займусь другими. Многих привезли?

Толь стал называть фамилии.

— А, очень хорошо, — кивнул Николай. — Сейчас я набросаю записку коменданту Петропавловской крепости. Ее отослать вместе с Рылеевым.

Присев к столу, он написал:

«Присланного Рылеева посадить в Алексеевский рavelин, но не связывать рук, без всякого сообщения с другими. Дать ему бумагу для письма. И что будет писать ко мне собственноручно — мне присылать ежедневно».

Царь протянул записку Толю и, застегнув мундир на все пуговицы, направился в эрмитажный зал, где ожидали допроса новые арестованные.

Недавно назначенный флигель-адъютантом молодой князь Голицын получил от нового царя первое поручение — разыскать и немедленно доставить во дворец полковника лейб-гвардии Преображенского полка князя Сергея Трубецкого, захватив найденные у него при обыске бумаги подозрительного содержания.

Голицын шелкнул шпорами и, скользя по паркету с легкостью и грацией постоянного распорядителя танцев, не пропускал ни одного зеркала, чтобы не полюбоваться хоть на ходу своими флигель-адъютантскими аксельбантами и всем

своим молодцеватым видом.

То и дело ему приходилось раскланиваться перед генералами и офицерами в парадной форме и с лицами, крайне озабоченными.

Почти у всех дверей стояли часовые. Много солдат было и в комнатах, ведущих во внутренние покои дворца.

Голицын сбежал по винтовой лестнице в конюшенный двор и через несколько минут уже мчался в санях по Английской набережной к дому Лавалья.

Но и на этом коротком пути его несколько раз останавливали конные патрули, спрашивали, кто он и куда скачет, и отпускали только после того, как Голицын предъявлял соответствующие документы.

У богато украшенного лепными барельефами особняка Голицын приказал кучеру остановиться, выпрыгнул из саней, и крепко потянул за бронзовую ручку звонка.

— Их сиятельств никого нет дома, — сказал открывший дверь швейцар.

— Проводи в кабинет князя Трубецкого, — приказал Голицын.

Швейцар нерешительно переступал с ноги на ногу.

— Уж не знаю, возможно ли сие в отсутствие их сиятельств...

— Позови кого-нибудь поумнее, — обозлился Голицын.

Старик сделал несколько шагов, стуча по мраморным плитам вестибюля своими тяжелыми башмаками. Сверху на шум разговора по широкой, застланной алым ковром лестнице торопливо сходил камердинер Трубецкого.

— По высочайшему повелению я должен изъять у князя Трубецкого некоторые бумаги, — строго проговорил Голицын.

Слуги коротко пошептались меж собой.

— Пожалуйте, — нерешительно пригласил камердинер.

— Подай ключи, — потребовал флигель-адъютант, как только переступил порог роскошно обставленного кабинета...

— Князь Сергей Петрович, — степенно возразил старик, — не имеют обыкновения держать под замком не токмо бумаги, коих вы изволите домогаться, но даже золото и ассигнации.

И, прислонившись к притолоке, не спускал глаз с проворно шарящих по ящикам рук флигель-адъютанта.

— Все не то, не то, — бормотал офицер, — какие-то счета, афиши, стишки.

К своей большой досаде, кроме нескольких театральных и концертных на атласе афиш, пачки розовых записок, перевязанных обрывком серебряного аксельбанта поверх надписи: «Письмеца моей Каташи», тетради французских стихов и переписанного рукою Екатерины Ивановны пушкинского «Узника», Голицын ничего не находил. Он небрежно перелистал страницы стихотворного альбома в синем бархатном переплете. Из альбома выпала пожелтевшая гроздь засушенной белой сирени. Камердинер бережно поднял ее и положил возле чернильного прибора.

Голицын уже задвинул, было, последний ящик секретера, как неожиданно заметил сбоку высунувшийся кончик исписанного листа. Он потянул его и... ахнул: вверху листа четким, слегка наклонным влево почерком было написано: «Проект манифеста к народу от имени Сената», а ниже перечислялись пункты, целых пятнадцать пунктов! Голицын прочел только некоторые — об учреждении Временного правительства, об уничтожении цензуры, о свободе «тиснения», об уничтожении права собственности на людей, о равенстве всех сословий перед законом...

Одного такого документа было достаточно, чтобы понять образ мыслей его

автора. А к манифесту был еще прикреплен довольно длинный перечень лиц с точными указаниями, что каждому из них надлежит делать на Сенатской площади 14 декабря.

Очень довольный таким результатом обыска, Голицын не стал рыться в других ящиках и, спрятав бумаги во внутренний карман мундира, ринулся обратно по широкой мраморной лестнице.

— Где же может быть князь в столь позднее время? — спросил он с трудом поспевающего за ним камердинера.

— Княгиня изволила выехать к сестрице, что за австрийским посланником. Я, когда полсть на санях застегивал, слышал, как княгиня приказывала об этом кучеру. Еще за попонкой для собаки изволила Катерина Ивановна меня посылать. Собачка у них имеется, Кадошкой звать...

— Я тебя о князе спрашиваю, а не о собачке, — оборвал Голицын.

— А про их сиятельство не могу-с знать, — строго проговорил камердинер.

— Документы ценные, — сказал Николай, просмотрев привезенные Голицыным бумаги. — Это нам многое откроет. А где же сочинитель всей этой мерзости?

— Мне удалось установить, ваше императорское величество, что князь Трубецкой с супругой находятся сейчас в доме австрийского посланника графа Лебцельтерна.

— Почему же Трубецкой не взят до сих пор?

— Жилище иностранного посланника... — замялся Голицын, но царь понял его.

— Напрасно Трубецкой надеется на неприкосновенность за этими стенами. Скажи к Нессельроде. Как министр иностранных дел он сообразит, что надо сделать, чтобы и в подобном случае выполнить мое приказание.

И Голицын вновь заскользил сперва по дворцовому паркету, потом в легких дворцовых санках по запорошенным снегом улицам Петербурга на Миллионную, к дому австрийского посланника.

Впечатлений и слухов за день было столько, что, оставшись наедине в отведенной им у Лебцельтернов диванной, Трубецкие долго не ложились спать. Накинув на плечи теплую сестрину шаль, Каташа сидела у ног мужа на низеньком пуфе и смотрела, как Сергей Петрович перебирал белую, как вата, длинную шерсть Кадо, лежащего у него на коленях. Собаке, видимо, тоже передалось настроение хозяев: при малейшем шорохе она вздрагивала и настороженно напрягала острые, как у лисицы, уши.

— Я, Сержик, понимаю, — говорила Каташа, — ты слишком расстроен сегодняшними событиями. Но почему... почему бы тебе не поделиться со мною своими мыслями? Уж я, наверно, смогу тебя успокоить...

— Мне, дружок, и самому многое неясно, — задумчиво ответил Трубецкой, — что же я стану смущать тебя понапрасну.

Они помолчали.

— А вот мне так все, все ясно, — серьезно сказала Катерина Ивановна, поднимая на мужа темные, опечаленные глаза.

— Что же тебе ясно, Каташа?

— А то, что я люблю тебя и что жизни наши связаны так, как говорится при брачном обряде у англичан: «For best andlor worse» *note 39*.

Трубецкой нагнулся и поцеловал жену в пробор, надвое разделяющий пряди ее

Note39

На радость и на горе (англ.).

блестящих, как черный шелк, волос.

Кадо вдруг спрыгнул с колен Трубецкого и с пронзительным лаем бросился к дверям: он раньше хозяев услышал приближающиеся к диванной чужие шаги.

Сквозь лай послышался настойчивый стук в дверь.

Вскочив с дивана, Трубецкой смотрел на жену растерянно умоляющим взглядом. Губы его дрожали.

— Ничего не поделаешь, мой друг, — тихо проговорил он, — надо открыть... — и повернул дверной ключ.

В глаза перепуганной Катерине Ивановне, прежде всего, бросился расшитый мундир графа Нессельроде, аксельбанты Голицына и нахмуренное лицо австрийского посланника Лебцельтерна...

Едва Трубецкой переступил порог, Николай встал из-за стола с такой стремительностью, что стул, на котором он перед тем сидел, с грохотом опрокинулся. Оттолкнув его ногой, царь сделал несколько широких шагов и почти вплотную подошел к Трубецкому.

— Гвардии полковник князь Трубецкой, — медленно и тихо проговорил Николай, — что было в этой голове, — он дотронулся длинным указательным пальцем до лба Трубецкого, — что было в этой голове, когда вы, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Как вам не стыдно быть вместе со всякой швалью...

Трубецкой, чуть откинув голову, смотрел в искаженное злобой лицо царя.

— Ваша участь будет ужасна, — продолжал тот, понижая голос до шипения. — Ужасна, ужасна...

Трубецкой так же молча смотрел перед собой, как бы не замечая, где он и кто перед ним стоит.

— Что же молчите?

— Спрашивайте, государь, я буду отвечать. Право, я не знаю, что я должен говорить, — спокойно произнес Трубецкой.

— Вы не знаете? — передразнил Николай, все так же упорно и зло глядя на Трубецкого. — Но вам, конечно, известно о происходившем вчера, и вы не станете отрицать, что не только были участником этого подлого заговора, но должны были им предводительствовать. Улики против вас — и самые ужасные — у меня в руках. Вы — преступник, а я — ваш судья. Я могу вас расстрелять.

Трубецкой тоже сложил руки на груди и, невольно копируя тон царя, проговорил:

— Расстреляйте, государь.

— Расскажите, что вы знаете, — едва сдерживая бешенство, приказал Николай. — Это единственный для вас способ уменьшить степень вашей вины.

— Я ничего не знаю, — раздельно проговорил Трубецкой.

— Толь, — позвал царь. И тотчас же из-за портьеры показался генерал Толь с насупленным лицом и темными от усталости кругами у глаз. — Прочтите этому... — Николай сдержался, и ругательство, уже готовое сорваться с его языка, не было произнесено. — Прочтите ему то, что лежит возле канделябра.

— Знаю, ваше величество! — Генерал сразу нашел нужную бумагу.

Приблизив ее к свечам, он стал читать вслух, отчетливо произнося каждое слово:

— «В России уже более десяти лет существует и более и более увеличивается Тайное общество либералистов, которое уже имеет приготовленные законы, сочинением коих занимаются полковник Пестель на юге, гвардейского генерального штаба капитан Никита Муравьев в Санкт-Петербурге, а также дежурный офицер

лейб-гвардии Преображенского полка полковник князь Трубецкой, находящийся ныне в Петербурге...»

— Это Пуциным писано? — спросил Николай.

Толь ответил утвердительно, хотя Трубецкой, знавший почерк Пуцины, видел, что он лжет.

— Что скажете на это, князь? — спросил царь.

— Чьи бы показания это ни были, они лживы, государь, — ответил Трубецкой.

— Ах, так! — вскрикнул Николай и, схватив несколько листов из лежащих на столе пачек, стал по очереди совать их к самому лицу Трубецкого: — А это тоже ложь? И это ложь?! — спрашивал он с кривой гримасой. — И, может быть, и это ложь?! — он показал Трубецкому бумаги, захваченные в его столе. — Все лгут, и только вы изволите говорить правду.

— Я всегда говорил, — вмешался Толь, — что Четвертый корпус — гнездо тайных обществ и почти все полковые командиры к оным принадлежат, но покойному государю не угодно было верить...

— Ваше превосходительство имеет неверные сведения, — сказал Трубецкой.

— Вы будете говорить, когда вас спросят, — оборвал его царь. — А сейчас мне противно вас слушать. Дайте ему бумаги, Толь пусть ответит на всё помеченное в допросных пунктах. Покажите их ему. А еще лучше, если вы сами запишете с его слов. — И вышел, громко хлопнув дверью.

Толь долго и настойчиво убеждал Трубецкого в бесполезности таиться в чем бы то ни было, что касается Тайного общества.

Он показал ему обширные доносы Майбороды, Шервуда, Бенкендорфа, Васильчикова и еще чьи-то и даже дал прочесть несколько отрывков из них.

Наконец, он протянул ему кольнувшую Трубецкого в самое сердце страницу из показаний, написанную так хорошо ему знакомым почерком Рылеева.

Трубецкой взял ее похолодевшими пальцами. На момент глаза застлались какою-то туманной пленкой, потом перед ними до боли ослепительно зачернели размашистые строки:

«Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади. Он не явился, и, по-моему, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились.

Тайное общество точно существует. Цель его, по крайней мере в Петербурге, была — конституционная монархия. Трубецкой, когда был здесь, Оболенский и Никита Муравьев, а по отъезде Трубецкого в Киев, я составляли Северную директорию, Дума — тож. Каждый имел свою отрасль. Мою отрасль составляли Бестужевы два и Каховский. От них шли Одоевский, Сутгоф и Кюхельбекер. Общество уже погибло вместе с нами. Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках также существует Общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы и там не вспыхнуло возмущения. Открыв откровенно и решительно что мне известно, я прошу одной милости — пощадить названных мною моих единомышленников, вовлеченных в Общество и вспомнить, что дух времени — такая сила, пред которой они не могли устоять. Они все люди с отличнейшими дарованиями и прекрасными чувствами. Твое милосердие, государь, соделает из них самых верных твоих верноподанных и обезоружит тех, кто

пожелает идти по нашим следам. Государь, совокупив великодушие с милосердием, кого не привлечешь ты к себе навсегда?..

Трубецкой не верил собственным глазам:

«Боже мой, что случилось с Рылеевым? Чем обольстил его царь? Как он мог обмануть этого подвижника? Не Рылеев ли всего сутки тому назад умел с такою непостижимой силой зажечь в каждом из нас неукротимое желание действовать, действовать во что бы то ни стало?»

Трубецкой тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками.

Рылеев, каким он был накануне вечером, с пламенеющими, как звезды, глазами, с высоко поднятой рукой, встал в его воображении, и Трубецкому казалось, что он слышит его патетическую речь: «Ежели вы мыслите, что мы падем жертвой замыслов наших, что ни полковник Пестель, ни Сергей Муравьев не откликнутся на наш призыв, что неизбежное убиение царской фамилии может бросить тень на святое дело вольности — сие ли почтем за неудачу?..»

«И вдруг эти покаянные строки... Рылеев взывает о милости и великодушии... Рылеев поверил царю?! Или это отчаянная попытка спасти товарищей, друзей?» — думал Трубецкой, не отрывая рук от лица, не открывая глаз, как будто из боязни увидеть вместо того Рылеева, которого он знал, его страшный призрак.

— Ну что, князь, надумали? — раздался вопрос генерала Толя.

Трубецкой долго смотрел на него, словно припоминая, где и когда он видел это вытянутое до уродства лицо. Потом, пробормотав какое-то извинение, утвердительно кивнул головой.

— Я весь внимание, — с готовностью сказал Толь.

— Я дам письменные показания, — медленно проговорил Трубецкой, — и хотел бы, чтобы мне дали возможность сосредоточиться.

Толь положил перед ним «вопросные листы» со многими пунктами — об имени, отчестве, фамилии, воспитании, образовании, вероисповедании, присяге «на верность подданства ныне царствующему государю императору». Каждый из этих пунктов разбивался в свою очередь на ряд вопросов: часто ли бывает у исповеди, кто были учителя и наставники, в каких предметах старался более усовершенствоваться и т. п.

На большинство вопросов Трубецкой отвечал коротко.

Подробнее остановился он на своем образовании: «Более всего я сперва прилежал к математике. По вступлении в военную службу еще до войны 1812 года я обратил все мое внимание на науки военные. После войны я стал усовершенствоваться в познании истории, законодательства и вообще политического состояния европейских государств, а в бытность мою за границей я занялся естественными науками и особенно химией. Я слушал у профессора Германа особую лекцию российской статистики и политической экономии. Он преподавал в здешнем университете. В Париже я слушал почти всех известных профессоров из любопытства, исключая профессоров естественных наук, у которых я слушал полные курсы.

На пункт 7-й, спрашивающий «с какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, то есть от внушения других, или чтения книг, или сочинений в рукописях и каких именно и кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» Трубецкой ответил, что на его образ мыслей повлияло чтение многих книг по истории и законодательству различных государств, события, происшедшие во время Отечественной войны и после нее в Европе и России, установление конституционного образа правления в некоторых европейских государствах, речь покойного государя на

сейме в Варшаве, когда он даровал конституцию Польше и обещал привести в такое же состояние и Россию. В этом мнении, казалось, утверждалось освобождение крестьян в остзейских губерниях и возвращение прав Финляндии.

«А укоренился во мне оный свободный образ мыслей, — заканчивал Трубецкой ответы, так нажимая на перо, что чернильные брызги рассыпались во все стороны, — глубоким моим убеждением, что состояние России таково, что неминуемо должен в оной последовать переворот. Сие мнение основываю на частых возмущениях крестьян против помещиков, на продолжительности оных, равно как и умножении таковых возмущений и на всеобщих жалобах на лихоимство чиновников государственных учреждений».

Торопясь как можно скорее отделаться от мучительной необходимости изложить требуемые от него признания, Трубецкой путанно и неумело написал историю Тайного общества, которое «некогда существовало, а потом разрушено». Признался, что к Обществу этому он действительно принадлежал и ему даже навязывали роль диктатора, главным образом потому, что нужно было имя, «которое бы ободрило», но что сам он в успех затеваемого дела не верил, о чем могли заключить и Пущин и Рылеев в самый день бунта, когда они приходили звать его на площадь. А когда, выезжая с Невского проспекта он увидел «большое на оном смятение и услышал что Московский полк кричит „ура“ императору Константину Павловичу почувствовал себя так дурно, что едва доплелся до канцелярии дежурного генерала». О том, что делается в Четвертом корпусе, Трубецкой отозвался полным неведением, «но если правительству угодно знать, что за Общество существует во Второй армии, то об этом лучше может рассказать полковник Пестель».

«Я недостойн никакой пощады, — заканчивал свои первые показания Трубецкой, — за то, что не употребил всех сил моих к предупреждению вчерашних несчастий, и здесь, более гнева государя моего, страшусь гнева всемогущего бога...».

Трубецкой хотел прибавить еще что-нибудь в этом же роде, но вошедший Толь из-под рук выдернул его показания и скрылся с ними за портьерой.

Из-за прикрытой двери Трубецкой слышал сначала какой-то негромкий разговор, потом слова стали доноситься явственней, и вдруг совершенно отчетливо прозвучал гневный окрик царя:

— Я тебя спрашиваю, слышишь ты, разбойник...

— Не трогайте, ваше величество, — также громко и угрожающе послышалось в ответ, — не прикасайтесь, а то я... больно щекотлив...

— Я знал наперед, — иступленно кричал царь, — я знал, что ты будешь среди этих негодяев, потому что ты сам негодяй, сам подлец и изменник своему государю... — голос царя сорвался, и на момент за стеной наступила тишина.

«Кого это он пушит? — подумал Трубецкой. — Голос донельзя знакомый».

— Ну, что же вы остановились? — прозвучал снова со злобной насмешкой этот донельзя знакомый голос: — Ну-ка еще, ну-ка...

— Вязать его, вязать!.. — топая ногами, закричал царь.

— Помилуйте, государь, — послышался чей-то возмущенный бас, — ведь здесь дворец, а не съезжая.

Затем уже нельзя было понять, кто и что кричит. Наконец, все стихло.

Через некоторое время дверь приоткрылась, и Толь знаками пригласил Трубецкого войти.

Николай, красный и растрепанный, стоял среди комнаты, держа в руках

показания Трубецкого.

— Эх что нагородил, — с брезгливой гримасой проговорил он, — а самого нужного и не сказал!

— Больше мне нечего сказать, — ответил Трубецкой.

— В крепости многое вспомнится, — нехорошо усмехнулся Николай, — а сейчас пишите записку жене. Такая милая жена и должна страдать из-за подобного супруга.

Трубецкой, как от боли, поморщился оттого, что царь упомянул Каташа в этом кабинете, откуда на горе этой «милой жене» ее мужа повезут в Петропавловскую крепость.

Держа перо в, словно парализованной руке, Трубецкой не знал, с чего начать. Когда он вывел, наконец, первые слова: «Друг мой, будь спокойна...», царь заглянул через его плечо и грубо приказал:

— Что тут много писать! Напишите — «я буду жив и здоров». И баста...

Трубецкой обмакнул перо и написал: «Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров».

— Я же сказал: «Буду жив и здоров», — раздраженно поправил царь. — Припишите вот здесь, наверху, «буду».

Трубецкой приписал.

Николай взял у него записку, присел рядом и написал на другом клочке бумаги:

«Генералу Сукину, коменданту Петропавловской крепости. Трубецкого, при сем присылаемого, посадить в Алексеевский, рavelин. За ним всех строже смотреть, особенно не позволять никуда не выходить и ни с кем не видеться».

Выведя Трубецкого в ту самую прихожую, в которую он был доставлен часа два тому назад, Голицын приказал дежурному офицеру нарядить конвой для сопровождения Трубецкого в крепость.

— А вы что же не одеваетесь, князь? — спросил он, видя, что Трубецкой стоит в одном мундире.

— Мою шубу, видимо, украли, — пожал тот плечами.

— Быть не может, чтобы во дворце! — возмутился Голицын. — Чтоб шуба была немедля! — грозно приказал он придворным слугам.

Но как ни строг был приказ, великолепная на черно-бурых лисах шуба пропала бесследно.

— Поедемте так, — равнодушно предложил Трубецкой, — ведь от дворца до крепости рукой подать, — прибавил он с иронической улыбкой.

Но находившийся здесь же, в прихожей, какой-то военный снял с себя шинель и набросил ее Трубецкому на плечи:

— Простудитесь, князь. Уж не побрезгуйте моей шинелишкой, она хоть и не больно тепла, а все же ватная.

— Благодарю, — и Трубецкой с чувством пожал ему руку.

2. «Аромат двора»

Когда увели Трубецкого, Николай прилег здесь же, возле заваленного допросными листами стола, на маленьком, обитом темно-малиновым шелком, диванчике и закрыл глаза.

Его длинные в лаковых ботфортах ноги, перекинутые через выгнутую ручку дивана, почти касались пола. Покатый лоб отливала желтизной усталости. Веки,

полуприкрывающие выпуклые глаза, нервно подергивались.

Во дворце, таком шумном и тревожном весь этот день и вечер, наступила настороженная тишина, нарушаемая треском дров в топящихся печах и осторожным позвякиванием шпор дежурных офицеров.

— Государь прилег отдохнуть. Государь задремал, — передавалось шепотом от маленького кабинета, в котором лежал Николай, по всем дворцовым залам, гостиным, лестницам и коридорам до комендантских комнат и сеней, куда продолжали поступать все новые и новые арестованные.

Но царь не мог забыться даже дремотой.

В его взбудораженном воображении стремительно проносились события минувшего дня, которые теперь представлялись ему гораздо более страшными, чем в те часы, когда они происходили в действительности.

«А что было бы со всеми нами, если бы артиллерия, прибыв ко дворцу, тоже перешла на сторону мятежников? — думал царь. — А что если бы этот черный одноглазый Якубович или полковник Булатов не струсил в последний момент и выпалили бы в меня из пистолета, когда я имел неосторожность подпустить к себе этих негодяев так близко? А... а если бы подлец Трубецкой не улепетнул от своего диктаторства и проявил бы на Сенатской площади ту же храбрость, как под Бородином и Люценом? А мои тоже хороши, — стиснул Николай пальцы так, что затрещали суставы, — к примеру, Милорадович! Вот и получил по заслугам!»

Николай как будто заново возмутился сообщением о том, что в то время как мятежные войска стекались к Сенату, военного генерал-губернатора Милорадовича видели у ворот дома, в котором жила его возлюбленная, танцовщица Телешева.

«Обер-полицмейстер Шульгин — круглый идиот, — продолжал царь свои злые думы, — я распорядился убрать с улиц и площадей убитых, а он во исполнение этого приказа ничего лучше не придумал, как прорубить на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств множество прорубей и спустить в них сотни трупов. Да заодно, судя по рапорту его помощника, велел валить туда и раненых. Вот и вышло, что на Неве до глубокой ночи толклись какие-то простолюдины и были бабы. А весной, когда Нева вскрыется, все эти трупы всплывут... и воображаю, какие пойдут толки... Нет, он совершеннейший болван, этот Шульгин, и надо его прогнать с приказом, хотя бы для того, чтобы жители столицы знали о моем недовольстве тем, что он натворил».

От полицмейстера мысль царя снова метнулась к тем нынешним его подданным, которые не хотели, чтобы он царствовал. Они проходили перед его воспаленными от бессонной ночи глазами то в виде весело-злых и бесстрашных «хамов», бросающих с лесов строящегося Исаакиевского собора кирпичи, доски и меткие шутки навстречу подсакивающим к мятежному каре генералам, то похожие на солдат лейб-гвардии гренадерского полка, которые так дерзко ответили ему сегодня утром: «Мы налево...»

— Нет, здесь заснуть мне, видимо, не удастся, — вслух произнес Николай. — Пойдука в спальню.

Легкий стук в дверь заставил его вздрогнуть так, как будто над его головой внезапно прогремел гром.

— Кто?! — крикнул Николай, вскакивая.

Дверь приоткрылась, и Михаил Павлович, просунув голову, елевым голосом сказал:

— Рыжий Мишка, дважды присягнувший на верность вашему величеству,

всеподданнейше просится войти.

— Ты все паясничаеть, — со вздохом облегчения проговорил Николай, вновь валясь на диванчик.

Михаил запер за собою дверь и, став во фронт, по-солдатски «пожирал» брата выпученными глазами.

— А, между прочим, твоя шефская батарейная рота не сразу вывезла орудия, — с укоризной сказал Николай.

— Какой-то прохвост перерезал построики, — пожал плечами Михаил и поспешил перевести разговор. — Это все показания арестованных? — спросил он, дотрагиваясь до груды бумаг мизинцем, на котором горел в перстне овальный рубин.

— Показания, — буркнул Николай. — И это только начало.

Михаил протяжно посвистал.

— Я чертовски устал, — продолжал царь. — Впрочем, все мы за этот день стали похожи на тени. Толь тоже допрашивал до глубокой ночи — начал с этих негодяев — Сутгофа и Щепина-Ростовского. Устал бедняга. Я решил дать ему в помощь Левашева. Этот, несомненно, будет с усердием и сметливостью выполнять труднейшую обязанность допроса преступников.

— Левашев очень ловок и хитер, — согласился Михаил.

— А главное — он ни по каким мотивам, — подчеркнул Николай последние свои слова, — не отступит никогда от указанного мною направления. Вообще же не подлежит уже никакому сомнению, что для тщательнейшего изыскания о злоумышленных обществах следует в ближайшие же дни учредить комитет, которому надлежит немедленно принять деятельнейшие меры к обнаружению соучастников этого гибельного Общества, рассмотреть и определить предмет намерений и действий каждого из них ко вреду государственного благосостояния. А по приведении всего в надлежащую ясность комитет должен будет поставить свое заключение, как о наказании виновных, так и о последующих в дальнейшем мерах истребления и недопущения возникновений подобных преступных явлений...

— Прекрасная мысль, ваше величество, — одобрил Михаил и, присев на край стола, вытащил из кармана записную книжку. — Не угодно ли наметить членов сего затеваемого вами ареопага?

Николай молча кивнул головой, и братья начали обсуждать кандидатуры будущих следователей и судей над членами Тайного общества.

Довольно скоро оба пришли к решению назначить председателем комитета военного министра генерала Татищева; не спорили и о составе комитета. Наметили даже текст указа военному министру об образовании этого следственного комитета. Под диктовку царя Михаил записывал:

«Чтобы искоренить возникшее зло при самом начале, признали мы за благо учредить комитет под вашим председательством, назначив членами оного: его императорское высочество великого князя Михаила Павловича, действительного тайного советника князя Голицына, генерал-адъютанта Голенищева-Кутузова, генералов Бенкендорфа, Левашева, Дибича, Чернышева...»

— Компания солидная, — одобрил Михаил. — Я бы рекомендовал еще Потапова, затем весьма делового чиновника Ивановского и... догадайся, кого еще? — сделал Михаил хитрую гримасу.

— Перестань дурачиться, — оттопырил Николай губы.

Когда Михаил назвал Аракчеева, царь не мог удержаться от усмешки.

— Несколько дней тому назад, — сказал он, — я в бумагах покойного брата нашел его переписку с Аракчевым по поводу доноса Шервуда о Тайном обществе. Заинтересовавшись подробностями, я тогда же послал к Аракчеву Милорадовича, чтобы он обо всем расспросил его...

— Ну и что же? — с любопытством спросил Михаил.

— А то, — с возмущением продолжал Николай, — что этот любимец в бозе почившего братца нашего, несмотря на то, что Милорадович приехал к нему от моего имени, не изволил его принять.

— Не может быть!

— Аракчев высунул голову из приотворенной двери своего кабинета и напрямик заявил: «По смерти незабвенного друг моего и благодетеля государя императора Александра Павловича, в знак глубочайшей моей скорби, принял я за правило никого и нигде не видеть, даже у себя, даже по служебным надобностям...» И тотчас же захлопнул дверь и заперся на ключ. Каков отшельник!

— Прохвост, — выругался Михаил. — А ныне, когда возле дворца гремели пушки, он сидел у маменьки в гостиной и, вместо того чтобы успокоить ее, молчал все время, как сын...

— Нет, — Николай сделал презрительную гримасу, — на Аракчева я смотрю как уже на ушедшего вслед за своим благодетелем жителя иного мира. Но, конечно, состав комитета придется расширить. Посоветуюсь об этом с Бенкендорфом. Кстати, мы с ним собираемся потолковать о необходимости учреждения высшей полиции.

— Вроде бабушкиной «Тайной экспедиции»? — ехидно спросил Михаил Павлович. — Шешковский недурно кнутобойничал в ней. Или нечто вроде Петровой «Тайной канцелярии для перебирания людишек»...

— Ты не можешь без неуместных шуток, — строго сказал Николай.

Михаил, сидя на краю стола, болтал затянутой в лосину ногой и с веселой улыбкой сверху вниз смотрел на нахохлившегося брата.

— Да! — воскликнул он, коротко засмеявшись. — Я ведь шел к тебе затем, чтобы рассеять твоё мрачное настроение историей, которую мне рассказал сейчас Левашев. У него в Патриотическом институте есть племянница, прехорошенькая, к слову сказать, девчонка. По дороге во дворец он заехал узнать, что там у них творится нынче. И, вообрази, что ему рассказала эта девица... — Михаил Павлович опять засмеялся, закинув голову и балансируя для равновесия ногами. — Когда началась пальба из пушек, пичужки эти, институтки, перепугались насмерть и кинулись к начальнице института. А та, не растерявшись, дает им такое объяснение: «Это господь бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. И самый тяжкий и самый главный ваш грех тот, что вы редко говорите по-французски, а, точно кухарки, болтаете по-русски...» Поняв весь ужас своего грехопадения, девчонки распростерлись перед иконами, принося торжественную клятву никогда не употреблять в разговоре русского языка...

— Ничего нет смешного, — остановил царь хохочущего Михаила, — а как фамилия начальницы института?

— Дай бог памяти, — приложил тот палец ко лбу, — фамилия не русская, это я точно помню... Ах да, мадам Биссингаузен. Вот видишь — вспомнил.

— Пометь в записной книжке, — велел Николай.

— Ай да Биссингаузен! — покачал головой Михаил. — Карьеру, шельма, сделала!

И уже официально спросил:

— Угодно вашему императорскому величеству выслушать рапорт о положении в войсках столичного гарнизона?

Николай спустил ноги, достал из внутреннего кармана золотой, похожий на часы пульверизатор и обрызгал себе голову и лицо душистой пылью «Parfum de la Cour» *note 40*.

— Ну-с? — коротко проговорил он.

Михаил, вытянувшись во фронт, начал рапортовать:

— Многие нижние чины из числа увлеченных мятежными офицерами частей сами воротились в казармы и принялись за свои обычные занятия. Из расспросов выяснилось, что некоторые из них жалеют, что обманом своих начальников впали в заблуждение. Виновность среди солдат разная: в Московском полку...

— На последнем учении в этом полку, — прервал брата Николай, — я заметил, что вынос ноги у солдат развязан, шаг ровный. Только в первой фузелярной роте у некоторых из людей корпус при маршировке несколько качается.

Михаил немедленно занес это замечание Николая в свою записную книжку и продолжал рапортовать:

— Ослушание и бунт среди москвичей произошли в присутствии старшего начальника гарнизона Шеншина и полкового командира генерал-майора Фредерикса, в присутствии всех штаб-офицеров полка. В лейб-гренадерском было того хуже. Поручики Сутгоф и Панов...

— Я этих мерзавцев встретил утром у самых ворот дворца, — опять перебил царь с раздражением.

— Эти поручики, — докладывал Михаил, — в присутствии полкового командира, штаб и обер-офицеров, увлекли за собой весь полк, а полковой командир, при попытке остановить солдат, был убит. Наконец, в Гвардейском экипаже люди были обмануты своими офицерами — участниками заговора. Капитан-лейтенант Николай Бестужев...

— Все братья Бестужевы — разбойничий выводок, — опять перебил Николай. — Из них Александр и Михаил уже взяты... А как обстоит дело с поимкой остатков мятежных войск?

— Бенкендорф командовал войсковыми частями, преследующими мятежников на Васильевском острове, куда некоторые из них бежали через Неву. Остатки Московского и Преображенского полков, окруженные войсками Бенкендорфа, целыми партиями направлялись, по приказанию начальства, в Петропавловскую крепость. Вооруженных столкновений при этом не возникало. Князь Васильчиков доносит об успешном выполнении приказа о ликвидации мятежных групп солдат и офицеров в черте города и на Сенатской площади.

Эту площадь заняли полки лейб-гвардии Преображенский и Измайловский. Несколько взводов Семеновского полка было послано для отыскания мятежников, укрывшихся в домах и подворотнях. Преследование бежавших отрядов мятежных войск с успехом выполнили коннопионеры. Ими было захвачено до пятисот солдат и офицеров. Для предупреждения покушения на возобновление уличных беспорядков на площадях Сенатской, Адмиралтейской, около Зимнего дворца и вдоль набережной Невы стоят полки пехоты и артиллерии. На дворе Зимнего дворца стоит батальон лейб-гвардии, саперный батальон и рота его величества лейб-гвардии гренадерского

Note40

«Аромат двора» — название духов (франц.).

полка, а также наряжены в караул от Финляндского полка...

— А каково настроение у людей в казармах? — спросил Николай.

— Из взбунтовавшихся полков большая часть солдат возвратилась на места и там с покорностью ожидает решения своей участи. Огорчение у людей искреннее и желание заслужить прощение столь нелицемерно, что...

— Не верю я этому, — снова перебил царь, — все врут, все притворяются... Вот, например, твой любимчик Бистром держался крайне подозрительно. Егерский свой полк он, правда, привел, но ходил возле него пеший и командования не принимал.

— Это потому, — заступился за Бистрома Михаил, — что полк его колебался, и он боялся, как бы не пристал к заблудшим. А вообще солдаты любят своего Быстрова, как они переименовали его фамилию. И ты напрасно его подозреваешь.

— У него адъютант Оболенский. Этот изверг ткнул штыком Милорадовича и на допросе держался так нагло, что я приказал немедленно увести его, настолько сильно было у меня желание избить каналью...

— А как вел себя Трубецкой? — спросил Михаил.

— Сперва петушился, — Николай протяжно зевнул и прибавил небрежно: — А когда я сунул прямо в его лошадиную физиономию привезенные Голицыным бумажки, уличающие его со всею ясностью, он повалился мне в ноги с воплями: «Пощады, государь, пощады...»

Сообщая свою выдумку, Николай не смотрел на брата, но, почувствовав на себе его недоверчивый взгляд, повторил уже раз сказанную фразу:

— Я никому не верю — ни титулованным князьям, ни генералам, ни солдатам, ни канальям штатским, ни всему этому люду, который шумел и зубоскалил, когда сам митрополит...

Михаил неожиданно рассмеялся.

— Ох, как же он был смешон, этот святой отец! Рясу подобрал, как девка-маркитантка, когда за ней гонятся подгулявшие прапорщики... Косица трепыхается, как хвостик у...

— Довольно! — крикнул Николай.

Михаил, увидев, что брат не на шутку сердится, подошел к окну и отдернул штору.

— Смотрите, ваше величество, — сказал он, — утро ясное. Город спокоен, и эти бивакуирующие войска совсем ни к чему. Даже отсюда видно, что люди замерзли. Держать солдат без нужды на эдаком морозище — зря только их раздражать. Мой совет: извольте незамедлительно обрядиться в преображенский мундир, — в нем вы весьма авантажны; повяжите поверх него голубую андреевскую ленту и в таком виде явитесь войскам во всем, так сказать, царственном величии и спокойствии. Ваше обращение к ним должно быть строго, но милостиво...

— Например? — спросил Николай и, задув догорающие свечи, тоже подошел к окну.

На мраморном подоконнике лежала оставленная со вчерашнего дня подзорная труба. Царь навел ее на Дворцовую площадь. В разных ее местах еще горели зажженные с ночи костры, тускло-желтые и ненужные, как только что потушенные свечи. Темные неподвижные силуэты солдат можно было бы принять за статуи, если бы не белые клубы пара, равномерно вздымающиеся от их дыхания.

Сквозь арку Главного штаба видны были кирпичные стены зданий с окнами, в которых отражалось малиновое пламя поднявшегося солнца. Царь подошел к другому

окну, повел трубу вправо, где в морозном тумане темнели контуры всадника на вздыбленном коне.

Вот она — площадь перед Сенатом, такая мертвенно-спокойная сейчас и такая многолюдная и грозная всего сутки тому назад... Дымящиеся костры... Пикеты... пикеты. Конные разъезды с мохнатыми от инея лошадиными гривами.

— Надо выйти к людям и сказать, — продолжал Михаил, — сказать им, примерно, так: «Ребята, я хочу забыть ваше минутное заблуждение и в знак нашего примирения я возвращаю вам полковое знамя. От вас будет зависеть смыть с него позорное пятно вчерашнего бунта...» Ну и еще что-нибудь в эдаком же роде...

Николай отшвырнул трубу и, круто повернувшись, решительно проговорил:

— Отправимся...

Когда, они приближались к боковой лестнице, навстречу им, медленно ступая между конвойными с шашками наголо, показался князь Евгений Оболенский.

Увидев Николая, он сделал было инстинктивное движение отдать ему честь, но руки его были туго связаны за спиной, и он только слегка наклонил свою красивую голову с копной золотисто-русых волос. Николай смерил его взглядом и обратился к брату по-французски:

— Полюбуйтесь, ваше высочество, на этого молодца. Это тот самый Оболенский, о котором мы только что говорили. Следив давно за подлыми его поступками, я как бы предугадал и подлую его душу...

Михаил Павлович знал, что в бытность бригадным командиром Николай был подчинен начальнику гвардейской пехоты генералу Бистрому, старшим адъютантом у которого был Оболенский. И возможно, что сейчас Николай вспомнил о какой-нибудь неприятности, причиненной ему Оболенским по службе.

Михаилу Павловичу была также известна история дуэли Оболенского, когда он дрался вместо единственного сына старухи матери, и тот душевный перелом, который с ним произошел после убийства противника.

«Нет, чего-чего, а подлости у этого святоши никак не найти, — мысленно поспорил он с разгневанным братом. — Если он и вступил в Тайное общество, то, конечно, на предмет спасения своей души».

— Гляди, какое зверское у него лицо, — продолжал Николай.

Оболенский покраснел, и синие, отрочески чистые глаза его загорелись гневом.

— Вам легко оскорблять меня, государь, — тоже по-французски произнес он.

— Каков негодяй! — обернулся Николай к брату.

— У меня связаны руки, государь, — с негодованием проговорил Оболенский и резко шагнул вниз через несколько ступеней.

Конвой торопливо двинулся за ним.

Когда конвойный офицер передал коменданту Сукину суровую записку царя, генерал распорядился тут же заковать Оболенского в кандалы и велел плац-майору Подушкину отвести его в Алексеевский рavelин.

Плац-майор хотел было завязать Оболенскому глаза своим носовым платком, но арестованный попросил:

— В боковом кармане моего мундира имеется чистый платок. Если можно, завяжите им...

Плац-майор молча кивнул головой, молча достал платок тонкого полотна и, сложив его наискось, туго завязал Оболенскому глаза. Придерживая арестованного за рукав, Подушкин, после многих поворотов, привел его в каменный коридор, где,

кроме гулко-го мерного шага конвойных, не было слышно ни одного звука.

Ефрейтор долго не мог попасть ключом в замочную скважину, оттого ли, что у него дрожали руки, — он был из молодых солдат, недавно назначенных в гарнизонные крепости, — или потому, что коптящий в его руках фонарь едва светил.

Наконец, тяжелая дверь заскрипела на ржавых петлях, и Оболенский переступил порог каземата.

Ему развязали руки. Сняли с глаз повязку, но и без нее он ничего не видел.

Скрежет засова и сверлящий звук ключа глухо прозвучали за вновь закрытой дверью. Тишина склепа охватила Оболенского. Он сделал три шага вперед и лбом коснулся холодного и сырого свода. Простер руки вправо и влево, и пальцы его уперлись в такие же холодные и влажные стены. Шагнул к одной из них и больно ударился коленом о железную койку. Сел на нее и долго не мог собрать воедино обрывки вихрем кружащихся мыслей.

Сколько прошло времени с тех пор, как его заперли, он не знал. Может быть — минуты, может быть — часы.

Мрак, одиночество, гробовое молчание вокруг казались и безначальными и бесконечными. Но вот тишина нарушилась тем же ржавым скрежетом затворов, и темноту разорвал тусклый язычок фонаря в руке солдата-инвалида.

В другой руке он держал оловянную миску с положенным па нее в виде крышки куском ржаного хлеба.

— Скажи, мой друг, — обратился к нему Оболенский, — здесь вовсе нет света?

Солдат-инвалид, ничего не отвечая, поставил на край высокого табурета миску с чем-то жидким.

— Ты разве глухой? — спросил Оболенский.

Инвалид молча что-то делал у стола.

— Или ты не понимаешь по-русски?

Ответа не последовало.

Тогда Оболенский схватил его за плечо:

— Ты, верно, глухонемой?

Инвалид вздрогнул и завопил:

— Караул, сюды, бра-а-тцы!..

В каземат вбежал унтер с двумя солдатами.

— Ты что это забиячишь, барин? — сердито сказал унтер Оболенскому. — Здесь этого не полагается — мигом уймут.

— Почему же он не отвечает? — еще задыхаясь от гнева, спросил Оболенский.

— Почему? — переспросил унтер. — А потому, что здесь келья-гроб, дверью хлоп. И баста. Баить здесь от начальства запрещено. И не забиячь, а то мигом уймут... — угрожающе повторил он, уходя из каземата вместе со всеми солдатами.

Через несколько дней, тот же солдат-инвалид, заметив, что подаваемая Оболенскому пища остается нетронутой, неожиданно сказал ему шепотом во время уборки камеры:

— Што, сударь, не покушаешь малость? Пошто себя голодом морить? Ну, хочешь, я тебе кашицы знатной предоставлю, а то и сбитня раздобыть сумею.

Покончив с церемонией присяги и «примирения» с войсками, которые не выразили ожидаемого восторга и в ответ на «монаршую милость» провозгласили «ура» ровно столько раз, сколько прокричали их командиры, царь приказал, как бы для очищения от вчерашних событий, окропить святой водой отнятые у мятежников

знамена и возвратить их полкам.

Перед тем как пропустить собранные перед дворцом войска церемониальным маршем, Николай обратился к ним с краткой речью. Для придания этим минутам особой «чувствительности» он почел уместным помянуть об умершем государе — «отце, благодетеле и соратнике русского воинства в его бессмертных подвигах на поле брани».

— В знак нашей к вам любви и в вознаграждение по заслугам вашим вам, полки гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Финляндский, — возвышая голос до хрипоты, говорил Николай, — жалую я те самые собственные его величества мундиры, кои государь, ваш благодетель, сам носить изволил. Примите сей залог, и да хранится он в каждом полку как святыня, как памятник и для будущих родов незабвенный. Сверх сего повелеваю также в ротах, носивших название рот его императорского величества полков Преображенского и Семеновского, и в эскадроне его величества Польского конно-егерского носить всем чинам на эполетах и погонах вензелевое изображение имени государя императора Александра Первого. Да хранится между вами, храбрые воины, священная память Александра Первого, да будет она страхом врагов, надеждою отечества и залогом вашей верности и любви ко мне.

— Я вижу слезы на глазах у людей, — шепнул Михаил брату, когда тот заканчивал речь.

Николай зорким взглядом окинул близ стоящие ряды солдат.

«Истуканы как истуканы, — сердито подумал он, — а если кое у кого глаза действительно красноваты, так это явно от стужи, а отнюдь не от чувств».

И хмурая морщина, пересекая его лоб, не исчезала все время, пока войска проходили церемониальным маршем.

Вернувшись во дворец, Николай прошел во внутренние комнаты, чтобы успокоить жену, которая не переставала волноваться со вчерашнего утра, когда он перед выходом из дворца сказал ей:

— В Московском полку шалят, я хочу выйти к ним.

Увидав мужа, она положила ему на плечи свои руки и сказала влюбленно:

— Ах, ваше величество, я только об одном жалела и вчера и сегодня: зачем я женщина!

Николай поцеловал ее и важно проговорил:

— Если в эти дни я видел изменников, то я видел также людей, преданных мне душой и телом...

Завтракали у Марьи Федоровны, где, кроме своей семьи, присутствовали воспитатель старшего сына царя — Александра — поэт Василий Андреевич Жуковский и историк Карамзин.

Марья Федоровна несколько раз повторила за завтраком:

— Ах, что скажет Европа? Что там скажут?..

— Судя по тому, что ввали английские газеты о смерти нашего Александра, вероятно, будут всякие нелепые толки, — небрежно откликнулся Николай и вдруг обратился к Карамзину: — А вот что думает по поводу вчерашнего наш знаменитый историк, очень хотелось бы слышать.

Карамзин так и замер с миндальным сухариком в руке. Он оглянулся на Жуковского, как бы спрашивая совета, но тот внимательно смотрел на дно уже выпитой чашки, приблизив ее к своим близоруким глазам.

«Гадает на кофейной гуще», — с досадой мысленно сострил Карамзин, а вслух

сказал со вздохом:

— Нелепейшая трагедия наших безумных либералистов. Дай бог, ваше величество, чтоб истинных злодеев нашлось между ними не так много... — Сердце его сжималось при мысли, что среди мятежников уж кто-нибудь из Муравьевых, наверно, захвачен. — Во всяком случае, — прибавил он в раздумье, — это стоило нашествия французов.

Заметив на лице царя выражение неудовольствия, Карамзин захотел поправиться:

— Замечательно то обстоятельство, что во время ужасного вчерашнего смятения, когда решительные действия заговорщиков, возможно, могли бы иметь некоторый успех, милосердный господь погрузил их в какое-то странное недоумение и неизъяснимую нерешительность...

Но ссылка на бога, якобы покровительственно вмешавшегося в пользу победы Николая на Сенатской площади, не сгладила неприятного впечатления от слов Карамзина, и, отвернувшись от него, царь спросил Жуковского:

— А вы что скажете, Василий Андреевич?

Жуковский оглядел всех добрыми, печальными глазами и тихо, как бы декламируя, проговорил:

— Все жаждут власти, явно или тайно, и каждый украшает свою жажду именем патриотизма и любви к человечеству. Но в то время как земные минутные события принадлежат столь же бранным листам истории, проявления высоких порывов души бессмертны в веках.

Царь, а с ним все присутствующие с недоумением смотрели на Жуковского, а он, как бы не замечая этих взглядов, продолжал в том же высокопарно-меланхолическом тоне:

— В природе бывает так, что прекрасный день начинается бурей и смерчем. Да будет так и в начавшемся царствовании вашего величества!

После томительной паузы, последовавшей за этими словами, Николай по-деловому заговорил с Карамзиным о тексте манифеста к народу, который надо было выпустить в связи с событиями 14 декабря, и уж больше ни разу не обращался к Жуковскому. Потом он прошел в свой кабинет, чтобы продолжить письмо к Константину, которое скорее напоминало записи в дневнике, заносимые с четырнадцатого по несколько раз в день.

«15 декабря в 12 часов пополудни.

Все спокойно, и аресты продолжают своим порядком. Захваченные бумаги дают нам любопытные сведения. Большинство возмущившихся солдат уже возвратилось в казармы добровольно, за исключением около 500 человек из Московского и гренадерского полков, схваченных на месте и которых я приказал посадить в крепость. Прочие — в числе 38 человек Гвардейского экипажа — тоже там, равно как и масса всякой сволочи, почти поголовно пьяной. Я надеюсь, что вскоре представится возможность сообщить вам подробности этой позорной истории. Трое из главных предводителей находятся в наших руках, между прочим, Оболенский. Кажется, именно он стрелял в Стюрлера, ранив того смертельно. Показания писателя Рылеева и Трубецкого раскрывают все планы Тайного общества, имеющего широкие разветвления внутри империи. Всего любопытнее то, что перемена государя послужила лишь предлогом для этого взрыва, подготовленного с давних пор с целью умертвить нас всех, чтобы установить республиканское правление. У меня уже имеются придуманные ими на сей случай конституции. Сочинением этих бредовых

планов занимались здесь — Никита Муравьев и Трубецкой, на юге — полковник Вятского полка Пестель. Сверх сего мне сдается, что в деле убийства Милорадовича мы откроем еще нескольких каналов-фрачников...»

Николай отложил перо, перечел написанное и нашел нужным добавить еще что-нибудь сентиментальное, до которого и он сам и Константин временами бывали охотники.

Подумав немного, он решил, что самым подходящим для этого будет сообщение о том, что, умирая, Милорадович вспомнил о шпаге, некогда подаренной ему Константином, и просил передать ее ему, Николаю.

Заперев письмо в бювар, Николай переделался в длинный темно-зеленый сюртук и направился в Эрмитаж, чтобы допрашивать новых арестованных.

По дороге он заглянул в классную комнату сына. Жуковский, дававший в это время урок «из русской словесности», выпрямившись, выжидательно смотрел на царя.

Тот, ничего не сказав ни учителю, ни сыну, удалился, напугав обоих каменной неподвижностью лица и выражением мутно-голубых выпуклых глаз.

Это лицо совершенно исказилось яростью, едва только начался допрос Михаила Бестужева.

Выслушивая грубые упреки царя, Бестужев старался, во что бы то ни стало сдерживать себя, чтобы не стонать от невыносимой боли в руках, скрученных за спиной и перевязанных веревкой так туго, что судорожно сжатые кулаки стали похожи на багровые гири.

В разгаре царской брани Бестужев в изнеможении опустился на стул.

— Не смей садиться, когда государь стоит перед тобой! — рявкнул Николай.

Бескровные губы Бестужева дрогнули усмешкой:

— Садитесь и вы, государь. А я устал стоять...

— Встать, мерзавец! — ринулся к нему Николай.

— Советую проверить, надежно ли связаны мои руки, — угрожающе произнес Бестужев.

Бешеная злоба царя вылилась в неистовые крики и ругань. Разносясь по дворцовым залам, они привлекали общее внимание.

Генералы Чернышев и Левашев, стоящие у дверей, за которыми шел допрос, решили, что им пора войти.

— Видите, как молод и каков злодей! — кивая на Бестужева, с пеной у рта проговорил Николай. — Без него такой каши не заварилось бы. Ведь он первый привел к Сенату мятежных солдат... И подумать страшно, что этот молодчик всего только несколько дней тому назад сменял ночью у меня во дворце караул...

Чернышев и Левашев жестами и мимикой старались показать царю свое сочувствие.

«Эти придворные больше похожи на дворню расходившегося буяна-хозяина», — с презрением подумал о них Бестужев, И больше не проронил ни слова.

Николай оторвал лоскуток бумаги и дергающейся от ярости рукой написал:

«Заковать в железа! В Алексеевский рavelин!»

Старший из братьев Бестужевых — Николай — держался на допросе с таким хладнокровием и достоинством, что царь постарался не показать ему той лютой ненависти, которую он питал ко всем участникам восстания 14 декабря, а к братьям Бестужевым в особенности. Усевшись в кресло, царь разрешил сесть и Бестужеву.

На требование рассказать без утайки все, что ему известно о деятельности

«злоумышленного Тайного общества и особливо на флоте», Николай Бестужев спокойно ответил:

— Если вам, государь, угодно, чтобы развязался мой язык, прикажите, прежде всего, развязать мои руки.

Когда эти измученные руки с синими браслетами веревочных следов упали к нему на колена, Бестужев так взглянул на царя, что тот инстинктивно поспешил отойти подальше.

— Извольте слушать, государь, — после долгой паузы начал Бестужев. — Ваш великий пращур император Петр Первый собственноручно написал в предисловии к Морскому уставу: «Была убо Россия в древние времена мужественна и храбра, но не довольно вооружена. И как политическая пословица скажет о государях, морского флота не имеющих, что те токмо одну руку имеют, а имеющие флот — обе», к концу своего царствования, то есть сто лет тому назад, Петр создал для укрепления «российского потентата» флот из ста кораблей...

Страницу за страницей пересказывал Бестужев славную историю русского флота, начиная с победы под Азовом, открывшей России доступ к Черному морю. С увлечением историка-патриота говорил он о победе при Гангуте, заставившей Швецию заключить Ништадтский мир, по которому Россия вернула себе искони принадлежащие ей земли Эстляндии, Лифляндии, Ингрии, части Карелии и Финляндии. Напомнил царю о Каспийской флотилии, которая присоединила к России Дербент и Баку...

— Не русские ли корабли заставили под Очаковым отойти Турецкий флот к Константинополю? Не наша ли эскадра одержала победы при Чесме и Патрасе? Не она ли утвердила за Россией незыблемое господство над Крымом, Новороссией и Кавказским побережьем? Не показали ли наши моряки чудеса храбрости в Средиземном море? Не флот ли помог нашим сухопутным войскам во время Семилетней войны взять прусскую крепость Кольберг?

Слушая вдохновенную речь Бестужева, Николай время от времени прерывал ее одобрительными репликами:

— мно! Резонно... Весьма резонно...

Он даже приказал подать Бестужеву чаю. Выпив залпом весь стакан, Бестужев продолжал:

— Именно благодаря выросшему могуществу своего флота Россия смогла продиктовать другим морским державам свои «Правила для освобождения морской торговли от притеснений»... Но государь Александр Павлович, наметивший в начале своего царствования много преобразований к улучшению государственного управления и в том числе и к управлению морским флотом, в дальнейшем отступился от своих благих предначертаний...

— Разве не им было создано министерство военно-морских сил? — перебил царь.

— Так точно, государь, им. Но вместо всеми уважаемого адмирала Мордвинова государь поставил во главе министерства сухопутного поручика Чичагова, который, пользуясь высокой протекцией, причинил флоту много бедствий, чем вызвал чувство возмущения у наших моряков. За ушедшим в отставку Чичаговым морским министром стал француз де Траверсе — ставленник Аракчеева. Его сменил немец Моллер. Этим чужестранцам не было и нет никакого дела до процветания русского флота. И он приходит все в больший упадок не только физический, но и моральный. Все лучшие наши флотоводцы уходят в дальние вояжи на судах Русско-Американской компании.

Наиболее образованные морские офицеры, видя, какое лихоимство и казнокрадство царит в морском ведомстве, оставляют службу на флоте и спешат перевестись в сухопутные войска...

— То-то хороши они на службе в гвардии, — перебил царь с язвительной усмешкой. — Твой брат Михаил, к примеру... Но продолжай, продолжай! Я вижу, сколь ты сведущ в морском деле. Ты мог бы быть полезен в проведении намечаемых мною преобразований во флоте. Ты умен, изрядно образован. И, если пообещаешь мне быть моим истинно верноподданным, я, пожалуй, смогу вовсе помиловать тебя.

Бестужев вежливо поклонился:

— Благодарю вас, государь. Но принять ваше помилование мне не разрешает моя честь.

Николай даже привстал от изумления.

— Ведь одной из целей поднятого нами восстания, — невозмутимо продолжал Бестужев, — было установление такого порядка, при котором судьба россиян зависела бы от законов, а не от прихоти или каприза царя.

Николай вспыхнул. Дернул сонетку и, когда на пороге появился дежурный офицер, приказал, ткнув пальцем в Бестужева:

— В крепость!

3. Моральная пытка

Обер-полицмейстер Шульгин изогнулся дугой перед распекающим его царем.

— Прошли сутки после того, как я отдал приказание об аресте Каховского и Кюхельбекера, — стуча пальцем по краю стола, распекал полицмейстера Николай, — а где они? Такого нерадения полицейских чиновников к их главнейшим обязанностям я не потерплю!

— Ваше императорское величество, — оправдывался Шульгин, — я самолично объехал по всем домам, где оные преступники имели обыкновение бывать. Не глядя на столь поздний час, я посетил только что Николая Ивановича Греча, в квартире которого вплоть до нынешней осени проживал Кюхельбекер и где частым гостем бывал и Каховский...

— Ну, и что же?..

— Господин Греч подтвердил, что не далее как вчерашнего дня в полдень, когда сидел он за кофеем со своим другом, господином Булгариным, вбежал к нему Кюхельбекер в крайне расстроенном состоянии и, не отведав никакой пищи, ринулся, как оглашенный, вон. Актер Каратыгин также свидетельствует, что встретил его вчерась неподалеку от Исаакиевской площади около часу пополудни и что в ответ на предупреждение, чтоб не шел он далее, ибо там бунт, Кюхельбекер дико захохотал и опрометью помчался именно к сему опасному месту.

— По указанному господином Гречем адресу я тотчас же отправился по местожительству и одного и другого преступника. В квартире, где до позавчерашнего дня проживал Вильгельм Кюхельбекер, узнал я, что в последнее время он и ночевать-то редко домой являлся. У гостиницы «Неаполь», где отставной поручик Каховский занимал номеришко из найдешевеньких, я распорядился поставить засаду из казаков. Побывал я еще во многих домах, где, по слухам, оные молодые люди хоть и изредка, а являлись. Но покуда безрезультатно. Родственники и знакомцы их все, как один, отзываются категорически полнейшим, на сей счет, неведением.

— Скрывают? — злобно спросил Николай.

Шульгин развел руками:

— Весьма возможно, ваше величество, что, нашед тайное пристанище, Каховский и Кюхельбекер точно утаивают его от своих приятелей. Однако ж смею уверить, ваше величество, что взятые мною меры непременно поведут к тому, что никто из злоумышленников не уйдет от карающей десницы закона. И будь они оба хоть на дне морском, — выпятив мощную грудь, заявил Шульгин, — все едино сыщутся...

— Смотри у меня, — грозно сжал кулак Николай. — Следует немедленно повсеместно расклеить объявление об их розыске с указанием подробнейших их примет.

— Господин Булгарин отличнейшим образом изложил приметы и все обличье Кюхельбекера, — сообщил Шульгин, — а господин Греч сделали то же в отношении Каховского. Человек он, говорят, невзрачный, с лицом ничтожным и оттопыривающейся губой, придающей ему вид предерзостный...

— Я сказал, — строго перебил царь, — составить и повсеместно разослать объявление о розыске с тем, чтобы привлечь к этому делу не только полицию, но и добровольных радетелей облавы, чинимой нами на участников бунта.

Объявление о розыске Кюхельбекера гласило:

«По распоряжению полиции отыскивается здесь коллежский асессор Кюхельбекер, который приметями: росту высокого, сухощав, глаза навывкате, волосы коричневые, рот при разговоре кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись, говорит протяжно, от роду ему около 30 лет. Почему поставляется в непременную обязанность всем хозяевам домов и управляющим оными, что если таких примет человек у кого окажется проживающим или явится к кому-либо на ночлег, тотчас представить его в полицию. В противном случае с укрывателями поступлено будет по всей строгости законов.

С.-Петербургский обер-полицмейстер *Шульгин* ».

Однако, несмотря на то, что распоряжение о поимке Кюхельбекера было передано военным министром Татищевым «наместнику Царства Польского» Константину, губернаторам, генерал-губернаторам и прочим чинам полицейской и военной иерархии, Кюхельбекер был арестован только почти через месяц. Он был опознан в Варшаве унтер-офицером Волынского полка Григорьевым.

В специальном по этому поводу приказе генерал Дибич сообщал, что царь произвел унтера Григорьева в прапорщики, повелел выдать ему единовременную награду в тысячу рублей, а также довести «о похвальном поступке его до сведения всего военного ведомства».

Меры, предпринятые Шульгиным для розыска Каховского, дали результаты, — Петр Григорьевич был доставлен в Зимний дворец через двадцать часов после разговора обер-полицмейстера Санкт-Петербурга с российским императором.

Прежде чем впустить арестованного к себе, Николай открыл свою «особую тетрадь», в которую уже успел записать первые заметки о Каховском, основанные на ранее изученных доносах:

«Каховский — из мелких помещиков Смоленской губернии. Крайне беден. Не раз одолжался у Рылеева. Дерзок беспредельно (история с разбитием в детстве бутылки о голову неприятельского солдата). На военной службе неоднократно бывал в штрафах за разные шалости по армии. В походах не участвовал. Смел, умен, но скрытен и склонен к меланхолии. Последнее, возможно, от круглого сиротства или же по

причине неудачного его сватовства к мадемуазель Салтыковой, пренебрегшей его любовью. Одержим неистовой страстью к свободе, мня ее необходимою для процветания отечества. Свыше меры начитан литературами, из коих античною больше других, что видно из стремления подражать ее героям. Особливо Бруту».

Последняя запись была сделана совсем недавно. Она гласила: «Пылкий характер, готовый на самоотвержение». А в скобках стояло: «Отзыв Рылеева на допросе».

После прочтения этих строк Николаю стало совершенно ясно, как ему следует держаться с Каховским, и он приказал ввести его.

Даже веселый и легкомысленный адъютант Голицын был поражен переменой, происшедшей в лице и фигуре царя за несколько минут, которые понадобились на исполнение полученного от него приказания.

Николай сидел на маленьком диванчике, удрученно склонив голову на грудь. Обе руки его безжизненно повисли, а под опущенными ресницами трепетала — и, казалось, вот-вот прольется слезами — глубокая печаль.

— Ваше величество, — подождав немного, окликнул Голицын.

Николай провел рукой по глазам и, подняв их на Каховского, медленно проговорил:

— Так вот он каков, Каховский, а я-то представлял себе, что человек, стрелявший по Милорадовичу и Стюрлеру, должен выглядеть устрашающе и иметь какие-то особенные руки... Покажи-ка мне твои.

— Они скручены, государь.

— Ай-ай-ай! — сокрушенно покачал головой царь. — Кто же это посмел, как разбойника, вязать русского Брута? Убрать веревки! — велел он Голицыну.

Тот поспешно пошарил по карманам и, не найдя ничего подходящего, распутал тугой узел своими крепкими, молодыми зубами.

Каховский несколько раз взмахнул затекшими руками и облегченно вздохнул.

Царь сделал Голицыну знак удалиться.

«А ведь в физиономии этого штафирки и в самом деле есть что-то донельзя дерзкое», — подумал Николай, но вслух проговорил озабоченно:

— Ты, видимо, изрядно устал. Садись вот сюда, поближе к огню, — и сам поправил начищенными медными щипцами горящие в камине дрова.

«Ишь-какой ласковый», — недоверчиво пронеслось в голове Каховского, но с его бледных губ слетели слова:

— Спасибо, государь.

— Садись, садись, — повторил царь, — мне надо о многом говорить с тобою.

Каховский опустил в кресло. Оба молчали.

— Прежде всего, — заговорил, наконец, царь, — я хотел бы знать, почему вы, господа бунтовщики, люди зачастую отменно образованные, умные и смелые, — да, да, умные и смелые, — настойчиво повторил он, — почему вы для достижения своих целей не ищите никаких иных средств, кроме тех, коими пользовались политические деятели едва ли не две тысячи лет тому назад?

Каховский поднял на царя тяжелый, вопрошающий взгляд.

— Вот тебя в вашем обществе называли русским Брутом... — продолжал, было, царь, но Каховский перебил его:

— Такой клички я ни от кого не слыхивал...

— А вот поглядим, — и Николай стал перебирать лежащие на столе бумаги. — Видишь, сколько за эти два дня написали о своей деятельности в Тайном обществе

многие из твоих сообщников? Вот этот, к примеру, почерк узнаешь? — И он, близко поднеся к глазам Каховского показания Рылеева, задержал их ровно настолько, чтобы тот успел прочесть только выделенную карандашом фразу: «Совокупив же великодушие с милосердием, кого, государь, не привлечешь ты к себе навсегда...»

— Узнаю, — чувствуя в груди ледяной холод, вымолвил Каховский.

— Кажется, именно Рылеев говорил мне о такой твоей кличке, — сказал царь. — Но это не столь важно. Знаменательно же то, что, поручая истребить меня, он подал тебе кинжал, то есть то самое оружие, которым еще до нашей христианской эры Брут поразил Цезаря. Чему же, позвольте спросить, научила вас история за девятнадцать столетий?

— История являла немало примеров, когда истребление тирана приводило лишь к тому, что убитого сменял другой властелин, зачастую еще более жестокий, — глухо произнес Каховский. — Но мы хотели истребить не тирана, а тиранство, под игом которого страдает мое отечество...

— Так ведь я же сам есть первый гражданин сего отечества, — с такой искренностью проговорил царь, что Каховский вздрогнул и в упор посмотрел ему в глаза.

В этих глазах, показалось Каховскому, стояли слезы.

— Сейчас я прошу тебя забыть, что ты говоришь со своим государем. Говори так, как говорил со своими единомышленниками. Ибо в сии минуты и мной и тобою владеет лишь единая мысль о благоденствии нашего с тобой отечества. Ах, Каховский, — горячо перебил царь сам себя, — от скольких несчастий была бы избавлена Россия, кабы и Рылеев, и Трубецкой, и Оболенский, и ты сам, прежде, нежели братья за оружие, поделились бы со мною вашими прожектами о счастье родины. Я убежден, что тогда не произошло бы страшного несчастья третьего дня...

Горькая улыбка искривила губы Каховского.

— Государь Александр Павлович знал о существовании и целях нашего Общества, — возразил он. — В начале своего царствования он даже называл себя республиканцем. Но подобные «республиканцы», видимо, способствуют приходу к власти деспотических правителей.

Николай сделал вид, что пропустил мимо ушей последнюю фразу Каховского, и со вздохом сказал:

— Да, брат много ошибся, что оставил без внимания все, что ему было известно о Тайном обществе. Но я-то чем виноват? — воскликнул он, заломив руки. — Едва ступив на престол, я уже истерзан душевными муками от кровавой ссоры со своими подданными. А ведь я так хочу быть в полной совокупности со всей своей державой и с лучшими, с самоотверженнейшими ее людьми...

Он замолчал и, прикрыв глаза рукой, незаметно, сквозь пальцы, наблюдал за Каховским.

— Кабы я мог вам верить, государь! — с тоской проговорил тот после долгой паузы.

Николай не изменил позы, а, только, отвернув лицо, вынул носовой платок и провел им по своим сухим глазам.

По худому, измученному лицу Каховского как будто прошла судорога. Он стиснул кулаки и уперся в них острым подбородком. Яркая краска стала заливать его щеки, лоб...

«Кажется, удалось, наконец, повлиять и на этого, — не переставая наблюдать за

Каховским, подумал с удовлетворением царь. — Еще несколько моих чувствительных фраз, горестных вздохов и сожалений — язык и этого заговорщика развяжется, как это было с Рылеевым».

И сентиментальные фразы об отеческом чувстве к своим заблудшим сынам, о безграничной любви к России, ради которой он сам готов идти на любые жертвы и которую хотел бы довести до такого благосостояния, чтобы все европейские народы завидовали бы счастью россиян, о тяжести «Мономаховой шапки» и жгучей обиде на деятелей «четырнадцатого», за их недоверие к нему были произнесены с такой искренностью, что этой искусной игре мог бы позавидовать лучший из трагических актеров императорских театров.

Заметив, что слезы то и дело застилали изумленно глядящие на него глаза Каховского, Николай неожиданно приблизился к нему и положил руку на его худое, сутулое плечо.

— Мне много рассказывал о тебе Рылеев и другие. Ты еще и в детстве отличался большим чувством патриотизма, — с мягкой усмешкой проговорил он. — Помнишь, как ты в двенадцатом году разбил бутылку о голову французского солдата? Ну-ка, расскажи мне об этом сам. История эта так значительна, что я хотел бы еще раз услышать ее от тебя самого. Я даже предполагаю передать ее моему сыну, чтобы он имел представление о проявлении столь горячего патриотизму юного русского дворянина...

Каховский смущенно отмахнулся рукой.

— Нет, нет, — почти дружески настаивал Николай. — Ну, я начну сам: дело было в Москве, когда ее заняли французы. Все убежали из дому, кроме маленького Петруши Каховского. Вот он видит, как в комнату вошли несколько неприятельских солдат. Вошли и стали требовать, чтобы мальчик дал им поесть. Так?

— Не совсем так, ваше величество. Они взломали буфет и, нашел в нем несколько склянок с ягодами, засыпанными сахаром, потребовали, чтобы я откупорил их. Штопора не было, и я попытался просунуть пробку внутрь. При этом палец мой застрял в горлышке бутылки, и я никак не мог извлечь его оттуда. Французы стали смеяться надо мной и спрашивать, как же я теперь освобожу мой палец. «А вот как!» — воскликнул я и, размахнувшись, ударил бутылкой по голове одного из обидчиков с такой силой, что бутылка разбилась вдребезги. Меня жестоко избили. Но, боже мой, как я был горд, как счастлив...

— Молодец, ах, какой молодец! — похвалил царь и по-отечески просто протянул Каховскому свой надушенный платок. — Не стыдись слез, они смягчат твое сердце, облегчат душу... Воспоминания юности всегда чрезвычайно чувствительны...

Отойдя к окну, царь повернулся к Каховскому спиной, как бы предоставляя ему полную возможность выплакать накопившиеся страдания.

— В ту пору мне было только четырнадцать лет, государь, — слышал он прерывающийся голос, — я был отроком. Но прошедшие с тех пор еще четырнадцать лет неизмеримо усилили чувство моей любви к отчизне. И только ею, только единой этой любовью я руководствовался, и буду руководствоваться во всех моих поступках до последнего часу моей жизни... Внемлите же мне, государь...

И долго в царском кабинете звучала взволнованная речь Каховского, изредка прерываемая короткими репликами Николая.

Было уже далеко за полночь, когда царь, отсылая Каховского в крепость, передал через него сопроводительную записку коменданту Сукину:

«Каховского содержать лучше обыкновенного содержания. Давать ему чай и прочее, что пожелает, но с должной осторожностью. Содержание Каховского я принимаю на себя».

— Все, что я слышал от тебя, столь значительно, — сказал царь Каховскому на прощанье, — что я хотел бы видеть это запечатленным на бумаге. Пиши ко мне...

И Каховский стал ему писать из крепостного каземата:

«Судьба моя решена, и я безропотно покоряюсь, какой бы ни был надо мною произнесен приговор. Жить и умереть для меня почти одно и то же. Мы все на земле не вечны. На престоле и в цепях смерть равно берет свои жертвы. Человек с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями — их отнять никто не в силах. И я, приговоренный к каторге, лишусь немногого: если тягостна, то одна разлука с милыми моему сердцу.

Не о себе хочу говорить я, государь, о моем отечестве, которое, пока не остановится биение моего сердца, будет мне дороже всех благ мира и самого неба. Хочу говорить о собственной вашей пользе, о пользе человечества.

Намерения Тайного общества открыты. Мы были заговорщиками против вас, цель наша была: истребить всю ныне царствующую фамилию и, хотя с ужасным потоком крови, основать правление народное. Успеть в первом мы весьма легко могли — людей с самоотвержением было достаточно. Я первый за благо считал не только жизнью, честью жертвовать пользе моего отечества. Умереть на плахе, быть растерзану и умереть в самую минуту наслаждения — не все ли равно? Но что может быть слаще, как умереть, принеся пользу! Человек, исполненный чистотою, жертвует собою не с тем, чтобы, заслужить славу, строчку в истории, но творит добро для добра, без возмездия. Так думал я, так и поступал. Увлеченный пламенной любовью к родине, страстью к свободе, я не видал преступления для блага общества... И пишу я вам не из боязни наказания: я мог быть врагом вашим, но подлецом быть не могу.

Что было причиной заговора нашего? Что, как не бедствие отечества? Я видел слезы сострадания на глазах ваших. Вы человек, вы поймете меня. Можно ли допустить человеку, нам всем подобному, вертеть по своему произволу участью пятидесяти миллионов людей? Где, укажите мне страну, откройте историю, — где, когда были счастливы народы под властью самодержавной? Как вы думаете, государь, если бы вас не стало, из окружающих теперь вас много ли нашлось бы людей, которые истинно об вас пожалели? Кто не предан всей душой пользе отечества, тот никого и ничего не может любить, кроме своей выгоды. Цари самовластные много благотворят в частности. И покойный император много раздавал денег, орденов, чинов. Но составляет ли это пользу общую? Отнимается у множества людей последний кусок хлеба, чтобы бросить, его в гортань ненасытного. Нет, государь, не в частности надо благотворить, но благотворить всему народу, и правление ваше будет счастливо, спокойно и безмятежно...

Император Александр много нанес нам бедствия, и он собственно причина восстания 14 декабря. Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы, и не им ли она была после так жестоко удушена, не только в отечестве нашем, но и во всей Европе?..

Простите, ваше величество, я буду говорить совершенно откровенно: когда вы были великим князем, мы не могли судить о вас иначе, как по наружности; видимые ваши занятия были фронт, солдаты, и мы страшились иметь на престоле бригадного командира... Дайте права, водворите правосудие, не иссушайте бесполезно источники

богатства народного, покровительствуйте истинному просвещению — и вы соделаетесь другом и благотворителем нашего доброго народа. Кто смеет подумать, чтобы сей народ не был одарен всеми способностями, принадлежащими и прочим нациям...

Россия не в столице, народ ее не заключается у двора. Лыстецы придворные редко скажут правду — им страшен царский гнев и милость царская дороже пользы общей. У нас в государстве они большею частью иностранцы. Проживая в роскоши весь век свой в столице, когда им было обратить внимание на положение народное и зачем... Дай бог, чтобы вы, государь, властвовали не страхом, а любовью, — народ утратить невозможно, а привязать к себе легко... Лишь бы правительство не считало его тварями ничтожными, видело бы в нем людей, а народ всегда готов в добром государе чтить отца и благодетеля.

Чувствую сам, что письмо мое смело, но одно желание пользы обладает мной. Говоря вам истину, исполняю святую обязанность ревностного гражданина и не страшусь за нее ни казни, ни позора, ни мучительнейшего заключения.

Простите, что я смею еще просить вашей милости. Увлеченный чувствами, я сделал открытие о Тайном обществе, не соображаясь с рассудком, но по движению сердца, и, может, то сказал, чего бы не открыли другие члены оногo... Я преступник пред людьми несчастными, мной в Тайное общество принятыми. Легко погибнуть самому, но быть причиной гибели других — мука нестерпимая. Свобода обольстительна: я, распаленный ею, увлек офицеров лейб-гвардии гренадерского полка поручиков Сутгофа, Панова, подпоручиков Кожевникова и Жеребцова и генерального штаба прапорщика Палицына. Все они имеют отцов, матерей, семейства, и я стал их убийцею. Не зная меня, они были бы счастливы. Я всему причиной, пусть на мне и кончатся их мучения. Вы сами отец, вы человек — спасите их, и я умру, благословляя ваше милосердие. Может быть, выражения мои неприличны. Простите мне то: я не рожден у двора и следовал движению сердца...»

4. Между честью и бесчестьем

Комендант Зимнего дворца Башуцкий, к которому из Главного штаба направили привезенного из Москвы Якушкина, поместил его в одной из комнат нижнего этажа и поставил у дверей двух часовых с саблями наголо.

Утомленный дорогой и тяжелыми думами о будущей судьбе жены и двух малолетних сыновей, Якушкин прилег на жесткую с мочальным тюфяком постель. Ощущение провала в бездонную пропасть мгновенно охватило его, и он забылся сковавшим его сознание глубоким сном.

Он не знал, сколько времени проспал, но разбудивший его дворцовый служитель держал в руке горящую свечу.

В открытую дверь заглянул тот же молоденький офицер, который возглавлял конвой, приведший арестованного в эту комнату, а за ним по-прежнему стояли солдаты с саблями наголо.

— Одевайтесь скорее, — приказал Якушкину офицер.

Служитель воткнул свечу в настольный канделябр и, поплевав на пальцы, оборвал ими обгоревший фитилек. Потом, грустно вздохнув, помог Якушкину попасть рукой в рукав сюртука.

— Спасибо, братец, — поблагодарил Якушкин, — а теперь подай мне шпагу.

Но офицер перехватил ее:

— Шпагу приказано от вас отобрать.

Как только Якушкин переступил порог, конвойные стали по его левую и правую руку, а офицер, скомандовав: «Шагом марш!», поднял вверх только что отобранную шпагу и замаршировал впереди. Вскоре он свернул в узкий коридор, в конце которого виднелся просвет: это была потайная дверь на главный вход в Эрмитаж.

Великолепие его вестибюля, его широкая, уходящая ввысь мраморная лестница, античные мраморные и бронзовые скульптуры, пушистый и мягкий, как луговая трава, исполинский зелено-розовый ковер, величественная колоннада, подпирающая лепной, в квадратах, потолок, отполированные, как зеркало, стены из переливчатого каррарского мрамора — все это было залито светом свечей, горящих в бронзовых люстрах со множеством радужных хрустальных подвесок.

Конвоиры Якушкина были явно ошеломлены этой никогда не виданной, блистательной роскошью и, невольно, затаив дыхание, старались ступать с особой осторожностью.

Проходя по галерее копий ватиканских лоджий Рафаэля, Якушкин вдруг почувствовал, как душевная тяжесть, не покидавшая его с момента получения в Москве известий о событиях 14 декабря, под влиянием созерцания этих великих творений искусства становится легче. Он невольно замедлил шаги.

Конвойный офицер оглянулся.

— Не правда ли, как все это прекрасно? — поведя вокруг заблестевшими глазами, спросил Якушкин.

— Ничего прекрасного в вашем положении быть не может, — резко ответил офицер. — Прошу не отставать. А вы чего глаза пялите! — окрикнул он солдат.

Те подтянулись и выровняли шаг.

Когда вошли в «Итальянский зал», освещенный только одной свечой, горевшей в углу на ломберном столе, офицер приказал остановиться.

Всмотревшись в полумрак, Якушкин увидел неподалеку от стола высокого генерала, разглядывающего какую-то картину.

— Ступайте к его превосходительству генералу Левашеву, — приказал офицер.

Услышав приближающиеся шаги, Левашев сел за стол и жестом пригласил сестр и Якушкина.

— К Тайному обществу принадлежали? — спросил генерал, как только они остались наедине.

— Принадлежал, — ответил Якушкин.

Радостное мгновенное удивление скользнуло по лицу Левашева.

— Какие действия сего Общества можете назвать? — с живостью спросил он.

— Действий Тайного общества никаких не знаю.

Левашев досадливо поморщился.

— Знаете, Якушкин, начало нашего разговора мне весьма и весьма понравилось. Вот, наконец, подумал я, вижу перед собою умного человека, который не хочет зря отнимать времени ни у себя, ни у меня! И вдруг это ненужное заpiresательство! Нам ведь отлично известно, что еще в тысяча восемьсот восемнадцатом году, на совещании ваших единомышленников, посвященном вопросу о царевубийстве, на вас пал жребий совершить оное.

— Вы ошибаетесь, ваше превосходительство, — после некоторого раздумья сказал Якушкин.

— Ну вот, опять заpiresательство! — недовольно протянул Левашев.

— Позвольте мне договорить, — продолжал Якушкин, — я хочу сказать, что вас неправильно осведомили об этом совещании. Жеребьевки на нем никакой не было, а я сам вызвался нанести удар императору, обманувшему наши лучшие чаяния, вверившему судьбу родины гнусному Аракчееву. Я никому не хотел уступить чести истребить тирана.

Левашев несколько мгновений изумленно глядел на Якушкина, потом схватил перо и, разбрызгивая чернила, стал торопливо записывать только что слышанные слова.

— Вы сказали, что не хотели уступить чести... — не отрываясь от бумаги, как бы, между прочим, спросил он, — чести свершения этого ужасного намерения... кому? Не припомните ли?

— Нет, ваше превосходительство, не помню, да и припоминать не стану, ибо, вступая в Тайное общество, я дал обещание никогда никого не называть...

— Вас связывают эти дурацкие масонские клятвы над шпагой? — презрительно усмехнулся генерал.

— Нет, меня связывает честное слово, которое...

— Не назовете? — грозно перебил Левашев. — Так вас заставят назвать! Я должен вам напомнить, что в России есть пытка.

Якушкин поклонился:

— Весьма благодарен, генерал, за это напоминание. Благодаря ему, я еще более, нежели прежде, сознаю обязанность никого не называть.

Левашев вскочил с места и стал шагать взад и вперед мимо ломберного столика. И так же быстро скользила по залу его огромная тень, ломаясь у стены и подползая к самому потолку.

Якушкин внимательно всматривался в висящий напротив портрет какого-то католического духовного лица. В этой бритой физиономии, в пронизывающем взгляде жестких глаз, в сухом складе рта было что-то напоминающее Левашева.

«Это, должно быть, какой-нибудь из римских пап», — подумал Якушкин и сделал движение к портрету, чтобы прочесть медную дощечку, прибитую на нижнем крае бронзовой рамы.

— Куда вы? — быстро подходя к нему, спросил Левашев.

— Я хотел узнать, кто это здесь изображен, — кивая на портрет, ответил Якушкин.

Левашев сам нагнулся над надписью, поблескивающей от света свечи.

— Это папа Климент Девятый, — проговорил он.

— Я так и думал, — улыбнулся Якушкин, — этот папа, насколько я помню, всю жизнь трусливо лавировал между честью, и бесчестьем, и, в конце концов, его политика привела к тому, что...

— Послушайте, Якушкин, — перебил Левашев, — меня в весьма малой степени интересует биография этого папы...

— Очень жаль, генерал, — она крайне поучительна для любого государственного деятеля.

Левашев вдруг взял Якушкина за локоть и заговорил по-французски:

— Вот что, Якушкин, сейчас я говорю с вами не как судья, а как дворянин с дворянином. Я не вижу никакого смысла в том, что вы хотите принести себя в жертву людям, которые вас назвали и предали.

Якушкин освободил свой локоть от генеральской руки и проговорил невозмутимым тоном, тоже по-французски:

— Мне кажется, что я присутствую здесь совсем не затем, чтобы обсуждать поведение моих товарищей.

— Однако все ваши товарищи показывают, что цель вашего Общества была заменить самодержавие представительным правлением.

— Возможно, — согласился Якушкин.

Левашев задал еще несколько вопросов, из которых было видно, что ему уже были известны и конституция Никиты Муравьева, и «Русская правда» Пестеля.

Якушкин отзывался полным их неведением.

— Ну, а вы сами, как член Общества, делали что-нибудь сообразное с вашими убеждениями? — наконец, спросил Левашев с нетерпением.

Якушкин утвердительно кивнул головой:

— Я много занимался отысканием способа уничтожить крепостное состояние в России.

— Что вы можете сказать об этом? — уже устало спросил Левашев.

— То, что это такой узел, который должен быть развязан правительством, или, в противном случае, насильственно разорванный, он может иметь самые грозные последствия.

Не добившись более никаких признаний, Левашев дал подписать Якушкину запачканный чернилами, неразборчиво заполненный лист его показаний и предложил ему выйти в соседний зал.

Здесь тоже были часовые, а возле широкого подоконника стояла какая-то фигура в форме дворцового ведомства.

Якушкин подходил то к одной, то к другой картине, Часовые следили за каждым его шагом.

Особенно долго стоял он у полотна Сальватора Роза «Блудный сын». Его занимала не фигура коленопреклоненного сына, а ощущение стихийной силы, какою веяло от неба, облаков и всего пейзажа, изображенного на этой замечательной картине.

— Ваше благородие, — окликнул его фельдъегерь, которого он раньше не заметил, — пожалуйста-с обратно!

Когда Якушкин возвратился в «Итальянский зал», кроме Левашева, у ломберного стола стоял еще кто-то, высокий и прямой.

Подождав некоторое время, Левашев осторожно окликнул:

— Ваше величество!

Царь резко обернулся и поманил к себе Якушкина.

— Ближе, ближе. Да ну же! Нарушить присягу не боялись, а подойти боитесь!

Якушкин подошел так близко, что ему стали видны колючие зрачки царских глаз.

— Вы знаете, что вас ожидает на том свете? — негромкой скороговоркой спросил царь. — Вас ожидают муки проклятья. Мнение людей вы, конечно, презираете. А то, что ожидает вас на том свете, должно ужаснуть даже вас... Но я не хочу вас губить, я пришлю вам священника, которому вы откроете душу...

Якушкин едва удержался, чтобы не улыбнуться этой хитрости. Ему захотелось сказать царю о своей неверии в загробную жизнь, но он решил молчать.

Припугнув его страшным судом и адскими муками, Николай спросил запальчиво:

— Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам от меня нужно, государь? — тихо спросил Якушкин.

— То есть как это «что нужно»? — вспыхнул Николай. — Вам, кажется, довольно ясно сказано, что нам от вас нужно: если вы не хотите губить ваше семейство, — повышая голос, продолжал он, — вы должны во всем признаться. Слышите?!

Он с ненавистью смотрел в усталое, но спокойное лицо Якушкина.

— Я дал слово никого не называть, — так же твердо, как и Левашеву, ответил Якушкин царю. — Все, что касается меня, я уже сказал его превосходительству.

— Что вы мне суετε его превосходительство и ваше мерзкое слово! — крикнул Николай.

— Назвать, государь, никого не могу, — ровным голосом повторил Якушкин.

Царь попятился на несколько шагов и, указывая на него пальцем, проговорил сквозь стиснутые зубы:

— Заковать его так, чтоб он пошевелиться не мог.

Это приказание подтвердил и запиской к коменданту Петропавловской крепости:

«Присылаемого Якушкина заковать в ручные и ножные железа, поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея...»

5. «Образец злодея»

После долгого пути от Умани до Петербурга в неудобном возке, рядом с фельдъегерем, от полушубка которого нестерпимо пахло прелой овчиной, Волконский прибыл, наконец, к Шепелевскому дворцу, в котором жил начальник штаба Дибич.

Но барон не пожелал допрашивать арестованного у себя на дому и приказал везти его в Главный штаб к дежурному генералу Потапову — тоже члену Следственного комитета.

Просидев у штаба на лютом морозе битый час, Волконский не был принят и Потаповым, а по его приказанию направлен прямо в Зимний дворец.

Когда его проводили по бесконечным коридорам, он, раньше часто бывавший во дворце в качестве гостя, был поражен большим количеством вооруженных солдат,двигающихся в разных направлениях группами и поодиночке.

«Видимо, батюшка царь не ахти как уверен в своей победе четырнадцатого декабря, — думал Волконский, — если спустя месяц после нее считает нужным держать во дворце целый батальон гвардейской пехоты...»

Сталкиваясь с Волконским на поворотах, солдаты вежливо сторонились, а на переходе, ведущем к эрмитажной лестнице, до слуха Волконского ясно донеслось сочувственное: «Эх-ма, сердешный!» — и тотчас же последовавший за этим начальственный окрик: «Смирно!»

Поднимаясь по лестнице, Волконский столкнулся с Басаргиным и Якушкиным, тоже окруженными стражей. Он протянул, было к ним руки, но конвойный офицер заслонил их собой и сердито проговорил:

— Подходить близко и разговаривать арестованным запрещено!

Якушкин успел из-за его плеча дружески кивнуть Волконскому, а на сомкнутых губах Басаргина показалось подобие улыбки.

«Свет здесь такой желтый или они так пожелтели за это время?», — мелькнула у Волконского мысль, когда он еще раз переглянулся с удаляющимися товарищами.

В комнате, расположенной перед залом, в котором шли допросы, дежурный офицер, приняв Волконского под расписку, скрылся на короткое время за плотно

закрытой дверью и, вернувшись, распахнул ее перед арестованным:

— Проходите к столу налево.

Волконский сделал несколько шагов и очутился перед своим старым однополчанином — Левашевым.

Десять лет тому назад с этим сухо кивнувшим ему теперь генералом их связывали молодецкие пирушки, кутежи, поездки к цыганам, охота на волков.

Десять лет, протекших с того веселого времени, как будто не очень изменили внешность Левашева, важно восседавшего за столом, покрытым целыми ворохами исписанной бумаги. Только в темных волосах генерала, которые десять лет тому назад он любил обсыпать пудрой, теперь белела несмываемая седина приближающейся старости.

За столом, стоящим поодаль от Левашева, военный чиновник рассортировывал листы допросов и, украдкой поглядывая на Волконского, простукивал их прямоугольным, смоченным черной краской штампом.

Сделав размашистую надпись на одном из лежащих перед ним конвертов, Левашев протянул его чиновнику:

— Снесите лично.

— Когда прикажете, ваше превосходительство? — принимая пакет обеими руками, почтительно спросил чиновник.

— Немедля, — бросил Левашев. И как только они остались вдвоем, указал Волконскому на стул: — Прошу садиться.

Их взгляды встретились.

Глаза Волконского печально спросили: «Неужели мы с тобой враги, Василий Васильевич?»

Глаза Левашева сказали было: «Сергей, друг ты мой, эх тебя угораздило попасть в такую историю!», но через мгновение в них уже было выражение, которое говорило: «Ничего не поделаешь: дружба — дружбой, а служба... сам знаешь».

— Вертится колесо фортуны, — после долгой паузы заговорил Левашев, — и каждый его поворот — та или иная превратность человеческой судьбы...

Волконский молча глядел ему в лицо, и от этого пристального взгляда генерал беспокойно ерзал в своем удобном кресле.

— Нет, в самом деле, — закуривая, продолжал он, — ну кто бы мог представить, что Волконский и Левашев встретятся когда-либо при нынешних обстоятельствах!

Волконский все так же молча смотрел в лицо своего старого приятеля, по которому скользила столь несвойственная ему тень смущения.

— Вот сейчас, когда ты показался на пороге, — вполголоса говорил Левашев, — такой юношески стройный, все еще красивый, такой румяный с мороза, мне мгновенно вспомнился наш дебош, когда мы, носясь на бешеных рысаках по Английской набережной, разбили стекла в доме французского посланника Коленкура. Морозы тогда стояли лютые, и честолюбивый представитель Наполеона изрядно-таки померз по нашей милости, покуда ему раздобыли стекольщиков... — Левашев сквозь табачный дым первый раз прямо взглянул Волконскому в глаза и улыбнулся: — А история с болонкой, украденной Голенищевым у своей жены и подаренной метрессе француженке? Потом твой слуга для чего-то украл эту болонку у француженки...

— Он сделал это по моему приказанию, — вспомнил Волконский, — я велел вернуть ее супруге Голенищевой...

— Да, да, — рассмеялся Левашев, — помню, дело дошло до

генерал-губернатора...

— И меня посадили под домашний арест, — опять добавил Волконский, — и был бы большой взыск, кабы не заступничество милой Марьи Антоновны.

— О, эта очаровательная Марья Антоновна, — с удовольствием вспомнил Левашев, — она была нашей неизменной заступницей у императора Александра. Ей у него в ту пору ни в чем отказа не было. Да, — проговорил он после небольшой паузы, — и ты, и я, и Лунин, были в то время большими повесами. Впрочем, — Левашев снова сделал паузу, — впрочем, желание напроказить осталось не чуждо кое-кому из вас и по сию пору. Только проказы эти, увы, совсем иного толка, и последствия, которые они за собой влекут, весьма и весьма неприятны...

Левашев отобрал несколько лежащих перед ним доносов, переложил их ближе к Волконскому и со вздохом проговорил:

— Сейчас я должен доложить о твоём прибытии государю. — Бросив выразительный взгляд на отложенные листы, он многозначительно прибавил: — Не будем зря терять времени.

Едва он скрылся за портьерой, как Волконский, привстав, впился глазами в эти листы. Это были чьи-то показания, записанные рукой Левашева, который так и не научился грамотно писать по-русски, в чем его не раз упрекал в молодости Волконский.

«Я взошел в Тайное общество, — торопливо читал Волконский, — под названием „Союза благоденствия“, в 1816 или 1817 году. Намерение Общества было изложено в книге, называемой „Зеленой“, и не заключало в себе ничего противозаконного. Я служил тогда в Семеновском полку и был в Петербурге. Сочленами кого я имел — сказать не могу, ибо на сие дал обещание. Намерение Общества было сблизить дворянство с крестьянами и стараться первых склонить к освобождению последних... Сверх сего, распространить свои отрасли умножением членов и приготовить все сословия в государстве к представительному правлению...»

Волконский пропустил несколько абзацев и, прочтя последние строки внизу листа, догадался, что перед его глазами были показания Якушкина.

В этих строках стояло:

«Каким образом хотел я совершить цареубийство — я не знаю. И сколько могу припомнить, никогда не знал, ибо не имел довольно времени, чтобы сие обдумать, но, во всяком случае, предполагал по совершении одного убить себя, О намерении покуситься на жизнь покойного императора членов Южного общества, сколько могу припомнить, я никогда и ничего не слыхал...»

Волконский мгновенно вспомнил разговор с Якушкиным в Каменке у Давыдовых, когда речь шла о целесообразности убийства Александра на предполагаемом смотре южных армий. Именно он, Якушкин, так и сказал: «Ежели для пользы народной мне выпадет удел убить тирана — предваряю, что по совершении одного убийства истреблю себя незамедлительно».

Пробежав глазами еще несколько страниц, Волконский прочел в правом углу одной из них:

«Басаргин Николай Васильевич — поручик лейб-гвардии егерского полка».

Кроме этих слов, на листе ничего записано не было, но на отдельном клочке бумаги другим почерком были выведены торопливые строки: «Ваше превосходительство, прибыл фельдъегерь с его превосходительством генерал-майором Волконским...»

«Так его не допрашивали по моей милости, — подумал Волконский, — и тут чинопочитание или, может быть, протекция... Но, в общем, в этих показаниях ничего страшного не вижу». Волконский оглянулся на какой-то шорох, но за дверью было тихо, и он снова склонился над бумагами, которые так неудержимо притягивали к себе его внимание.

С первых же на зеленоватой бумаге строк писарски четкого почерка он понял, что перед ним не что иное, как подлинник доноса Майбороды Александру Первому, и сердце его забилось редкими и сильными толчками.

Торопливо прочитав несколько страниц, Волконский увидел заложенный среди них секретный рапорт генерала Чернышева на имя главнокомандующего Второй армией генерала Витгенштейна с описанием обыска у Пестеля:

«Приступлено было к строжайшему осмотру для отыскания бумаг, касающихся до цели и плана Тайного общества. По вскрытии шкафа, указанного Майбородою, найдены те два зеленых портфеля, о которых генерал Рот упоминал в отношении своем к начальнику Главного штаба его императорского величества. Но сии портфели были пусты и покрыты густою пылью, при внимательном обозрении коей мы удостоверились, что оные в таком положении оставались не малое время без всякого употребления...»

«Еще бы, — с усмешкой подумал Волконский, — станет Павел Иванович держать тайные бумаги в шкафах у себя в кабинете!» — и продолжал читать дальше:

«Потом, следуя указаниям Майбороды, произведен был столь же строгий осмотр не только во всех других шкафах, столах и прочей мебели и вообще в комнатах и на чердаке дома, занимаемого Пестелем, но также и в полковом цейхгаузе, где хранятся выюки и прочие вещи, в бане, погребях и других надворных строениях. Но нигде ничего подозрительного не оказалось. Из соображений чего должно заключить, что если Пестель и имел у себя объявленные Майбородою бумаги, то оные заранее были вынесены из дома... Мы сочли нужным допросить и взять на письме показания пестелева денщика Савенки, доставленного к нам под караулом из Тульчина, куда он прибыл с Пестелем, и который, по словам Майбороды, непременно знал, где хранятся тайные бумаги Пестеля. Но он, Савенко, при всех расспросах и внушениях наших отрекался неведением и пребывал в совершенном запирательстве».

«Молодец Савенко!» — вспомнил Волконский коренастого, черноусого солдата, который заменял Пестелю и камердинера, и парикмахера, и повара, знающего секрет мало кому известного способа заготовки свиного сала. Этим салом Савенко не раз угощал приезжающих к Пестелю гостей, из которых особенно приветливо встречал всегда Волконского.

Если случалось, что во время разговоров о делах Тайного общества в комнату входил Савенко и осторожный собеседник умолкал, Пестель неизменно говорил:

— Это вполне наш человек, прошу вас, продолжайте.

Волконский уже более спокойно водил глазами по строчкам, как вдруг вздрогнул всем телом: к одной из последних страниц доноса был приколот булавкой лист с четким, выведенным крупными буквами заголовком:

«Список о именах членов Тайного общества, представленный дополнительно».

Среди множества фамилий Волконский увидел свою, Трубецкого, Пестеля, Муравьевых, Давыдова, Бестужева-Рюмина и Горбачевского.

Почти все они были подчеркнуты цветными карандашами и против каждой из них стояли различные пометки, вроде: «Слышал от Пестеля», «Лично слышал, как

Волконский говорил сие», «Вел недозволительные беседы с солдатами своего полка», «Убеждал в необходимости действовать» и т. д.

«Ясно, что все нити у следователей в руках!» — ужаснулся Волконский.

Он протянул руку, чтобы наугад открыть еще какой-нибудь донос, но в соседней комнате послышался шум и голоса, и едва Волконский успел откинуться от стола, как в комнату вошел Левашев. Заняв прежнее место, он положил перед собой чистый лист бумаги и, обмакнув перо, спросил:

— Не угодно ли будет вашему сиятельству дать мне показания о нижеследующем...

Как ни осторожно переступил кто-то порог, Волконский все же услышал шелест раздвигаемой портьеры и по лицу Левашева догадался, что этот кто-то был царь. Это он заморозил человеческую теплоту, которая незадолго до его появления светилась в глазах и улыбке Левашева, это он заставил его говорить тоном бездушного чиновника:

— Итак, от вас ждут ответов на поставленные вопросы: с которого времени вы находитесь в Тайном обществе, кого знали из сочленов, через кого были в сношениях с Северной управой в Петербурге, какие поручения полковника Пестеля на себя принимали?

Не успел Волконский ответить и на первый вопрос, как царь быстро подошел к нему и уперся в его лицо требовательным взглядом.

Волконский вытянулся во фронт.

— Князь Волконский, — строго начал Николай, — запомните твердо: от искренности ваших показаний будет зависеть ваша участь. Будьте чистосердечны, и я обещаю вам помилование. Левашев, — обратился он к генералу, — я пришлю к вам Чернышева, и вы оба допросите князя. О результате доложить мне немедленно, — и, повернувшись на каблуках, вышел.

Допрос длился несколько часов, но Волконский давал такие показания, которые не вносили ничего нового в следственный материал.

Уговоры быть откровенным ни к чему не привели, а когда, раздосадованный скупостью ответов Волконского, Чернышев бросил ему упрек:

— Стыдитесь, генерал, прапорщики показывают больше вашего...

Волконский иронически ответил:

— Что делать, ваше превосходительство, я не умею рассказывать о том, чего не было.

Чернышев понял этот ответ как намек на известную и Волконскому выдумку о занятии Шалона, обозлился и, схватив показания Волконского, отправился с ними к царю.

Через несколько минут появился Николай.

— Какие знаки отличия имеете? — со зловещим спокойствием спросил он Волконского.

— Начав Отечественную войну ротмистром гвардии, я получил с того времени чин полковника, Анну второй степени, затем с бриллиантами третьего Владимира, Георгиевский крест, Анну первой степени, в тринадцатом году я был произведен в генерал-майоры, а во Франции — в кавалеры ордена святой Анны первого класса.

— И всего этого мало? — в том же тоне спросил царь.

— Наоборот, государь, я нахожу, что награды сии выше моих заслуг.

Николай долго смотрел в лицо Волконского, не произнося ни слова. Волконский все стоял перед ним, вытянув руки по швам,

«В молчанку играть затеял, — с досадой подумал он о царе. — Глупо стоять так, ровно два олуха».

Наконец, царь заговорил с негодующим недоумением:

— Разве мне не прискорбно узнать, что среди людей, которые по носимому ими имени, по положению в обществе, по значению их семей, по их состоянию и, наконец, по их воспитанию и образованию должны были представить все ручательства, исключаяющие их возможность участия в столь отвратительном заговоре, я встречу Трубецкого, Волконского, представителей лучших фамилий русской аристократии, свыше меры обласканных покойным государем... Разве не позор для вас, что какие-то Майбороды и Шервуды имеют больше патриотических чувств, чем генерал-майор Волконский.

— Это не так, государь, — твердо проговорил Волконский. — Эти люди действовали отнюдь не из чувства преданности отечеству и правительству, а из корысти и для самоспасения. Майборода, попавшись в краже и растрате казенных денег, и, будучи за это выдворен из полка, тщился выслужиться в глазах начальства, Шервуд... предатель, пренебреженный...

— Я не хочу вас больше слушать, — оборвал Николай. — Вы держите себя как злодей, не способный осознать всю тяжесть содеянного им преступления и... — он сделал паузу и грозно dokonчил: — и весь ужас грядущего наказания...

Заложив руки за спину, он быстро прошелся несколько раз по комнате. Левашев делал Волконскому какие-то знаки глазами, но тот не обращал на них внимания.

— А знаете ли вы, чем я объясняю такое ваше поведение? — вдруг остановился Николай против Волконского.

Волконский молча пожал плечами.

От этого его жеста злоба царя перешла уже в неумное неистовство.

— Вы трус! — закричал он, — трус, трус, трус!.. — И пена показалась в углах его рта.

— Я участвовал в пятидесяти восьми больших сражениях, — старался перекричать его Волконский, — я был тяжело ранен под Прейсиш-Эйлау, я пролил свою кровь под Шумлою, при взятии Силистрии...

— Довольно, довольно! — топнул ногой Николай. — Вы будете распространяться о всяческих своих подвигах не здесь, а в Следственном комитете, а сейчас ступайте в крепость! В крепость! — повторил он несколько раз и, выхватив платок, вытер им свой покрытый испариной лоб.

В тот же вечер, перед тем как ложиться спать, он открыл свою тетрадь и коротко записал:

«Допрошенный сегодня Сергей Волконский — набитый дурак, таким он всем давно известен, лжец и подлец в полном смысле и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоял, как одурелый. Он собою представляет самый отвратительный образец злодея и глупейшего человека».

Спустя несколько дней в этой же тетради появилась еще одна царская запись:

«Сергей Муравьев-Апостол — образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, он в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия. Но вместе с тем скрытен и необыкновенно тверд. Его привезли закованного и тяжело раненого в голову. Во дворце сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от оков и раны, он едва передвигал ноги. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я сказал ему, что мне тяжело видеть его в столь

горестном положении, что теперь ему должно быть ясно, до какой степени он преступен и является причиной несчастья многих жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его усадили и продолжали допрос. Рассказав нам о плане действий своего полка, он замолк и на мои и Левашева вопросы о том, неужели он считал осуществимыми преступные и сумасбродные замыслы его товарищей, не отвечал ни звука. Мы должны были его поднять и под руки довести до конвоя».

Коротенькие характеристики еще нескольких своих пленников записал Николай по-французски:

«Пестель также привезен в окопах. По особой важности его действий его держат строго секретно. Первый допрос учинен ему в Эрмитажной библиотеке. Пестель — злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелостью в заперательстве. Я полагаю, что редко найдется подобный изверг.

Артамон Муравьев — не что иное, как убийца, изверг, без всяких иных качеств, кроме дерзкого вызова на преступление. Подл в теперешнем положении до крайности.

Михайлу Орлова привезли из Москвы. Покойный Александр, сделал его своим адъютантом и назначил для переговоров при сдаче Парижа. Он принадлежит к числу тех людей, которых счастье избаловало и у которых глупая надменность затмевает ум. Его брат Алексей всячески старается доказать мне, что Михайло уже давно отошел от заговора и что всему виною непомерное самолюбие его, которое затмило его разум и придавило чувства благодарности и любви, кои он, несомненно, к нам всем питает. Алексея я люблю и верю ему. Но все же...»

В эту же кожаную тетрадь на той странице, где Николай в свое время отметил приход во дворец Александра Бестужева, «прозванного Марлинским», царь вложил письма, написанные этим писателем-пленником в Никольской куртине Петропавловской крепости.

В этих письмах, пронумерованных чиновником Следственной комиссии, Александр Бестужев делал отчаянные попытки воздействовать на Николая силою своего литературного дара:

«Уверенный в том, что вы, государь, любите истину, я беру дерзновение изложить перед вами исторически неизбежный ход свободомыслия в России и вообще многих понятий, составляющих нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря.

Я буду говорить с полною откровенностью, не скрывая худого, не смягчая даже выражений, ибо долг верного сына родины говорить правду.

Приступаю:

Начало царствования императора Александра было ознаменовано самыми блестящими надеждами на благосостояние России. По многому хорошему ждали еще лучшего. К несчастью, надежды состарились без исполнения. Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу. Тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: «Свобода, освобождение». Само рассеивало сочинения о злоупотреблении Наполеона неограниченной властью, и клик русского царя огласил берега Рейна и Сены. Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в народе. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят всякого рода господа».

Войска, от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали о свободе в чужих землях. Сравнение со своим, естественно, произвело вопрос, почему же не так у нас? Сначала, куда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый. Надежда, что император даст конституцию, как он о том упомянул при открытии сейма в Варшаве, и попытка некоторых дворян освободить своих рабов еще ласкали многих.

Но с 1817 года все переменялось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно — и вот начало тайных обществ. Притеснение начальством разгорячило умы. Тогда-то стали говорить военные: «Для того ли мы освободили Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? Для того ли мы дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней в России, и купили своею кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома». А так как ропот народа, от злоупотребления властей и истощения происходящий, грозил кровавою революцией, то тайные общества вознамерились отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном случае».

Охарактеризовав далее беспросветную нищету русского крестьянства, казнокрадство чиновников и их «взошедшее до неслыханной степени бесстыдства лихоимство, от которого честные люди страдают, а ябедники и плуты радуются», указав на причины, вызывающие недовольство и в других слоях русского общества, Бестужев писал, что «воспламененные таким положением России, члены тайных обществ и решились произвести переворот, полагая основываться на правах народных, как в междоусобии. Ибо ваше величество отреклись от короны, а отречение цесаревича Константина уже было известно всем ранее. Притом же вы, государь, ожидая признания от Государственного совета и Сената, признавали некоторым образом верховность народа, ибо правительство есть не что иное, как верхняя оного часть. Отрицание же права народа во время междоусобия избрать себе правителя или правительство приводило бы в сомнение самое возведение царствующей династии на престол России. Вспомните, что правительница Анна, опершись на желание народа, изорвала свои обязательства, а великая Екатерина гвардию и толпу, ее провозгласившую, повела против Петра III. Так неужели же право бывает только на стороне удачи?.. По некоторым признакам, проникающим в мою темницу, — заканчивал письмо Александр Бестужев, — я не сомневаюсь, что ваше величество посланы залечить беды России, успокоить, направить на благо брожение умов и возвеличить наше Отечество. Я уверен, что небо даровало в вас другого Петра. Нет, более чем Петра, ибо в наш век, государь, быть им — мало...»

6. В тенетах

Чем глубже вникал Николай I в непрерывно накапливающиеся материалы по делу о Тайном обществе, чем больше старался разобраться в источниках «вольномудческих» идей и их распространении, тем больше приходил к заключению, что Грибоедов не мог не быть причастен к «очагам либералистической заразы».

По донесениям агентов сыска, царю было известно, что грибоедовская комедия «Горе от ума», воспринятая в обществе как горячий протест не только против крепостного права, но и против многих явлений существующего порядка, ходит по столице, да и по всей России в рукописных списках наподобие «недозволенных стихов опального стихотворца Пушкина, ныне пребывающего в ссылке в селе

Михайловском».

Те же агенты доносили, что Грибоедов «весьма привержен дружбе» со многими участниками восстания 14 декабря.

Они же донесли и о встрече Грибоедова с главными деятелями Южного общества и с князем Трубецким в Киеве, куда Грибоедов заезжал по дороге на Кавказ.

Было еще одно серьезное обстоятельство, которое заставляло царя особенно настороженно отнестись к выяснению степени участия Грибоедова в раскрытом заговоре: Грибоедов служил у Ермолова. А этого прославленного генерала Николай невзлюбил еще с тех пор, когда и он и Ермолов были в свите Александра I во время его пребывания в Париже десять лет тому назад.

Уже тогда Ермолов выражал недовольство поведением братьев царя, которые устраивали оргии в парижских кабаках. Уже тогда он открыто возмущался тем, что Александр утомлял армию парадами ради развлечения представителей иностранных корпусов. Уже тогда было известно о недовольстве, высказанном Ермоловым по поводу дружеских свиданий русского царя с Людовиком XVIII.

А вскоре после возвращения в Петербург Николай собственными ушами слышал, как Аракчеев отговаривал Александра от назначения Ермолова военным министром: «Сей вояка, прежде всего, перегрызется со всеми начальниками, и выше и ниже его стоящими. Осмелюсь рекомендовать вашему величеству отправить Ермолова на Кавказ во главе Грузинского корпуса».

Однако, желая показать Ермолову свою признательность за его военные заслуги, Александр предложил ему тогда самому избрать себе за них награду. «Произведите меня в немцы, государь», — язвительно пошутил в ответ Ермолов, всюю душой ненавидевший высокопоставленных немцев — всех этих бенкендорфов, адлербергов, фредериксов и многих других, оказывавших огромное влияние на реакционную политику русских царей.

И сейчас, вспомнив об этой ермоловской шутке, Николай подумал:

«Я бы знал, что ответить на такую дерзость. Я бы указал ему на то, что мои сановники из немцев, прежде всего, служат мне, не в пример некоторым русским дворянам, которые на первое место ставят служение отечеству, имея весьма сумбурное, а то и вовсе вредное представление о его пользе».

В распоряжении Николая было немало данных, свидетельствующих о «либеральном духе» в ермоловском корпусе, об отмене в нем телесных наказаний солдат, о службе в нем многих офицеров, исключенных из других полков за свободомыслие, о том, что и напугавший его во время восстания Якубович и «злодей» Кюхельбекер тоже нашли в свое время приют у Ермолова, а Кюхельбекер даже посвятил ему стихи. Черновики этих стихов лежали среди бумаг, забранных у поэта во время обыска:

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне,
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу...

В переписке арестованного по делу четырнадцатого декабря адъютанта Ермолова, Фонвизина, было найдено письмо, в котором Ермолов писал:

«Скажу тебе прямо, что он вас, карбонарийцев и вольнодумщиков, так боится, как

бы я желал, чтобы он боялся меня».

«Он» был, несомненно, покойный Александр, а по всему тону письма нельзя было сомневаться, что симпатии Ермолова были всецело на стороне единомышленников и товарищей Фонвизина.

Николай знал, что среди намеченных мятежниками будущих членов Временного правительства имя Ермолова стояло рядом с именами Мордвинова, Сперанского и Раевского.

Наконец, Николаю было известно, что ермоловские войска с большим промедлением приступили к присяге на верность ему, Николаю.

Решение посчитаться с Ермоловым было твердо принято, и Николай только ждал подходящего для этого повода.

Поздно вечером у одного из небольших казачьих домов станицы Грозной остановился забрызганный грязью возок.

— Генерал Ермолов здесь стоит? — крикнул в темноту хриплый голос.

Казак, несущий караул у крыльца, приблизившись к возку, заглянул в лицо седока. Лицо было самое заурядное: подбородок небрит, на усах не то иней, не то седина. Глаза сердито поблескивают из-под нависших бровей. Форма на седоке обычная, как у всех фельдъегерей, приезжающих из Петербурга.

— А вы кто же такие будете, откедова и по какой, надобности пожаловали? — после внимательного осмотра прибывшего спросил караульный казак.

Приезжий выпрыгнул из возка, отряхнулся и с важностью отрекомендовался:

— Фельдъегерь Уклонский из Санкт-Петербурга.

— А-га! — неопределенно произнес казак, не трогаясь с места.

— Требую незамедлительно провести меня к его высокопревосходительству, командующему Особым Кавказским корпусом генералу Ермолову, — скороговоркой выпалил Уклонский.

— А может, каким адъютантом обойтись можно? — спросил казак.

— а ты, братец, ополоумел, что ли! Говорят тебе — веди к самому генералу. Мне приказано от господина военного министра, графа Татищева, передать секретный пакет в собственные генерала Ермолова руки, а ты медлишь... Веди, говорят тебе!

Казак нерешительно потоптался на месте.

— Отдыхает генерал, вот в чем дело, — раздумчиво проговорил он, — ныне только под вечер прибыл сюда с отрядом. На Чечню путь держит... А сейчас у них беседа идет, чайком развлекаются. Впрочем, айда за мною!

В сенцах при свете фонаря Уклонский увидел другого казака, который раздувал сапогом чадивший самовар.

— Хвилимонов, — обратился к нему часовой, — доложи генералу — вот хвельдъегерь столичный прибыл.

— Доложим, — не переставая работать сапогом, как кузнечным мехом, флегматично отозвался Филимонов. — А ты, мил человек, присядь маленько, покуда я его раздую.

— Дело срочное, — строго проговорил Уклонский, однако подошел к самовару и приложил к его горячим медным бокам свои окоченевшие руки.

За дверью, в избе, слышался оживленный говор.

— Генерал так и приказал, — продолжая возиться с самоваром, сообщил казак, — «раздуй его такого-сякого сына, чтоб гудел на страх врагам».

— Да ты что, — подступил к нему Уклонский, — ты что шуточки шутишь, когда у меня казенный пакет экстренной содержимости!

Филимонов выпрямился во весь свой огромный рост и сверху вниз смотрел на фельдъегеря:

— Гляди на него — стручок стручком, а от злобы аж сигает. Да ты, мил человек, с той самой столицы, сколько ден скакал?

— Ну, три недели, — буркнул Уклонский.

— А тут трех минут не обождешь, — и Филимонов водрузил на самовар огромную, проржавевшую во многих местах трубу, после чего тот запел сначала по-комариному, а потом загудел низким басом.

Фельдъегерь молча забегал по большим сеням, в которых колебался угарный дымок.

Шум и смех за дверьми неожиданно стихли, и молодой мужской голос отчетливо произнес:

— Итак, я продолжаю:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли грабительством богаты,
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве...
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве...

— Bravo, bravo, Грибоедов, — послышалось чье-то восторженное восклицание, — bravo, Александр Сергеич, позвольте мне от всего сердца прижать вас к груди.

— Дайте же ему продолжать, — раздались протестующие возгласы, — читайте, Александр Сергеич, пожалуйста, читайте. Не мешайте, Талызин.

Филимонов, вымыв над тазом руки, обтер их полой бешмета и предложил:

— Давай пакет, ваша благородия.

— Никак невозможно, — отказал Уклонский, — приказано передать в собственные его высокопревосходительства генерала Ермолова руки.

Филимонов равнодушно пожал плечами и, полюбовавшись на засветившееся розовым огнем самоварное поддувало, спросил:

— Как полагаешь, ваша благородия, можно его подавать, аль еще трошки пообождать? Вроде угару нету... Да ты не сердчай. Самовар понесу и заодно об тебе доложу.

Через некоторое время Уклонский был позван в маленькую светелку, где неподалеку от топившейся печи в расстегнутом мундире, с трубкой во рту стоял Ермолов.

За прикрытой в соседнюю комнату дверью слышалось осторожное позвякиванье посуды и чьи-то быстрые шаги.

Не дослушав рапорта, Ермолов взял из рук фельдъегеря пакет и, поднеся его к горячей на столе сальной свече, проверил целостность сургучных печатей. Потом вскрыл и стоя прочел:

«По воле государя императора, — писал военный министр Татищев, — покорнейше прошу ваше высокопревосходительство немедленно взять под арест

служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтоб он не имел времени к их истреблению, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург, прямо к его императорскому величеству».

Уклонский, стоя навтыяжку, не сводил с Ермолова выпученных глаз. Он видел, что лицо Ермолова потемнело, как будто на него упала густая тень. А когда генерал поднял на Уклонского глаза, выражение их было такое грозное, что фельдъегерь невольно попятился к выходу.

— Стой! — гаркнул Ермолов. — Стой, говорю!

На мгновенье кто-то выглянул из соседней комнаты, И снова там стало очень тихо.

Тяжело переводя дыхание, Ермолов опять поднес к глазам письмо Татищева.

«Взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова», — еще раз прочел он и мгновенно решил: «Как бы не так. Этого „чиновника“ я вам так просто в лапы не выдам».

Как в пылу сражений, у него быстро созрел план «расстановки сил», которые он собирался бросить в контратаку.

Он яростно скомкал полученное распоряжение, сунул его в карман и громко позвал:

— Фи-ли-монов!

Дородная фигура казака выросла на пороге.

— Попотчуй господина фельдъегеря, а то он, небось, куда как окоченел с дороги. Дай ему обогреться. Понял? — так выразительно и строго спросил Ермолов, что казак, вытянувшись, оглушительно рявкнул:

— Так точно, ваше высокопревосходительство! Усё понял! Айда за мной! — толкнул он окаменевшего фельдъегеря и повел его в свой дом, стоящий в глубине обширного двора.

Когда Ермолов вернулся в комнату, где за четверть часа перед этим было так оживленно и как-то особенно уютно, настороженная тишина в ней нарушалась теперь только затихающим бульканьем самовара и шелестом бумаги.

— За мною? — тихо спросил Грибоедов, продолжая собирать разбросанные по столу страницы «Горя от ума».

— Экой ты догадливый, — ответил Ермолов насмешливо и неопределенно, но в коротком взгляде, брошенном им на Грибоедова, была отцовская тревога.

— Я ожидал этого с того часу, когда в станице Червленной прочел объявление о розыске Кюхельбекера и услышал от полицейского курьера, что «в столице всех таких друзей-приятелей уже упрятали куда следует». А ведь Вилли мой первый друг-приятель. Ему первому я и страницы этой моей комедии читал, — с глубоким вздохом закончил Грибоедов.

— Все вы, друзья-поэты, запутались в политике, как льята в тенетах, а мне забота.

Ермолов сердито взъерошил свои густые, с сильной проседью волосы и, заложив руки за фалды мундира, стал шагать от стола к окну и обратно.

Вся его крупная фигура с приподнятыми плечами, с насупленными бровями, с развевающимися при поворотах фалдами мундира была похожа на большую птицу, готовую ринуться на врага.

Увидав в темноте окна удаляющийся огонек фонаря, с которым Филимонов ходил

по ночам, Ермолов оглядел всех сердитым взглядом и отрывисто проговорил:

— Прошу извинить, господа. Устал я... Старость дает себя знать... Прошу извинить-с... Вас, полковник Мищенко, вас, Талызин, и тебя, Александр Сергеич, попрошу несколько задержаться. Прошу извинить, — повторял он каждому, кто подходил к нему проститься. — Прошу извинить...

Когда остались только трое названных, Ермолов, подойдя к Грибоедову, положил ему руки на плечи:

— Сейчас же отправляйся к себе и уничтожь все бумаги, кои даже в незначительной степени могут тебя компрометировать. А через час-два я пришлю тебя арестовывать.

— Мои чемоданы — один во Владикавказе остался, а другие — здесь, в какой-то обозной арбе, — ответил Грибоедов. — Я из них только вот эту рукопись извлек, чтобы вам почитать, — и он еще ту же свернул в трубку страницы «Горя от ума».

Ермолов начальнически приказал:

— Талызин, немедленно отыскать арбу с грибоедовскими чемоданами и доставить Александру Сергеевичу. А вас, полковник, — обернулся он к Мищенко, — сейчас же прошу отрядить кого-либо из наших послушать, что рассказывает о петербургских делах фельдъегерь. Должно полагать, что язык его развяжется за столом у Филимонова...

Когда Мищенко и Талызин вышли, Ермолов пристально поглядел на Грибоедова, который сидел у стола со скрещенными на груди руками.

— Кто из «родных человечков» мог бы порадеть тебе в Петербурге? — спросил Ермолов. — Кто из них нынче в чести у царя?

— Новый царский адъютант Иван Федорович Паскевич, — после некоторого раздумья отвечал Грибоедов. — Император Николай, еще, будучи великим князем, величал его своим «отцом-командиром». Паскевич женат на моей двоюродной сестре. Императрица мать крестила у них девочек-близнецов...

— Ах, да! — вдруг с радостью вспомнил Ермолов. — Ведь Паскевич не раз выручал нынешнего императора в скандальных историях, когда Николай Павлович был с нами в Париже десять лет тому назад. Кроме того, Паскевич долго путешествовал и с великим князем Михаилом Павловичем, а он ныне заседает в Следственном комитете по делу четырнадцатого декабря.

— По случаю обручения великого князя Михаила Павловича с принцессой Шарлоттой, — добавил Грибоедов, — моя кузина Лизанька, супруга Паскевича, была причислена к кавалерственным дамам ордена святой Екатерины...

— Ну, как же, как же, — перебил Ермолов, — помню, сколько завистливых толков ходило в связи с этим по столице. Значит, Паскевичу не так уж трудно будет ходатайствовать за тебя и перед царем и перед Михаилом Павловичем. Я же немедленно напишу Татищеву. Авось и сей доблестный муж вспомнит кое-что, ради чего ему не следовало бы пренебречь просьбой Ермолова. — Ермолов крепко обнял Грибоедова... — Ну, ступай, ступай...

Хотя на улице было непроглядно темно и скользко от подмерзлой грязи, Грибоедов довольно скоро добрался до дома, в котором остановился. Едва он взялся за кольцо калитки, как за забором послышался женский голос, опасно спрашивающий:

— А собака у вас привязана? А то она тишком рвет...

— Иди, иди, не бойся, — узнал Грибоедов басок своего камердинера, — у нас и собака к женскому полу снисхождение, имеет...

«Экий ловелас, — подумал Грибоедов, — а Полкан и в самом деле как будто только для приличия лает!»

Открыв калитку, Грибоедов столкнулся с закутанной в длинную шаль женской фигуркой. В ночной темноте блеснули испуганные глаза, и женщина скользнула мимо, обдав его запахом нагретого кипариса — обычным запахом домовитых казачек, которые сохраняют свои наряды пересыпанными кипарисовой хвоей в кованных сундуках — скрынях.

— Ты что же это, Алексаша... — начал было Грибоедов, но камердинер взволнованно перебил:

— Ох, Александра Сергеевич, голубчик вы мой! Это Филимонова Дуняшка прибежала — приводила к вам казака, который приволок из обозной арбы ваши чемоданы. Сказывала она, будто за вами из Санкт-Петербурга фельдъегерь прискакал. Сейчас он у ее папаши находится. Филимонов подпоил его, так он бог весть какие страсти про столичную жизнь рассказывает! Бунт там противу царя будто случился. И теперь хватают направо и налево и военных и штатских. Должно, и ваших знакомцев кое-кого в крепость посадили, раз за вами в эдакую даль прислали... Господи, боже мой! Что же теперь делать?!

— Прежде всего затопи скорее печь, — приказал Грибоедов, как только вошел в занимаемую им скудно обставленную комнату. И, чтобы хоть немного успокоить мечущегося Алексашу, пошутил: — А ты, братец, все же скажи мне, откуда Дуняша знает, что наш Полкан исподтишка кусает?

— Полноте, Александр Сергеевич! До Дуняши ли теперь?

— Ну, живей неси дров, соломы или чего другого и мигом топи печь. А чемоданы придвинь сюда поближе.

Скоро в печке уже пылало яркое пламя сухого хвороста и бумаг, которые Грибоедов доставал из чемоданов и после беглого просмотра бросал в огонь.

С некоторыми так жалко было расставаться! Вот письмо от Саши Одоевского с дружеской припиской Кюхельбекера. Вот Александр Бестужев-Марлинский описывает оргию в доме князя Юсупова, описывает так, что видишь перед собою всех этих наяд, гурий, фавнов и амуров. Вот письма от близких друзей — Бегичева и Жандра. Эти страницы пестрят именами тех, кто уже, несомненно, взят под арест: Рылеев, Трубецкой, Якубович и снова Кюхельбекер, Бестужевы, снова Одоевский...

Помогая Грибоедову опустошать чемоданы, Алексаша с жалостью смотрел на летящие в огонь бумаги:

— А вдруг что-либо нужное изничтожите, Александр Сергеевич. Ведь тут и ваших писаний немало...

— У меня, Алексаша, нужных писаний, должно быть, и вовсе нет, — хмуро ответил Грибоедов. — Однако вот это клади в чемодан, — он протянул читанный в этот вечер у Ермолова экземпляр «Горя от ума», — а то может показаться даже ненатурально, чтобы у сочинителя не было его собственной пиесы. Туда же положи и эту книжицу, и вот эту.

Он подал Алексаше «Описание Киево-Печерской лавры», затем «Правила славянского языка», «Сербские песни» со словарем, «Путешествие по Тавриде» и какую-то древнюю греческую книгу, которая вовсе неизвестно почему очутилась в его походной библиотеке.

— Остальное приberi на место, — сказал, наконец, Грибоедов, отходя от печи, — а я полежу немного да подумаю над этой песенкой.

Он взял лист нотной бумаги, придвинул к постели чернильницу и, напевая сербскую песенку, начал записывать к ней аккомпанемент.

Складывая в чемодан белье и разные дорожные мелочи, Алексаша прислушивался к мотиву и словам и окончательно расстроился.

Грибоедов вполголоса, с задушевной грустью напевал:

Шлет спросить подругу розан из чужбины из далекой:
Хорошо ли ей живется? Сиротина-незабудка милу другу
отвечает!

— Кабы мне бумаги дали шире неба голубого,
Кабы дали гору перьев да чернил бы с сине море —
Исписала б сине море, да не выплакала б горя...

Когда часа через полтора появились в полной форме дежурный по отряду артиллерии полковник Мищенко, гвардии поручик дежурный штаб-офицер Талызин и фельдъегерь Уклонский, в комнате был полный порядок, в печи дотлевали последние остатки сгоревших бумаг, а сам Грибоедов в халате и мягких кавказских чувяках лежал на постели с исписанными нотами листами.

— Насилу вас отыскали, да и стучались без конца, — с деланным недовольством проговорил Мищенко.

— Виноват, господин полковник, — поднимаясь с постели, проговорил Грибоедов, — я тут распелся некстати, вот мы с Алексашей и не слышали вашего стука. Песенку я нашел сербскую, она несколько сентиментальна, но...

— Александр Сергеевич, — с искусственной строгостью перебил Мищенко, — по воле его императорского величества я должен вас арестовать. Извольте указать, где ваши вещи...

— Сделайте одолжение, полковник, — учтиво поклонился Грибоедов и показал на чемодан, стоящий у изголовья постели, и другой, невинно прислоненный к выбеленной стене.

Внешне все произошло согласно «высочайшей воле».

Все вещи Грибоедова были тщательно просмотрены, найденные в чемодане бумаги тут же зашиты фельдъегерем в отрезанный от полотенца кусок холста и припечатаны тремя печатями: полковника Мищенко, штаб-офицера Талызина и фельдъегеря Уклонского, который привез с собою казенную с двуглавым орлом печать.

Сургучные печати были наложены и на концы веревок, крепко перетянувших грибоедовские чемоданы с книгами, платьем и бельем.

Алексаша торопливо укладывал в дорожный погребец провизию и хлеб, украдкой смахивая слезы.

Грибоедова вывели на крыльцо, возле которого уже стояли часовые и еще какие-то люди с фонарями. Полкан ожесточенно лаял и рвался с цепи.

Согретый угощением Филимонова, Уклонский, под присмотром которого арестованный Грибоедов должен был быть отправлен в Петербург «прямо к его императорскому величеству», не особенно торопился с отъездом.

Но минута расставанья все же наступила.

Все столпились у возка. Ветер задувал фонари, забирался под шинели, теребил концы башлыков и лошадиные гривы. Грибоедов переходил из объятий в объятия.

Талызин, забыв о роли официального лица, которую ему надлежало выполнять в эти минуты, подскочил к Уклонскому и поднес свой крепко стиснутый кулак к малиновому носу фельдъегеря:

— Чтоб довез Александра Сергеевича цела и сохранна, а случись с ним что, — шипел он, — тебе будет от нас весьма вредно!

Полковник Мищенко, дотронувшись до портупей фельдъегеря, сказал только одно слово:

— Смо-три! — но его лицо, освещенное перемежающимся огнем фонарей, было так свирепо, что Уклонский, уже забравшийся в возок, взял под козырек и ответил так же браво, как и петербургскому начальству, которое тоже приказывало непременно доставить Грибоедова «цела и невредима».

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! Будет исполнено, не извольте беспокоиться!

Алексаша в последний раз поправил на Грибоедове белый с серебряным позументом башлык и, всхлипывая, шепотом попросил:

— Коли вас долго будут держать за караулом, уж вы вытребуйте меня к себе, Александр Сергеевич. А то я тут с тоски высохну, ей-богу, высохну... Да еще не запомните, что, кроме тех ассигнаций, которые в сюртучном кармане, запихнул я малость деньжонок в сафьяновый мешочек, в коем мыло и оподельдок положены. А в погребце баранина вареная и фляжка с ромом....

— Ну-ну, Саша, бодрись, — похлопал его по плечу Грибоедов, — мы еще повоюем.

Грибоедов поцеловал его и прыгнул в возок. Уклонский снял шапку и стал истово креститься. Обнаженная его голова светлела в темноте поблескивающей от фонарных огней лысиной.

— Смотрите, друзья, — указал на него Грибоедов, — ведь это же не фельдъегерь, а дон Лыско де Плешивос. А с таким телохранителем я буду путешествовать в свое удовольствие. Я ему наперед при вас заявляю: хочет довезти меня до места назначения живым — пусть делает то, что я хочу!

Еще и еще у возка, в котором, сняв баранью папаху, стоял Грибоедов, звучали напутственные пожелания:

— Счастливо доехать, Александр Сергеевич!

— Прощай, Грибоедов!

— Прощайте, друзья! — дрогнувшим голосом откликнулся Грибоедов.

Лошади тронули.

У ворот Алексаша догнал возок:

— Едва не забыл: тут Дуняшка овечьего сыра да лепешек на дорогу вам принесла. Покушаете, может, покуда до какой станции доскачете, — и сунул на колени Грибоедову узелок.

Когда выехали за частокол станицы, небо на востоке начинало загораться, и звезды, угасая одна за другой, как будто их задувал крепнувший предрассветный ветер, все реже проглядывали сквозь облака.

Наперерез возку, прямо по целине, скакал всадник.

— Ярмул! Ярмул! — кричал он приближаясь. — Стой! Ярмул!

Ямщик натянул вожжи.

Подскакавший горец протянул Уклонскому пакет с сургучными печатями:

— Генерал Ярмул приказал гаспадин военному министру, понимаешь?! — с седла

наклонился он к фельдъегерю. — Сам Ярмул, понимаешь?!

Грибоедов обернулся в сторону покинутой станицы. Другой всадник на высоком скакуне, в высокой папахе, в длинной бурке, неподвижным силуэтом вырисовывался на синем фоне крутого холма. Концы его бурки приподымались ветром, как большие темные крылья. Грибоедов узнал Ермолова, и сердце его забилось сильнее.

— Генерал Ярмул, — значительно произнес горец, заметив, куда устремлены глаза Грибоедова.

Выпрямившись во весь рост, Грибоедов высоко поднял свою папаху. Далекий всадник повторил этот жест и вихрем понесся в сторону горного хребта, который все яснее выступал из темноты...

7. Бельведерские супруги

После письма Константина, выражения которого так смутили Карамзина и Сперанского, переписка между обитателями варшавского Бельведера и Зимнего дворца на некоторое время оборвалась.

Сыновья Павла, с малых лет запуганные жестокостями сумасбродного отца, привыкли скрывать свои мысли и чувства не только от родителей, воспитателей и товарищей, но и друг от друга.

Неизменная подозрительность и злобная неприязнь, которые Павел питал ко всем и во дворце и за его пределами, в Петербурге и по всей России, распространялась у него и на собственных детей. И они росли замкнутые, скрытные, лицемерные, без малейшего доверия один к другому, готовые в любой момент и по любому поводу заподозрить кого угодно в измене и вероломстве.

Уступив престол Николаю, Константин вовсе не считал себя застрахованным от любых козней новоиспеченного царя.

«А вдруг братец усомнится, что я навсегда отказался от трона? — рассуждал он. — Вдруг он захочет пошарить и в моих войсках на предмет уловления крамолы? Ведь она у него после драки на Петровой площади стала навязчивой идеей».

И когда от Николая пришло письмо, в котором он сообщал, что Следственная комиссия по делу 14 декабря уже распорядилась о привозе в Петербург членов польского Патриотического общества — князя Яблоновского, маршала Мошинского и графа Ходкевича, и уверял, что «Лунин положительно из числа этой банды и разгадка его службы в Варшаве и всего рвения заключалась не иначе как в том, чтобы создать и там партию наподобие той, которая обнаружена в Петербурге», Константин хитро прищурил глаза:

— Братцу очень угодно, чтобы я признал, что и во вверенном мне Литовском корпусе водятся его «друзья четырнадцатого декабря», — сказал он жене. — Ты догадываешься, кого он, прежде всего, имеет в виду?

— Твоего адъютанта Лунина, — сразу ответила Лович.

— Почему ты догадалась? — поспешно спросил Константин.

— Пан Лунин умен, видел свет. Он едва ли не образованнейший из всех знакомых мне русских офицеров... И потом он был близок со многими из тех, кто нынче в опале. Об этом всюду говорят в городе. И вообще Лунин из таких людей, которые многое понимают...

— Что, например? — уже настороженно спросил Константин.

— Я как-то слышала его разговор с паном Яблоновским, который уверял, что

русскому народу все равно, какая над ним власть, на что пан Лунин возражал очень запальчиво.

— Что же именно он говорил? Припомни, ради бога!

— Он говорил, что вряд ли самодержавная власть более свойственна русскому народу, чем какое-либо иное государственное устройство. Что многие, кто говорит от лица русского народа, понятия не имеют об этом самом народе, а потому и вводят в заблуждение таких господ, как пан Яблоновский...

— И ты все это запомнила? — с недоверчивым удивлением проговорил Константин, глядя в непривычно серьезное лицо жены. — Что ты можешь понимать в том или ином государственном устройстве.

— Я — полька, — с гордостью ответила Лович, — и знаю, чего стоят, например, русские самодержцы.

— Мало тебе милостей было оказано покойным братом Александром! — упрекнул Константин.

— Сосчитать невозможно! — насмешливо развела руками Лович. — Дал звание княгини и еще «светлости». А за брак со мной, при всей моей светлости, отнял у тебя российский трон.

— Врешь, — покраснел Константин, — я сам отказался.

— Тебе больше ничего и делать не оставалось, — иронически улыбнулась Лович. — Ну, да об этом уже говорилось сто раз. И для бога прошу — оставим этот спор.

Константин закусил губу и, фыркая, пробежался из угла в угол.

— Лунин просится у меня на силезскую границу, — снова заговорил он.

— И молодец, — похвалила Лович, — в Силезии живут очень весело.

— Да подожди ты со своими скоропалительными умозаключениями! — рассердился Константин. — Кабы он хотел экспатриироваться, он мог бы это сделать, когда я сам предлагал ему заграничный паспорт. Однако он отказался, хотя знал, что его могут сцапать...

— А для чего он так поступает, ты не разумеешь? — лукаво спросила Лович.

— Для того, — передразнивая ее польское произношение, ответил Константин, — что, разделяя убеждения своих товарищей, он, видите ли, желает «разделить с ними их участь...»

— А я так полагаю, что есть еще причина, по которой пан Лунин вот как не хочет уезжать из Варшавы.

Константин вопросительно уставился на жену своими круглыми, почти безресничными глазами.

— Пани Потоцкой, — продолжала Лович, — очень хочется сделать из него правоверного католика потому, что наша вера, есть, прежде всего, послушание. А сделать ручным такого красивого, упрямого и смелого мужчину, как пан Лунин, заманчиво не только для влюбленной в него Потоцкой, но и для всякой другой католички...

— Пустяки болтаешь, — рассердился Константин, — чистейшие пустяки! Лунин, как и большинство этих умствующих аристократов, совершеннейший атеист.

— Однако ж, — возразила Лович, — когда они встречались с Потоцкой у меня, Лунин рассказывал нам, что в Париже он подпал под сильное влияние иезуита Гравена...

— Того самого, который за обращение в католичество графини Гагариной был

выслан покойным братом из России? — удивился Константин.

— Того самого, — подтвердила Лович. — Пани Потоцкая и сама была большой его поклонницей. Она и теперь стремится продолжать дело Гравена, привлекая в лоно католичества...

Константин зычно расхохотался.

— Ох, дура-баба! Скажи ей, что если удастся ее затея в отношении моего Лунина, то таинство это произойдет исключительно по причине ее женских прелестей. К ним Лунин настолько привержен, что согласится принять буддизм, магометанство, идолопоклонство и ваш католицизм, конечно... — И он снова захохотал.

— Ну что же, — невозмутимо пожала Лович выхолненными плечами, — по нашей религии благодать может сообщаться и вовсе неверующему, лишь бы только совершающий над ним таинство поступал согласно установленной форме.

— Хитро придумано, — сказал Константин с насмешкой. — А по-моему — ни Потоцкую, ни Лунина никакие таинства, кроме брачного, нисколько не интересуют,

— Так ведь пани Потоцкая замужем, а развода у католиков не полагается.

— Ерунда! — отмахнулся Константин. — Я всего только наместник русского царя в Польше — и то делаю здесь, что хочу. А ваш римский папа, почитающий себя наместником Христа на земле, не сможет, что ли, сделать так, чтобы Потоцкая переехала из своего замка к Лунину?

— Замолчи, замолчи! — с шутливым ужасом замахала на него Лович униженными перстнями пальцами. — Ты богохульствуешь, а за это придется отвечать мне как твоей жене.

Константин опять засмеялся.

— А зачем Лунин хочет ехать на силезскую границу? — спросила Лович.

— Он желает еще раз поохотиться на медведей, которых уже немало истребил на своем веку.

— Ты, конечно, разрешишь ему ехать туда, — твердо, как приказание, произнесла Лович.

— И разрешу. Раз он пообещает вернуться к сроку, какой я ему укажу, значит вернется. Я с ним в одной комнате спать не лягу — он меня по своим убеждениям непременно зарежет. Но, если даст слово, что не тронет, — буду спать спокойно. А братцу я его попытаюсь все-таки не отдать.

— Попробуй, — язвительно улыбнулась Лович и, тряхнув подстриженными кудрями, вызывающе посмотрела на мужа.

И Константин попробовал, было спасти своего адъютанта. Сначала он послал Николаю подробное письмо, в котором, ссылаясь на свидетелей — Опочинина и генерал-майора Жандра, присутствовавших при его разговоре с Луниным, писал:

«Я пытался узнать от Лунина, не было ли его возвращение на службу в Варшаву продиктовано желанием удалиться от обстоятельств, в которые попали его родные и друзья, на что он мне ответил, что последнее можно предположить. Я не протезирую ему и тем менее хочу его обелить, — дела и расследования покажут его виновность или невиновность. Но здесь на месте можно наблюдать, что он не занимается ничем иным, кроме службы и охоты...»

В таком же духе написал он и Опочинину, которого Николай сделал уже шталмейстером:

«Что касается до полковника лейб-гвардии Гродненского полка Лунина, то с того времени, как он здесь находится, на все поступки его обращено было

самобдительнейшее наблюдение. При всем, однако, том не открылось за ним, чтобы он заводил что-либо вредное, но даже ни малейшего подозрения...»

Подумав о том, что Опочинин непременно покажет это письмо Николаю, Константин приписал:

«Могло статься, что он, находясь в неудовольствии противу правительства, мог что-либо насчет оногo говорить, как случается сие не с одним им. Его императорское величество изволит помнить, что даже мы сами иногда, не одумавшись, бывали в подобных случаях не всегда в речах умеренными...»

Этими словами Константин хотел напомнить и самому Николаю и Опочинину, который в роли их воспитателя не раз «шикал» на них в детстве за «предерзостные» слова, которые они посылали по адресу своего деспотического родителя. Однако ни сам Опочинин, ни один из братьев не доносили об этом императору Павлу. Поэтому в конце своего письма Константин посчитал уместным напомнить, что в Тайное общество, как он слышал, входило много двоюродных и троюродных братьев Лунина и других его родственников, и донести на них Лунина было так же трудно, как и доказать их вину. Кроме того, Константин высказал еще предположение о том, что оговаривают Лунина эти родственники по злобе за то, что с переездом в Варшаву он «так давно и так решительно от них отстал...»

Как и предполагал Константин, Опочинин немедленно показал это письмо царю. Тот внимательно прочел его, побарабанил пальцами по глянцевиной, с великокняжеской короной и вензелем бумаге и с усмешкой произнес:

— Пусть, пусть этот молодчик побудет пока что в Варшаве. А вдруг его тамошнее пребывание поможет найти нити к раскрытию заговора в польских войсках. Не может быть, чтобы и там не существовало этой заразы. И напрасно брат так старается обелить своего адъютанта: ведь у нас уже имеется против него такой следственный материал, который не оставляет сомнений в его преступности.

— Его высочество великий князь Константин Павлович весьма благосклонен к полковнику Лунину, — осторожно мстя Константину за последний прием в Варшаве, заговорил Опочинин. — Лунин с молодых лет и до сего времени является неутомимым сорвиголовой и острословом. В бытность мою в Варшаве, за завтракам у его высочества, на котором присутствовали Лунин, вспоминался весьма смешной случай из того времени, когда в жаркое лето кавалергардский полк стоял в Петергофе...

— Я помню безобразия, какие тогда творились офицерами, — нахмурясь, сказал Николай. — Особенно отличались Волконский с Луниным. Эти бездельники, уже в ту пору обнаружившие все черты их преступно-легкомысленного характера, научили свою презлющую собаку по слову «Бонапарт» бросаться на любого прохожего и сваливать его с ног...

Опочинин сокрушенно покачал головой и, подождав, пока царь перестанет оглушительно сморкаться, продолжал:

— В Варшаве много смеялись, вспоминая, как Лунин, после запрещения полкового командира офицерам и солдатам купаться на виду у публики в заливе, завидя однажды коляску командира, влез в море в кивере, мундире и ботфортах. Когда коляска приблизилась, он, стоя в воде, отдал генералу честь. Генерал, разумеется, удивился и грозно спросил, что он тут делает. На что Лунин ответил: «Купаюсь, а чтобы не нарушить распоряжения вашего превосходительства, делаю это в самой приличной форме».

Опочинин хотел было улыбнуться, но, видя, что Николай только презрительно

фыркнул, нашел возможным лишь еще раз укоризненно покачать головой.

— Когда он начал служить? — помолчав, спросил Николай.

— Мне точно известно, что, будучи еще в юношеском возрасте, поступил он юнкером кавалергардского полка и вскоре за отличие в бою под Аустерлицем, в котором был убит его брат, произведен в офицеры. Затем участвовал во всех других войнах против Бонапарта и всегда отличался воинской храбростью.

— И все же это один из самых закоренелых злодеев, — проговорил царь так резко, что Опочинин остановился на полуслове, вздернул головой и вытянулся во фронт.

8. Под надежной защитой

В связи с ожидаемым привозом Грибоедова в Петербург в Следственном комитете было решено еще раз допросить тех участников Тайного общества, которые могли знать о Грибоедове больше других.

Уставив упорный взгляд в исхудалое лицо Трубецкого, Левашев спрашивал:

— точно ли Рылеев говорил вам, что он принял Грибоедова в Тайное общество? Точно ли вы говорили Рылееву, что во время бытности Грибоедова в Киеве некоторые главари Южного общества также старались о принятии его в члены оногo? Точно ли поручик Полтавского пехотного полка Михаил Бестужев-Рюмин сообщил вам, что Грибоедов не поддался их уговорам?..

Когда генерал исчерпал все свои «точно ли», Трубецкой, не опуская усталых, грустных глаз, ответил:

— Да, Рылеев однажды сказал, что Грибоедов «наш», и это надо понимать в том смысле, что Грибоедов, как и мы, желает России всяческого преуспевания, что, как и мы, кровно связан с ее достоинством и счастьем. К сему заключению мы пришли, ознакомившись с его знаменитой комедией.

— При каких обстоятельствах вы с этой комедией ознакомились? — поспешно спросил Чернышев. — Кажись, она нигде напечатана не была?

— Некоторые главы ее были напечатаны в болгаринской «Русской Талии», — медленно ответил Трубецкой, — а кроме того, по стране ходило много рукописных экземпляров.

— Как и пушкинских стишков? — задал вопрос Бенкендорф.

— Таковых мне видеть не приходилось, — И Трубецкой тем же вялым тоном продолжал: — Комедия «Горе от ума» дала нам твердое основание считать Грибоедова нашим, ибо из нее явственно вытекало отрицательное отношение ее сочинителя к крепостничеству, раболепству, невежеству и мракобесию всякого рода. Однако принятие его в Тайное общество мы отложили тем паче, что Грибоедов уезжал на Кавказ в Грузинский корпус и нам полезен быть не мог.

— Это здесь, в Петербурге, а там, у генерала Ермолова? — торопливо спросил Левашев.

Трубецкой долго молчал и только после повторного вопроса ответил:

— Генерал-майор князь Волконский как-то говорил мне, что, по его предположению, должно быть какое-то общество в Грузинском корпусе, но говорил он о том неудовлетворительно и, видимо, располагал на одних догадках.

«Экая сонная тетеря!» — подумал о допрашиваемом Левашев и, отпустив Трубецкого, велел привести Александра Бестужева, который больше и чаще других

встречался с Грибоедовым на всяких литературных вечерах.

Бенкендорф тоже с любопытством ждал показаний Бестужева.

— Когда вы приняли в Тайное общество Грибоедова? — первым спросил он Бестужева, едва тот был введен в зал, где происходили допросы.

— В члены Тайного общества я его не принимал, во-первых, потому, что он меня и старее и умнее, а во-вторых, потому, что все мы жалели подвергать опасности такой замечательный талант.

— А Пушкина не жалели? — сделал Бенкендорф еще одну попытку поймать допрашиваемого.

Бестужев с нескрываемым презрением посмотрел в нагло устремленные на него глаза:

— Я уже показывал прежде и повторяю вновь, что Пушкин никогда не был членом Тайного общества. Его блистательный талант мы берегли наипаче.

— А что составляло предмет ваших разговоров с Грибоедовым? — полюбопытствовал Левашев.

Бестужев охотно рассказал, что они, будучи оба писателями, мечтали о свободе книгопечатания, беседовали об одежде и быте русского общества и о том, что есть люди, стремящиеся к преобразованию России, но о Тайном обществе он никогда и нигде Грибоедову не говорил.

Вновь допрошенный Рылеев признался, что намекал Грибоедову на существование Тайного общества и его цели, но, поняв, что Грибоедов считает «Россию еще не готовою к перевороту и к тому же неохотно входит в суждения о сем предмете, — оставил его».

Один за другим предстали перед Следственным комитетом Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, Одоевский, Волконский и Давыдов, и все, как по уговору, всячески отрицали принадлежность Грибоедова к Тайному обществу.

Пестель отозвался к тому же полным незнанием самого Грибоедова, а Барятинский дал Комитету такой письменный ответ:

«Ежели это Грибоедов сочинитель, то я его лично не знаю, а слышал о нем как об авторе. Неизвестно мне также, член ли он Тайного общества. О другом Грибоедове никогда не слышал».

Вернувшись в крепость, многие с облегчением думали:

«Как счастливо получилось, что в Тайном обществе не торопились вносить в списки всех, кто по духу своих убеждений был даже наиретивейшим нашим сторонником!»

Начальник Главного штаба генерал Дибич получил, наконец, давно и с нетерпением ожидаемую бумагу.

«Господин военный министр сообщил мне, — писал ему Ермолов, — высочайшую государя императора волю — взять под арест служащего при мне коллежского асессора Грибоедова и под присмотром прислать в Петербург прямо к его императорскому величеству. Исполнив сие, я имею честь препроводить г-на Грибоедова к Вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находящихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же впоследствии могли бы быть отысканы оные, я все таковые доставлю. В заключение имею честь сообщить Вашему превосходительству, что господин Грибоедов во время служения его в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах

не был замечен развратным и имеет многие весьма хорошие качества».

— Знаем мы эти качества, — вслух проговорил Дибич, вспомнив доклады Уклонского и коменданта Главного штаба, на гауптвахте которого был помещен привезенный Грибоедов.

На вопросы о причинах столь задержавшейся доставки арестованного Уклонский отвечал:

— Хотя господин Грибоедов воспитания весьма благородного, но характером обладает капризным, и доставить его, Грибоедова, в столицу стоило мне немало маяты. К примеру сказать, ваше высокопревосходительство, в Москве пожелал господин Грибоедов помолиться у Иверской божьей матери, — врал Уклонский. — Как истинный, глубоко верующий христианин, я сему воспротивиться не нашел возможным. Опосля сего пожелал он поставить свечу своему святому — Александру Невскому, для чего поехали мы на другой конец первопрестольной. Отстояли там вечерню, и тут Александр Сергеевич потребовал, чтобы вез я его к Пятнице Божедомской, что в Староконюшенной...

— Что это, братец, ты все врешь! Точно не о сочинителе Грибоедове, а о каком-то странствующем схимнике или старухе богомолке рассказываешь, — перебил Дибич.

— Ей-ей, не вру, ваше высокопревосходительство. Уж где-где, а на Староконюшенной мы дольше всего задержались.

Последнее было совершенно верно. На Староконюшенной Грибоедов провел весь вечер в доме Дмитрия Бегичева — брата своего друга. К самому своему другу, Степану Бегичеву, он не заехал из опасения скомпрометировать его перед властями. Но брат тотчас же послал за ним, и беседа друзей затянулась до глубокой ночи. От Бегичевых Грибоедов узнал много подробностей о событиях 14 декабря и об арестах многих друзей и товарищей. После этого свидания Грибоедов решил, как именно следует ему держаться при ожидающих его допросах.

— Пришлось задержаться и в Твери, — рапортовал Уклонский. — Остановились мы на ночлеге на частной квартире все по его же, господина Грибоедова, капризности. На мою беду, в помещении том, — Уклонений скрыл, что «помещение» это была квартира его сестры, — оказалось фортепиано. Грибоедов так и рванулся к оному инструменту. И вот вам истинный крест, ваше высокопревосходительство, с полуночи до самого утра не отходил от него. Только стану я к нему, то есть к господину арестованному, приступать, что, мол, ехать пора, Александр Сергеевич, а он или ногой вот эдаким манером брыкнет, — Уклонский повторил энергичное движение грибоедовской ноги, — или кулаком погрозится, а сам снова к фортепиано обратится, и пальцы так и шмыгают, так и шмыгают по клавишам... — Для большей наглядности Уклонский быстро пошевелил растопыренными пальцами обеих рук.

На другой день комендант гауптвахты доложил Дибичу, что Грибоедов вовсе отказался от принятия пищи и грозит разломить свою голову о стену в случае, если его письмо к императору не возымеет желательного действия.

Это письмо было представлено несколько дней тому назад Дибичу на просмотр. Оно возмутило его не только своим содержанием, но и тоном, каким было написано. Особенное негодование вызвали у Дибича такие фразы: «По неосновательному подозрению, силой величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника, мною любимого, из крепости Грозной на Сундже, через три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом позван к генералу Левашеву. От него отправлен с обещанием скорого

освобождения. Между тем дни проходят, а я заперт. Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или поставить меня перед Тайным комитетом, лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете...»

«Одного этого письма достаточно, чтобы усомниться в благонадежности его сочинителя, — думал Дибич. — Ермолов, видите ли, его любимый начальник! Мы и до начальника доберемся, дай только время».

Генерал еще долго сидел в задумчивости, размышляя, как ему быть с этим не похожим на других обвиняемых арестантом.

Вспомнив об уверениях коменданта, что находящийся за караулом Грибоедов не прикасается к пище и «рычит, аки лев», Дибич решил сегодня же доложить в Комитете Бенкендорфу о грибоедовском письме и на всякий случай написал в углу этого послания к царю свою резолюцию:

«Объявить Грибоедову, что подобным тоном государю не пишут».

9. Неожиданный ходатай

Графа Бенкендорфа осаждали отцы, матери, жены, сестры, братья и даже дальние родственники арестованных. Каждый из них старался доказать, что близкий им человек взят по недоразумению или ошибке, что тюремное заключение грозит ему потерей физического и душевного здоровья... Все настаивали на смягчении крепостного режима, просили о переписке, свидании, передаче книг, вещей, денег...

Бенкендорф слушал почти всех с одинаковым вниманием, делая какие-то таинственные отметки на лежащих перед ним прошениях. Плачущим женщинам сам наливал воды и подносил флакон нюхательной соли. Со всеми был изысканно любезен. А от его глаз, от тонких сжатых губ и даже от его застегнутого на все пуговицы мундира на просителей веяло холодом безнадёжности.

Но в один из приемных по делам «14-го» дней перед шефом жандармов появился такой посетитель, при виде которого граф изумленно открыл рот и всплеснул руками:

— Глазам своим не верю! Булгарин, Фаддей Булгарин — в роли просителя за арестованного...

Булгарин пригладил и без того аккуратно зачесанные виски и, откашлявшись в кулак, проговорил:

— Ничего нет удивительного, ваше высокопревосходительство, если вникнуть в глубину моего ходатайства. Освобождение из-под ареста сочинителя Грибоедова полагаю необходимым не столько ради него самого, сколько ради успеха следствия, ведомого над участниками мятежа.

Густые брови Бенкендорфа поднялись к свешивающимся на его лоб прядям жестких волос:

— Что за несуразность...

— В полученной от него записке, — не стану скрывать тайность оной от вашего превосходительства, — пишет он мне, что Комитетом он оправдан начисто, а между тем караул к нему приставлен строжайший. От этих обстоятельств находится он в столь мрачном расположении духа, что желчь у него скопляется. И он может слечь или с ума спятить.

— Ну и что же? — равнодушно спросил Бенкендорф.

— Помилуйте, ваше сиятельство! К чему же это поведет? И так по столице только

и шепчутся: «Грибоедов взят, Грибоедов взят». Помимо того, сказывал мне нессельродовский чиновник, что и в дипломатическом корпусе многие чрезмерно интересуются судьбой этого писателя. А между тем...

— А между тем, — перебил Бенкендорф, — ни я, ни Левашев, ни кто другой из Следственной комиссии не допускаем мысли, чтобы этот самый Грибоедов не был заодно с шайкой, о коей ведутся розыски. По самому складу своих убеждений он, как и Пушкин, всем им родной брат,

— Допускаю и весьма даже допускаю, — с готовностью подхватил Булгарин, — но в отношении упомянутых вашим превосходительством личностей даже пути розыска должны быть избираемы особливо тонкие. И Пушкин, и Грибоедов, как, впрочем, и большая часть служителей Аполлона, доверчивы, как малые дети, и весьма уловимы на доброе не токмо к ним лично отношение, а даже когда проявление доброты узрят они в отношении кого-либо иного из обиженных судьбой. Вот хоть бы, к примеру, причина дружеского расположения ко мне со стороны Грибоедова: в бытность мою в Варшаве пришлось мне приютить у себя хрупкого, страдающего грудной болезнью юнкера гусарского полка. Был он ранен в одном из боев с Наполеоном, попал в обозе в Варшаву и умирал, как нарцисс, надломленный грозой. Уже перед самой кончиной бредил он все своей маменькой. Я ему положу, бывало, руку на лоб, а он схватит ее, прижмет к своим пылающим устам и шепчет: «Маменька, голубушка моя белокрылая, маменька!» С этими словами и отдал богу душу.

— При чем здесь, однако, этот «нарцисс»? — нетерпеливо спросил Бенкендорф.

— А при том, ваше сиятельство, что в одной из бесед моих с Грибоедовым рассказал я ему о сем казусе. Так он до слез расчувствовался и давай меня обнимать. И добрый-то я и человеколюбивый! И с тех пор так в мою доброту уверовал, что, сколько ни просили его мои враги развязаться со мной, сколько ни дулись на него за его ко мне приязнь друзья-приятели, он смеется лишь. И верит, до глубины души верит в мое сердечное к нему расположение. А коли такие люди верят в вашу дружбу — они ваши, ваши без остатку.

«Будто подслушал царя, каналья!» — вспомнил Бенкендорф, как в ответ на его восхищение результатами допроса Рылеева и Каховского царь сказал с самонадеянной улыбкой: «Эти устроители моего государства до наивности простодушны и доверчивы».

— Веру Грибоедова в искренность моей дружбы весьма важно сохранить и наперед, — с особой значительностью продолжал Булгарин. — Из этой его уверенности можно извлечь такие выгоды в дальнейшем, что...

— А что такое дружба? — неожиданно спросил граф.

Булгарин даже привскочил на месте:

— Применительно к моей с Грибоедовым или вообще изволите спрашивать?

— Применительно к вашей дружбе, — улыбнулся Бенкендорф, — по ней я вижу, что связался черт с младенцем. А вообще ты встречал ее когда-либо среди людей?

— Дружба, ваше высокопревосходительство, — проникновенно заговорил Булгарин, — есть волшебство, чародейство, еще более необъяснимое, нежели любовь. Посредством непостижимого очарования дружба представляет вам вас самих в другом лице, и вы привязываетесь к этому лицу, как к самому себе. Истинные друзья могут ссориться, гневаться один на другого, даже бранить друг друга, точно так же, как мы бываем недовольны собой, гневаемся на себя.

Бенкендорф зевнул и потянулся.

— А ты, оказывается, умеешь быть философом и моралистом, — сквозь зевоту проговорил он.

— Вот уж нет, граф. Философы и моралисты загнали дружбу в книги и так ее изуродовали, что тот, кто не видел ее в глаза, никогда не узнает. Я же испытал ее в жизни. Грибоедов, имея сатирический ум, замечает, конечно, и мои недостатки и высмеивает их нещадно. На другого я бы гневался, а с ним только посмеиваюсь. А все потому же, что вижу в моем друге себя самого...

Улыбка, которая во время речи Булгарина кривила губы шефа жандармов, прорвалась громким хохотом:

— Ты видишь себя в Грибоедове? Ну, это, батенька мой, даже для тебя слишком нагло.

— Вижу себя в лучшем издании, ваше высокопревосходительство, — хихикнул Булгарин.

— А сколько знают в городе его комедию? — после минутной паузы спросил Бенкендорф.

— Очень, очень знают. И не только подписчики моей «Северной пчелы» и образованные классы, а не так давно приезжал ко мне один купец из Милютиных лавок, заказ давал на публикацию о товарах в его лавке, так и тот завел разговор о грибоедовской комедии. «Коли в евангелии, говорит, собраны правила духовные, то „Горе от ума“ есть собрание правил житейской мудрости...»

— Очень для простого купца умно, — недоверчиво бросил Бенкендорф.

— Честью уверяю — простой купец. Я на всякий случай фамилию его записал в особую книжицу. А уж молодежь, не токмо студенческая, а и военная, — так эти просто наизусть «Горе от ума» вызубрили. Чуть что — они из этой комедии, будто пословицами, так и сыплют... Вот я и полагаю, что коли государь, проявит милость к сочинителю, имя коего сделалось столь народно, верноподданные его величества получат возможность располагать лишним доказательством мудрой доброты государя.

Булгарин особенно подчеркнул слово «мудрой» и выжидательно уставился в лицо Бенкендорфа.

Тот задумчиво крутил усы.

Подождав немного, Булгарин почел удобным напомнить о «благословенной памяти императоре Александре, который в свое время столь милостиво отнесся к Пушкину, наказав его лишь ссылкой, когда за возмутительные свои сочинения онный поэт подлежал заключению в крепости, а то и того похуже».

— А ты знаешь, — на полуслове перебил его Бенкендорф, — за Грибоедова хлопчут люди повыше тебя вот настолько, — Бенкендорф поднял руку значительно выше булгаринской головы. — И в их числе Паскевич, которого государь и теперь не перестает называть «отцом-командиром».

— Чрезмерно счастлив слышать, что высокие сановники одного со мною...

— А слышал ты, Пушкин просится в столицу? — опять перебил Бенкендорф.

— Только его здесь не хватало! — Булгарин даже хлопнул себя по коленям. Но, почувствовав недопустимость такого фамильярного в присутствии столь важной персоны жеста, вскочил с места и вытянулся: — Осмелюсь ли обнадежить господина Грибоедова возможностью получения свободы и тем самым предварить...

Бенкендорф еще раз перебил его:

— Я затребую его дело и снова пересмотрю...

Булгарин низко поклонился и спиной отступил к выходу.

10. Из любви к отечеству

В начале апреля в Варшаве были получены из Петербурга «вопросные пункты» Лунина и такое письмо по поводу его участия в заговоре 14 декабря, что Константин, не на шутку испугавшись царского гнева, поспешил показать свою готовность содействовать успеху следствия.

Секретным сообщением на имя Татищева он извещал Следственный комитет, что полковник Лунин, прочтя требуемые от него вопросы, заявил, что, судя по их содержанию, может получиться так, что виноватые останутся невинными, а невинные могут быть обвинены. Из чего он, Константин, заключает, что от Лунина можно будет узнать о таких злоумышленниках, «кои, может быть, еще высочайше учрежденному Комитету неизвестны».

После этого письма не прошло и двух недель, как Лунин предстал пред Следственным комитетом.

На обычное предложение рассказать обо всем «без утайки и наиподробнейшим образом» он ответил, что, получив в Варшаве от начальника Литовского корпуса, присланные из Комитета вопросные пункты, он в течение шести дней писал на них ответы и все, что касается его участия в Тайном обществе, изложил именно «наиподробнейшим образом»,

— Где же «наиподробнейшим»? — передразнил Чернышев. — В вопросном пункте «номер семь» высочайше учрежденный Комитет спрашивает: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей и кто способствовал укоренению в вас оного». А вы что ответили?!

— Я ответил на этот пункт то же, что могу повторить и в данную минуту, — спокойно произнес Лунин. — Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить. Укоренению же его способствовал естественный рассудок. Разве этот ответ недостаточно полный?

— Ну, а о деятельности других членов Общества вы тоже ограничитесь таким же «полным» ответом? — с колкостью задал вопрос Татищев.

Тем же спокойным и твердым тоном Лунин заявил, что об этом он и вовсе говорить не станет, ибо это против его совести и правил.

Во всем облике Лунина, в точеных чертах его лица и, в особенности во взгляде, которым он с высоты своего роста смотрел на допрашивающих его членов Следственного комитета, сквозило такое явное к ним презрение, что каждый из них чувствовал себя оскорбленным без слов.

— Удивительно, — раздраженно передернул плечами председатель Комитета, обращаясь к своим коллегам, — удивительно, как все эти господа, словно по уговору, неизменно ссылаются на свою совесть и честь. А какая, спрашиваю я вас, — обратился он к Лунину, — какая может быть совесть и честь у человека, который является членом Общества, поставившего себе целью убийство особ царствующего дома?

— Вы ошибаетесь, — с таким же презрением в голосе, какое светилось в его глазах, ответил Лунин. — Общество, к которому я принадлежал, имело совсем иные цели. Их было две. Явная — распространение просвещения и благотворительности и тайная — введение конституции.

— Вы сказали, что Тайное общество имело целью введение конституции. Пестелевой или Муравьева? — приложив руку рупором к уху, спросил «светлейший»

князь Голицын.

— А это уж должен был решить Великий собор, — ответил Лунин.

— Следственный комитет располагает сведениями о вашем пребывании в Тульчине у Пестеля совместно с капитаном Никитой Муравьевым, — сказал Чернышев. — Зачем вам понадобился этот визит?

— Это было на возвратном нашем пути из Одессы, откуда я возвращался со своим кузеном Никитой Муравьевым. Он слегка захворал в дороге, и мы решили отдохнуть у Павла Ивановича, с коим всегда находились в содружестве...

— И долго изволили у него отдыхать? — ехидно спросил Чернышев.

— Три дня...

По знаку председателя надворный советник Ивановский заглянул в лежащее перед ним «Дело № 23 о полковнике Луние» и спросил:

— Когда, где и с каким намерением был вами куплен литографический станок, за который доставлены вам через капитана Никиту Муравьева из сумм Общества шестьсот рублей, и для чего вы прислали оный полковнику князю Трубецкому?

Лунин задержал взгляд на лице Ивановского, стараясь вспомнить, где он видел его.

«Как будто бы у кого-то из приятелей Грибоедова, но у кого же именно?» — напряженно морщил он лоб,

— Не припомните? — опять с ехидством спросил Чернышев.

— Это вы о станке? — встряхнул головой Лунин.

— Ну, ясно — не об охоте на медведей, — тем же тоном ответил Чернышев.

— Об этом вы никак не могли спросить, — невозмутимо проговорил Лунин, — я хорошо знаю, какого рода зверь вас интересуется. А о станке помню отлично, что купил я его в Санкт-Петербурге лет шесть тому назад за триста семьдесят пять рублей единственно на предмет переписывания писем.

Чернышев расхохотался:

— Кого же вы изволили соблазнять таким количеством писем, что потребовалась их печатная публикация?

Лунин даже глазом не повел в сторону спрашивающего и продолжал отвечать Ивановскому:

— Деньги, отданные мне Никитой Муравьевым, были не за станок, а, вероятно, взятые им у меня в долг. Мы, как двоюродные братья, неоднократно ссужали один другого деньгами.

— Я требую, чтобы полковник Лунин дал мне ответ в следующем, — со злобной настойчивостью проговорил Чернышев, — не был ли этот станок использован во время беспорядков в Семеновском полку для печатания преступных листков, найденных в то время в казармах?

— Имея в то время большую корреспонденцию с приказчиком касательно доставшихся мне после смерти батюшки имений, я полагал этот станок удобным для сей цели; но, видя, что им не облегчить трудов моих, подарил его князю Трубецкому для употребления, на какой предмет ему заблагорассудится. По малости своей этот станок, будучи более изобретением замысловатым, нежели полезным, не мог быть употреблен к чему-нибудь касательно Тайного общества.

Слушая Лунина, Чернышев притянул к себе «Дело № 23» и просматривал лежащие в нем бумаги. Среди них отдельно прошитой тетрадкой находились письма к Лунину его приказчика Евдокима Суслина. Чернышев прочел несколько строк из

первого письма:

«Горох наш не отличной доброты, хотя он чист и бел, но не крупен, а потому продавался противу других лучших горохов дешевле... Весь хлеб с господских полей убран в гумны и амбары, и все скирды сена приведены в надлежащий порядок».

В другом письме этот же Суслин сообщал своему барину, что «проживающие в столице дворовые люди ваши, без чувствования над собой помещичьей власти, заразились негой и вольнодумством, ибо воля всех портит, а посему от них не токмо что оброка не получить, а вернувшийся в имение Михей Андреянов объявил, что, быв не в силах прокормиться с женою, отдал без всякого позволения родившегося у него сына в Санкт-Петербургский воспитательный дом».

Давал Суслин Лунину сведения и о работе в его имении «фабрички», на которой из шленской, полушпанской и русской поярковой шерсти выдывались сукна. «От продажи сукон наших нет никакой выгоды: первое потому, что они много хуже заморских, в изобилии на ярмонках доставляемых купечеством, а второе — из-за нового постановления, по которому уж и лыками, мочалами и луком торговать без высокой оплаты к сему свидетельств не можно, и ценою низкою сшибать конкурента не приходится».

Последнее письмо в тетрадке было из лунинского имения Сергиевского от священника, в котором тот поздравлял, владельца спогашением долга по имению в Московский опекунский совет в витиеватых выражениях:

«У нас пасха, но не иудейская, не освобождение израильтян из-под ига фараона, а освобождение наших душ из-под власти ада, смерти и диавола. Да возрадуется душа ваша о воскресении вашего имения, да радости вашей никто же возьмет от вас...»

Чернышев поставил у этих строк вопросительный и восклицательный знаки и, пошарив еще в остальных бумагах, сердито отодвинул все «дело».

— Ни одного письма, напечатанного на станке, в документах не имеется, — сказал он Лунину.

Тот пожал плечами:

— Видимо, Суслин держал их где-либо в другом месте, а лица, производящие обыск, не поинтересовались ими...

На повторных допросах Лунин был так же сдержан, насмешлив и скуп на показания. Только убедившись, что имена многих членов Общества известны следователям, со слов самих арестованных, Лунин заявил:

— Я ласкаюсь несомненною надеждою, что Комитет, руководствуясь справедливостью, приемлет в уважение причины, побудившие меня замедлить объявление имен моих друзей и братьев.

— Знал я вашего батюшку, — неожиданно обратился к Лунину на одном из допросов брат царя Михаил Павлович, — отличный был бригадир бабушкина веку, и я ума не приложу, как и когда у сына подобного отца мог сложиться образ мыслей, приведший его к столь плачевному положению.

Михаил Павлович вспомнил, что Константин просил его заступничестве за Лунина, и поэтому прибавил с осторожностью:

— Правда, уехав несколько лет тому назад в Варшаву, вы тем самым отошли от Тайного общества...

— Виноват, ваше высочество, — перебил Лунин, — я не ставлю себе в оправдание ни отдаление свое от Общества, ни прекращение моих с ним сношений, ибо я продолжал числиться в оном и при других обстоятельствах продолжал бы

действовать в духе оного.

Члены Комитета переглянулись между собой, а Голеищев-Кутузов даже руками развел от возмущения.

— Вот видите, ваше высочество, — сказал он Михаилу, — какого закоренелого преступника зрим мы перед собою. Недаром же его единомышленники предполагали поставить его во главе шайки головорезов, которая еще в двадцать третьем году собиралась убить благословенной памяти императора Александра Павловича. Это неисправимый разбойничий атаман, любимой мечтой которого было резать, резать и резать...

Лунин нахмурился:

— Я уже говорил о благородных мечтаниях нашего Общества. Впрочем, мне вполне понятно, почему мысль генерала Голенищева-Кутузова упорно возвращается к царевубийству: пример, видимо, еще очень свеж для его превосходительства.

Слова Лунина, как тяжелые удары, сыпались на побагровевшего генерала — участника убийства Павла I. Несколько мгновений стояла неловкая тишина.

— Я не сомневаюсь, что этому молодчику будет уготована вечная каторга... — прошипел, наконец, Голенищев-Кутузов.

— О какой «вечной каторге» может быть речь? — насмешливо спросил Лунин. — Большую часть своей жизни я уже прожил. А вообще же, к сведению вашего превосходительства, вечно только движение миров да, пожалуй, искусство...

Досталось в этот день и другому участнику убийства 1 марта 1801 года — председателю Комитета, военному министру Татищеву.

Когда он с негодованием стал упрекать допрашиваемого Николая Бестужева в том, что тот не постыдился обсуждать план убийства царя, Бестужев с подчеркнутым удивлением спросил:

— И это вы меня об этом спрашиваете? — причем сделал особое ударение на слове «вы».

Не повезло Татищеву и при допросе Пестеля.

— Вот вы все кичитесь своим образованием, сами законы, наподобие Ярослава Мудрого, сочиняете, уйму разного рода глубокомысленных книг перечитали. Я же, кроме французских романов и священного писания, никакого чтения не признаю, а между тем... — и Татищев многозначительно провел рукой по своей груди, украшенной звездами и орденами. — Нет, право, господа, — обернулся он к сидящему за столом синклиту, — я столько слышал за время допросов о разных Бентах, Констанах и прочих мудрецах, что решил ознакомиться хоть с одним из этих «авторитетов». Достал томик этого самого Детю де Трасси, о котором полковник Пестель так распространялся в своих письменных показаниях, и прочел его от начала до конца. И уверяю вас, что решительно ничего не осталось у меня в голове от этой книги....

— Но, может быть, в этом виновата не книга? — спросил Пестель.

Татищев грозно посмотрел на него, а Михаил Павлович откровенно рассмеялся. Уж очень он любил остроумие и себя считал удачливым каламбуристом.

— Нынешнему государю я не присягал уже по одному тому, — продолжал отвечать Пестель «по пунктам», — что был арестован еще до вступления его на престол.

Генерал Чернышев укоризненно посмотрел на чиновника писавшего «пункты» для Пестеля.

— Я по общему образцу, ваше превосходительство, — шепотом оправдывался тот, — а образец дан свыше...

Пестель заглянул в допросный лист и продолжал:

— Что же касается лиц, коим я мог бы приписать внушение мне вольнодумных идей, то ни таковых лиц, ни времени, когда эти мысли начали во мне возникать, определить нельзя, ибо сие не вдруг сделалось, а мало-помалу и самым для меня самого неприметным образом. Я занимался чтением политических книг со всею кротостью и без всякого вольнодумства, с одним пламенным рвением когда-нибудь быть полезным моему отечеству. Я стал понимать, что благоденствие и злополучие народов по большей части зависят от правительства, и эта уверенность придала мне еще большую склонность к занятиям политическими науками. Чем дальше, тем больше находил я несообразностей между их утверждениями и тем, что творится в жизни моего отечества. И я пришел к глубокому убеждению, что в устройстве русской жизни необходимы коренные изменения, что участь нашего народа невыносима, что рабство крестьян, принижая их до скотского существования, позорит и самих рабовладельцев, допускающих подобное положение вещей, что бюрократия стоит стеною между монархом и его несчастными подданными, скрывая от него ради собственных выгод истинное положение дел. Так я пришел к мысли о необходимости представительного правления, единственного, которое вывело бы русский народ на путь благоденствия.

— И из любви к отечеству, — язвительно перебил Левашев, — вы тщились свергнуть его в бездну революции?

— Я пришел к мысли о неизбежности революции, когда убедился в тщетности искания средств, кои помогли бы нам избежать событий, сопровождавших падение французской монархии.

Голос Пестеля потерял свою спокойную холодность, когда он продолжал:

— Каждый век имеет свои отличительные черты. Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями и действиями. Дух преобразования веет по всему миру, и нет такой силы, которая могла бы противостоять его могучему дыханию. Он заставляет клочкотать умы, горячее биться сердца. Его распространение достигло и России и охватило русские умы в несравненно большей степени, чем малочисленное Тайное общество.

Члены Комитета переглядывались в изумлении.

Генерал Адлерберг, обернувшись к чиновникам-писцам, чтобы проверить, записывают ли они и эти «преступные» слова, увидел, что все они с застывшими в руках перьями глядят на Пестеля и в их глазах, обычно невыразительных и робких, будто бы светится отблеск сверкающих глаз Пестеля.

— Виноват, — поспешно перебил его Адлерберг, — я хотел бы услышать от вас подтверждение такого факта: при вашем посещении принадлежащего вам именица вы изволили бросить в огонь оброчные книги с записью накопившихся недоимок на ваших крестьян и, глядя, как эти книги пожираются пламенем, приговаривали: «Вот так их, подальше».

Пестель провел рукой по лбу и коротко ответил;

— Да, именно так было.

Татищев пошептался о чем-то с соседями и сказал:

— В остальном дадите письменные показания.

11. Узники

По причине ледохода на Неве заседания Следственной комиссии были перенесены в комендантское помещение Петропавловской крепости.

Устав от бесконечно длящихся в последние недели допросов, барон Дибич решил зайти к коменданту в тот час, когда генерал Сукин имел обыкновение завтракать.

Барон действительно застал генерала за столом, уставленным всякой снедью, среди которой выделялся убранный стружками из хрена розовый окорок с отогнутой сверху прозрачно коричневой жирной кожей.

Кроме хозяина, за столом сидели лекарь Смирнов и священник Мысловский, каждый по своей специальности обслуживающие гарнизон и узников крепости.

Разговор, как и большая часть в эти дни разговоров во многих домах столицы, шел все о том же — о деятелях 14 декабря в связи с приближением следствия к концу и об ожидающей их участи.

Гости были очень смущены появлением Дибича, но Сукин, усадив его за стол, сказал со своей обычной грубоватостью:

— Вот не угодно ли вашему превосходительству послушать, что рассказывают сии целители души и тела о заключенных. Валяй, эскулап! — обратился он к доктору.

Тот налил себе рябиновой и, не опуская графина, вопросительно взглянул на Мыслового.

Священник закрыл свою рюмку рукой и решительно отказался:

— Больше трех не приемлю.

— Так вот-с, — заговорил лекарь, — на мое мнение — помещению в лазарет подлежат еще семеро: у Трубецкого вновь хлынула горлом кровь, Якушкин после свидания с женою и младенцем вовсе лишился сна и уже третьи сутки, как показывают наблюдающие его через оконце часовые, не переставая, шагает по каземату. Волконский не прикасается к пище и лишь настоятельно требует табаку. Лейтенант Завалишин, поначалу на редкость уравновешенный и спокойный, стал заносчив, и резок до такой степени, как будто явно домогается вывести из себя всех, кто с ним соприкасается. Розен, который еще недавно распевал свои песни так заразительно, что сторожа и караульные солдаты ему тихонько подтягивали, не только не поет больше, а перестал и разговаривать. Почернел весь, зрачки как у помешанного. Как бы не натворил того же, что покойный Булатов, раздробивший себе череп о стену каземата... Молодой Одоевский все улыбается чему-то, а между тем слезы потоком льются из его глаз и изнуряют его день ото дня. Полковник Лунин сделался схож со скелетом, однако ж, не перестает отпускать язвительные шутки и замечания...

— Да, уж это верно, — растирая на тарелке уксус с горчицей для придвинутого поросенка, подтвердил Дибич. — На шутки он горазд!

— Бестужев-Рюмин находится в крайней экзальтации, — продолжал лекарь, — то читает нараспев какие-то французские стихи, а то все пишет и быстро-быстро перелистывает книги...

— Он этими писаниями заработал себе пятнадцатифунтовые цепи на руки, — хмуро перебил его Сукин, — а книги, кои он листает столь быстро, суть не что иное, как французские лексиконы. Он, видите ли, должен писать на все вопросы следствия по-русски, а думать привык по-французски, ну, вот и переводит сам себя...

— Полковник Пестель по-прежнему все читает и пишет, — рассказывал лекарь. — Он спокоен, чего никак нельзя сказать о Каховском. Этот явно обуреваем

черной меланхолией. И письма к государю уже перестал писать. Я его однажды спросил о причине сего, а он с такой злобой ответил: «Адресат оболстил и бросил нас, как бросает проезжий сорви-голова обещенную дуру-девку...»

— Каков язычок! — возмущенно произнес Дибич, наливая себе вина.

— У Каховского все острословие отдает горечью полыни, — вздохнул Сукин, — а вот Рылеев, видимо до крайности потрясенный, больше молчит.

— И он, и князь Оболенский, которого весьма растрогало свидание с престарелым родителем, с усердием читают евангелие, — добавил Мысловский. — Гляжу я на них и будто вижу их омытые страданием души. А мичман Дивов, вовсе еще отрок, жаловался мне, что его преследует одно и то же сновидение: будто он закалывает государя кинжалом, а тот...-

— Виноват, — обтирая усы подкрахмаленной салфеткой, перебил Дибич, — а все же считаете вы, господин лекарь, возможным, чтобы находящийся в настоящее время в крепостном лазарете преступник Басаргин дал нам нынче еще одно показание?

— Ввиду открывшегося у этого больного кровохаркания полагал бы необходимым оставить его в полном покое, но поелику...

— Так распорядитесь, ваше превосходительство, — обратился Дибич к Сукину, — чтоб ровно к трем был он в Следственной комиссии. А теперь мне пора. Спасибо за угощение. Ветчина у тебя на славу. У Милютина брал? Эдакую и к царскому столу подавать не зазорно. Прощайте, господа.

В двенадцать часов ефрейтор Егорыч вошел в лазаретный каземат с железным ведром, в котором изо дня в день разносил заключенным один и тот же обед: жиденький суп с плавающими в нем «отонками» — кусками студенистых, расплзающихся ключев переваренной говядины.

— Кушать извольте, сударь, — тихо окликнул он узника, лежащего на койке с закрытыми глазами.

— Уноси все, голубчик, — слабым голосом ответил Басаргин, — а коли хочешь, съешь.

Ефрейтор видел, что щеки больного горят лихорадочным румянцем и грудь вздымается порывисто и часто.

— Хоть малость отведали бы, — предложил он еще раз.

Басаргин открыл глаза и, повернувшись на бок, проговорил неожиданно горячо:

— Ах, Егорыч, чего бы я поел с превеликою охотой — так это нашей тульчинской малины или вишен. Кабы ты только знал, какие фрукты произрастают в наших благословенных украинских садах. Особенно малина! Такой душистой, такой сочной малины нигде в мире не сыскать... — больной провел языком по воспаленным губам и замолк.

Егорыч слил обратно в ведро дурно пахнущую похлебку и, потоптавшись на месте, заявил:

— А я тебе, Николай Васильевич, раздобуду этой самой фрукты. Ей-ей, раздобуду.

Слабая улыбка тронула губы Басаргина:

— Спасибо на добром слове, голубчик, а только ничего из твоей затеи не выйдет. Не сезон теперь на ягоды.

— Нынче пасха, — возразил ефрейтор, — а к сему празднику чего только не доставляют купцы в столицу на торжище...

— У меня и деньги вышли...

Егорыч вытащил из кармана несколько медяков и подбросил их на ладони:

— А нешто это не деньги?

Басаргин опять улыбнулся:

— За такие деньги не купишь.

— Ужо раздобуду, — упрямо сказал Егорыч и вышел из каземата.

Басаргин попытался было уснуть, но припадок мучительного кашля потряс все его исхудалое тело. Синими шнурами вздулись на шее жилы, от обильной испарины рубаха прилипла к груди и спине. Он спустил ноги с койки, стараясь отдышаться. На платке, которым он вытер рот, остались красные пятна.

Еще красными от напряжения глазами он взглянул на вошедшего в камеру плац-адъютанта.

— На допрос, — приказал тот.

Басаргин с трудом натянул на себя куртку и оправил гребенкой влажные от пота волосы. Как обычно, прежде чем вести заключенного на допрос, плац-адъютант завязал ему глаза холстинной тряпкой.

— Только крепче держите меня, — сказал Басаргин, — а то я нынче могу и споткнуться.

Плац-адъютант кивнул часовым и молча вывел узника из каземата.

При выходе из куртины кто-то накинул Басаргину на голову колпак, а на плечи шинель, потом его усадили в пролетку и привезли к комендантскому дому. Здесь — снова шествие по коридорам и ступенькам, и, наконец, кто-то проговорил:

— Снимите повязку...

Басаргин открыл, было, глаза, но тотчас же зажмурил их от яркого света.

За столом, покрытым алым сукном, в мундирах и регалиях сидели члены Комитета; всех их Басаргин не рассмотрел, но надменное лицо Чернышева, торчащий чуб Дибича и сонная физиономия старика Татищева сразу запечатлелись в его еще прищуренных от яркого света глазах.

Первым с Басаргиным заговорил генерал Чернышев.

— Вам предоставляется — и в последний раз, — подчеркнул он, — рассказать о вашей деятельности и о деятельности ваших сообщников все, что вы знаете. Настоятельно советую говорить только одну сущую правду.

— В таком совете я не нуждаюсь, ваше превосходительство, ибо лжи терпеть не могу. О себе я сказал все на прежних допросах. Если я умолчал о чем-либо, что касается моих товарищей, то, видимо, сделано это по той причине, что я полагал бесчестным нарушить данное мною слово.

Чернышев стукнул ладонью по столу:

— Вы, сударь, — не смеете говорить о чести, ибо не имеете о ней ни малейшего понятия.

Басаргин презрительно пожал плечами.

— Вас закуют в кандалы! — яростно крикнул Чернышев.

От этого крика дремавший в кресле Татищев поднял голову и поспешно повторил несколько раз:

— Да, да, милый мой, в кандалы, в кандалы...

— Ваше превосходительство, вероятно, не слышали, о чем мы говорили с генералом. Насколько я заметил, вы были сильно утомлены, — с иронией проговорил Басаргин.

Татищев заерзал на месте, не зная, что отвечать. До Басаргина долетели слова, сказанные Дибичем вполголоса:

— Всех, ваше превосходительство, стращать кандалами не стоило бы...

Великий князь Михаил Павлович тоже недовольно отвернулся и, наматывая на концы пальцев выхолощенные усы, думал о Чернышеве:

«Усердие этого парвеню перекрывает границы благопристойности. Сказать брату. Впрочем, брат и сам в своем обращении зачастую походит на капрала».

— А ваши ответы на вопросные пункты Комитета вы сами писали? — спросил Дибич.

— Так точно, генерал.

— И добровольно? — задал вопрос и Адлерберг только для того, чтобы не подумали, что он вовсе безучастен к тому, что делается вокруг.

— В моем положении ни о доброй, ни о злой воле говорить не приходится, — ответил Басаргин.

Вернувшись в каземат, Басаргин кружил по нему до изнеможения. Затем, охватив руками голову, ничком упал на узкую железную койку.

Едва только голова его коснулась жесткой подушки, как ему показалось, что он проваливается в темную расщелину, которая образовалась между отходящим от него ощущением действительности и приближающимся забвением.

Но вдруг его сердце забилося от радости. Он почувствовал, что опустился в легкий, покачивающийся гамак и, оглядевшись, увидел, что рядом в палевом кисейном платье стоит жена. Она весело смотрит на него и говорит: «Вот видишь, и ничего страшного не случилось. И мы вместе, и кругом наш сад, и так много цветов и спелых ягод. Смотри, сколько малины!»

Густой, захватывающий аромат свежей малины защекотал ноздри так явно, что Басаргин мгновенно пришел в себя.

«Вот они, галлюцинации, — с ужасом подумал он, — вот она, граница безумия, к которому все мы придем, если с нами так или иначе не покончат».

— Ваше благородие, — услышал он осторожный голос, — ваше благородие...

Басаргин заставил себя открыть глаза.

В полушаге от него стоял Егорыч, а в руках у него на оловянной тарелке алела свежая малина с сизоватым налетом, кое-где переложенная зелеными листиками.

Басаргин потер руками лоб, глаза...

— Неужто и впрямь малина? — проговорил он с непонятною Егорычу робостью.

— А то как же, она самая, — ответил ефрейтор с гордостью. — Раз сказал, что добуду, значит добуду... Да и свет не без добрых людей...

Басаргин осторожно взял ягоду и только тогда поверил в ее реальность, когда почувствовал во рту ее нежную мякоть и аромат.

— Да на какие же такие средства купил ты эдакую роскошь?

И пока Басаргин с наслаждением ел ягоды, Егорыч торопливым шепотом сообщал, как он отправился со своими медяками на Сенной рынок, как, увидав в одной лавке парниковую малину, стал упрашивать отпустить ему на четвертак «хоть сколько-нисколько сей ягодки», как подняли его на смех приказчики, и как услышал его, Егорыча, сам хозяин и стал расспрашивать, для кого и для чего понадобилось старику на четвертак малины, и как, узнав все, приказал молодцам подать лукошко, в которое чего только не положил: и яблок и лимонов, а главное — малины столько, что он, Егорыч, по собственной своей воле ею и еще кое-кого из узников наделил.

Басаргину казалось, что с каждой съедаемой ягодой в него вливается все больше и больше целительной силы. Слушая Егорыча, он не замечал своих слез.

— А уж как обрадовались мои арестантики гостинцу, — рассказывал Егорыч, — особенно Михаил Павлович Бестужев! Услышав, как я эти самые фрукты получил, пришел прямо-таки в полное расстройство чувств. Обнял меня, облобызал... Чудной!.. Да, не забыть отдать вам записочки.

Егорыч полез за пазуху и, зорко оглянувшись на дверь, вытащил много раз сложенный листок бумаги.

— Вот извольте почитать. А я бегу, а то уж очень задержался у вас. Хоть нынче караул из бывших семеновцев, а все ж...

«Друг Басаргин! — писал Мишель. — Вот тебе мой перевод из Томаса Мура, коего помню наизусть по-английски. Переложи его на стихи, коли будет охота:

«О музыка, как слаб наш дар слова перед твоими чарами! Сладкая речь дружбы может быть притворна, слова любви бывают ложны. Одни только твои звуки, о музыка, услаждают наше сердце без обмана».

Нынче при кратковременной прогулке моей услышал я в отдалении звуки музыки, они-то и вызвали в моей памяти сии чудесные строки из муровской «Музыки»...»

Вторая записка была от Пестеля. В ней стояло:

«За откровенные показания нам обещают жизнь. Романов хитер. Но мы должны перехитрить его. Любыми мерами, любым путем нам надо остаться жить, чтобы продолжать борьбу во имя счастья отчизны. Истребить нас — значит надолго залить возженный нами пламень свободы. Кто подымет ее пылающий факел в ночи самодержавного бесправия и гнета? Передайте это нашим, кому только сможете...»

Ломоть плохо выпеченного ржаного хлеба прилип к оловянной тарелке. Из его податливого, как глина, мякиша Рылеев скатал несколько шариков, потом вытянул один из них в валик, из другого вылепил лошадиную голову с торчащими ушками, приладил из третьего хвост и четыре ноги и засмотрелся на свое творение.

«Вот бы эдакого скакуна Настеньке, то-то порадовалась бы...» И до боли в сердце почувствовал острое желание поглядеть на дочь, потрогать ее тугие косицы, потрепать по упруго-розовой щеке.

Он стиснул зубы, вскочил с койки и заметался по каменной клетке, сумрачной, безмолвной и холодной... Метался долго. До головокружения. Тогда снова присел на край койки и тяжело перевел дыхание. Бессильно свесившаяся рука обо что-то больно укололась. Рылеев нагнулся и в сером полумраке камеры рассмотрел обрывок проволоки, обмотанный вокруг ножки железной койки. Он стал крутить его из стороны в сторону, пока не отломал кусочек. Это занятие изменило ход его мыслей. Он стал шептать какие-то слова, фразы, рифмы... Потом схватил оловянную тарелку и кончиком проволоки стал выцарапывать буквы на ее тусклом дне.

Слабый свет белой ночи заглянул в замазанное мелом; крохотное оконце, когда Рылеев вывел последние слова своего четверостишия. Спина ныла, пальцы, державшие проволоку, свело от напряжения, но Рылеев почувствовал удовлетворение: его стихи были запечатлены на тусклом металле тарелки, которая, Рылеев знал, непременно переживет его.

Придерживая кандалы, Рылеев взобрался на табурет, поднял тарелку ближе к забеленному оконцу и с чувством прочел вслух начертанные на ней строки:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну.
За дело правое я в ней...
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну...

После нескольких дней нездоровья Рылеева вновь вывели на прогулку в крошечный дворик при Алексеевском равелине...

Здесь его ждала неожиданная радость: невысокий клен, растущий в углу этого дворика, еще немного дней тому назад едва приоткрывший набухшие почки, зеленел молодыми, блестящими листьями, уже бросающими легкую узорчатую тень. Два воробья, залетевшие в этот огражденный от всего живого, похожий на колодец тюремный дворик, перекликались на ветвях клена по-весеннему задорно и весело,

Жив-жив-жив, — щебетал один.

Жив-жив-жив, — чирикал другой.

Рылеев смотрел на них со слезами восхищения.

Нагретый солнцем весенний воздух, свежая зелень клена и жизнерадостное щебетанье этих двух сереньких птичек пробудили в его сознании, угнетенном ожиданием смертного приговора, уже оставившую его надежду на помилование.

«А что, если и вправду царь не лгал, когда обещал многим из нас, и моей Наташе, и жене Трубецкого, и отцу Оболенского, что он помилует нас, непременно помилует? Что, если Мысловский имел основание говорить: „Конфирмация — декорация“? Что, если инвалид Егорыч сказал правду, будто достоверный человек сообщил ему, что „суд — за смерть, да царь не согласен“. Что, если я точно буду жив?»

— Жив-жив-жив, — утверждали воробьи, и Рылеев с замиранием сердца, как сладчайшую музыку, слушал их незатейливое чириканье...

«Буду жив — значит, буду ходить под этим необъятным небом, буду видеть солнце, много солнца, а не проникающий в каземат мимолетный луч, буду смотреть в полные любви и нежности глаза Наташи, буду ласкать круглую Настенькину головенку; когда захочу, открывать и закрывать дверь своего жилища и уходить и возвращаться в него, сообразуясь только с моими собственными желаниями». Воображаемое вспыхнуло таким ярким светом, что Рылеев инстинктивно закрыл глаза рукой.

Зазвонили куранты. Часовой прикоснулся к плечу Рылеева:

— Прогулка кончилась...

— Иду, иду, — оглядываясь по сторонам, как пробужденный от сна, ответил Рылеев, — только позволь мне унести с собою немного этих милых вестников весны, — он сорвал несколько клейких листков и бережно понес их в свой сырой и мрачный каземат.

Оставшись один, он попытался условным постукиванием в стену передать своему соседу по каземату охватившие его радостные мысли. Но сидевший рядом с ним нетерпеливый и горячий Саша Одоевский так и не научился за все время пребывания в равелине понимать придуманную Бестужевым азбуку тюремного языка.

Тогда глаза Рылеева остановились на обломке той самой проволоки, кончиком которой он написал стихи на оловянной тарелке.

Осторожно, чтоб не разорвать нежную ткань листьев, он пунктиром выкалывал на них этой самодельной булавкой бодрящие слова:

«Шитые кафтаны горячатся и хотят присудить нам смертную казнь. Но за нас бог, царь и благомыслящие люди...»

Когда ефрейтор-сторож принес ему обед — миску пустых щей и тарелку каши, Рылеев указал ему взглядом на кленовые листья и чуть слышно попросил:

— Снеси в номер пятнадцатый Бестужеву или соседу.

Гремя деревянной ложкой о край оловянной миски, ефрейтор, тоже едва шевеля губами, прошептал:

— Положь их в миску, как опростаешь...

12. Сочинитель Грибоедов

Еще раз вызвали на допрос Грибоедова. Тщательно протерев стекла очков, он смотрел на Ивановского, слегка приподняв голову.

— Итак, — загибая угол лежащего перед ним допросного листа, говорил Ивановский, — отрицаясь от принадлежности к числу членов злоумышленного Тайного общества, вы изъяснились на прошлом допросе, что, будучи знакомы с Бестужевым, Рылеевым, Одоевским, Оболенским и Кюхельбекером, слышали от них смелые суждения в отношении правительства, в коих вы сами принимали участие, осуждали, что казалось вредным, и желали лучшего?

Грибоедов утвердительно наклонил голову:

— Я и в настоящий момент имею честь полностью подтвердить мое показание.

— Та-а-к-с, — протянул Ивановский. — В таком разе, не припомните ли вы, в чем именно состояли те суждения насчет правительства, в коих вы участвовали.

— Суждения мои касались до вещей всем известных.

— Не уточните ли вы каким-либо примером, что именно находили вы достойным осуждения в нашем правительстве и в чем собственно заключались ваши желания лучшего?

Губы Грибоедова дрогнули, лукавый огонек зажегся за стеклами его очков, но голос звучал все так же до равнодушия спокойно:

— Я, например, не одобрял подражание французским модам и отдавал преимущество русскому платью, которое и красивее и спокойнее фраков и затянутых в рюмочку талий... Я полагал также, что русское платье сблизило бы нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных.

Ивановский быстро перелистал протокол письменного показания Грибоедова.

— А для чего вам понадобилась свобода книгопечатания? — спросил он.

Лукавый огонек в глазах Грибоедова сменился злым. Тонкие пальцы, как по клавишам, пробежали по краю стола.

— Я говорил не о безусловной свободе книгопечатания, — ответил он. — Я только высказывал пожелания, чтобы она не стеснялась своенравием иных цензоров, что избавило бы нас, сочинителей, от напрасных злоключений...

— К примеру? — прищурился Левашев.

— Могу сказать и пример, однако при условии, чтобы мои слова не были занесены в протокол допроса, ибо они являются лишь пояснением к высказанной мною мысли.

— Извольте говорить...

— Ваше превосходительство не можете не знать, что моя комедия «Горе от ума» широко известна образованному русскому обществу в рукописных списках. Кабы не

цензура, по милости которой моя комедия до сих пор полностью не видит света, даже вы, господа следователи, наверное, уже ознакомились бы с ее идеями, о коих слышите только сегодня от меня. Я это сужу по роду некоторых ваших вопросов.

— К примеру? — спросил Ивановский, который помнил просьбы друзей Грибоедова и его влиятельной родни сделать все от него, Ивановского, зависящее, чтобы «вызволить Александра Сергеевича из беды». Ивановский и сам благоволил Грибоедову, но хорошо знал, что показывать этого не следует.

— Да вот хотя бы о фраках, — улыбаясь только одними своими выразительными глазами, ответил Грибоедов, — у меня сказано: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем — рассудку вопреки, наперекор стихиям».

Делопроизводитель Боровков невольно одернул фалдочки своего фрака, как два хвостика, свешивающиеся со стула, на котором он сидел.

Заметив, что Ивановский хотел еще что-то спросить, Левашев прикоснулся к его локтю и сам задал вопрос:

— Известно ли вам, что комедия «Горе от ума» была использована бунтовщиками по части приготовления умов к революционным правилам наряду с сочинениями Пушкина и Рылеева, из коих немало тоже в рукописном виде ходит по рукам?

Грибоедов выше поднял голову:

— Я писал «Горе от ума», побуждаемый духом чистейшего патриотизма. Обличая пороки, я тем самым бичую их носителей и в сем не вижу преступления ни моего, ни тех, кто признает эту мою пиесу полезной для России...

«Эк юлит!» — подумал Левашев и веско, как крупный козырь, выложил:

— А вот князь Оболенский напрямик показал, что именно по причине написания вами сей комедии незадолго до отъезда из Петербурга вы были приняты в Общество!

Сказал и, опершись обеими руками о стол, впился взглядом в лицо Грибоедова.

Быстрая тень скользнула по этому лицу. Вертикальная складка резко пересекла открытый лоб. Но через мгновение Грибоедов сделал привычное движение: снял очки, подышал на них и, протерев платком, снова надел.

— Да, да, князь прав, — согласился он, — незадолго до отъезда из столицы я действительно был принят в «Общество... любителей российской словесности». Причем от вступления даже в это Общество долго отговаривался.

— Ну, это уж излишняя осторожность, — не заметив явно саркастического тона Грибоедова, проговорил генерал. — Названное вами Общество состоит под высочайшим покровительством, и участие в нем может принести вам даже некоторые выгоды.

— Я, ваше превосходительство, — едва сдерживая смех, ответил Грибоедов, — поэзию почитаю истинным наслаждением жизни, а отнюдь не ремеслом.

13. Изыскания о злоумышленных обществах

Уже полгода длилась «работа» Следственного комитета.

Не присутствуя лично на заседаниях этого Комитета, царь был главным вдохновителем его деятельности и одним из неутомимых следователей.

Исключительно искусной игрой на доверчивости допрашиваемых, моральными пытками, физическими лишениями, чудовищными измышлениями, обманом и другими низкими и подлыми средствами царю и его помощникам-следователям удалось вырвать у заключенных пространные показания об истории Тайного

общества, его целях, составе и деятельности его членов.

И если в начале следствия многие из арестованных держались как воины, проигравшие сражение, но непоколебимо верящие в правоту дела, за которое они подняли оружие, то к окончанию процесса, предельно измученные нравственными и физическими страданиями, они жаждали только конца, каков бы он ни был...

Только один из узников Петропавловской крепости, внезапно сбросив с себя бремя нравственного угнетения, уже к концу следствия дал неожиданные, новые показания. Это был Батенков, который на первых допросах до такой степени убедительно отрицал свое участие в Тайном обществе, что в Комитете смотрели на него как на самого маловажного участника восстания.

Батенков вдруг потребовал бумаги и собственноручно написал:

«Странный и ничем неизъяснимый для меня припадок, продолжавшийся во время производства дела, унизил моральный мой характер. Постыдным образом отрекался я от лучшего дела моей жизни. Я не только был членом Тайного общества, но был самым деятельным из них... Общество сие, выключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. Ежели только возможно, я настаиваю на моем праве разделить участь моих собратий по Обществу, не выключая ничего. Болезнь моя во время следствия не должна лишать меня сего права. Цель наша клонилась к тому, чтобы ежели не оспаривать, то, по крайней мере, привести в борение права народа и права самодержавия. Ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание.

Никто из членов не имел своекорыстных видов. Покушение четырнадцатого декабря не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его в моих прежних показаниях, но первый в России опыт революции политической, опыт почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. Чем меньше была горсть людей, его предпринявшая, тем славнее для них, ибо, хотя не по соразмерности сил и по недостатку лиц, готовых на подобное дело, глас свободы все же раздавался, правда, не долее нескольких часов, но и то радостно, что он раздавался».

На этом показании Батенкова Николай сделал пометку: «Сему изуверу и каторги мало».

В одну из прозрачных белых ночей, когда воды Невы и каналов отливают перламутром, купол неба уходит в молочно-голубую высь, а его восточный и западный склоны одновременно розовеют вечерней и утренней зорями, когда фигуры редких прохожих кажутся легкими силуэтами, а тихие улицы полны таинственности, — в заседании, отмеченном номером сто сорок седьмым, было вынесено определение:

«По причине, что действия Комитета по произведенному исследованию окончены и что больше ни допросов, ни очных ставок в виду не имеется, положили несколько дней заседаний не иметь, дабы дать время канцелярии привести дела в надлежащий порядок, приготовить к прочтению и окончательному заключению записки о каждом находящемся под следствием и переписать доклад для представления его вместе со всеми письменными извещениями допрошенных и другими следующими к делу бумагами на высочайшее усмотрение его величества государя императора».

После этого постановления десять дней с утра до ночи и с ночи до утра при торопливом скрипенье канцелярских перьев пронумеровывались сотни больших и малых листов бумаги, составлялись описи рапортов, донесений, отношений, записок, предписаний, показаний первоначальных, повторных и дополнительных, вопросных

пунктов подследственному и свидетелям, повторительных вопросов и ответов «на оные...»

Все эти груды бумаг распределялись по отдельным заведенным на каждого обвиняемого «делам», образуя плотные, объемистые тетради, которые пронумеровывались и прошивались прочным шпагатом.

Концы узлов этого шпагата закреплялись темным, как спекшаяся кровь, сургучом, который, застывая, являл собою кирпично-красные контуры двуглавого орла.

В канцелярских комнатах не хватало шкафов для этих «дел», и они лежали высокими стопами на столах, скамьях и подоконниках, закрывая и без того скупо льющийся сквозь запыленные окна свет.

Изъятые из бумаг по распоряжению царя «возмутительные стихи» Пушкина, Рылеева, Одоевского, народные и солдатские песни Бестужева и Рылеева, а также многие другие революционные песни неизвестных авторов сжигались в железной канцелярской печи, и синий дымок, не вытянутый отсыревшим дымоходом, вился у открытой форточки.

Подавая царю «Донесение высочайше учрежденной Комиссии для изысканий о злоумышленных обществах», председатель Комиссии военный министр Татищев докладывал;

— Вашему величеству при назначении Комиссии угодно было напомнить, что, следуя примеру предков своих и побуждениям собственного сердца, вы лучше желаете простить десять виновных, нежели одного невинного подвергнуть наказанию.

«Нашел время, о чем напоминать, старый дурак», — подумал Николай.

— Сим правилом мудрого великодушия, — продолжал Татищев, — Комиссия постоянно руководствовалась в продолжение следствия. Но с другой стороны, члены Комиссии не забывали о возложенной на них обязанности стараться посредством точных изысканий очистить государство от зловредных начал, обеспечить тишину и порядок, успокоить граждан мирных, преданных престолу и закону.

Татищев заметил нетерпеливый жест царя и поторопился закончить доклад:

— Устремляясь к сей цели, Комиссия вникала тщательно, но без предубеждений во все обстоятельства, кои могли служить к обнаружению какой-либо отрасли мятежников. При рассмотрении оных по возможности отличала минутное ослепление и слабость от упорного зломыслия и основанием своих заключений почти всегда полагала признание самих подозреваемых или бумаги, ими писанные. Изветы же сообщников и показания других свидетелей по большей части были только пособиями для улики.

— Так-с, — протянул Николай и по привычке побарабанил пальцами по только что полученной папке, прошнурованной поверх гляцевитой обложки.

Некоторое время в кабинете стояла тишина, нарушаемая доносившимся из сада плеском фонтанных струй.

— А скажите, господа члены Комиссии, — заговорил царь, — каково ваше мнение относительно побуждений, которыми руководствовались «наши друзья» четырнадцатого, затеявая столь преступное дело?

— Не подлежит сомнению, ваше величество, — с живостью ответил Татищев, — что большинством из них руководила ложно понимаемая любовь к отечеству. Быть может, не всеми ясно сознаваема, но она, эта любовь, служила для них покровом беспокойного честолюбия...

Уловив недовольную гримасу царя, Дибич воспользовался заминкой Татищева и

поспешно dokonчил за него:

— Следствием непомерного сего честолюбия должны были быть, само собой разумеется, преступления и вред государству.

— Ясно, — буркнул Николай. — А это что? — ткнул он в другую тетрадь, тоже привезенную генералами и положенную на край стола.

Дибич с готовностью подал ее царю.

— Это, государь, список лиц, кои по данному делу предаются Верховному суду, а также роспись преступникам, приговором этого суда, осуждаемым на разные наказания.

Николай развернул тетрадь.

На первом ее листе начинался список членов Северного общества. В нем первой стояла фамилия Трубецкого, последней — шестьдесят первой — Николая Тургенева.

— Коль скоро Тургенев на призыв правительства из-за границы к оправданию не явился, — проговорил брюзгливо царь, — нечего было и помещать его в списке.

— Министр иностранных дел, — осторожно возразил Дибич, — не теряет надежды исхлопотать насильственный привоз Тургенева.

— Надеяться никому невозбранно, — иронически заметил царь. — Тургенев, по какому разряду осужден?

— По первому, государь. То есть к отсечению головы.

Николай потеревил роспись.

— Этому разряду я смягчаю наказание ссылкой в каторгу навечно. Но Тургенев, несомненно, предпочтет навечно остаться за границей, а не в каторге...

Взглянув на перечень лиц, которые отнесены к Южному обществу, Николай увидел тоже знакомые по допросам фамилии.

Несколько непонятным показалось царю отнесение к Южному обществу Пестеля:

— Вы же сами считаете его главой всего Тайного общества?

— Совершенно справедливо, ваше величество, — поспешил согласиться Татищев, — он превосходит всех других неукротимостью злобы, свирепым упорством и хладнокровной подготовкой к кровопролитию.

— Да, — подтвердил Николай, — в Пестеле сосредоточены все пороки заговорщика. Впрочем, эти пороки свойственны всем остальным преступникам.

Снова опустив глаза на список, он проговорил с презрением:

— А у «соединенных славян» все больше прапорщичьи и подпоручичьи из захудалых дворян. И среди них упрямый хохол Горбачевский...

— Ему уготована каторга навечно, — заметил Бенкендорф.

— И эти братья Андреевичи и Борисовы, — все так же брюзгливо продолжал царь, — отчаянные головорезы и мразь...

— Комитет был поражен чрезвычайным упорством и закоснелостью Борисовых, — сообщил Дибич, — и каковы господа, таковы и люди. Денщики их оказались и вовсе недоступны увещаниям судей. Пришлось даже выписать специального священника из Житомира, у которого они были прихожанами. И все напрасно.

В конце приема Бенкендорф доложил царю еще об одном «деле»:

— Вытребованный в Петербург на основании воли вашего императорского величества коллежский асессор Грибоедов, на коего пало подозрение в принадлежности к злоумышленному Обществу, по учиненному следствию оказался к сему совершенно неприкосновенным.

— Это точно? — спросил царь, поднимая указательный палец.

И, услышав категорические на этот счет заверения от других членов Комиссии, повелел:

— Освободить и приказать немедленно явиться ко мне!

Отвесив поклоны, генералы попятились к выходу.

— Мой покойный брат не ладил с твоим тезкой, — шутливо встретил царь похудевшего за время ареста Грибоедова, — мне же очень приятно, что тобой, по крайней мере, я могу быть доволен. Я был уверен, что ты не замешан в этом гнусном деле.

— Тогда зачем же меня держали полгода за караулом? — невольно вырвалось у Грибоедова.

— Это была необходимая мера. Отправляйся к месту службы... — И, видя, что глубокая морщина, пересекая бледный лоб Грибоедова, не разглаживается, добавил все с тем же наигранным добродушием: — Ты был привезен сюда в чине асессора, а возвращаешься надворным советником.

Грибоедов сухо поклонился. В его близоруких глазах за толстыми стеклами очков мелькнуло такое выражение, что напускная ласковость царя мгновенно исчезла.

О другой своей «милости» Николай сообщил уже строго официально:

— Мною отдано распоряжение о выдаче тебе двойных прогонов.

Грибоедов снова поклонился.

— А меня, ваше величество, не вздумают вернуть с полпути по мысли кого-либо из следователей?

— Ты получишь «очистительный аттестат», — холодно ответил Николай, — и к месту службы поедешь с Паскевичем, который едет на Кавказ вместо Ермолова.

— Так Ермолов... — изумленно начал Грибоедов, но Николай сделал обычное движение подбородком, которое означало конец аудиенции.

14. «Монаршее милосердие»

С приближением дня расправы над декабристами Николай проявлял все больше нетерпения и тревоги.

Досконально изучив весь следственный материал и лично услышав из уст многих участников дела 14 декабря правду о Тайном обществе, царь окончательно уверился, что силы у мятежников были большие, что беда их была только в разрозненности этих сил, что вожди Южного и Северного обществ не успели сговориться меж собой о единовременном и совместном действии... А потому победа, которую он одержал над ними, могла быть случайной и упала к его ногам, как сорванный бурей незрелый плод. И хотя арестованными по делу 14 декабря были тесно заполнены все казематы, куртины, рavelины и казармы Петропавловской крепости, все петербургские гауптвахты, дворцовые подвалы и комендатуры, крепости Шлиссельбурга, Кронштадта, Финляндии, Нарвы и Ревеля, царь все же думал со страхом:

«А что, если мы не открыли еще какой-либо ветви заговора? Что, если преступник Штейнгель в поданной мне записке говорил правду?» И он вспоминал горячие строки, написанные к нему в период следствия бароном Штейнгелем:

«Сколько бы ни оказалось членов Тайного общества или ведавших про оное, сколь бы многих по сему преследованию не лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей, разделяющих те же идеи и чувствования. Россия, которую я

имел возможность видеть от Камчатки до Польши, от Петербурга до Астрахани, так уже просвещена, что лавочные сидельцы читают уже газеты, а в газетах пишут, что говорят в Париже в палате депутатов... Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Рылеева, Пушкина, дышащими свободой? Кто не цитировал басен Дениса Давыдова... Чтоб истребить корень свободомыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование...»

«Что, если в тот момент, когда их поведут на казнь, — не оставляли царя тревожные думы, а что поведут, он знал заранее, о чем и написал еще за несколько дней до приговора в письме к Константину: „...Vierrbensuite l'execution, journee horrible, a laquelle je ne puis songer sans fremir. Je suppose la faire sur l'esplanade de la citadelle“ *note 41*, — что, если в тот самый момент вдруг откуда-то из-за угла, как тогда, появятся мятежные полки с развевающимися знаменами и неистовыми и отчаянно смелыми вожаками и снова вспыхнет бунт, на этот раз, быть может, уже роковой для меня и всей нашей семьи...»

Такое настроение царя было хорошо известно учрежденному особым царским манифестом специальному составу Верховного уголовного суда, в который вошли члены правительствующего Сената, Синода и ряд сановников во главе со Сперанским.

Председатель этого суда князь Лопухин каждодневно приватным образом совещался о ходе процесса с Бенкендорфом и Дибичем.

Выученик гатчинского двора, князь Лопухин хорошо знал не только императора Павла, но и всех его сыновей: и неуловимо-лукавого, лицемерного Александра, и сумасбродного, бешеного Константина, и кутилу-солдафона, любителя скабрёзных историй и анекдотов, самодовольного каламбуриста Михаила, знал и этого новоиспеченного царя, который всем своим поведением в отношении деятелей 14 декабря проявлял чудовищное сочетание слащавой сентиментальности голштейн-готорпского дома с жестокостью и лицемерием инквизитора.

Вынося обвинительный приговор декабристам, Верховный суд, под влиянием Лопухина, как бы держал наготове занавес, при поднятии которого Николаю представлялась полная возможность разыграть комедию милосердия со свойственным ему вероломством.

Царь был в саду возле фонтана, из которого его сын Александр вылавливал сачком веселых рыбок, когда по гравию приводящей к царскосельскому дворцу аллеи зашуршали колеса кареты; у нее на запятках стоял важный, как монумент, лакей.

Николай с утра знал, что приговор будет вынесен в этот день, и, увидев выходящих из кареты Лопухина, Дибича и Бенкендорфа, поспешно пошел им навстречу.

Царь был доволен, что суд правильно понял его желание придать расправе с декабристами строгий вид законности.

Все преступления суд разделил на три рода: царубийство, бунт и мятеж воинский. Каждый из этих родов в свою очередь разделялся на ряд преступлений, которые заключали в себе разные «постепенности».

«Постепенностей» этих в каждом основном обвинении насчитывалось по десяти и более. Так, например, «умысел на царубийство собственным вызовом» отличался от

Note41

«...Затем наступит казнь, страшный день, о котором я не могу думать без содрогания. Я предполагаю произвести ее на эспланаде крепости»

«умысла на истребление монархии возбуждением к нему других лиц». «Участие в умысле на цареубийство согласием» отличалось от участия в нем «злодерзостными словами», относящимися к цареубийству и означающими «не замысел обдуманый, но мгновенную мысль и порыв».

Участие в мятеже тоже было детально расчленено: «Личное действие в мятеже с пролитием крови и полным знанием сокровенной его цели» разнилось от участия в том же мятеже, но «без знания сокровенной цели».

«Личное действие с возбуждением нижних чинов со знанием сокровенной цели» стояло в особом пункте от «участия в мятеже с приуготовлением товарищей планами и советами» и т. п.

«Многовато все же пунктов, — поморщился царь, — но разработаны они отменно...»

— Бездна злобы и нравственного ожесточения все более и более разверзалась перед нами по мере ознакомления с деяниями подсудимых в их ужасной совокупности, — докладывал Николаю Лопухин. — Чувство возмущения и омерзения возбуждается у всех нас с такою силой, что суду начинает казаться, будто роспись определенных наказаний несправедливо мягка...

— Как мягка?! — деланно возмутился царь. — Пятерых четвертовать, тридцати одному отрубить головы, десятки в каторжные работы навечно...

Все три генерала отлично понимали, что сейчас царь начинает играть роль доброго отца, которому с болью в сердце приходится соглашаться на жестокое наказание любимых детей, и все трое, как по уговору, прикинулись, что верят его истинной печали.

— Верховный суд, — говорил Дибич, — своим приговором должен дать заслуженный урок злодеям и навеки утвердить перед россиянами ту истину, что если мрачный дух крамолы, подстрекаемый внешними примерами, может вторгнуться в Россию, то, заключенный в тесных пределах отчаянного разврата, он никогда... никогда... — Дибич замялся, придумывая, как закончить свою высокопарную речь.

Лопухин поспешил ему на помощь:

— Никогда не проникнет в недра нашего отечества, — строго и торжественно проговорил он и взглянул на Бенкендорфа, как бы спрашивая, что делать дальше.

— Однако, ваше величество, — сказал тот, — Верховный суд, в надлежащей соразмерности с разнообразием и многосложностью видов преступлений, довел число разрядов до одиннадцати...

— За исключением тех злодеяний, — добавил Лопухин, — кои, по чрезмерной их тяжести, поставлены вне всяческих разрядов.

— Это первые пятеро в росписи?

— Так точно, ваше величество. В отношении сих злодеев Верховный суд почти единогласно решил...

— То есть как это «почти»? — перебил Николай.

— Мордвинов отказался подписать смертный приговор, — смущенно ответил Лопухин.

Николай стукнул кулаком по столу.

— А делопроизводитель Следственной комиссии Боровков уверял, что имя Мордвинова было использовано бунтовщиками лишь на предмет увлечения легковерных... Так вот он каков, этот Мордвинов, — угрожающе протянул царь.

— А как отнеслись к такому приговору отцы из святейшего Синода? — спросил

он после долгого молчания, и ехидная гримаса застыла на его лице.

— Члены святейшего Синода, входящие в состав Верховного суда, — ответил Лопухин, — все единогласно заявили: «Согласуемся, что сии государственные преступники достойны жесточайшей казни, и какая будет сентенция, от оной не отрицаемся. Но поелику мы духовного чина, то к подписанию смертного приговора приступить не можем...»

— Экая неземная добродетель, — саркастически проговорил Николай и неожиданно добавил: — Впрочем, я также не могу дать согласие на подобное наказание!

Все три сановника с изумлением воззрились на царя, и у каждого невольно вырвалось:

— Как, государь?!

— Почему, ваше величество?!

— Не соизволяете, государь?!

— Ни на четвертование, ни на отсечение головы не согласен, — ответил царь и уставился неподвижным взглядом на верхушку растущего перед окном дерева. †

Генералы молча переглянулись, и каждый из них сделал вид, что вдумывается в царские слова.

Наконец, решив, что приличествующая данному моменту пауза уже может быть нарушена, Лопухин вполголоса спросил:

— Тогда расстреляние, ваше величество?

Николай отрицательно покачал головой и проговорил с раздражением:

— Расстреляние — казнь, одним воинским преступлениям свойственная...

— Я полагаю, — начал Бенкендорф, — что чем позорнее и мучительнее наказание, тем с большею пользою оно будет служить примером на будущее.

Царь быстро поднял белый с синеватым ногтем указательный палец и поднес его к самому лицу Бенкендорфа.

— Ни на какую мучительную казнь, с пролитием крови сопряженную, — отчеканивал он каждое слово, — я согласия не даю. Вникните в это хорошенько, господа генералы...

И, откинув голову к высокой спинке кресла, закрыл глаза. Темные веки подергивались, приоткрывая белки с красными жилками.

Генералы опять многозначительно переглянулись, и снова в их взглядах мелькнуло взаимное понимание. Всем было ясно, что царь продолжает разыгрывать взятую на себя роль, а им надлежит умело подхватывать его реплики.

Глубоко вздохнув, Лопухин заговорил почтительно, но придавая голосу непреклонность:

— Простите, ваше величество, хотя милосердию от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь слитые, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны.

В неподвижных чертах царского лица мелькнуло злорадное довольство, но в следующий момент лицо это опять казалось вырубленным из белого камня.

Лопухин и Дибич переминались с ноги на ногу. В облике Бенкендорфа было обычное выражение самоуверенности и наглости.

Десятого июля Верховный суд получил «Высочайший указ», в котором царь,

находя приговор о «государственных преступниках существу дела и силе законов сообразным» и «желая по возможности согласить силу законов и долг правосудия с чувством милосердия», «смягчил» наказания всем осужденным по разрядам; кому предназначалась казнь «отсечением головы», тех ожидала теперь вечная каторга с предварительным лишением чинов и дворянства. Наказание вечной каторгой заменялось каторжными работами на двадцать лет с оставлением потом в Сибири на поселении. Пятнадцатилетняя каторга заменялась двенадцатью годами, десятилетняя — восемью, шестилетняя — пятью и т. д. Милость к некоторым «преступникам» объяснялась разными причинами. Так, Вильгельму Кюхельбекеру смертная казнь была заменена вечной каторгой «по уважению ходатайства его императорского высочества Михаила Павловича», Никите Муравьеву — «по уважению совершенной откровенности и чистосердечного признания», Сутгофу — «по уважению молодости лет», князю Щепину-Ростовскому — «из уважения к мольбам престарелой матери», Анненкову — по той же причине.

Вешать Трубецкого и Волконского, носителей старинных русских аристократических фамилий, предки которых имели большее основание претендовать на российский престол, чем бояре Романовы, было зазорно даже для Николая — и не так перед своими подданными, как перед Европой, куда иностранные посланники сообщали подробности о ходе всего процесса.

Были и такие «преступники», с которыми царь соглашался поступить соответственно приговору суда, с добавлением от себя; «написать из лейтенантов в матросы», «разжаловать в солдаты и сослать в дальние гарнизоны». Решение суда о лишении обвиняемых чинов и дворянства Николай оставил в силе для всех осужденных.

О пятерых же, поставленных вне разрядов, как сказал накануне, так повторил и в указе:

«Наконец, участь преступников, здесь не поименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится...»

После этого указа никто из членов суда не видел больше смысла продолжать гнусную и жестокую комедию правосудия и милосердия.

Делая вид, что сам решает участь «поставленных вне разрядов», Верховный суд не замедлил на другой же день вынести окончательное свое постановление, которым, вместо смертной казни четвертованием, Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский были приговорены к повешению.

15. «Окончательная сентенция»

День 12 июля, как и обычные дни, царь Николай, несмотря на сильное беспокойство, начал с приема воспитателей своего сына Александра.

Первым пришел штабс-капитан Мердер. Сделав с порога установленные три шага вперед, он начал рапортовать:

— Его высочество встать изволил в исходе седьмого часу. Тягости в себе никакой не чувствовал. Читал с его преподобием отцом Вениамином священное писание. В двенадцатом часу пойти изволил в церковь, где и ее величество изволили слушать обедню. После обедни говорил его преподобие отец Вениамин проповедь о

сребролюбии и расточении.

— И его высочество слушал внимательно? — спросил Николай, неотрывно глядя на золотую иглу Петропавловского собора, воткнувшуюся в блекло-синее небо.

Мердер осклабился:

— Его высочество разочек-другой зевок подавить изволил, а затем сказал: «Отец Вениамин имел, должно быть, скучные мысли, когда говорил проповедь...»

— А каковы успехи в математике? — сохраняя все ту же неподвижность во взгляде, спросил Николай.

— Нынче за завтраком его высочество, увидя, что ножик его лежит в параллель квилке, а ложка поперек их, изволили вспомнить о предложенной ему на днях геометрической теореме, что когда две линии идут одна к другой параллельно, а третья их пересекает, то...

— Так, — перебил Николай, — следовательно, ты полагаешь, что в математических науках способности у наследника изрядные?

— Отменные, ваше величество! И не токмо что в математике. А намеренно его высочество ненароком сделался прямо-таки открывателем новых тайн в натуре...

Николай вопросительно приподнял брови.

— До отбытия в церковь, — докладывал Мердер, — наследник цесаревич, забавляясь у себя в комнатах, одевал кресла сукном, представляя себе, будто сани покрыты полстью. В сие время изволил он приметить, что как сукно с кресел, обитых шелком, сдергивал, то из них сыпались искры. Оное электрическое явление сообщено было господину Жуковскому. И он очень тому удивлялся, уверяя, что еще донныне неизвестно было, что от трения сукна с шелковой материей столь сильное электрическое действие может произойти.

— Хорошо, — чуть двинул царь подбородком, — я доволен, — и отпустил Мердера.

В распахнувшейся амбразуре дверей мелькнула черная грива на кивере стоящего на часах гренадера.

Через минуту дежурный флигель-адъютант доложил:

— Василий Андреевич Жуковский.

Поэт вошел, неслышно ступая в мягких сафьяновых штиблетах. Вся его благообразная фигура выражала кротость и смирение.

Николай, прищурившись, оглядел его с головы до ног. И вдруг нахмурился.

— Я недоволен, Василий Андреевич. Решительно недоволен.

Жуковский чуть наклонил голову набок:

— Осмелюсь узнать, чем, ваше величество?..

Николай оттопырил нижнюю губу, отчего лицо его стало отталкивающе-надменным.

— Вчера мой наследник на просьбу прочесть что-либо наизусть сказал ваши нелепые стихи. Те самые, к которым я с давних пор весьма прохладно относился. Что за слова?

Царь вздернул плечи и с издевкой продекламировал:

Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать.

— Нечего сказать, хороши воспитательные внушения для будущего государя.

— У наследника блистательная память, — робко проговорил Жуковский, — и стихи мои были им выучены еще при жизни незабвенной памяти государя Александра Павловича. Не знаю, почему они пришли его высочеству на ум...

Николай положил руку на край стола и, отбивая ею такт, размеренно проговорил:

— Воспитателю наследника надлежит ведать, какими мыслями заполнены ум и сердце вверенного ему дитяти.

Жуковский молчал, а Николай продолжал все более и более озлобленно:

— Нынче все либеральные бредни должны быть выброшены из голов, а у кого они слишком крепко засели, тем придется расстаться с ними вместе с головой.

Он как будто забыл, что перед ним стоит «его» поэт Жуковский, преобразенный сначала, по воле матери царя, Марьи Федоровны, в ее чтеца, а позже, по воле самого Николая — в воспитателя его сына.

Под конец своей гневной тирады царь почти наступал на Жуковского и вдруг заметил в обычно кротком взгляде поэта выражение горькой укоризны. Оно было так неожиданно, что Николай оборвал себя на полуслове и опустился на упругий кожаный диван.

— Постой, постой, Василий Андреевич, — заговорил он через некоторое время, тяжело переводя дыхание. — На днях мне императрица сообщила со слов своей фрейлины Россет, будто Пушкин пишет сюда к своим друзьям касательно своего желания возвратиться в столицу. И к тебе тоже писал?

— Так точно, государь.

— Что же ты не сказал мне об этом?

— Не счел подходящим ходатайствовать перед вашим величеством в такое время, когда расправа над участниками четырнадцатого декабря так зани...

— Зря, — прервал Николай, пряча последние остатки раздражения, — моим поэтам путь к моему сердцу всегда открыт.

Жуковский только вздохнул.

— Что же пишет тебе Пушкин? — помолчав, спросил царь.

Жуковский опустил руку в карман сюртука и молча протянул недавно полученное пушкинское письмо.

— Много что-то, — поморщился Николай, взглянув на несколько исписанных страниц. — Прочти вслух самое существенное.

Жуковский близко поднес письмо к глазам и медленно стал читать:

— «Вероятно, правительство удостоверилось, что я к заговору не принадлежу...»

— Ага! — с торжеством вырвалось у Николая.

— «...Каков бы ни был мой образ мыслей, — читал Жуковский, — я храню его про себя».

— Однако, — зло засмеялся царь, — если его образ мыслей таков, что он хранит его про себя, — при этих словах Николай ткнул пальцем в пушкинское письмо, — то явно, что с правительственным образом мыслей он не согласуется.

И снова в горле у него будто забила деревянная колотушка. Жуковский с письмом в опущенных руках молча ждал, пока эта колотушка перестанет стучать.

Николай вытер платком покатый лоб и встал с дивана.

— Оставь мне письмо, я подумаю о нем, — сказал он и сделал тот короткий жест, каким давал знать, что аудиенция кончена.

Едва Жуковский перешагнул порог, как, блистая золотым шитьем мундира, белыми лосинами и лаком высоких ботфорт, в кабинет вошел Бенкендорф.

— Извольте, ваше величество, подписать окончательную сентенцию Верховного суда, — заговорил он деловым тоном и подал Николаю уже знакомый протокол последнего заседания, в котором значилось дополнение:

«Сообразуясь с монаршим милосердием, в сем деле явленным смягчением казней и наказаний прочим преступникам определенных, Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорил: „Вместо мучительной смертной казни четвертованием Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому, приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить“.

Николай вскочил с дивана.

— Но офицеров не вешают, — сказал он и хотел, было, во взгляде выразить то же возмущение, которое сумел придать голосу.

В лице Бенкендорфа появилось так явно выраженное понимание лицемерия и позерства царя, что Николай невольно поспешил отвести глаза в сторону.

Бенкендорф откашлялся и продолжал доклад тем же деловым тоном.

Николай, ходивший из угла в угол, остановился и, прищутив один глаз, спросил:

— А что Михаила Сперанский, коему *nos amis du quatorze note 42* уготовили столь почетное место на случай успеха их предприятия, как он себя чувствовал при чтении сентенции?

Бенкендорф тряхнул бахромой эполет, и его жестко очерченные губы искривились:

— То есть более острой, более раскаленной жердочки для сего кохинхинского петуха, как посадить его в комиссию для определения категории наказаний преступникам, ваше величество придумать не могли.

— Ты полагаешь? — чуть-чуть касаясь пальцами усов, спросил царь, и в его глазах появился обычный самоуверенно-холодный блеск.

— Мне даже известно, что мадемуазель Сперанская жаловалась своей подруге, будто папенька ночи не спит, вое плачет...

— Даже плачет? — переспросил Николай и вдруг, присев к столу, расхохотался своим неприятным, деревянным смехом. — А помнишь, Александр Христофорович, как Наполеон при свидании с покойным братом, в Эрфурте предложил обменять ему Сперанского на какое-нибудь королевство? Хорошо, что Александр Павлович не согласился. А то, как бы мы теперь без Сперанского обошлись? А, Бенкендорф? А каков Мордвинов?! Не счел, видите ли, возможным подписать смертный приговор. Попляшет он у меня...

Бенкендорф подождал, пока царь перестанет барабанить по краю стола, и, обмакнув серебристо-белое перо в чернила, пододвинул ему окончательный приговор.

— Погоди, — царь отстранил перо, — я еще хотел поговорить относительно Пушкина.

Бенкендорф сдвинул густые брови, но тотчас же расправил их, как бы испугавшись этого самовольного движения.

— Жуковский мне покою с ним не дает, — продолжал Николай, — нынче мне письмо его читал. Вот там оно, под «Военными артикулами».

Бенкендорф чуть передернул плечами.

Note42

Наши друзья 14-го (франц.)

— Ваше величество, письма Пушкина мне известны всегда ранее, нежели господину Жуковскому.

— И что же ты думаешь?

— Полагаю, что столица не многим пострадает, ежели сочинитель продлит свое пребывание в деревне. Однако же и в приезде его сюда опасности не вижу. Особливо ежели принять во внимание, что мною в отношении надзора за Пушкиным взяты столь строгие меры...

— Отлично, — оборвал Николай по привычке не дослушивать того, что выходило за пределы заданного им вопроса, и, аффектированно подняв глаза к небу, протянул руку к перу.

Бенкендорф, заглянув через царское плечо, увидел листок бумаги, на котором был набросан карандашный чертеж дороги от Алексеевского рavelина к Кронверкской куртине Петропавловской крепости. Посреди чертежа была изображена виселица, а под ней почерком Николая фраза, из которой Бенкендорф сумел прочесть только:

«Обряд казни должен происходить по следующ...»

Остальное покрывал царский локоть.

Сделав свой четкий росчерк, царь, достав платок, внушительно, будто в трубу, высморкался.

На его покато лбу вздулись синие жилы.

— Нынче духота в столице нестерпимая, — сказал он. — Я после полудня уеду в Царское. И о ходе... — он запнулся и, дотрагиваясь концами пальцев до только что подписанного приговора, договорил: — о ходе этого слать мне сообщения с фельдъегерями ежечасно.

16. Казнь

Священнику Мысловскому по изуверскому указанию царя велено было перед казнью отпеть осужденных в их присутствии в Петропавловском соборе.

После двенадцати часов ночи он стал в последний раз обходить камеры Кронверкской куртины, куда были переведены осужденные на смерть.

Каховского нашел лежащим на койке со свесившимися почти до полу закованными руками. Наручники кандалов сдвинулись на похудевшие кисти, и, казалось, еще немного — совсем свалятся под тяжестью цепей.

— Пора? — спросил Каховский, приподнимаясь на локте.

От этого движения под распахнувшимся на груди арестантским халатом остро обозначились обтянутые желтой кожей ключицы.

— Не хотите ли в сии грозные и скорбные минуты позаботиться о спасении души, Петр Григорьевич?

— Почему грозные? — резко спросил Каховский, спуская с койки ноги, и сковывающие их кандалы звонко брякнулись о каменный пол. — Я не боюсь умереть. Преступление для блага родины есть не грех, а подвиг. И кабы царь, по причине нашей непростительной доверчивости и его сатанинской хитрости, не осквернил бы наши души изветами и враждой, мы очистились бы подвигом сим краше, нежели вашими молитвами.

Каховский, поставив локти на колени, скрестил пальцы и уперся на них подбородком. Отросшие за время заключения волосы свесились и прикрыли его лицо до стиснутых в горькой складке губ.

Мысловский сокрушенно вздохнул:

— Не тем путем утверждается благо, коим вы, Петр Григорьевич, с вашими друзьями утвердить его полагали. И вышло, как сказано в священном писании: «Поднявший меч от меча и погибнет».

Каховский приподнял голову и насмешливо проговорил:

— Сколь утешительна в таком разе для нас мысль, что тиран, по чьей воле мы идем на виселицу, сам ею кончит.

Мысловский снова глубоко вздохнул:

— Смягчитесь, Петр Григорьевич, вам легче будет.

Каховский резко дернулся на месте, и так же резко и отрывисто звякнули его кандалы.

Плац-майор Подушкин показался на пороге.

— Пожалуйте, батюшка.

Священник, поправляя на груди большой серебряный крест, вышел из камеры.

Комендант Сукин, ожидавший его в коридоре, особенно отчетливо стуча о каменный пол деревяшкой ноги, пошел впереди.

У одной из камер он остановился. Плац-майор подал ему тяжелую связку ключей.

Сукин выбрал тот, на котором стояла цифра «14», и вставил его в покрытый ржавчиной замок.

Один из солдат помог отодвинуть тяжелую задвижку.

Сукин открыл дверь.

Рылеев сидел за столом и что-то писал.

— Время-с, Кондратий Федорович, — откашлявшись, проговорил Подушкин и пропустил вперед священника.

Рылеев, склонившись над столом, быстро дописывал последние строки письма к жене:

«И в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. Ради бога, не предавайся отчаянию. Я хотел, было просить свидеться с тобою, но рассудил, чтобы не расстроить тебя...»

Сукин, пошептавшись о чем-то с Подушкиным, обратился к Рылееву:

— Времени маловато, Кондратий Федорович,

— Еще несколько строк, — отозвался Рылеев.

— Пишите, пожалуй, только извольте протянуть к солдату ноги, дабы он тем временем мог укрепить на них железа.

Рылеев так спокойно вытянул ноги, как будто был в модной сапожной лавке купца Столярова, у которого обычно покупал обувь, и продолжал письмо:

«...Прошу тебя более заботиться о воспитании Настеньки. Старайся в нее перелить свои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни. И когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой неоцененный друг, осчастливила меня... Прощай, велят одеваться. Да будет Его святая воля... Твой истинный друг К. Рылеев».

Он положил, было перо, но тотчас снова взял его и приписал:

«У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут тебе». Сложив исписанный листок, он сделал надпись: «Наталье Михайловне Рылеевой». Рука его дрогнула, и последние два слова легли криво.

Несколько мгновений Рылеев подержал пальцы на письме, словно передавая

через них последний привет жене и Настеньке.

Потом выпрямился и обернулся к Мысловскому.

— Сын мой, — сказал тот, — нуждаетесь ли вы в моем последнем увещании?

Рылеев молча взял его руку и, распахнув тюремный истертый халат, приложил ее к своей горячей груди.

— Слышишь, отец, стук моего сердца? Видишь, оно не бьется сильнее обыкновенного.

Потом вернулся к столу, отломил кусок хлеба, съел его, выпил несколько глотков воды из большой оловянной кружки и с улыбкой оглядел молчаливые фигуры священника и стражи.

— Ну, я готов...

К Пестелю, как к лютеранину, царь распорядился послать пастора Рейнбота.

Когда тот вошел в камеру, Пестель вежливо указал на край койки, сам же остался сидеть на прикрепленном к стене железном столике.

Рейнбот взглянул в строгое, от худобы потемневшее лицо узника, на его выпуклый волевой лоб и невольно вздрогнул. На этом лбу от висков к середине, где лежала глубокая поперечная морщина, шли сине-багровые рубцы.

«Неужели и в самом деле он был подвергнут пытке?» — ужаснулся Рейнбот, и приготовленные напутственные слова исчезли из памяти. Он шумно перевел дыхание.

Пестель коротко посмотрел пастору в глаза. Потом взгляд его опустился ниже, задержался на ослепительно белом, похожем на детский нагрудник воротнике и скользнул вниз по черному талару, закрывавшему Рейнбота до самых ступней.

— Господин Пестель, — начал Рейнбот, — знаете ли вы, что вас ожидает?

Пестель поднял глаза.

— Я не совсем ясно расслышал, что там решили с нами сделать, — сказал он, и Рейнботу показалось, что Пестель стиснул зубы, как бы желая подавить зевок.

— Не желаете ли вы облегчить свою душу, господин Пестель?

— Чем? — чуть-чуть улыбнувшись, с явной иронией спросил Пестель.

И Рейнбот встретил такой взгляд темных глаз, что невольно втянул голову в плечи и долго ничего не мог произнести. Наконец, он поборол охватившую его жуть.

— Верите ли вы в загробную жизнь, господин Пестель?

— Да, — сказал Пестель, — верю, что преданное земле тело мое сольется с природой, и будет жить в ней вечно, закономерно преобразовываясь из одной материи в другую.

— А душа, господин Пестель?

Пестель пожал плечами.

— *Schein note 43* — продукт материальной природы, — спокойно проговорил он.

Вдруг сдвинулся со стола, подошел к Рейнботу и положил обе руки на его узкие плечи.

— Вспомним, господин пастор, нашего с вами единове́рца Гегеля, — заговорил он: — «Если, порываясь к солнцу затем, чтобы быстрее созрело счастье человечества, вы утомились, и то хорошо. Тем лучше будете спать». А спать мне теперь хочется гораздо более, нежели жить. Уверяю вас, господин пастор.

И Рейнботу опять показалось, что Пестель крепко стиснул зубы, стараясь скрыть

зевоту.

Снова наступила долгая пауза.

В коридоре послышался отрывистый говор, громкие шаги.

Рейнбот торопливо попятился к двери.

— Простите, господин Пестель, — проговорил он вздрагивающими губами.

— Спокойной ночи, господин пастор...

Когда старшая сестра Сергея Муравьева-Апостола Катерина Бибикова просила Дибича о свидании с братом, не отчаянное горе, струившееся из ее заплаканных глаз, а распоряжение свыше о допуске к смертникам «на предмет последнего прощания по одной персоне к каждому» заставило Дибича согласиться на ее просьбу.

Катерина Ивановна, приехав в крепость ночью, с трудом двигалась за комендантом по плохо освещенному коридору. Когда привели Сергея, она обвила его шею руками и разрыдалась.

— Сергунька, милый Сергунька, — всхлипывала она. — Эти цепи... боже мой, какие синие рубцы от них у тебя на руках... О, если бы Олеся видела тебя, Сергунька!

Ее слезы капали на его кандалы, на арестантский халат.

Сергей гладил ее по голове осторожно, чтобы не смять пучки тугих локонов у висков. Потом, приподняв ее подбородок, заглянул в глубину налитых слезами глаз.

— Как ты сейчас похожа на Олеся и в то же время на Ипполита! — с грустной нежностью сказал он. — Не плачь, эти оковы не должны смущать тебя. Ни чувств, ни мыслей моих они не связывают, а потому давай лучше дружески побеседуем.

И, отводя разговор о себе, он просил ее заботиться об отце и о брате Матвее.

— А ты как же? — прерывала сестра.

— Мне ничего не нужно, Катюша.

— Почему?

— Уж такова моя натура, а вот — папа...

— Что с ним случилось, Сергунька! Он ныне совсем дряхлый старичок. После последнего свидания с тобой в крепости никуда не ездит и к себе никого не пускает...

— Ну, вот видишь, о нем тебе и надлежит заботиться...

— Почему мне никто не хочет сказать о твоей участи? Что тебя ждет, Сережа?

Сергей поглядел на нее долгим взглядом.

— Меня ждет неизвестность, — медленно проговорил он.

Катерина Ивановна прижала руки к груди и жадно всматривалась в невозмутимо спокойное лицо брата.

Стоявший к ним спиной Подушкин обернулся:

— Время расходиться, господа.

— Уже? — вскрикнула Катерина Ивановна и приникла к Сергею.

Он крепко поцеловал ее в побелевшие губы и с нежной силой отвел от себя ее конвульсивно вздрагивающие плечи.

Когда он вернулся в камеру, Мишель Бестужев, которого «неизреченною милостью» того, кто распоряжался последними часами жизни осужденных, поместили в один каземат с Сергеем Муравьевым, радостно вскочил ему навстречу.

— А я уж испугался, Сережа, что тебя нет так долго! Просто удивительно, как твое присутствие успокаивает меня. Ты это не признаешь за малодушие?

— Ты, Миша, самый отважный из нас, самый стойкий патриот, — тоном внушения ответил Сергей.

— А что я и сейчас не гоню надежды на милость? А что я, как и многие из нас, обо всем рассказал на этих проклятых допросах? — задыхаясь от волнения, спрашивал Бестужев-Рюмин.

— Мы знаем, как смело идет в бой русский солдат, — проникновенно ответил Сергей. — И кто же посмеет упрекать его в малодушии, если, будучи смертельно ранен, он застонет или закричит от боли, когда его, окровавленного, будут перекладывать на носилки? А раны душевные куда мучительней...

— Правда, Сережа. А что плачу?..

— Это твоя молодость плачет. Нервы у тебя слишком чутки... А перед народом, который увидит нас, когда нас поведут на эшафот, я уверен — ты будешь держаться так, чтобы всем было ясно, что, если для блага России, для ее свободы нужна наша смерть — мы с гордостью расстанемся с жизнью. Чтобы все видели, что не мы страшимся палача, а нас страшатся те, кто посылает нас на виселицу...

Бестужев близко подсел к Сергею и прислонил голову к его груди.

— Как ровно стучит твое сердце, Сережа! — с завистью произнес он. — Дивлюсь тебе: как ты мог вчера петь по просьбе кого-то из наших соседей по камере...

— Но если мое пение доставило некоторое удовольствие... — с улыбкой начал Сергей, но Бестужев перебил его:

— Знаешь, Сережа, о чем я думал, пока ты отсутствовал? Я вспоминал, что у маменьки в усадьбе всегда по весне бывало много цветов. И в лесу, и на полях, и в саду... И каждые цвели в свой черед: сперва ландыши, потом сирень, потом розы. Но превыше всего радовало меня цветение липы. Ландыш и роза точно для себя берегут свой аромат. Чтобы его вкусить, надо приблизиться к этим цветам, сорвать их... А вот когда цветут липы, — весь воздух напоен их сладостным благоуханием. Сидишь, бывало, у маменьки, слушаешь ее чудесную игру на клавикордах, а в открытые окна струится этот пленительный запах цветущей липы. Закроешь в упоении глаза — и начинает казаться, будто сами звуки благоухают липовым цветом...

— И у нас в Бакумовке весна прекрасна, — задумчиво произнес Сергей, — небо синее, как над Адриатическим морем, а под ним цветущая земля. Цветут яблони, вишни. Цветет Олесина любимая белая сирень. За рекой цветут душистыми полевыми цветами луга, а над ними вьются мохнатые шмели и мотыльки. Птицы в Бакумовке поют целыми капеллами.

Бестужев смотрел на Сергея затуманенными, широко открытыми глазами.

— Почему это мне вдруг вспомнился запах липы? — напряженно морща лоб, спросил он. — В самом деле, зачем я вдруг заговорил об этом?.. Ведь вот беда, никак не могу вспомнить.

Сергей стоял у стены, закинув голову и заложив руки за спину.

— Вспомнишь, Миша, непременно вспомнишь, — ответил он, не меняя позы.

— И вспомнил, — радостно встрепенулся Бестужев через несколько минут, — вспомнил, Сережа. Вот так же точно, как у маменьки в деревне самый воздух бывает напоен липовым цветением, так и теперь я во всем и всюду слышу запах жизни — сладостный и обольстительный. — Он вытянул перед собою руки и продолжал, прерывая сам себя глубокими вздохами: — Вот-вот, ужели ты не чувствуешь его? Он забился во все углы каземата... Он льется сквозь оконную решетку... Это от него все приобретает столь манящий свет и очертания. Видишь плесень на стене? Мне она представляется кружевным чудеснейшим узором, потому что она не что иное, как живое растение, грибок. Дай мне твою руку, — она такая теплая, живая. Да, да, она

еще живая и потому прекрасна.

Он схватил руку Сергея и прижимался к ней то щекой, то губами, то проводил ею по своим плечам и жадно втягивал ее запах.

— Ты что-то шепчешь, Сережа? — вдруг поднял он голову.

Муравьев смотрел на него ласковыми темно-синими глазами.

— Я вспомнил Ламартина, Миша. Вот послушай:

Qu'est ce done que la vie
Pour valoir qu'on la pleure?
Un soleil, une heure et puis une heure.
Ce qu'une nous apporte une autre nous enleve...
Reipos, travail, douleur et quelquefois un rev.
(Жизнь... она не стоит слез и сожаленья,
День за днем уходит, гаснет на лету...
Все, что жизнь нам дарит, унесут мгновенья:
Отдых, труд, страданье и порой мечту.)

К ним в камеру Мысловский не вошел.

Был уже второй час ночи, и надо было торопиться.

Когда все пятеро сошлись в коридоре, Мысловский молча обернулся к конвою, составленному из солдат Павловского гвардейского полка. Они раздвинулись, и пятеро представших друг перед другом, обманутых, истерзанных допросами, оговорами и изветами, всё забыли, кроме одного горячего желания: согреть последние минуты жизни друг друга.

— Прости, Кондратий, за то, что на допросе... — чуть слышно проговорил Каховский, когда Рылеев первый поцеловал его в дергающиеся губы.

— Молчи, молчи! — остановил его Рылеев. — Вы меня простите, братья, — со слезами в голосе громко просил он, обращаясь ко всем... — О, сколь счастлив я, что связующие нас узы любви, оборванные царем, вновь соединены! Не будьте грустны, Мишель, — ласково, как ребенка, ободрил он Бестужева-Рюмина.

Подушкин развернул принесенный узел и один за другим вытащил из него пять длинных небеленого полотна саванов. Солдаты помогли натянуть их на пятерых, скованных железом. Такие же негнущиеся белые колпаки надели им на головы.

— Последний маскарад, — пошутил Сергей Муравьев.

— Костюмы национальных героев, — с сарказмом откликнулся Пестель.

Подошел Сукин. Солдаты сгрудились вокруг пятерых в саванах и обнажили сабли. Один за другим, окруженные конвоем, двинулись осужденные по гулкому коридору к выходу.

Июльская ночь была тиха и задумчива. Кое-где в мутно-синей выси висели едва заметные звезды. Прошел дождь, и от земли поднимался белый туман.

— Больно уж сумно, братцы, — тихо проговорил молодой солдат, — душа стынет, на них гляючи, — он указал влажными глазами на конвоируемых.

— И то дрожь пробирает, — хмуро сказал другой.

Шагающий сбоку унтер насторожился, зорко оглядел конвойных и увидел росинки слез на нескольких безусых лицах...

В собор за Мысловским, тяжело прогремев цепями о ступени каменного крыльца, вошли только пятеро. Стали близко один возле другого. Сквозь холст саванов

чувствовали живую теплоту друг друга и ею инстинктивно хотели согреть и успокоить свои души, потрясенные надвигающимся концом.

— «Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть», — молился Мысловский, и его слова отдавались в вышине темного купола дрожащим эхом.

— Да, да, страх велик и трепет неисповедим, — шептал вслед за священником Михаил Бестужев.

Услышав рядом с собой тихий вздох, Пестель, обернулся. Рылеев, устремив вверх блистающие невылившимися слезами глаза, шептал что-то с глубоким проникновением.

— Вы мне? — тихо спросил Пестель.

— Ведь Христос своею смертью смерть попрал, — ответил Рылеев. — Распятый, он стал сильнее живого...

— Там легенда, Рылеев, а за нас — жизнь, — твердо произнес Пестель.

— Пусть религия останется утешительницей для моей жены, — прерывисто проговорил Рылеев. — Пусть она не даст ей сломиться под налетевшей бурей несчастья...

Мысловский слышал их тихий разговор и продолжал горячо молиться:

— «Иже по плоти сродницы мои, и иже по духу братие и друзи — плачите, воздохните, сетуйте, ибо от вас ныне разлучаются...»

«О них-то многие вздохнут и заплачут, — с тоскою думал Каховский о своих товарищах. — А вспомнит ли кто обо мне?»

И ярко, как ни разу за все пребывание в крепости, вспомнилась ему Софья Салтыкова. Легкомысленная и пылкая, кротко послушная отцу и все же решившаяся было против его воли тайно обвенчаться с Каховским, такая нежная в начале их любви и непонятно коварная, когда, под влиянием родных, вдруг отдала свою руку другому.

«Вспомнит ли она меня когда-нибудь? Или этот барон Дельвиг вовсе вытеснил меня из ее маленького сердца? Вот уж кто вспомнит Каховского непременно — так это дворовый человек брата, когда получит отказанное ему наследство».

«Наследство» это состояло из вещей, помеченных накануне в списке плац-майором Подушкиным: «Фрак черный суконный. Шляпа пуховая круглая, жилет черный суконный, косынка шейная черная, ветхая. Рубашка холстинная и сорок один рупь и пятьдесят копеек денег».

Отрывистый, короткий смех вырвался из сжатых губ Каховского.

— Чему вы, Каховский? — спросил Сергей Муравьев.

Каховский посмотрел в его мужественное лицо, в полные участия синие глаза.

— 'Так, вспомнилось нечто смешное... — И мысленно добавил: — «И о тебе, Сергей Иваныч, вспомнят с нежностью и слезами умиления. И имя Рылеева будет сиять, как неугасимая лампада. Лишь я, лишь один только я сгину, не оставив следа ни в чьем сердце...»

И сквозь туман тоски снова манящим огоньком мелькнула Софи Салтыкова.

«Скорей бы уж конец!» — коротким, полным страдания вздохом Каховский как будто развеял этот все еще любимый образ.

А Мысловский поспешно доканчивал молитву «на исход души»:

— «Души рабов твоих: Кондратия, Петра, Павла, Михаила и Сергея, от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободы, остави прегрешения им, яже от юности ведомая и неведомая, в деле и слове... Да отпустится от уз плотских и греховных и

приими в мире души рабов сих: Сергея, Кондратия, Михаила, Павла, Петра... И покой... и покой их...»

Голос у Мысловского прервался. Он беззвучно прошептал последние слова молитвы. Всклипнул и вытер слезы широким рукавом черной рясы. Потом несколько раз подергал за цепь, на которой висел нагрудный крест, и первым двинулся из собора.

За ним пошли только что заживо отпетые. Цепи их тяжелых кандалов бряцали о каменный церковный пол своеобразным зауспокойным перезвоном.

К пустырю у крепостного вала, где стояла виселица, подошли, когда небо на востоке стало краснеть, как будто оно заливалось румянцем жгучего стыда.

Стыдно было небольшой толпе народа молча смотреть на то, что должно было совершиться на деревянном помосте.

Мучительно стыдно было гвардейскому полку, который привели присутствовать при казни.

Стыдно, до боли стыдно было музыкантам играть военный марш.

Люди боялись встретиться взглядом с осужденными и, потрясенные тем, что творилось у них на глазах, считали страшные минуты...

— А все же, — Рылеев весь подался в сторону Сенатской площади, — все же вот там прогремел вешний гром российской вольности. Пусть мы обречены ей в жертву, — глаза его просияли, голос зазвенел, — грядущие поколения довершат начатое нами...

Четверо его товарищей тоже обратили взоры туда, где в прозрачном воздухе рассвета проступали контуры памятника Петру. Над ним, как паруса при штиле, замерли легкие облака, едва позолоченные лучами еще невидимого солнца...

Какой-то человек, плотный и коренастый, подошел к виселице и поставил скамью между двух серых с надрубками топора столбов.

Вскарабкавшись на нее, он поплевал на свои широкие ладони и стал что-то делать с висящими на перекладине веревочными петлями. Петли, покачиваясь, касались одна другой, а угловатый человек, гнусава и подергиваясь, бормотал какие-то слова. Он был нерусский, и его никто не понимал.

Михаил Бестужев-Рюмин остановившимся взглядом смотрел на виселицу.

— *Ultima ratio regis* *note 44*, — кивая на нее, проговорил с усмешкой Пестель.

Наконец, палач спрыгнул со скамьи на взрыхленную возле эшафота землю, глубоко уйдя в нее рыжими сапогами.

К нему, пригнувшись в седле, подскакал петербургский генерал-губернатор Голенищев-Кутузов. Выразительно проведя рукой по шитому вороту своего мундира, он спросил:

— Можно?

Палач утвердительно кивнул головой.

Голенищев прищпорил коня. Через минуту он с трудом сдержал его возле генерала Чернышева, тоже гарцевавшего верхом на пегом жеребце.

— Дайте знак начинать, генерал! — приказал Голенищев-Кутузов.

Чернышев поднял саблю. Забил барабан... Мысловский стал подносить к губам осужденных крест.

— Вы точно разбойников сопутствуете нас на казнь, — сказал ему

Note44

Последний довод властителя (лат.).

Муравьев-Апостол.

— Это... вы-то... разбойники!.. — не в силах больше сдерживать слезы, прерывисто ответил Мысловский.

Бестужев замигал покрасневшими веками, но Сергей приласкал его своим лучистым взглядом, и Мишель шумно, как воду, проглотил подступившие рыдания.

Когда, спотыкаясь в длинных до пят саванах и цепях, приговоренные медленно взошли на нестроганный помост и стали на доску под петлями, они еще раз простились сначала глазами, а потом, повернувшись, коснулись друг друга связанными за спиной руками.

— Натяните им на глаза колпаки! Доски, доски аспидные с надписями повесьте! — командовал генерал-губернатор.

— Ну, это уж как будто бы ни к чему, — пожал плечами Сергей.

Но широкие шершавые ладони поднялись над головами приговоренных, и белые колпаки закрыли их лица, озаренные каким-то необычайно прекрасным, подвижным и лучистым, как северное сияние, светом.

Солдат с лицом белым, как мел, подал палачу пять досок с надписью «цареубийцы», и эти ярлыки повисли у них на груди.

— Рылеев умирает как злодей! Да помянет его Россия! — прокатился по эспланаде крепости зазвучавший былой силой голос Рылеева.

— Барабанщики, дружней! — надрывно закричал Чернышев.

Рассыпавшаяся барабанная дробь заглушила вопль ужаса, вырвавшийся у всех, кто смотрел на виселицу,

Над рухнувшей в яму доской в предсмертных конвульсиях вздрагивало два тела.

Чернышев и Голенищев взапуски подскакали к эшафоту и заглянули в яму. На дне ее шевелились трое остальных.

— Веревки оборвались, что ли? — хрипло спросил Чернышев.

— Никак нет, — лязгая зубами, ответил плац-майор, — они должно, отсырели... и тела соскользнули...

— Поднять и повесить!

— Немедля вешать! — распоряжались генералы.

При помощи солдат из ямы выбрались трое. К их саванам прилипли черные комья земли. Белый колпак на лице Рылеева алел яркими пятнами крови. Кровь струилась и за ухом у Каховского.

— Голенищев! — раздался из-под колпака надломленный страданием голос Рылеева. — Дайте палачу ваши аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз.

Голова Каховского судорожно задергалась под колпаком:

— Передай, подлец, нашему тирану, чтобы он радовался: мы погибаем в мучениях...

— Вешайте! Вешайте же их скорее! — бешено завизжал Чернышев.

У Сергея Муравьева — колпак сдвинулся набок и были видны сведенные судорогой боли губы. Волоча надломленную при падении ногу, он вместе с Каховским и Рылеевым с трудом снова поднялся на эшафот.

— Бедная Россия! И повесить-то у нас не умеют порядочно, — с горестной иронией произнес он.

— Нам даже и умереть не удалось сразу, — как вздох, прозвучали последние слова Рылеева.

Палач дернул доску, и еще трое забились и замерли в затянувшихся петлях...

Когда солнце высоко поднялось, над городом и по улицам разлился голубой июльский день, петербуржцы читали расклеенный по столице манифест:

«Дело, которое мы считали делом всей России, окончено. Преступники восприняли достойную их казнь. Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди него таившейся...

Туча мятежа взошла как бы для того, чтобы потушить умысел бунта. Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную... Горестные происшествия, смутившие покой России, миновались и, как мы уповаем, миновались навсегда и невозвратно...»

Люди читали и перечитывали строки манифеста и сумрачно отходили от него, не обмолвясь ни словом.

17. По бескрайним трактам

С лета 1826 года покатили через Урал в Сибирь небывалые в тех местах кибитки с опущенными кожаными и холщовыми пологами в сопровождении фельдъегерей и жандармов.

Большие станции кибитки эти проскакивали без остановок. Ямщики торопливо меняли у застав лошадей, и возки мчались дальше, пряча в клубах пыли своих таинственных седоков.

Вслед за этими кибитками, еще с осени, тоже сломя голову, понеслись уже не казенные возки, а собственные экипажи, в которых сидели молодые грустные женщины, хрупкие и изнеженные, но, к удивлению видавших виды сибирских ямщиков, не желавшие передохнуть лишнего часа под кровлей почтовой станции даже в темные осенние ночи.

От начальства строго-настрого запрещалось подходить не только к седокам в казенных кибитках, но и к этим секретным «барыням», скачущим им вослед. Но, как ни строги были начальнические указы, они нарушались по всему пути таинственных путешественников.

Начиная от вотяцких сел, возки окружали белокурые женщины в берестовых, обшитых кумачом головных уборах, позвякивающих серебряными монетами; приподняв полог, вотячки с поклоном подавали проезжающим кто вареного гороху, кто квадраты сотового меда или каравай хлеба, обернутый полотенцем домотканного полотна с китайковой обшивкой по краям. Иные вынимали из-за пазухи печеные яйца, другие подавали еще теплые конопляные лепешки и шаньги.

Расталкивая женщин, к возкам подходили крепкие, коренастые вотяки, высыпали из кисетов бурый табак и молча протягивали его сидящим в глубине кибиток путникам.

О проезде «пострадавших от буйства духа» прослышали семейские и старожильские раскольники, выселенные в Сибирь еще при Екатерине.

В длиннополых кафтанах, длинноробордые и благообразные, встречали они повозки декабристов земными поклонами. Если удавалось заполучить изгнанников в просторные чистые избы, угощали перво-наперво жарко натопленной баней, потом потчевали усердно «чем бог послал». А «посланного богом» было вдоволь.

Столы заставлялись залитым жиром янтарным студнем, утками и гусями, жареным омулем, налимами и карасями, горячими, «с пылу», пельменями, солеными

грибами и всякого рода сушеной, моченой и пареной ягодой.

Чтобы фельдъегери не торопили с отъездом, ублажали их — кто шкуркой подлеморского соболя, кто чикойской темноцветной белкой, кто бронзово-пегой выдрой.

На дорогу насыпали гостям кедровых орешков, нарезали пироги с разной начинкой, рассовывали между свертками остуженных куропаток и рябчиков. А старухи подавали в тряпицах «пользительные» лекарственные травы и злаки — узелки облепихи, дикой яблони и бадана. Ни денег, ни какого-нибудь иного вознаграждения, ни один хозяин с этих гостей ни при каких уговорах брать не соглашался.

— Пошто обижаєте, — с упреком говорили хозяева, — не нам подавать, не вам брать...

Провожать за околицы выходили целыми семьями, и пожелания счастливого пути сопровождали поясными поклонами.

И катились возки все дальше от села к селу, от улуса к улусу до самого Прибайкалья. Здесь из юрт выбегали скуластые, безбородые буряты, мужчины и женщины в одинаковых ватных штанах, в стеганых халатах и низко надвинутых на самый лоб шапках, из-под которых теплились сочувствием узкие глаза.

Жестами и непонятными словами зазывали они проезжих в юрты, угощали жареным мясом и вяленой рыбой, кирпичным чаем, заправленным салом и молоком. Как умели, старались выразить привет и ласку. И тоже провожали далеко по дороге и долго махали вслед меховыми шапками и пестрыми кушаками.

Ямщики узнавали один от другого, кого они день и ночь, в осеннюю непогоду, в бураны и метели мчат в бесконечную даль сибирских дорог.

И получалось так, что слухи о странных седоках обгоняли быстрых сибирских ямщиков, как будто передавали их не люди, а парящие высоко в небе беркуты и степные орлы.

В промежутках между кибитками и возками мели дорожную пыль и снег кандалы гонимых туда же, в Сибирь, «нижних чинов», участников восстаний на Сенатской площади и на Украине, близ Трилес.

Приговоры военных судов разметали солдат по самым отдаленным и глухим местам Сибири. Шли они то в сумрачном молчании, то с песнями, которые прежде певали в родных деревнях и селах, или с новыми, слышанными от своих пострадавших начальников — офицеров.

Лучшими запевалами были солдаты Черниговского полка и среди них — маленький рябой паренек, бывший кучер и соратник Сергея Муравьева-Апостола.

На одобрительные по поводу его пения замечания он всякий раз говорил:

— Хиба це пісня? Ось як бы вы почули ти, шо мы з их благородием спивали! — Он махал рукой и, стараясь скрыть наползавшие слезы, опускал глаза.

На редких привалах обсуждались события, связанные с восстанием 14 декабря. Беззлобно упрекали друг друга за ошибки. Больше всего попадало измайловцам.

— Раз пушки без снарядов выволочь решились, так уж надо было держаться по совести, чтобы...

— Мы и то по совести, — оправдывался бывший измайловец пальник Серегин. — Я вот зажег, было, фитиль, а потом бросил в снег и сапогом придавил, а когда поручик Бакунин меня за это «сволочью» обозвал и сам запал поднес, я успел жерло вверх подтолкнуть. Сами, чай, знаете, что первое ядро поверх голов под сенатскую крышу порхнуло.

— Это-то так, — соглашались с ним, — а все-таки...

— Что «все-таки»? — продолжал Серегин. — Как по второму разу вдарили, народ во все стороны кинулся... А вы хоть бы што. Стоите будто замороженные.

— А потому, что не все знали, за что кровь проливать следовало...

— А то вам офицеры не сказывали, зачем из казарм вас вывели? — возражали москвичи.

— Нам Якубович приказывал: «Ежели Константину присягнули, то и держитесь присяги». А глядим — этот самый Якубович перед Миколоае лебезит. А наши ребята так рассудили: кто ни поп, тот батька. Кто бы ни муштровал, кто бы сквозь строй ни гонял — все едино. Из-за них, кровопийцев, чихнуть иной раз жалко, а не то чтобы кровь проливать...

— А все же пролили, — оборвал пожилой гренадер.

— Так что ж вы стояли, как к земле примерзшие! Чистые истуканы. Кабы вы хоть разок...

— Кабы да ежели! — опять сердито прервал старый гренадер. — Кабы на цветы да не морозы, зимой бы цветы расцветали... Неумеючи за дело взялись — вот в чем причина и беда. Хоть и были среди офицеров наших люди совестливые, да разве так-то воюют? Вот мы, бывало, в двенадцатом году... Увидели однажды на заре, что француз, откедова его вовсе не ждали, наступать стал, так, можно сказать, в единый миг сообразили...

И гренадер медленно, с подробностями стал рассказывать о том, какие бывали на войне случаи. Солдаты заслушивались такими рассказами, и спор угасал, как залитый водой костер.

Иногда в этап мятежных солдат вливали «колодников» — уголовных.

Закованные в кандалы, шли эти люди, виновные зачастую только в том, что спросонья оттолкнули разбудившего их барского надсмотрщика; в том, что посмели упрекнуть в алчности попа; в том, что, присутствуя при расправе крестьян с господскими слугами и приказчиками, не помешали расправе; и просто в том, что случилось им попасться барам на глаза «не в добрый час».

Мчались по большому тракту кони, шагали люди, а за ними далеко по всей Сибири, от Урала до Камчатки, от Ледовитого моря до китайских границ, плыла, как тяжелая туча по небу, смутная народная молва.

И как тяжелая туча разрывается порывистым ветром, так разметалась народная молва на слухи одни других причудливей. И подобно тому, как среди обрывков туч переливается радуга, так на разные лады переливалось в этих слухах заветное слово: «Воля!»

«...Завезли генералы Александра Павловича в Таганрог, — рассказывалось в одном селе, — заманили, а там порешили его за то, что написал он приказ, чтоб ослобонить народ от крепости на вольную волю. А Александр Павлович изловчился допрежь гибели своей отдать оную бумагу за тремя сургучными печатями попам в Успенский собор, чтоб сохраняли ее до времени. Попы и выдали ее князьям и генералам. И поклялся Миколоай на кресте всем тем господам, что, коли посадят они его на престол, не заберет он от них народ под себя, а оставит им во владение на веки вечные. Прослышал о том народ, взбунтовался... Хотел на трон Константина посадить. А Миколоай и ударил по народу из пушек, а Константина в столицу Санкт-Петербург вовсе не допускает. Тот, не будь дураком, сел на флот и уехал в море-океан, невесть куда...»

А в другом селе это «невесть куда» уже обозначалось точно:

«...Выпросил царевич Константин у французского короля и китайского богдыхана помощи себе. И уже плывут в Корею снаряженные корабли, и на первом из них сам Константин сидит. Порешил он поднять Сибирь, чтобы на Расею идти народ слобонить. А этих, что всё по тракту в Сибирь везут, Константиновых друзей-приятелей, хотел, было, Миколай перевешать, да оборвались веревки. Родные, вишь, ихние, богатеи, палачей подкупили. Ну, а есть такой закон, что коли упал с петли, второй раз вешать нельзя. Вот и погнал их Миколай в рудники сибирские. Пущай-де под землей покопаются. А они хоть бы што! Знают, что Константин вскорости тут объявится...»

Странники, идущие от села к селу, подхватывали оборванный на этом месте слух и уже «занаверное» рассказывали в попутных деревнях и поселках о том, что:

«В Каменской волости, в деревне Закоуловке, в избе у Ивана Малькова в подпольной комнатке проживает тихонько да смиренно необычайный человек. Под великим страхом будто открылся он хозяину о своем царском происхождении. Тот упредил о нем своих однодеревенцев. Стали они приглядываться к нему да присматриваться. Он народом не гнушается: с одной миски ест и по субботам с другими мужиками в баню ходит. После бани иной раз и в кабак зайдет, пенного штоф-другой распить. И уж так прост, так прост, что взяло мужиков насчет его сомнение. И решили они допытаться истины. Их подозрение царевич сразу заметил. „Вижу, говорит, братцы, сумлевааетесь вы в истине моего звания“. — „Есть тот грех, — ответили мужики. — Маленько сумлеваемся. Бает народ, что твоя милость — царевич Константин, а ты по кабакам с нами шляешься... На что, к примеру, становой — и то для себя зазорным полагает с мужичьем водиться“. Царевич смиренно так усмехнулся: „Эх вы, болезные! Привыкли, чтоб с вами как со скотом обращались, а я с вами по Христовой заповеди поступаю. Вот вас сумление и разбирает: „Как, мол, царевич, а в рыло не бьет?“ Распахнул он армяк на груди: „У кого из вас на груди крест волосяной?“ И увидали мужики, что у него от шеи до пупа одна густо-рыжая волосяная черта, а от соска к соску — другая. Поскидали мужики рубахи, оглядели друг друга. Волосатых много, а чтоб крест из волосьев — ан ни у кого. «Ну, видимо, царевич“, — порешили мужики.

И потянулись к царевичу ходоки, понесли — кто рубаху, кто ситцу, кто полотенце, а кто маслица, мучицы и прочей снеди.

Бабам особенно любопытно было взглянуть на царственную примету — животворящий волосяной крест.

Расспрашивали царевича ходоки: станет ли он Сибирь на Россию подымать, и верно ли, что из России идут обозы с лаптями, топорами и другим снаряжением, и стоят, будто в прикаспийских степях верные Константину полки?

Прослышало об этих толках начальство. И заметались по волостям, уездам, селам и деревням губернские и полицейские чиновники. Сгоняли на сходы крестьян и вразумляли их не внимать слухам, распространяемым «злодеями». Требовали выдачи передатчиков «сих возмущающих народ бредней». Кое-где выпороли на всякий случай тех, у кого заметили недоверчивые усмешки или чьи глаза явно недружелюбно встречались с глазами начальников.

В деревне Закоуловке, резиденции «царевича», мужики связали двух чиновников, присланных из города, свалили в телегу и, нахлестав лошадей, пустили вскачь по дороге так, что черное облако пыли долго висело над дорожными извивами.

Через несколько дней приехал в Закоуловку губернатор с отрядом казаков. Сигнали народ на сход.

Мужики не сговорились, но в молчаливом обмене взглядами твердо решили меж собой:

«Никого не выдавать».

Из окна Старостиной избы губернатор видел их пеструю толпу, подвижную, но угрюмо безмолвную.

«Точно тесто на дрожжах бродит, — думал он. — А закваской всему, конечно, — сиятельные каторжники».

Когда он вышел на крыльцо, над головами крестьян замелькали картузы и шапки.

— Ну, что мне с вами делать, а? — начал губернатор.

Мужики молчали.

— Коли б не были вы за казной, — продолжал губернатор, — а принадлежали бы помещику, как в России, знал бы он каждого из вас по имени и по роже, перепорол бы он перво-наперво всех, кто народ к бунту поднимает...

— Всех не перепорол бы, — произнес один голос.

— Розог не хватит, — поддержал другой.

Губернатор поднял голову, отыскивая взглядом тех, кто произнес эти слова.

— Спрашиваю я вас: чего бунтуете, дуралеи, за кем идете? Я вам хочу глаза открыть на затее сего самозванца, доказать тщету оных, важные понапрасну из-за них издержки по государственной казне, кои с вас же, как с государственных крестьян, и взыщутся. Знаете ли вы, что кто мутит народ, кто нарушает способы, которыми люди соединены в общество и взаимно друг друга защищают, — тот должен быть общества извергнут, то есть сделаться извергом. Изверг он и есть. Обмозгуйте сами, откуда тут царевичу Константину взяться... Да разве о вас не заботятся? Разве ныне не разрешен доступ до престола монаршего всем сынам отчизны, какого бы звания они ни были? Обижены — идите с жалобой на обидчиков.

— А жалобы нашинские кто разбирать станет? Чиновники дворянские... — опять послышалось из толпы.

И в той ее части, где прозвучал этот голос, стало заметно какое-то движение и возня.

— Да чего там, жить-то мне все едино недолго, — сердито ворчал старик, пробираясь вперед. — Пустите! — оттолкнул он последние удерживающие его руки и отделился от толпы, широкоплечий и коренастый.

Борода его, изжелта-седая, падала ниже груди длинными, как метелки кукурузы, прядями.

— Дозволь тебе речь держать, ваше сиятельство, — спокойно заговорил он. — Порядок, оно точно, малость изменили. И насчет жалоб это ты правильно объяснил: облегчение — оно действительно вышло. Да только вот какое: при старых порядках было тяжелее потому более, что коли заведется какое дело, то взвалишь на плечи барана, да и прешь к исправнику. А ноне, коли случится какая оказия, возьмешь в руки хворостину, да и гонишь штук пять к окружному. Так оно, знамо дело, легче выходит, потому что ноша тебя не трудит.

— Правильно, куда как облегчили, — горькой шуткой поддержали в толпе.

— Стар ты, а бестолков хуже молодого! — метнул на старика губернатор сердитым взглядом. И снова обратился к крестьянам: — Бродягу-вора и самозванца надлежит вам выдать, а не то худо будет!

Мужики молчали, и губернатор, скомкав речь, поспешил уехать, отдав чиновникам строгий приказ, арестовать самозванца, во что бы то ни стало...

Но мужики прятали его с большим умением. Днем держали в подполье или на чердаках, а по ночам спал он то меж теплыми коровьими брюхами, то в бараньем закуте, покрытый вывернутым наружу овчинным тулупом, то в соломенной) скирде.

В избе у Ивана Малькова всё перерыли, переворошили. Ничего предосудительного не нашли, кроме двух истрепанных портретов Константина Павловича, вырезанных из польских газет. И еще рьяней принялись за розыски. Перед тем как скакать дальше, высекли Ивана Малькова, да так усердно, что после порки жил он только три дня. А когда его похоронили, стали в деревне поговаривать, что по ночам над его могилой задерживается падучая звезда, оборачивается в свечу и горит до тех пор, пока не ударят к заутрене.

«Значит — правильно пострадал за мир Ванюха», — решили мужики и еще тщательней прятали царевича с волосняным крестом. И как усердно ни рыскали по Сибири царские чиновники, самозванец был неуловим.

«Должно, к раскольникам ушел, — решили обозленные чиновники. — А коли так, то и искать нечего».

Однако, чтобы исполнить приказ губернатора о непременно поимке «злоковарного сего злодея» и отвязаться от высшего начальства, захватили в одной безымянной деревушке бобыля, подходящего «под статью» разыскиваемого преступника, вывезли его верст за двадцать и у деревни Богатырский Бугор, у самой опушки леса, пристрелили.

Прибежавшим на выстрелы крестьянам заявили, что захвачен ими был вор-самозванец, которого везли они, чтобы представить по начальству, а он вздумал бежать. С беглецами же расправа одна.

В избе у старосты составили соответствующее по начальству донесение, изрядно выпили и закусили. Причем, когда чокались по девятому разу, у полицейского пристава, любителя выпить с непременноми прибаутками, ходовых прибауток не хватило, и он то ли из озорства, то ли уже совсем спьяна предложил:

— За упокой души новопреставленного раба... раба... как бишь его?..

— У господ в канцелярии все подушные списки крестьян имеются, — с пьяной улыбкой ответил чиновник губернаторской канцелярии и, расплескивая по домотканой скатерти водку, звякнул своей рюмкой о рюмку собутыльника.

18. Рапорт, по начальству

— Не служба, а та же каторга, — ворчливо сказал утром берггешворен Котлевский, подходя к столу, где его жена, румяная и сдобная, как булочки, которые лежали в сухарнице, ждала его, сидя за самоваром. — Как прислали их сюда, так будто не восемь душ, а целый полк новых преступников прибыл. Что пишем, что рапортов, что приказов!.. Пишешь — не отпишешься... Налей стаканчик, а я покуда срочный рапорт сочиню.

Взял с комода пузырек с чернилами, зачинил перо и заскрипел по казенной с водяным двуглавым орлом бумаге:

«В Нерчинскую горную контору
от берггешворена Котлевского
РАПОРТ

Его высокородие господин начальник Нерчинских заводов и кавалер препроводил ко мне восемь пар ножных оков, сделанных при Нерчинском заводе по новому образцу, с замками с одним у всех ключом, для государственных преступников. В прилагаемом приказе предписать изволил: те оковы записать при дистанции на приход ценою каждые по 2 р. 153 /8 к., а весом оказались каждые по пять фунтов».

— Пей чай, душенька, — погладила его по щетинистой щеке жена, — после кончишь. Правда, извелся ты за это время!

Котлевский отложил рапорт.

— Вот вчерась, для примеру, весь день мы возились с перековкой их. Да и то сказать, на них не кандалы, а бог знает, что надето было. Но самое потешное — это надписи на кандалных замках. У Волконского: «Мне не дорог твой подарок — дорога твоя любовь», у Оболенского: «Кого люблю, того дарю». Оказывается, в Петербурге приказ об увозе их из крепости был получен в семь утра, а в восемь их должны были увезти. Кандалы-то припасли, а про замки забыли. Пришлось за ними гнать жандарма, а тот на ближайшем рынке едва нашел с этими надписями, других не было. Меня вчера при смене этих кандалов смех разбирал, и они, каторжники сиятельные, представь себе, тоже улыбались.

Он поспешил закончить завтрак и, назвав на прощанье жену «мон анж», побежал в контору.

Начальник горной конторы Нерчинского рудника Бурнашев уже ожидал его. Подав приготовленный рапорт, Котлевский прибавил устно, что преступники Сергей Трубецкой и Сергей Волконский, видимо, «навыкают к роду нынешней жизни», однако Волконский чаще бывает уныл, а Трубецкой задумчив. А Артамон Муравьев с получением письма от жены сперва впал в неистовство, выкрикивал разные слова, изъясляющие душевные страдания. Затем поутих.

— Супруга резонно написала ему, что, так как она ни в чем неповинна, то и жизнь свою губить не собирается, — сообщил Бурнашев и, раскрыв папку с документами, сердито продолжал: — Нынешний порядок об употреблении этих каторжанцев в работу надлежит переменить.

Котлевский послушно наклонил голову, изогнул туловище и стал похож на вопросительный знак.

— Они у нас с пяти утра начинают работать? — насупившись, спросил Бурнашев.

— Так точно. И до одиннадцати. Затем от часу и до шести вечера.

— А по сколько пудов положено выработать каждому?

— Три пуда на каждого.

— Ну, так вот, — продолжал Бурнашев, — по распоряжению его высокопревосходительства господина генерал-губернатора его превосходительство господин губернатор предписывает, чтобы они были употребляемы в работу одну смену в сутки и без изнурения, но надзор усугубить.

Котлевский, близко перегнувшись через стол, зашептал:

— Они, Тимофей Степанович, не от работы изнуряются... Вы изволили распорядиться, чтобы каждого из них ставить на работу с надежным человеком из колодников, а вышло на деле так, что эти-то надежные им много помогают. Возьмут из рук лопату или лом, вроде как будто показать, как надо копать, да и отмахают за них половину урока.

— Говоришь, мало работают? — теребя бакенбарды, ворчал Бурнашев. — А за два месяца пребывания извелись донельзя.

— Виноват, Тимофей Степанович. Опять же не у нас они извелись, а, по прибывшим ко мне сведениям, Сергей Трубецкой еще во время нахождения в Усольском соляном заводе был одержим кровохарканьем и чувствовал слабость в груди, а Сергей Волконский хворал сильною грудной горячкой в Николаевском винокуренном. У нас же они ни на что не жалуются, при производстве работ прилежны и даже у себя в каземате никаких в чем-либо ропотных слов не говорят, кроме чувствительных.

— «У нас», «не у нас»! — все так же сердито передразнил Бурнашев. — А ты вот погляди на эти строки.

Он развернул перед Котлевским лист грубой серой бумаги, исписанной изящным почерком Сергея Волконского, и отчеркнул синеватым ногтем несколько строк.

Котлевский прочел их:

«Желание видеть тебя, милой мой друг Машенька, обладает моим сердцем. Надежда получить сие утешение живет меня. Я верю, что никакие отговоры не заставят тебя переменить намерение твое в рассуждении меня. При ощущаемых душой моей страданиях жизнь моя, вероятно, будет весьма непродолжительна. Сердечные скорби скоро разрушат мое брренное тело. Машенька, посети меня прежде, нежели я опущусь в могилу. Дай взглянуть на тебя еще, хотя один раз. Дай излить в сердце твое все чувства души моей...»

Бурнашев перевернул страницу и опять указал на отмеченные ногтем строки:

«Одним душа моя обладаема — беспредельною благодарностью тебе за все, что ты для меня делаешь. Ты видела из прежних моих писем, что я никогда не сомневался в желании твоём приехать ко мне. И ежели твои подруги по несчастью предупредили твои намерения...»

Бурнашев ударил растопыренными пальцами по письму:

— Понял, что сие означает?

— Вы так располагаете, что приедут? — округлил глаза Котлевский.

— Прежде сумлевался, по письмам было видно, что родители Волконской никак сего не допустят. И попала она меж двух огней. Свои не пускают, а его родичи настаивают, чтоб ехала. В одном письме жаловалась его сестра, что Раевские, — ведь жена Волконского дочь прославленного, но двенадцатому году генерала Раевского, — чинят ей всякие препятствия. К тому же младенец ее был при смерти. А ныне дело ясное, что приедут. Сам Раевский пишет зятю, что, мол, уступает желанию дочери и только просит, чтоб Волконский не задерживал ее долго в Сибири. Даже младенца ихнего обещает взять к себе весною. Так что, брат, дело это у них, видимо, вовсе решенное.

Бурнашев и Котлевский долго молчали.

— Вот кутерьма-то поднимется! — вздохнул, наконец, Котлевский.

— Да, можно себе представить... — согласился Бурнашев, — раз эти самые барыни на такое дело решились, чтоб в самую сибирскую глушь ехать, значит, соображай, что они тут натворят, если с их моншерами чего-либо стрясется...

— Понять не могу, — развел руками Котлевский, — ей-богу, Тимофей Степанович, не понимаю! Ну как же это так: чтобы за шесть тысяч верст переть к вечно каторжным по собственной своей доброй воле? И кто? Княгини, молодые, богатые... Хоть убейте, не вмещается это у меня вот здесь, — он шлепнул себя по лбу.

— Помещение тесновато, оттого и не вмещается, — грубо отчеканил Бурнашев — люди в больших чинах, сим делом занимающиеся, и те всего не предусмотрели, а то

ты... берггешворен...

19. В Сибирь

Святочный вечер у Нащокина был в полном разгаре!! Обычные для таких вечеров, бестолочь и ералаш еще больше бросались в глаза.

В одной гостиной, лихо стуча каблуками, отплясывали отставные гусары и какие-то юнцы с ухарски закрученными чубами. В другой раздавалась развеселая русская песня с присвистом, в большой гостиной живописно расположились цыгане. Меланхолические жалобы гитары сменялись гулкими ударами бубна, гортанная речь — задушевым голосом молодой цыганки Тани, напевающей куплеты новой песни.

Шумя широчайшими в сборках и оборках юбками, входили в круг танцующих цыганки и соперничали одна с другой в плавности движений и дрожи плеч, с трепещущими на них смоляно-черными косами и серебряными дукатами.

Хозяин дома был бы очень доволен всем этим веселым гулом, от которого дрожали огни многочисленных свечей и подвески канделябров, если бы не видел, что самый дорогой гость — Пушкин вовсе не принимает участия в общем веселье. Он сидел, как бы весь сжавшись, в большом кресле за зеленой кадкой с густо разросшимся папирусом, и, если какой-нибудь весельчак подходил к нему, поэт поднимал на него такой отсутствующий взгляд, что тот спешил удалиться.

Отмахивался Александр Сергеевич и от лакеев, которые разносили на подносах свежие и моченые яблоки, каленые орехи, миндаль, чернослив, пряники, шипучий мед и разлитое по бокалам вино.

Нащокин послал к Пушкину цыганку Таню, пение которой всегда доставляло поэту большое удовольствие, и он не раз дарил ей за это то перстень, то янтарные бусы, а однажды привез такую шаль, что Таня замерла от восторга, а потом, вся зарумянившись, расцеловала его при всем хоре.

Но и Тани он улыбнулся так рассеянно и так небрежно ответил на какой-то ее вопрос, что она, закусив губу, быстро отошла прочь.

Тогда Нащокин, лавируя среди гостей, сам подошел к Пушкину и, присев рядом, спросил:

— Что невесел, милый друг?

Пушкин только глубже уселся в кресле.

— Гони ты от себя мрачные мысли, — продолжал задушевно Нащокин. — Право же, Александр Сергеевич: в жизни не одни невзгоды и печали. Подай сюда! — окликнул он лакея, осторожно несущего над головой поднос с шампанским. — Твое здоровье, родной мой! — Нащокин протянул бокал Пушкину и звонко чокнулся с ним. — За радость, за веселье!

— Ну, разумеется, есть и веселье, — машинально проговорил Пушкин, отпивая вино. И вдруг глаза его озорно блеснули. — Иду я сегодня по Покровке и от нечего делать читаю вывески на лавках. И чего только на этих вывесках не значится. В особенности восхитила меня одна из них: «Овощная торговля иностранных и русских товаров», а рядом намалевана свекла, кочан капусты и что ни на есть русская репа... — Пушкин улыбнулся. Но улыбались только его губы. Глаза были все такие же невеселые, а взгляд отсутствующий.

— Цыгане нынче новую песню привезли, — сказал Нащокин. — Сейчас велю Тани запевать, — и он направился к старому цыгану, у которого на коленях лежала

гитара, повязанная ярко-красным бантом. Цыган тотчас же поманил к себе Таню. Она послушно подошла и подняла над головой тугой бубен. Ее смуглые пальцы отбили по нем что-то призывное, и она через плечо выжидательно взглянула на цыгана. Он взял первые аккорды на гитаре, и Таня запела. Сперва без слов, не размыкая румяных губ, и казалось, что мгновенно притихшую гостиную наполнили звуки виолончели. Потом зазвучали слова:

Ах, матушка, что во поле пыльно?
Дитяtko, кони разыгрались...
Матушка, чьи же эти кони?
Кони Александра Сергэича...

При последних словах Таня поклонилась Пушкину, но в этот момент шут Еким Кириллович выкатился кубарем на середину зала и запел тонким, петушиным фальцетом:

Двое саней со подрезами,
Третьи писанные
Подъезжали ко цареву кабаку.

— ушел прочь! Не мешай Тане! — кричали ему со всех сторон.

Не обращая ни на кого внимания, шут вьюном завертелся среди хватающих его за полы кафтана мужских и женских рук. Пестрые ленточки высокого шутовского колпака: разноцветной спиралью кружились над его головой. Бубенцы оглушительно звенели.

В поднявшейся сумятице Пушкин старался незаметно пробраться к выходу. Он уже дошел до освещенной сальной свечой прихожей, в которой было навалено в кучу много шуб. В углу на большом горбатом сундуке дремал старый слуга, а рядом с ним лежала пушкинская бекеша, отсыревшая от растаявшего снега. Пушкин накинул ее, не разбудив слуги, и отыскал свою тяжелую трость с набалдашником.

Он уже спустился с внутренней лесенки, когда Нащокин настиг его:

— Куда, Александр Сергэич? Стой, все равно не отпущу! И не думай!

Пушкин покраснел от досады:

— Мне, Павел Воинович, непременно надобно побывать нынче в одном доме.

— Если в светском, то поздно, а во всяком ином тебе и за полночь будут рады-радешеньки... Сейчас хозяйка моя вернется и забранит меня, зачем я тебя отпустил. Она ко всенощной к Старому Пимену пошла...

— Ежели к старому, то, пожалуй, и вправду скоро придет, — невесело пошутил Пушкин, — а только все равно — мне никак нельзя дольше у тебя оставаться. Есть у меня дело неотложное и притом чрезвычайной важности...

— Какое такое дело? — вдруг выпорхнула из-за вешалки цыганка Таня. Подбежав к поэту, она обвила вокруг его шеи свои смоляно-черные косы. — А ну-ка, уйди теперь! Попробуй!

— Оставь, Танюша, — серьезно проговорил Пушкин, отстраняя ее.

Косы с серой бекешки скользнули на огненно-красный шелк кофточки, туго охватывающей Танины плечи и грудь.

— Сырчаешь, Алеко Сергэич? — тихо спросила цыганка. — Давай поворожу на

расставанье. Правду скажу, — и потянула его ближе к горящей свече. — Подаришь перстень? — дотронулась она до большого кольца на его указательном пальце.

— Этот не подарю — талисман. А погадаешь в другой раз.

Пушкин хотел, было погладить ее по смуглой щеке, но Таня, изогнувшись змейкой, скользнула мимо.

— Обиделась, — глядя вслед скрывшейся цыганке, сказал Нащокин. — А то оставайся, Александр Сергеич, право, оставайся. Я для тебя такую жженку своеручно изготовлю, что...

— Спасибо, друг, — перебил Пушкин. — Жженку я люблю. Как Бенкендорф — на меня, так она действует на мой желудок, то есть имеет на него умиряющее полицейское влияние. А остаться мне все же нельзя. Уж поверь, душа моя, что никак не могу...

Из зала донесся веселый шум, среди которого выделялся пронзительный свист Екима Кирилловича.

— Слышишь? — спросил Нащокин, указывая в сторону зала. — Вернись, брат, шут твою хандру как рукой снимет...

— Нет, Павел Воинович, — нахмурился Пушкин. — Я не люблю жалкого ремесла шутов. Вельможи прошлых веков, в надменном издевательстве над идеею народных прав, делали шута карикатурой на независимого человека и забавлялись такой безнравственной пародией равенства, им ненавистного. Нам же с тобой подобные забавы не к лицу. Прощай, Воинович! — и вышел в морозную темноту.

Праздничный гул московских улиц затихал. Только изредка слышалась хриплая песня запоздалого гуляки, бубенцы тройки и свисток хожалого.

— Гони! Гони! — торопил Пушкин извозчика.

«Ванька» гнал савраску по горбатым улицам и переулкам, грозя ему кнутом и анафемой. И сани ныряли в ухабах и застревали в сугробах плотного промерзшего снега.

Но вот, наконец, и Садовая-Самотечная, а на ней не по-праздничному мрачный, освещенный только в нижнем этаже огромный дом графов Чернышевых.

Щедро дав «на чай», Пушкин отпустил извозчика и дернул звонок у дубовых парадных дверей с медными кольцами взамен ручек.

— Александра Григорьевна еще здесь? — спросил поэт, как только переступил порог.

— Пожалуйте, вас ожидают, — строго ответил пожилой лакей и, держа перед собой бронзовый шандал с двумя горящими свечами, повел Пушкина через анфиладу неосвещенных комнат.

Жена Никиты Муравьева сидела в углу гостиной в дорожном платье и темной собольей тальмочке, накинутой на худые плечи. Ее сестры — графини Наташа и Вера Чернышевы — заплаканными глазами ловили каждое ее движение, каждое выражение болезненно-румяного лица.

Пушкина встретили как родного: усадили к камину, подали горячего чаю, подсади ближе. И завязалась беседа.

— Слышали про нашего однофамильца Чернышева? — спросила младшая из сестер, Вера.

— Про того, кто возведен в графское достоинство за заслуги в деле четырнадцатого декабря? — мрачно спросил Пушкин.

— Он самый, — кивнула головой Вера.

— Слышно было, — так же мрачно продолжал Пушкин, — что тринадцатого июля он, нарумяненный и насурьмленный, гарцевал на коне перед виселицей пяти страдальцев...

Наступила пауза. Александра Григорьевна зябко повела плечами. Сестра заботливо поправила на ней тальму.

— Не укрыть ли тебя потеплей, Сашенька?

— Нет, мне не холодно, — ответила Муравьева и обратилась к Пушкину: — Моя свекровь рассказывала, как обошлась с этим господином на бале у Строгановых старая фрейлина Загряжская. Когда к ней подвели представляться новоиспеченного графа, она навела на него лорнет, оглядела с головы до ног и во всеуслышание заявила: «Я знаю только одного графа Чернышева, того, который нынче в Сибирь сослан».

— То есть нашего брата Захарушку, — улыбаясь и одновременно всхлипывая, пояснила Наташа.

Но Вера укоризненно покачала головой, и Наташа поспешила вытереть слезы.

— Говорят, он пытается доказать родственную с нами связь, — с презрительным равнодушием продолжала Муравьева, — ему, видно, страсть как хочется добраться до наших Чернышевских майоратов...

Снова помолчали.

— А как вы? — спросила Александра Григорьевна Пушкина. — Что мне сказать нашим? Ведь они захотят всё знать о вас, Александр Сергеич.

— Вы решительно едете нынче, Александра Григорьевна?

— Да, на рассвете. Жалею, что Волконская не захотела меня подождать... Вы, конечно, видели ее здесь?

— Как она себя чувствует? — разом спросили обе Чернышевы.

Пушкин тяжело вздохнул:

— Она, видимо, не совсем оправилась после болезни.

— А глаза все такие же огненные? — нежно улыбнулась Муравьева.

Такая же улыбка появилась и на губах Пушкина, когда он ответил:

— Княгиня Зинаида сказала о ее глазах, что такие бывают только у дев Ганга. А я думаю, что таких глаз, как у Марии... Волконской, нет ни у кого во всем свете...

Он порывисто провел узкой рукой по завиткам своих волос и продолжал:

— На вечере у Зинаиды Волконской я рассказал ей о своем намерении написать книгу о Пугачеве. Для этого мне надо будет поехать за Урал и дальше. И тогда, быть может, я явлюсь к моим друзьям искать пристанища у них в Нерчинских рудниках. Расскажите им еще, что правительство делает вид, будто поверило в мою непричастность к декабрьскому восстанию. Но на деле в Петербурге я себя чувствую, как в карцере. Я очень хочу вырваться из него, да не пускают ни царь, ни Бенкендорф... Скажите им всем, что теперь я понимаю, почему они не хотели принять меня в Тайное общество. — Глаза Пушкина затуманились. Он старался овладеть собой. — Да еще уверьте их, что я безмерно стражду об их судьбе... Повешенные — повешены... Но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей — ужасна! — Он долго молчал. Потом достал из кармана сложенный лист бумаги: — Вот мое к ним послание. Передайте его...

— Прочтите его, Александр Сергеич. Пожалуйста, прочтите, — просили сестры.

Пушкин задумался. Потом ближе придвинулся к каминному огню и стал тихо читать своим необыкновенно приятным, особенно задушевно звучащим в эти минуты голосом:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье...

Голос Пушкина оборвался.

Придет желанная пора, —

закончил он почти шепотом. И так же тихо прибавил: — Нет... Не могу...
Прочтите без меня...

На громкий стук в резные ворота из-за высокого зубчатого забора послышался сочный женский голос:

— Не шуми, леший, открываю.

Но прежде чем ворота распахнулись, звякнула железная щеколда калитки. Выглянув из-под накинутого на голову бараньего тулупа, женщина ахнула:

— Однако сызнова секретные... А я-то думала — мужик мой с охоты вернулся. Чисто его повадка эдак гроыхать в ворота... Я мигом!

И сейчас же схватилась сильными руками за обледенелый засов ворот.

Лошади нетерпеливо заржали.

— Сказывал я вам, что Чижиха примет, — с улыбкой обернулся ямщик к опущенному пологу кибитки. — У ней дед тоже за буйство духа в наши края сослан был. Чижиха, она с понятием...

— Вот и отлично, — послышался из кибитки усталый женский голос, и маленькая рука приподняла меховой полог.

Сани проскрипели по дощатому настилу перед крыльцом, и через несколько минут Чижиха уже стояла перед приезжей, которая быстро сбрасывала с себя лисий салоп, подбитые белкой сапожки и стеганный на вате капот.

— И вы к мужу скачете? — сокрушенно вздыхая, спросила хозяйка.

— Да, к мужу.

— Вы уж третья у меня. Намедни княгиня Трубецкая проскакала. Другая покуда у меня.

— Волконская? — радостно вырвалось у Муравьевой.

— Она самая! И все-то вы младшеньки, все-то пригожие собой. Озябли, чай?

— Немного. Самоварчик нельзя ли?

— Мигом, — с ласковой готовностью ответила Чижиха, — и самоварчик и покушать... — и загромычала в кухне ведром, трубой и печными вьюшками.

Легкие, быстрые шаги послышались в сенцах.

— *Entrez note 45*, — по привычке ответила по-французски Муравьева на стук в

Note45

Войдите (франц.).

дверь.

— Александрина!

— Мари, родная!..

Крепко поцеловались. Откинулись и снова прильнули одна к другой. Потом заговорили обе разом, мешая французскую речь с русской:

— Как счастливо, как чудесно! Подумай — мы у цели. Впереди Нерчинск...

— А как с бумагами?

Все устроилось отлично. Губернатор Цейдлер сначала все отговаривал ехать дальше: «Princesse, вернитесь, princesse, не губите своей молодости. Princesse, я по долгу чести прошу вас...» — Волконская так забавно подражала старому губернатору, что Муравьева, как будто разучившаяся улыбаться после ареста мужа, рассмеялась от всей души.

— Однако вся его галантность исчезла, — продолжала Волконская, — как только я подписала вот это.

Показывая бумагу, подписанную ею в Иркутске, она добавила:

— Он даже не вышел ко мне проститься, когда я пришла за подорожной.

Муравьева подошла к окну и развернула копию «условий» — подписку, которую давали жены декабристов, добровольно следующие за мужьями в ссылку.

Под коричневым двуглавым орлом стояли крючковатые параграфы и жирные пункты:

«§ I. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, делается, естественно, причастной его судьбе, то есть будет признаваема не иначе как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать ее от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том, как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобною. Оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.

§ II. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне».

Были еще параграфы и пункты, но Александрина не стала их читать.

— Нехорошо о детях, — вздохнула она, — но покуда их нет.

Она вспыхнула и снова поцеловала Волконскую.

— И даже тот пункт, по которому мы теряем право *sur les serviteurs serfs, que l'on a amené avec nous* note 46, — говорила Марья Николаевна, — даже это не страшно. Улинька, хотя и получила вольную, обещала непременно приехать к нам в самом непродолжительном времени...

Чижиха внесла клокочущий самовар и следом за ним поднос, на котором дымилась миска с пельменями и вкусно пахли подрумяненные горячие шаньги.

— Откушайте, горлинки мои, откушайте, касатки, — потчевала Чижиха. — Я вам и омулька принесу и орешков кедровых — сибирского нашего разговору... — Подперев щеку рукой, она ласково смотрела на молодых женщин, то и дело поднося кончик передника к глазам.

Note46

На крепостных людей, прибывших с нами (франц.).

Но только что принялись за чай, как с улицы донесся конский топот и удары в ворота.

— Ахти мне! — всполошилась хозяйка и припала к глазку, оттаявшему в середине разукрашенного морозом окна.

— Жандармы, — сообщила она через минуту.

— Не пугайся, Александрина, — спокойно проговорила Марья Николаевна, — губернатор Цейдлер предупредил меня, что он пришлет осмотреть мои, и вероятно, и твои вещи.

Хозяйка суетливо искала сброшенные с ног валенки. Стук в ворота повторился настойчивей.

— Но у меня есть нечто, чего жандармы не должны, видеть, — проговорила побледневшая Муравьева.

— Что же это? — торопливо спросила Волконская.

— Пушкин отдал мне свои стихи к нашим...

— Давайте мне, я припрячу, — вдруг предложила Чижиха, — давайте, милые, меня обыскивать не станут.

Муравьева пристально поглядела в ее еще влажные глаза, взглянула на Волконскую и уже без колебаний подала Чижихе вынутый из-за корсажа узкий белый пакет.

20. «Господа каторжанцы»

Супруга берггешворена Котлевского писала письмо своей приятельнице, с которой когда-то вместе обучалась у заезжей француженки манерам, танцам и французскому языку:

«Ма шер Варенька! Ке дьябль ампорт се терибль моман!» *note 47*

Я, живя в таком захолустье, почти забыла французский язык, а потому пишу русскими буквами. Надеюсь, ты не станешь пенять мне за этот мове тон, а также не будешь смеяться надо мной ни с кем из светских своих подруг.

Я зачастую бываю одинока в последнее время, потому что бедный мой муж совсем замучился в работе с приездом к нам господ каторжанцев и в особенности их жен. Я много надеялась, что сии дамы скрасят скуку здешнего житья, что они составят мне общество приятным разговором и приличествующими развлечениями. Увы... Они оказались вовсе неинтересны, и даже сомневаюсь, согласны ли их туалеты велениям моды. Представь себе, мон ами, рукава на лифах они носят фонариками, между тем как еще в прошлом годе у первой нашей модницы, мадам Смольяниновой, я видела гладкий рукав, лишь в локте присборенный. Прически тоже устарели: всё крутые локончики вдоль висков укладывают наподобие колбасиков. Косы же прикалывают в виде корбейль на темени. К знакомству не стремятся, прогулки совершают в отдалении. Причем Трубецкая молча, а Волконская часто поет, будто она не великосветская дама, а не получивший никакого воспитания жаворонок. Но самое удивительное — это то, что, избегая знакомства с подходящим обществом, они в то же время не брезгают разговорами с самыми презрительными из колодников, подходя к месту, где эти изверги работают. В особенности занимает их пение преступников,

Note47

Que diable emporte ce terrible moment! (франц.) — Черт бы побрал это ужасное время!

среди которых находится Алешка Орлов, знаменитый разбойник, обладающий на самом деле на редкость замечательным голосом. Даже мы с мужем открываем иногда по вечерам окна с целью, чтобы пение сего злодея достигло нашего слуха. Ты спрашиваешь в последнем письме: когда свидимся? Не знаю, ма шер. Мой долг — быть при муже в столь тяжкое время. Грае а дие пететр он финира ту са *note 48*, ибо, слышно, их вскорости уберут от нас. Тогда я извещу тебя».

Подписалась: «Твоя печальная Любовь», вложила в конверт вместе с лепестками герани и заклеила его розовой облаткой.

Княгиня Трубецкая вытащила из печи закопченный чугунок с плавающим в нем куском говядины.

— По-моему, суп уже совсем готов, — сказала она, обращаясь к Волконской.

— Дай-ка попробоваться, — Марья Николаевна отложила в сторону мужнину рубаху, к которой пришивала пуговицы.

Отрезав кусочек мяса, она пожевала его и одобрительно кивнула головой:

— Замечательно вкусно, Каташа.

Трубецкая улыбнулась, и ямочки, которые по-прежнему появлялись на ее похудевших щеках, были теперь особенно трогательны. Хмуря брови, она процеживала бульон сквозь кусок кружева.

— Ты не забудь передать Сергею, что у Николеньки прорезался зуб и что он делает «ладушки», — помогая ей, говорила Волконская.

— Как же я могу забыть такие важные вещи! — пошутила Каташа.

— А теперь позволь я тебя причешу. — Волконская взяла гребень.

Ей очень хотелось, чтобы подруга, отправляющаяся на свидание с мужем и друзьями, выглядела миловидной и нарядной. Покончив с Каташиной прической, Марья Николаевна отступила на шаг и внимательно оглядела Трубецкую.

— Мила, очень мила, — с ласковой серьезностью проговорила она. — Вот еще повяжи на шею этот палевый платочек, и будет совсем хорошо. И торопись, мой друг, а то наши, наверно, заждались уж...

— Бегу, бегу! — Трубецкая взяла корзинку с провизией.

За трехмесячное пребывание в Благодатском руднике Волконская впервые осталась одна: только несколько дней тому назад она отправила тетке Браницкой в Белую Церковь горничную Пашу, которая была отпущена Браницкой вслед за Марьей Николаевной, когда она уезжала в Сибирь.

— Из-за этой девки, — сказала Браницкая, отдавая ей Пашу, — скольким парням лоб забрали! Недаром мать от цыгана понесла ее.

Паша, не выезжавшая никуда из имения до двадцати восьми лет, непонятно тосковавшая по перемене места, с радостью подчинилась приказанию следовать за Волконской в Сибирь. Первые глотки свободы ударили ей в голову. Ни один из благодатских казаков, ни один из молодых поселенцев и каторжан не проходил мимо нее без того, чтобы не бросить ей ласковое слово, восхищенный взгляд, игривую улыбку или шутку. И от этого общего напряженного мужского внимания кровь в Пашиных жилах забурлила знойным кипением. На увещания Марьи Николаевны вести себя скромнее Паша обращала мало внимания. Она знала, что в числе условий,

Note48

Grace a Dieu peut-etre on finira tout ca (франц.) — Бог даст, это все, может быть, кончится.

которые Волконская подписала в Иркутске, было и такое, в котором значилось, что жены, прибывшие в Нерчинск к своим сосланным на каторгу мужьям, потеряли права на крепостных людей, с ними проживающих.

А между тем среди Пашиных поклонников из-за нее стали возникать ссоры, зачастую переходящие в кровавые драки. Бурнашев вызвал к себе Марью Николаевну для объяснений, в результате которых Пашу усадили в телегу. В проходном ее паспорте значилось, что «крепостная девка Прасковья дочь Миронова направляется обратно в Белую Церковь по принадлежности к госпоже ее графине Браницкой...» В тот же день при вечерней перекличке в солдатских казармах не досчитались одного казака, самого дюжего и красивого из всего благодатского гарнизона.

— Ничего, обойдемся как-нибудь сами, — подбадривали друг друга Трубецкая и Волконская после отъезда Паши. — Авось скоро Улинька приедет.

Из писем родных уже давно было известно, что Улинька с того самого времени, как узнала, что вместе с мужем бывшей ее барышни будет отбывать каторгу и Василий Львович Давыдов, неотступно хлопочет о разрешении отправиться в Сибирь для продолжения службы у Марьи Николаевны.

А пока совсем неопытные и неумелые в стряпне женщины сами взялись за хозяйство. Вариво выходило несуразное, но узники, которым жены иногда приносили обед, находили все восхитительно вкусным. Артамон Муравьев даже написал в честь кулинарок шутивно-торжественную оду.

Дружба, возникшая между Волконской и Трубецкой еще в Киеве, снова была восстановлена. Они говорили иногда целые ночи напролет о прошлом, настоящем и планах на будущее.

Но все же теперь, оставшись одна, Волконская почувствовала вдруг радость этого одиночества. Вот брызнули из глаз слезы, и никто их не видит. Они льются, льются... И от этого становится легче в груди, как будто они были каплями тающего комка тех слез, которые в последний год надо было так часто глотать, чтобы не показывать их всем мелким и крупным тюремщикам.

Наплакавшись вдоволь, Марья Николаевна прибрала избу, сложила еще не починенное белье и села дописывать письмо свекрови, которое должно было уйти с отправляющейся на другой день почтой. Она перечла написанное, сделала несколько поправок и продолжала:

«Как ни тяжелы для моего сердца условия, которыми обставили мое пребывание здесь, я подчиняюсь им со щепетильной аккуратностью. Я благодарна и за то небольшое, что мне позволяют делать для исполнения моей жизненной задачи. Чем несчастнее мой муж, тем более он может рассчитывать на мою привязанность и стойкость. Я не сержусь на моих родителей, что они, сколько могли, старались лишить меня утешения — разделять участь Сергея. Я знаю, что гораздо труднее страдать за своего ребенка, нежели за самое себя. Мне остается теперь доставить им все утешения, какие еще в моей власти. Вот почему я страстно хочу, чтобы мой сын вернулся в мою семью. Пусть его присутствие заменит им дочь, которой они во мне лишились. К тому же петербургский климат ему очень вреден.

Никогда не забуду, что я вынесла там, когда мой бедный Николенька заболел крупом. Я вам очень благодарна, милая матушка, за то, что няня Николеньки строго следует указаниям доктора Лана. Любите мадемуазель Жозефину и за меня. Эта женщина настоящий клад для моего сына. Я хочу, чтобы она всегда оставалась при нем, и настоятельно прошу удвоить ей жалованье. Вчерась я была на свидании у

Сергея. Он выглядел будто получше. Грудные боли его несколько утишились. Облегчать его душевные страдания — долг, сладкий моему сердцу. Но сила его духа такова, что должна служить мне примером. И я скорблю, что лишена возможности должным образом заботиться о его телесном здоровье, которое так ослаблено всеми жестокими испытаниями и которое, несомненно, будет разрушаться при том образе жизни, на который он обречен из-за своего несчастного заблуждения...»

Марья Николаевна просмотрела последние строки, вспомнила, что, кроме непосредственного адресата — ее свекрови, статс-дамы и обергофмейстерины Александры Николаевны Волконской, — письмо ее будет читаться сначала комендантом Нерчинских рудников, потом гражданским губернатором Сибири и, быть может, его приближенными, потом Бенкендорфом и всем III Отделением, если бы оно этого захотело, — просмотрела еще раз и в последней фразе после слова «несчастливого» приписала: «и преступного заблуждения». Хотела писать дальше, но вдруг увидела мелькнувшую перед окном фигуру Каташи.

Трубецкая вбежала в избу вся красная, с распутившейся косой, бросила нетронутую корзину с провизией на пол и с разбегу упала на лавку. Волконская кинулась к ней, взяла за плечи и с силой повернула к себе.

По-детски округленному лицу Трубецкой бежали крупные слезы.

— Каташа, ради всего святого!..

— Он меня ударил! — проговорила Трубецкая и, расстегнув дрожащими пальцами кофточку, спустила ее с плеча: на коже багровело пятно.

Волконская откинулась.

— Кто?

— Часовой...

— За что?

Волконская подала Каташе воды. Всхлипывая и глотая слезы, Трубецкая рассказала, что, когда она пришла на свидание, муж заявил, что все они объявили голодовку — протест против отношения к ним надсмотрщика Рика, который приказал им обедать каждому в своем чулане, где и так нечем было дышать, и запретил выдачу свечей, вследствие чего заключенные с трех часов дня и до семи утра пребывали в темноте.

Перепуганный Рик послал в Большой завод нарочного с рапортом о полном возмущении среди государственных преступников. Выйдя из тюрьмы, Трубецкая долго оставалась у частокола. Она пыталась уговорить заключенных не вступать с Риком в пререкания, умоляла предоставить ей и Волконской хлопотать об отмене его распоряжений и при этом так волновалась, что не слыхала требования часового отойти от забора. И вот он подошел и ударил ее...

— Но я не от этого плачу, — говорила Трубецкая, отхлебывая воды, — это меня не может оскорбить, это все равно, как если бы камень свалился с крыши и ушиб меня. Но что будет с ними? Завтра ждут коменданта... Будет расправа.

Волконская, как умела, успокаивала ее. Уверяла, что утром сама поедет к Бурнашеву и добьется, чтобы все требования заключенных были удовлетворены. Ее твердый, уверенный тон подействовал на Трубецкую; она успокоилась и с вечера рано легла в постель. Чтобы развлечь ее, Марья Николаевна читала вслух новый французский роман. Когда Каташа уснула, свернувшись калачиком и положив кулачок под щеку, Марья Николаевна осторожно вышла на крыльцо и опустилась на ступеньки. Луны еще не было, но в той части неба, где она всходила, уже разливался

светлый голубоватый туман и звездная пыль Млечного Пути становилась еще бледней.

Волконская старалась спокойно обдумать все происшедшее и приготовить нужные для Бурнашева слова. Но мысли ее неслись обрывками. От тюрьмы, где жили ссыльные солдаты и уголовные, доносилось хоровое пение. Марья Николаевна прислушалась. Один голос, чистый и задумчивый, как будто улетал на высоких теноровых нотах ввысь и таял в густой синеве ночного неба.

Напев показался Волконской знакомым. Она встала и медленно пошла по направлению хора.

«Конечно, запекает Орлов, а слова... слова Рылеева», — узнала она, когда подошла совсем близко к высокой тюремной ограде.

В это время Орлов начал новый куплет песни:
Ревела буря... Вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.

Хор снова подхватил, было песню, но грубый окрик дежурного офицера оборвал ее:

— Какого рожна развылись, ровно волки на луну! Разойдись по нарам!
Смирна-а-а-а!

Утром по всему руднику поднялся переполох. При появлении казаков жители зашептались:

— Должно, секретных судить будут.

Как только приехал Бурнашев, осужденных под конвоем повели в контору на допрос.

Трубецкая и Волконская с раннего утра, как две испуганные чайки, носились по тревожно настороженному Благодатску. Они решили быть все время на виду у начальства, как живое предупреждение против произвольной расправы с их мужьями.

Первым на допрос повели Волконского. Когда он под конвоем проходил мимо, они обе умоляли его сохранять спокойствие. Марья Николаевна даже встала на колени возле дороги. Волконский чуть слышно сказал ей по-французски:

— *Du courage, Marie! Du courage!* *note 49*

— Только бы не розги! — шептала, вся дрожа от волнения, Трубецкая. — Но меня уверили, что их не срезали,

— Как ты могла даже подумать, а не то, что говорить об этом? — упрекнула Волконская.

— Ах, я совсем теряю голову!.. — виновато потупилась Трубецкая...

Волконская уговорила ее пойти отдохнуть, а сама решила дожидаться, покуда муж будет возвращаться с допроса.

Когда его высокая, но уже начинающая заметно горбиться, фигура показалась на конторском дворе, Марья Николаевна снова встала у дороги, по которой его вели. Как ни всматривалась она в его лицо, никак нельзя было понять, что означает его строгая замкнутость. Но в словах, которые он, проходя, снова тихо бросил ей, слышала

Note49

Мужества, Мари! Мужества! (франц.)

успокоение:

— Все вздор.

Через час после отъезда Бурнашева, Марья Николаевна велела запрячь лошадь и помчалась в Большой завод.

О чем и как говорила она с Бурнашевым — никто не слышал. Но когда она вновь появилась на крыльце, бледная, с нахмуренными бровями, из-под которых черным огнем горели глаза, — Бурнашев шел за нею как-то боком, и сквозь седую щетину его щек лиловел склерозный румянец,

Легко взобравшись на телегу, Волконская изо всей силы хлестнула лошадь.

В тот же день Рик был сменен, и все требования заключенных удовлетворены.

Волконская и Трубецкая по очереди продолжали ездить в Большой завод к Бурнашеву с отчетом о расходовании своих средств. Разрешив женам декабристов иметь личные средства, правительство требовало полного контроля в их расходах, и Бурнашев строго следил за исполнением этого приказа.

Каташа вышла провожать Марью Николаевну на крыльцо.

Обычно такие поездки совершались на телеге, но в этот раз Волконская решила прокатиться в дамском седле, присланном ей недавно в подарок от сестры, Катерины Орловой.

Казачья лошадь Милка удивленно прыдала ушами от незнакомого ощущения теплоты и тяжести седока только с одного ее бока. Но Марья Николаевна улавливала ритм движения лошади, и за околицей Милка самовольно ускорила бег.

Каташа долго смотрела вслед Волконской, любясь ее красивой посадкой в седле и зеленой шляпной вуалью, мягко, как водоросль в воде, колыхающейся за нею в прозрачном воздухе.

Бурнашев в этот раз был особенно придиричив к предъявленному Волконской счету. Подчеркнув одну графу, он строго ткнул в нее пальцем:

— Разрешением расходовать иные суммы сверх положенных правительством имелось в виду смягчить, сколько правосудие и государственная безопасность позволяют, участь вашего преступного мужа. А вы, сударыня, явно злоупотребляете указанной милостью.

Марья Николаевна пробежала отмеченную Бурнашевым графу:

«Холст на рубахи каторжникам — 75 р. ассигнациями», — значилось на ней.

— Да, — сказала она, — мы с Катериной Ивановной сшили им рубахи, потому что эти несчастные...

— Они находятся на государственном иждивении, — оборвал Бурнашев, — и в вашей опеке не нуждаются.

— Но я не привыкла встречать голых людей на улице, — холодно возразила Марья Николаевна.

— Мало ли к чему вы не привыкли! Правила, кои вам надлежит выполнять, кажись, и вы и Трубецкая подписывали? А в них ясно сказано, что вы принимаете на себя все, что может быть тягостно в вашем положении.

— Я их твердо помню, — так резко проговорила Волконская, что Бурнашев поспешил смягчить свой тон.

— Вы, сударыня, в прошлый раз просили разрешения пожертвовать некоему государственному преступнику тонкого сукна шинель, принадлежащую вашему мужу. Я уже предписал горной конторе исключить ее из описи вещей Волконского и отдал по назначению.

— Merci, — коротко поблагодарила Волконская. — А пенковую трубку для мужа?

— Также разрешил, но предварительно приказал снять с нее серебряную оправу, оставив сию на хранение с прочими вещами.

— Merci, — еще раз сказала Марья Николаевна.

Бурнашев уткнул глаза в рапорт, присланный ему с Благодатского рудника берггешвореном Котлевским:

«За август месяц следует государственным преступникам жалованья:

Сергею Трубецкому — 631 /2 коп,

Сергею Волконскому — 651 /2 коп.

Евгению Оболенскому 1 р. 891 /2 коп.»

Бурнашев вдруг поднял голову и увидел, что Марья Николаевна тоже водит глазами по этому рапорту.

— Почему это Оболенскому больше, чем моему мужу, на целый рубль и двадцать четыре копейки? — спросила Волконская с ироническим возмущением. Бурнашев прикрыл счет локтем.

— Про это, сударыня, ведать надлежит, кому следует, — проговорил он. — Велите кучеру захватить мешок с кое-какими вещами на рудник.

— Я без кучера,

— Как? Одни-с?

Я верхом.

И пошла к лошади.

Бурнашев вышел за нею во двор и, почесывая щетину подбородка, мысленно сокрушался о своем тяжелом положении. С одной стороны, все инструкции, которыми его засыпало начальство относительно присланных в Нёрчинский завод декабристов, сводились к тому, чтобы сделать их существование невыносимым, с другой — каждая инструкция кончалась неизменной фразой: «Государственных преступников содержать строго, но здоровье их беречь неукоснительно». Бурнашев ненавидел своих новых «питомцев» за то, что они внесли столько беспокойства в его отупело-однообразную жизнь упорным отстаиванием своих прав на человеческое достоинство.

«И чего только с ними канительятся, — злобно думал он, — ведь все едино назад им не возвращаться».

И часто срывал на них злость тем, что упирался в каком-нибудь нелепом запрещении, и никакими силами его нельзя было тогда склонить к уступке.

21. Встреча

Приблизившись к лесной опушке, Марья Николаевна сняла шляпу и бросила поводья. Ветер тотчас же растрепал ее тугие локоны и освежил щеки, которые все еще горели румянцем досады и огорчения.

Марья Николаевна больше, чем другие жены «государственных преступников», умела сохранять хладнокровие в переговорах с тюремщиками и конвойными. Ее строгий и непреложно настойчивый тон, в котором явно чувствовалось приказание, действовал почти всегда так, что ее просьбы исполнялись.

«И как это я сегодня? Что это со мной случилось? — вспоминая о своем разговоре с Бурнашевым, упрекала себя Марья Николаевна. — Ну, сделал замечание, что мы

вмешиваемся не в свое дело, я ответила злой шуткой. Этим и надо было ограничиться. Я как будто позволила себе забыть, что в его глазах я только жена государственного преступника, сама лишенная всех прав. Ну, вот он и напомнил. Грубо, по-казарменному».

Она подняла хлыст над головой Милки, которая на медленном шаге деликатно пощипывала еще зеленые стебли придорожной травы. Но хлыст остался неопущенным. Из-за большого, уже почти безлистного куста орешника, растущего у самой дороги, шагнул ей наперерез высокий широкоплечий человек. Под накинутым армяком виднелась грубая, какая выдавалась каторжникам, казенная одежда. На голове у него ничего не было; что-то похожее на шапку он держал в руках.

— Не пугайся, княгиня, — тихо произнес он.

Марья Николаевна, придерживав Милку, с тревогой всматривалась в него.

Он тоже смотрел на нее зеленоватыми в черном ободке ресниц глазами и чуть улыбался.

— Что тебе надобно? — наконец, спросила Марья Николаевна.

— Ежели милость твоя будет, подари сколько-нибудь минут беседы, — ответил человек и, как бы для спокойствия Марьи Николаевны, отступил назад.

— Кто ты? — спросила она.

— Орлов я. Алеха Орлов.

— Разбойник?! — вырвалось у Волконской.

— Не обзывай меня таким словом, — хмурясь, проговорил Орлов. — Я отродясь разбоем не занимался.

— В таком случае, за что же ты сослан?

— Истинно хочешь знать обо мне? — вскинул Орлов опущенную голову.

— Расскажи, — ответила Марья Николаевна и, спрыгнув с седла, оперлась о теплую шею Милки.

— Небось, изволила ты слышать про князя Федора Ухтомского, того, что его лакей Кузьма да кучер Панас в овраг вместе с тройкой кинули? Я Князев дворовый человек был...

— Князя Федора? — быстро переспросила Волконская. — Того самого, который собирался жениться на Олесе Муравьевой-Апостол?!

— Стало быть, слыхала об этом деле?

— Еще бы! — выдохнула Марья Николаевна.

— Об нем нечего вздыхать, — строго сказал Орлов. — Зверь был, не человек... А вот загублены с ним две мученических праведных души под тем же снежным холмом, зря загублены... А потом наехал суд, засвистели по спинам мужиков плети да розги. Стали мы меж собой сговариваться, как беде помочь. Полетели по деревням слухи. И сам не знаю, как оно вышло, что стал ко мне народ ходить: «Как, мол, присоветуешь, Орлов, нам быть?» Ну, и растолковываешь им, бывало, по совести насчет убогой нашей доли. Старался я многих привлечь к умышляемому против помещиков возмущению. И многих уже в согласии имел, да донесли на меня лазутчики. Услышали они, что есть, дескать, закон, коим сообщники преступления, донесшие на своих товарищей, милуются от наказаний...

Орлов ухватился за куст и с силой сломал несколько длинных веток. Лицо его потемнело.

— Поймали меня. Привели на суд. Винился я так, что надлежало надо мной смертную казнь учинить. На суде отговаривался я, что более по простоте и

несмысленности своей на такое злодейство удумал. И приговорили меня вместо смертной казни к наказанию прогнанием сквозь строй и ссылке вечно в каторжную работу.

Орлов помолчал некоторое время, потом тяжело вздохнул и продолжал с тоской:

— Тяжко в каторге, княгиня! Еще зимой, куда ни шло, а как дыхнет земля весенним духом — мочи нет в неволе. Дважды бывал я в бегах. Как вырвусь на волю, ко мне мужики так и лепятся. Мигом ватага, будто железным обручем вокруг меня сколачивалась. Ну, и перебивались... — Он опустил глаза.

— Убивал? — спросила Волконская.

— Грабил. Только простой народ не трогал, а боле купцов, начальство. Иных даже посечь приказывал маленько, чтобы сами извели, да и детям рассказали, каково под плетями полеживать.

— Как же ты дальше думаешь жить? — спросила Марья Николаевна.

— Мои думки — ровно мыши в подполье. А только нынче не побегу отседова.

— Что же так?

Он только поднял на нее глаза, в которых зажегся горячий огонь.

Марье Николаевне снова стало страшно, но она старалась говорить совсем спокойно:

— Ты славно поешь, Орлов. А мое пение слышал?

— И пение и как на фортепьянах...

— И игру? — удивилась Волконская.

— Подслушиваю, крадучись, княгиня, — признался Орлов, и губы его тронула не идущая к его мужественному лицу смущенная улыбка.

Волконская погрозила пальцем.

— Смотри, попадешься!

— Двум смертям не бывать! — ответил Орлов, сверкнув белыми зубами.

Марья Николаевна вскочила в седло:

— Прощай, Орлов.

Орлов поклонился в пояс.

— Может, когда понадобится, — кликните только, Мария Николаевна.

В ближайшее свидание с мужем Волконская рассказала ему о встрече в лесу.

— Большим легкомыслием было с твоей стороны вступать с ним в беседу, — встревожился Волконский. — Это и опасный и опальный человек, и знакомством с ним ты можешь навлечь на себя недовольство... И потом... ты напрасно обостряешь отношения с «Тормоширханом».

Марья Николаевна с удивлением посмотрела на мужа.

— Так прозвал Бурнашева Трубецкой, — с усмешкой продолжал Волконский. — Имя это он вычитал из духовной книги «Угрозы световостоков», которую ему давали читать в крепости.

— Хорошо, хорошо, больше с Орловым постараюсь не встречаться, — торопливо согласилась Марья Николаевна и, видя, что муж не перестает волноваться, поспешила отвлечь его внимание. Она показала ему клочок бумаги, на котором карандашом была обведена крошечная ручонка Николеньки. Под рисунком была приписка няньки француженки: «Rouka Nikolina».

Волконский прижал к губам этот листок, потом снова посмотрел на него и улыбнулся.

Подошел дежурный офицер.

— Вы давали преступнику Волконскому письмо? — строго спросил он. — А разве вам не известно, что это запрещено?

Марья Николаевна смерила его надменным взглядом.

— Не торопитесь с выговором, поручик. Это был рисунок.

— Извольте показать его.

— Извольте взглянуть, — она подняла перед злыми глазами офицера изображение крошечной руки.

Он сердито пожал плечами и отошел.

После свидания Марья Николаевна до сумерек бродила у подножия горы, в которой работали арестанты. Она дождалась, покуда появился Давыдов, и успела перекинуться приветствиями с ним, потом с Трубецким и сообщить ему, что недомогание Каташи, из-за которого она не пришла накануне на свиданье, прошло и завтра она уже встанет с постели.

Долго смотрела Волконская им вслед, покуда их запыленные фигуры не скрылись за тюремной оградой, и вернулась домой продрогшая и усталая.

Каташа лежала в постели, но в комнате было чисто прибрано и от выбеленной известью печи шло тепло.

— Ты вставала, Каташа, — упрекнула Марья Николаевна.

— Я себя прекрасно чувствую, Машенька... Сергея видела?

Волконская рассказала о своем и о ее муже, потом присела к столу и взяла последнее письмо сестры, Орловой.

Письма перечитывались всегда по несколько раз. Это же, с описанием концерта знаменитой певицы, было особенно интересно для Марьи Николаевны.

«Чудесный соловушка прилетел к нам с юга, — писала Орлова. — Должно признать, что голос у нее не таков, как у других итальянских крикуний, которые прелестными своими руладами и мелодийными воплями заглушают рев альпийских аквилоннов, клекотание Везувия и новомодный аккомпанемент целого оркестра с трубами, тромбонами и литаврами. За эту моду, скажу мимоходом, тяжело придется отвечать перед потомством гениальному Россини. Но у госпожи Каталани голос приятный, звучный, нежный и обширный, сколько надобно для удовлетворения изящному вкусу. Однако самое чудесное в ее пении то, что, когда я, слушая ее, закрывала глаза, мне казалось, что поет не кто иной, как ты, моя дражайшая сестрица. Ах, сколь похож ее голос на твой! Столь же проникающий в душу и так же густ, чист и сладок, подобно меду с наших украинских пасек. Помнишь, ты еще в Каменке у Давыдовых и у себя в Умани певала арию Розины? Так вот представь мои чувства, когда эти самые звуки я услышала из других уст...»

Марья Николаевна уронила письмо, закрыла глаза, и воображение, привыкшее за время изгнания мгновенно побеждать пространство, перенесло ее сначала в Петербург, в Михайловский театр, с ложами и ярусами, переполненными оживленной нарядной толпой, потом — в Москву, в гостиную княгини Зинаиды Волконской, у которой она провела последнюю ночь накануне отъезда в Сибирь.

Раздвинулись бревенчатые стены избы, потолок ушел ввысь. Она была там, за шесть тысяч верст, среди родных и друзей, и слушала пение специально для нее приглашенных на вечер артистов итальянской оперы.

Как они пели! Казалось, звуки проникали в сокровенные тайники ее души, и им в ответ отдавалось скорбное эхо:

«Прощай, жизнь! Прощай, счастье! Прощай, тепло и свет!»

Этот вечер у Зинаиды... Никогда, никогда не забыть его!

Когда гости разъехались и остались только самые близкие друзья и среди них безнадежно влюбленный в Зинаиду поэт Веневитинов и приехавший в этот день из Петербурга Пушкин, Зинаида прочла свои посвященные Марье Николаевне стихи. Они были похожи на торжественную оду:

«О ты, пришедшая отдохнуть в моей обители! Ты, которую я знала всего три дня и назвала своим другом! Твой образ запечатлелся в душе моей. Твой высокий стан, как высокая мысль, встает предо мной, а твои грациозные движения подобны мелодии, которую древние приписывали звездам небесным...»

Зинаида читала стихи, закинув прекрасную белокурую голову и протянув вперед руки:

«Ты молода... а между тем твоя прошедшая жизнь навеки оторвана от настоящей. Закатилось солнце твое, и далеко не тихий вечер принес тебе темную ночь. Она наступила, словно зима нашего сурового климата, и земля, еще горячая, покрылась снегом...»

В этом месте она обернулась к Марье Николаевне и обеими руками приподняла ее лицо. С теми же патетическими интонациями, с какими читала стихи, Зинаида медленно проговорила:

— У тебя глаза, цвет лица — как у девы Ганга, и, подобно ей, жизнь твоя запечатлена долгом и жертвой. Окружи себя гармонией, дыши ею! И пой, пой... Разве жизнь твоя не гимн? — и залилась слезами.

«А как бледен, как взволнован, был в тот вечер Пушкин! — вспоминала Марья Николаевна. — Прощаясь, он обещал непременно написать о нас книгу. Он даже говорил о своем намерении приехать к нам в Нерчинск... Каким долгим поцелуем приник он к моей руке...»

— О чем ты так глубоко задумалась, Маша? — окликнула Трубецкая.

Волконская вздрогнула.

— Я была далеко, далеко. Как все же прекрасно, что никому не дано накладывать запрет на нашу память и воображение... Для нас, не имеющих будущего, с нашим настоящим, осталось одно прошлое. И каким привлекательным кажется оно мне теперь! Как рай из ада. В воспоминаниях мы обладаем полной возможностью наслаждаться этим раем, как праведники, которым нет изгнания...

— Ты права, мой друг. Я тоже мысленно веду разговоры с отцом, с друзьями и знакомыми, которые бывали у нас в доме. Я посещаю балы, езжу с мамой по модным лавкам... — с улыбкой говорила Трубецкая. — Хочешь, отправимся мысленно вместе в Москву? Папа мне писал, что он собирается туда как раз в эти дни. Он приглашен на свадьбу к моей кузине. А мы с тобой пойдем в гости... к кому бы?

— К Зинаиде Волконской, — серьезно ответила Марья Николаевна, — я только что вспоминала, как она поет, как читает стихи...

— А ты пела у нее в тот вечер? — вспомнила Каташ о том, о чем только что думала ее подруга,

— Нет, тогда я не могла петь...

— Машенька, дорогая, спой что-нибудь! Так хочется пения, музыки... Спой, прошу тебя!

Та послушно подошла к фортепиано — подарку Зинаиды.

Притаившись за слюдяным оконцем, Орлов следил за каждым ее движением. Вот она опустилась на табурет перед инструментом. Худые, гибкие пальцы резво

пробежались по клавишам. Голова чуть-чуть откинулась, и Марья Николаевна запела. До слуха Орлова доносились непонятные слова на чужом языке, но тоска в них звучала такая понятная, такая хватающая за сердце, что Орлов приник к окну еще плотней. От его горячего дыхания на обледенелой слюде образовался совсем прозрачный кружок, и Марья Николаевна стала видна вся — от высокой гребенки, воткнутой в прическу, до маленьких ног, обутых в красные сапожки с меховой оторочкой.

— Пой, касатка, пой! — мысленно умолял Орлов, как только она умолкала.

И она пела. Пела долго, пока голос не оборвался на высокой ноте. Она беспомощно уронила руки на клавиатуру и опустила на них голову.

Когда Орлов возвратился в арестантский барак, юродивый старик Селифан рассказывал товарищам одну из своих бесконечных историй о чудесах, ангелах и видениях.

Орлов положил к нему на затылок свою тяжелую руку. Селифан, ожидая какой-нибудь злой шутки, втянул голову в плечи.

Но Орлов повернул его лицо к себе и серьезно проговорил:

— Я, Селифаша, нынче тоже, словно ангела видел...

— Иде, соколик? — посмотрел на него Селифан без всякого удивления.

Лежащие на нарах каторжники замерли в ожидании острого словца Орлова. Но тот молча отошел к своему месту и лег, скрестив руки под головой. И мгновенно в его воображении встала смуглая женщина с невеселыми черными глазами на бледном лице...

«Ведь вот какая жалостливая, — думал о Марье Николаевне Орлов, — а поет-то, поет! Да за такую жизни не жалко...»

На соседних нарах высокий тенорок рассказывал невидимым в темноте слушателям:

— Едем эт-та мы. Тьма вокруг тьмушая. Лес дремучий. И вдруг что-то как свистнет. Как шикнет... И выскочили — двое лошадей под уздцы, а двое к нам в телегу. Орлов одного хват за грудки! А тот как признал его, так и взмолился: «Батюшка, грит, Алексей Иваныч, смилуйся над нами, дураками, что мы, дескать, будто оглашенные... И не знали, мол, мы и не ведали... — рассказчик запутался и вдруг обратился к Орлову: — Как бишь он причитал, Алексей Иваныч?

— Иди ты... — хотел, было запустить Орлов виртуозным ругательством, но образ высокой смуглой женщины был так ясен и близок, что он только стиснул зубы и процедил: — Видишь, лежит человек, не шелохнется, так и нечего ворошить...

— И право слово, — поддержал из другого угла какой-то арестант, которому очень хотелось дослушать, что рассказывал своему соседу худой чахоточный мужичонко.

— Позвали, значит, меня в волостной суд, — поминутно откашливаясь, продолжал тот, — иду это я и думаю: «Зачем бы я им нужен?» Прихожу, а мне волостной писарь и сказывает: «Нам, Петрован, исправник наказал тебя выдрать...» — «Ишь ты, говорю. А за что про что?» — «А ты на ланской неделе супротив дворянской фатеры песни пел?» — «Ну, пел, ответственую. Что тут диковинного! Всегда пою песни, когда хмельной бываю...» — «А вот за это самое и велено драть». — «Ан нет, говорю, не верю». — «Как хошь, а только выдерем...» — «Пугаешь, говорю. Не верю, все едино не верю...» — «Ей-ей, выдерем». И что же вы, братцы, думали — подписали решение, поставили вместо меня, неграмотного, крест и... отпустили мне двадцать

пять розог... Вытер я, братцы, пот со лба, отряхнулся, плюнул и пошел из волостного правления. Однако ж стала меня, братцы, с того самого времени кручина изводить. Ни об чем ином думать не могу, как об том, за что же меня выпороли. Чисто вянуть стал, как от хворобы лютой. И задумал я до правды дойти... А ведь до нее, как до воды в колодце, покуда докопаешься... И куда только за нею, за правдою, я не ходил, у кого только об ней не допытывался, откедова только меня не гнали. А я что ни дальше, то будто медведь на рожон прю. Ну и наскочил на одно благородие. «Ты, говорит, долго будешь мне надоедать?!» Да как затопчет на меня и руки к моим волосьям простирает... Тут я невзвидел свету: как двину его что было мочи посошком по башке. Он и обмяк... А я его сызнава уже по темени. Он и испустил дух. Схватили меня, избили в кровь допрежь суда. А опосля него заковали в кандалы, да в вечную... А мне, братцы, куда легче ныне. Знаю, по крайности, за что терплю. И нудьги такой, как была, и в помине нету...

Генерал Лепарский, объезжая Нерчинские рудники, оставался в Благодатске дольше обыкновенного. С особой тщательностью просмотрел все представленные Бурнашевым ведомости и рапорты о восьми государственных преступниках, работающих в этом руднике, и вдруг отдал неожиданное распоряжение:

— Объявить княгиням Волконской и Трубецкой, чтобы они были готовы к отбытию послезавтра в Читу. Сопровождать их должен унтер-офицер Малофеев-второй. Сему унтер-офицеру дать открытое предписание, чтобы от станции до станции для безопасного их проезда давали по три человека конных крестьян.

— Слушаю-с, ваше превосходительство, — козырнул Бурнашев.

— Всех восемь человек государственных преступников, — продолжал генерал, — отправить туда же спустя два дня по маршруту при команде из унтер-офицеров и двенадцати казаков, находящихся при них в руднике.

Котлевский незаметно перекрестился: «Ух, слава те, господи, увозят!» — и тут же решил устроить по этому случаю именины своей Любеньки, не в пример прочим годам, многолюдные и с хорошим угощением.

22. Созвездие

Не менее трех месяцев проходило обычно, покуда оборачивалась почта, то есть покуда на письмо, отправленное из ссылки в Петербург или какое-либо иное место России, получался ответ. В то время как Марья Николаевна, гуляя в окрестностях Читы, собирала камешки для коллекции, которая должна была со временем попасть в руки Николеньки, сам Николенька уже лежал в ограде кладбища Александро-Невской лавры в Петербурге под небольшим холмом, украшенным белым мраморным крестом. А по столице уже ходили написанные по поводу его смерти стихи Пушкина:

В сиянье, в радостном покое
У трона вечного творца
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца...

Старик Раевский, приехавший в это время в Петербург, решил встретиться с матерью своего зятя, княгиней Волконской.

Раевский не любил княгиню, считал ее сухой и черствой женщиной, в которой все

чувства, и даже материнское, были заглушены условностями придворного этикета и соображениями служебного долга. Будучи первой обергофмейстериней двух императриц, кавалерственной дамой ордена св. Екатерины и бывшей старшей воспитательницей государя, она хладнокровно отнеслась к судьбе своего сына и даже в день увоза его в каторжные работы танцевала с царем в Москве на одном из балов, данных во время коронационных торжеств.

Княгиня приняла Раевского в гостиной с затынутыми черным коленкором зеркалами. Против нее в углу, вся в черном, с черными плерезами на рукавах и подоле платья, сидела бывшая няня Николеньки, француженка Жозефина.

В продолжение всего визита Раевского ее восковое лицо не шевельнулось, и только старческие руки непрерывно теребили бахрому черной шали.

Сама Волконская была тоже в черном старомодном платье и широченном чепце с черными и белыми лентами.

Грудь ее украшал огромный, осыпанный алмазами медальон с портретами обеих императриц.

Ее мясистые щеки отливали нездоровой желтизной, а большие навывкате глаза смотрели на Раевского сквозь двойной лорнет с холодной настороженностью.

Раевского не тронули ни траурные ленты ее чепца, ни такие же плерезы на тяжелом старомодном платье.

Когда она завела речь о том, как подготовить «бедных Сергея и Мари к постигшему их несчастью», он сухо оборвал:

— Моя дочь, обреченная на каторжную жизнь, не нуждается в излишних сентиментах, мужество ее безмерно, и утешительные слова ей не нужны. Но ежели вы сможете из сего горестного удара извлечь какое-либо облегчение ее участи, указав на него государю, — сделайте это, не входя в обсуждение, приличествует или не приличествует по такому случаю обращаться к монарху.

— Прежде всего, я переговорю обо всем с императрицей матерью. Ее величество принимала большое участие в покойном малютке. Она называла его *l'enfant du malheur note 50*. И разве не трагична его судьба? Бедное дитя! — Волконская поднесла к глазам платок с траурной каймой. — Я словно сейчас вижу, как бедный Николенька играет конвертом с сургучной печатью, в котором пришло разрешение государя на поездку Мари в Сибирь...

Раевский, стиснув зубы, нетерпеливо ждал, чтобы старуха кончила свои «ламентации», как он называл подобные разговоры.

— Вы должны, княгиня, неотступно добиваться того, чтобы жизнь наших несчастных детей была сколько-нибудь сносной. Государыня Марья Федоровна вас любит, а она имеет на своего сына большое влияние.

Старуха вздохнула.

— Да, но в деле четырнадцатого декабря государь ни с кем не считается, кроме Бенкендорфа и, пожалуй, Алексея Орлова, который в последнее время входит все в больший фавор. Они даже в интимной дружбе с его величеством и вместе инкогнито посещают балетных фигуранток и французских актрис. Можно было бы попытаться расположить государя в пользу более сердечного отношения к нашим несчастным через Нелидову, но его величество не любит, чтобы показывали вид, что знают об его

Note50

Дитя горя (франц.).

отношениях с этой фрейлиной.

Оба долго молчали.

— В последних письмах Мари просит меня выхлопотать для нее у государя разрешение жить вместе с Сергеем в его каземате, — наконец, проговорила Волконская. — Я обещала ей добиться этого.

Раевский впервые услышал о желании дочери добровольно заключить себя в остроге, и сердце его сжалось.

— Я полагаю, — продолжала Волконская, оправляя креповые рюши у свисавших над воротом дряблых щек, — я надеюсь, что государю и самому захочется хоть чем-нибудь утешить бедную мать, — и она подняла глаза вверх.

Раевский едва справился с приливом гнева и, сухо простившись, поспешил уйти. Про себя он решил никогда больше не переступать порога этого дома. Он ненавидел не только мать Волконского, но и всю его семью за то, что всю тяжесть несчастья с Сергеем они взвалили на плечи его, Раевского, дочери. За то, что при своих больших связях они почти ничего не предпринимали для облегчения ее участи. За то, что «Волконские-бабы», по его глубокому убеждению, сыграли немалую роль в решении Марьи Николаевны ехать в Сибирь. Ведь это они взывали к ее героизму и указывали ей на пример Трубецкой, которая немедленно уехала за своим мужем. Но старик Раевский отлично знал, что Трубецкие нежно любили друг друга, а его дочь вышла за Волконского, только подчинившись отцовской воле. Именно поэтому его беспрестанно мучила мысль, что его любимица Машенька явилась жертвой не только эгоизма всей семьи Волконских, но в большой степени и его отцовского честолюбия...

Совесть не давала старику покоя, и поэтому, когда жена с болезненной дочерью Элен уехала в Италию, Раевский остался в России для того, чтобы всем, чем только можно, облегчать Машину судьбу. Его денежные дела к этому времени пришли в большое расстройство. Дела Давыдовых в связи со смертью Екатерины Николаевны, болезнью Александра Львовича и ссылкой Василия Львовича также находились в упадке. Оба молодые Раевские были заняты устройством собственной жизни, благополучие которой пошатнулось в связи с их временным арестом по делу 14 декабря. Старуха Волконская помогала сыну нерегулярно. Марья Николаевна никогда не жаловалась на нужду, но Раевский знал от сестры Лунина, что брат ее одолжил Волконским тысячу рублей.

Это был последний толчок для того, чтобы Раевский сам взялся за хлопоты по устройству денежных дел сосланного Волконского.

Облачившись в парадный мундир со всеми орденами, он отправился к министру юстиции князю Лобанову-Ростовскому, с которым когда-то был в дружеских отношениях. Князь принял его не как друга молодости, а как министр просителя, да еще ходатая за опального человека. Раевский с первых же минут свидания уловил этот официальный тон, и вся беседа их была деловита и суха.

— Имение Волконского, — заговорил Лобанов-Ростовский, как только выслушал Раевского, — должно было перейти к его малолетнему сыну. До осуждения своего, с которым кончилось его гражданское существование, Сергей Волконский имел невозбранное право распоряжаться благоприобретенным им имением по своей воле и усмотрению. Но для сего требовалось, чтобы сие волеизъявление было предъявлено в надлежащее судебное место и получило от ононого утверждение или до осуждения его, Сергея Волконского, или после, токмо прежде истечения двух месяцев от времени последовавшего о нем окончательного приговора. Поелику же не видно, чтобы этот

порядок был сохранен, то на основании указа от шестого марта тысяча семьсот четвертого года...

— Этому указу больше ста двадцати пяти лет, — вырвалось у Раевского.

Лобанов-Ростовский чуть приподнял седую бровь и продолжал с той же деловитостью:

— За смертью прямого наследника, младенца князя Николая Волконского, имение должно поступить в род князей Волконских, к родным дядьям его.

Министр открыл лежащий перед ним том свода законов и пропустил из-под большого пальца многочисленные листы. От этого движения, как от взмахов веера, повеяло на Раевского холодом. Он провел рукой по лбу, закинул назад пряди густых седых волос и, глядя на министра в упор, спросил:

— А моя дочь, которая живет для мужа в ссылке, оставя навсегда родителей и родных, к коим столь нежно привязана, сохраняет ли по крайности права на законную седьмую часть имения ее мужа?

Лобанов, все время шнырявший взглядом по сторонам, поднял его при этом на спрашивающего. И в двух парах встретившихся глаз переметнулись вспышки бездушья и гнева. Министр насупился, почесал тупым краем карандаша переносицу и отчеканил:

— Жена дворянина, подвергшегося за преступление политической смерти и не принимавшая в тех преступлениях участия, не лишается прав, благородному званию дарованных, а потому ей самой не преграждается право хлопотать о выделе ей из родового имения мужа указанной части. Для сего ей следует обратиться с прошением в подлежащее присутственное место той губернии, в коей помянутое имение состоит.

— Но ведь куда будет длиться переписка и соблюдение всех формальностей... — начал было Раевский.

Но князь пожевал сухими губами:

— *Dura lex, sed lex* note 51, — и лицо его приобрело неподвижность истукана.

Накануне отбытия к себе в Болтушку, генерал Раевский подъехал к роскошному дому графа Лавалья на Английской набережной. Было уже поздно, но у подъезда стояло несколько экипажей. Один из лакеев, бывший камердинер князя Трубецкого, видел Раевского в Киеве. Он знал о судьбе его дочери, княгини Волконской, и был уверен, что его господа будут рады этому гостю.

— Я бы желал видеть только графа и графиню, — сбрасывая ему на руки шинель, сказал Раевский.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, прямо в кабинет, а я мигом доложу.

— У вас нынче танцуют?

Лакей печально махнул рукой.

— С отъездом ее сиятельства Катерины Ивановны никаких танцев не случается. Сегодня несколько господ литераторов собралось. Господин Пушкин читали, а иные слушали.

«Вот кого с радостью повидаю», — подумал Раевский и, тяжело ступая по мраморной лестнице, минуя гостиную, поднялся в кабинет графа.

С тех пор как обоих отцов постигло одно и то же горе — разлука с уехавшими в Сибирь дочерьми, — встречи стариков носили теплый, почти родственный характер.

Note51

Закон суров, но это закон (лат.).

Они не стыдились друг перед другом показывать свою сердечную скорбь и не стеснялись в выражениях по адресу «возлюбленного монарха» и его приспешников.

Когда Раевский рассказывал о смерти внука, граф Лаваль то и дело нюхал граненый флакон с успокоительной солью и вытирал слезы.

— Бедные, бедные наши девочки! — говорил он растроганно. — Нет, каков «обожаемый монарх»! Что ему стоило не разрешить женам следовать за мужьями... Вот она, жестокость деспота, сдобренная псевдорыцарским отношением к женщине. «Вам, сударыня, угодно заживо похоронить себя? Смею ли препятствовать! S'il vous plaît *note 52*, — путь к могиле открыт».

Лаваль, подражая царю, сделал величественный жест.

— Да, — вздохнул Раевский, — где не помогли ни наши просьбы, ни угрозы, достаточно было бы одного царского «нет», чтобы наши дочери выбросили из головы и самую мысль о поездке.

Заложив руки за спину, он прошелся несколько раз по кабинету и, остановившись против портрета Трубецкой, засмотрелся на него. Лаваль тоже поднял глаза на этот портрет.

— «Какая милая жена», — проговорил он, вспоминая слова Николая о дочери. — Экой лицемер! Он даже упрекнул Сергея Петровича в том, что тот погубил мою Кашу.

Ласковые глаза смотрели с портрета на Раевского. Овал лица и подбородок с глубокой ямочкой были у Трубецкой отцовские, но задорный носик и мягко очерченный рот такие, какие бывают только у русских женщин... В кабинет вошла графиня Лаваль.

— Пойдемте в гостиную, — пригласила она мужа и гостя. — Там очень интересно. Пушкин читал свою комедию о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Оказывается, он написал ее давно, да ему никак не разрешают ее печатать. Сколько поднялось споров, разговоров... Сейчас уже многие из гостей разъехались, но самые интересные остались — Пушкин, Мицкевич, Глинка и Грибоедов... Да еще приехала из Москвы Зинаида Волконская. Отсюда она уезжает на воды лечиться. Уверяют, что на нее очень повлияла кончина бедного поэта Веневитинова. И потом, мой друг, — обратилась она к мужу, — мсье Воше сегодня у нас с прощальным визитом. На рассвете он покидает Петербург.

Раевскому очень хотелось повидать Пушкина и Грибоедова. Любопытно было поговорить и с Воше, который провожал Катерину Ивановну в Сибирь до Урала. И, преодолев душевную и физическую усталость, он направился вместе с четой Лавалей в гостиную.

Еще проходя по залу, он услышал высокий мужской голос, патетически произносивший не то речь, не то стихи.

Графиня остановилась у полуоткрытой двери в гостиную.

— Это Мицкевич. Подождем, пока он кончит, — сказала она.

Чуть раздвинув портьеры, Раевский увидел озаренное свечами канделябра тонкое, с большими прозрачными глазами, одухотворенное лицо Мицкевича.

Длинный черный сюртук туго охватывал его невысокую худощавую фигуру. Черный шейный платок, завязанный пышным бантом, оставлял открытым с боков

стоячий белоснежный воротник, края которого достигали худых щек.

Высоко держа голову, Мицкевич декламировал с выразительными жестами:

— «Счастлив тот, кто пал в неудаче, если своим упавшим телом он дал иным ступень к свободе.

Пусть дорога к ней скользка и крута, пусть заграждают доступ насилие и слабость.

Насилие отражается силой, а бороться со слабостью будем учиться из млада.

Кто младенцем в колыбели оторвал голову гидре, тот юношей будет душить центавров...

Так идем же рука об руку, цепями взаимности опояшем земной шар.

Все мысли устремим к одному пламени, все души соединим в одном стремлении.

Прочь со своих основ, о глыба старого мира!..»

Он закашлялся, попробовал продолжать, но кашель душил и, беспомощно разведя руками, Мицкевич прошел к креслу, стоящему в тени огромной «Каташиной» пальмы. Называлась она так потому, что была подарена Лавалем жене в тот день, когда Каташа родилась.

Как только Раевский показался на пороге, его встретили горячими приветствиями, а Пушкин радостно бросился к нему.

— Уж теперь, княгиня, вы непременно должны спеть пушкинские стихи, — сказал Зинаиде Волконской небольшого роста плотный молодой человек в модном светло-коричневом сюртуке с бархатным воротником.

Мелкими торопливыми шажками он подошел к фортепиано и, взяв несколько аккордов, выжидательно оглянулся на Зинаиду.

— Мицкевич ведь только с этим условием согласился читать отрывок из своей оды, — спрашивал ее и Пушкин. — И, кроме того, княгиня, — сказал он потише, — романс этот должен доставить генералу Раевскому особое удовольствие. Да нельзя вам обидеть и композитора. Ведь Глинка сказывал мне, что писал этот романс от души и сердца, не правда ли, Михаил Иванович?

Молодой человек подал Зинаиде ноты своего романса.

Зинаида вздохнула и медленно подошла к фортепиано. Глинка заиграл вступление.

Грибоедов сразу узнал напетую им Глинке грузинскую мелодию. Он пересел на кресло ближе к певице и с восторгом слушал и ее пение, и прекрасный аккомпанемент.

Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальной.
Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой бедной девы!..

— с глубоким чувством пела Зинаида.

— Черты нашей Машеньки? — растроганным шепотом спросил у Пушкина Раевский.

Поэт молча наклонил голову.

Как ни упрашивали Зинаиду спеть еще что-нибудь, она решительно отказалась:

— В последние месяцы я совсем не пою. Сегодня я сделала исключение для трех творцов этого романса. — Она с благодарностью пожала руки Грибоедову, Глинке и Пушкину, потом подошла к Раевскому. Усевшись в стороне, Пушкин видел, как они говорили о чем-то, видимо одинаково волнующем их обоих.

Мицкевич тоже вышел из тени пальмы и встал против Грибоедова, взявшись обеими руками за спинку кресла, на котором сидел Глинка.-

— Казалось бы странным, — заговорил он с польским акцентом, — что в некоторых напевах знойной Грузии я слышу мелодии моей угнетенной родины. Несомненно, что поработанные народы, испытывая одни и те же чувства, изливают их в родственных мелодиях. В мое нынешнее путешествие по России я много прислушивался к мелодиям, распеваемым русским народом.

Глинка вскочил с места.

— После бурного патриотического марша Домбровского, — сказал он, — вам, Мицкевич, вряд ли могли понравиться простые, безыскусственные песни наших крестьян.

Мицкевич строго посмотрел на него большими прозрачными глазами и продолжал:

— Я видел людей с сильными плечами, с широкой грудью... Они полны мощи, но на их лицах еще не отразился огонь, пылающий в их сердцах. Страна, по которой я проехал, точно белая раскрытая страница, приготовленная для писания. А ее жилища! Эти колодезные срубы, прикрытые сверху соломой... Кстати, один из тех, кто ныне изъят из живой жизни, но остался последователен в своих убеждениях, — Михаил Лунин — незадолго до рокового четырнадцатого декабря говорил, что стоны, исторгнутые из груди живущих под такими соломенными кровлями, порождают бури, которые должны разрушить дворцы... Увы, покуда мы зрим обратное: стоны, вырвавшиеся у тех, кто жил во дворцах и столичных хоробах, обрекли их на каторжные норы сибирских рудников. Руки братьев Бестужевых — поэтов и воинов — прикованы к каторжным тачкам, шея Рылеева затянута гнусною петлей... А у тех, кто живет под ветхими кровлями, и до сих пор самые песни похожи на стоны!

— Полноте, Мицкевич, — гневно перебил Глинка, — я люблю итальянскую музыку, я слышал испанские мелодии, но русскую песню не отдам ни за какую баркароллу или серенаду! — И он продолжал с жаром говорить о русской музыке, о народных песнях, слышанных им на Смоленщине и Украине. Ему очень хотелось втянуть в этот разговор Пушкина и Грибоедова.

Но Грибоедов только изредка бросал одобрительные реплики, а Пушкин скоро отошел к генералу Раевскому, который разговаривал с Лавалем и молодым горбоносым человеком с седой прядью в черных, кверху зачесанных волосах.

Лаваль представил его Пушкину:

— Мсье Карл Август Воше, мой, увы, бывший секретарь: на днях он уезжает во Францию. Мсье Воше провожал мою Катеньку до Урала и, пожалуй, поехал бы и дальше, если бы имел на это разрешение.

Воше печально вздохнул и почтительно обратился к Раевскому:

— Генерал моя соотечественница Полина Гебль на этой неделе едет в Сибирь к своему гражданскому мужу господину Анненкову. Я порекомендую ей явиться к вам, чтобы предоставить вам возможность передать через нее сведения или письмо для вашей дочери.

Раевский с благодарностью пожал ему руку.

— Позвольте и мне воспользоваться в этом случае вашей любезностью, — попросил Пушкин. — Я хотел бы послать...

Француз порывисто стиснул ему руку:

— Все, что вам будет угодно! Буду рад просить об этом Полину Гебль и совершенно убежден в ее согласии. Мы с нею очень горды тем, что, живя в России, имели честь и счастье встретить замечательных русских людей. Едва ли не лучшие из них в Сибири... Память о них я увезу во Францию. И кто знает, может быть, живя в моей стране, я смогу быть хоть чем-нибудь полезен дорогим сибирским изгнанникам. Если мои услуги вдруг понадобятся когда-нибудь, вот мой адрес.

Он вытащил из бумажника три визитные карточки, на которых был написан его адрес в Марселе, и раздал их Пушкину, Раевскому и Лавалю.

За ужином Пушкин сидел между Мицкевичем и Раевским напротив Грибоедова.

Поэты вспоминали Киев, Одессу, Крым, море. Вспоминали Москву и знаменательные встречи. Вспомнили незабвенных друзей — Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера...

— Нынче я получил от него письмо из Динабургской крепости, — чуть слышно сказал Пушкин.

Грибоедов просиял улыбкой.

— Я не ослышался? От Вилли? — тоже тихо спросил он, дотрагиваясь краем своего бокала до пушкинского.

— Да, от него. Он обращается к нам обоим: «Любезные друзья мои, поэты Александры Сергеевичи...»

— Пришлите мне это письмо, — попросил Грибоедов.

— Вы тоже у Демута стоите?

Грибоедов утвердительно кивнул головой.

— Утром оно будет у вас, — обещал Пушкин.

Больше за ужином они не разговаривали. Грибоедов снял очки и не только не замечал обращенных на него взглядов, но как будто даже не слышал, что говорилось вокруг.

— Его, кажется, снова отправляют в Азию? — вполголоса спросил о нем Раевский у Пушкина.

Услышав этот вопрос, Мицкевич проговорил со вздохом:

— Вряд ли такое назначение будет содействовать развитию его творческих сил...

— Так что же, — с горькой усмешкой произнес Пушкин, — ведь Грибоедов уже написал «Горе от ума»...

От Лавалей вышли вместе — Пушкин, Грибоедов и старик Раевский.

Белая ночь уходила, и заря на светлом небе напоминала болезненный румянец на бледном лице. Фонари вдоль набережной маячили ненужными желтоватыми огнями. Нева, порозовевшая от заревого отражения, сонно катила свои полные воды. Вдоль недостроенного Исаакиевского собора медленно двигалась извозчичья пролетка. Стук копыт, похожий на удары колотушки ночного сторожа, звонко разносился в тишине. Грибоедов окликнул извозчика и предложил:

— Поедемте к Демута вместе, Александр Сергеевич.

— Благодарю вас, но мне хотелось бы еще поговорить с генералом, — отказался Пушкин.

Грибоедов стал прощаться.

— Нынешним летом я надеюсь быть на Кавказе, — крепко пожимая ему руку, сказал Пушкин. — Авось мы свидимся в Тифлисе.

— Наверяд ли, — вздохнул Грибоедов, — меня посылают в Персию. Со смертью старого шаха, которая не за горами, там, разумеется, начнется междоусобица. А когда эти люди схватятся за мечи... — Грибоедов умолк и шагнул к извозчику.

Пушкин с Раевским продолжали идти вдоль Александровского бульвара. Воздух был напоен запахом недавно распустившейся листвы и речной прохладой.

— Все, все в Грибоедове для меня привлекательно, — говорил взволнованно Пушкин. — Я люблю его меланхолический характер, его острый ум. Люблю даже его слабости — неизбежные спутники человечества.

При последних словах Пушкин обернулся в сторону, куда только что поехал Грибоедов. В эту минуту пролетка сворачивала за угол. Грибоедов тоже обернулся и, сняв шляпу, взмахнул ею, как будто бы сделал размашистый росчерк под последним словом послания.

Раевский взял Пушкина под руку, и они двинулись дальше.

— Мицкевич ныне необычайно грустен, — после долгого молчания заговорил Раевский.

— Он, видимо, угнетен судьбой своей отчизны, — задумчиво ответил Пушкин. — Кроме того, причиною его ипохондрии может служить несчастная его длительная страсть к красавице Марыльке Верещак. Упорство в любви и к родине и к женщине присуще характеру Мицкевича. Он как будто носит железные перчатки рыцаря времен старой Польши.

— Ну, бог с ним, — желая успокоить Пушкина, сказал Раевский. — Расскажи лучше, что ты написал в последнее время.

Пушкин близко заглянул ему в лицо.

— Последние мои стихи — эпитафия на смерть сына Марии Николаевны, — грустно ответил он. Я написал их до нашей с вами встречи, — и был бы счастлив, если бы смог через Полину Гебль или вместе с вашим письмом переслать ей эти строки.

Раевский прижал к себе его локоть.

— Давай, голубчик. Я знаю, сколь благодарна будет тебе Машенька.

Он взял из рук Пушкина свернутый листок и положил его по внутреннему карману мундира.

— Расскажи о себе, — попросил он после долгой паузы.

Пушкин нервически пожал плечами:

— Нехорошо я живу. Просился уехать — не пускают. Добивался позволения драться с турками — ответили, что в действующей армии не может находиться кто-либо из не принадлежащих к ее составу. Да если бы и взяли, то хорош бы я был где-либо в арьергарде с безусыми юнцами. Здесь же непрестанно таскают на допросы, обязуют подписками, чтоб никаких своих творений без рассмотрения цензуры выпускать не смел. В мою жизнь, кроме царя, вмешиваются еще Правительствующий сенат, Государственный совет, главнокомандующий в столице граф Толстой, петербургский военный губернатор, Бенкендорф со своим Третьим отделением и всевозможными статс-секретарями и полицейскими чиновниками, вплоть до хожалых

и будочников. Я нахожусь и под явным и под тайным надзором. Мне приписывают все жалкие, постыдные и кощунственные произведения, к коим я вовсе никакого касательства не имею. Я болтаюсь в свете потому, что я бесприютен...

— А мне сказывали, что ты часто едешь в Приютино, — попытался Раевский шуткой рассеять настроение Пушкина.

Тот вздохнул:

— К сожалению, Приютино Олениных — приют для слишком многих. А мне надоело не соответствующее моим летам положение, когда глупый юнец может потрепать меня по плечу и даже пригласить в неприличное общество.

— Тогда женись, — уже серьезно проговорил Раевский. — Ежели не находишь невесту здесь, так ведь красавиц на Москве немало.

— А вы слышали что-либо о Гончаровой? — с живостью спросил Пушкин.

— Слышал, что она чудо как хороша и что ты вконец ею «огончарован».

— Уж и до вас докатился мой каламбур! — вдруг рассмеялся Пушкин, и Раевский уловил в его лице и смехе выражение удовольствия. — Гончарова — прелесть! Но «не дай бог хорошей жены: хорошу жену в честной пир зовут», — вполголоса пропел он отрывок народной песни.

У трактира Демута, где остановился Пушкин, они крепко обнялись на прощанье.

На другой день Раевский писал своей дочери второе письмо после смерти внука:

«Я не виню Волконских-баб в худом уходе, из-за которого погиб князь Николай. Не вини и ты себя в том, что ежели бы ты была возле, то отогнала бы смерть от колыбели твоего младенца. Все меры, кои могли бы отвратить ее, были взяты, но ничто не могло спасти его. Мир его праху. А стражду я о тебе и, как умею, молю бога за тебя — жертву невинную. Да утешит он твою душу, да укрепит твое сердце... Встретился я тут в Петербурге с поэтом Пушкиным. Просил он тебе сердечно кланяться и передать стихи, сочиненные о кончине Николеньки. Как увидишь сама, в них стремление утишить скорбь матери, и сие есть действительное доказательство его способа чувствовать. Не отчаивайся, Машенька, береги себя. Ты составляешь столь же сильный объект моей родительской любви, сколь был для тебя Николенька. И в то время как ты еще так молода и возможность найти утешение в будущих твоих детях должна служить для тебя исцелением в скорби, ныне тебя постигшей, я, мой друг, живу лишь надеждой когда-либо прижать тебя к своему сердцу. Доживу ли, Машенька? Годы уходят и, как текучие воды, несут меня ближе и ближе к вечному пределу».

23. За частоколом острога

Среди вещей умершего Николеньки, которые, по настойчивой просьбе Марьи Николаевны, были ей пересланы свекровью, она больше всего любила связанное из гаруса одеяльце. Она пришила к одному его краю завязки и носила вместо накидки. Это пестрое, из малиновых и палевых полос одеяльце нарушило строгую черноту траура, в который Марья Николаевна облеклась со дня получения письма о смерти сына. Одеяло, так недавно согревавшее больного тельце ребенка, как будто еще хранило в себе частицу тепла отлетевшей маленькой жизни. И ледяное безразличие, которое владело Марьей Николаевной, медленно таяло, как будто теплота гаруса согревала не только ее плечи, но и ее продрогшую в жизненной стуже душу...

Вскоре по перемещении в читинский острог в эту же тюрьму пригнали на ночлег

большую партию ссыльных, среди которых были офицеры и солдаты разбитого на юге революционного полка Сергея Муравьева-Апостола.

Среди них находились его ближайшие сподвижники: Мозалевский, Соловьев и Сухинов.

Марья Николаевна много слышала о Сухинове и от мужа и от Давыдова, который рассказывал ей, что видел Сухинова в Каменке незадолго до собственного ареста. Когда Давыдов узнал, что Сухинов в Чите, он сказал:

— Хорошо, что его здесь не оставляют. Это беспокойнейшая личность.

Узнав, что прибывшие перенесли бесконечные мытарства, лишены всяких забот, нуждаются в самом необходимом и, прежде всего, в том, чтобы услышать приветливое дружеское слово. Трубецкая и Волконская испросили разрешение Лепарского посетить их в тюрьме.

Первой отправилась Марья Николаевна. Помимо желания пойти на помощь, у нее еще таилась надежда узнать что-либо о своих близких, о последних днях жизни любимой бабушки — Екатерины Николаевны, о братьях и обо всех, кто бывал там, в бесконечно милой Каменке. Но вид Сухинова так изумил и огорчил Волконскую, что эти вопросы показались ей неуместными.

Сухинов, когда-то слывший самым интересным и жизнерадостным офицером в полку, теперь стоял перед нею изможденный, заросший бородой, неопрятный, с воспаленными, все время беспокойно мигающими глазами.

— Смешно было бы, княгиня, если б я стал извиняться перед вами за мой столь непрезентабельный вид, — заговорил он, когда Волконская протянула ему руки, и голос его был сух и скрипуч, как будто все жизненные соки были выжаты из него непомерной тяжестью перенесенных страданий. — Нас гнали полтора года. Полтора года в обременяющих руки и ноги железках, в сообществе оподленных преступлениями и насилием людей...

Он тяжело перевел дыхание.

— Где вы были взяты? Дядя Василий Львович рассказывал, что вы уже после ареста Муравьева были у нас в Каменке.

При упоминании имени Давыдова Сухинов болезненно поморщился.

— После разгрома нашего полка под Трилесами мне удалось скрыться в одной из окрестных деревушек. Несколько дней меня укрывал у себя в погребе крестьянин, и я не раз слышал, как в его избу забегали жандармы. Он рисковал жизнью, в случае если б я был обнаружен. По ночам он приносил мне теплую одежду и пищу и ни за что не соглашался отпустить, покуда не убедился, что преследователи ушли в другой район. Тогда он дал мне лошадь, решительно отказавшись от предложенных денег. От него-то я пробрался в Каменку. Здесь у Давыдова — своего друга и единомышленника — я думал найти хотя бы временный покой. Ночью я пришел в квартиру вашего лекаря и просил его тут же известить обо мне Василия Львовича. Он вышел, но скоро вернулся и сказал: «Не ищите здесь убежища. Скройтесь в другом месте, и чем скорее, тем будет для вас лучше». — «Это ваше желание?» — спросил я его. «Я не волен ни в одном из своих желаний. Я служу у помещика и потому нахожусь в зависимости от него», — таков был его ответ.

Марья Николаевна густо покраснела.

— Вероятно, дядя сам ожидал ареста с минуты на минуту, и боязнь подвергнуть вас опасности руководила им при отказе...

— Простите, княгиня, — перебил Сухинов, — в то время об аресте Давыдова еще

не могло быть и речи. Вы ведь знаете, что он последовал через несколько месяцев после моего.

Наступила короткая, мучительная для обоих пауза.

— Куда же вы девались потом? — спросила Марья Николаевна, с усилием отгоняя мысль о недостойном поведении Давыдова.

— Целый месяц я бродил с места на место и, попав, наконец, в Кишинев, решил переправиться через Прут, чтобы навсегда оставить отечество. И хотя оно было для нас не матерью, а жестокой мачехой, все же расставание с ним было тягостно. Подойдя к реке, я обернулся в последний раз, и всей миг в покрывающем дали утреннем тумане, как мираж в пустыне, всплыли воспоминания о тяжелой участи товарищей, обремененных цепями и брошенных в тюрьмы. Сомнения охватили меня: будет ли мне сладостна свобода, когда мои друзья обречены влачить жизнь, как тяжелое ярмо? Я решил обдумать еще раз свое положение и вернулся в Кишинев. Потом еще несколько раз добирался я до берегов Прута. Его величаво-спокойные волны навевали на меня какое-то философическое примирение с судьбой. «Все течет», — сказал античный мудрец. И сам я, с усталой до изнеможения душой, решил отдаться волнам жизни. Я перестал хорониться и скоро был арестован, закован в железа и привезен сначала в Одессу к Воронцову...

— А как он отнесся к вам? — поспешно спросила Марья Николаевна.

Саркастическая усмешка тронула губы Сухинова:

— О, как истый джентльмен. С вечера велел расковать железа, подать ужин с шампанским и чистое белье, а утром забыл обо мне. И я снова очутился во власти полицейского чиновника, который своей грубостью довел меня до того, что я однажды бросился на него с ножом. Негодяй испугался, и его поведение во время остального пути до главной квартиры при Первой армии, куда он вез меня на следствие, было сносно.

— Скажите, когда вы были у Воронцова, графиня...

Но Сухинов не дал ей кончить.

— Графиня Елизавета Ксаверьевна отправилась к своей матушке и, если не ошибаюсь, вашей тетке, графине Браницкой, — взволнованно говорил Сухинов, — а сия последняя сделала в Следственную по нашему делу комиссию заявление, что жертвует восемьдесят пудов чугуна на кандалы для нас.

«Хороша бы я была, если оставила бы у нее моего Николеньку, — с горечью подумала Волконская, и другая мысль, не менее мучительная, кольнула сердце; — А разве мать Сергея сберегла моего младенца?».

А Суханов продолжал свой страшный рассказ:

— Нас судили военным судом как клятвопреступников, возмутителей, бунтовщиков, изменников, оскорбителей высочайшей власти и еще чего-то — теперь уж не упомню. Меня и Соловьева удостоили того же приговора, что и пятерых наших товарищей, погибших на виселице в Петропавловской крепости. Нас тоже сначала решили четвертовать. Но и в отношении нас была проявлена «высочайшая милость» собственной резолюцией царя на докладе Аудиториатского департамента: «Соловьева, Сухинова и Мозалевского, по лишении чинов и дворянства и преломлении шпаг над их головами пред полком, поставить в городе Василькове, при собрании команд из полков 9-й пехотной дивизии, под виселицу и потом отправить в каторжную работу навечно». Когда для свершения этой гнусной комедии нас привезли утром в город и вывели на площадь, сентенцию о нашем наказании читал не кто иной, как тот самый

Гебель, которому так досталось от нас, когда он приехал арестовывать Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. Можете себе представить, с каким выражением мстительной радости смаковал он каждое слово приговора! А когда я, услышав «сослать в вечно-каторжную работу в Сибирь», крикнул: «И в Сибири есть солнце!» — Гебель, а за ним и начальник штаба бешено затопали на меня ногами и требовали предания дополнительному суду... К виселице, вокруг которой нас обводил палач, были прибиты доски с именем Муравьева-Апостола, Щепилы и Кузьмина...

— Такая же отвратительная комедия была проделана и над моим мужем, Трубецким, Оболенским, Якушкиным и другими ночью тринадцатого июля на площади в крепости, — с горестным вздохом проговорила Волконская. — Их заставили стать на колени, срывали с них мундиры и ордена, бросали все это в горящие костры, потом тоже ломали над головами шпаги, да так неосторожно, что некоторых тяжело поранили...

— Мы слышали об этом, — сказал Сухинов. — Слышали и о жестокой расправе над солдатами нашего полка. Особенно над теми, кто мужественно признался суду в добровольной готовности следовать внушаемому офицерами замыслу и в приклонении к тому своих товарищей рядовых. Фейерверкеры и канониры из рот братьев Борисовых, Андреевича и Горбачевского были приговорены к прогнанию шпицрутенами через тысячу человек по два и по три раза, невзирая на их боевые заслуги и беспорочную службу. Многих забили насмерть. А тех, кто вынес эту пытку, разослали в окраинные полки и на Кавказ, в Отдельный корпус... — Сухинов надрывно закашлялся. Мелкие капли пота, как росинки, увлажнили его обветренное худое лицо. Волконская положила руку ему на плечо и, стараясь утешить, сообщила об известии, полученном ею от свекрови из Петербурга. Свекровь писала, что царица ожидает ребенка, и в случае благополучных родов царь обещал милость осужденным.

Сухинов безнадежно махнул рукой:

— Ни в какую милость сверху я не верю. Нам надо самим себя помиловать. И это твердо решено.

— Но вы погубите себя, ведь кругом столько...

— Не знаю, — горячо перебил Сухинов, — лучше ли длительная агония, в которой мы все пребываем, быстрой гибели в случае неудачи...

Из вещей, принесенных Волконской, Сухинов больше всего обрадовался табаку. Не успевая докурить одной скрученной из бумаги цыгарки, он с жадностью принимался за другую.

Когда присутствовавший при их свидании часовой отошел в противоположный угол камеры, Волконская сунула Сухинову пачку ассигнаций и быстро проговорила:

— Завтра вас всех угоняют в горную контору. Если вы будете работать в Благодатском руднике или поблизости от него, постарайтесь связаться там с осужденным на каторгу Алексеем Орловым. Это верный человек. Скажите ему, что я вас к нему...

Подошел часовой, и Марья Николаевна умолкла.

Прошло немного времени после отбытия партии с Сухиновым. Подойдя утром к двери, Волконская увидела на полу у порога подsunутую кем-то записку:

«Нас поселили в доме бывшего семеновца, сосланного по делу Шварца. Сухинов завел крепкие сношения со ссыльными на предмет организации побега. Употребляем всяческие меры для отвращения его от сего предприятия, угрожающего гибелью всем нам. Просим совета и содействия».

Из-за этого известия, переданного в казематы, там почти никто ночью не спал.

Спокойнее других к нему отнесся Никита Муравьев:

— Я, право, не понимаю, почему Мозалевский и Соловьев так волнуются. Кто не рискует, тот не выигрывает.

— То-то мы рискнули! — откликнулся со своих нар Трубецкой.

— Вы как раз не очень-то рисковали, — язвительно проговорил Завалишин, не простивший Трубецкому его поведения в день 14 декабря.

Трубецкой смущенно кашлянул.

— И все же я здесь, с вами, — сказал он,

— А я бы тоже предложил сделать попытку к освобождению, — нарушил неловкую паузу Басаргин. — И дело-то простое. Первое — обезоружить караул и команду. Затем арестовать коменданта и офицеров. Запастись провиантом, оружием. Наскоро построить баржу и по Ингоде, Шилке и Аргуни спуститься в Амур и плыть до самого его устья.

— А в самом деле, — горячо зашептал Ивашов, — нас семьдесят человек, а команды немногим больше. И из нее половина нам сочувствует и, конечно, присоединится. Из каземата выйдем легко...

— А наши жены? — спросил Волконский. — Ужели мы смеем делать попытку подвергнуть их новым испытаниям и опасностям, которые, несомненно, могут оказаться в нашем рискованном предприятии?

Слова Волконского будто опрокинули ушаты ледяной воды на разгоряченные головы.

Наутро все вышли на работу хмурые и молчаливые.

Молча рыли землю, молча возили тачки ко рву, который назывался «чертовой могилой», и такие же молчаливые вернулись в казематы.

Вскоре к Никите Муравьеву пришла на свидание жена. За ней, как всегда, шел дежурный офицер. На этот раз это был поручик Дубинин, который относился к узникам с особенной неприязнью.

Сожители Муравьева по каземату поспешили, как обычно, оставить Муравьевых вдвоем, надеясь, что и офицер выйдет хотя бы в соседнюю комнату. Но тот сел на табурет и мутными глазами уставился на Александрину.

Никита, заметив, что она поеживается от озноба и очень бледна, предложил ей прилечь на нары. Сам же сел так, чтобы заслонить жену от пьяных глаз поручика, и старался развлечь ее рассказами о том, что прочел в полученных с последней почтой газетах и журналах. Она сначала слушала безучастно, но потом заинтересовалась и стала задавать вопросы, при этом, по привычке, смешивала русскую речь с французской.

Поручик, услышав незнакомый язык, резко приказал:

— Говорите только по-русски.

Александрина совсем умолкла. Лицо ее покрылось яркими пятнами, но все же она принуждала себя внимательно слушать мужа. Когда он рассказывал о том, что в Париже должно ожидать новой революционной вспышки, она с волнением спросила:

— А если там революция будет победоносной, не думаешь ли ты... — и с загоревшимися надеждой глазами чуть слышно закончила по-французски: — может быть, наш тиран испугается, и наша участь...

— Кому я сказал?! — вскакивая с табурета, рывкнул поручик. — Заткнись со своей неметчиной!

— Qu'est ce qu'il veut, mon ami? *note 53* — Поднявшись с нар, Александрина с испугом схватила мужа за руку.

— А, так ты нарочно?! — поручик кошкой прыгнул к Александрине и, схватив за хрупкие плечи, с силой толкнул к двери.

Александрина вскрикнула и опрометью бросилась вон. Дубинин кинулся за нею вдогонку, а за ним, придерживая кандалы, побежал Никита.

Звон цепей, крики, стук мгновенно наполнили оба каземата, коридор и тюремный двор.

За Дубининым, путаясь в ножных цепях, неуклюже гнались оба Муравьева, Басаргин и Волконский. Но Дубинин все же успел выскочить во двор, по которому металась Александрина.

В пьяном буйстве поручик приказал солдатам примкнуть к ружьям штыки. Но Муравьев скомандовал: «Смирно!» — и ни один солдат не тронулся с места даже тогда, когда брат Александрины, Захар Чернышев и Басаргин, скрутив Дубинину руки, не выпускали его из своих цепких объятий.

Дежурный унтер-офицер выпустил Александрину через калитку, а сам побежал за плац-адъютантом.

Когда тот явился, узники, прежде всего, потребовали немедленного удаления Дубинина. И потребовали так, что плац-адъютант поспешил согласиться...

Вскоре приехал Лепарский. Разобрав все, что произошло, ой решил, что виною всему был Дубинин, который посмел явиться на дежурство в пьяном виде. Дубинина убрали.

— И все же, господа, — говорил Лепарский Муравьеву, Волконскому и всем заключенным, принимавшим участие в истории с Дубининым, — все же вы были очень неосторожны! Вы только подумайте, что могло случиться, если бы солдаты послушались не вас, а своего хотя и нетрезвого, но все же прямого начальника.

Перед отъездом он зашел к Муравьевой, чтобы извиниться перед нею за «печальный инцидент», как он называл всю эту безобразную историю. Но извинения эти до Александрины не дошли. В тот же день она заболела острым нервным расстройством.

Слушая ее бред, штаб-лекарь Штатенко сокрушенно покачивал головой...

Волконская и Нарышкина, которая жила вместе с Муравьевой, круглые сутки поочередно дежурили у ее постели. Они с трудом раздвигали ее потрескавшиеся от жара губы, чтобы влить лекарство или несколько ложек бульона, прикладывали к ее пылающему лбу компрессы. Но ничего не помогало. Тогда они потребовали от Лепарского, чтобы больную посетил заключенный в каземате с их мужьями доктор Вольф.

Фердинанд Богданович Вольф, которому незадолго до болезни Александрина передала присланную ей свекровью аптечку и ящик с хирургическими инструментами, слыл прекрасным врачом до ссылки, когда служил еще штаб-лекарем при квартире Второй армии. В Чите же он пользовался всеобщим признанием, и даже сам Лепарский, издавна страдавший болезнью печени, был одним из восторженных его пациентов. И когда к просьбам Волконской и Нарышкиной присоединился и Вольф, — Лепарский не мог противиться.

Note53

Что он хочет, мой друг? (франц.)

Зажав меж колен кандалы, чтобы их бряцание не потревожило больную, Вольф, долго стоял у ее постели, прислушиваясь к короткому дыханию и бессвязному бреду, в котором на разные лады повторялась фраза о том, что ее кто-то хочет ударить большим молотком и ей надо бежать куда-то изо всех сил.

— Елизавета Петровна, — чуть слышно обратился Вольф к плачущей в углу на сундуке Нарышкиной, — больной, прежде всего, необходимы успокоительные ванны. Затем я пришлю микстуру, которую надо давать каждые два часа.

Нарышкина заволновалась.

— Но где же здесь взять ванну? Боже мой, что же теперь делать?

— Александра Григорьевна так миниатюрна, что можно воспользоваться деревянным корытом, которое, несомненно, найдется у хозяев, — сказал Вольф.

Когда он ушел, Нарышкина велела старику, хозяйкиному свекру, которого за его древность и выносливость прозвали «Кедром», внести корыто и согреть воды.

— Ай стирать собралась, на ночь глядя? — заворчал старик.

— Не стирать, а больную купать, — нетерпеливо ответила Нарышкина.

— А баня на что? Ей бы попариться до поту, а потом сразу в реку — хворь как рукой снимет. А то в избе да в корыте, какое ж купанье?! И где же мне столько водицы согреть?

Нарышкина вскинула голову:

— Ну, и не надо. Я сама...

Она схватила коромысло, ведра и в одном платке побежала через улицу к колодцу.

Когда она шла обратно, ее плечи опустились, и вся тоненькая фигурка изгибалась под непривычной тяжестью двух налитых ведер, как тростинка при ветре. От неровных, спотыкающихся шагов вода выплескивалась через край и обливала ей платье. Запыхавшаяся и красная, она с трудом поднялась на ступеньки крыльца.

Старик посмотрел на нее исподлобья:

— Эх ты, пигалица! И как только вас отцы-матери растили? Куда вы годны! — И, заглянув в наполовину пустые ведра, прибавил с той же жалостливой насмешкой: — Этой водицы — курице напиться, только и всего...

Он вылил воду в большой чугунок, вскинул на плечо коромысло с ведрами и вышел из избы.

«Мои отцы-матери, граф и графиня Коновницыны, очевидно, растили меня не так, как было нужно», — думала Нарышкина, глядя, как старик, положив обе руки на края коромысла к самым ручкам ведер, бодро шел от колодца. Оба до краев налитые ведра были, казалось, прикрыты круглыми голубыми стеклами.

После упорного лечения Александрине стало лучше. Доктор Вольф продолжал ежедневно посещать ее, пока не убедился, что опасность для жизни миновала. Тогда он прописал больной строгий режим и обещал, если она будет «умницей», приготовить для нее сюрприз. Он решил убедить Лепарского в необходимости для излечения Муравьевой заставить ее испытать новое потрясение, одинаковое по силе, но, само собой разумеется, такое, которое должно было доставить ей не боль, а радость.

Вольф рисовал Лепарскому картины того скандала, который в случае осложнения ее болезни поднимется здесь, в остроге, и там, в Москве и Петербурге. Он уверял его, что мать Муравьевых прибегнет ко всем законным и незаконным, мерам, чтобы добиться расследования этого дела и наказать прямых и косвенных виновников гибели

невестки. Лепарский слушал его, с недоумением и испугом.

Когда год тому назад Бенкендорф представил царю список лиц, одно из которых предполагалось послать в Сибирь в качестве надежного тюремщика над декабристами, царь, недолго думая, указал на Лепарского.

— Ваше величество также изволите помнить, как сей генерал, в Польше привел целую партию своих соотчичей-конфедератов к месту заключения при весьма ограниченной страже? — спросил тогда Бенкендорф.

— Да, как же. И, кроме того, генерал не совсем справляется со своей задачей воспитания юношества, — язвительно прибавил царь.

Бенкендорф понял, что царь не может забыть одного случая при посещении им морского кадетского корпуса, начальником которого незадолго до этого был назначен генерал Лепарский, полвека прошедший в строевой службе. Бенкендорф, приехавший туда за несколько минут раньше царя, разговаривал с Лепарским по поводу прекрасной выправки вытянувшихся в струнку воспитанников. Вдруг в зал вошел царь. Его лицо пылало от негодования, левый угол рта мелко и часто дергался книзу, а белки выпуклых глаз покрылись кровавыми жилками.

— Ясно — заметил, — не поворачивая головы, беззвучно прошептал худенький мальчик своему товарищу. — Слышишь?

Кадет от удовольствия покраснел, отчего светлый пух его будущих усов и бороды стал заметнее.

— Конечно, заметил, — и осторожно перевел взволнованное дыхание.

Проходя узким коридором, ведущим в зал, царь действительно заметил на гладком и блестящем, как лед, паркете маленькую виселицу с пятью повешенными мышами. На один момент он в замешательстве остановился, на один только миг потерялся. Нюхом учуял за собой смятение блестящей свиты, острым слухом уловил подавленный вскрик. И резко двинулся вперед.

«Не заметил...» — трепыхнулась надежда у тех, кто был сзади.

«Заметил, заметил!» — ликовали те, на чьих молодых, замерших в одном повороте лицах застыл, как дуло на прицеле, взгляд царя.

— Это тебе за брата! — мысленно бросил в царя один.

— За дядю! — ударил другой.

— За братцев!..

— За сестрины слезы!..

— За маменькино горе!..

— За Рылеева!..

— За Мишеля Бестужева-Рюмина!..

Царь понимал, что нужно во что бы то ни стало обороняться от этого молчаливого нападения.

— Здорово, кадеты!.. — наконец, удалось ему выдать обычное приветствие, прозвучавшее совсем необычно, без звонкого раската и казенной ласки.

Молодые побледневшие лица словно окаменели.

Кадеты молчали.

«Как там, как тогда...» — мгновенно вспомнил царь 14 декабря, когда он, будучи шефом Измайловского полка, выведенного против мятежных войск, на свой вопрос: «Пойдете за мной, куда велю?» — услышал при полном молчании солдат надрывный крик: «Рады стараться, ваше императорское величество!» — одного только командира полка генерала Левашева.

И генерал Лепарский поступил так же, как в свое время генерал Левашев: взмахнул рукой и взглядом в упор то в одно, то в другое лицо требовал ответа на царское приветствие.

Дежурные надзиратели метнулись к воспитанникам и вытянули из их рядов разрозненные, недружные возгласы:

— Здравия желаем, ваше императорское величество!

Царь крепко стиснул зубы. Жестокое оскорбление сдавило грудь. Он побагровел еще больше и круто повернул к выходу.

Николай не только терпеть не мог всех, так или иначе связанных с «друзьями четырнадцатого декабря» родством или свойством, но старался избегать даже тех, кто был вольным или невольным свидетелем этого на всю жизнь напугавшего его дня и всего, что было в какой-то мере с ним связано.

Решение убрать Лепарского созрело тотчас же после позорного для царя случая в кадетском корпусе. Все родственники и даже дальние свойственники повешенных и сосланных в каторгу декабристов были снова тщательно проверены III Отделением и заподозренные в малейшей неблагонадежности под разными предлогами удалены из кадетского корпуса.

Самого же Лепарского отправили в Сибирь главным комендантом Нерчинских горных заводов с особыми, выработанными царем совместно с Дибичем и Бенкендорфом, инструкциями в отношении будущих его поднадзорных.

Лепарскому, умевшему в течение десятков лет командовать конно-егерским полком, шефом которого был сам Николай до вступления на престол; Лепарскому, в чей полк на выучку и укрощение переводились все беспокойные элементы из других полков; Лепарскому, чьим девизом была высеченная на его печати надпись: «Не переменяется», — ему было нестерпимо трудно в новом для него деле укротителя уже не конных егерей, не безусых юнцов, а этих странных «принцев в рубище», этих «не поддающихся разложению политических трупов», как он мысленно именовал декабристов. Но еще труднее приходилось ему от их жен.

В то время как лишённые всех прав мужья в отношениях с администрацией избегали нарушать дисциплину, их жены, разделяя всю тяжесть положения каторжан, пользовались возможностью жаловаться частным образом своим влиятельным родным и даже правительству. Когда Лепарский упирался на какой-нибудь «букве закона», они зывали к его гуманности, говорили ему в глаза, что тюремщиком простительно быть лишь в том случае, если пользоваться своею властью для облегчения участи заключенных. Иначе он оставит по себе позорную память. В объяснениях с «дамами» Лепарский всегда переходил на французский язык, боясь, чтобы кто-либо из гарнизонных солдат или офицеров не услышал «чисто карбонарийских» выражений, которые произносились его собеседницами.

— *Ne vous echauffez pas, mesdames! Soyez raisonnables* *note 54*, — утихомиривал он женщин. — Неужели вы хотите, чтобы меня из генералов разжаловали в солдаты?

— Будьте лучше солдатом, но порядочным человеком, — возражали «дамы».

— Вы требуете от меня невозможного... Ведь это скомпрометирует меня в глазах правительства.

А «глаза» правительства значили для генерала много больше, чем те, которые с

Note54

Не горячитесь, сударыни! Будьте рассудительны (франц.).

выражением гнева, настойчивости и нетерпения были устремлены на него при таких объяснениях.

Доводы Вольфа показались ему убедительными, но все же средство, которое он предлагал для спасения своей пациентки, было рискованным — не для нее, конечно, а для самого Лепарского.

— А вдруг дойдет... А вдруг донесут... — возражал он Вольфу.

— Никто не донесет, — уверял Вольф. — Да разве поверят в Петербурге кому-нибудь в доносе на вас, которого сам император назначил на столь ответственный пост? Мы всё так устроим, так обдумаем...

В следующие дни Лепарский объявил себя больным и вызвал доктора Вольфа. В полутемной спальне генерала «больной» и врач обдумывали план. И, наконец, Вольф добился от Лепарского согласия. Оставалось только приготовить к сюрпризу Муравьеву, и Вольф поручил это Нарышкиной.

24. Вести

Екатерина Федоровна Муравьева и мать Бестужевых, у которой по делу 14 декабря пострадали все пять сыновей, по мнению Бенкендорфа и подведомственного ему III Отделения, были самыми беспокойными и неутомимыми из всех, кто хлопотал о пострадавших по этому делу.

В то время как мать Бестужевых из-за скудости своего состояния все надежды на улучшение участи своих сыновей возлагала главным образом на «монаршую милость», Екатерина Федоровна, хотя тоже не раз со слезами и горячей материнской мольбой «припадала к стопам императора, милосердию которого нет границ», в то же время искала и находила всякие возможности к передаче своим сыновьям в Сибирь таких посылок, содержимое которых было бы опротестовано властями. Муравьева была богата и не боялась возможности пропажи части пересылаемого. Да этого почти не случалось, ибо тем, кто исполнял ее поручения за деньги, она платила так щедро, что не было смысла воровать. А те, кто делал это из сочувствия ее горю или из уважения к адресатам этих посылок, относились к ним с большей бережливостью, чем к собственным вещам. Нелегальные письма, в которых сообщались обычно важные сведения, интересные для всех изгнанников, имели на конверте короткий безымянный адрес: «Нашим» и подписывались условно.

Самим «государственным преступникам» писать родным не разрешалось, это делали за них их жены. Они выслушивали во время свидания все пожелания ссыльных и, придя домой, спешили скорей записать их. После обычного обращения «Милостивая государыня» или «Милостивый государь» письмо начиналось фразой: «По поручению вашего сына, уведомляю вас, что...», и дальше излагалось целиком то, чего хотелось заключенному, но только в третьем лице. Этих писем приходилось писать очень много, но, зная, сколько радости и утешения они приносят и адресатам и отправителям, «дамы» писали их с большой готовностью.

За одним из таких писем застал Волконскую сын дьячка, долговязый угреватый семинарист, отпущенный к отцу в гости на престольный праздник.

Поклонившись с порога так, как будто хотел боднуть головой, он полез за пазуху и вытащил пакет.

— Кузнецов велел вам передать, — проговорил он срывающимся басом.

Марья Николаевна схватила конверт. «Нашим» — стояло на нем одно слово.

— Присядьте, — указала Волконская на скамью.

— Иду это я мимо лавки с красным товаром... — рассказывал семинарист, но Марья Николаевна не слушала его. Жадными глазами пробежала она по строкам письма. В нем сообщалось, что не далее как через две почты будет получен приказ о снятии с узников кандалов. Что приказ этот уже государем подписан и лишь задерживается из-за формальностей канцелярии III Отделения. И еще сообщалось, что письмо это передается через купца, который по несколько раз в год шлет в Москву обозы с пушниной и забирает для Читы всякого товару. Через него удобно держать связь и в дальнейшем.

— Только чтоб папаша не знал, что я был у вас, — смущенно оправляя свой длиннополый сюртук, попросил семинарист, когда, Марья Николаевна обратила на него внимание. — Сейчас-то их дома нет. На требу с отцом Никодимом к Муравьевой пошел...

— Что вы говорите! — воскликнула Марья Николаевна, бледнея.

— Захворала она, сказывают, безнадежно и, почуяв смертный свой час, пожелала по христианскому обычаю...

— Простите меня, — перебила Волконская, — но я должна сейчас же бежать туда.

Семинарист снова, боднул головой и, пятась, отступил к двери. Он не успел еще свернуть за угол, как мимо него в легком платье, с одной лишь кашемировой шалью на плечах пробежала Волконская.

«Экая горлянка!» — глядя ей вслед, прошептал семинарист.

Из ворот дома, в котором жила Муравьева, вышел священник. Пока Марья Николаевна о чем-то говорила с ним, семинарист метнулся обратно к забору и, чтобы его не заметили, распластался на земле возле сложенного хвороста. Волконская, распахнув шаль, словно на крыльях летела к Муравьевой. Навстречу ей оттуда выбежала Нарышкина. Увидев ее сияющие на умном лице глаза и спокойную улыбку, Марья Николаевна едва выговорила:

— Боже мой, я ничего не понимаю! Что с Александриной?

— Не волнуйтесь, Мари, — заговорила по-французски Нарышкина, — я спешила к вам, чтобы передать всю эту историю, которую сочинил наш милый Вольф.

И она рассказала, как Вольфу удалось упросить Лепарского разрешить Никите Муравьеву навестить жену, а чтобы из этого не создать «историю для Петербурга», было решено распусть слух, что Александрина при смерти, желает исповедаться, для чего она, Нарышкина, и вызвала священника.

— Лишний раз исповедаться такой грешнице, как Александрина, — шутливо говорила Нарышкина, — не мешает. Но чего мне стоило убедить ее, что это надо сделать только из конспиративных соображений! Бедняжка думала, что ее дело действительно безнадежно, и ужасно волновалась. Но зато он, ее Никита, сейчас там...

Из глаз Марьи Николаевны брызнули слезы.

— Я так рада за нее, — проговорила она, — и счастлива, что могу доставить ей еще одну радость!

Она торопливо передала Нарышкиной полученное известие и поспешила к Александрине.

«Как счастливо, что и Никита здесь! Он сегодня же передаст нашим в острог эту утешительную весть».

В сенях ее встретил хозяйкин свекор, «Кедр». Он притянул ее за плечо и

скороговоркой прошептал на ухо:

— У Муравьихи муж из острога. С солдатом привели.

Стоящий у порога в комнате Муравьевой солдат, зорко взглянув на Волконскую, поправил сползшее с плеча ружье и растерянно переминался с ноги на ногу. В ряде строгих наставлений, которые были сделаны ему Лепарским по поводу порученного ему государственного преступника Никиты Муравьева, ничего не упоминалось насчет возможности появления при этом свидании посторонних лиц. И после некоторого размышления солдат решил, что ему, следовательно, надлежит спокойно оставаться на своем посту.

Лицо Александрины горело румянцем счастья, а глаза, устремленные на сидящего возле нее Никиту, шурились, как будто она смотрела на солнце. Он одной рукой придерживал кандалы, другой гладил ее разметавшиеся по подушке золотистые волосы. Когда он приподнялся, чтобы поцеловать руку Волконской, Александра потянулась за ним, обняла сзади за плечи и закрыла глаза.

Марья Николаевна быстро придумала, как сообщить им счастливую новость.

С самым невинным видом она стала рассказывать о своей прогулке верхом по окрестностям Читы.

— Эти места так хороши, так красивы, — говорила она, многозначительно поглядывая на Муравьевых, — что, право, не знаю, с чем их сравнить. Они напоминают, пожалуй, картины той природы, которые описаны французским писателем в романе: «*Bientot va suivre l'ordre d'oter les fers aux detenus*» *note 55*

Муравьева широко раскрыла глаза. Никита тоже вскинул на Волконскую радостно-недоверчивый взгляд:

— Мне кажется, что сочинение это называется: «*Est-il possible*»? *note 56* — стараясь говорить спокойно, спросил он.

— Нет, я точно знаю, что именно так, как я сказала, — настойчиво повторила Волконская.

Когда она наклонилась над Александринной, чтобы поцеловать ее, часовой, думая, что она навсегда прощается с умирающей, отвернулся, чтобы не увидели сочувствия на его лице.

Уже давно так спокойно не проводили вечера, собравшиеся к Волконской гости. Среди них присутствовала и приехавшая к Анненкову Полина Гебль. Впрочем, теперь она уже не носила этой фамилии, так как через несколько дней по приезде была обвенчана с Анненковым. С разрешения начальства на время венчания с Анненкова сняли кандалы. Но едва только новобрачные вышли на паперть, как он снова был закован и отведен в тюрьму.

Француженка привезла свою неистощимую жизнерадостность и в изгнание. Она со смехом рассказывала новым подругам о своих хлопотах, связанных с поездкой к обожаемому Жану, — так она называла Ивана Александровича. О том, как она сказала царю, что готовится быть матерью, в то время как ее дочь уже ползала по коврам в доме своей богатой бабки Анненковой, которая такая оригиналка, такая непонятная и такая смешная: спит в роскошных туалетах под плюшевым балдахинном и сидя в

Note55

Скоро последует приказ о снятии кандалов с узников (франц.).

Note56

Возможно ли это? (франц.)

кресле. И требует, чтобы при этом горничные девушки тихонько шипели. В карету садится лишь тогда, когда сиденье обогрето толстой-претолстой приживалкой. Дворецкого способна отхлестать по щекам за то, что он отпускает в девичью лишние свечи, а потом подарит ему дорогую шубу, на еноте, почти не ношенную.

Мысли Полины перепархивали с предмета на предмет, от царя к ямщикам, которые везли ее и, с которыми, она разговаривала по-русски.

— Да, да, mesdames! — хохотала она, — я им говорю: «Na tchai, poskoref, vodka!» А они мне: «Obrok, nitchego, avos...»

Гости тоже смеялись, представляй себе, как ни слова не говорящая по-русски Полина «разговаривала» с ямщиками.

Разошлись поздно, но заснуть ни Волконская, ни Трубецкая не могли: у хозяина по случаю престольного праздника тоже были гости. Сквозь деревянную перегородку, было слышно, как поручик Дубинин жаловался:

— Нет, вы мне скажите, где после этого справедливость?—

Вслед за этим вопросом послышалось звяканье стекла о стекло и бульканье. — Начальство требует от нас сугубой к государственным преступникам строгости, и к их женам не меньшей. Вот я ей и сказал: «Сударыня, не выражайтесь на чуждом диалекте», — а она — нуль внимания... Пришлось, следовательно, воздействовать... И мне же попало... Каково это «переносить»?

— До истины весьма трудно дойти, сын мой, — смиренно прозвучал сочный тенорок отца Никодима. — Где истина, где она, где те пути неисповедимые, кои приведут нас к ее обетованному обиталищу?

И снова длительное бульканье из узкого горлышка. А следом недовольный голос хозяина:

— Не ищите только, гости дорогие, истины на дне графина, к коему вы столь усердно прикладываетесь. Особливо вы, отец Никодим. Чай, слыхали о высочайшем повелении относительно угощения духовных лиц?

— Что городишь, человече? — недоверчиво спросил, отец Никодим.

— А то, что знаю. Как неоднократно доходило до сведения его императорского величества о скоропостижных кончинах духовных лиц, последовавших от чрезмерной напоенности в гостях у светских хозяев, то вышел к неременному наблюдению циркуляр, буде подобный факт смерти духовного лица в нетрезвом состоянии установлен, то при производстве о сем следствия присовокуплять сведения о самих хозяевах. Так что не сочтите за скупость.

— О сем не беспокойся, за меня, по крайней мере! — засмеялся отец Никодим. — Ни единым и не двумя подобными сосудами смерти моей не приблизить...

— Слышишь, Мари? — чуть уловимо донеслось с кровати Каташи.

— Еще бы... — Не то всхлипнув, не то засмеявшись ответила Волконская.

А за стеной Дубинин, поставив локти между тарелкой с солеными грибами и остывшими пельменями, опустив на руки голову, горько каялся в своих тяжких грехах, роняя пьяные слезы на пестрядевую скатерку:

— Пойду я наг и бос по святым местам, пойду по всем угодникам замаливать мерзости, мною содеянные. До самого Киева дойду, беспременно дойду!..

— В Киеве, — басовито перебил семинарист, — такие кабаки есть, что и не опамятуешься. Мне Петька Крестовоздвиженский сказывал. Его за разгул из одной семинарии выставили, а наш батя благочинный ему дядей приходится, так к нам его перевели.

Дубинин всхлипнул еще несколько раз, со звоном отодвинул свой стакан и, стуча тяжелыми сапогами, пошел домой. Там снова велел подать себе вина и, напившись до ярости, жестоко избил своего тщедушного денщика.

Перед рассветом кто-то осторожно, но настойчиво постучал в окно. Марья Николаевна подняла голову.

Масляный ночник с треском догорал чахлым огоньком, и белесый рассвет заполнил комнату.

Стук повторился.

Марья Николаевна, набросив стеганый капот, босиком подбежала к окну, откинула занавеску и с испугом отшатнулась назад.

Орлов, прижав лоб к стеклу и заслонясь с висков обеими руками, глядел на нее большими блестящими глазами. Он что-то говорил, но Марья Николаевна не слышала. Тогда он, ткнув себя пальцем в грудь, показал на внутренность избы, и Марья Николаевна откинула крючок на входной двери.

Через минуту Орлов перешагнул порог.

— Водицы испить бы, княгинюшка, — прошептал он запекшимися губами и в изнеможении опустился на лавку.

Марья Николаевна подала ему ковш.

Шумными глотками выпил он его до дна.

— Убежал? — вырвалось у Волконской.

Орлов молча кивнул головой.

— Укройте до ночи, княгиня, а ночью пойду дальше, — так же шепотом проговорил Орлов.

Марья Николаевна взглянула на полог, за которым спала Каташа, и села на лавку, подобрав озябшие ноги.

— Возьми хлеба, — указала она Орлову на полку.

Он отломил кусок, съел, старательно подбирая все крошки, и ближе придвинулся к Волконской.

— Спасибо за ласку. А я к вам с недобрыми вестями.

— О Сухинове? — с забившимся в тяжелом предчувствии сердцем спросила Волконская.

— О нем...

— Погоди, я разбужу Катерину Ивановну, — сказала Марья Николаевна и, пройдя за полог, осторожно взяла Каташу за теплое плечо.

Та улыбнулась во сне и, не открывая глаз, повернулась на другой бок.

Но Марья Николаевна все же разбудила ее и рассказала об Орлове.

— Конечно, мы его укроем до ночи, — сразу согласилась Трубецкая. — Спрячем его у нас. — И она стала торопливо одеваться.

Волконская растопила печь. Плотнo завесив окна и заперев дверь на крюк, сидели они втроем у стола с дымящимися, кружками чая. С замирающим сердцем слушали женщины Орлова, рассказывающего трагическую историю о Сухинове:

— Сговорились мы с ним честь честью, чтоб помог я ему бежать. Должен был провести его через тайгу Мишка Казаков, много раз бывавший в бегах. Путь лежал таежной тропой на Упыр. Там у тунгусов не кони, а олени. Взяли две четвертных, разорвали пополам — это у нас в Сибири такой бродяжный способ. От каждой из четвертных Суханов по половинке мне отдал, а другие Казакову, чтоб, как предоставит его Казаков на место, дал он ему записку, что все выполнил. Тогда

должен я Казакову свои половинки вернуть. Он их склеит и, значит, без обмана, а то ведь у нас, как говорится: «Сибирь благая, мошка злая, а народ бешеный». Обмозговали все дело — лучше не надо. Кроме нас троих, кажись, знали об нем грудь да подоплека. Да на беду забрел Казаков в кабак, выпил и стал похваляться, что вскорости такую гульбу заведет, что всем на удивление. Подкатились тут к нему начальников лазутчики, выпытали кое-что и свели к маркштейгеру. Тот подождал, покуда Казаков протрезвился. Стал допытывать, а Мишка в ответ одно: «Спьяну наплел» — да и баста. Однако начальство насторожило уши. И мы порешили, что человек Казаков ненадежный и его следует убрать...

Орлов сдвинул брови, помолчал, отхлебнул из кружки и продолжал, глядя в землю:

— Не я, а верные мои ребята заманили его в лес... Зарубили и закопали: в одном месте туловище с головой, в другом — руки, в третьем — ноги. Начальство решило, что бежал он, и, кажись бы, концы в воду. Ан, нет... Осторожный пес разрыл в лесу одну из ям и приволок к конторскому крыльцу человеческую руку. Ну, тут уж пошло следствие с палками, плетьюми, розгами... Ребята и не стерпели, — Орлов скрипнул зубами, — выдали! Заковали барина Сухинова в железа и держали за строгим караулом. Нарядили военно-судное дело. Запросили Санкт-Петербург. И прошел слух, что велено главных в сем деле виновников отхлестать кнутом по четыреста раз. Прослышав об этом, свиделся я с Сухиновым, и упросил он меня доставить ему крысиного яду. Покою, сказывал, от крыс нет ему ни днем, ни ночью. Я и поверь ему. Предоставил отраву, а он возьми и прими ее сам. Отходили его... Он вдругорядь... И опять смерть не смилостивилась. Могуч больно. Свиделся я с ним еще раз. Думал: авось уговорю. А он одно:

«Позора не допущу, Орлов, а как помру, проберись к княгине Марье Николаевне и скажи, чтоб нашим передала, что не в силах, мол, я пережить горестной мысли, что не могли мы добыть вольности даже эдакими тяжелыми муками». И в ту же ночь слышу крик: «Кто-то из секретных повесился!» Всполошился острог. Принесли огня и увидели Сухинова: висит на ремешке, на котором кандалы поддерживал. Кликнули лекаря. Помог я ему тело снять, а оно будто не вовсе остыло. «Ваше благородие, — шепчу я, — кажись, в нем дух не вовсе отлетел». А лекарь мне: «Молчи! Мало ль он настрадался! Знай, неси на лед...»

Орлов замолчал.

Каташа тихо плакала.

Марья Николаевна похолодевшими пальцами мяла липкие шарики хлеба.

— А что дальше творилось! — снова заговорил Орлов после долгого молчания. — Приехало начальство с приговором, и стали производить экзекуцию. Сухинова мертвого на лобное место принесли, а ребят, которые с ним в согласии были, расстреляли, да как!.. Меткости у солдат никакой не было. Чисто изрешетили всех, да, видно, пули дуры не к месту добрые были. Офицеры штыками прикололи. Об эту же самую пору других под барабанный бой драли — кого плетьюми, кого шпицрутенами. Пальба, вопли, ад кромешный...

Орлов неестественно кашлянул несколько раз и низко опустил меченую по-каторжному, наполовину обриту голову.

Весь день просидел он, бледный и унылый, за ситцевым пологом у Каташиной кровати, а ночью, когда все стихло, одетый в подаренную Марьей Николаевной шубу и снабженный деньгами, прощался в густой темноте двора.

— Вы еще прослышите обо мне. А может, и сам наведаюсь, коли головы не сложу.

— Почему ты хлеба не хочешь взять? — спросила Каташа.

— Насчет пропитания не сумлевайтесь, — сказал Орлов, и в темноте блеснула белая каемка его зубов. — В Сибири в каждом селении крестьяне, на потайные под окнами полочки, съестное кладут — для нас, беглых, харч припасают.

Каташа возвратилась в избу, а Марья Николаевна пошла провожать Орлова до околицы.

В ночной темноте часовые видели их неясные силуэты, но не обратили на это внимания: они знали, что «секретные барыни» нередко выходили прогуляться в темные вечера даже за околицу.

— Ворочайся, княгиня, — остановился Орлов, — ворочайся, а то неровен час обидеть кто может.

Они постояли несколько минут молча. Потом Марья Николаевна положила Орлову на плечо руку и поцеловала его в лоб. Плечо Орлова дрогнуло. Он сорвал с головы шапку,

— Прощай, Марья Николаевна, — изменившимся голосом очень тихо проговорил он и поклонился ей земным поклоном.

— Прощай, Орлов, — тоже едва слышно ответила Волконская.

Когда она, пройдя несколько сажень, обернулась, Орлова уже не было видно. Его поглотила темная беспросветная ночь...

25. «Темница есть темница»

В один из весенних дней 1830 года Бенкендорф явился на доклад к царю с двумя бумагами.

Первая из них — плотный прямоугольный лист — был план огромного острога, который уже более трех лет строился по образцу американских исправительных тюрем в Петровском заводе.

— Вот эта голубая линия, — водил Бенкендорф остро очинённым карандашом по старательно вычерченному плану, — отделяет железный завод от острога, который представляет это длинное строение. Острог о трех фасах, но окна, как видно из чертежа, имеются только в том, что посередине, где помещаются караульная и гауптвахта. Все же остальные стены без окон вовсе...

— Следовательно, в камерах всегда темно? — с фальшивым удивлением спросил царь, прекрасно помнящий, что когда в 1826 году ему было представлено несколько проектов будущего острога для осужденных за восстание четырнадцатого декабря, то именно этот, безоконный, заслужил его одобрение.

— Темница есть темница, государь, — делая вид, что он тоже не помнит этого факта, со вздохом проговорил Бенкендорф, — но все же некоторый свет будет проникать в казематы через маленькие оконца, прорубленные над дверьми, выходящими из казематов во внутренний коридор. Все шестьдесят четыре камеры разделены на отделения, из которых два крайних отданы женатым, поскольку ваше величество сооблаговостили разрешить женам государственных преступников, последовавшим за своими мужьями, разделить с ними и тюремное заключение.

— Но тогда для семейных надо было сделать большие казематы, — с показной заботой возразил царь.

— С милым рай и в шалаше, — пошутил Бенкендорф и продолжал давать объяснения к чертежу. — Эти заштрихованные квадраты означают угловые караульни. Вот здесь, посередине двора, кухня. Эти зигзагообразные линии означают частокол, идущий вокруг всего здания. Внутри этого частокола заключенным будут разрешены кратковременные прогулки. Частокол высок и почти непроницаем, так что никакого общения между преступниками и окрестными жителями возникнуть не может.

— Когда Лепарский собирается переводить сюда *pos amisdu quatorze*? — спросил Николай.

— Он сообщил, что как только острог будет окончательно готов к принятию своих питомцев...

— То есть? — нетерпеливо перебил царь.

— Не позднее середины лета, ваше величество. Ведь им придется пройти пешком путь в семьсот с лишком верст.

— Распоряжение об изрядном конвое отослано? — задал Николай еще один вопрос.

— Так точно, ваше величество. Все предусмотрено наитщательнейшим образом...

Николай свернул чертеж и отложил в сторону.

Потом, пройдясь несколько раз по своему небольшому, выходящему на Неву кабинету, остановился у одного из окон и загляделся на взбаламученную ледоходом реку.

Огромные льдины стремительно неслись в ее темной воде, громоздясь в причудливые груды, ныряли и снова всплывали среди пенистых гребней.

Неумолчный гул Невы, сбросившей с себя ледяные оковы, доносился в царский кабинет заглушенно. Апрельский вечер прильнул к окнам сиреновой дымкой и затенил углы по-казенному обставленной комнаты.

В Петропавловской крепости стреляли из пушек. Купол ее собора, уткнувшийся в нависшую над ним тяжелую тучу, тускло отсвечивал позолотой.

— Наводнения ждут? — спросил Николай.

— Возможно, ваше величество, — ответил Бенкендорф, — ветер с моря усиливается.

— Знаешь, Александр Христофорович, — помолчав, заговорил царь, — я гораздо больше люблю Неву зимой, когда она утихомирена и спокойна, как объезженный конь.

— Так точно, ваше величество.

— А вот такая, как сейчас, — продолжал Николай, — весьма неприятное зрелище. Будто взвилась на дыбы и вот-вот ринется на мою столицу, как это было при покойном брате... — И, отойдя от окна, он взял принесенную Бенкендорфом вторую бумагу. Это было последнее письмо Пушкина к шефу жандармов.

— Однако какое длинное, — проговорил царь недовольно.

— Суть его заключена в подчеркнутых мною строках, из коих ваше величество...

— А, отлично! — перебил царь и стал читать подчеркнутое шефом жандармов.

«Мне предстоит женитьба на мадемуазель Гончаровой, писал Пушкин, — я получил ее согласие, и согласие ее матери. При этом Мне были сделаны два возражения: мое имущественное состояние и положение мое по отношению к правительству. Госпожа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел несчастье быть на дурном счету у императора...»

— Ишь как заговорил! — произнес Николай.

— Хитрит по обыкновению, — отозвался Бенкендорф.

Царь снова углубился в чтение письма, в котором поэт убедительно просил, чтобы ему разрешили, наконец, напечатать «Бориса Годунова», написанного им еще в селе Михайловском и отданного «на суд его величества» в 1826 году. Пушкин напоминал Бенкендорфу, что в то время царю не понравились некоторые места этой трагедии, в которых «можно было усмотреть намеки на обстоятельства, в то время еще слишком недавние», то есть на восстание в декабре 1825 года.

«Перечитывая их теперь, — писал поэт, — я сомневаюсь, чтобы их можно было истолковать в этом смысле. Все смуты похожи одна на другую, и драматический писатель не может нести ответственность за слова, какие он влагает в уста личностей исторических. Он должен заставить их говорить в соответствии с известным их характером. Следовательно, надлежит обращать внимание только на дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, какое оно должно произвести. Моя трагедия есть произведение добросовестное, и я не могу, по совести, исключить из нее то, что мне представляется существенным. Умоляю его величество простить мне ту свободу, с какою я осмеливаюсь ему противоречить... До настоящего времени я постоянно отказывался от всех предложений книгопродавцев... В настоящее же время обстоятельства заставляют меня спешить, и я умоляю его величество развязать мне руки и дозволить напечатать мою трагедию в том виде, как я считаю нужным...»

Пока Николай читал, Бенкендорф незаметно наблюдал за выражением его лица и, к своей большой досаде, видел, что царь находится в том редком настроении, при котором испытывал желание оказывать «милости».

— А что, Александр Христофорович, — окончив просмотр письма, заговорил Николай именно таким тоном, какой появлялся у него в таких случаях, — не разрешить ли ему в виде свадебного подарка печатать эту пьесу? Сколько я помню, ты в свое время давал ее кому-то на отзыв и исправление. Да и Жуковский уверяет, что трагедия о Годунове основательно почищена ее сочинителем. Пусть печатает...

— Если ваше величество, невзирая на неоднократные отказы на подобные просьбы Пушкина... — заговорил Бенкендорф подчеркнуто официальным тоном.

Но царь остановил его вопросом:

— Как ты полагаешь, сколько ему могут заплатить книгопродавцы за эту пьесу?

— В начале нынешнего года он писал ко мне, что ему весьма чувствительно лишение суммы тысяч в пятнадцать, которые его трагедия могла бы ему доставить.

— Пусть получает эти деньги к своей свадьбе, — милостиво проговорил Николай и, покрутив выхоленный ус, спросил: — Это он к той самой Гончаровой сватается, которую я видел в Москве на бале у Юсупова?

— Так точно, государь.

— В ту пору она была еще чуть-чуть «бакфиш», — улыбнулся царь. — Но даже подростком она уже обещала превратиться в красавицу. Конечно, Пушкин к ней подходит, как полынь к розе. Но, может быть, именно такая женщина заставит его остепениться, думать больше о семье, чем о всякого рода вздорных стихах.

— Не знаю, государь, насколько серьезно чувство поэта к его невесте, — скептическим тоном проговорил Бенкендорф, — ведь совсем недавно просил он у меня разрешения отправиться путешествовать во Францию, Италию и даже вместе с нашей миссией в Китай.

— Этого только недоставало, — усмехнулся царь. — Нет, уж лучше пускай женится. Напиши ему, чтобы он убрал из «Годунова» все тривиальные места, и пусть

печатает под собственную ответственность.

— Будет исполнено, ваше величество.

— Напиши ему также, что я надеюсь, что он найдет в себе необходимые качества сердца и характера, чтобы составить счастье женщины, столь интересной, как мадемуазель Гончарова. Нет, в самом деле, Бенкендорф, — плотоядный огонек зажегся в голубовато-белесых глазах царя, — когда Пушкин привезет ее к нам в Петербург, эта роза отнюдь не испортит букета наших красавиц. А, Бенкендорф?

Бенкендорф наклонил голову и после некоторого молчания спросил:

— Каковы будут указания вашего величества касательно запроса Пушкина о его положении в отношении правительства?

— Напиши ему, что в этом отношении нет ничего сомнительного, что я поручил наблюдать за ним тебе, Бенкендорф, не как шефу жандармов, а просто как человеку, который может быть ему полезен. Ну, и прочее, что сам найдешь нужным.

Бенкендорф щелкнул шпорами.

«Положение, следовательно, остается без перемен», — подумал он. А вслух произнес:

— О Пушкине все, государь. Засим у меня имеется ходатайство еще одного сочинителя испросить высочайшую резолюцию...

— Сколько их, однако, у нас развелось, этих сочинителей — брюзгливо перебил царь

— Таких как этот, не худо бы иметь и поболее, — сказал Бенкендорф, — это Фаддей Булгарин, ваше величество...

— А! Ну, говори, — совсем другим тоном откликнулся Николай. — Просьбу этого сочинителя заранее уважу.

26. «Ни сосенки, ни ивки»

В маленькой усадьбе «Криница», принадлежащей вдове бывшего директора императорского Царскосельского лицея, Василия Федоровича Малиновского, наступили тяжелые дни: старшая дочь Анна Васильевна, по мужу баронесса Розен, которая с самого момента ссылки мужа в Сибирь жила у матери с маленьким сыном Евгением, прослышала, что молодая жена Якушкина на свои просьбы разрешить ей ехать к мужу с детьми получила от Дибича положительный ответ.

Анна Васильевна, не уехавшая вслед за мужем только по его настоятельной просьбе не покидать беспомощного ребенка, теперь решила немедленно последовать примеру Якушкиной. Покуда Дибич все еще заменял Бенкендорфа, уехавшего отдыхать в свое имение «Фаль», она заторопилась в Петербург хлопотать об отъезде в Сибирь.

Теперь не только не надо было из-за этого расставаться с сыном, но он был уже настолько крепок и здоров, что опасений за предстоящий долгий путь не возникало. Мальчик знал отца по рассказам матери и по большому портрету, висевшему над ее кроватью. На этом портрете отец был в темно-зеленом мундире с золотым воротником, доходящим до темно-русых вьющихся бакенбард. Такие же вьющиеся завитки спадали на его высокий лоб. Глаза же были изображены так, что, куда бы мальчик ни отходил, они глядели на него отовсюду внимательно и ласково.

По настоянию матери Анна Васильевна должна была сделать несколько самых необходимых визитов: старику Муравьеву-Апостолу, генеральше Раевской,

посылавшей с Анной Васильевной в услужение своей дочери Волконской девушку Улиньку, которая, хотя и получила от Марьи Николаевны вольную, но настойчиво выражала желание ехать в Сибирь, и дядюшке Малиновскому. Дядюшка был должен ей пять тысяч ассигнациями. Долгов он платить не любил, но старуха Малиновская надеялась, что для такого экстраординарного случая, как отъезд племянницы в Сибирь, он, быть может, и сделает исключение.

Скрепя сердце Анна Васильевна подчинилась совету матери и, взяв с собой отцовского камердинера Федора, поскакала в старой, кряхтевшей на ухабах карете к дядюшке в Мурзиху.

Мелкий, как пыль, дождик дрожащей сеткой стлался над скошенными полями, на которых кое-где торчали подсолнухи с оборванными шапками и ненужные уже пугала.

Ни лая собак — этого традиционного туша, которым обычно оглашался усадебный двор при появлении на нем чужого экипажа, ни возгласов дворни, ни топота многочисленных ног и хлопанья дверей — ничего этого не было слышно на безлюдном барском дворе и в доме, когда карета Анны Васильевны остановилась у крыльца.

— Должно, нет дома барина, — сказал Федор. — Так бывало завсегда: как выедут, так, словно вымрет все.

Оставив Анну Васильевну в карете, Федор вошел в дом.

В сенях на лавке, закинув голову с открытым ртом, спал казачок-мальчик. У вешалки с платьями в вольтеровском кресле сидя спал лакей в ливрее с медными, похожими на бляхи пуговицами. Федор напрасно пытался разбудить слуг, — они только отталкивали со сна его руку и что-то мычали.

Федор направился в комнаты. В них было полутемно и безлюдно. Пройдя большую залу, он увидел полосу света, проникающую из-за неплотно прикрытой двери. Открыв ее, Федор замер на пороге.

Посреди комнаты, по обеим сторонам неуклюжего бюро, освещенного тремя горящими в старинном шандале свечами, стояло по два мужика, вооруженных большими дубинами.

— Здравствуйте, православные, — несмело проговорил Федор.

Мужики пошевелили дубинами.

— Что тебе надобно? — со строгой важностью спросил один из них.

— Барина вашего повидать бы...

— Ан нету его. К соседскому помещику на крестины уехал.

— А вы что же стоите здесь навтыяжку? .

— На карауле мы, казну господскую стережем, — с достоинством ответил самый бородатый из охраны,

— И давно барин ваш в отлучке?

— Почитай, с неделю.

— Что же, так бессменно и стоите?

— Для чего бессменно? По очередке сменяемся.

— А ожидаете когда барина?

— А на кой он нам, чтоб его ожидать... Коли тебе надобен — у Митьки, который в сенцах, дознайся. Митька завсегда касательно бариновых дел сведущ.

— Я пытался разбудить его, да все зря. Никак толку не добиться...

— Ни в какую, — согласились караульщики.

Когда Федор рассказал Анне Васильевне, как обстоит дело, она решила не

дождаться дядюшки, а ехать прямо к Муравьеву-Апостолу.

После трагического 1825 — 1826 года, когда старик Муравьев-Апостол потерял сразу трех сыновей, — Сергей погиб на виселице, Ипполит застрелился, а Матвея сослали в Сибирь, — он безвыездно жил в Бакумовке вдвоем с Олесей.

После смерти братьев Олеся написала своему жениху, графу Капнисту, что постигшее ее семью горе вытеснило из ее души все чувства, кроме одного — желания скрасить старику отцу остаток его жизни.

Капнист примчался в Бакумовку, чтобы повлиять на невесту через отца. Но когда тот попытался было говорить с ней о замужестве, она с твердой решимостью проговорила:

— Папенька, я покуда хочу остаться в девичестве. Не гоните меня замуж, позвольте жить при вас.

Уезжая, Капнист просил Олесю не снимать обручального кольца и разрешить ему считать ее своей невестой. Он уверял, что сама жизнь приведет ее к радости и счастью. Кольца Олеся не сняла, но ни на одно из писем жениха не ответила.

Она вся ушла в осуществление своего желания — посвятить жизнь заботам об отце.

Предоставив все хлопоты о сосланном в Сибирь брате Матвее старшей сестре Екатерине Бибиковой, она совсем не разлучалась с отцом. Он только с ней разговаривал, только из ее рук принимал пищу, только на нее подымал, отяжелевшие веки. Она умела ласково, но сильно взять его под руку и увести на прогулку. Она не давала ему впадать в мрачную задумчивость, заставляла рассказывать о чем-либо из его богатой событиями жизни. Сначала он неохотно и отрывисто отвечал на вопросы, но позже стало случаться так, что ей удавалось вызывать его на долгие разговоры:

— Пойми, Олеся, я родился с пламенной любовью к моей отчизне. Воспитание мое возвысило во мне это благородное чувство, достойное быть страстью души сильной. И почти полвека не уменьшили его ни на искру. Каким я был в двадцать лет, таким точно остался и теперь. Готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий — обречь себя на смерть. Но правительство не призвало меня. Оставленные мне скромные семейственные добродетели не смутили моего чувства любви к родине. Я обрел мой удел в намерении так вырастить детей моих, чтобы они были достойными умереть за Россию.

— Разве Сережа и Ипполит не совершили этого? — прервала отца Олесю,

— Конечно, конечно, дружок, — переведя дыхание, ответил старик, — но я взрастил трех сыновей моих, как три лавровых дерева, полных силы и красоты. Они росли на гордость мою, сплетаясь ветвями и устремляясь к небу. Они стояли крепко, прямо... и должны были стать славой отечества. — Старик поднял руки кверху, и в голосе его зазвучал гнев: — Но Зевс грянул молнией в древа, посвященные Фебу, и поразил их до корня. Они потеряли красу свою и теперь повержены на той земле, которую должны были любить и защищать. Какова же участь взлелеявшего их?! Осиротелая голова моя клонится под их пеплом.

— Папенька, голубчик мой папенька, — со страхом, мольбою и жалостью глядела Олеся в истомленное горем лицо отца, — папенька, ведь я с вами! Возьмите мои руки, видите, какие они сильные...

Она сжимала дрожащие руки отца, подносила их к своим губам. Он втягивал голову в плечи и неровными шагами послушно шел за дочерью. Она усаживала его в мягкое кресло, подставляла под ноги скамеечку и, примостившись возле, клала свою

голову к нему на колени.

В пасмурный августовский день Олеся сидела с отцом в гостиной.

В этот день впервые затопили камин. Старик зябко кутался в плед и был особенно грустно настроен.

— Хотите, спою? — спросила Олеся, зная, что ее пение всегда успокоительно действовало на отца. В маленьких комнатах бакумовского дома часто звенел ее чистый, как звон хрусталя, голос.

— Очень хорошо, дружочек.

Закрыв глаза, старик слушал пенье. Когда она умолкла, он попросил:

— Ну, а теперь ту, что любил Сережа.

— «Среди долины ровныя»? — спросила Олеся и, не дожидаясь ответа, запела о могучем дубе, растущем одиноко, «как рекрут на часах».

Этот дуэт часто певали они с Сергеем.

Ни сосенки кудрявые, ни ивки близ него... —

хотел было подтянуть отец, на голос задрожал, и старик всхлипнул.

Олеся опустила у его ног на скамейку:

— А я-то... я-то возле...

— Ивушка ты моя печальная! — нежно проговорил отец, целуя длинные косы дочери.

Олеся очень боялась, что посещение Анны Васильевны Розен в связи с ее отъездом в Сибирь разбередит душевную рану отца.

Но галантность кавалера екатерининского времени заставила его взять себя в руки и быть бодрым и любезным хозяином.

Он даже сыграл с Анной Васильевной в четыре руки старинный гавот и очень упрашивал ее остаться погостить несколько дней. Но Анна Васильевна сказала, что ей надо еще заехать в Болтушку к старухе Раевской, которая, наверно, захочет передать что-нибудь своей дочери

— Бедная Волконская! — вздохнула Олеся. — Недаром говорили, что во время венчания она была очень грустна, а когда от неосторожного обращения со свечой вспыхнула ее фата, все решили, что брак этот не к добру.

— Слышно, вдова и меньшая дочь Раевского очень нуждаются ныне, — сказал Муравьев-Апостол. — Генерал не оставил долгов, но не оставил семье и достаточных средств к существованию. И кто же? Раевский — герой двенадцатого года!..

Он скорбно поник головой.

На заре, когда Анна Васильевна завязывала дорожный капор, вошла Олеся. По ее усталому лицу видно было, что она совсем не спала.

Кроме письма и денег для брата Матвея, она держала в руках еще маленький серый конверт.

— В нем записка брата Сергея к Горбачевскому. Ее после казни переслала нам дочь плац-майора Петропавловской крепости.

Олеся протянула было конверт, но снова отдернула и, вынув из него записку, крепко прижала ее к губам.

— Если ее у вас отберут, — стараясь побороть волнение, сказала она, — знайте, что в ней покойный Сережа просит Ивана Ивановича, написать для потомства о намерениях и целях Тайного общества, о его заветных помышлениях, о его любви, преданности и готовности для блага отечества на любые жертвы...

В имение Раевской, Болтушку, Анна Васильевна заехала уже с сестрой Марьей

Васильевной, провожающей ее до Москвы, и с сыном. Старуха Раевская была огорчена, что гости пробудут у нее только несколько часов. Но Анна Васильевна объяснила ей, что очень торопится до наступления осенней непогоды добраться в Москву, где предполагала оставить ребенка с сестрой на время поездки в Петербург к Дибичу.

Покуда мальчика кормили и забавляли подарками, Софья Алексеевна повела Анну Васильевну на могилу мужа и, показывая на прикрепленный к кресту прекрасно вышитый бисером образ Сикстинской мадонны, сказала:

— Машенькина работа, из Сибири прислала. Во время своей болезни покойный мой муж все вспоминал разговор с Машей перед ее отъездом в Сибирь. Он попрекнул ее тогда, что она мало любит своего Николеньку, если по доброй воле покидает его. А Машенька ему в ответ: «А разве вы не любили своих малолетних сынов, когда в двенадцатом году вывели их перед полком навстречу вражеским пулям?» Перед смертью, глядя на Машин портрет, муж мой сказал: «Вот самая замечательная женщина, которую я когда-либо знал». Видимо, совсем простил ей, что она уехала в противность его воле. Он все надеялся, что Волконский не будет настолько эгоистичным, чтобы удерживать ее там...

Анна Васильевна взяла с могильного холма для Марьи Николаевны горсть земли.

— В одном из свертков, — сказала Софья Алексеевна, — я посылаю Маше табак, который курил отец. Она хочет слышать этот запах. А мундштук взял себе сын Алексаша. Он не хочет, чтобы Волконский имел его.

Она сердито сдвинула брови. Гнев на зятя, отнявшего у нее дочь, поднялся в ней с такой силой, что она разразилась горькими упреками по его адресу, как это часто бывало с ней, когда разговор касался Волконского. Злобные фразы слетали с ее губ:

— Не много добродетели нужно было иметь, чтобы не жениться, если человек принадлежал к этому проклятому заговору. И он не смел увлечь за собой в изгнание Машу, когда у нее был грудной младенец...

Анна Васильевна с нежностью вспомнила о своем муже, который настаивал, чтобы она оставалась при маленьком сыне. И муж показался ей еще лучше, чем она о нем думала раньше.

Старуха Раевская все соображала, что бы подарить Анне Васильевне на память, и, наконец, решила благословить ее старинной иконой Василия Блаженного, которой когда-то, будучи в гостях в Болтушке, любовался покойный отец Анны Васильевны, большой ценитель старинной иконописи. Но старая француженка Жозефина, которая, после того как маленький сын Волконских умер, вернулась доживать свой век при Софье Алексеевне в качестве компаньонки, решительно запротестовала против подобного подарка.

— По-моему, совсем неудобно для молодой скромной дамы глядеть постоянно хотя и на святого, но все же обнаженного мужчину.

— Но ведь этот святой — покровитель покойного отца Анны Васильевны, — защищала свой подарок Раевская.

Древний старик с изжелта-коричневым тощим телом глядел на нее с иконы угасшими, беззрачковыми глазами. Узкая седая борода закрывала его до впалого живота, перетянутого широким кушаком с ниспадающими до колен концами.

— И вовсе он не так уж гол, — возразила Софья Алексеевна. Жозефина поджала губы и упрямо тряхнула седыми букольками.

Все же эта икона была заменена другой, которую Раевская велела снять со стены

своей молельни. Это был тоже Василий, но не «Блаженный», а «Великий» со многими накладного золота ризами на очень толстой доске. Последнее обстоятельство и подало Раевской мысль воспользоваться этой иконой для тайной пересылки денег дочери.

Средина иконы была выдолблена по размеру пачки ассигнаций, а затем снова заклеена тонкой дощечкой и украшена золотыми ризами.

Из всех обитателей Болтушки только бывший кучер Волконского Василий попросил Анну Васильевну передать «его сиятельству, князю Сергей Григорьевичу с любовью низкой поклон». Остальные, зная нелюбовь Софьи Алексеевны к этому ее зятю, не обмолвились о нем ни единым словом.

Улинька уже давно готовилась к отъезду — с того самого дня, когда получила обещание «при okazji» отправить ее в Сибирь.

Когда, наконец, пришла эта долгожданная okazия, Улинька торопливо снесла в коляску Анны Васильевны узел со своими вещами, среди которых была и лисья шуба — подарок Аглаи Давыдовой. Этот подарок был сделан, когда, перед тем как отправиться к отцу в Париж, Аглая приезжала в Каменку попрощаться с больной свекровью.

Улинька с сыном Анны Васильевны первой села в карету. Душа ее была до краев переполнена нежностью к тому, кого она надеялась теперь скоро, совсем скоро увидеть. Избыток этой нежности она отдавала ребенку, сидящему у нее на коленях.

— Гляди, Женюшка, гляди, сколько народу вышло нас провожать, — указывала она мальчику на оживленный двор. — Вон и бабушка и мадам Жозефина. Смотри, вон и гуси чего-то лопочут, и бычок выбежал из коровника, и кот Пушок. А солнышко-то, солнышко как греет!

Осень как будто выплакала все свои дожди, и с этого утра до самой Москвы небо по ночам сияло яркими звездами, на зорях украшалось малиновыми облаками, а к полудню поднималось ввысь необъятным бирюзовым куполом.

В Москве карета остановилась на Самотечной улице, у огромного дома графов Чернышевых, в котором теперь жили только две сестры Александрины Муравьевой — Наташа и Вера. Они встретили любимую подругу Александрины и ее сестру, как родных.

Вместе с женихом Марьи Васильевны гвардии полковником Вальховским они уговорили Анну Васильевну оставить на время ее отъезда в Петербург сына и сестру у них в доме.

После некоторого колебания Анна Васильевна согласилась. Она была уверена, что петербургские ее хлопоты у Дибича продлятся не более нескольких дней, а затем она вернется в Москву и помчится с сыном в Сибирь к своему Андрею, которого любила теперь еще глубже, еще сильнее.

27. Осиное гнездо

В Петербурге Анну Васильевну ждало большое горе.

Дибич находился в Берлине, куда царь послал его для переговоров с Фридрихом-Вильгельмом о совместном выступлении против Франции. И Анне Васильевне пришлось по своему делу обратиться к Бенкендорфу. Она слышала, что этот человек продолжал неуклонно вести против всех причастных к декабрьскому восстанию политику, не знающую пощады, и заранее страшилась неудачи.

В назначенный день она долго с трепетом ожидала в приемной Бенкендорфа.

Наконец, послышался ритмичный звон шпор, и шеф жандармов, распахнув дверь своего кабинета, молча сделал пригласительный жест.

«Какая очаровательная женщина! — подумал Бенкендорф, окинув просительницу с головы до ног своим зорким взглядом. — Блондинка с черными глазами и талия, как у шестнадцатилетней...»

— Прошу, — галантно указал он ей на кресло и, стоя, ожидал, пока она села.

Волнуясь и сбиваясь, Анна Васильевна изложила ему свою просьбу о разрешении отправиться к мужу в ссылку вместе с сыном Евгением.

Заметив, что при упоминании о ребенке Бенкендорф недоуменно поднял брови, она торопливо проговорила:

— Я надеюсь, граф, что мне не будет отказано в этой милости. Я слышала, что жена сосланного Якушкина уже получила такую...

— Разрешив жене государственного преступника ехать в Сибирь с детьми, — генерал Дибич совершил недопустимую ошибку, которая мною будет исправлена, — произнес Бенкендорф.

У Анны Васильевны замерло сердце.

— Но ведь Якушкина могла уже уехать, — горестно вырвалось у нее. — Я слышала, что ее задержала болезнь одного из малюток-сыночек...

— Госпоже Якушкиной не будет позволено взять с собой детей в Сибирь, — тем же ледяным тоном повторил Бенкендорф и при этом так посмотрел на Анну Васильевну, что холод проник ей в грудь.

— Выходит, что я должна... должна... — «Нет, ни за что не заплачу» — Анна Васильевна делала невероятные усилия, чтобы не показать Бенкендорфу своих слез. — Значит, я должна...

— Вы должны остаться с сыном, — жестко закончил за нее Бенкендорф.

Лицо Анны Васильевны вдруг постарело, вся фигура поникла, но бескровные губы выговорили твердо:

— Тогда я поеду одна.

Бенкендорф встал и выжидательно смотрел на Анну Васильевну, которая, закрыв лицо руками, как будто бы забыла, где она находится.

— Не угодно ли воды? — после долгой паузы спросил шеф жандармов.

Анна Васильевна оставалась неподвижной. Когда Бенкендорф громче повторил свой вопрос, она подняла на него мутные глаза:

— Простите, генерал, но у меня сделался такой шум в голове, что я плохо вас слышу.

— Не угодно ли будет вам просить еще о чем-нибудь? — повысил голос Бенкендорф. — Я доложу его величеству.

Анна Васильевна медленно поднялась с кресла:

— О чем же я могу просить после того, как у меня отняли сына?!

Бенкендорф осведомился о ее петербургском адресе и обещал, если она не изменит своего намерения «добровольно лишиться себя высокой миссии воспитания сына», прислать ей все необходимые для отъезда в Сибирь бумаги.

— Присылайте их скорее, генерал, — тихо, но твердо произнесла Анна Васильевна и, как лунатик, направилась к выходу.

Лакей доложил еще об одном просителе, и через минуту в кабинет мелкими шажками вошел Фаддей Булгарин.

Присев на край кресла, он вытер зеленым в желтую клетку фуляровым платком

свои лоснящиеся щеки и лоб с начесанными висками.

— Ну-с? — нетерпеливо произнес Бенкендорф.

— Прежде всего, ваше высокопревосходительство, — откашлявшись, заговорил Булгарин, — любопытно узнать результаты моих домогательств об исходатайствовании монаршего соизволения украсить список подписавшихся на мой роман «Петр Выжигин» священным именем его величества.

— Государь всемилостивейше соизволяет, — процедил Бенкендорф.

Булгарин вскочил, вытянул руки по швам и начал патетическим тоном:

— Ваше сиятельство, я никогда не сомневался в том, что каждый благонамеренный россиянин воистину найдет в вашем лице покровителя своим трудам и предстателя у престола. Смею предположить, что мое намерение обнародовать сию новую высочайшую ко мне милость никто не почтет за нарушение скромности. Пусть каждый читатель «Северной пчелы», — повысил он голос, поднимая кверху руку, — воочию убедится, что за богом молитва, а за царем служба не пропадает. И, кроме того...

— И, кроме того, — откровенно издеваясь, перебил Бенкендорф, — не подлежит сомнению, что подобная публикация привлечет в ваш издательский карман значительные подписные суммы от всего чиновничьего сословия.

— Милостью божьей и волею властей предержавших мой карман не скудеет, — осклабил Булгарин, — невзирая даже на происки злостных литературных врагов.

«Сейчас начнет жаловаться на Пушкина, а это надолго», — с досадой подумал Бенкендорф.

Он очень устал от затянувшегося в этот день приема посетителей и опасался, что вечером на интимном маскараде у веселой французской актрисы он не сможет как следует изображать гуляку Фигаро, в костюме какого поедет туда вдвоем с царем, наряженным графом Альмавивой. Николай очень любил подобные «дурачества» и только для виду сохранял свое инкогнито. И оба они от души веселились у Марго, называвшей их обоих «mes generals-polissons» *note 57*. Бенкендорф живо представил себе ее лукавые черные глаза, вспомнил подробности последнего свидания...

А Булгарин продолжал с увлечением:

— Ваше сиятельство изволите знать, как я старался ладить с господами Пушкиным и Дельвигом. Невзирая на возможный материальный ущерб, я приветствовал выход их «Литературной газеты» пожеланием ей всех возможных успехов. И как же ответили мне эти собраты по перу? — Булгарин поджал свой похожий на пиявочную присоску рот и вопросительно заглянул в лицо Бенкендорфа. И хотя в графском лице было какое-то неподходящее к деловому разговору выражение, Фаддей продолжал: — Пушкин осерчал на меня за мои споры с князем Вяземским и облаял мою «Пчелу» зачинщицей журнальной драки, а меня — «Видоком Фигляриным». И уж мерзкая его эпиграмма пошла гулять по столице...

— Видок... Видок... — раздумчиво протянул Бенкендорф, — что-то знакомое...

— Я имел честь, — торопливо проговорил Булгарин, — преподнести вашему высокопревосходительству мемуары начальника Тайной парижской полиции господина Видока...

— Ах, вот что! — играя брелоками своей часовой цепочки, сказал Бенкендорф.

Note57

Генералы-шалуны (франц.).

— Кроме сего, — продолжал Булгарин, — Пушкин распространяет обо мне в обществе «китайский анекдот», подрывает мое доброе имя.

— Что да анекдот? — спросил граф и, отцепив один из брелоков — перламутровый крошечный ножичек, стал подчищать им ногти.

— А в городе будто Пекине, — с неохотой стал рассказывать Булгарин, — некто из грамотеев написал трагедию и, прежде чем давать оную в печать, почел за надобность прочесть ее в различных знакомых домах и, кроме того, — Булгарин сделал многозначительную паузу, — вверял ее некоторым мандаринам...

Бенкендорф вдруг ясно вспомнил, что в ответ на сделанный Пушкину четыре года тому назад выговор за то, что он читал в Москве «Бориса Годунова», поэт прислал ему в Петербург эту пьесу для ознакомления. Граф узнал себя в «мандарине», но все же спросил надменно:

— О каком мандарине идет речь?

— По анекдоту-с — о китайском, — ехидно ответил Булгарин.

Бенкендорф долго смотрел в его немигающие, круглые, как у филина, глаза. Потом взял из ящика сигару и, закурив, стал шагать из угла в угол по пушистому ковру, устилающему весь его огромный кабинет.

Булгарин следил за ним выжидательным взглядом.

— Что же дальше? — спросил, наконец, граф.

— А дальше и вовсе чушь! — встрепенулся Булгарин. — Дальше Пушкин врет, будто бы другой грамотей взял эту самую тетрадь от мандарина и склеил из нее очень скучный роман, сиречь... мой «Дмитрий Самозванец», — скороговоркой закончил он.

— Фь-ю-ю! — протяжно свистнул Бенкендорф. — Так вот оно что! Ай да Пушкин! Сметлив, каналья! Ведь с его «Годуновым» ты и в самом деле познакомился за несколько лет до выхода в свет твоего «Дмитрия Самозванца». Сейчас я совершенно ясно припоминаю, что, когда Пушкин прислал нам свою трагедию, государь не стал читать ее целиком. Он приказал, чтобы я отдал эту рукопись кому-либо верному для того, чтобы из нее были сделаны такие выдержки, по которым государь смог бы получить представление обо всей пьесе. Таким «верным» я посчитал тогда именно тебя... Видок Фиг-лярин, — прищурившись, докончил Бенкендорф. Остановившись против Булгарина, он, так же прищурившись, глядя на него, продолжал: — Именно Фи-гля-рин, потому что француз никогда не попался бы так с поличным, как ты... Вот так история! Что ни говори, братец ты мой, а пишет Пушкин настолько недурно, что не соблазниться тебе, видимо, было невозможно.

— Но мог ли я ожидать, — вырвалось у Булгарина, — что, невзирая на мой тогдашний отрицательный об этой трагедии отзыв и последовавшую за ним запретительную монаршую резолюцию, «Годунов» все же увидит свет.

— Вот это скандал так скандал! — снова принимаясь ходить из угла в угол, проговорил с возмущением граф. — Надо незамедлительно взять меры пресечения к дальнейшей огласке всей этой постыдной истории.

— Они уж взяты-с, ваше сиятельство, — хлопнул себя по боковому карману Булгарин.

— Точней, — потребовал Бенкендорф.

— Я заготовил парочку статей для ближайшего номера моей «Пчелы». В первой я разношу седьмую главу «Онегина», указывая, что при описании московского общества Пушкин взял обильную дань из комедии покойного Грибоедова «Горе от ума»... Затем я в свою очередь пускаю против него анекдотец из жизни, скажем,

просвещенной Франции. Появился, дескать, в сей стране стихотворец, долго морочивший публику передразниванием Байрона и Шиллера. Но, упав, наконец, в общем мнении, от стихов схватился за критику, разобрал новое сочинение, к примеру, сказать, Гофмана, что ли... И вот, пишу я, будто Гофман отозвался об этом стихотворце, что муза его служит более Бахусу, нежели Аполлону. Что в сочинениях своих не обнаружил он ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной строчки...

На лбу Булгарина набухли жилы. Короткие, как обрубки, пальцы сжимались в кулаки.

— И еще, — шипел он, — пишет будто бы Гофман, что сердце у сего писаки холодное, как устрица, голова — род побрякушки, набитой гремучими рифмами, коими он швыряет во все священное. Что хвалится он пред чернью вольнодумством, а тишком пресмыкается у ног сильных мира сего. Что, марая белые листы на продажу, спускает он полученные за них деньги на крапленых картах...

— Ну, это уж слишком, — оборвал Бенкендорф.

Булгарин, перехватив воздуху, продолжал, захлебываясь:

— И еще решил я напечатать анекдот о некоем испанской Америки сочинителе, который, происходя от мулата, доказывал, что мулат тот был негритянский принц. Однако же в городской ратуше доискались, что в старину был в сем городе процесс между двумя шкиперами из-за этого арапа. Один из них доказывал, что купил он его за бутылку рома...

— Это ты о пушкинском деде Ганнибале?

— Именно-с, именно-с, — взвизгнул фальцетом Булгарин. — Граф Уваров недавно изволил рассказывать, что Пушкин, будучи в гостях у госпожи Олениной, хвалился своим происхождением от арапа, купленного Петром Великим у кронштадтских моряков. Вот-то взбесится Пушкин, прочитавши мой анекдотец! «Литературная газета» не преминет, конечно, статью на его защиту и тиснет сочиненный им ответ. Что в ответе сем будет много выходящего за грани дозволенного — сомневаться не приходится. А подобные обстоятельства, само собой, разумеется, потребуют закрытия этой вредной по своему направлению газеты.

— Так ты полагаешь, что Пушкин сорвется? — спросил шеф жандармов.

— Безусловно, ваше сиятельство, — подтвердил Булгарин.

Остановясь возле него, Бенкендорф хотел поднести ко рту сигару, но ее длинный, испепелившийся конец обломился, и голубоватый пепел посыпался на булгаринский сюртук.

— Виноват, — поморщился граф.

— Ничего-с, ваше высокопревосходительство, — стряхивая пепел, улыбнулся Булгарин, — было бы весьма прискорбно, как бы сим пеплом мне пришлось посыпать свою голову. А так мы еще повоюем... Из имеющихся у меня списанных почтовым чиновником писем Пушкина явствует, что он и его друзья весьма недовольны тем, что «в России могут писать одни Булгарины», коего он называет и «меднолобым», и «полицейским Фаддеем», и...

— Довольно, — перебил Бенкендорф, — пушкинский язычок мне хорошо известен. Что же касается твоего плана, то он мне кажется достаточно целесообразным. Действуй!

И граф сделал подбородком такое движение, какое делал царь Николай, когда хотел показать, что аудиенция окончена.

28. На долгом переходе

Каретник Рейхардт несколько раз самолично осматривал карету, заказанную ему полковником генерального штаба Владимиром Давыдовичем Вальховским, женихом Марьи Васильевны.

— Вчера для проверки прочности ее с тяжелой поклажей катали по Москве, — говорил каретник полковнику, — надеюсь, что госпожа Розен не только благополучно доедет в ней до Байкала, но и вернется обратно.

Вальховский приказал впрячь своих лошадей в новый экипаж и расплатился с мастером, просившим передать баронессе свои лучшие напутственные пожелания.

Как только из окон дома Чернышевых увидели эту карету, поблескивающую красными спицами колес и лакированным черным кузовом, в доме начался горестный переполох, какой бывает при приближении к крыльцу катафалка, на котором увезут гроб с дорогим покойником.

Запричитали горничные девушки, нянюшки, старые слуги, Заплакали обе сестры Чернышевы — Вера и Наташа...

Расставаясь с Анной Васильевной, они как бы снова переживали горестные минуты разлуки с уехавшей четыре года назад сестрой Александриной Муравьевой.

— Аннет, я умоляю тебя в последний раз — возьми меня с собой. Я поеду под видом служанки по бумагам Улиньки. Я даже похожа на нее, право, похожа.

Как ни тяжела была минута, но Анна Васильевна не могла не улыбнуться при этих словах княжны Веры.

Слабогрудая княжна с печальными светлыми глазами и бескровными губами совсем не походила на статную крепкую Улиньку. А если и было в эти минуты что-то общее между обеими девушками, то разве только одни заплаканные глаза.

Но княжна Вера плакала потому, что, несмотря на все ее мольбы, ее ни за что не хотели взять в Сибирь. А Улинька плакала от радости, что дождалась, наконец, желанного дня. Теперь уж ясно, что каждый следующий день и час будут приближать ее к встрече с Василием Львовичем, которого, несмотря на его женитьбу и долгую разлуку, она попрежнему любила.

Анна Васильевна, делая над собой нечеловеческие усилия, чтобы скрыть от сына слезы, одевала его в дальнюю дорогу. Мальчик спокойно относился к предстоящей разлуке: верил, что мать уезжает затем, чтобы привезти домой «папеньку», которого он видел на большом портрете в ее спальне.

Было решено, что мать и сын, распроставшись, одновременно выедут со двора Чернышевского дома. Мать поедет с Самотечной к Владимирскому тракту, а коляска с сыном, который отныне будет воспитываться у тетки Марии Васильевны в Петербурге, повернет к Триумфальной Александровской арке на Петербургскую дорогу.

Заканчивая дорожный туалет сына, Анна Васильевна жадно касалась его руками и неотрывно смотрела в безмятежное личико.

— Маменька, глядите, как солнышко светит, — указывал Женя на веселые солнечные лучи, отражающиеся в гранях зеркала разноцветными радугами.

— Но теперь осень, Женечка, и солнце мало греет, — целуя его ручонки, отвечала Анна Васильевна.

— А когда вы вернетесь, маменька, что будет? — спросил мальчик.

— Будет тепло, сыночек.

Значит, будет лето? — мальчик внимательно поглядел в печальное материнское лицо. — И папенька приедет с вами?

— Да, Женюша, я вернусь только с твоим отцом.

Марья Васильевна торопила сестру:

— Пора, Аннет. Лошади для нас с Женей и для тебя поданы...

Анна Васильевна на руках отнесла сына в коляску. Туда же села Марья Васильевна со своим женихом и няней

В другую карету тоже снесли последние вещи. Улинька уже заняла место на передней скамье и разбирала мелкие свертки. Федор, охая, взобрался на козлы рядом с кучером.

Анна Васильевна, шатаясь, дошла до кареты и без чувств упала на сиденье.

Дворовые распахнули застонавшие в петлях резные ворота.

Выхоленный шпич княжны Веры залился длинным, переходящим в вой лаем.

Коляска тронулась и через минуту выехала за ворота.

Карета Анны Васильевны двинулась вслед.

Провожающие заметались из стороны в сторону, потому что тотчас же по выезде со двора экипажи повернули — один направо, другой налево.

Несколько первых дней пути Анна Васильевна не подымала плотных занавесок на оконцах своей кареты.

«Ей, сердечной, и на свет глядеть неохота», — с сокрушением думал Федор. И очень обрадовался, когда она в ответ на сообщение: «Подъезжаем к Казани» — велела остановиться в гостинице на отдых. Улинька тотчас же предложила сходить в баню, а Федора отрядили в лавки купить для подарков знаменитого тонкого казанского сукна.

Старик отсутствовал до вечера и пришел с пустыми руками, бледный и взволнованный.

— И, матушка, каких я страстей нагляделся! — прижимая ладони к вискам, рассказывал он. — Все лавки, не то что суконные, а и иные прочие заколочены, и замки на них понавешены. Я, было, к самой фабрике сунулся. А там — казаки, жандармы, у ворот пушки и возы с цепями и прутьями. Бабы мечутся, вопят, ребятишки орут. А из-за фабричного забора стенания, плач... Народ весь ровно вялая трава у забора клонится, а как кто из толпы высунется, так казаки нагайкойогревают...

Улинька слушала Федора с расширенными от жалости и испуга глазами.

Анна Васильевна спросила с состраданием;

— Почему же это происходит?

— Разузнал, матушка. Оказывается, тутошные фабричные суконщики нынешнею осенью, как приезжал сюда царь, подавали ему челобитную, на жизнь свою жалились. Уж до того их здешний фабрикант Лобачевский притеснял, что мерли они, ровно мухи. С ночи, сказывает народ, после петухов на работу выгонял и снова чуть не до полночи работать заставлял. А ежели кто слово насупротив такого порядку скажет — ноги в колодки, руки в железа, на голову обруч чугунный. Царь челобитную бумагу взял и посулил: «Коли правда в ней, — превращу в ничтожество обидчиков и интересантов. Коли выдумка, — берегитесь!» И прислал из Петербурга своих ревизоров разобрать дело. Лобачевский тем ревизорам перво-наперво пир горой закатил. Денно и ночью музыка гремела. А как принялись за разбор дела, сразу видать стало, куда они гнут. Так что писарь, который суконщикам челобитную для царя

сочинил, первым повесился. И написали ревизоры про фабричных такое, что у тех волос дыбом стал. Куда метнуться? Окромья как к богу — некуда. Соорудили еще бумагу и снесли в монастырь пред лик божьей матери. «Заступись, дескать, за нас, скорбящих». А монашенки возьми ту бумагу — да к архиерею. Тот, известное дело, передал ее полиции. Полиция — следователям, а они и вовсе разъярились. Накатали царю донос преподлейший, а царь в ответ прислал приказ, чтобы главных зачинщиков сквозь строй прогнать, других послать на суконную фабрику в Иркутск, иных рядовыми в дальние батальоны записать, а с остальных поголовно отобрать подписку в том, что ни в жизнь на своего господина никаких жалоб и тяжб подавать не будут. А суконщики уперлись — не хотят такой подписки давать. Вот с ними и расправляются нынче. Иных до смерти запарывают, а все же лишь один паренек в беспамятстве под своим прозвищем крест поставил...

Улинька вытирала слезы, а Анна Васильевна нюхала из флакончика успокоительную соль.

Федор торопил с выездом и с поспешностью, не соответствующей его летам, выносил в карету вещи и помогал ямщикам в упряжке лошадей...

Позади осталась Волга. Дальше ехали уж без больших остановок и с быстротой, какая была принята на зауральских трактах.

Когда звон колокольчика доносился до станции, целая толпа ямщиков, держа наготове лошадей, с криками и спорами высыпала встречать приближающийся экипаж. Кому первому удавалось сговориться с пассажирами, тот и запрягал своих коней. И уж тогда остальные дружно помогали ему. Дикие лошади с трудом вводились в оглобли. Несколько человек укрепляли построжки. Ямщик садился на козлы и привязывал себя к ним, чтобы не свалиться, и только после его команды: «Пускай!» — державшие коней ямщики разбегались в стороны. Тройка бешено срывалась с места и неслась до следующей станции. А там снова смена лошадей, а за нею — пыль, снега, ухабы, мосты, взлеты и спуски с разновысотных курганов и холмов бесконечного Сибирского тракта.

Приговор по делу 14 декабря был так жесток, что с самого его объявления о нем думали не иначе, как о вспышке исступленного гнева нового царя,

За разрядом этого гнева ожидали его спада, думали, что Николай воспользуется каким-либо предлогом, чтобы проявить милость — по собственной ли инициативе, или под влиянием непрерывных просьб и жалоб родственников и друзей декабристов.

Слухи о смягчении приговора стали ходить по обеим столицам, еще начиная с коронационных торжеств. Но льготы, связанные с этими празднествами, почти не отразились на суровости приговора.

Позже возможность смягчения участи осужденных стали связывать с беременностью царицы: говорили, что царь обещал это смягчение в случае, если родится сын. Когда рождение мальчика не повлекло никаких перемен, начали приурочивать осуществление надежд к благополучному окончанию войны с Персией, затем к удачному исходу Турецкой кампании, который непременно должен был расположить царское сердце к великодушию.

Правительство не только не опровергало этих слухов, но даже поддерживало их. Именно благодаря им, общественное мнение несколько успокаивалось, а в казематах, куда эти слухи доходили, они создавали заключенным иллюзию грядущего в скором времени облегчения каторжных условий жизни.

Но все заветные даты проходили одна за другой, и чем сильнее связывались с

ними надежды, тем мучительнее было разочарование.

Осенью тридцатого года, когда всех заключенных в читинской тюрьме переводили в новый огромный острог, специально выстроенный для них в Петровском заводе, и мрачная безнадежность придавила даже оптимистов, известие о французской революции вновь воскресило надежды узников на изменение их судьбы уже не по милости царя, а под давлением революционного зарубежного движения.

Известие это привезла Анна Васильевна Розен. Она встретила, с направляемыми в Петровский завод декабристами, на одном из привалов, устроенном возле большого табуна бурятских низкорослых серых и пегих лошадок.

Осеннее солнце лило тепло и свет на свежую после прошедших дождей траву, блестело в медных кастрюлях, подвешенных над кострами, сияло на штыках часовых, редкой цепью расположившихся вокруг лагеря. Бурятки вышли из своих передвижных двухколесных войлочных юрт, развернули меховые покрывала на грудных младенцах, чтобы подставить солнечным лучам их смуглые спинки. Дети постарше визжали и носились по долине вместе с прыткими большеголовыми жеребятами, и когда те припадали с разбегу к кобыльему вымени, мальчишки, крадучись, тоже подползали под теплое брюхо и ловили губами набрякший молоком сосок. Молодежь толпилась у досок, переброшенных на ящиках с провизией, которые служили этапу походными столами. Мужчины — одни наблюдали шахматную игру, которой увлекались Трубецкой и Волконский, другие следили за работой Николая Бестужева, и во время путешествия не оставлявшего своего упорного труда над изготовлением новых часов. Часы эти являлись прообразом какого-то задуманного им хитроумного механизма. Когда он позволил одному из бурят взять эти часы в руки, их тиканье вызвало благоговейный восторг. Буряты передавали их один другому, прикладывали к уху, вертели, и металлические крышки часов бросали на горящие любопытством лица блики веселых солнечных «зайчиков».

Небольшая группа собралась у повозки, в которой ехал больной Лунин. Буряты почему-то решили, что он и есть «самый главный князь», и непременно хотели его видеть. Их гомон не давал Лунину покоя. Он с трудом приподнял кожаную занавеску и громко спросил:

— Ну, чего вы тут толчетесь, узкоглазые друзья мои?

Буряты не поняли вопроса, но добрая улыбка Лунина придала смелость одному из них обратиться к нему через переводчика:

— За что страдаешь, князь?

— Кто такой ваш тайша? — в свою очередь спросил Лунин.

— Тайша — самый главный из бурят...

— А знаете ли вы, что и над самым главным бурятом ест еще тайша? Это русский царь, который всем вам и вашим тайша может сделать... — и Лунин, как топором, взмахнул рукой над шеей.

— Эгей? — с ужасом вырвалось у бурят.

Они склонили набок головы и, подражая мертвым, закрыли глаза.

Лунин утвердительно кивнул головой.

— Ну так вот: я хотел сделать «Эгей» самому главнейшему тайша, нашему русскому, — проговорил он, и его усталое лицо снова скрылось за опущенной занавеской.

В узких глазах бурят застыло выражение почтения и страха. Они молча отступили от лунинского возка.

Лунин тяжело опустил горячую голову на соломенную подушку и закрыл глаза. Но уснуть ему не пришлось.

В раздвинутый полог протянулась рука с белеющей в полумраке миской, и задумчивый голос Розена проговорил:

— Выпей-ка, Михаил Сергеевич, горячего бульона.

Но едва Лунин дотянулся до миски, как державшие ее руки дрогнули и рванулись назад. Горячий бульон пролился Лунину на грудь.

— Прости, Михаил... — быстро пробормотал Розен, и полог сдвинулся. — Прости, я слышу колокольчик, — донеслось уже издалека.

Розен метнулся к лесу. Часовые бросились ему наперерез, но он вихрем пронесся мимо, крича в иступленном восторге:

— Это Аннет! Это она, моя Аннет!

Все знали, что он со дня на день ожидает жену, об этом он получил извещение от нее самой. Анна Васильевна писала ему с одной уже близкой почтовой станции, где она задержалась из-за разлива реки после сильных дождей.

Опередившая ее на несколько дней Юшневская тоже подтвердила скорый приезд Анны Васильевны. Последние дни Розен был как помешанный. Он придумывал для себя множество дел и с ненавистью косился на солнце, которое как будто нарочно особенно медленно ползло по небосклону.

Николай Бестужев уже перестал отвечать ему на бесконечные вопросы «который час?», а повесил часы к себе на грудь и показывал на них, как только Розен приближался.

Когда Розен кинулся к лесу, Бестужев, услышав оклики часовых, спрыгнул с телеги, сдернул с шеи галстук и закричал Розену вдогонку:

— Эй, Андрей! Принарядись для встречи с супругой! Возьми галстук! Слышишь, Андрей!

Этими возгласами он успокоил часовых, которые, вообразив, что Розен пытается бежать, уже приготовились стрелять. Когда в выскользнувшем из-за леса возке Розен увидел свою Аннет, ему показалось, что земля качается под его ногами.

Аннет была в высокой шляпе с синей вуалью, точно такой же, какая была на ней четыре года тому назад. В тот день ей удалось проникнуть в ограду Петропавловской крепости, и они свиделись, когда Розена вели на допрос.

И как тогда, выйдя из каземата в солнечный день, он закрыл руками глаза, чтобы сквозь пальцы дать им возможность освоиться с солнечным светом, так и теперь он на какое-то мгновение закрыл лицо руками, как будто боялся, что яркое счастье, которое двигалось ему навстречу, может его ослепить. Потом с прежней силой он рванулся к возку и упал к ногам Анны Васильевны.

— Амур менду! Амур менду! — сразу разобрав, в чем дело, приветствовали их буряты, когда Розен на руках нес к привалу почти бесчувственную жену.

А за ним спешила Улинька, прямо к той группе, среди которой виднелась ссутулившаяся фигура Василия Львовича Давыдова — не в ловко скроенном гусарском мундире или дорогом бухарском халате, в чем она привыкла его видеть в прежние годы, а в каком-то не то подряснике, не то казакине, с широкополой шляпой на голове.

Но если бы он был даже в черном домино, в какое был наряжен когда-то на одном из маскарадов в Каменке, Улинька все равно узнала бы его. Узнала бы не глазами, а сердцем, которое сейчас пойманной птицей билось у нее в груди и рвалось туда, к тем

людям, среди которых стоял он, приложив козырьком руку ко лбу.

— Улинька! — узнав ее, вскрикнул Давыдов и протянул к ней руки.

Она подбежала к нему. На миг остановилась. Сделала еще шаг и крепко сжала его руку в своих твердых и горячих ладонях.

— Улинька, Улинька, — повторял он, жадно оглядывая ее всю, от розового платочка на голове, так идущего к ее румяному лицу, до крепких стройных ног, обутых в запыленные сапожки.

Под драдедамовой дорожной кофтой с переброшенными на нее косами эти покатые плечи и высокая грудь... Но в лице как будто что-то новое. Что? Глаза — все те же большие лесные фиалки, ресницы — попрежнему мохнатые шмели, то опускающиеся, то вновь взлетающие... Да, вот что: скорбные складочки в углах губ. А губы такие же яркие, с золотистым пушком в уголках. И так же чуть-чуть морщатся, когда Улинька говорит.

Но что же она говорит?

— Что я сказала? — переспросила Улинька с улыбкой. — Ах, да... Я спрашиваю, где же Марья Николаевна и Александра Ивановна?

— Они обе сопровождали нас, а теперь уехали вперед, чтобы подыскать жилища и для себя. Но мы в несколько переходов догоним их. А уж как они будут тебе рады, Улинька!

А глаза его добавили:

«Да что они! Я и сам не думал, что встреча с тобой доставит мне столько счастья...»

Басаргин, исполняющий обязанности старосты, подошел к Улиньке. За ним — другие. Усадили ее за стол, расспрашивали о России, о родных, знакомых и наперебой угощали горячим бульоном, кашей и душистым чаем.

Только Оболенский стоял в стороне и не сводил с Улиньки пристального взгляда.

— Ты что, Евгений? — спросил Басаргин.

— Послушай, — взволнованно заговорил Оболенский, — ты не находишь, что эта девушка разительно похожа на мою покойную невесту?

— Пожалуй, ты прав. В глазах и улыбке есть что-то, напоминающее покойную княжну.

Буряты ближе подошли к новоприбывшей. Внимание девушек больше всего привлекали Улинькины золотистые косы.

Парни тоже уставились на Улиньку; ласково улыбаясь и перебрасываясь меж собой короткими фразами, они звучно прищелкивали языком. И чем восторженней звучали эти прищелкивания, тем явственней вспыхивали огоньки ревности в косых разрезах девичьих глаз.

В этот вечер дежурный по кошту Якушкин собственноручно сварил для Анны Васильевны особым способом кашу из смоленской крупы, а Лепарский оказал этапу две милости:

«Приехавшей из России в услужение к жене государственного преступника, Марии Николаевне Волконской, вольноотпущенной дворовой девке помещицы Екатерины Николаевны Раевской-Давыдовой Ульяне Званцевой находиться до прибытия в Петровский завод по ее доброхотному желанию при направляемом туда же в болезненном состоянии государственном преступнике Луние Михайле Сергеевом сыне».

Второй милостью было распоряжение о допущении Анны Васильевны Розен

провести сутки в палатке, занимаемой ее мужем.

Когда двинулись дальше, Улинька шла рядом с телегой, в которой ехал Лунин, заботливо исполняя все, что требовалось больному.

Анна Васильевна тоже мало пользовалась своим возком, а шла пешком, окруженная плотным кольцом арестантов, которые с жадностью слушали ее рассказы о последних событиях. Она передавала, как был взбешен царь известием о французской революции. Как он приказал не пускать в русские гавани французские корабли с трехцветными флагами и собирался немедленно идти на Францию войной, но Германия и Австрия, которые он тоже убеждал двинуть свои войска к революционному Парижу, не рискнули на это.

Анну Васильевну засыпали вопросами, и она старалась ответить каждому как можно обстоятельней и правдивей. И почти каждого просила с улыбкой смущения:

— Громче говорите, пожалуйста. После моей последней беседы с Бенкендорфом в голове моей сделался шум, как будто я беспрестанно нахожусь в лесу, в котором буря качает деревья...

— Правда ли, что царь приезжал в охваченную холерой Москву, — спросил Лунин, высовывая голову из-под полога своей кибитки, — и будто бы Пушкин по этому поводу написал какие-то прочувствованные строфы?

— По столице ходили чьи-то восторженные стихи, — после некоторого раздумья отвечала Анна Васильевна, — но принадлежали ли они перу Пушкина — сказать не могу. Достоверно же мне известно лишь то, что Пушкин в связи с окончанием холеры очень надеялся, что царь вас всех простит. Графиня Вера Чернышева в день Петра и Павла была на именинах у Вяземских в Остафьеве. И князь показывал ей письмо Пушкина, в котором поэт высказывал такую свою надежду...

— А как воспринял приезд царя в холерную Москву народ? — спросил Горбачевский.

— В народе говорилось, что коли царь близко, значит и: смерть недалече, — с улыбкой ответила Анна Васильевна и вдруг обратилась к Трубецкому: — Ах, князь, я и забыла: в последний день моего пребывания в Москве ко мне прискакал от графа Лавалля специальный гонец из Петербурга с нотами, которые прислал из Парижа для Катерины Ивановны мсье Воше.

«Никак не может забыть мою Каташа», — подумал Трубецкой без бывшего ревнивого чувства.

— Ноты эти, — продолжала Анна Васильевна, — новый гимн, написанный Обером в честь Июльской революции. Эта «Паризьена» не столь звучна, как «Марсельеза», но тоже героична.

Вечером, во время привала, начали разучивать «Паризьену». Конвойные офицеры подозрительно прислушивались к ее призывному напеву, и хотя слов не понимали, но самый мотив заставлял их настораживаться.

29. Призрак революции

В разгаре лета 1830 года призрак революции, неизменно страшивший Николая все его царствование, перестал быть призраком, а воплотился в революционные батальоны восставших народов Франции и Бельгии.

Пожар революции грозил перекинуться в пределы других стран, и встревоженный Николай разослал своих чрезвычайных послов ко дворам Вены и Берлина для

заклучения антифранцузской коалиции.

В глазах царя власть Людовика-Филиппа была неприемлема уже по одному тому, что была «запятнана» своим революционным происхождением.

Но еще до прибытия русских послов к монархам Германии и Австрии новая во Франции власть была признана правительствами этих стран. Несмотря на это, Дибич в Берлине, а Орлов в Вене продолжали собирать бесконечные совещания, в которых не было никакого толку.

Терявший терпение Николай писал Дибичу о необходимости отбросить всякую мысль о возможности отстранить надвигающуюся политическую грозу посредством конференций и переговоров, как того хотел «августейший тесть» царя — прусский король Фридрих-Вильгельм.

«В настоящее время, — писал Николай, — вопрос уже идет о спокойном существовании не только Европы, но и нашем, ибо вы знаете, что революционная зараза не имеет для себя никаких карантинных. Она — как холера-морбус, которой следует оберегаться в самом начале ее появления. Вы должны дать понять королю, что дело идет о борьбе на жизнь и на смерть между законными правительствами и революцией со всем, что последняя может представить наиболее отвратительного и циничного. Пришел час поставить твердую преграду этому ужасному разврату, который в один год, а может быть и через несколько месяцев, охватит значительную часть Европы, и где тогда найдутся средства для его обуздания?»

Этими мыслями царь делился и со своим братом Константином, продолжавшим оставаться наместником Польши. Вместе с письмами царя к Константину приходили сообщения от графа Чернышева о ходе вооружения и о том, что местом сосредоточения войск избрана Польша — не только из-за близости к границам, но и потому, что содержание вводимых в нее войск пойдет в уплату ее старого, в тридцать миллионов, долга русской казне. Граф Нессельроде подтвердил эти сообщения, прибавив от себя сведения о тяжелом финансовом положении России и невозможности производить рекрутские наборы в целом ряде губерний из-за большого распространения в них азиатской холеры.

Сведения эти привели Константина в состояние неистового бешенства. Он вихрем ворвался в будуар своей жены, с которой всегда делился недовольством на брата, и сразу стал выкликать:

— Аполлон армейский! Тупица! Солдафон на троне!

Лович спокойно смотрела на него, не переставая натирать замшей свои похожие на розовые миндалины ногти.

— И как он не понимает, — краснея лысиной и шеей, орал Константин, — как не понимает, что дух крамолы и брожения, господствующий не только во Франции, но и во многих частях Европы, лишь усилится от шума воинских приготовлений, что от всего этого произойдет всеобщий пожар, в котором несдобровать и России! Как тебе нравится этот абсолютный монарх в роли защитника французской конституции?! Не правда ли, весьма пикантно, но отнюдь не натурально... — Константин кружил по нарядному будуару, как заведенный волчок, и мелькающие желтые лампы его брюк раздражали Лович. — А попробуй только иноземный сапог вступить на французскую землю, — выкрикивал Константин, брызгая слюной, — французы все забудут, кроме своей Франции, и крайние партии в патриотическом порыве бросятся друг другу в объятия...

— Само собою разумеется, — подтвердила Лович. — Да и одни ли французы?

Поляки тоже не меньше любят свою Польшу.

Константин подскочил к ней, но она, спокойно положив ножнички в бархатный несесер, близко наклонила свое холеное лицо к туалетному зеркалу.

— Все же нет ничего лучше для кожи, как парижский крем, — проговорила она, как будто не замечая пытливого взгляда супруга. — Ты помнишь, Котик, как у меня шелушилась кожа? А теперь опять упруга и совершенно гладка... Право же, только во Франции серьезно относятся к таким важным вопросам, как сохранение красоты. Удивительная страна эта милая Франция! — закончила она со вздохом и взяла на кончик мизинца из граненой фарфоровой баночки комочек маслянисто-ароматного крема.

— Уж куда как удивительная! — подхватил Константин со злобным смешком. — А я все-таки прямо напишу Николаю, что нам надо предоставить Франции раздирать и рвать себя на части. Надо принять ряд мер, чтобы даже искусственно возбудить ее к гражданской войне... Пусть французишки перережуются между собою... А то он выдумал сосредоточить столько войска у меня в Польше! И эта его затея послать польские войска для подавления революции во Франции. Нелепость! Абсурд!

Он исподлобья посмотрел на Лович и встретился с ее необычайно серьезным взглядом.

Какая-то подозрительная мысль смутно мелькнула у Константина. Он постоял несколько мгновений, по привычке широко расставив ноги.

— Твой любимый поэт Мицкевич называет Польшу Северной Францией, — медленно проговорил он, испытующе глядя на Лович.

Она пожала плечами.

— Да, он так ее называет.

Константин, широко с приседаниями шагая, вплотную подошел к креслу, в котором сидела жена.

— А вероломства и коварства в поляках тоже столько же, сколько и у французов, — отдельно проговорил он.

Лович еще раз пожала открытыми плечами и коротким жестом отбросила со лба по-мальчишески подстриженные завитки.

Что-то угрожающее сверкнуло в ее золотисто-карих глазах, когда этот белый выпуклый лоб приблизился к налитому кровью лицу Константина.

— Коханный мой, ты мне торжественно обещал никогда не говорить со мной о Польше и поляках в тоне, оскорбляющем мои патриотические чувства.

Константин выпрямился.

— Ух ты!.. Кабы не мой каприз, на русском престоле сидела б, а все:

Patria cara, Polonia droga... note 58

— То-то же, — неопределенно протянула Лович и потрепала своего вспыльчивого супруга по плечу с золотым эполетом.

Граф Дибич в последний раз обедал в готической столовой Шарлоттенбургского дворца. Синий и желтый свет, льющийся сквозь цветные стекла окон, как будто сгущал и без того мрачное настроение обедающих.

В этот день Дибич и король Фридрих-Вильгельм III получили одинаковые вести из Варшавы.

Note58

Дорогое отечество (лат.), дорогая Польша (польск.).

Польская армия, которая должна была, по замыслу царя, идти во главе «крестового похода» против восставших народов Франции и Бельгии, повернула пушки и штыки против своего русского арьергарда.

Узнав об этом, Дибич отправил царю с экстренным курьером письмо с выражением непреложного желания сражаться против «презренных мятежных поляков, которые своими ужасными происками и еще более отвратительными принципами увлекли за собою массу народа, легко поддающегося внушениям, и молодежь, испорченную неверием, тщеславием и распущенностью»...

Король держал себя с Дибичем уже не как с посредником между собой и зятем, а как с представителем русского царя, обманувшего его обещаниями выслать полтораста тысяч русских штыков в армию, предназначенную коалицией держав против Франции.

— Передайте мой отеческий привет моей бедной дочери, которая с первого дня царствования ее мужа находится в непрерывных волнениях за судьбу своей новой родины, — с укоризной проговорил король, когда Дибич откланивался после невеселого обеда в Шарлоттенбурге.

И мысленно прибавил:

«Хорошо, что я не поддался на уговоры Николая о немедленном объявлении войны Франции...»

Через неделю Дибич сидел в царском кабинете в Петербурге. Там же находился и вызванный из своего имения Бенкендорф.

Царь был пасмурен и, шагая по кабинету, желчно говорил:

— Известная французская болезнь куда менее зловредна, нежели французская революция. Там заболевает отдельный распутник или распутница, здесь же заражается целая нация. Мы видим воочию, как за французами всполошились бельгийцы, и кто знает, что творится сейчас в Италии и Австрии... Быть может, и там уже мятеж... И если в мою страну занесли из Турции холеру, так чем я гарантирован, что из Франции не занесут революцию?

Он оттопырил в досаде накусанные ярко-красные губы.

Все время молча слушавший его Бенкендорф воспользовался тем, что царь замолчал, и заговорил, как всегда, спокойно и уверенно:

— Пробовали занести, ваше величество, но, как изволите знать, зараза эта у нас не прививается.

Царь бегло взглянул в его самодовольное лицо и снова зашагал по кабинету, отталкивая попадающиеся на ходу стулья.

А Бенкендорф продолжал в том же тоне:

— Если мы обратимся к истории Франции, то увидим, что с самой смерти Людовика Четырнадцатого французская нация, более испорченная, нежели образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен. Не слабые Бурбоны шли во главе народа, а сам французский народ влачил их за собою. Что же касается России, то ничего общего с подобным явлением у нас не существует. Россию от бедствий революции ограждает то обстоятельство, что у нас со времени Петра Великого всегда впереди нации стояли ее монархи. А наши монархи образованнее своего народа. И поэтому я вполне согласен с графом Уваровым, что не должно торопиться с просвещением народа, чтобы он не стал по кругу своих понятий в уровень с правительством.

«Куда гнет, bestия!» — подумал о Бенкендорфе Дибич, который знал, что царь

недоволен министром Уваровым за некоторое «ослабление дисциплины» в Московском университете. Ослабление это выразилось в том, что, когда на лекции по богословию кто-то объявил, что поэт Пушкин находится в стенах университета, студенты гурьбой бросились из аудитории. Оскорбленный богослов донес об этом в Петербург.

Но шеф жандармов был очень равнодушен к молоденькой племяннице Уварова, и этого было достаточно, чтобы министр был взят им под защиту.

Дибичу по возвращении из Берлина эту новость сообщили одной из первых.

— Да, да, — останавливаясь у стола, сказал царь, видимо продолжая думать о своем. — И все же я убежден, что поляки ни за что не взбесились бы, если бы во Франции не произошел переворот. А потому война против крамолы, против революционного фанатизма и ослепления освящает любое средство избавления от них.

— Совершенно справедливо, ваше величество, — поддержал Дибич, — и надо действовать без малейшей потери времени, чтобы лишить поляков способности к защите. Однако при подавлении польского мятежа мы должны иметь в виду не только военную силу, но и легион тайных неприятелей в тылу, о которых в свое время имелось донесение Варшавской следственной комиссии по делу польского Патриотического общества.

При последних словах Бенкендорф переглянулся с царем.

— Вести, полученные мною с последним курьером от цесаревича из Варшавы, мало утешительны. Цесаревич покинул мятежный город и при этом, — царь на момент крепко сжал кулаки, — разрешил оставшимся при нем частям польской армии возвратиться в Варшаву...

Бенкендорф вскочил с места.

— Но ведь это скрепит бунт, даст польской армии возможность объединиться! Это капитуляция...

Царь, сдвинув брови, процедил:

— Полагаю, что поступок брата вызван силою обстоятельств. Тем паче надо действовать немедленно.

Он приказал вызвать дежурного адъютанта и, вытащив из стола заранее приготовленные бумаги, продиктовал ему ряд указов и в том числе о назначении графа Дибича главнокомандующим армией, которая будет действовать против польских мятежников.

Обернувшись к замершему в изумленно-почтительной позе Дибичу, Николай отдал ему первое распоряжение:

— Немедленно примите меры к сосредоточению войск Литовского корпуса у Бреста и Белостока, с тем, чтобы вести их прямо на Варшаву.

Лицо царя дергалось.

— Я готов сию минуту отправиться в армию, ваше величество, — проговорил Дибич и сделал такое движение, будто с трудом удерживает себя на месте.

Царь коротко кивнул головой и, взяв из рук адъютанта большой, четко исписанный лист, протянул его Дибичу:

— Это манифест, который я приказал заготовить к войскам и народу царства Польского. И это моя последняя попытка предотвратить кровопролитие.

«Божьей поспешествующею милостью мы, Николай I, император и самодержец всероссийский, — начинался, по обыкновению, манифест и дальше, вероятно для ошеломления размером царского могущества, перечислялось: „царь казанский, царь

астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонеса Таврического, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь эстляндский, лифляндский, курляндский и семигальский, карельский, югорский и болгарских земель; государь и великий князь Новагорода, низовские земли, белозерский, удорский, обдорский, кондийский, мстиславский и всея северные страны повелитель и государь иверский, карталинские, грузинские и кабардинские земли и армянские области, черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель...“

После всех этих многочисленных, похожих на ружейные залпы, титулов следовал текст самого манифеста, в котором говорилось, что мятежники «противозаконного сейма, присваивая себе звание представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома Романовых в Польше прекратилось и что трон ожидает нового монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятв, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений. Настало время употребить силу против не знающих раскаяния, и мы повелели нашим верным войскам идти против мятежников. Россияне! В сей важный час, с прискорбием отца, но со спокойной твердостью царя, исполняющего священный долг свой, мы извлекаем меч свой за честь и целостность державы нашей...»

Заканчивался манифест призывом молить бога, чтобы он благословил русское оружие и помог «возвратить России отторгнутый от нее мятежниками край и устроить будущую судьбу его на основаниях прочных, сообразных с потребностями и благом всей нашей империи, и навсегда положить конец враждебным покушениям злоумышленников, мечтающих о разделе».

— Разрешите, ваше величество, отправиться на театр военных действий? — с нетерпеливой готовностью спросил Дибич.

«Недурно позирует старая лиса», — мысленно похвалил Дибича Бенкендорф.

— Прежде всего, — вновь повелительно заговорил царь, — надлежит безотлагательно отправить к цесаревичу во Влдаву мое письмо, в котором я напрямик заявляю, что если при создавшихся взаимоотношениях с Польшей должен погибнуть один из двух народов, то я ни минуты не поколеблюсь, ни в выборе между моим народом и поляками, ни в том, каковы должны быть мои действия. Брат Константин должен знать, что я исчерпаю все средства, чтобы вернуть безрассудных поляков на путь разума. Иначе поступить я не могу, так как это было бы несовместимо с честью лица, которое я представляю, и с честью империи, оскорбленной недостойным образом. Всем ясно, и в том числе должно быть ясно и Константину, что сражаться нас заставляет необходимость.

«Опасается влияния на цесаревича со стороны графини Лович», — догадались и Дибич и Бенкендорф. Но последний только поднял глаза к потолку, как бы призывая небо быть свидетелем грозных царских слов.

— Очень сожалею, что цесаревич без боя отступил к русской границе, — гневно закончил царь и, круто повернувшись, удалился во внутренние покои.

Оба генерала глядели ему вслед, пока он шел анфиладой зал, и длинная его фигура черной тенью отражалась в натертом до блеска узорном паркете.

После долгой паузы Дибич тяжело вздохнул:

— В предначертанном мне жребии непонятная тягость подавляет мой дух. Я предчувствую, что этот поход будет в моей жизни последним, ибо неудачи я не потерплю. Для меня смерть в пылу сражения предпочтительнее, чем избавление от

опасности с потерей славы. Да и здоровье мое после смерти жены уже не то.

При последних словах по его лицу скользнуло что-то похожее на настоящую человеческую тоску.

30. «Дум высокое стремленье»

Петровский острог ошеломил всех прибывших в него осужденных.

В темных, как норы, казематах из-за отсутствия окон с утра до ночи и с ночи до утра горели сальные свечи и плошки, которые отравляли и без того спертый воздух смрадом горелого жира.

В первых же письмах из Петровского завода жены заключенных забили тревогу. Они писали и родным, и в III Отделение, и лично Бенкендорфу, что отсутствие дневного света непременно вызовет у заключенных потерю зрения, а невозможность проветривать казематы поведет к обострению грудных болезней, которыми многие уже страдают.

Родственники сосланных, имевшие доступ ко двору, лично умоляли самого царя, а также его жену и мать о разрешении прорубить окна.

Наконец, разрешение это было дано, и окна, правда, узкие и под потолком, но все же были прорублены.

Проливающийся сквозь них свет скупо падал на толстые стены каземата, и эта массивная и прочная стройка острога красноречивее слов давала понять, что правительство надолго решило оставить участь узников неизменной.

Отчаяние охватило всех.

Но, как среди могильных камней пробивается трава, пробивались побег жизни и в стенах этого гигантского склепа.

С терпением, не знаящим пределов, узники заставляли павших духом товарищей найти утешение в осмысленном труде.

Завели общее хозяйство и во главе его поставили выборного эконома. Весь штат его помощников: повара, сапожники, огородники, часовщики, столяры — все были свои, заключенные.

В общий «котел» вносились не только физический труд и деньги, получаемые от родных, но каждый отдавал и свои духовные богатства. А так как среди узников были люди, получившие всестороннее образование, то в казематах процветало изучение философии, социологии, политической экономии, математики, военных и естественных наук, медицины и языков.

Через жен выписывались журналы, книги, газеты; и даже то, что просачивалось сквозь плотину цензуры III Отделения, все же давало некоторую возможность следить за общественными и политическими событиями в России и Европе.

Личная жизнь отдельных сосланных и их семейств общим несчастьем переплелась с жизнью других, и письма, получаемые на имя кого-либо одного, всегда имели интерес для всех. Так как сами «преступники» не имели права писать, то ведущие их корреспонденцию «дамы» невольно бывали посвящены в семейные отношения сосланных, и зачастую переписка возникала уже непосредственно между их женами и родственниками. Именно таким образом Марья Николаевна Волконская подружилась больше всего с семьей Ивашевых.

Прибытие почтового возка неизменно служило поводом к тому, чтобы все собирались вместе. Самый факт получения посылок и писем, независимо даже от их

содержания, воспринимался ссыльными как неопровержимое доказательство неустанных о них забот в далеком Петербурге, Москве или в провинции.

Больше всего посылок получали братья Муравьевы. Их мать, Екатерина Федоровна, посылала им не только все необходимое для того, чтобы скрасить их быт, но она знала и духовные потребности своих сыновей. Муравьевы получали все новинки русской и даже иностранной литературы. При этом Екатерина Федоровна проявляла необычайную изобретательность по части умения перехитрить «недремлющее око» жандармской цензуры.

Был день прихода почты, и все, по обыкновению, собрались в самом большом каземате.

Николай Бестужев, поместившись у окна на сооружении, напоминающем высокие козлы, собирал колесики самодельного хронометра.

Единственные инструменты, которыми он располагал, — перочинный нож и подпил — лежали на узенькой, тут же у окна подвешенной полочке.

Михаил Бестужев расклепывал молотком лист латуни, необходимый Николаю для его хронометра.

Равномерные удары молотка по металлу раздражали Никиту Муравьева, который тщетно пытался углубиться в чтение. Он нервно дергал головой, хмурился, но не произнес ни слова.

Волконский, сидя на нарах, раскачивался из стороны в сторону, и доски под ним поскрипывали тоже однообразно-надоедливо.

— А знаете, если мы задержимся хотя на год в этом мрачном стойле, мы, несомненно, погибнем, — медленно проговорил Трубецкой.

— Какое же это стойло, — улыбнулся от окна Николай Бестужев. — С тех пор как прорубили эти дыры, — он кивнул на небольшое под потолком оконце, у которого работал, — я нарадоваться не могу. Вот когда их не было, действительно было темно. И вообще, Трубецкой, вы слишком скоро забыли трущобы Благодатского рудника.

Трубецкой тоскливо посмотрел на него и, пожав плечами, собрался лечь на нары. Но к нему, звонко щелкая ножницами, подошел Горбачевский.

— Остричься не угодно ли, ваше бывшее сиятельство? — спросил он, подражая манерам развязного парикмахера.

— Оставьте меня, Горбачевский, — тихо ответил Трубецкой.

— Но, Сергей Петрович, ведь это моя обязанность.

— Знаю, но меня сегодня все утро изводил примеркой Оболенский. Он, кажется, слишком увлекается своим новым призванием.

— Что ж, он прекрасный закройщик, — медленно процедил Анненков, перелистывая журнал французских мод. — И я очень завидую тем из вас, кто сумел научиться какому-нибудь ремеслу. Я же ни на что больше не годен, как только помогать поварам.

— Нет, если бы вы не были ленивы, — отозвался Михаил Бестужев, перекладывая латунный лист на другую сторону, — я бы сделал из вас великолепного кузнеца. Силища ведь у вас циклопическая. К тому же разрешение посещать литейные и слесарни, хотя бы и при конвойном, освежило бы вас, дало бы упражнение вашим могучим мускулам... Кстати, об одном рабочем, — перебил он себя. — Встретил я тут литейщика. Вихров его зовут. Он сорок два года в ссылке. Сослан «в вечную» за участие в крестьянском бунте. И все мечтает о возвращении на родину, в Орловскую

губернию. «Жена там у меня, ребятишки», — говорит. «Да что ты, милый, — говорю ему, — какая же жена, какие ребятишки, коли сорок два года прошло с тех пор, как тебя угнали!» — «Ну-к что же, отвечает. Женка из молодухи, небось, в старушку обратилась, дети повырастали, внучата, чай, бегают. Не век же здесь вековать. Кабы знал, что столько будут держать, — убил бы с молодости кого-либо. Ведь по закону самые страшные злодеи — и те после двадцати лет каторжных работ, глядишь, и отпускаются. Домой хоцца!» И это «хоцца домой» слышу я от него всякий раз, лишь только заговорю с ним...

— Маниак! — холодно бросил Завалишин, надавливая грудью на проклеенный картон переплета.

На него даже не взглянули. Знали, что в этом, когда-то жизнерадостном, делающем блестящую карьеру лейтенанте, в связи с резким переломом в жизни, развилась тяжелая для окружающих черта: всякое проявление чувства дружбы, привязанности и любви он старался объяснить или ненормальностью, или изменными побуждениями.

— Что это нынче как поздно почта, — проговорил Трубецкой. — Скоро уж и дамы придут, а разбирать будет нечего.

— А как Катерина Ивановна себя чувствует? — спросил Анненков.

— В ее положении довольно сносно, — ответил Трубецкой и, как всегда при мысли, что у него с Каташей скоро будет ребенок, радость хлынула в его грудь и, разлившись по лицу, преобразила его.

«И эдак всякий раз, как заговорят о жене, — с завистью подумал Волконский. — А моя Маша совсем не рада беременности. Говорит, что коль скоро дитя поступит в казенные крепостные крестьяне, так лучше бы ему и вовсе не родиться».

В каземате наступила тишина. Михаил Бестужев, отдав латунь брату, примостился на своих нарах. Уже несколько дней он чувствовал себя нездоровым, но тщательно скрывал это, боясь взволновать брата. Положив под голову тугую соломенную подушку, он закрыл глаза.

Озноб дробными льдинками скользил по телу. К воспаленным от долгих бессонных ночей глазам неотвязно и тяжело подплывала одна и та же картина, как упорно и неотвязно прибивается к берегу обломок разбитого бурей судна. Виделись прыгающие через гранитный барьер солдаты Московского полка, выведенного им из казарм утром 14 декабря. Пушечная пальба по Сенатской площади перенеслась на Неву. Картечь разила людей, но ему все же удалось увлечь солдат на середину реки, построить в боевую колонну, чтоб вести к Петропавловской крепости и оттуда начать переговоры с царем Николаем понятным ему языком крепостных пушек.

Ядра рвались на льду, взметывали его зеленовато-голубые осколки. Будто невидимый расвирепевший великан дробил исполинские стекла. Из зияющих прорубей проступала черная на белом снегу вода. И вдруг из множества грудей вырвался вопль: «Тонем, тонем! Погибаем!» И люди, незадолго до того шутившие над товарищами, которые нагибали головы при визге ядра: «Что раскланялся, аль знакомое летит?» — от этого неожиданного вопля заметались в панике. Бестужев, сам по колени в воде, скомандовал: «Спасайтесь, кто, как может!» — и широкими прыжками выбрался на берег. За ним по пятам бежал знаменосец Любимов с оледенелым древком знамени. «Куда же нам теперь, ваше высочорodie?» — с отчаянием спрашивал он. Бестужев велел отдать знамя преследующему их эскадрону драгун. Взгляд, который устремил на него Любимов при этом приказании, навсегда останется

в памяти. Через несколько минут Бестужев увидел, как офицер, принявший из рук Любимова знамя, взмахнул саблей, и знаменщик упал под лошадиные копыта. Все впечатления того ужасного дня и ночи прощание с матерью, сестрами и невестой, грубый допрос во дворце, физические муки от голода и впившихся в тело веревок, которыми по приказу царя были скручены его руки, — все это бледнело перед воспоминаниями о русой окровавленной голове Любимова. Щетинистый султан его кивера черным дымком трепался на ветру у подножия желто-каменного сфинкса... И вдруг голова эта приподнялась над залитой кровью мостовой и веселым голосом стала выкликать все громче, все явственней:

— Ой, вы, гой еси, люди добрые! Выходите-ка из палат своих, поспешите ко боярину, свет Никите Михайловичу. Ко его ли палатам каторжным свезено добра всякого со родимой ли со сторонущи...

Бестужев открыл глаза...

В каземате суетились, втаскивая только что прибывшие с почтой ящики.

А Поджио, умеющий и в стенах мрачной тюрьмы сохранять кипучую веселость нрава своих дедов, живших под заласканным солнцем небом Италии, продолжал шутивно созывать товарищей:

— Отбивайте донца у бочонков, наполняйте ковши винами, винами заморскими, брагой пенною...

Его голос заглушили женский смех и говор.

Бестужев окончательно проснулся и вскочил с нар в тот момент, когда в каземат вошли Волконская, Муравьева. Полина Анненкова, а позади всех, переваливаясь уточкой, Катерина Ивановна Трубецкая.

Каждая из них держала в руках по пачке писем.

С приходом этих женщин точно свежий ветер ворвался в каземат и разогнал тучу тоски.

Послышались приветствия, шутки, остроты.

Анненкова с былым уменьем продавщицы развязывала шнурки коробок с платьями и шляпками и ловко раскладывала их на столе, по скамьям, внимательно разглядывая каждый кусочек шелка, каждый тюлевый и бархатный бант.

— Гляди, Жан, — протянула она Анненкову что-то сделанное из газа, перьев и цветов. — Ясно, что опять жена какого-нибудь чиновника, из тех, что просматривают наши посылки, носила эту шляпку, а потом, сняв с нее все изящное, свила это гнездо.

Обычно часть посылок бессовестно раскрадывалась почтовыми чиновниками, а если вещи были перечислены, то дорогие и изящные заменялись наскоро другими, местного изготовления.

— Ну, погляди же, Жан, — настаивала Полина, — разве тамап пришлет такую гадость!

Она поднесла к близоруким глазам мужа какие-то заплесневелые жамки.

— Иркутские, — сказал, взглянув на них, Поджио и надел на себя только что отложенное в сторону еще одно «гнездо» и турецкую шаль.

Полина хохотала, закинув голову, и даже Волконская, как будто разучившаяся смеяться с тех пор, как получила известие о смерти отца, не могла не улыбнуться, — так комична была фигура красавца Поджио в этой безобразной шляпке и картинно накинута на широкие плечи шали.

— Да перестаньте же паясничать, Поджио! — смеясь, попросила Трубецкая, приникшая к плечу мужа.

Поджио сел возле Марии Николаевны, помогавшей Полине выбирать из банки с вишневым вареньем просыпанные в него миндальные орехи, и тоже стал слушать Александрину Муравьеву, которая читала вслух письмо свекрови:

«Государю каким-то образом стало известно, что то одна, то другая из дам остаются по нескольку дней безвыходно в казематах своих мужей, и когда статсдама Волконская обратилась к нему с просьбой разрешить ее невестке жить с мужем под одной кровлей, хотя бы и тюремной, его величество сказал: „Мне собственно остается лишь санкционировать факт, и я это сделаю“.

— Bravo! Bravo! — захлопала в ладоши Полина и, не выдержав, бросилась мужу на шею.

Он застенчиво отстранил ее.

— Ура! — крикнул Поджио.

— Ур-ра! — поддержали и другие.

— Дайте же слушать! — перекричал всех Завалишин.

«Радуюсь, что могу сообщить о несомненно приятной для вас всех новости, — писала мать Муравьевых. — Наша мадам Шарлотта получила письмо от своей родственницы, француженки Ледантю, которая много лет проживала в доме Ивашевых в качестве гувернантки сестер вашего товарища по несчастью, ротмистра Ивашева. Почтенная сия старушка пишет, что ее дочь — Камилла, красивая молодая девушка, долго страдала каким-то тайным недугом. И только недавно она призналась своей матери, что недуг ее есть не что иное, как давняя страсть к брату девиц Ивашевых, ныне сосланному. Камилла при этом заявила матери, что в чувствах своих она никогда не решилась бы открыться, если бы объект ее страсти оставался в прежнем своем положении, т. е. богатым кавалергардом и одним из адъютантов командующего армией. Но коль скоро постигшее его несчастье приравняло его с нею, скромною дочерью гувернантки, то, следуя влечению своего сердца, она выражает полную готовность ехать к Ивашеву в Сибирь, коли он пожелает сочетаться с нею браком... История сия трогательна до слез. Однако будь добра, не разглашай ее до получения согласия Ивашева, чтобы в случае его отказа не чинить бедной молодой девушке лишних страданий от выраженного им небрежения к ее чувствам...»

Муравьева спохватилась и смущенно оглянулась в угол, где сидел Ивашев.

Но тот ничего не слышал, устремив глаза в только что полученное от сестры письмо. В нем она подтверждала то, о чем только что читала Муравьева и о чем, накануне, беседовал с ним Лепарский, который тоже получил от отца Ивашева письмо с просьбой сообщить его сыну о желании девицы Камиллы Ледантю сочетаться с ним браком.

Ивашев, болезненно тосковавший в тюрьме и собиравшийся бежать из нее, не поверил словам коменданта.

Он решил, что в отношении его осуществлялся план, придуманный товарищами совместно с комендантом: заставить его обманом если не совсем выбросить из головы мысль о побеге, то хотя бы отложить попытку к ее осуществлению. Но письмо старшей сестры было слишком просто и искренне, а привычная с детства восторженная вера в каждое произнесенное ею слово заставила его поверить этому сообщению.

Дочь гувернантки француженки Камилла, которую он встречал в своей семье во время наездов в гости, встала перед ним такою, какой он видел ее в последний раз, незадолго до ареста.

Молодежь играла в фанты. Ивашев был «оракулом» и, сидя посреди гостиной с покрытой платком головой, каждому из подходивших приказывал, что тот должен совершить. Ивашев слукавил: незаметно сбросив концы платка с колен, он видел то женские, то мужские ноги и мог сообразно своим желаниям давать играющим то или иное поручение.

Вот у его кресла остановились стройные ножки в атласных туфельках. Остановились, шаловливо пошевелили носками, и тоненький палец уперся ему в голову.

— Этому грешнику, — чревовещательным голосом произнес Ивашев, — подлезть ко мне под платок и признаться в любви.

Ножки дрогнули, отступили, но возле них замелькали другие, в черной прюнели, в атласе, в цветном сафьяне. Зазвенел смех, раздались голоса.

— Нельзя ослушаться оракула! Камасенька, Камасенька, ступай под платок!

Ивашев ждал. И вот на момент приподнялся платок, счастливо и испуганно сверкнули огромные глаза, и рядом с ним в темноте послышалось трепетное:

— Je vous aime, Basil...*note 59*

Вместе со свежим, радостным запахом что-то нежно коснулось его губ, и Камилла мгновенно выскользнула из-под платка.

Ивашев, склонившись над письмом, закрыл лицо руками.

Басаргин и Оболенский подошли к нему, а Муравьева, всегда имевшая под рукой аптечку, торопилась накапать в скляночку успокоительных капель.

— Наверно, родители просто купили ему эту девчонку, — прошептал Завалишин на ухо Михаилу Бестужеву.

Тот отшатнулся.

— Как вы, Дмитрий Иринархович, можете жить с такой мизантропичностью в сердце? — с упреком проговорил он.

Завалишин сердито схватил клещи и стал скреплять застёжки пергаментного переплета сочинений блаженного Августина под редакцией Эразма Роттердамского. Книга эта была одним из редчайших экземпляров богатой лунинской библиотеки, частями пересылаемой Лунину его сестрой. Завалишин с особенной старательностью починял застёжки на этом переплете.

Пожалуй, Лунин был единственным человеком, к которому даже Завалишин относился с уважением. Они знали друг друга еще с того времени, когда Лунин был полковником лейб-гвардии Гродненского полка и пользовался личными симпатиями императора Александра и дружбой Константина.

Завалишину было известно, что после разгрома Тайного общества Константин, узнав о готовящемся аресте Лунина, предлагал ему заграничный паспорт, но Лунин отказался, заявив, что, разделяя мысли своих товарищей, желает разделить и постигшую их участь... С того времени из богатого и знатного эпикурейца Лунин превратился в стойкого ненавистника самодержавного режима и исследователя, ушедшего в изучение философских и религиозных догм.

Завалишину нравилось в Луinine и то, что в отношении правительства он держался не только независимо, но при всяком удобном случае старался показать ему полное презрение.

Note59

Я вас люблю, Василий (франц.).

За все эти лунинские качества Завалишин отдавал ему явное предпочтение перед другими товарищами по каторге. Лунин же принимал такое его отношение с явной иронией. Он не любил в Завалишине большое самомнение, а за его манеру всегда вводить парламентские правила в обычные беседы называл его будущим председателем русского учредительного собрания. Он даже подарил Завалишину колокольчик с надписью: «Le clochet du president» note 60.

В когда в камере становилось слишком шумно, достаточно было взять кому-нибудь в руки этот колокольчик, чтобы хоть ненадолго, но все же наступила тишина.

Бестужев, преодолевая слабость, нагнулся, было за этим колокольчиком, но его поманил к себе Никита Муравьев.

Он держал в руках журнал «Revue Britanique» note 61, и по мере того, как перелистывал страницы, лицо его становилось все мрачнее.

— Ты посмотри, — сказал он Бестужеву, протягивая ему журнал, изуродованный многими небрежно вырванными страницами.

Волконский тоже разглядывал обезображенный журнал.

— Он похож на исхудавшего толстяка в прежнем сюртуке, — с горечью сказал он.

— А на мой взгляд, коли сравнить оглавление с тем, что оставили жандармы, — шутливо сказал Бестужев, — то книжка сия является убогой хижинкой, предваряемой великолепной прихожей.

— Батюшки, а это к чему же? — стоя на коленях перед ящиком с только что вынутой из него книгой, воскликнул Басаргин. — Глядите, «Traite d'archeologie» note 62, — прочел он заглавие.

Никита подошел к нему:

— Дай-ка сюда эту археологию.

Перевернул несколько страниц и обрадовался:

— Ах, милая маменька, как остроумно придумала! На, погляди, — протянул он книгу Лунину.

Тот быстро прочел несколько строк на одной из первых страниц.

— «Источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на их место».

Перевернул страницу, другую и снова прочел:

— «Любовь и радость удовлетворяют нас и наполняют наше сердце, не требуя посторонней поддержки, между тем как горестные и раздирающие сердце ощущения несчастья нуждаются и ищут сладостных утешений в нежном сочувствии...» Да ведь это Адам Смит! — воскликнул он.

— Ну да, конечно, — радостно подтвердил Никита. — Это его «Теория нравственных чувств». Ты понимаешь, первая страница вырезана, вместо нее подклеен этот «Трактат по археологии», и... бдительность III Отделения обманута.

Note60

Колокольчик президента (франц.).

Note61

Британское обозрение (франц.).

Note62

Трактат по археологии (франц.).

Стали вынимать другие книги. И здесь повторилось то же самое. В объемистом томе под заглавием: «Newton. Principia mathematica» Никита увидел, что к нему дошла, наконец, книга Роджера Бэкона.

— Ведь это Бэкон, — подняв книгу над головой, возбужденно обратился ко всем Никита, — ведь это именно он во мраке века схоластики, за три столетия до Галилея, имел смелость заявить: «*Domina omnium scientiarum!*» note 63 — и за это его обвинили в ереси и колдовстве и на пятнадцать лет посадили в тюрьму.

— Роковая судьба человека, гениальность которого далеко опережает его эпоху, — задумчиво произнес Лунин. — И когда благодарное потомство оценит, наконец, его заслуги и проявит намерение воздвигнуть ему памятник, оно не сможет найти и места, где покоятся его кости.

— Нет, это восхитительно! — взмахнул Никита небольшой в красном сафьяне книжкой. — Смотрите: «Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания», сочинение господина Шокке, а за сим смиренным названием социалистическая теория Фурье.

Никита встал с колен, отряхнул приставшие к одежде соринки сена и соломы, которыми был сверху покрыт ящик, и, подойдя к Оболенскому, прочел вслух:

— «Напрасно вы, философы, будете загромождать библиотеки сочинениями, трактующими о счастье: вы его не найдете до тех пор, пока не вырвете с корнем ствола всех социальных бедствий — промышленное дробление и разрозненный труд».

— Ты возвращаешься к нашему вчерашнему спору, — сказал Оболенский, — но я все же настаиваю на своем. Покуда не переустроится нравственная структура отдельной личности, одна часть человечества не перестанет угнетать другую, а в обществе, где угнетена хоть одна личность, не может быть всеобщего благоденствия. Сколько ненависти и упорства в этом новом учении, которое проповедует Фурье! Я по себе знаю, какое скопище таких страстей представляла моя собственная душа, когда мы затевали построить счастье родины, на крови. Ныне же в мое сознание проник свет иной истины.

Оболенский встал с места, и его голубые глаза от волнения стали совсем синими.

— С чем сравню я этот свет? — продолжал он, жестикулируя вздрагивающими руками. — Слабый образ его есть солнце, которое, выходя из глубины небесной, освещает сначала верхи гор и едва заметными лучами касается долин. По мере возвышения солнца лучи его согревают долины, где нежные растения постепенно привыкают к его теплоте и вдыхают в себя его живительную силу. Так и свет открывшейся мне истины, постепенно проникая в глубину сознания, лучами любви, вечной и совершенной, озарит все, что способно раскрыться для принятия его живительной силы.

— Эта голубиная кротость Оболенского иногда приводит меня в умиление, а порой раздражает, — проговорил Басаргин.

— Не знаю, голубиная ли это кротость, или куриная слепота, — пожал плечами Завалишин, продолжая чинить переплет.

Постепенно все расходились по своим казематам, чтобы еще раз обсудить содержание отправляемых обратной почтой ответов на полученные письма, да и перечесть эти письма по нескольку раз наедине.

Note63

Наука — превыше всего (лат.).

Прощаясь с Марьей Николаевной, Волконский с ласковой строгостью попенял ей: — Нехорошо, дорогая Маша, что ты никак не сопротивляешься грустному состоянию твоего духа. Ни в чем не повинный младенец войдет в жизнь с душой, преисполненной меланхолии.

Марья Николаевна подняла на мужа невеселые глаза:

— Что делать, коли я не вольна отвлечь свои мысли от постигших меня незаменимых утрат!

Волконский осторожно прижал ее к груди:

— А моя любовь к тебе вмещает добрые чувства и ко всем, кто был и кто остался мне дорог. Вот скоро мы с тобой будем неразлучны...

— В каземате, — вздохнула Марья Николаевна.

— Авось ненадолго, — продолжал Волконский. — Скупое, очень скупое отпускает нам царь от «щедрот» своих. Но все же — сравни наше положение с тем, какое было в Благодатском руднике.

Марья Николаевна поправила прическу и стала застегивать шубу.

— Мы с Муравьевой и Анненковой решили все же построить свои домики на случай, если вы из гостей сможете стать их постоянными обитателями.

— А ты-то сама как полагаешь — сбудется это когда-нибудь? — вырвалось у Волконского с такою тоской, что Марья Николаевна постаралась придать своему голосу уверенность:

— Мы все будем просить об этом государя через Бенкендорфа. Мы напишем царю, что дети, которых мы ожидаем, не должны от самого своего рождения чувствовать свое сиротство, свою отторгнутость. Мы скажем ему, мы напишем... — больше голос ей не повиновался. — Я пойду, — оборвала она себя. — До завтра, Сергей...

Вечером, собравшись у Анненковой, будущие матери сочиняли прошение на высочайшее имя.

Они излагали в нем свои просьбы в сильных и горячих выражениях. Они с тонким умением давали понять всю бессмысленность их дальнейшего, хотя бы и добровольного заточения в казематах вместе с мужьями и взывали к милосердию того, кто сможет «одним своим словом утишить скорбь и дать возможность со счастливой надеждой ждать благословенного часа появления на свет младенцев, кои должны осушить слезы своих матерей, не иссякающие с тех пор, как их дети оставлены сиротами в навеки потерянной родине».

Но ни царь, ни Бенкендорф не обратили внимания на эти мольбы. Они были слишком заняты грозными событиями, развернувшимися и внутри России и на фронте войны с восставшей Польшей.

31. В Петергофском дворце

Азиатская холера с невероятной быстротой перекидывалась из одной губернии в другую. То в одном месте страны, то в другом вспыхивали холерные бунты. В обеих столицах по улицам тянулись похоронные процессии. Засушливое, необычайно жаркое лето почти не освежалось дождями. Вокруг Петербурга дымились лесные пожары, и их едкая гарь висела над городом удушливым туманом.

Всюду были выставлены заградительные рогатки, тормозящие правильное снабжение жителей продовольствием.

Правительством выпущены были к населению листовки:

«Наставление к распознаванию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному ее лечению».

В листовках этих предписывалось: «Иметь всем жителям при себе скляночку с хлориновой известью или с крепким уксусом, которым натирать себе руки, около носа, виски и прочее, и, кроме сего, носить в кармане сухую известь». Далее в «наставлениях» запрещалось «предаваться гневу, страху, унынию и беспокойству духа», запрещалось после сна выходить сразу на воздух, а «буде сие окажется к исполнению невозможным, одеваться теплее и в теплую обувь». Приказывалось полиции забирать подозрительных по холере больных в бараки, и ошалелые жомальные тащили туда всех, кто попадался под руку, а в особенности нетрезвых. Пьяные, проспавшись, удирали в больничных халатах. Их ловили, но народ вступался за них и с дракой отбивал у полиции. Слухи одни других нелепее росли и распространялись с не меньшей быстротой, чем сама холера. Говорили о преднамеренном отравлении народа, всегда готового верить во всякие враждебные против него действия со стороны его угнетателей. Все чаще вспыхивали бунты, один другого грозней и по жестокости, с какой народ расправлялся со своими явными и тайными врагами, и по тому, как расправлялись с народом власти при подавлении этих бунтов.

Особенно трагически разразился такой холерный бунт в военных поселениях. Накопившаяся в поселенцах давняя ненависть к угнетателям была горючим материалом, в который достаточно было упасть одной искре, одному кличу: «Господа да начальство напустили на народ холерный мор» — чтобы вспыхнул костер небывалого бунта.

Ошеломленный ужасом загадочной болезни, народ разбивал больницы, жег и крушил здания, где укрывалось начальство.

Местный гарнизон отказывался усмирять восставших, царь послал туда полки из отдаленных губерний. Военные поселенцы были беспощадно наказаны. Главарей заporоли насмерть, а остальных целыми батальонами гнали из «экзерциргаузов», где их допрашивали, в крепости и ссылку, не разрешая даже проститься с семьями.

Но карательные экспедиции вносили непрочное успокоение. Крестьянские волнения продолжались. Губернаторы получали из Петербурга строгие циркуляры, в которых говорилось, что «до сведения государя императора неоднократно доходили толки, распространяемые в губерниях неблагонамеренными людьми, о переходе крестьян из владения помещиков в казну и тому подобное; таковые толки тем более требуют внимания, что, распространяясь в местах, подверженных холере, они еще более возбуждают легковерных и тревожат малодушных. Его императорское величество повелеть соизволил обратить особенное внимание на сие обстоятельство и предписать гг. предводителям дворянства, чтобы они брали всяческие меры открывать источники таковых толков и содействовать к прекращению их в самом начале».

В это время подавление польского восстания, начавшееся, казалось, с таким для царя успехом благодаря быстрому под начальством Дибича продвижению армии к Варшаве, неожиданно приняло иной оборот.

После решительного боя при Грохове польская армия отступила к Варшаве, потеряв двенадцать тысяч человек. Многочисленная русская артиллерия выстроилась на берегу Вислы с угрозой бомбардировать мятежную столицу, в которой объятые ужасом жители уже выбирали депутацию для поднесения победителю городских ключей и испрошения помилования. Но фельдмаршал Дибич вместе немедленного

штурма предместий и овладения мостом через Вислу вдруг отдал приказ войскам расположиться бивуаками у самого предместья Варшавы, называемого Прагой.

Немногие видели таинственного всадника, подскакавшего к палатке фельдмаршала за несколько часов до этого внезапного приказа. Но тем из караульных офицеров, кто останавливал его, он молча предъявлял документ, прочтя который, офицеры вытягивались в струнку и почтительно указывали дорогу.

Поразившее всех решение фельдмаршала дало возможность польскому командованию привести в порядок свою деморализованную армию. А в петербургском Зимнем дворце оно вызвало целую бурю негодования.

— Как! — кричал Николай в ярости. — Вместо того чтобы одним громовым ударом, брошенным рукой русского царя, раздавить мятежников ничтожного Царства Польского, Дибич вовлек теперь мою страну в длительную войну! После такой победы дать неприятелю спасти артиллерию! Это невероятно!.. О, я догадываюсь, чьих рук дело с этим предательским замедлением...

Царь решил убрать Дибича, но, боясь внезапным отозванием фельдмаршала вызвать смятение в войсках, сдерживал себя от резкого с ним разрыва до прибытия его заместителя. Самым подходящим кандидатом на этот пост царь считал прославившегося победами на Кавказе графа Паскевича-Эриванского и велел графу Чернышеву вызвать его в Петербург, не объявляя покуда, для какой цели это делается.

И в то время как Дибич еще продолжал распоряжаться на фронте, экстренный курьер уже скакал со срочной эстафетой в Тифлис к Паскевичу.

В эстафете значилось:

«Государь император, желая, чтобы при настоящих обстоятельствах, как политических, так и военных, ваше сиятельство находились при особе его величества, высочайше повелеть мне соизволил сообщить о сем вашему сиятельству и покорнейше просить вас, милостивый государь, поспешить, сколько возможно приездом в Санкт-Петербург».

— Дибич был человек умный, — говорил, спустя недолгое время, Денис Давыдов графу Чернышеву, — но ум, подобно безумию, имеет свои степени. Его ума хватило бы на войнишку с каким-нибудь курфюрстом, но не на подавление революции, да еще революции польской.

Граф Чернышев холодно пожал плечами:

— Самое умное, что Дибич сделал, — это то, что во-время умер. — И, показав в улыбке искусственные зубы, добавил: — Хотя он должен был бы помереть, пожалуй, еще тотчас же, как промазал победу под Варшавой.

— Я убежден, — сказал Денис Давыдов, — что в деле с промедлением у Варшавы немалую роль сыграл цесаревич. Вид этого города с белыми стенами Бельведера, в котором Константин Павлович прожил пятнадцать лет, города, где укоренились все его привычки и связи...

— И где, — перебил Чернышев, — он жил с княгиней Лович...

Денис скосил глаза на свой черно-бурый ус и, крутя его, продолжал:

— Конечно, все это не могло не тронуть сердце цесаревича.

— Еще бы! — прищурился Чернышев.

Дениса раздражали эти намеки, и он загорячился:

— Но решительная победа при Остроленке, однако, тоже оказалась лишним кровопролитием из-за нерешительности Дибича. Ведь цесаревич с Лович в это время

уже был на русской территории и уверял государя, что княгиня шибко больна и что ее недуги не суть иное, как последствие их изгнания из Варшавы.

— Слышал! — махнул рукой Чернышев. — Знаю и то, что цесаревич начал было добиваться разрешения снова стать во главе гвардии. Государь, конечно, воспротивился. Чем бы все это кончилось, кабы не внезапная смерть цесаревича?

— Холера, выходит, единственный верный союзник государя, — насмешливо проговорил Денис. — Сместить фельдмаршала государю было как-то зазорно, вот холера и помогла. То же с беспокойным братом...

— А вот Бенкендорфа и холера не берет, — вставил Чернышев, ненавидевший шефа жандармов за его неоспоримое влияние на царя. — Когда он перед поездкой за Лович заболел холерою, никто не думал, что он выживет.

— Он и на Сенной площади холерный бунт усмирять, — проговорил Денис, — и в Москву с царем приезжал в самый разгар холеры...

— И хоть бы что! — с досадой воскликнул Чернышев.

— И хоть бы что... — сокрушенно повторил Денис.

Оба помолчали.

— А Паскевич загнет полякам салазки, — первым заговорил Чернышев. — Теперь уже дело ясное — дни Варшавы сочтены. Новый фельдмаршал уже прислал государю диспозицию для предстоящего штурма крамольной Варшавы.

— А мне, — с усмешкой проговорил Денис, — поэт-баталист Рунич уже прочел свои вирши, заготовленные на взятие Варшавы. Сполна их не помню, но одно кончалось так:

От Эривани до Варшавы
Побед твоих промчался слух,
И что потомки русской славы
С тобой явили предков дух...

Княгиня Лович, приехавшая в Петербург по настоянию царя затем, чтобы, как ее уверял Бенкендорф, присутствовать при погребении тела Константина, очень скоро поняла, что попала в западню.

Поместив Лович в одной из отдаленных комнат Петергофского дворца, царь, как бы для ее покоя, приставил к дверям караул, который ни к ней, ни от нее никого не пропускал. Возмущенная этим, Лович отказалась принимать пищу, и посещавший ее доктор Арендт предупредил царя, что голодовка, даже и недолгосрочная, при подорванном здоровье княгини непременно приведет к трагическому концу.

Поздно ночью, когда во дворце спали, царь тайным коридором пришел к Лович. При его внезапном появлении она вскочила с постели и с расширенными от ужаса глазами медленно отступала к стене.

— Удушить пришли? Убить? — шепотом спрашивала она.

— Успокойтесь, — строго сказал царь и опустился в кресло у самых дверей, за которыми стоял караул. — Я вас не трону.

— Вы и брата своего задушили бы, если б он не умер от холеры, — быстро говорила Лович, запахивая атласный пеньюар. — У вас в семье все убийцы. У вас у всех руки не высыхают от крови...

— Успокойтесь, — еще строже повторил Николай. — Я пришел спросить вас, чего вы хотите.

— Отпустите меня в Польшу, — прижимая руки к исхудалой груди, умоляюще проговорила Лович.

Царь пожал плечами

— Польши больше не существует.

— Нет! — вскрикнула Лович. — Поруганная, изнасилованная, но она еще жива, она дышит! И я хочу быть с нею... Каждый час моего пребывания здесь, среди разгула победителей, невыносим! Я не могу видеть всего этого ликования и, прежде всего вас... вас...

Она задыхалась от прилива ненависти.

Царь, не мигая, смотрел на нее, и казалось до жути странным, что на его каменном лице шевелятся губы, произносятся слова, тяжелые, как смертный приговор:

— Мой брат имел несчастье привязаться к вам сердцем. По вашему настоянию генерал Дибич остановил войска под Варшавой.

— Пан Иезус, свента Мария! — шептала Лович побелевшими губами.

— Да, да, мне это известно от попа, коему Дибич признался на смертном одре, — бросал Николай отрывистые злые фразы, — но я не намерен повторять ошибок брата. Отпустить вас? Ловко придумано! Мало сейчас польской эмиграции, которая порочит за границей мое имя?.. Кто такая вы? — Польша. Этим все сказано. Что такое поляки? Народ, поделенный тремя державами и распыленный по всему миру. Народ, осыпанный благодеяниями Александра...

— Ха-ха! — истерически засмеялась Лович, но Николай погрозил пальцем, и она, зажав рот одной рукой, другой, боясь упасть, охватила золоченую спинку кресла.

Взгляд ее застыл на лице царя. Его слова, тяжелые и отчеканенные, складывались в ее сознании одно с другим, как кирпичи склепа, в котором ее, живую, хотят замуровать.

— Что была Польша после Наполеона? — с презрительной гримасой продолжал Николай. — Несчастливая и грязная пустыня. Что было тогда польское войско? — Толпа оборванцев. Брат Константин сделал из них прекрасную армию, совершенно отдельную от нашей и даже одетую в национальную форму. Мы дали вам все, что льстит страстям законной гордости. И все это послужило для того, чтобы Польша восстала... Так уж теперь, — царь схватил со стола агатовое распятие на длинной цепи из черных бус, которое Лович носила днем поверх траурной одежды, — теперь, — грозно продолжал он, ударяя в такт своим словам крестом по высокому мраморному столику, — поляки навсегда потеряли мое доверие. Никакого милосердия! Ни капли жалости!..

Лович протянула к нему обнаженные руки.

— Берегитесь захлебнуться в крови, пан царь! О, вы опытный палач! Вы умеете затягивать петли на шее патриотов. С первых дней вашего царствования вы — душитель вольности!

Она медленно приближалась к царю, не сводя с него горящих ненавистью глаз.

— Но я не боюсь вас, — говорила она. — Что вы сделаете с нами? Сгноите в Сибири, как своих? Повесите? Но куда будет жив хоть один поляк, мечты о независимой Польше не умрут. Час возмездия придет! И если не вы — ваш сын или внук... Народ потребует расплаты!

Она подошла так близко, что в ее расширенных зрачках царь увидел колеблющееся отражение своего лица. Тогда он взял ее за плечи и с силой оттолкнул. Лович со стоном упала на ковер, свалив высокий мраморный столик. Его тяжелый и

острый край рассек ей висок. Струйка крови потекла из-под мальчишеских кудрей на белое кружево пеньюара и задержалась на нем расплывающимся темным пятном.

32. Лицейское подворье

С утра небо было покрыто сплошными тучами. Почти не переставая, моросил холодный мелкий дождь. Во многих окнах виднелись зажженные свечи, хотя пушка в Петропавловской крепости недавно возвестила полдень.

В кабинете Пушкина топился камин. Кусок еще не совсем сгоревшего полена вывалился через решетку и дымил. Увлеченный работой, поэт не обращал внимания на резь в глазах, думая, что она происходит оттого, что он совсем мало спал ночью, а с шести утра уже снова приступил к работе. Это ничем неотвратимое нетерпение он ощущал в себе неизменно, как только каким-то внутренним, всегда безошибочным чувством угадывал приближение конца произведения, над которым работал.

Сегодня, именно сегодня, 19 октября, он закончит «Капитанскую дочку» и, прежде чем отправиться к Яковлеву на юбилейный лицейский обед, сам отвезет ее цензору. Задержка только из-за последней главы, остальные уже в типографии, где печатается очередной номер «Современника».

Канторка, стол, окружающие его кресла и диван были засыпаны страницами рукописи со множеством перечеркнутых строк, вставок, сносок... Чернильница забрызгана чернилами, и даже мордашка украшающего ее негритенка тоже покрылась чернильными пятнами.

На полу валялись огрызки гусиных перьев, и дувший из-под двери сквознячок шевелил на них необорванные пушинки. I

Пушкин снова просмотрел некоторые страницы рукописи.

— Эти, во всяком случае, следует убрать, — вслух проговорил он, — их цензура ни за что не пропустит, — и он осторожно извлек из «Капитанской дочки» страницы с описанием казни деревенского бунтаря. — Гусей дразнить не для чего, — тяжело вздохнул поэт и, встав из-за стола, залпом выпил стакан воды с крыжовничным вареньем.

Пройдясь несколько раз из угла в угол, он задержался у связанных столбиками книжек «Современника», оставшихся нераспроданными.

Приподняв с трудом одну из этих связок, Пушкин подумал с горечью:

«Булгаринские „Пчелы“ разлетаются по России трехтысячными роями, „Библиотека“ Сенковского едва ли не вдвое больше, а мой „Современник“ явно оставляет читателя равнодушным. И то сказать — что в нем за интерес, если ни модных картинок, ни пошлых любовных интриг, ни каких-либо иных приманок издатель не предоставляет...»

Еще раз, пристально оглядев тугие связки, он на глаз определил, что их осталась, по крайней мере, добрая половина.

«...Но, может быть, четвертый номер выручит. Со всех сторон слышу, что „Капитанскую дочкой“ многие, да многие интересуются. Не забыть бы только, во-время оплатить типографские счета. Когда бишь им срок?»

Пушкин вернулся к столу и открыл узкий боковой ящик, где хранились разного рода деловые бумаги. Вот они, скрепленные медной клешней, многочисленные счета...

Крупные, мелкие, срочные, давнишние, и среди них письма заимодавцев

настойчивые, требовательные...

Вот от «дворянки Екатерины Шишкиной, рожденной Сновидовой, вдовы подполковника Алексея Петровича Шишкина с шестью детьми, из коих четверо малолетних...» Она слезно молит поскорее вернуть ей «12 500 рубликов», взятых у нее под залог шалей, жемчуга и серебра...

Пушкин болезненно поморщился и поставил на этом письме жирную «нота бене»: «Этот долг подлежит оплате в первую очередь... Жемчуг Азинькин, а серебро Соболевского...»

Прапорщик Юрьев напоминал о заемном письме сдержанно, но категорически.

Поставщица дров Екатерина Оберман сообщала, что пришлет «самолутших березовых поленец, коль скоро получит за прошлогодний обозец...»

Счета портных: англичанина Рутча, француза Бригеля, русского Кондратьева... И каждый на своем языке в более или менее благопристойной, но неизменно настойчивой форме требует денег... денег... денег...

Вот нарядная виньетка из виноградной лозы, украшающая счет винного погреба Рауля. Вот от книгопродавца Диксона, снова от книгопродавцев Белизара, Фомина, от аптекаря, каретника, извозчика, булочника, переплетчика, лавочников, — эти довольно мелкие. А вот много крупнее — из модных лавок дамских нарядов, от ювелира, меховщика, перчаточников, башмачников. Наконец, счет, который взволновал больше, чем какой-либо другой, — счет от содержателя типографии, коллежского советника Врасского. Он требует три тысячи, и их надо достать, во что бы то ни стало.

Отделив этот и вдовый счета, Пушкин положил их на видное место и прихлопнул рукой:

— Эти оплатить немедленно, а потом предпринять что-то такое, что бы помогло расквитаться и с остальными. — Он скрепил медной пружинной клешней все разрозненные, было, счета и, бросив их в письменный стол, долго стоял в глубокой задумчивости. Потом потер лицо руками и снова взялся за перо. Быстрые строки ложились на бумагу ровными полосками:

«Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились с разрешения его родственников издать ее особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена».

Поставив дату — «19 октября 1836 года», Пушкин подписался «Издатель» и положил перо.

«Так будет ладно; пусть читатели судят, как захотят: не то я и на самом деле только издатель чужих записок, не то я сам все это сочинил...»

Он подождал, пока высохли чернила, еще раз внимательно просмотрел последние страницы, сделал кое-какие поправки и, наконец, перевязал рукопись попавшейся под руку веревочкой'.

Кликнув Никиту, он велел подать себе сюртук.

— Обедать дома будете? — спросила Александрина, столкнувшись с Пушкиным в прихожей.

— Нет, душа моя, не ждите. Нынче у Яковлева традиционный лицейский праздник. Только на этот раз не ужин, а обед. Скажи об этом Наташе, когда проснется. А ты, Азинька нынче как-то особенно бледна, настоящая Кларисса Гарлоу...

Собрание бывших лицейстов отличалось обычной интимностью, но на этот раз какую-то меланхолической веселостью.

Только в самом начале пирушки, когда Яковлев показал Пушкину магазинный счет, в котором, кроме расходов на вино и ужин, были помечены еще мелкие суммы вроде «за четыре десятка бергамот и три фунта изюму», Пушкин вдруг рассердился:

— О господи! И тут счета!

— Так ведь складчина, Александр Сергеевич, — не поняв причины раздражения Пушкина, обиделся Яковлев.

Но Пушкин уже дружелюбно обнял его:

— Полно, Мишук, это вовсе я не потому, а... — ему не дали договорить.

Окружили, пожимали руки, обнимали и, наконец, торжественно повели к столу.

— Садись по правую руку хозяина, — сказали ему. — Ты самый почетнейший из гостей.

Пушкин с деланной важностью опустил в кресло. Яковлев положил перед ним лист бумаги и перо:

— Будешь вести протокол.

Лицо Пушкина, склоненное над бумагой, освещалось голубым пламенем горящего пунша и казалось очень бледным. Он вел «Протокол пиршества» с нарочитой серьезностью и почти не притрагивался к кушаньям.

Илличевский потянулся к нему с бокалом. Пушкин продолжал писать... Его окликнуло сразу несколько голосов...

— Пушкин, оставь чрезмерное усердие! Чокнемся!

Поэт не отозвался.

Тогда Яковлев взял у него из рук перо и передвинул протокол к своему прибору.

— По праву старосты писать дальше буду я.

Пушкин молча пожал плечами и как будто только теперь заметил протянутые к нему бокалы.

Данзас в расстегнутом форменном мундире, с лицом, пышущим здоровьем, весело оглядел всех и, встав, поднял тост за милого хозяина Мишелюшку Яковлева.

— Предлагаю отныне именовать его гостеприимный дом «Лицейское подворье», — предложил Илличевский.

— С полным основанием, — важно согласился Корф. — Большая часть наших лицейских сходок происходит в этом доме.

— Я хочу возразить Комовскому, — проговорил Яковлев, — нынче он сказал, что нас всех «безотчетно тянет на эти ежегодные лицейские собрания». Вовсе не безотчетно, дорогие друзья. Самое слово «лицей» таит в себе переживающую быстроекрытое время очаровательную идею. Лицейские шесть лет! Мы не перестаем любить их со всем тем, о чем тогда мечтали, на что надеялись. С ними связаны гордые юношеские стремления — осуществить на своем жизненном пути начертанный на лицейской медали девиз: «Для общей пользы!» Жить для общего блага... И сколь же радостно сознавать, что, перенеся уже немало «дуновений земных бурь», уже далеко не отроки, а кавалеры многих орденов, — продолжал он, указывая поочередно на присутствующих, — советники статские, действительные, а кое-кто, — он ткнул пальцем в Корфа, — а кое-кто уже и тайный...

— Один я, сирота горемычная, всего лишь титулярный, — с жалобной миной перебил Пушкин.

Все расхохотались, только Корф укоризненно покачал головой с, на редкость,

правильным пробормотом и, выждав минуту тишины, вежливо спросил у Яковлева:

— Вы кончили?

— Почти, дорогой барон, — с благодушной улыбкой ответил тот. — Сбираясь в день девятнадцатого октября, мы словно раздуваем пламень наших юношеских чувств и воспоминаниями отогреваем наши сердца, уже остывающие в холоде светской жизни. Мы молодеем среди тех, с кем были вместе молоды... — Яковлев почувствовал, что к горлу подступает комок растроганных слез, и замолчал.

— Bravo, Мишук! Bravo! Хорошо сказано!

Яковлев подливал вина то одному, то другому.

— предлагаю выпить за то, чтобы мы не переставали молодеть хоть один раз в год, в день девятнадцатого октября, до той поры, пока кому-то из нас «под старость день лица торжествовать придется одному».

За этот тост хозяина бокалы были осушены до дна.

Илличевский попросил разрешения сказать свое слово в стихотворной форме.

— Только предупреждаю, что я так и остался поэтом всего лишь лицейским, не в пример поэту всея Руси великой, — сделал он поклон в сторону Пушкина.

— Читай, Олосенька, — ласково улыбнулся тот.

Илличевский откашлялся и начал торжественно:

Хвала лицейским! Свят обет
Им день сей праздновать свиданьем.
Уже мы розно много лет,
Но связаны воспоминаньем...

И что же время нам? Оно
Расторгнуть братских уз не смеет,
И дружба наша, как вино:
Тем больше крепнет, чем стареет...

Илличевскому аплодировали. Вконец расчувствовавшийся Яковлев через стол потянулся к нему с поцелуем. Даже напыщенный Корф благосклонно кивнул автору.

Отбросив салфетку, Данзас взял гитару и, аккомпанируя себе, затянул лицейскую шуточную «Лето знойно», и ему по-лицейски подтянули: «Мы ж нули, мы нули, айлюли-люли-люли...»

— Пойдите, — остановил Яковлев, беря со стола исписанный лист. — Все должно идти по порядку. Извольте заслушать протокол: «Пировали вышепоименованные господа лицейские следующим образом: обедали вкусно и шумно, выпили два здоровья, или, по-заморски, тоста: за двадцатипятилетие лица и за его дальнейшее благоденствие». Теперь надлежит выпить за всех присутствующих воспитанников сего наипрекраснейшего рассадника просвещения... И за тех, кого здесь нет, «кто в бурях и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли...»

— За сих последних предлагаю выпить поименно, — порывисто поднял свой бокал Пушкин. — За Пущина, моего бесценного друга! За нашего милого Кюхлю!

— Александр Сергеевич, ты обещал нам прочесть последнее письмо Кюхли к тебе, — напомнил Яковлев после долгой паузы, наступившей вслед за последним тостом. — Прочти, пожалуйста.

Все, кроме Корфа, присоединились к этой просьбе.

— Не легко мне это, — вздохнул Пушкин, однако достал из кармана и развернул сложенный вчетверо лист сероватой бумаги. Стало очень тихо.

«Не знаю, как на тебя подействуют эти строки, любезный друг мой, — писал Кюхля, — они писаны рукою, когда-то тебе знакомою, рукою этой водит сердце, которое тебя всегда любило...»

Слезы, которые редко знал за собою Пушкин, подступили к горлу. Он передохнул немного и продолжал:

— Дальше он с излишней восторженностью благодарит меня за книги и философствует совершенно так же, как будто находится не в занесенном снегом Баргузине, а в аллеях Царскосельского парка между лекцией Куницына и... — Пушкин умолк.

— Позволь, я дочитаю, — Данзас потянул письмо и, приблизив к глазам, улыбнулся: — И почерк такой же нелепо-милый, как и его обладатель... Ну, слушайте: «Не хвалю тебя, Александр Сергеевич, потому что должно ожидать от тебя всегда всего прекрасного...»

Пушкин взял у Данзаса письмо и спрятал у себя на груди.

А какая у него неутолимая жажда знаний! — заговорил он после долгого молчания. — Прослышав о моей работе над Петром, он в каждом письме просит поскорее прислать ему этот мой труд. Бедный Кюхля! Вряд ли он когда-нибудь дождется этого!

— Почему?!

— Что ты, Александр Сергеевич!

— Пора же, наконец, и нам, русским, знать свою историю.

— Ведь Карамзин остановился у важнейшего ее периода...

От этих возгласов лицо Пушкина просветлело, глаза засияли.

— Русская история, — взволнованно заговорил он, — и в особенности наша новая история! Какое это обширное и вовсе не обработанное поле! Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы иметь другой истории, как историю наших предков... Работа над Годуновым скрасила мое изгнание в Михайловском. Позднее я с увлечением изучал архивные документы и рыскал по оренбургским степям, отыскивая живых свидетелей восстания Пугачева. Наконец, со страхом и трепетом я приступил к Петру. Никто так крепко не приковал к себе моего воображения, как этот государь. Мысль внести светильник истины в темные архивы его царствования возникла у меня давно. Помню, стоял я однажды в Эрмитаже перед библиотекой Вольтера и перелистывал страницы его «Истории Петра»...

— Значит, матушка Екатерина не зря купила эту библиотеку, — пошутил Данзас.

— Вольтер вызвался писать о Петре в ответ на избрание его в почетные члены Российской академии наук, — сказал Корф.

Пушкин пожал плечами:

— Мне неведомо, каковы были его побуждения, но известно, что граф Шувалов, один из немногих ученых мужей тогдашней России, повелел Михайле Ломоносову собирать для Вольтера, не щадя никаких издержек, всевозможные документы по Петру... И все же написал Вольтер о Петре, как галантный француз...

— Нет, русскую историю, для того чтобы она была, как выразился покойный Карамзин, «зеркалом бытия и деятельности русского народа», должен написать русский, — уверенно проговорил Яковлев.

— И никто другой, как ты, Александр Сергеевич, — подхватил Данзас.

— Тебе, обязательно тебе писать ее, — раздалось со всех сторон.

— Кому же, как не Пушкину, нашему национальному поэту!

— Спасибо за честь, — поклонился Пушкин. — Да ведь история наша долга, а жизнь коротка. К тому же Вольтеру для пущего успеха предпринятой им «истории» вместе с редчайшими документами везли из России собольи шубы, самоцветы и прочие поощрения в таком же роде. Мне же почта редкий день не приносит неоплаченных счетов и писем от заимодавцев... Как видите, мои условия куда тяжелее вольтеровых.

Пушкин подошел к камину и стал греть похолодевшие от волнения руки.

— Вам должно быть известно, — снова заговорил он, — каким мытарствам подвергается каждая написанная мною пьеса. В свое время мне было предложено переделать в исторический роман, наподобие Вальтер Скотта, моего «Годунова». Не прикажут ли мне сделать из «Петра» фарсу или водевиль?.. — Пушкин взял щипцы и помешивал ими пылающие угли.

Яковлев обнял его за плечи:

— Полно, друг! Ты создашь такую историю Петра, которая будет достойна своего великого назначения и твоего вдохновенного пера.

— Отлично сказано! Торопись писать, Пушкин! — звучали дружные возгласы.

— Жженка готова! — объявил Яковлев. — Прошу наполнить бокалы. Первый тост — за успех пушкинского «Петра»!

— Ура-ра-а! Яковлев! Туш!

Яковлев подошел к фортепиано:

— Только не туш, а сочиненную мною специально к сегодняшнему юбилею небольшую вещицу. Ей нынче совершеннолетие.

Все с любопытством ждали, пока Яковлев устанавливал на пюпитре ноты. Пушкин заглянул в них:

— А, это моя лицейская «Слеза»!

Яковлев взял вступительные аккорды:

Мотивчик очень простенький. Буду рад, если подтянете.

Хор получился довольно стройный. Когда была пропета последняя строфа романса, Пушкин уже один повторил ее с задушевными интонациями:

— «Увы! одной слезы довольно, чтоб отравить бокал...»

— А теперь твоя очередь, Александр Сергеевич! Чем-то ты осчастливишь нас в нынешнюю годовщину? — спросил Яковлев, захлопывая крышку фортепиано.

Пушкин стал отказываться, уверяя, что не успел закончить стихи, посвященные этой знаменательной дате.

— Читай, что помнишь! Как же это в такой день без пушкинских стихов? Просим! — настойчиво требовали все.

— Прошу тебя Христом богом и как лицейский староста требую — не уклоняйся от годами освященной традиции, — молил Яковлев.

— Только, чур, не попрекать, если спутаюсь или забуду.

Наступила такая тишина, что было слышно, как тикали чьи-то карманные часы.

Пушкин помолчал еще несколько мгновений и стал читать, глядя куда-то выше устремленных на него глаз:

Была пора: наш праздник молодой

Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой...
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды,
И юности, и всех ее затей...

Пушкин замолчал, потер рукой свой прекрасный лоб и с тою же неизъяснимой грустью продолжал:

Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала: еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он...
Вы помните: текла за ратью рать...
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались.
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага.
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега...

Голос поэта дрогнул. Все замерли в ожидании.

Пушкин молча развел руками и поспешно отошел к креслу, которое стояло в затененном углу яковлевского кабинета.

Больше никто не осмелился беспокоить его никакими просьбами...

33. Волчье логово

Жена министра иностранных дел, графиня Марья Дмитриевна Нессельроде, разливала у себя в будуаре чай по китайским чашкам. Чашки эти были так прозрачно тонки, что серебряные ложечки просвечивали сквозь бледно-серый фарфор с узором из розовых цапель.

Съезд гостей еще не начинался, и графиня вела беседу со своими интимными друзьями — князем Петром Долгоруковым и Геккереном.

Она рассказывала им о своем последнем столкновении с Пушкиным:

— Если бы вы только слышали, с какой дерзостью он мне заявил: «Я не желаю, чтобы моя жена ездила туда, где я сам не бываю». «Туда» — это в Аничков дворец, на маленький бал к вдовствующей императрице. Я хотела увезти туда Пушкину с бала в Зимнем, где Натали имела необыкновенный успех. Со всех сторон только и слышалось: «Прелестна, прелестна!» Всякий другой муж был бы счастлив таким фурором жены, а этот виршеплет, видите ли, недоволен! — Графиня возмущенно повела дородными плечами. — Нет, как хотите, господа, но надо, наконец, найти меры унять его! Иначе того и жди, что нарвешься на дерзость или непристойные стишки...

«Ага, никак не может забыть пушкинских эпиграмм», — злорадно подумал

Долгоруков, но вслух проговорил со вздохом:

— Вы говорите «унять» Пушкина. Но этого не может сделать даже Бенкендорф со всем его корпусом жандармов. Вы забываете, что Пушкин из тех отчаянных сорви-голов, которые ни перед чем не останавливаются. Знаете, на балу у Бобринских, когда государь танцевал с Натали кадриль, Пушкин так глядел на него, что ежеминутно можно было ждать скандала. Хорошо, что мадам Смирнова, зная пылкий нрав своего друга, постаралась занять императора, и тот не заметил дерзкого взгляда Пушкина.

— Это характер *si violent, si offensif* note 64, что закатить сцену даже и самому государю ему ничего не стоит, — сказал Геккерен.

— Вы думаете? — графиня переглянулась с Долгоруковым.

— Конечно. И император знает это.

Разговор был прерван, так как салон графини стал наполняться гостями. Среди них были те, кому надо было добиться быстрого продвижения по службе, устранения какого-либо препятствия в карьере или выдвинуть кого-либо из «родных человечков». Люди эти, просеянные сквозь густое сито чванливой требовательности графини, являлись по средам в ее салон, чтобы оказать ей всяческий почет. Это был период, когда влиятельное положение министра иностранных дел Нессельроде достигло своего зенита. А графиня столь же властно командовала своим мужем, как и своей челядью. Она назначала и увольняла чиновников, представляла к чинам, приказывая мужу подписывать угодные ей бумаги. В людях она ценила подобострастное пред собой преклонение, а тех, кто его не оказывал, преследовала со злопамятной мстительностью. Одна из злых эпиграмм Пушкина задела ее отца, другая — ее самое. Пушкин на ее «среды» никогда не приходил, а, встречаясь в обществе, раскланивался с иронической почтительностью. В последние же месяцы он своим поведением вызвал целую бурю негодования и у самой графини и у ее почитателей и друзей, среди которых Геккерен и его приемный сын были наиболее близкими.

Когда гости разъехались и снова остались только старик Геккерен и Долгоруков, графиня положила свою тяжелую руку на скрещенные руки барона:

— Я придумала, что с ним делать, мой друг.

— Вы о Пушкине? — грустно спросил Геккерен. — Я предчувствую, что он причинит много зла моему бедному Жоржу, который виноват только в том, что умирает от любви к мадам Пушкиной. Он тает на моих глазах, и мои отеческие чувства страдают невыразимо... — барон провел платком по глазам и поник головой.

«Знаем мы эти отеческие чувства», — мысленно съязвил Долгоруков и не удержался, чтобы тихонько не кашлянуть.

Графиня метнула на него грозный взгляд.

— Если я говорю, что нашла способ заставить Пушкина вести себя должным образом...

— Бога ради, графиня! — взмолился Долгоруков. — Скажите скорее!

— Садитесь сюда, — графиня хлопнула по диванчику рядом с собою.

Геккерен и Долгоруков придвинулись.

— Надо *en toutes lettres* note 65 указать Пушкину, что его жена если еще не есть,

Note64

Такой буйный, такой придирчивый (франц.).

Note65

Совершенно ясно (франц.).

то в ближайшем будущем станет любовницей императора Николая.

Геккерен замахал руками:

— Вы шутите, графиня?! Кто же осмелится сделать это, не рискуя получить самое дикое оскорбление со стороны Пушкина?

— Вы очень просты, мой друг, — насмешливо проговорила Нессельроде. — Я убеждена, что князь меня лучше понял.

Долгоруков несколько мгновений, не мигая, смотрел перед собой своими, похожими на птичьи, глазами. Потом медленно перевел их на графиню и коротко кивнул головой:

— Да, я, кажется, понял вас, графиня. Не надо говорить — надо написать. И неважно, кто напишет, — важно, что будет написано.

Графиня, как и всегда, когда бывала чем-либо взволнована, отбросила свою чопорность, заменив ее манерами и языком грубой дочери казнокрада Гурьева.

— Пьер, вы далеко пойдете, плут! Нет, черт возьми, вы совсем не так глупы, как это кажется! — и шутливо дернула его за ухо.

Совещание продолжалось. На клочках бумаги набросали текст анонимного письма Пушкину и копии — его друзьям. Немного поспорили над тем, стоит ли называть Пушкина «коадьютором», то есть помощником, который по уставу католической церкви назначался впавшему в физическую дряхлость епископу. Настаивал на этом звании Долгоруков:

— Его превосходительство Дмитрий Львович Нарышкин, супруг возлюбленной покойного императора Александра, был самый величавый из роконосцев. И господин Пушкин сразу поймет, что ему уготовано заслуженное место роконосца по царственной линии.

— Гениальная идея! — хихикнул Долгоруков, дописывая под диктовку графини: «...Единогласно выбрали Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена роконосцев и историографом ордена».

— «Историографом» — это уже за намерение написать царствование Петра. Собьем и эту спесь, — проговорила графиня и, прочтя окончательный текст письма, стала собирать черновики.

Долгорукову очень понравилось назвать это анонимное произведение «дипломом».

— Завтра я передам его вам, Пьер, а об остальном, вы уж сами позаботьтесь. Напишите его, разумеется, измененным почерком.

— Не беспокойтесь, графиня. Мы с Жано Гагариным уже не раз подшучивали, таким образом, над слишком близорукими мужьями. И как потом было забавно наблюдать их слезку за женами! Потеха! Однажды, помню...

Он хотел, было рассказать какую-то «пикантную историю», но графиня поднялась, и оба гостя поспешили откланяться.

Через несколько минут, в салоне никого не осталось. Вошли в мягких башмаках лакеи и стали задувать свечи в канделябрах и люстрах. Люстры висели высоко, и длинные трубки, через которые слуги дули на огни, колебались в их усталых руках. Струи воздуха не сразу попадали на пламя, и от этого к тонкому запаху духов, оставленному только что ушедшими гостями, присоединялся запах горелого воска. Когда, наконец, наступил мрак, тлеющие фитильки свечей еще долго отражались в хрустальных подвесках жирондолей, в высоких простеночных зеркалах и до блеска

навощенном паркете.

Прошло несколько дней, и в будуаре графини Нессельроде снова спорили и горячились.

Больше всех волновалась хозяйка. Ее лицо пылало, зычный голос срывался. Она поминутно перебивала своих собеседников. В особенности попадало Долгорукову:

— Вот вы носились с вашим дипломом! Уверяли, что как только Пушкин прочтет его, так весь его гнев обрушится на государя, а вместо этого получилось черт знает что! Бедного Жоржа запутали так, что сама его жизнь теперь в опасности. А всё вы, вы! — кричала она на Долгорукова.

А тот боялся сказать ей, что мысль об анонимном письме принадлежала собственно ей, а он явился только исполнителем ее воли. Он знал, что всякое возражение только еще больше взбесит ее.

— Вызов, адресованный господином Пушкиным Жоржу, я прочел раньше него, — рассказывал Геккерен, — я вам говорил, что Жорж находился дежурным по дивизиону. Я был совершенно потрясен и тотчас же отправился к старухе Загряжской. Она послала за Жуковским. Мы все ломали головы, как выйти из создавшегося положения.

— Ах, не тяните так, барон! — нетерпеливо вскрикнула Нессельроде, — Вы не на театре, чтобы закатывать глаза и вздыхать!

— Вот тут-то на помощь пришел мой дорогой мальчик, — патетическим жестом Геккерен указал на Дантеса, рассматривающего в стороне, за круглым столиком, «Альбом парижских красавиц».

— Самый простой выход, — откликнулся Дантес, подняв на графиню веселый взгляд и перекидывая одну ногу на другую. — Я заявил, что давно влюблен в мадемуазель Катрин Гончарову, старшую сестру Натали, и хочу на ней жениться!

— Он сошел с ума! — всплеснула руками графиня. — Жениться на Катерине Гончаровой, старой деве, бесприданнице и к тому же дурной собою...

— Она не так уж дурна, — повел плечами Дантес и перевернул еще одну страницу альбома обнаженных и полуобнаженных женщин. — Вы не находите, — обратился он к Долгорукову, — что склон плеч у мадемуазель Катрин и грациозная форма ее бюста несколько напоминает декольте мадам Пушкиной? А ножка совсем как у этой крошки Дюпон в альбоме?

— Оставьте глупости, — Нессельроде почти вырвала альбом из его рук. — Что за непростительное легкомыслие! В такие минуты заниматься разглядыванием голых баб! Рассказывайте дальше, барон, — приказала она.

— Жуковский взялся быть посредником в деле ликвидации проклятого поединка, — послушно продолжал Геккерен, — начались переговоры с Пушкиным. Старая Загряжская уверяла его, будто я давно говорил ей о том, что Жорж неравнодушен к мадемуазель Катрин... Мы с нею условились, что это самое я повторю Пушкину. И я сказал ему...

— Вы были у Пушкина?! — одновременно вырвалось у графини и Долгорукова. — Как же он вас принял?!

— Он был страшен, но держался как истый джентльмен. Я сказал ему, что теперь убедился, насколько сильно чувство моего сына к мадемуазель Катрин, и не считаю себя больше вправе противиться влечению молодых сердец, но...

— Непременно расскажите об этом «но», папа, — улыбаясь своей картинной улыбкой, попросил Дантес.

— Но, — сказал я, — честь моего сына я люблю не меньше, чем его жизнь, и хотя грядущая его дуэль для меня равносильна тому, как если бы я сам должен был взойти на гильотину, я готов взойти на нее, если господин Пушкин не найдет возможным взять свой вызов обратно без указания мотива, в какой бы то ни было степени компрометирующего честь Жоржа Дантеса де Геккерена.

— Bravo, барон! — зааплодировал Долгоруков. — Совсем как *rége noble* note 66 из какой-нибудь французской мелодрамы.

— Не перебивайте! — погрозила ему Нессельроде. — Дальше, барон, дальше!

— Я предложил Пушкину приблизительный текст письма, каковое ему следовало бы прислать мне.

— Я составил это письмо накануне. Если угодно, могу прочесть, оно со мною, — предложил Дантес.

— Ради бога, читайте скорей! — торопила графиня.

Плавным жестом Дантес достал письмо и стал читать его с театральной выразительностью:

«Ввиду того, что господин барон Жорж Дантес де Геккерен принял вызов на дуэль, отправленный ему при посредстве господина нидерландского посланника, я прошу господина Жоржа де Геккерена благоволить смотреть на этот вызов, как на не существовавший, убедившись случайно, по слухам, что мотив, управлявший поведением господина Жоржа де Геккерена, не имел в виду нанести обиду моей чести — единственное основание, в силу которого я счел себя вынужденным сделать вызов».

— Я этого письма, разумеется, с собою не имел, — сказал старик Геккерен, — но речь моя сводилась именно к таким выражениям.

— Дальше, барон, дальше! — опять нетерпеливо потребовала графиня.

— И барон рассказал, что Пушкин все же дал понять, что считает брачный проект Дантеса только жалким маневром, которым оба, отец и сын Геккерены, хотят прикрыть свою трусость.

— Но излагал все это Пушкин в таких выражениях и в такой форме, — говорил Геккерен, — что мне, старому, опытному дипломату, не к чему было придрататься, если бы даже мне этого хотелось. Дело уже совсем было наладилось, но Жорж едва не погубил всего своим письмом к Пушкину.

Нессельроде остановила на Дантесе вопросительный взгляд своих кошачьих глаз. Дантес пересел ближе.

— Получив, через папа, отказ Пушкина от поединка, — заговорил он, — я написал ему, что, прежде чем вернуть ему его слово, я желал бы знать, почему он изменил свое намерение, не выслушав от моего уполномоченного объяснения, которое я располагал дать ему лично. И, кроме того, я послал к нему д'Аршиака с поручением напомнить Пушкину, что, независимо от этих переговоров, я к его услугам.

— Вы истинный рыцарь, Жорж! — сказала графиня, кладя свою крупную руку на колено Дантеса.

Долгоруков коротко кашлянул.

— Что тут было! — хлопнул Геккерен ладонями. — Если бы не Жуковский — я не ручаюсь за исход нашего дела. Друзья Пушкина объяснили ему свои настойчивые уговоры тем, что за его смерть на них падет ответственность перед всей Россией. Я же

Note66

Благородный отец (франц.).

старался каждому из них, — конечно, совершенно конфиденциально, — сообщить об окончательном решении, осуществить брачные намерения моего сына, единственным препятствием к исполнению которых ныне является дуэль. Нам всем удалось убедить Пушкина, и в результате всего этого сегодня граф Сологуб передал мне, наконец, это письмо.

Геккерен торжественно вынул из бокового кармана небрежно сложенный лист пушкинского письма и, разглаживая его, продолжал:

— Это, конечно, не совсем то, что мы хотели, но сделано настолько...

— Читайте, мы сами увидим! — приказала графиня.

«Я не колеблюсь писать то, что могу заявить словесно, — писал Пушкин. — Я вызвал господина Жоржа Геккерена на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблагovolить рассматривать мой вызов как не существовавший, осведомившись по слухам, что господин Жорж Геккерен решил объявить свое намерение жениться на мадемуазель Гончаровой. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению».

— Как видите, — недовольно надувая свои яркие, как у женщины, губы, проговорил Дантес, — это письмо разнится от того, которое было бы мне более по вкусу. Но...

— Но, — договорила графиня, — дело кончено: теперь уж свадьбы не миновать. И я — твоя посаженная мать. Поздравляю с невестой, а она, поди, с ума сходит от радости.

Долгоруков сделал насмешливо-почтительный поклон и в изысканно галантных словах также поздравил сначала Дантеса, потом Геккерена, причем последнему язвительно добавил:

— Пора, наконец, молодому человеку приступить к возложенным на него природой нормальным обязанностям.

Геккерен понял намек и с не менее любезным видом ответил:

— Этого от души желаю и вам, дорогой князь.

Когда Долгоруков вышел, виляя женоподобными бедрами, Геккерен ехидно прищурился:

— Хотя Жорж и женится, *cela n'empêche pas Pouchkined'etre cocu* note 67.

Зычно расхохотавшись, Нессельроде пошевелила над головой двумя растопыренными пальцами.

34. Визит

Дом вдовы Карамзина на Михайловской площади был одним из немногих, куда Пушкин охотно ездил в эту последнюю свою зиму. И не только потому, что здесь и после смерти историка запросто собирались передовые литераторы, художники, артисты, но и потому, что в семье Карамзиных он чувствовал себя так, как можно чувствовать только среди любящих и любимых друзей.

Карамзина он знал еще с детских лет. Живя в Москве, Николай Михайлович часто

Note67

Это не помешает Пушкину быть рогиносцем (франц.).

бывал на приемах у Сергея Львовича Пушкина и принимал горячее участие в литературных, философских и политических беседах и спорах, которые обычно там велись.

С недетским вниманием прислушивался тогда кудрявый мальчик к этим разговорам, и ни сестре Оле, ни няне Арине Родионовне не удавалось выманить его из отцовского кабинета никакими посулами.

А когда Карамзины переселились в Царское Село, Пушкин-лицеист не только по совету отца держаться семьи Николая Михайловича и слушаться его во всем, но и по собственному желанию часто после занятий приходил к Карамзиным, читал им рукописные лицейские журналы «Неопытное перо» и «Лицейский мудрец» и внимательно выслушивал критические замечания Николая Михайловича на свои стихи и стихи своих лицейских товарищей. Карамзин же любовно и пристально следил за развитием творческого дара Пушкина.

Дочери Карамзина, Катя и Сонечка, прыгали от радости при появлении Пушкина, который сочинял для них смешные истории и придумывал затейливые игры, шутил, звонко смеялся и смешил других.

Приветливо встречала юношу и жена Карамзина — родная сестра князя Вяземского. Ей было тогда тридцать шесть лет. О ней говорили, что она прекрасна и холодна, как античная статуя, но под этой мраморной оболочкой скрывается душевный жар и доброе сердце.

Красота Екатерины Андреевны пленила пятнадцатилетнего Пушкина и так вскружила ему голову, что он послал ей признание в любви. Посоветовавшись с мужем, она пригласила к себе юного поклонника и по-матерински пожурила его за необдуманный поступок, а Карамзин назвал его «влюбленным Роландом» и шутливо потрепал за уши, и без того горевшие огнем невыразимого конфуза.

Юношеская влюбленность Пушкина скоро переродилась в горячую привязанность не только к Екатерине Андреевне, но и ко всему ее семейству.

Еще до того часа, когда Державин с восхищением слушал на лицейском акте стихи Пушкина и потребовал от его отца «оставить юношу поэтом», еще задолго до того, как Жуковский подарил юноше Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя», Карамзин учуял в этом резвом, кудрявом, пытливым и способном отроке огромный поэтический талант; так узнает опытный садовод по первым весенним росткам будущие кущи прекрасных растений.

Пушкин читал все, что выходило из-под карамзиновского пера. Он считал великой заслугой Карамзина то, что тот освободил русский язык «от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

«Историю Государства Российского» Пушкин называл не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека. Однако недовольный ее монархическим тоном, он сочинил на этот труд Карамзина острую эпиграмму.

Но эпиграмма не помешала тому, чтобы Карамзин, в числе других друзей Пушкина, принял горячее участие в хлопотах о замене намечаемой ссылки опального поэта в Соловки или Сибирь — ссылкой на юг России.

Не помешала эта эпиграмма и тому, чтобы, вернувшись из ссылки, Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова» «драгоценнейшей для России памяти Николая Михайловича Карамзина».

Посвящение было преподнесено Екатерине Андреевне, когда Карамзина уже не было в живых. Но, быть может, именно это обстоятельство еще больше скрепило ее

дружбу с поэтом.

От своего брата, Петра Андреевича, она знала о жизни Пушкина гораздо больше, чем сам поэт ей рассказывал. И чем больше знала, тем больше овладевали ею тревожные мысли о неизбежности трагической развязки. Но сколько ни советовалась она с братом о том, как предотвратить грядущее несчастье, они никак не могли найти к этому должных мер и путей...

На обеде у Екатерины Андреевны Карамзиной в последних числах января открыто говорили о помолвке Екатерины Гончаровой с Дантесом. Некоторые из присутствующих приносили по этому поводу поздравления Пушкину. Хозяйка замечала, как болезненно морщились при этом у поэта брови, как мрачнело его лицо, и пальцы с отточенными ногтями мяли хлебные крошки или туго накрахмаленную салфетку.

Едва только обедающие перешли в гостиную, куда обычно подавался чай с «остафьевским» вареньем, Екатерина Андреевна, значительно взглянув на Пушкина, прошла в кабинет покойного мужа.

Здесь все оставалось в том же виде, как было при жизни Николая Михайловича. Так же аккуратно были расставлены в шкафах книги, так же улыбались бронзовые купидоны, украшающие канделябры и стенные бра, так же поблескивала на своем месте золотая табакерка с идилическими эмалевыми пастушками и пастушками и так же уютно разместились на диване вышитые Екатериной Андреевной пестрые подушки.

— Помните ли вы, Екатерина Андреевна, что написали мне вскоре после моей женитьбы? — спросил Пушкин, входя в кабинет почти следом за Карамзиной.

Она задумчиво посмотрела на него и, помолчав, ответила:

— Отлично помню. Я пожелала вам тогда, как желаю и теперь, чтобы ваша жизнь сделалась, наконец, такой же спокойной, какой была бурной до этой поры. — Она глубоко вздохнула и продолжала: — пожелала вам тогда, как от всей души желаю и теперь, чтобы ваше сердце, такое доброе, и ваша душа...

— И еще вы пожелали мне тогда, — порывисто перебил Пушкин, — чтобы избранная мною подруга жизни сделалась бы моим ангелом-хранителем и обеспечила бы мое счастье. Не так ли? — он близко заглянул в устремленные на него печальные глаза.

— И я обещала ей за это любить ее, как родную дочь, — тихо договорила Карамзина.

— Увы, ни одно из ваших пожеланий не исполнилось, — глухо произнес Пушкин. — А теперь прощайте. Прошу передать мой низжайший поклон дочерям. Да скажите Екатерине Николаевне, что я всегда вспоминаю ее разговоры, как музыку ее прекрасной души.

— Остались бы еще хоть недолго, — попросила Карамзина.

— Нет, мне недосуг. И то опоздал...

Когда Пушкин склонился к ее руке, она, откинув с его лба завитки волос, поцеловала его нежным материнским поцелуем.

Хорошо зная расположение карамзиновской квартиры, Пушкин, минуя гостиную, вышел на крыльцо и окликнул стоящего неподалеку извозчика:

— На Мойку! К дому Волконской...

Пушкин заехал домой, чтобы переодеться к рауту у дочери Элизы Хитрово, графини Долли Фикельмон.

Наталья Николаевна лежала с распущенной косой и в белой ночной кофточке. Смоченная в уксусе салфетка стягивала ее лоб. Возле постели хлопотала Александрина.

— Занемогла? — спросил Пушкин, всматриваясь в бледное лицо жены.

— Голова болит, — слабым голосом ответила она. — Азинька, дай флакон с солью понюхать, мочи нет терпеть...

— Что же за причина такой боли? — спросил Пушкин. — Результат радостного волнения, что устроилось счастье сестрицы, или, быть может, плод огорчения от потери столь блестящего поклонника?

— Ах, опять эти разговоры! — простонала Наталья Николаевна — Будет ли им конец когда-нибудь?

— Конец будет, если мы уедем в Михайловское, — горячо говорит Пушкин. — Я уже не однажды предлагал тебе этим путем прекратить всякие разговоры. Но ты упорствуешь. Тебе нет жизни без петербургских сплетен, плясок и...

— Не — со слезами воскликнула Наталья Николаевна, — я вижу, он изведет меня, непременно изведет своими упреками!..

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Пушкин посмотрел на эти всегда поражающие его своей красотой руки и молча оставил спальню.

— Отвлекись от мрачных мыслей, Наташа, — ласково обратилась к сестре Александра Николаевна.

Та продолжала держать платок у глаз.

— Ну, хочешь, я новости вслух читаю? Никита только что «Ведомости» подал.

Александрина взяла газету и поправила абажур, похожий на миниатюрную ширмочку.

— Ах, как интересно! — воскликнула она, пробежав взглядом по каким-то строкам «Ведомостей», и стала читать вслух: — «Правление Царскосельской железной дороги просит нас уведомить, что в воскресенье двадцать четвёртого генваря вновь будут ходить паровозы по железной дороге между Павловском и Царским Селом. Правление убедительнейше просит посетителей не оставаться близ дороги во время езды и соблюдать порядок в галерее в Павловске, ибо в таком только случае наибольшее число особ могут принять участие в поездках». Непременно поедем, — опуская газету на колени, решительно проговорила Александра Николаевна. — Пожалуй, даже Машеньку можно взять с собой, она так любопытствует ко всему новому...

Наталья Николаевна оперлась на локоть и из-под мокрой повязки, сползшей со лба, взглянула на сестру,

— А в каком туалете ехать? — все еще с недовольством в голосе, но уже не безучастно заговорила она. — С этими новыми развлечениями просто беда! Не знаешь, что в каком случае прилично надеть. И спросить не у кого: кто же знал про эти паровозы в былое время?

— Ты ныне на все в обиде, — улыбнулась Александрина. — Ну, надень то, в чем вообще на гуляньях быть надлежит.

— Нет, уж лучше вовсе не поеду, — вздохнула Наталья Николаевна.

Она встала и, подойдя к окну, отдернула штору.

— Сегодня уже проскакал, — укоризненно проговорила Александра Николаевна.

— Кто проскакал?

— Будто не знаешь, кто у тебя под окнами норovit прогарцевать...

Наталья Николаевна лукаво улыбнулась:

— Государю вольно гарцевать, где ему заблагорассудится. Кстати, я забыла тебе рассказать, как он был мил на последнем балу у Шереметевых. «Если, говорит, вы своей красотой не щадите меня, то что же вы творите с моими подданными?» Потом вдруг начал хвалить моего Пушкина, советовал не раздражать его ревностью, беречь...

— Ну, Александр, наверно, не был бы доволен таким заступничеством, — проговорила Александрина.

— А вот и не так! — поспешно продолжала Наталья Николаевна. — Когда я рассказала ему об этом, он был, как будто даже тронут...

Александрина пожала плечами:

— Что же делать, коли, Пушкин так простодушен и, как дитя, готов верить всему хорошему. Этой его чертой многие злоупотребляют. Его доверчивость...

— Постой, постой! — перебила сестру Наталья Николаевна. — Кто-то подъехал к крыльцу. Кто бы это?

Она встала коленами на кресло и прильнула лбом к стеклу. Высокий лакей распахнул дверцу кареты. Оттуда показался сперва палевый с пунцовыми лентами капор, затем зеленая, отделанная сободем шубка.

Наталья Николаевна быстро вытерла локтем запотевшее от ее дыхания стекло.

— Идалия! — радостно узнала она в нарядной даме свою подругу.

Идалия Полетика привезла с собой запах морозного дня, модных духов и шумную, канареечную веселость. Усевшись с ногами на маленькое канапе, она, поминутно оправляя то огромные с длинными подвесками серьги, то такое же старинное бирюзовое ожерелье, с оживлением рассказывала о вчерашнем бале у Строгановых.

— Уверяю вас, mesdames, что такого еще не было в сезоне! Цветы из Ниццы. Убранство зала по рисункам Брюллова. Повара специально на этот случай выписаны из Варшавы. А туалеты, туалеты! — Идалия молитвенно сложила руки и восторженно подняла глаза. — У большинства — парижские модели. Но самый неотразимый эффект модных дам — это бриллиантовые аграфы. Эти большие пряжки надевают вот здесь, — она прижала пальцы рук к середине своей низко открытой, смуглой груди, — так, чтобы пряжка попала как раз в ложбинку. Бриллианты вообще в большой моде. Даже прически, которые по парижским моделям уже высоко приподняты, придерживаются бриллиантовыми пряжками.

— Ах, это должно быть прелестно! — воскликнула Наталья Николаевна и, поспешно открыв потайной ящичек туалетного стола, достала бархатный футляр с теткинскими брильянтами. Подняв перед зеркалом свои темно-русые локоны повыше, она украсила прическу драгоценностями, и все три женщины залюбовались их радужными огоньками.

— Я привезла вам картинки ожидающих нас еще в этом зоне мод, — вновь затараторила Идалия. — Мне их принес из французского посольства кузен Мишель.

Она достала из своей щегольской сумочки несколько модных картинок.

Наталья Николаевна так и впилась в них заблестевшими глазами:

— Какая прелесть! Ты только погляди, Азинька! Хотя одно из таких платьев, а непременно сошью себе в этом сезоне.

— Можно вполне обойтись без этого: ведь сезон-то уж подходит к концу, — строго проговорила Александрина.

— Ты знаешь, — обратилась Наталья Николаевна к Идалии, — мой муж нашел в

нашей Азиньке скупого эконома. А платье новое я все же сделаю, — упрямо повторила она. Представляя себя в одном из этих роскошных туалетов, она как будто слышала уже восторженный шепот бальной толпы, в котором повторялось ее имя. Ноздри ее расширились, щеки порозовели.

— И когда только ты перестанешь хорошеть! — с невольным восхищением вырвалось у гости.

Через несколько минут подруги уже сидели рядом на диване и, грызя миндальные орехи, весело болтали.

— Пожалейте свои зубы, — наставительно сказала Александрина, — подождите, я велю принести щипцы.

— У меня такие зубы, что я могу грызть что угодно и кого угодно, — пошутила Идалия.

Но Александрина все же вышла.

Идалия мгновенно охватила Наталью Николаевну за плечи и, притянув к себе, быстро зашептала ей на ухо:

— На балу на Жоржа жалко было смотреть. Сначала он вовсе не танцевал и жадно вперял взор в каждую появлявшуюся на пороге даму. Потом, видимо, потерял надежду на твой приезд. Сделал один тур с княжной Бетси и сейчас же оставил ее. Он подошел ко мне, такой бледный, такой несчастный... Он умолял меня передать тебе об его отчаянии. Бедняжка едва не рыдал от горя. Скажу тебе напрямик — такой жестокости я от тебя не ожидала.

— Ах, я так измучена всей этой историей! — раздраженно проговорила Наталья Николаевна. — Мои сестры и муж винят меня в легкомыслии, кокетстве. А другие, как это делаешь ты, старик Геккерен и Жорж, упрекают в бессердечии и жестокости. Право же, я не знаю, как мне быть... — в ее голосе задрожали слезы.

— С чем или с кем быть? — спросила Александрина, появляясь на пороге.

— Да вот Натали жалуется на головные боли, — сразу нашлась Идалия. — Я ей рекомендую почаще и подольше бывать на воздухе. Пешком или в открытой коляске, но непременно дышать свежим воздухом. Это вернейшее средство от головной боли.

Александра Николаевна внимательно посмотрела на подруг, недоверчиво улыбнулась и до самого отъезда Идалии не проронила ни одного слова.

35. Раут

а раут к графине Долли Фикельмон Пушкин приехал с большим опозданием. Здороваясь с ним, Долли не умела скрыть охватившего ее при его появлении волнения.

Граф Сологуб, как показалось Пушкину, тоже как-то неестественно быстро заговорил с ним о последней книжке «Современника», потом вдруг сообщил:

— Мне рассказывали на днях, как Пьер Долгоруков попался в одной скандальной истории, и его величество...

Но Долли сделала ему предостерегающий знак глазами.

Сологуб обернулся. Долгоруков с напудренным лицом, на котором отталкивающе выделялся узкий лоб кретина, прихрамывая, подходил к хозяйке.

— Отчего вы не танцуете, граф? — спросил Сологуба Пушкин. — Смотрите, сколько прелестных женщин. Вот, например, моя свояченица Гончарова.

Он указал глазами на Екатерину Гончарову, сидящую у круглого столика. Возле нее в картинной позе стоял Дантес. Он держал вазочку, из которой раздумываясь

Екатерина ела крошечной ложечкой мороженое.

«Она совсем ошалела от радости, не захватив мороженого, лижет пустую ложку», — подумал о ней Пушкин.

— Пойдемте, я вас представлю. Мадемуазель Гончарова отменно танцует.

И, взяв Сологуба под руку, увлек за собой. Не ответив на поклон Дантеса, Пушкин обратился к свояченице:

— Катя, я за тебя обещал графу вальс! Не ставь меня в неловкое положение перед джентльменом.

— Но я обещала мосье Жоржу...

— Я повторяю, нельзя обидеть джентльмена, — проговорил Пушкин и взял ее за руку выше локтя.

Испуганный взгляд девушки на момент встретился с грозным взглядом Пушкина. И она торопливо положила свою смуглую руку на плечо Сологуба.

Ловко скользя среди танцующих, Пушкин прошел в гостиную, казавшуюся полутемной после ослепительного света танцевального зала.

Под одной из пальм он увидел открытые спину и плечи Елизаветы Михайловны Хитрово, обрамленные лиловым бархатом платья.

Пушкин хотел рассмотреть, с кем она была, но из-за густой тени, бросаемой широкими резными листьями, не видно было лица ее собеседника.

— Елизавета Михайловна, — сделав несколько шагов, окликнул Пушкин.

Хитрово быстро обернулась и порывисто подошла к нему. Глаза ее засияли приветливым светом.

— Как я рада вас видеть! — крепко пожимая обеими руками узкую холодную руку Пушкина, проговорила она, и тембр ее голоса подтверждал эти слова. — Подите к нам, — Она увлекла его к маленькому диванчику под пальмой.

Еще одна теплая рука взяла пальцы Пушкина и мягко потянула его.

— Садись, Искра, — сказал Жуковский, — Я тебя бранить хочу.

— Элиза, защитите меня! — съежился Пушкин. — Ведь вы всегда были моим добрым гением.

— Василий Андреевич если побранит, то любя, — сказала Хитрово, — и все же я не в силах слушать, когда вас бранят, хотя бы и так. А посему оставляю вас на небольшой срок. Не дольше того, чтобы пойти узнать у Долли относительно ее намерений на завтрашний день.

Как только она отошла, Жуковский, потеряв свой двойной подбородок, что обычно служило выражением волнения, вполголоса заговорил с Пушкиным:

— Мне становится неясным твое поведение. Объявленная помолвка Дантеса с твоей свояченицей является в полной мере репарацией того...

— Ты в шахматы играешь, Жук? — перебил Пушкин. — Знаешь, что иногда сознательно теряют фигуру, чтобы затем следующим ходом сделать мат?

— Дантес слишком дорожит своей свободой, чтобы без чувства любви жениться на девушке немолодой и небогатой... — Жуковский придвинулся ближе и продолжал с частыми паузами, что делал всегда, когда хотел придать особенную значительность своим словам: — Помни, Искра, одно: созревание твое свершилось. Тебе тридцать семь лет. Ты достиг той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучей силой молодости, предается более спокойной, более образовательной, более творческой силе здравого мужества. Ныне твой кипучий гений должен дать нам, дать России лучшие перлы твоей поэзии...

— А о чем писать? — с горечью спросил Пушкин. — Будто ты не знаешь, что после четырнадцатого декабря двадцать пятого года правительство наше заколотило источники умственной жизни тщательнее, чем холерные колодцы в лето тридцатого года. Будто ты не знаешь, что каждая написанная мною строка должна быть представлена моему «высочайшему цензору», который волен сделать с нею все, что захочет.

— Ты не прав, Искра, — успокаивающе произнес Жуковский, — если государь бывает, недоволен тобою, он высказывает это в такой отеческой форме...

— Минуй нас пуще всех печалей и царский гнев и царская любовь, — желчно перефразировал Пушкин Грибоедова.

— Ты забываешь, что ты принадлежишь России, — с укоризной покачал головой Жуковский.

— Полно, Василий Андреевич, — в том же раздраженном тоне возразил Пушкин, — тебе отлично известно, что царь присвоил меня сначала только как поэта, а в последнее время довольно бесцеремонно пытается вмешиваться и в мою семейную жизнь.

— У меня к тебе есть еще дело... Видишь ли, Александр Сергеевич... — Жуковский замялся.

— Ну-ну, не мямли, милый, — подбодрил Пушкин. — Говори напрямик.

Жуковский осмотрелся по сторонам:

— Министр Канкрин сообщил мне о твоём письме к нему касательно намерения выплатить долги государю.

— Да, да, — Пушкин схватил его за руку. — Я больше ни в чем не хочу быть обязанным царю... Хочу расплатиться с ним сполна. — Суровая морщина пересекла его лоб. — По горло сыт его благодеяниями. Хочу быть как можно дальше от своего «благодетеля»... Тебе известно, что я еще в Михайловском замышлял под предлогом операции аневризма удрать через Дерпт за границу. Просился в Италию, Францию. Хотел ехать с нашей миссией даже в Китай, хотя бы потому, что там нет ни Хвостова, ни Каченовского. А ныне уж не в чужие края, а к себе в деревню уехал бы с семьей, и то никак невозможно. Жандармы желают, чтобы вся моя жизнь у них на глазах протекала. Бенкендорф никому, кроме своей бдительности, в отношении меня не доверяет... Скучно, брат, смертельно скучно! — вдруг оборвал он себя зевком и, помолчав, предложил: — Поедем к Смирновой. Она уезжает за границу на днях. И ввиду предстоящей разлуки просила непременно навестить ее.

— Могу ли я быть спокоен, по крайней мере, в отношении твоего конфликта с Дантесом?

Пушкин ответил ему только взглядом, выразившим холодное упорство.

Жуковский встал вслед за Пушкиным и оправил на себе фрак.

Они подошли к хозяйке проститься.

— Мама будет очень огорчена вашим отъездом, — оказала Долли Пушкину, а в глазах ее было огорчение не только за мать.

— На балах надо плясать, — невесело усмехнулся Пушкин, — а я нынче устал что-то.

И он церемонно откланялся. Жуковский, отдуваясь, поспешил за ним.

Согласно правилам, установленным при российском императорском дворе, камер-фурьер Михайлов 2-й, собираясь сдавать дежурство, придвинул к себе увесистый журнал, чтобы сделать в нем полагающуюся очередную запись.

Попробовав исправность гусяного пера на полях одной из ранее заполненных страниц и обнаружив на его расщепленном конце едва заметный волосок, камер-фурьер почистил кончик пера о свои подстриженные щеткой темные волосы. Затем оперся затылком в мундир грудью о край стола и начал старательно выводить каллиграфические строки:

«1836 г. Месяц ноябрь. Понедельник 23-го. С 8 часов его величество принимал с докладом военного министра генерал-адъютанта графа Чернышева, действительного статского советника Туркуля, министра высочайшего двора князя Волконского и генерал-адъютанта Киселева. Засим с рапортом военного генерал-губернатора графа Эссена...»

«Кто бишь еще приезжал? — задумался камер-фурьер. — Да, эдакой видный генерал, в усах и одну ногу волочит... Кто же он, дай бог памяти?»

Михайлов 2-й напряженно морщил лоб, встряхивал головой, даже задерживал дыхание. Но фамилия франтоватого генерала, едва мелькнув в разгоряченной памяти, таяла, как брошенная в кипяток льдинка.

Камер-фурьер водил взглядом по потолку и стенам, словно надеялся найти на них что-либо такое, что поможет ему вспомнить забытую фамилию. Случайно его взгляд наткнулся на часового, в неподвижной позе застывшего у дверей царского кабинета.

«Его разве спросить? — подумал Михайлов. — Да где ему знать! Ведь сущий истукан. Однако ж...»

— Служивый! — тихо окликнул он.

Часовой едва заметно встрепенулся и недоумевающе посмотрел на камер-фурьера.

— Разговор мне с тобой вести, конечно, не полагается, — так же тихо продолжал Михайлов, — но поелику их величество отсутствуют и никаких иных персон налицо не имеется, вызволь меня, братец, если можешь...

Тень колебания скользнула по лицу лейб-гвардейца, но, стоя все так же «во фронт», он ответил вполголоса:

— Рад стараться, ваше благородие.

— Ты на карауле с утра стоишь?

— Так точно, ваше благородие.

— Слушаешь ты, о ком адъютант докладывает во время приема государю?

— Так точно, ваше благородие.

— И всех помнишь?

— Не могу знать, вашбродие.

— Ну, а, к примеру, генерала, который нынче последним к государю вошел и ногу эдак подтаскивал при ходьбе, не упомнишь ли, как его адъютант назвал?

— Так точно, помню, вашбродие.

Камер-фурьер даже привскочил от радости:

— Как же именно?

— Их превосходительство господин обер-полицмейстер Ко-кошкин, вашбродие...

— Верно, братец, верно, — обрадовался Михайлов, — именно обер-полицмейстер Кокошкин. Экой ты молодец, право!

— Рад стараться, вашбродие.

Камер-фурьер с удивлением глядел еще несколько мгновений в лицо гвардейца, который снова замер в полной неподвижности. Только в глазах его еще не успела погаснуть искра оживления.

— Выручил ты меня, братец, вот как выручил! — и, обмакнув перо, заскрипел им по шершавому листу камер-фурьерского журнала: «...и обер-полицмейстера Кокошкина...»

Так как на этом слове страница кончилась, офицер посыпал последние строки песком, сдунул его и, перевернув лист, начал новую страницу:

«10 минут второго часа его величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу, а засим...»

Фраза дописана не была.

Со стороны входа во дворец слышались голоса и знакомые властные шаги под равномерное бряцание шпор.

Камер-фурьер вытянулся в струну. Часовой напрягся, как тетива.

Дверь распахнулась, и через приемную в кабинет прошел царь в сопровождении Бенкендорфа.

— Отлично прокатился, — усаживаясь в кресло у стола, проговорил Николай, — день нынче не по-ноябрьски хорош.

Погода отличнейшая, ваше величество, — подтвердил Бенкендорф. — Я также только что приехал. Опасался, как бы не опоздать.

— Нет, ты точен, как всегда, а вот Пушкина нет, — с недовольством проговорил царь.

— Сейчас, несомненно, будет, государь, — уверенно проговорил Бенкендорф, — он так добивался этой аудиенции!

Николай по привычке оттопырил губы:

— Что ему так приспичило?

Бенкендорф передернул плечами, отчего золотые щетки его эполет переливчато блеснули.

— На мои расспросы Пушкин отозвался, что разговор его с вашим величеством будет сугубо конфиденциален.

Закинув ногу на ногу, царь пристально глядел на покачивающийся носок своего сапога.

— Но ты-то все же что думаешь? — спросил он, не отрывая глаз от этого узкого модного носка. — Снова какая-нибудь литературная или семейная история? Кстати, этот каналья Дантес своим сватовством к свояченице Пушкина показал большую ловкость...

— Но все отлично понимают, ваше величество, что эта свадьба не помешает Пушкину стать роганосцем, — улыбнулся Бенкендорф, — и что дуэль между свояками только отложена.

Царь неожиданно сердито хлопнул ладонью по столу:

— А скажи, пожалуйста, Александр Христофорович, почему Пушкин, в конце концов, весьма незначительная фигура в моем государстве, столь привлекает к себе внимание в самых разнородных слоях общества? Ну, я понимаю еще, что свет развлекается его эксцентричными выходками. Но все остальное, что мне известно через явную и тайную полицию... Право, иной государственный деятель может позавидовать популярности Пушкина, — не без желания кольнуть своего собеседника, прибавил он.

Бенкендорф понял намек, но ответил со своей обычной самоуверенностью:

— Весьма понятно, государь. Пушкин соединяет в себе два существа: он знаменитый стихотворец и он же либерал, с юношеских лет и до сего времени фрондирующий резкими суждениями о незыблемых устоях государственной жизни.

— Ты располагаешь какими-либо новыми фактами? — просил царь, поднимая на Бенкендорфа испытующий взгляд.

— Сколько угодно, ваше величество, — с готовностью проговорил шеф жандармов.

— К примеру?

— К примеру, совсем недавно спрашивал он у меня дозволения на посылку своих сочинений... кому бы вы полагали, государь?

— Ну? — нетерпеливо произнес царь.

— В Сибирь, злодею Кюхельбекеру, — с расстановкой ответил Бенкендорф.

Николай дернулся в кресле:

— Так он все еще продолжает поддерживать сношения с нашими «друзьями четырнадцатого»?!

— Всяческими способами, государь. У меня в Третьем отделении и у Кокошкина в полиции имеется тому немало доказательств. К примеру, упорные домогательства Пушкина иметь в своем «Современнике» общественно-политический отдел? Зачем ему такой отдел? Затем, разумеется, чтобы порицать существующий порядок, чтобы бранить патриотическую печать. Вполне понятно поэтому, что всякого рода альманашники и фрачники льнут к Пушкину и выражают ему, как отъявленному либералу, свои восторженные чувства. Их неумеренные похвалы кружат ему голову, и поведение его становится, настолько заносчиво, настолько...

Дежурный офицер показался на пороге, и Бенкендорф мгновенно умолк.

— Александр Сергеевич Пушкин, — доложил офицер.

Пушкин, поклонившись, остановился в двух шагах от стола, за которым сидел царь.

Бенкендорф, стоя поодаль, с любопытством поглядывал то на поэта, то на царя.

— Я просил ваше величество о свидании с глазу на глаз, — тихо, но твердо произнес поэт.

Николай поднял брови:

— У меня от Александра Христофоровича секретов нет.

Но у меня они есть, государь, — с той же непреклонностью проговорил Пушкин.

Николай вздернул плечи и, многозначительно переглянувшись с Бенкендорфом, коротко бросил:

— Что ж, изволь...

Бенкендорф иронически улыбнулся и скрылся за портьерой двери, противоположной от входа в царский кабинет. Несколько минут длилось напряженное молчание.

— Как идет твоя работа над Петром? — наконец, спросил царь. — Ведь с некоторого времени я смотрю на тебя, как на своего историографа.

При последнем слове царя Пушкин вздрогнул.

— После незабвенного Карамзина я, государь, не смею принять на себя столь высокое звание, — строго произнес он.

Царь снова удивленно приподнял брови.

— Покойный Николай Михайлович, — продолжал Пушкин, — открыл древнюю

Россию, как Колумб Америку. А Петр Великий один — целая всемирная история.

— Однако ж и он имел себе предшественников и последователей? — пожал плечами Николай.

— Да, государь. Сам Петр почитал образцом в гражданских и государственных делах царя Ивана Грозного.

— Лю-бо-пытно, — протянул царь.

— Петр держался мнения, — говорил все тем же строгим тоном Пушкин, — что только глупцы, которым были неизвестны обстоятельства того времени, могли называть Ивана Грозного мучителем.

— А ты как полагаешь — имеется между этими монархами некоторое сходство? Или, быть может, с кем-либо из последующих государей?

«Понимаю, чего тебе хочется, — пронеслась у Пушкина насмешливая мысль. — Нет, нет, чем больше узнаю я Петра, тем больше вижу в тебе не твоего пращура, а прапорщика...» Но вслух он ответил:

— Да, ваше величество, И Петр, и Иван превыше всего ставили могущество России. Однако в деяниях Петра я нахожу достойным удивления разность между его государственными учреждениями и временными указами. Первые — плоды обширного ума, исполненного доброжелательства и мудрости. Указы же его зачастую весьма жестоки, своенравны и писаны будто кнутом...

Искусственно затеянный разговор оборвался. Наступившее молчание было нестерпимо.

И опять первым заговорил царь. Обычным вежливо-официальным тоном он спросил о здоровье Натальи Николаевны и, услышав, что она занемогла, выразил сожаление:

— Весьма печально. Прелестная женщина. Ею решительно все восхищаются.

— Жена знает об этом и всегда передает мне все, что ей нашептывают ее ухаживатели.

Николай снисходительно улыбнулся:

— Я сам разговорился как-то с нею о возможных камеражах и нареканиях, которым ее красота может подвергнуть ее в обществе...

— Жена и об этом рассказывала мне, государь.

— Я советовал ей, — продолжал Николай, слегка меняясь в лице, — беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько же и для твоего спокойствия.

Пушкин поклонился,

— Будучи единственным блюстителем и своей и жениной чести, — заговорил он с холодной учтивостью, — я, тем не менее, приношу вам, государь, благодарность за эти советы.

— Разве ты мог ожидать от меня другого? — деланно удивился Николай.

Пушкин прямо посмотрел ему в глаза, похожие на осколки мутного льда, и ответил:

— Мог. В числе поклонников моей жены я считаю и вас, ваше величество.

Николай вспыхнул и надменно приподнял крепкий подбородок:

— Однако какие экзальтированные мысли могут приходить тебе в голову!

— Если бы только мне одному! — со сдержанным негодованием проговорил Пушкин. — Находятся люди с гораздо более смелыми на этот счет предположениями.

Даже в сумеречном свете стало заметно, как багровело лицо царя. Но голосу своему он постарался придать только выражение большого удивления:

— Что же именно?..

Пушкин опустил руку во внутренний карман своего камер-юнкерского мундира и вынул конверт с аляповатой сургучной печатью: посередине буква «А», заключенная не то в качели без веревок, не то в букву «П», — быть может, намек на пушкинскую монограмму.

Под этими знаками было нарисовано перо, на одном конца которого сидела рогатая птица, а на другом висел раскрытый циркуль. Под печатью темнел прямоугольник почтового штемпеля со словами: «Городская почта. 1836 г. Ноября 4. Утро».

Пушкин вздрагивающими пальцами развернул письмо и подал его царю.

«Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, — читал Николай, написанный от руки печатными буквами французский текст письма, — в полном собрании своем, под председательством великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина коадьютором великого магистра Ордена рогоносцев и историографом ордена».

Пока царь читал «диплом», Пушкин не сводил с его лица горящих глаз.

Он видел, как на царском лбу набрякли тугие жилы, как побелел, словно прихваченный морозом, его точеный голштейн-готторпский нос.

— Кто посмел написать подобное? — наконец, спросил Николай, бросая пасквиль на стол.

Пушкин сейчас же взял его, сложил и опустил в карман.

— По манере изложения я убежден, что письмо исходит от иностранца и...

— Почему от иностранца? — прервал царь.

— Потому, государь, — саркастическая усмешка искривила губы Пушкина, — что для русского невозможно допустить, чтобы его государь не являл собою примера нравственных устоев... Потому, что только иностранец способен приписать русскому монарху низость соращения с честного пути замужней женщины, матери семейства...

Николай не мог дольше выдержать ни острого блеска устремленных на него глаз, ни этих слов, как пощечины, опаляющих его лицо.

— Какая чудовищная дерзость! — воскликнул он, поднимаясь во весь свой высокий рост.

Пушкин с трудом сдерживал гнев. Но все же он нашел в себе силы показать, будто понял этот царский возглас относящимся не к нему, Пушкину, а к автору анонимного пасквиля.

— В вашей власти, государь, обнаружить дерзкого клеветника и прекратить всю эту отвратительную историю, — глубокая морщина пересекла высокий, прекрасный лоб поэта. — И сделать это надо как можно скорее. — Последняя фраза прозвучала открытым требованием.

— Обещаю, — отрубил Николай, вставая.

Пушкин поклонился и, круто повернувшись, покинул царский кабинет.

Почти в тот же момент из-за портьеры появился Бенкендорф.

— Я все слышал, ваше величество, — возмущенно произнес он. — Пушкин совсем потерял рассудок, и его поведение становится попросту опасным. Молва и злоречье непоправимо испортили его положение в свете, и я убежден, что, невзирая на женитьбу Дантеса, Пушкин не отступится от дуэли.

Царь побарабанил пальцами по краю стола и с раздражением спросил:

— Так что же, по-твоему, нам делать с этим сумасбродом?

— Горбатого одна могила исправит, государь, — многозначительно ответил Бенкендорф.

В кабинете стало тихо... В залах и гостиных дворца одни за другими отзвонили часы.

— А если Дантес промахнется? — тихо спросил царь после долгой паузы.

— Едва ли, ваше величество, — отозвался шеф жандармов. — Дантес — воспитанник военной школы Сен-Сир, следовательно, отличный стрелок.

— Ну что ж, — помолчав, произнес Николай. — Быть по сему...

Бенкендорф почтительно наклонил голову.

— Пойдем к императрице, — пригласил царь, — у нее об эту пору собираются молоденькие фрейлины.

— Сочту за честь, ваше величество.

Бенкендорф щелкнул шпорами и, приподняв портьеру, пропустил впереди себя приосанившегося царя.

Камер-фурьер записал в журнале последние перед сдачей дежурства строки:

«По возвращении в 3 часа во дворец его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина».

37. На поселение

Когда из теплиц и оранжерей растения пересаживают под открытое небо и оставляют на волю бурь и непогод, бывает, что хрупкие молодые побеги никнут, листья темнеют, свертываются и опадают бурыми комками.

Но если растения уже успели связаться с почвой тончайшими разветвлениями своих корней, если по их стеблям уже потянулись, как кровь по жилам, живительные соки земли, тогда саженцы и рассада могут гнуться ветрами, прибиваться дождем, зябнуть при заморозках — и все же день ото дня крепнуть и подниматься все выше.

Вырванные из жизни, полной довольства, и переселенные в суровый край на промерзшую почву Восточной Сибири, декабристы в первые годы изгнания были похожи на растения, которые никак не могли привиться на новом месте. Многие, болея телом и душой, захирели.

Но отошли годы каторги в Нерчинских рудниках, в прошлом осталось заточение в Читинской тюрьме и казематах Петровского острога.

Начались годы поселения...

Осенью 1836 года генерал-губернатор Восточной Сибири Рупперт получил подписанное Бенкендорфом распоряжение:

«Государь император, снисходя к просьбе жены государственного преступника Волконского, всемилостивейше повелеть соизволил: поселить Волконского в Иркутской губернии в Уриковском селении, куда назначен также государственный преступник Вольф, бывший медик, который поныне оказывал помощь Волконскому и его детям в болезненном их состоянии».

Весть о переезде в Урик внесла успокоение в семью Волконских. У них к этому времени было уже двое детей: шестилетний сын Михаил и трехлетняя дочь Елена.

По поводу предстоящего переезда Марья Николаевна получила из Урика радостные письма от Лунина и Поджио, которые были переведены туда раньше. Пришли письма из Разводной и Усть-Куды от Оболенского, Трубецких, Ивашевых и

из других расположенных вокруг Иркутска сел и деревень, где жили изгнанники-декабристы. Незадолго до Волконских уехали в Урик и братья Муравьевы.

Александрины уже не было в живых. Она умерла три года тому назад. Никита сам одел ее, сам положил в красивый деревянный гроб, сделанный Николаем Бестужевым. Потом вместе с товарищами вставил этот гроб в свинцовый, отлитый тоже Бестужевым. С тех пор никто никогда не видел у Никиты веселого лица. Накануне отъезда из Петровского завода он срезал с клумб своего сада все цветы, отнес их с вечера на могилу жены и, положив голову на могильный холм, оставался так всю ночь.

Утром Волконская подошла к нему вместе с его пятилетней дочерью Нонушкой.

Девочка осторожно дотронулась до отцовского плеча:

— Пойдемте домой, папенька! Вы, наверно, вовсе про меня забыли вчера. Я и спала у тети Маши, — она кивнула на Марью Николаевну, которая опустилась на колени перед могилой подруги. — Ну же, вставайте, папенька, вставайте! — тянула Нона отца за рукав.

Никита поцеловал белый мраморный крест и могилу, потом взял дочь на руки и, не оглядываясь, пошел с кладбища. Девочка обвила его шею теплыми руками и, прежде чем поцеловать, смахнула с его губ приставшие к ним комочки земли.

Прощаясь с Марьей Николаевной, Никита просил ее навещать могилу Александрины. И Волконская до самого отъезда приносила туда цветы и подливала масла в неугасимую лампаду, теплившуюся за стеклом в мраморной нише памятника.

В Урике, прожив несколько месяцев в избе у Поджою, Волконские поселились в большом деревянном доме на берегу реки.

Поручив занятия с сыном сосланному за участие в польском восстании Сабинскому, Марья Николаевна все свое свободное от воспитания дочери время отдавала занятиям с крестьянскими детьми. Она обучала их грамоте, пению. Девочек учила еще вышиванию и вязанию.

В праздники водила хороводы с девушками. На зимних святках обучала их украинским колядкам.

Первое лето на поселении стояло жаркое, сухое. На постаревшей от засухи почве легли глубокие трещины, в которых копошились большие муравьи с прозрачными коричневыми брюшками. Овес и ячмень заросли лебедой и бурьяном.

Крестьяне лежащих вокруг Урика деревень и сами урикчане уныло бродили от избы к избе, приходили иногда и к ссыльным погоревать о засухе, грозящей полным неурожаем.

Старики толковали, что бедствие это ниспослано богом в наказание за ослабление в народе веры...

А Улинька слышала в толпе на базаре от странника-монаха, собирающего по сибирским деревням от Урала до Забайкалья «подавание на построение храма божьего», что с того самого дня, как ссыльный Якушкин поставил на своем дворе в Ялуторовске высокий шест и надел на него колесо со стрелками, именно с того самого злополучного дня не выпало по всей округе ни единой капли дождя.

— А дело ясное, братие, — елейным голосом разглагольствовал монах: — ссыльный — черно книжник и фармазон, и чудное сооружение свое выдумал в согласии с нечистой силой на предмет разгона дождевых туч...

Волконская пыталась разубедить крестьян, поверивших словам монаха.

— А ты скажи, матушка, бывали нынче тучи над тутошними нивами? — возражал седой бородач.

— Бывали...

— А дождик не проливался?

— Не было. А при чем здесь якушкинский ветромер? — недоумевала Марья Николаевна.

Старик обернулся к стоящим за ним односельчанам:

— А вам, братцы, кажись, ясно при чем?

— Куда уж ясней, — соглашались односельчане.

И расходились по деревням, толкуя о бесовском «струменте», повлекшем за собою наваждение, которое взяло верх над всеми молебнами в церквах и на иссохших нивах.

А через недолгое время в Ялуторовске, когда Якушкин крепко спал и ему снилось, что кто-то огромный, как легендарный циклоп, глухо кашляет у него под окном, несколько крестьян с топорами и заступами возились в ночной темноте над его, смастеренным с таким трудом ветромером.

Утром Якушкин нашел на месте ветромера лишь разрытую яму, да на заборе, зацепившись за гвоздь, болтался кусок, вырванный из чьей-то пестрядевой рубахи.

Вскоре от Якушкина пришло известие о гибели его ветромера и о том, что в Ялуторовске сожжен дом ссыльного декабриста Тизенгаузена и что он ничего, кроме скульптуры — статуи, пересланных ему из Риги родными, — из огня не вынес. А крестьяне говорили о его Нептуне с трезубцем, что это и есть главный идол в доме погорельца-чернокнижника.

События эти глубоко взволновали ссыльных, искавших всяких путей для общения с местным крестьянством. Они знали, что недоверие к ним крестьян поддерживается и всячески культивируется местной властью, желающей заранее оградить себя от возможных «недоразумений».

И все же сближение с крестьянами росло. После долгих хлопот декабристам разрешено было получать наделы сенокосной и пахотной земли, «дабы оные поселенцы заимели возможность снискивать себе пропитание собственным трудом». С этих пор неперменной частью содержания посылок из России бывали разнообразные семена злаков, овощей и цветов.

Первые усовершенствованные плуги взбороздили поля «секретных», как их называли крестьяне.

Когда все, что на них было посеяно, взошло, созрело и, убранный, наполнило закрома, крестьяне целыми семьями приходили дивиться бронзовой россыпи гречи, гималайскому житю, золотистым початкам кукурузы, высокой, в человеческий рост, конопле.

Крестьяне никак не могли понять, зачем это ссыльный Поджио «ставит окошки над овощью». А когда Поджио попотчевал их ранними парниковыми огурцами, его односельчане наперебой просили у него семян от этой «заморской фрукты».

Не меньшее удивление вызывали у них зеленая ботва и липово-желтое цветение картофеля.

Его выращивал Матвей Иванович Муравьев-Апостол на своем огороде так же любовно, как некогда редчайшие розы и гиацинты в бакумовском имении своего отца.

Картофель имел еще больший успех, чем огурцы, и Матвею Ивановичу пришлось раздать крестьянам почти весь свой первый урожай.

В огороде у Юшневских зрели тыквы и кукуруза.

У некоторых ссыльных сельское хозяйство пошло так успешно, что им уже не

хватало пятнадцатидесятиного надела. Крестьяне стали было опасаться, как бы новоселы не захотели получить прирезка из «мужичьих дач». Но опасения эти рассеялись: ссыльные испросили у начальства разрешения пользоваться пустопорожними участками из казенных наделов.

Михаил Карлович Кюхельбекер собственными руками обработал из-под леса и болот участок в одиннадцать десятин.

— И чего он хлопочет, — пожимали плечами крестьяне. — Нешто таковская земля может чего родить! А коли и взойдет что, все едино — сорняки задавят...

Но все засеянное на «Карловом поле» вошло, созрело, и на покров Михаил Карлович угощал скептиков плодами своих трудов — овсяным киселем и гречневой кашей, сдобренной конопляным маслом. Его он получил от декабриста Бечаснова, выжавшего масло на маслобойке собственной конструкции.

— А ведь мы, Карлыч, иначе о тебе понимали, — признались гости. — Затеваешь, дескать, книгочей пустое, зря изноет человечешко. А гляди, какво славно получилось!

Вадковский, Трубецкие и Лунин отдали почти все свои наделы крестьянам и занялись разведением садов.

Мсье Воше нашел способ доставить Катерине Ивановне из Франции семена цветов, которые украшали клумбы на виллах Ниццы и Биаррица. Трубецкая поделилась ими с Волконской, и их сады запестрели такими цветами, что ни одна сибирячка не могла пройти мимо, чтобы не полюбоваться на их диковинную красу.

— Почему вы сами не разводите садов? — спросила как-то у одной крестьянки Трубецкая.

— Мы, матушка, отродясь привыкли не садить, а вырубать деревья. Знаешь ли ты, какой кусище тайги пришлось выкорчевывать нашим дедам, чтобы поставить эдакое село, как нашинское? А уж семян от своих цветиков вы нам ссудите. Больно уж хороши они у вас.

— И на Олхонской косе не хуже, — хвалили девушки сад Волконской, протянувшийся узкой и длинной полосой вдоль берега реки. — Маки там, у Марьи Николаевны величиною с чайное блюдце и какого хочешь цвету: и алые, и небесные, и желтые, и, будто мотыльки, пестрые...

Волконская получила от директора столичного ботанического сада прекрасное руководство по ботанике. Она не знала, что об этом просил свою сестру Лунин, и была в недоумении, каким образом знаменитый ботаник профессор Фишер угадал ее заветное желание.

— Со вступлением нашим в Сибирь, — говорил Лунин, — и началось собственно наше житейское поприще. Именно здесь мы можем послужить словом и личным примером делу, из-за которого мы сюда попали.

Даже Завалишин считал, что заслужить дружбу и доверие сибирских крестьян можно только личным трудом и таким, который принес бы пользу их хозяйству, улучшил бы их быт.

Сам он усердно занялся птицеводством. Во дворе его дома разгуливали леггорны, плимутроки и напыщенные индюки с сизо-малиновыми гроздьями бород.

— Ни дать ни взять — иркутские начальники, — глядя на них, ахали крестьяне, — и важнющие, и злющие, и охальники.

А когда у индеек появилось потомство, старожилы в пояс кланялись «батюшке Дмитрию Иринарховичу», выпрашивая у него индюшачьих яиц, чтобы подложить их

под своих наседок-пеструшек.

Оболенский и Волконский выписывали журналы и новейшие справочники по агрономическим наукам и считались главными теоретиками в сельском хозяйстве.

Деревенские ребята с раннего утра нетерпеливо поглядывали, не появится ли над крышей избы, в которой жил Матвей Муравьев-Апостол, флаг, служивший сигналом призыва на занятия грамотой.

Взрослые крестьяне ходили в ялуторовскую школу Якушкина, в минусинскую к братьям Беляевым.

Беляевы втягивали крестьянских детей в собиране богатейшей коллекции сибирской флоры.

Горбачевский, Оболенский и Тизенгаузен тоже убеждали своих односельчан «крепко держаться за грамоту», которую они им преподавали.

Большим бедствием для сибирских сел и деревень бывали пожары. Покуда сбегался народ с ведрами, выгорали целые улицы.

Юшневские на свои средства построили пожарную вышку и провели веревку от ее колокола к себе в дом. Во дворе у них всегда стояли наготове наполненные водой большие бочки на колесах.

Доктор Вольф лечил не только своих товарищей по ссылке. К нему приходили и приезжали больные со всей обширной округи. Он внимательно выслушивал и выстукивал их и, написав рецепт, направлял к Марье Николаевне Волконской. За годы ссылки она научилась отлично изготавливать самые замысловатые лекарства. Необходимые для этого медикаменты ей присылала из Москвы сестра — Катерина Орлова.

— Мы, матушка, знаем, что ты-то нас не заморишь, — говорили ей пациенты. — А то мы всё по знахарям да по шаманам бурятским пользы от хвороб ищем. А иной раз везешь больного к китайскому ламе, на самую границу. И покуда довезешь, он и отдаст богу душу.

Дружба между «секретными», и старожилками крепла из года в год.

Как особой чести, просили крестьяне декабристов в кумовья, в посаженные отцы и матери, в опекуны к круглым сиротам.

При посредстве ссыльных находили они защиту в судах и от произвола местных властей.

— Обуздали вы заседателишку-то, — благодарили Пущина или Оболенского их односельчане. — Супротив прежнего притеснение куда полегшало...

А если кто-нибудь из ссыльных женился на крестьянке, событие это воспринималось как праздник для всего села. И каждый его житель по своей возможности дарил молодых «на обзаведеньице».

Когда, по доносу верхнеудинского благочинного, духовная консистория расторгла брак Михаила Кюхельбекера с крестьянкой Анной Токаревой, горе этих супругов взволновало всю деревню.

Брак посчитался незаконным по той причине, что Кюхельбекер до женитьбы «принимал от святой купели незаконнорожденного женою его еще в девическом состоянии младенца».

— Пошто горюете, — утешали супругов крестьяне, — живите, однако, по-доброму, по-хорошему — и баста.

— Пошлю прошение в Синод, — с отчаянием говорил Михаил Кюхельбекер. — И если меня все же разлучат с Аннушкой, буду проситься в солдаты, под первую пулю.

Жизнь без жены и детей для меня не жизнь...

Но Синод не уважил его просьбы. Аннушку приговорили к церковному покаянию, а Кюхельбекера перевели в другое место, за пятьсот верст от семьи.

Не все декабристы одобряли женитьбу своих товарищей на местных жительницах.

Особенно возмущался браком братьев Кюхельбекеров Пущин.

— Я еще понимаю, как на такой мезальянс решился Михаил Кюхельбекер. Рассказывали, что, когда он плавал с Лазаревым к Новой Земле, еще тогда он воспылил страстью к какой-то поморке. Но Вильгельм — поэт и уж по одному этому должен стремиться ко всему изящному, прекрасному. Выбор супруги из полудиких буряток доказывает вкус нашего чудака. Дикой этой бабе, которая и фамилии своего мужа выговорить не умеет — называет его «Клухербрехером», он читает свои сентиментальные стихи, боится ей в чем-либо противоречить из-за ее нервических припадков и во всем ищет оправдания ее некультурности.

Оболенский пробовал защищать Кюхельбекера:

— Но ведь Дронюшка, несомненно, искренне привязана к Вилли. А грубость ее происходит от раздражительности характера.

— Ах, не все ли равно от чего грубость, — сердито возражал Пущин, — ежели бы эта бурятка была хороша собой, а не грузная баба, и то, по мне, даже красавица без хороших манер и внутреннего изящества не в состоянии создать семейное счастье просвещенному супругу.

Все знали о давней любви между Пуциным и женою Фонвизина. Знали, что чувство это доставляет им обоим много страданий. Но Наталья Дмитриевна оставалась верной своему болезненному мужу.

Красивый и обаятельный Пущин пользовался большим вниманием сибирячек. Однако ни одной из них не удалось женить его на себе. Рассказывали даже, что, когда одна чиновничья вдова, убедившись в серьезном последствии ее увлечения Пуциным, потребовала, чтобы он «покрыл свой грех», Пущин согласился венчаться, но поклялся, что тотчас же после обряда застрелится.

Вдова, которая втайне уже готовилась к свадьбе — откармливала гусей и шила подвенечное платье со шлейфом, — горько заплакала, но тут же заявила, что такую ценой сохранить свое доброе имя отказывается.

Когда Пущин пришел к ней через несколько дней, на дверях дома висел замок. Иван Иванович заглянул в окна, где уже не красовалась цветущая герань. Столы стояли без скатертей, стулья, сложенные сиденьями одно на другое, громоздились в углу. На широкой кровати, прежде убранной пирамидой пышных подушек, кружевной накидкой и подзором, лежали доски. Ни одной безделушки, ни одного флакона не украшало огромного комода... По опустелому двору с недоуменным гоготаньем бродила пара откормленных, но уже явно голодных гусей.

Все попытки Пущина разузнать, куда девалась вдова, оказались тщетными. Только одна ее соседка вспомнила, что «Дарья Степановна давненько говорила о намерении хоть когда-нибудь съездить на свою уральскую сторону, откуда замуж выходила».

А через два с небольшим года к Пуцину неожиданно приехала плотная, рябоватая женщина, которая назвалась Варей, «сродственницей известной вам вдовушки». Варя привезла ему маленькую девочку с такими истинно пушинскими глубокими серыми глазами и с такою же, как у Ивана Ивановича, темной родинкой на

мочке левого уха, что он не мог ни на минуту усомниться: перед ним, болтая крепкими ножонками в полосатых шерстяных чулках, сидела его дочь.

— Аннушкой крещена, — рекомендовала ее Варя отцу, — девка она разумная, послушная. Дарьюшка, как почувствовала что не одолеть ей хворобы, строго-настрого наказала мне: «Как помру, свези ее к Ивану Ивановичу. Человек он душевный, благородный...» Как найти вас — все объяснила. Домик, который остался, дочке определила. Так она об ней сокрушалась, так заботилась. Чулочки, что вот теперь на Аннушке надеты, Дарьюшка уже еле-еле спицами ворочала, а довязала все ж таки на дорогу...

У Пуцина заныло сердце. Он протянул к девочке руки. Улыбнулся. Поколебавшись немного, она пошла к нему.

— Ишь ты, несмысленыш, — вздохнула Варя. — Не понимает, знать, своего сиротства круглого...

— Какое же «круглое сиротство», — осторожно беря девочку на руки, проговорил Пуцин, — у нее есть отец...

Воспитывать Аннушку взялась Волконская, а Варю Пуцин уговорил остаться для ухода за девочкой.

Пуцин был одним из немногих декабристов, которые еще не могли отделаться от дедовских взглядов и традиций. На этой почве произошло даже охлаждение его дружбы с Оболенским, который заметно для всех выказывал Улиньке внимание большее, чем, по мнению Пуцина; она того заслуживала.

В день рождения Сергея Григорьевича к Волконским собирались гости. Приехал из Оёка Трубецкой, из Усть-Куды Поджио, из Итанцы Оболенский. Неожиданно появился Пуцин. Он был «обращен на поселение» в Туринск и заехал повидаться с друзьями, а главное — предупредить Марью Николаевну о своем намерении взять к себе в Туринск, как только он там устроится, свою дочь Аннушку. Но зная, что разлука с нею причинит огорчение Волконской и ее детям, Пуцин отложил на время этот разговор.

После обеда Поджио предложил Марье Николаевне пройтись, а мужчины закурили трубки.

В разговоре вспомнили семейную драму Михаила Кюхельбекера, вспомнили и историю со злополучным ветромером.

— Но самое печальное в этом происшествии, — сказал Пуцин, — это то, что вскоре после того дикого изуверства пошли дожди и суеверие восторжествовало. Нет, тут надо рубить просеки, как в дремучем лесу, иначе мрак невежества заглушит узкие тропинки, нами протоптанные. Надо крепче связываться с крестьянами. А то нас снова постигнет та же участь, что на Петровой площади, когда мы, едва заметная группка, задумали предпринять государственный переворот и насильственно привить свои воззрения на государственное устройство тем, которые о нем и понятия не имели.

Оболенский пожал плечами:

— А я полагаю, что идеи свободно рождаются и развиваются в каждом мыслящем существе. Если они клонятся к пользе общественной, если они не порождение чувства себялюбивого и своекорыстного, идеи эти сообщатся большинству, и оно не замедлит их принять и утвердить.

— На Петровой площади мы их сообщали, а отчего же мы потерпели поражение? — с горечью спросил Волконский.

— Мы имели дело с политической невозможностью, — вмешался в разговор

Трубецкой.

— И, ничтоже сумняшеся, — перебил Пущин, — затеяли внедрить в жизнь благородные идеи мерами, кои сопряжены с пролитием крови. Вот, к примеру, ты, Оболенский, с душою нежной и справедливой, ткнул на Сенатской площади Стюрлера штыком...

— Это не было плодом отчаянного неистовства, — порывисто проговорил Оболенский, и лицо его вспыхнуло. — Рукой моей руководила мысль устранить препятствия в деле благогоначинания.

Вошла Улинька.

Трубецкой и Пущин поклонились ей, а Оболенский протянул руку. Улинька подала свою, маленькую и твердую, и спросила:

— Будете дожидаться Марью Николаевну или напоить вас чаем?

Темно-голубые глаза Оболенского засветились нежностью, лицо оживилось и помолодело.

— Я хочу навестить Лунина, — с улыбкой глядя на Улиньку, ответил Оболенский.

— А мы до чая пройдем к Никите Михайловичу, — беря Трубецкого под руку, сказал Пущин.

И как только они остались вдвоем, он с недовольством проговорил:

— Евгений, несомненно, задумал жениться на Уляша. Надо будет поговорить об этом с Волконской.

— Вот уж ни к чему, — ответил Трубецкой. — Пусть женится. Лишь бы только девушка согласилась выйти за него.

А Оболенский действительно думал о браке с Улинькой. Она нравилась ему еще со встречи по дороге в Петровский острог, когда он был поражен ее большим сходством с его умершей невестой. Нравилось ему в Улиньке все, что он слышал о ней от товарищей и их семейств. Даже любовь её к Василию Львовичу Давыдову не была тайной для Оболенского и, это было для него мучительно. Но именно в этом мучительном чувстве Евгений Петрович находил одно из звеньев нравственных вериг, которые он надел на себя после злосчастной дуэли.

Больше чем с кем бы то ни было, Оболенскому хотелось посоветоваться о своем намерении жениться на Улиньке с Луниным, авторитет которого всеми декабристами ставился очень высоко.

38. «Плугом мозга»

Мимо небольшой часовни на самой окраине Урика, в длинном плаще, с ягдташем и ружьем, шел Лунин. За ним, помахивая хвостом, бежала его любимая собака Лотус. Новое охотничье ружье доставляло Лунину особое удовольствие: оно было передано ему через Васильича каким-то неизвестным почитателем, о котором старик рассказывал:

— Вышел я на рассвете по воду, гляжу — подъезжает верховой, на вид не то из купеческого, не то из чиновного звания. Подает мне это самое ружьецо: «Михайле Сергеевичу передай с нашим нижайшим почтеньцем». Отдал — и мигом вскачь за околицу. А там и след простыл...

Ружье это было не хуже собственного лунинского «лепажа», о пересылке которого сестра Лунина тщетно просила разрешения у Бенкендорфа. Тайный

почитатель, несомненно, был осведомлен об этом из ее писем к брату...

Сухие листья шуршали под ногами Лунина. В воздухе стоял крепкий запах смолы, смешанный с запахом прели.

Дойдя до дому, Лунин отдал двустволку и ягдташ Васильичу и, похлопав Летуса по блестящей каштановой шерсти, вошел в свою комнату.

После нескольких дней, проведенных на охоте, она показалась ему особенно мрачной. На затянутых черным сукном стенах четко выделялись белые кресты. В углу над столом темнело чугунное распятие, освященное в Риме папой. К распятию была подвешена маленькая иконка, которую перед выступлением в поход пламенно целовал и давал целовать солдатам-черниговцам Мишель Бестужев-Рюмин. А когда через несколько месяцев его вели на казнь, он передал ее дневальному на память. И уж от этого солдата она попала к Лунину. Лунин подошел к распятию и зашептал со страстной мольбой:

— Отврати взор мой от совершенства в творениях твоих, чтобы душе моей не было препятствия в стремлении к тебе. Ниспошли мне спокойный переход за пределы суетности земной. Чувствую постепенность их приближения, и чем яснее их грань, тем попутнее становятся ветры. Избави меня от соблазнов земной любви, ибо она снижает полет мысли, заграждает душу, мешая ей свободно вознестись в свойственную ей эфирную высь...

У двери застучали. Отойдя от распятия, Лунин распахнул ее.

Васильич держал в руках небольшой клокочущий самовар. Лунин посторонился.

— Охота не особенно успешная, батюшка Михайло Сергеич? — полувопросительно проговорил старик. — Ягдташик-то почти что пустой.

— С одним Летусом трудно, — ответил Лунин, — надо было Варку взять.

— Варка, Михайло Сергеич, пес замечательный и, между прочим, очень похожа на ту легавую, на которую меня когда-то променяли. И подпалины такие и белое пятно на груди. Того пса я по гроб жизни не забуду. Как сейчас помню — посадили нас с ним рядышком на крыльце, а владельцы наши насупротив нас трубки раскуривают да на нас поглядывают: кто, мол, больше стоит? Гляжу я в собачьи глаза, они у нее совсем такие, как у нашей Варки. Гляжу и плачу. И вот вам крест святой, и у ней слезы из глаз побежали.

— Ты с того обмена и бежал от помещика? — спросил Лунин, размешивая в стакане засахаренный мед.

— Да, батюшка. Дело было такое... Восемнадцатилетним парнем отдан я был в приданое за барышней, когда она сочеталась браком с генералом Татищевым. Этот генерал однажды до того был сражен у карточных столов, что пришлось ему нас, его крепостных, в ломбард заложить. Тогда генеральша продала свои жемчуга, выкупила нас, да и покинула супруга, вернувшись под родительский кров. Батюшка ее запродавал нас мелкопоместному соседу. Тот, бывши однажды на ярмарке, завел кутеж с гусарами и певичками и прокутил меня вместе с лошадьми и прочей утварью своему собутыльнику. Этот владелец обменял меня на легаша другому помещику. От него-то я и бегал разов пять, за что без суда и следствия и был выслан в Сибирь.

— Так, так... — глотая мутный чай, вздохнул Лунин, уже не раз, слышавший от Васильича эту историю. — А ты книги Волконским снес?

— Как же, в тот же день, как приказали. Вышел я на базар, гляжу, их сиятельство Сергей Григорьевич на возу у мужика сидят и краюху кушают. Я им сообщил, что вы на охоту отправились. А они стали тут об охоте говорить, что, мол, какая это охота

ружейная. Вспомнили, какая у вас под Варшавой псарня была, борзых одних штук двадцать... Да вы, батюшка, сливочек подлили бы, — перебил себя Васильич, пододвинув молочник, и, вновь отойдя к порогу, продолжал: — А по моему разумению, ружейная охота куда лучше. Уж хотя бы потому, что пользоваться ею всякий может. Стрелок, скажем, к примеру, надумав поохотиться, выйдет на заре и проходит жительство, не производя никакого шума. Бродит по полям, не причиняя нивам повреждения, ниже делая в полевых работах малейшую помеху. Иное дело псовики. Господи ты, боже мой, что, бывало, у нашего барина делается! С полуночи уж вся округа взбудораживается ржанием коней, лаем псов, ревеньев рогов, хлопаньем арапников. А какая пагуба причиняется той затеей осенним посевам и внешним всходам!

Васильич любил поговорить, но, заметив, что Лунин смотрит мимо него, замолчал: знал, что, когда он так устремляет куда-то широко раскрытые глаза, можно и говорить и делать что угодно. В такие минуты Михаил Сергеевич все равно ничего не видит и не слышит.

— Находит на него вроде наития какого, — сообщал об этом Васильич своей старухе, — сидит ровно в столбняке, а потом, глядишь, слезы из глаз польются, а он их будто и не замечает. Правильный он человек. Кабы был вольный, беспрременно в раскольничий скит ушел бы...

Васильич уже собирался уходить в свою сторожку, как на крыльце послышались шаги.

— Лунин, ты дома? — спросил Оболенский с порога.

Пожалуйста, ваше сиятельство, — приветливо встретил его Васильич. — У нас и самоварчик кстати поспел.

— Я был у Волконских, но их нет дома. Сергея вызвал Рупперт, а Марья Николаевна отправилась на прогулку.

— Одна? — спросил Лунин.

— Нет, с Поджио.

— Так, — уронил Лунин.

Оболенский молча водил взглядом по окружающей его обстановке, где каждый предмет как бы соперничал с другим в тягостном впечатлении уныния и безнадежности.

— Не нравится тебе мой «эрмитаж»? — заметив этот взгляд, невесело пошутил Лунин.

— Скорее хижина пустытника или отшельническая келья, — вздохнул Оболенский.

— Но в этой хижине запоздалый путник может найти пристанище, бедняк — кусок хлеба, а царские слуги — сопротивление.

Снова наступила долгая пауза. Васильич потоптался у стола и вышел.

— Послушай, Лунин, — первым заговорил Оболенский, — хочу спросить тебя: любил ли ты когда-нибудь?

— Женщину? — спросил Лунин.

— Да, — поспешно ответил Оболенский и покраснел.

Заметив это, Лунин снисходительно улыбнулся.

— Для меня это ушло, — помолчал, сказал он. — А было большое чувство.

— Но ведь так нельзя, Михаил Сергеевич. Холодно так жить. И когда-нибудь ты пожалеешь, что не создал семьи...

— Я сожалею лишь о том, — строго остановил его Лунин, — что освобождение моей души от чувственных страстей, этот, как его именует Платон, «катарзис» произошел со мною уже после того, как я шагнул к грани моих зрелых лет...

Оболенский почувствовал, что говорить с Луниным об Улиньке не к чему. Ему вдруг показалось, что он вошел с радостной песней к тяжело больному. И он заговорил совсем о другом:

— А несколько дождей все же исправили засушливость, и виды на урожай улучшились. Травы и ячмень хорошо пошли и дают надежду на безбедное продовольствие на зиму всей нашей волости. А то она от засухи находилась уже на последней степени истощения.

— Очень рад, — рассеянно произнес Лунин, наливая гостю чаю. — Очень рад... — лицо его было бледно и устало.

Оболенскому вдруг стало очень жалко этого большого образованного и умного человека.

— Нехорошо все-таки, Михаил Сергеевич, что ты вовсе не занимаешься сельским хозяйством. Я уже не говорю о материальной его выгоде в нашем положении, но постоянное пребывание на свежем воздухе было бы весьма полезно для твоего здоровья. А то ты совсем восковой стал, хотя попрежнему похож на Ван-Дейка.

— Ты несправедливо упрекаешь меня в нежелании заниматься сельским хозяйством, — возразил Лунин. — Будто ты не знаешь, что за время пребывания в Урике я на выделенном мне участке заброшенной, поросшей терновником и вереском земли вырастил сад и огород, который дает мне годовой запас овощей. Луг и ниву я, правда, отдал крестьянам: им они нужнее. И кроме того, — уже с улыбкой продолжал Лунин, — подобно Платону и Геродоту, я тоже плохо лажу с сохой и бороной. Но я часто хожу на охоту и вдоволь дышу лесным воздухом... Впрочем, плугом своего мозга я пытаюсь поднять и выкорчевать толщу мракобесия и невежества самодержавного режима.

— Ты как будто избегаешь бывать среди нас. У Волконских тебя тоже редко можно встретить...

— А там обо мне скучают? — с иронией спросил Лунин.

— Конечно, скучают. И Марья Николаевна спрашивала и ее сынок.

— Марья Николаевна, вероятно, волнуется, что наши уроки с Мишей идут нерегулярно. Но мальчик уже болтает по-английски... — удивившим Оболенского раздраженным тоном сказал Лунин.

Они помолчали.

— Я много работаю, последнее время над разбором «Донесения Следственной комиссии» по делу Тайного общества, — заговорил Лунин. — Нельзя допустить, чтобы этот насквозь лживый документ остался непровергнутым в истории восстания на Сенатской площади. Посмотри, сколько уже мною написано, — и он протянул Оболенскому тетрадь, исписанную мелким четким почерком.

— Как бы только этот твой ценный труд не остался втуне, — вздохнул Оболенский, полистав тетрадь.

— Нет, Евгений, не останется, — уверенно произнес Лунин. — Правда, мы отрезаны от общества, у нас нет ни трибуны, ни печати, где бы мы могли порицать уродливые формы жизни нашего отечества. И, тем не менее, мои политические идеи проходят свои закономерные стадии.

Оболенский удивленно смотрел на Лунина.

— Сначала они теснятся в моей голове, — продолжал тот, — затем переливаются в разговоры с друзьями и письма к близким, потом становятся достоянием более широкого круга, а когда-нибудь, сделавшись народным достоянием, потребуют удовлетворения и, встретив сопротивление, разрешатся революцией.

Лицо Лунина оживилось, глаза стали похожи на прежние лунинские глаза — сверкающие живою мыслью и острым, искрометным умом.

— Помнишь прокламации, которые разбрасывались в казармах семеновцев и среди людей Черниговского полка покойным Сергеем Муравьевым-Апостолом и его товарищами? Разве эти запретные листки не явились искрами, из которых возгорелось пламя восстания этих исторических полков?

— Но что можешь сделать ты в этом заброшенном за тридевять земель Урике? — с горьким недоумением спросил Оболенский. — Какими путями донесешь ты до народа свои идеи?

— Ты знаешь мою сестру Катерину? — с живостью произнес Лунин, и глаза его потеплели.

— Мы все преклоняемся пред Катериной Сергеевной за чувства, которые она проявляет к тебе неизменно в течение уже более десяти лет, — ответил Оболенский.

— Да, одна такая сестра — замена множества опекунов и друзей, — дрогнувшим голосом проговорил Лунин. — Ее дружба во все периоды моей бурной жизни не переставала сиять мне, как радуга среди облаков... Так вот... ты спрашиваешь о путях распространения моих идей? Они уже найдены, мой друг. Прежде всего — это мои письма к сестре Катерине Сергеевне. Они пишутся собственно не к ней. Читают их не только московские и петербургские знакомые моей сестры, а еще очень многие. Это мне известно достоверно. Письма мои служат выражением убеждений, которые привели меня в темницу, на каторгу и в ссылку. Гласность, которой они пользуются через многочисленные списки, обращает их в политическое орудие, которым я действую во имя свободы.

Лунин был прав. Приказав почтовому ведомству тщательно читать письма ссыльных, корпус жандармов и тайная полиция не учли одного серьезного обстоятельства: среди тех же почтовых чиновников находились такие, которые, прочитав эти письма, задумывались над их содержанием, проникались их идеями и, переписав, часто относили домой, чтобы прочитать еще раз в семейном или дружеском кругу.

Письма Лунина пользовались особенным успехом. К почтовым чиновникам, через руки которых они проходили, стали наведываться то сельские учителя, то уездные фельдшер или врач, то чиновник какого-нибудь ведомства с осторожной, но настойчивой «покорнейшей просьбицей разрешить списать послание уриковского поселенца». А затем письма эти переписывались снова и снова с таким же усердием, как некогда переписывались запрещенные стихи Рыльева, Пушкина... Их читали в самом Урике, в Иркутске, Верхнеудинске, Минусинске, по Уде и Селенге, по Ангаре и Енисею, на границе с Китаем, в Кяхте, по всему обширнейшему Забайкалью, на Урале, по Волге, в Москве и Петербурге.

— Да как же Катерина Сергеевна не боится пускать твои письма в обращение? — спросил Оболенский.

— Она моя сестра, а это означает, что чувству страха неподвержена, — гордостью ответил Лунин. — Кроме писем, я ей посылаю и мои статьи по разнообразным вопросам политической и общественной жизни нашей родины. В скором времени мне

представляется очередная оказия отправить ей мою статью «Розыск исторический». Статья эта определяет мою точку зрения на основные моменты истории нашего отечества. Никита Муравьев сделал к ней интересные примечания. Мне остается только переписать их своей рукой, чтобы в случае чего не подвергнуть кузена Никиту лишним неприятностям... Через эту же совершенно надежную оказию я пошлю сестре и мой «Разбор». Я пишу ей, чтобы она переслала обе статьи в Париж Николаю Тургеневу. Ей это легко будет сделать через Александра Тургенева, который во время своих частых поездок за границу, несомненно, встречается с братом. А тот уж найдет способ напечатать мои статьи, как «свободный голос из-за Байкала».

— А если «Разбор» станет известен Третьему отделению и твою сестру начнут допытывать, как...

— Это уже предусмотрено, — перебил Лунин. — Я дал ей совет: в случае таких расспросов сказать, что получила она эту рукопись давно, от коменданта Выборгской тюрьмы, в которой я сидел после нашего осуждения, до отбытия на каторгу десять лет тому назад. Почтенный комендант сей умер и может быть привлечен к ответственности только на том свете, — шутливо закончил он.

Лунин не знал еще, что в то время как он неутомимо искал всевозможные средства борьбы с самодержавной властью, дальнейшая судьба его уже была предрешена...

— Ну, я пойду к Никите, — сказал Оболенский, допив свой чай, — он просил меня доставить ему записки князя Щербатова по русской истории. А ты к Волконским нынче вечером будешь?

— Обязательно.

Проводив гостя, Лунин принялся за очередное письмо к сестре.

«...Дражайшая! — писал он. — Человек, берущий на себя доставку сих строк, постоянно делал мне доказательства своего ко мне расположения и вполне заслуживает доверия. Ты позаботишься пустить и это мое письмо в обращение, размножив его также в копиях. Цель этого моего письма, как и иных, нарушить всеобщую апатию. Сперва я dokonчу мои мысли, затронутые в предыдущем письме о нескольких миллионах братьев, продаваемых оптом и в розницу, которые до сего дня не находят сочувствия нигде, кроме того, о котором говорили мы в Тайном обществе.

Оно одно поняло их общественное положение и протянуло руку помощи среди всеобщего невнимания и угнетения. Ни помещики, ни правительство, — хотя Тайное общество и указывало им на вопиющую несправедливость рабства и на неминуемую опасность, проистекающую из всякой несправедливости, — ничего не сделали за все годы после разгрома нашего Общества для облегчения судьбы крестьян и предотвращения надвигающейся грозы. Когда она разразится, у них не окажется никаких других средств, кроме военной силы. Но эта сила, действенная всегда против чужеземцев, может оказаться тщетной против русских. Кроме того, еще вопрос, согласятся ли наши солдаты, хотя и приученные к повиновению, обратить штыки против своих братьев. Луч сознания, который толкнет крестьян отстаивать свои права, сможет равно проникнуть и в солдатскую массу и из слепого орудия власти превратит их в благородного союзника угнетенных...

Теперь о журналах, кои ты мне присылаешь. С горечью вижу, что даже поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы. Правительство стремится превратить и литературу, и поэзию в столпы самодержавия. Периодические издания выражают лишь ложь и лесть, столь же вредную и для читателей, сколь и для власти, ее

терпящей. Если бы мы могли из глубины сибирских пустынь возвысить свой голос, мы бы вправе были сказать руководящей партии:

«Вы взялись очистить Россию от заразы либеральных идей и окунули ее в бездну и мрак невежества, в пороки шпионства. Рукой палача вы погасили умы, которые освещали и руководили развитием общественного движения, и что вы поставили на их место?»

Мы вызываем вас на суд современников и потомства. Отвечайте».

39. Душевные терзания

Екатерина Ивановна Загряжская, старая фрейлина высочайшего двора, родная тетка сестер Гончаровых, часто принимала у себя Пушкина в маленькой гостиной, где они подолгу просиживали на ее широком диване «самосон», и беседа их носила особый характер. Почти всегда бывало так, что Пушкин упрашивал Екатерину Ивановну рассказывать о прошлом, которое вставало в ее воображении яркими картинами. Поэт восхищался ее необыкновенной памятью, сохранностью манер и сочностью языка. Он любовался ею, когда, уйдя в воспоминания, она вся преображалась. Морщинистое ее лицо будто освещалось заревом далекого огня. За тусклой пленкой старости в глазах тоже словно отражался тот же огонь. И в голосе, повествующем о куртуазности ее времени, проскальзывали задушевные нотки.

— Уж мы с Катиш Раевской, — она тогда, овдовев, еще не вышла за Давыдова, — первыми проказницами были, — вспоминала Загряжская. — И хотя она много пригожей меня была, зато я поавантажней... Император Павел называл нас шалуньями. И вот однажды...

И лилась речь, которой Пушкин заслушивался в упоении.

Екатерина Ивановна знала все, что касалось ее любимой Ташеньки — жены Пушкина. Знала, что Дантес влюблен в нее без памяти, знала, что из-за этого возникли у Ташеньки большие неприятности с мужем. Знала об анонимном оскорбительном «дипломе», полученном Пушкиным и некоторыми из его друзей. Знала о вызове, сделанном Дантесу, и об отказе Пушкина от дуэли, после того как Дантес неожиданно для всех сделал предложение средней из сестер Гончаровых — Катерине. Понимала, что в этом внезапном сватовстве есть что-то неладное, какая-то хитро и зло сплетенная интрига, но думала, что авось все уладится и что «не то могло бы еще быть». Она имела в виду возможность скандального столкновения между Пушкиным и царем Николаем, который заметно отличал Ташеньку среди других светских красавиц. И когда состоялась свадьба Катерины, Загряжская, будучи через несколько дней в гостях у Пушкина, взяла его шутливо за ухо:

— Ну, что? Успокоился, бес?

Пушкин погрозил пальцем.

— Ох, тетушка, не кривите душой! Уж если я, несмотря на всю мою доверчивость, понимаю, что женитьба барона есть лишь поступок, вызванный неукротимым желанием во что бы то ни стало быть, с Наташей хотя бы в родственной, если не любовной связи, то можете ли вы не понимать его поведения?!

Старуха сердито пожевала губами и, достав табакерку, поднесла к носу щепотку нюхательного табаку.

— Все обойдется, дружок, — успокаивала она Пушкина. — И не таковские случаи храню я в памяти... «Любовь ведет порою нас тропинкой узкой, волк подчас по

той тропе идти боится», — прошептала она старческими губами.

Не прошло и двух недель после женитьбы Дантеса, как он, не стесняясь присутствием Пушкина и своей жены, опять отдавал на балах все свое внимание Наталье Николаевне.

Толки, приглушенные было свадьбой, вспыхнули с новой силой, как будто брак Дантеса был только снопом соломы, брошенным в тлеющий костер.

Дантес, связавший себя с некрасивой и перезревшей Катериной Гончаровой, к тому же еще и бесприданницей, окружил свою славу красавца-весельчака и любимца женщин еще и ореолом романтического героя.

— Сколь же глубоки, должны быть его чувства к Натали! — ахали дамы и девицы. — Неужели он не увезет ее от мужа? Неужели император не поможет этой созданной друг для друга паре устроить свое счастье?

Кавалергарды — однополчане Дантеса — жалели своего товарища, «доброго малого Жоржа», принужденного из-за «несносного характера» Пушкина расстаться с вольной холостяцкой жизнью.

Все эти толки доходили до Пушкина, падая на его горевшую огнем обиды и гнева душу, как струи грязной воды на нагретый металл.

Поэт метался по залитым светом и наполненным музыкой и нарядной толпой гостинным и бальным залам. Его едкие остроты и эпиграммы вызывали злобное шипенье у, задетых ими, великосветских дам и вельмож. И, мучительно чувствуя окружающую его враждебность, Пушкин внезапно уезжал в самый разгар бала и увозил с собою огорченную жену. Она еще в карете разражалась упреками в том, что он забывает о ее молодости и жажде развлечений. Упреки эти неизменно кончались слезами, и раздосадованный, огорченный Пушкин снова и снова делал всевозможные попытки вырваться из Петербурга.

Он не находил покоя ни в семье, ни в творчестве, ни среди друзей.

— Кабы вы могли уговорить Наташу уехать со мною в деревню хотя бы на год, — говорил Пушкин Загряжской в одно из посещений. И губы его вздрагивали. — При таком состоянии я вовсе не могу писать. Моя муза ревнива, и, коли видит, что я занят больше всего поисками денег, дрязгами и спорами, она холодно от меня отворачивается. И вот уж критика заговорила о закате моего таланта, а читатели не покупают моего «Современника». Я бы уехал охотно за Урал, в Сибирь к моим друзьям, да царь не пускает меня из Петербурга, жандармы следят за каждым моим шагом...

— Что ты, что ты! — испуганно замахала на него руками Екатерина Ивановна. — Разве можно такое говорить?! Дай срок, поговорю уже я с Ташенькой...

— Наташа не понимает, какую роль предназначили ей в поднятой против меня травле! — гневно продолжал Пушкин. — Свету нечем занять праздный ум. Он скучает и, подобно толпе зевак, глазующих на пожар в чужом доме, рад позабавиться моей семейной драмой. Да и не драма она для него, а балаганная комедия, в которой мне навязана роль шута. А шутлом я не могу и не хочу быть ниже у самого господ бога...

Пушкин шагал по маленькой гостиной, натываясь на пуфы, эссы и жардиньерки.

— Да успокойся ты, — поймала его старуха за полу сюртука. — О деньгах-то ты не очень беспокойся, не забывай, что у вас с Ташенькой есть тетка Екатерина Загряжская...

— Но из тетки двух теток не сделаешь, — хмуро ответил Пушкин. — Однако мне пора, — он поцеловал пухлую желтую руку старухи.

— Поди, поди домой. А я погода к Жуковскому съезжу...

Мелкий снег падал Пушкину в лицо. Длинная бекеша была не застегнута, и ледяной ветер проникал за воротник рубашки, небрежно повязанной широкой черной косынкой.

На Невском было людно. Наступил час, когда чиновники выходили из учреждений, франтихи бегали по магазинам, уже освещенным многочисленными свечами, извозчики нахлестывали лошадей и с криками «пошел, пошел» старались обогнать один другого.

— Поберегись! Поберегись! — сановито басили важные кучера карет с лакеями на запятках.

У дома лютеранской церкви Пушкин остановился и после минутного раздумья поднялся по ступеням в книжную лавку Смирдина.

Хозяин тотчас подошел к нему и с хитрецей сообщил:

— А ваш экспромтец, Александр Сергеевич, уже пошел гулять по столице. Сегодня несколько покупателей — и, между прочим, господин Плетнев и господин Соболевский, — как вошли, так и начали: «К Смирдину как ни войдешь...» Уж очень всем нравится, как вы Булгарина пригвоздили. И то сказать — беда с ним! Как придет в лавку, так, будто ищейка, все вынюхивает, нет ли чего цензурою недозволенного.

— А вдруг экспромтец не мой? — хмурясь, проговорил Пушкин. И, помолчав, спросил: — Как продается мой «Современник»?

— Ни шатко, ни валко что-то... Намедни зашел один покупатель, видать, из господ критиков. Полистал «Современник» и бросил на прилавок. «Мы, говорит, ожидали, что журнал сей не с одной литературной вороны оциплет павлиньи перья, что он сорвет маску не с одного франта, пускающего в глаза читающей публике пыль поддельного патриотизма и мнимой учености... что...»

— А вы не спросили этого критика, известно ли ему, что такое нынешняя цензура? — перебил Пушкин. — Знает ли он, что за божьи твари господа Дуббельт и Бенкендорф?

Смирдин пугливо оглянулся на заскрипевшую дверь. Из клубов морозного воздуха к прилавку двинулись два молодых человека, обмотанные пледами, с палками в руках.

— Цветков, покажи господам студентам новинки, — приказал Смирдин приказчику.

Пушкин, чуть прикоснувшись пальцами к шляпе, направился к выходу. Студенты с почтительным восхищением посторонились.

После теплой книжной лавки ветер показался еще более резким, Пушкин застегнул бекешу и той же легкой, стремительной поступью двинулся вдоль Невского, рассеянно отвечая на поклоны. Свернув на Мойку, он тотчас же увидел в щегольских санях, летящих ему навстречу, кавалергардского офицера. Облаченной в белую перчатку рукой офицер придерживал на коленях медвежью полсть. Серебряный орел на его каске и серебряная чешуйчатость ее ремешка поблескивали отражением уже зажженных вдоль набережной фонарей. Защищая от ветра лицо, офицер смотрел в противоположную от Пушкина сторону. Но поэт узнал красивый профиль и холеные, подвитые усы над бровным воротником шинели.

«Неужели он посмел приехать к нам, несмотря на мое категорическое требование не бывать у нас?» — мелькнула у Пушкина возмущенная мысль, и знакомая в

последнее время терпкая горечь перехватила дыхание.

Сбросив на руки Никиты бекешу, Пушкин вошел в столовую. Жена и обе ее сестры, о чем-то оживленно разговаривавшие, сразу умолкли.

— Дантес был? — с порога спросил Пушкин.

— Нет, только Катеньку завез, — смущенно ответила Наталья Николаевна, а Александрина торопливо прибавила:

— Привез еще книги и билеты в театр.

— Книги, конечно, скабрзные, а билеты на такую пиесу, которую могут смотреть одни лишь...

— Вот и не угадали, — перебила Катерина Николаевна, — билеты на «Отелло» с Каратыгиным. А в роли Дездемоны...

— Добро, — коротко бросил Пушкин.

— А ты разве не собираешься смотреть твоего любимого Каратыгина? — поднимая на мужа чуть-чуть косящие и оттого кажущиеся лукавыми глаза, спросила Наталья Николаевна.

— Увижу, — неопределенно ответил он.

Пушкин не поехал бы на бенефис Каратыгина, если бы сам артист не уговорил его непременно быть на этом спектакле, для чего лично завез ему пригласительный билет.

Если поэту случалось в последнее время быть где-нибудь одновременно с женой и Дантесом, ему казалось, что воздух, которым они вместе дышат, насыщен отравой...

Он задыхался, терял самообладание. И чем больше старался скрыть свои чувства, тем безнадежнее оказывались эти усилия...

Наталья Николаевна в новом, необычайно идущем ей платье уехала с сестрами в театр, не ожидая мужа.

Когда после беготни и возни, связанной с их сборами и отъездом, в квартире наступила тишина, Пушкин открыл ящик письменного стола и стал перебирать лежащие в беспорядке бумаги.

— Господин к вам молодой пожаловал, — доложил Никита, — очень добивается, чтобы приняли его. Вовсе не знакомый какой-то...

— Пусть войдет, — досадливо поморщился Пушкин.

Вошел молодой человек в синем фраке, в узких клетчатых брюках, с взбитой по моде надо лбом прядкой белокурых волос.

Набрав открытым ртом воздуху, он в изысканных выражениях начал просить прощения за то, что своим визитом «нарушил драгоценные минуты досуга гениального творца», но Пушкин прервал его напыщенную речь коротким вопросом:

— Что вам угодно, милостивый государь?

Посетитель опасливо огляделся по сторонам и вытащил из кармана плотно свернутый лист бумаги:

— От моего дальнего родственника — Вилли Кюхельбекера, — протягивая письмо, прошептал он. — Оно было вложено в конверт, адресованный мне, но я догадался...

Мгновенное подозрение пронеслось в мыслях Пушкина:

«А вдруг это лазутчик, подсланный царем или Бенкендорфом? Ну, да бес с ними! Ведь, так или иначе, но письмо от моего Кюхли».

— Разрешите откланяться? — спросил молодой человек, как только Пушкин взял письмо.

— Благодарю вас, — наклонил голову поэт.

Оставшись один, он с нетерпением принялся разбирать нелепый, витиеватый почерк Кюхельбекера. Сумбурное, нежное, бестолковое, с уверениями в неизменной пламенной дружбе письмо, заканчивалось стихами, посвященными недавно исполнившемуся двадцатипятилетию со дня основания Царскосельского лицея.

«Ты, разумеется, как и в прежние юбилейные вечеринки, явился главной объединяющей силой, духовным магнитом сих собраний, и вот тебе мое запоздалое к сей славной дате приношение, — писал Кюхельбекер из далекого Баргузина. — В знаменательный сей вечер „чьи резче всех рисуются черты пред взорами моими? Как перуны сибирских гроз, его золотые струны рокочат... Песнопевец, это ты!“

Какою юношеской дружбой, восторженной и деятельной, повеяло на Пушкина от этого письма, от этих поэтических строф!

«А ведь там, в холодной Сибири, — думал поэт, — и моему Кюхле, и другу Пушину, и всем, чья участь была решена четырнадцатого декабря двадцать пятого года, несомненно легче, нежели мне в нынешнем Петербурге, замордованном царем и жандармами. Опала легче травли. Страдания каторги, казематов и ссылки очистили их, сроднили. И с ними их жены, самоотверженно ушедшие за своими мужьями во мрак изгнания».

Пушкин вспомнил Трубецкую, Анненкову, Муравьеву... И среди них ярче других — Волконскую, которую он в мыслях своих называл «Машенькой». Она виделась ему такою, какой была в последнее их свидание у Зинаиды Волконской в Москве: в темном дорожном платье, с бескровными губами. Она тогда еще не оправилась от болезни после тяжелых родов.

Никогда больше не испытывал Пушкин ни перед кем такого преклонения, как перед этой хрупкой печальной женщиной. Пушкин знал, что Маша Раевская вышла за Волконского не по любви. Помнил, что этого хотел ее отец, воле которого в семье Раевских повиновались как непреложному закону.

«Так что же это было за высокое чувство, — мыслил Пушкин, — которое заставило ее, молодую, прекрасную, на этот раз поступить вопреки воле отца, вопреки желанию всех родных, порвать с ними, покинуть своего первенца и умчаться навстречу суровой и беспощадной судьбине?.. А почему же моя Наташа не находит в себе сил хотя бы только на один год уехать из Петербурга — и не в далекую Сибирь, а в нашу деревню, и не одной, а с четырьмя детьми и со мною?»

— Что же это? Что же это? — повторял он вслух, и вдруг нестерпимо захотелось сейчас же, не медля, увидеть жену, заглянуть ей в глаза, чтобы в них прочесть ответ на вопрос, мучительный, как открытая рана.

Он стал быстро одеваться.

«Еще застаю ее в театре и там же, вот так прямо, скажу ей все, что сейчас думал. Я уговорю ее, умолю уехать немедленно».

Но когда, проходя под шиканье недовольной публики зрительного зала к креслам первых рядов, увидел в полутемной ложе поразительно красивую голову Натальи Николаевны и рядом кавалергардский мундир Дантеса, — решил, что говорить, о чем намеревался, больше ни к чему.

Дождавшись антракта, он быстро прошел за кулисы.

Возле дверей каратыгинской уборной стояло несколько почитателей артиста. Они посторонились, давая Пушкину дорогу.

Каратыгин увидел поэта в небольшом зеркале, перед которым поправлял грим.

— А, очень рад! — искренне вырвалось у него.

Пушкин сзади обнял его за плечи и на миг прижался своей пылающей щекой к холодным фальшивым кудрям Отелло.

— Очень, очень хорошо, душа моя! Я видел лишь один акт, но так восхищен, так взволнован! Да, Отелло от природы доверчив. Яд ревности насильственно влит в его душу. А как ты думаешь, Василий Андреевич, может ли женщина, подобная Дездемоне, быть верной мавру, даже такому чудесному, каким ты его изображаешь нынче?

Каратыгин поправил накрахмаленные кружевные рюши, обрамляющие ворот его отелловского малинового плаща, потрогал большую белую серьгу, красиво подчеркивающую искусственную смуглость его лица, и обернулся к Пушкину.

— Как тебе сказать, друг мой? Сердце женское капризно. Помнишь «Сон в летнюю ночь» Шекспира? У него прекрасная Титания восхищается ослиными ушами своего возлюбленного... А у тебя Земфира смеется с молодым цыганом над сединой истрадавшегося Алеко... Но ты лучше скажи мне по правде, — перебил себя Каратыгин, — каков я нынче?

— Ей-богу, душа моя, очень хорош! Свиреп ты в ревности, и бедной Дездемоне несдобровать.

От похвалы Пушкина глаза Каратыгина блеснули удовольствием.

— Я стараюсь изображать ревность по таким стихам, — сказал он и, встав в позу, продекламировал:

Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых. Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

— Да! — вдруг вспомнил Каратыгин. — Вот там номер шестнадцатый «Северной пчелы», о третьем издании твоего «Онегина» отзыв.

Пушкин небрежными пальцами взял газету и прочел отмеченные Каратыгиным строки:

«Что такое „Евгений Онегин“? — спрашивает угрюмый критик и отвечает сам себе: — Роман не роман, поэма не поэма...»

Пропустив несколько абзацев, поэт прочел еще один:

«Умно, остро, иногда своевольно, иногда с уклоном от правил, но правила люди выдумали, а талант от бога...» — и отложил газету.

Каратыгин, проводя сурьмой у глаз, с улыбкой проговорил:

— А знаешь, критик твой справедливо вспомнил анекдот о короле Фридрихе.

— Что за анекдот?

— А, видишь ли, король этот был большим гурманом. Откушав однажды с аппетитом какого-то дотоле ему не известного блюда, призвал к себе своего повара и говорит: «Не знаю, что я ел, но кушанье это отменно прекрасно, и я знать не хочу, как оно называется и из чего готовится. Сделай одолжение, поступай так и впредь: не выдумывай названий, не прилаживайся к старым, а стряпай, как ныне, с умом и со вкусом».

Каратыгин заметил, что Пушкин в рассеянности тербит газету, и переменял

разговор:

— А на днях и меня похвалили.

— Где? — встрепенулся Пушкин.

Порывшись в столе, Каратыгин среди банок с гримом и кусков ваты нашел газетную рецензию на постановку пьесы «Великий князь Александр Михайлович Тверской».

— Послушаешь? — спросил он Пушкина.

— С превеликой охотой, душа моя.

Каратыгин начал выразительно:

— «Теперь, когда опера и балет перешли со вчерашнего дня в новое великолепное жилище, Мариинский театр, законными и единственными хозяевами в Александрийском сделались Талия и Мельпомена, зеркало и кинжал, водевиль и драма, смех и слезы, Асенкова и Каратыгина, Сосницкий и Каратыгин. Несмотря на главные недостатки пьесы — отсутствие действия и слабость завязки, несмотря на устаревшую классическую, или, скорее, схоластическую форму, небольшая сия пьеса выслушивается с рукоплесканиями. Таково магическое действие национального сюжета и пламенной искусной игры господина Каратыгина».

— Очень за тебя рад, — сказал Пушкин, — душевно рад.

За дверью загремел колокольчик, возвещавший конец антракта.

— Ну, прощай, друг, — протянул Пушкин руку. — Не сердись, что не остаюсь на последнюю картину. Сил нет, как голова разболелась.

Каратыгин понимающе посмотрел в расстроенное лицо Пушкина и молча ответил на рукопожатие.

40. Ехидна

Наталья Николаевна болела и целых две недели не показывалась в обществе. Ее приехала навестить Идалия Полетика.

Поглядывая на полуоткрытую дверь, Идалия шептала скороговоркой:

— Если это продлится еще, Жорж сойдет с ума. Он мне сказал, что твердо решил уехать на родину, потому что больше не может выносить такой пытки. Но он умоляет о свидании. Не забудь, что он пожертвовал для тебя своей свободой, карьерой, счастьем всей жизни... Вот его записка. — Идалия быстро достала из сумочки сиреневый конверт и сунула его в руки Натальи Николаевны. — Ты должна быть в субботу у меня, тайна свидания гарантирована. Ротмистр Ланской будет дежурить неподалеку от моей квартиры и...

Послышались шаги, и Идалия сделала вид, что продолжает прерванный разговор:

— Это такая интересная книжечка, и так кстати, что она появилась именно теперь, в самый разгар маскарадов и балов, — громко говорила она, роясь в своей сумочке из зеленой замши.

Вошла Александрина и, холодно поздоровавшись с Идалией, села за пяльцы.

— Вот послушайте, какие замечательные маскарадные мадригалы. — Идалия развернула тоненькую книжонку и прочла:

Вы милы так, вы так прекрасны
Под маской страшной и смешной!
Вы больше разума опасны

С гремушкой глупости пустой.

— Не правда ли, премиленькие стишки? Во всяком случае они приятнее многих их тех, авторы которых претендуют на бессмертие...

Александрина знала, что Идалия терпеть не может Пушкина, который, причисляя ее к «прихвостням Нессельродихи», платил ей тем же. Она поняла намек и парировала его:

— Дело не в том, какие стихи лучше, а в том, что маскарадные вам понятнее и более по душе, чем те, которые создают бессмертие их авторам.

— О, душенька, да вы никак рассердились?! — с деланным огорчением воскликнула Идалия. — Вы покраснели даже, и это вам к лицу. И почему только вы не идете замуж? Да, mesdames, вчера на балу советник английского посольства рассказывал, что великобританские девицы требуют клеймить неженатых тридцатилетних мужчин буквами «О. В.» *note 68* и собираются подать в парламент просьбу об издании сурового билля против холостяков. Как вам это нравится, мадемуазель Александрин?

— Очень нравится, — холодно ответила Александра Николаевна, — кабы в России был парламент, я бы внесла в дополнение к тому биллю еще закон о лицах, которые не только не споспешествуют заключению браков, но всячески стремятся к разрушению уже существующих».

Идалия, поняв, что ее винят в сводничестве, вспыхнула до корней волос.

Наталья Николаевна вдруг неловко поднялась и опрокинула серебряную вазочку с леденцами.

— Ах ты, какая досада! — нахмурилась она и несколько раз хлопнула в ладоши: — Девушки! Подите сюда!

Вбежала Лиза и стала проворно собирать леденцы.

— Однако я у вас засиделась, — сказала Идалия и стала завязывать ленты капора. — У меня дел по горло.

— Побудь еще немного, я велю кофе подать, — просила Наталья Николаевна. — Какие у тебя дела?

— Во-первых, два визита: к Нессельроде и Ланским, потом куафер, потом портниха, потом башмачник, потом еще один «потом», о котором при девицах говорить не полагается.

Поцеловав Наталью Николаевну в губы, а Александрину мимо горячей румянцем щеки, Идалия выпорхнула.

— Когда только ты прекратишь эту компрометирующую тебя дружбу! — с упреком сказала Александрина.

— Я не разделяю твоего и Сашина против нее предубеждения, — упрямо ответила Наталья Николаевна,

В дверь заглянула Лиза:

— Пожалуйте, Александра Николаевна, кормилка к маленькой кличет. Да еще портной и приказчик из Милютиных лавок заявили, деньги спрашивают.

Александра Николаевна поморщилась:

— А ты бы сказала, что барина дома нет.

Note68

Old bachelor — старый холостяк (англ.).

— Разве они послушаются! — переступив через порог, возразила Лиза. — Я им и так и эдак говорила, а они нипочем не уходят. Мусью все какой-то счет тычет и по-своему лопочет: «Сюрту нуар — аржан, панталон брюн — аржан, жилет де суа — аржан». И приказчик одно и то же твердит: «Подайте должок, а то хозяин меня забранит, коли с пустыми руками вернусь».

— Ах, беда, беда! — тяжело вздохнула Александра Николаевна, выходя вслед за Лизой.

Наталья Николаевна мгновенно достала спрятанную на груди записку и с жадностью впиалась в написанные по-французски бисерные строчки. Самодовольная улыбка и нежный румянец преобразили ее за минуту перед тем нахмуренное лицо.

«Я умираю от любви к вам, Натали, — с восторгом читала она. — Во имя всего святого молю вас — дайте мне возможность видеть вас наедине. Одно свидание, и я готов взойти на эшафот разлуки. Вы ангел, Натали, и не допустите, чтобы я сошел с ума от тоски. Скажите же „да“. Скажите это короткое слово, и я буду счастливейшим из смертных».

Еще и еще раз перечитывала она это надушенное письмо. Потом поднесла его к свече и с сожалением смотрела на испепеляющее его пламя, пока оно не обожгло кончиков ее пальцев.

В воскресенье вечером, собираясь выезжать, Наталья Николаевна затягивала желтый с лиловыми цветочками корсет. Лиза помогала ей. У окна, спиной к туалетному столу, сидел Смирдин, пересчитывая ассигнации.

— Сочли, наконец? — спросила Наталья Николаевна. — Да не оборачивайтесь ко мне!

— Боже упаси, разве я позволю эдакую дерзость! Счел-с. Триста рубликов, как и было договорено.

— Очень мало, — недовольно сказала Наталья Николаевна. — Это только Александр Сергеевич мог так продешевить,

— Помилуйте, Наталья Николаевна, ведь иные сочинители за такую небольшую вещь куда меньше получают.

— То иные, а то Пушкин, — отрезала Наталья Николаевна. — А за золотые стихи и платить надо золотом.

Так и велась, деловая беседа, прерываемая указаниями Лизе, где что приколоть или застегнуть, пока ее не нарушила Александра Николаевна. Она была очень расстроена.

— Вернулся Александр, — заговорила она по-французски. — Никита при мне подал ему какое-то письмо. Он прочел, изменился в лице и немедленно требует тебя к себе. И как это ты разрешаешь присутствовать при своем туалете постороннему мужчине? — укоризненно прибавила она.

— Смирдин слишком далек от нашего круга, чтобы к нему применять правила хорошего тона, — пожала плечами Наталья Николаевна. — Но, боже мой, что там еще у мужа...

Она взяла от Смирдина деньги, пересчитала их и бросила в ящичек туалетного стола.

— В другой раз, — выходя, сказала она Смирдину, — о цене взятых у мужа рукописей будете сговариваться со мной. Поэтшу не так-то легко провести, как поэта, — погрозила она ему пальцем.

— Помилуйте-с, — осклабился Смирдин, низко кланяясь.

— Наташа, я получил подметное письмо, из которого узнал, что ты была на randevу с Дантесом в квартире Полетики. Это правда? — Пушкин строгим и пытливым взглядом смотрел жене в глаза.

Наталья Николаевна призналась, что, желая раз и навсегда положить конец домогательствам Дантеса, она решилась на это свидание ради сохранения своего и сестрина семейного счастья. Она никак не думала, что Идалии не будет дома. Но Дантес грозил застрелиться у нее на глазах, если она уедет, не выслушав его. Он стал на колени. Он молил ее... О чем? Она не помнит, потому что была сама не своя от страха и волнения. Она вырвалась и... уехала домой.

Пушкин слушал ее с тем же строгим и пытливым выражением в глазах. Когда она в конце своей сбивчивой, отрывистой речи разрыдалась, он подал ей стакан с водой:

— Прежде, нежели решиться на это randevу, ты должна была показать мне записку Дантеса.

— Но ты стал так раздражителен, — сквозь всхлипывания проговорила Наталья Николаевна. — Самое невинное кокетство ты осуждаешь, как...

— Кокетство перестает быть невинным, коль скоро причиняет кому-нибудь страдания, — перебил Пушкин, сдерживая гнев. — Ты не понимаешь, что негодяй, будучи пешкой, в руках других, играет твоим именем и честью. Он обращается с тобою как с женщиной, с которой все дозволено...

— Неправда, — глаза Натальи Николаевны сверкнули, — он доказал свое чувство...

— Чем доказал? — иронически спросил Пушкин. — Уж не тем ли, что сделал твою сестру *legitime note 69*, а тебя оставил на случай...

— Замолчи! Перестань! — истерически вскрикнула Наталья Николаевна. — Господи, что мне делать!

— Что мне делать, теперь-то я уже знаю, — тихо произнес Пушкин и, заложив руки за спину, долго шагал из угла в угол, изредка бросая взгляд на плачущую жену. — Поезжай к Вяземским, — наконец, сказал он. — Извинись за меня, что опоздаю.

— Куда я поеду эдакая заплаканная?

— Тогда скажись больной и оставайся дома. А мне надобно незамедлительно ехать по важному делу.

Когда он ушел, Наталья Николаевна долго оставалась в задумчивости. Она вспоминала, как шесть лет тому назад Пушкин, в неловко сидящем на нем фраке, взятом у Нащокина, явился в дом Гончаровых на Никитской делать ей предложение.

Ей, молоденькой простой девушке, мечтавшей выйти замуж за знатного генерала или светского кавалера, непременно красивого и богатого, маменька вдруг сообщила: «Господин Пушкин снова просит твоей руки. На сей раз мы согласны. Можешь идти за него».

Вспомнилось Наталье Николаевне ее объяснение с женихом: «То, что вы согласились отдать мне свою руку — свидетельствует лишь о вашем сердечном спокойствии, — сказал Пушкин очень серьезно. — Сохранится ли это спокойствие и

Note69

Законной (франц.).

тогда, когда вы будете окружены вполне заслуженным восхищением и поклонением? Не явится ли у вас сожаление? Не окажусь ли я в ваших глазах обманщиком, захватившим вас силою?»

— А у нее тогда было одно горячее желание — как можно скорее уйти из родительского дома, где было скучно слушать постоянные выговоры взбалмошной матери и где зачастую нельзя было выезжать на бал за неимением приличных туфель и платья. И она ответила жениху, что хотя в чувствах своих по неопытности разобраться не может, но просит его верить искренней радости, с какою она принимает его предложение. Она не лгала тогда, не притворялась. И вот Пушкин ввел ее в обетованный «высший свет», где она была сразу же окружена, предугаданным им, восхищением и поклонением и где ее положение было признано очень романтическим: если бы она была такою женщиной, как Зинаида Волконская в Москве или Александра Смирнова-Россет в Петербурге, — обе не только красавицы, но и покровительницы искусства и литературы, — брак Натальи Гончаровой с Пушкиным объяснялся бы в этом «высшем свете» искренним увлечением молодой девушки знаменитым поэтом. Был же роман у Зинаиды Волконской с поэтом Веневитиновым, а про Смирнову-Россет говорили, что она собиралась, было замуж за баснописца Крылова. Но ведь про Наталью Гончарову знали, что она только очень хорошенькая провинциальная девочка, для которой в Пушкине, этом *l'homme de lettres* *note 70*, не было ничего, за что она могла бы в него влюбиться. Поэтому каждый из ее светских поклонников надеялся легко найти дорогу к ее сердцу. Оттого они и увивались за нею без числа, что каждый румяный бряцатель шпорами сознавал себя вправе соперничать с Пушкиным.

И среди них Жорж Дантес, самый красивый, самый избалованный успехом у женщин, самый настойчивый...

Наталья Николаевна верила в его любовь к ней. Она не сомневалась, что эта всепоглощающая страсть заставила Дантеса жениться на ее сестре Катерине.

«Только бы не лишаться возможности видеть вас, Натальи, — мрачно объяснял он ей этот свой поступок. — Если бы надо было для этого жениться даже на вашей старой тетке Загряжской, я сделал бы это, не задумываясь... Если мне не дано, открыто наслаждаться счастьем любить вас — пусть оно будет тайным, но только пусть будет! Для этого — все, что угодно!»

Наталья Николаевна вспоминала, как она убеждала Дантеса в невозможности такого счастья и потому, что Катерина ее родная сестра, и потому, что Пушкин слишком проницателен и опытен в любви.

«Не будьте ребенком, Натальи, — возражал ей Дантес, — будто Катрин, выходя за меня, не знала моих чувств к вам? Будто не с радостью принимает она удел, который выпал ей на долю? Если бы ваш Пушкин не был так эгоистичен, если бы он не преследовал нас столь беспощадно... — И с цинизмом прибавлял: — Ведь вы не лишаете его супружеских прав, а у нас с вами хватило бы такта не раздражать его самолюбия».

Слушая Дантеса, Наталья Николаевна зачастую тоже проникалась его раздражением против Пушкина.

«Не сам ли Александр говорил мне: „Ты молода, так будь же молода и царствуй,

потому что ты прекрасна“, — мысленно упрекала она мужа. — Хорошо „царствовать“, когда он не позволяет мне наслаждаться успехом в свете, не разрешает кокетничать даже с самим государем, просить у него за сестер. „Ты слишком хороша, чтобы быть просительницей“, — говорит он мне. Выходит, что красота моя мне ни к чему... Муж требует, чтобы я вовсе не встречалась с Дантесом... А как же нам не встречаться, когда мы даже породнились теперь. Не рвать же мне, в самом деле, с родной сестрой, — оправдывалась перед собою Наталья Николаевна и краснела, понимая, что Катерина здесь ни при чем. Если и прежде она недолго любила младшую сестру, завидуя ее красоте, то теперь эта нелюбовь обострилась. Только из страха спугнуть свое нежданное супружеское счастье Катерина тщательно скрывала свою ревность и с деланной наивностью рассказывала сестрам, каким хорошим мужем оказался Жорж, как он нежен и ненасытен в ласках, как уже мечтает иметь ребенка и, если это будет девочка, собирается непременно назвать ее „Наташа“. А так как такого имени у католиков нет, то он поедет за разрешением окрестить дочь именно „Натальей“ к самому римскому папе».

При таких излияниях у Натальи Николаевны бледнели щеки. Ей хотелось рассмеяться сестре в лицо, рассказать ей, что Дантес, не щадя жены, выдает ее интимные недостатки, что он счастлив тем, что запах кожи Катерины напоминает ему запах кожи Натальи и это создает ему счастливые иллюзии. Дантес действительно говорил ей о том, что мечтает назвать свою дочь Натальей, чтобы иметь возможность вслух произносить с нежностью это дорогое для него имя.

Но Наталья Николаевна всегда слушала сестру с умело скрываемым волнением. Это искусство носить маску спокойствия, когда внутри все ноет от обиды и раздражения, было привито сестрам Гончаровым с малых лет, — с той поры, когда отец порол девочек за то, что они слишком жадно поедали свои порции бланманже или мороженого, за то, что не сделали реверанса перед почтенною особою или недостаточно учтиво ответили на вопрос богатой родственницы... А маменька хлестала дочек по щекам, когда они, уже девицами, завистливо восхищались нарядами и драгоценностями своих подруг.

«*Qa ra'est fort egal!*» *note 71* — должно быть на лице и на языке у светской женщины. Эта премудрость крепко вбилась в голову сестрам Гончаровым.

«*Qa ra'est fort egal!*» — бывало написано на лице Натальи Николаевны, когда она выслушивала признания Катерины в супружеском счастье и из вежливости уговаривала ее не торопиться уезжать.

— Нет, душенька, не могу, — неизменно отвечала та, — Жорж и так, поди, заждался меня. Он, как малое дитя, когда меня нет дома, выбегает в прихожую на каждый звонок.

Но обычно Дантеса дома не бывало. Тогда Катерина, как будто не веря, что выпавшее счастье не снится ей, часто перечитывала бумагу, которая служила реальным доказательством, что замужество ее не сон, а явь. Это был приказ по кавалергардскому полку о разрешении «поручику барону Жоржу Дантесу-Геккерену вступить в законный брак с фрейлиной двора девицей Екатериной Гончаровой» и о том, чтобы «оного поручика по случаю его женитьбы, не наряжать ни в какую должность в течение двух недель».

Note71

Это мне совершенно безразлично (франц.).

41. «Невольник чести»

Морозные узоры на окнах пушкинского кабинета, все эти серебристо-белые диковинные ели, папоротники, кактусы и лианы начали розоветь от лучей поднявшегося солнца. Порозовел и стоящий на книжной полке мраморный бюст Вольтера.

В кабинете стало светло, но Пушкин, не замечая этого, продолжал писать при свете свечей, обгоревших уже почти до самого медного шандала. Он закончил страницу, просмотрел ее и снова разорвал на мелкие кусочки. Потом запахнул халат и подошел к окну. Над Мойкой клубился морозный туман. Серобокая ворона, усевшись на церковном кресте, оглядывалась по сторонам.

Постояв несколько минут в глубоком раздумье, Пушкин вернулся к письменному столу и, взяв лист чистой бумаги, бросил его на сукно. От этого движения, разорванные в клочки черновые письма к Геккерену, которые он писал ночью, разлетелись по всей комнате. Пушкин обмакнул перо и стал писать, не отрываясь. Лоб его нахмурился и покраснел, на висках забились тугие синие жилки, губы приоткрылись над крепко стиснутыми зубами.

«Я довольствовался ролью наблюдателя, готовый взяться за дело, когда почту за нужное, — писал Пушкин. — Случай, который во всякую другую минуту был бы мне очень неприятен, представился весьма счастливым, чтобы мне разделаться. Я получил безыменные письма и увидел, что настала минута, и я ею воспользовался. Я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью и плоскостью его, не могла воздержаться от смеха, и ощущение, которое она могла бы иметь к такой сильной страсти, погасло в самом холодном презрении и заслуженном отвращении. Ваше поведение, господин барон, было далеко от правил приличия. Вы родительски сводничали вашему сыну, поведение коего, впрочем, достаточно неловкое, было руководимо вами. Вы диктовали ему все заслуживающие презрительной жалости глупости, которые он позволил себе писать. Как старая развратница, вы подкарауливали жену мою во всех укромных местах, чтобы говорить ей о любви вашего так называемого сына, и когда, больной дурной болезнью, он не мог выйти из дому, вы говорили ей: „Возвратите мне сына...“ Согласитесь, господин барон, что после всего этого я не могу сносить, чтоб мое семейство имело малейшие сношения с вашим. Я не могу позволить, чтобы сын ваш после своего отвратительного поведения осмеливался обращаться к моей жене, и еще менее того — говорить ей казарменные каламбуры и играть роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй. Я вынужден просить вас окончить все эти проделки, если вы хотите избежать новой огласки, перед которой я не отступлю».

Пушкин откинулся к спинке кресла, на несколько мгновений закрыл воспаленные от бессонной ночи глаза, потом снова склонился над письмом. Хотел продолжать, но передумал и, отступя, закончил:

«Имею честь быть, господин барон, ваш покорный и послушный слуга.

А. Пушкин».

Запечатав письмо и надписав адрес, Пушкин стиснул пальцы рук и сильно потянулся.

Задетая его локтем книга с шумом упала с полки. И сейчас же из детской послышался плач ребенка.

— Няня, — раздался сонный голос Натальи Николаевны, — унеси Наташеньку в столовую или к сестрице Азиньке, а то спать не дает.

Нянька зашлепала босыми ногами, баюкая плачущую девочку, а навстречу ей уже раздавались торопливые шаги, и голос Александры Николаевны ласково зазвучал:

— Ну, полно, полно, крохотулечка моя! Поди, поди, к тете, пичужечка!

«Нежности в ней сколько!» — прислушиваясь к этим словам, подумал Пушкин, и что-то хорошее всколыхнулось у него в груди. Он осторожно приоткрыл дверь в гостиную.

Александра Николаевна в коротеньком капоте и мягких ночных туфлях, сидя в кресле, покачивала ребенка.

— Поди, милая, пошли ко мне Никиту, чтобы давал одеваться, — негромко попросил ее Пушкин.

Через полчаса, освеженный холодным умыванием и крепким, «по-молдавански» сваренным кофе, он вышел из дому, чтобы самому отправить заготовленное Геккерену письмо.

Под вечер доложили о приезде виконта д'Аршиака.

Живое воплощение кодекса дуэльных законов, прямой и чопорный виконт протянул Пушкину узкий конверт, заключающий в себе ответ Геккерена.

Пушкин вскрыл его. Бегло просмотрел первую страницу и, дойдя до строк: «Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Жоржем Геккереном», бросил взгляд еще на фразу в конце письма, написанную рукой Дантеса: «Читано и одобрено мной», и облегченно вздохнул.

— Итак, сначала с сыном, — как бы про себя прошептал он и задумался, глядя вверх виконта.

Тот сдержанно кашлянул.

— Сегодня я пришлю к вам моего секунданта, — сказал Пушкин.

Д'Аршиак поклонился.

— Я буду его ждать у себя на дому до одиннадцати часов вечера. А после — на балу у графини Разумовской.

Вопрос о том, кого пригласить в секунданты, остро встал перед Пушкиным. Он не хотел звать на эту роль никого из друзей — не только потому, что они снова постараются расстроить поединок, но и потому, что за участие в дуэли полагалось строгое наказание.

В этом отношении лучше всего было прибегнуть к содействию иностранного подданного, стоящего вне угрозы русских законов о дуэли. После длительных размышлений Пушкин остановился на секретаре английского посольства Медженисе, с которым был хорошо знаком. Зная, что у графини Разумовской бывает весь дипломатический корпус, он решил у нее на балу переговорить с Медженисом.

Артур Медженис выслушал поэта с серьезным вниманием. Поблагодарил за оказанную честь, но определенного согласия не дал. Он не хотел принимать участия в этой дуэли, потому что слышал о ее причине и был убежден, что примирить Пушкина с Дантесом невозможно.

Пушкин несколько раз ловил на себе вопрошающий взгляд д'Аршиака и начинал терять хладнокровие. Его страшила мысль, что промедление с присылкой секунданта будет понято противной стороной за намерение оттянуть поединок.

Тогда он уговорил Меджениса переговорить с д'Аршиаком хотя бы

предварительно. Медженис согласился. Но после первых же его слов, сказанных секунданту Дантеса об известном ему деле с Пушкиным, тот строго остановил его вопросом:

— Имею ли я честь говорить с секундантом господина Пушкина? — и, не услышав подтверждения, решительно отказался от всяких переговоров по этому делу.

Медженис багрово покраснел и бросился отыскивать Пушкина. Но Пушкин, издали наблюдавший за их разговором, понял, что миссия Меджениса не удалась, и поспешил на поиски секунданта. Он решил обратиться к своему лицейскому товарищу подполковнику Санкт-Петербургской инженерной команды Данзасу.

После долгих звонков и стуков в дверь его квартиры сонный голос слуги-денщика сообщил:

— Их благородие уехали к тетеньке Марье Васильевне по случаю ее дня ангела и будут поздно.

— А ты ему скажи, что был Пушкин и наказал, чтобы он приехал к нему завтра утром по делу весьма важному. Понял?

Солдат приоткрыл дверь. Поднял огарок сальной свечи, взгляделся в лицо Пушкина, и вся его сонливость исчезла.

— Так точно, скажу, что дело сурьезное и чтобы ехали они к вам незамедлительно.

— Смотри же!

— Уж будьте благонадежны.

«Теперь заеду за женой к Вяземским. Она, наверное, там, и Дантес, как обычно, увивается за нею», — подумал Пушкин.

И не ошибся. В лице встретившей его хозяйки он заметил легкое смятение, но улыбнулся так, как улыбаются после перенесенных страданий, и спросил просто:

— Он, конечно, возле?

— Да, барон Дантес здесь, — ответила Вера Федоровна и, спохватившись, что своим ответом подчеркнула то, чего не надо было подчеркивать, покраснела, как девочка. Заглянув в кабинет князя и перебросившись с игроками несколькими фразами, Пушкин направился в гостиную. Наталья Николаевна, сидя за маленьким столиком, оживленно разговаривала с Дантесом. Пушкин подошел к ним и молча подал жене руку. Побледнев, она встала и покорно двинулась за ним. На этот раз ее стройная фигура не казалась такой высокой рядом с Пушкиным.

Кончилась еще одна бессонная ночь. Синий рассвет заглянул в не завешенное с вечера окно. Пушкин встал из-за стола и подошел к дивану, чтобы прилечь, но, окинув усталыми глазами разбросанные по столу бумаги, часть из них бросил в ящики, другие, изорвав, стряхнул на пол. Потом, осторожно ступая, прошел мимо детской к умывальнику. Подставив голову под студеную воду, он растирал лицо и грудь, с наслаждением испытывая освежающий озноб.

Вернувшись в кабинет, он нашел только что поданную Никитой записку от Меджениса, в которой тот отказывался быть секундантом «в деле, где, не может быть примирения противников».

После разговора с ним на балу у Разумовского этот отказ не был для Пушкина неожиданностью, и тем с большим нетерпением он стал ждать Данзаса.

Рассчитав, что тот не может быть раньше десяти часов, Пушкин решил употребить оставшееся время на прогулку, которая всегда его успокаивала.

— Только уж извольте кушать, Александр Сергеевич, — сказал Никита, ставя на стол завтрак. — А то я ваш обычай знаю: забудетесь в писаниях, а кофей-то и простынет...

— А ты крепкого сварил?

— Почитай, двадцать годов варю его вам, — обиженно ответил Никита. — Знаю, чай, как потрафить. Вот и калачей у булочника горячих взял. Извольте поглядеть, какие румяные. Кушайте, Александр Сергеевич, а то, известное дело, в холодном виде никакого вкусу в кофе быть не может.

Пушкин взял дымящуюся чашку и надломил калач.

Убирая кабинет, Никита пригоршнями собирал клочки разорванных бумаг и писем.

— Накося сколько, — ворчал он. — Писали, писали, а теперь ими без дров камин истопить можно. Неужто вам трудов своих не жалко? Спohватитесь опoсля, ан будет поздно.

— Жги, братец, без сожаления, — откликнулся задумчиво Пушкин и стал одеваться. Рубаха была еще теплая от утюга, и ее прикосновение приятно согревало.

— Батюшки! — ахнул Никита. — Постель-то вовсе не смята. Видать, и не ложились. И то ночью, как ни взгляну, все под дверью полоска светится. Ну, куда же это годится...

— А ты, почему по ночам не спишь?

— Мое дело иное, Александр Сергеевич. Старость подошла, вот сон и нейдет. Ужо в могиле отсыпаться буду.

Приглаживая щеткой влажные завитки волос, Пушкин, улыбаясь только глазами, спросил:

— А помирать небось неохота?

— Для чего неохота, батюшка? — искренне удивился старик. — Уморился я, чай, пожил свое. Пора и на отдых.

— Это в могиле-то отдых?

— А то как же... Хоть за такими барами, как господа Пушкины, жить можно, а все же в ней-то, в мать сырой земле, поспокойнее будет. Почивай себе сном вечным и праведным. Летом над тобою птицы песни запоют, зимой снежком, будто периной мягонькой, прикроет...

— Так ведь ты ничего этого ни слышать, ни чувствовать не будешь, — серьезно возразил Пушкин.

— А кто ж его знает, — прищурил Никита один глаз.

Пушкин потрепал его по плечу:

— Эх ты, метафизик! Ну, давай шубу, я немного прогуляюсь. А в случае без меня подполковник Данзас приедет, проводи в кабинет и проси обождать. Да подай ему кофе. Впрочем, я вернусь, наверно, раньше.

Не будучи уверен, следует ли ему обидеться на незнакомое прозвище «метафизик», Никита на всякий случай ответил с холодным достоинством:

— Помилуйте, Александр Сергеевич, что же я первый год при господах состою, чтобы не знать, как ихнего друга принять полагается...

Пушкин широко шагал по еще не расчищенным от снега и малолюдным улицам, глубоко вдыхая холодный и чистый воздух.

— Хорошо! Ах, как отлично! — несколько раз произнес он вслух, приближаясь к Летнему саду.

«А как должно быть чудесно сейчас в Михайловском, — думал он, — как ослепительно сверкают теперь за Соротью снежные поля! Какие мохнатые деревья в парке, а нянин домик и вовсе замело. И дорогу в Тригорское тоже... Даже этот столичный сад похож на сказочный лес с нехоженными тропами...»

Дойдя до конца аллеи с мраморными, в снежных шлемах и мантиях статуями, Пушкин остановился, пристально оглядел белую равнину Марсова поля, громады Зимнего и Мраморного дворцов и повернул к выходу.

Проходя мимо дома, в котором жил Брюллов, он вспомнил, что художник имеет обыкновение вставать рано, и решил зайти к нему.

Брюллов уже стоял у мольберта в длинной бархатной блузе, с палитрой и кистью в руках.

— Кто там? — спросил он, не отрывая глаз от своей работы.

— Раб божий Александр, вошедший в храм искусства, дабы поклониться его жрецу, — начал Пушкин смиренным голосом, но Брюллов перебил его:

— Очень рад. Скорей сюда! Ты ведь знаешь мою модель. Посмотри-ка на нее. — Он схватил Пушкина за руку и притянул к портрету молодой женщины с арапчонком.

— Хорошо! — после минутного созерцания похвалил Пушкин. — Графиня как живая! Ты, Карл Павлович, передаешь аффектацию чувств как истинный романтик. Своею манерой письма ты совершенно сражаешь мертвенность классицизма. И это особенно в твоих портретах. Какая кисть! Я их ставлю превыше всего, тобою написанного. Разумеется, я ценю и «Гибель Помпеи».

— Я помню твои строки: «Везувий зев открыл...» — начал, было, Брюллов, но Пушкин перебил:

— Что я... Гоголь назвал твою картину светлым воскресением живописи, пребывающей долгое время в каком-то полужетаргическом состоянии... В Италии, слышно было, тебя за нее на одну доску с Рафаэлем ставили...

— По причине чрезмерной экспансивности итальянцев, — с виду равнодушно отмахнулся Брюллов, но его тонкое лицо просияло.

— А мне запомнился о «Гибели Помпеи» еще экспромт, прочтенный Баратынским на обеде, который тебе давала Москва, — продолжал Пушкин, — помнишь:

Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень.
И был «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день.

— Но и в этом твоём полотне я люблю отдельные фигуры, а не всю композицию.

— Нечто подобное говорил мне в Москве и Нащокин, — задумчиво произнес Брюллов.

— Он тебя гением считает, Карл Павлович. А как славно бывало у него, — грустно улыбнулся Пушкин. — А цыганку Таню помнишь? А шута Якима? Как он певал: «Двое саней со подрезами, третьи писанные подъезжали ко цареву кабаку»?

Пушкин пропел залихватский мотив, но голос его звучал печально. Отойдя от мольберта, он взял с тарелки сухарик и с хрустом стал жевать его.

Брюллов взял в руки палитру.

— А когда же ты напишешь мою мадонну? — спросил Пушкин.

— Так ведь брат сделал уже портрет Натальи Николаевны.

— То брат, а то ты, — ответил Пушкин. — И потом... тогда она была почти девочкой. А теперь она совсем другая, — с невольным сожалением произнес он последние слова.

Брюллов старательно водил кистью по портрету графини.

— Да, я видел твою жену осенью на выставке в Академии художеств, — заговорил он, не отрываясь от работы. — В белом атласе с черным бархатом Наталья Николаевна была восхитительна. И, не в обиду тебе будь сказано, восторги, расточаемые вам на этой выставке, должны быть поделены между твоею славой и красотой твоей жены.

— Я тогда же целиком отказался от них в ее пользу, — быстро проговорил Пушкин, — А сейчас я принужден отказаться от твоих сухариков и чая, потому что пора домой... Давно пора...

— Постой, постой, — Брюллов отложил палитру и кисть и схватил Пушкина за фалду сюртука, — погоди, я хочу тебе показать еще кое-что. Мокрицкий! Мокрицкий! — громко позвал он.

В мастерскую вошел один из его учеников и робко поклонился Пушкину.

— Никак у меня на этом женском портрете улыбка не получается, — протягивая Брюллову свою работу, с огорчением сказал Мокрицкий.

— Да, уж... — бросив взгляд на небольшое полотно, коротко заметил Пушкин.

Брюллов, прищуривая то один, то другой глаз, вглядывался в портрет. Потом взял кисть...

— Господи! — ахнул Мокрицкий. — Ведь вы только чуть-чуть тронули ее губы...

— И вот они уже улыбаются бесподобной улыбкой, — dokonчил Пушкин.

— Только чуть-чуть, — восхищенно повторил Мокрицкий.

— Искусство, брат, там и начинается, где начинается это самое «чуть-чуть», — убежденно произнес Брюллов. — Будь любезен, голубчик Мокрицкий, принеси мне альбом с теми рисунками. Ну, ты знаешь...

Не сводя глаз с Пушкина, Мокрицкий попятился к двери. Когда он вернулся, Пушкин, уже в шинели, сидел на диване и нетерпеливо постукивал пальцами по столу.

Брюллов отыскал среди рисунков набросок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне» и показал его Пушкину. Рассмотрев рисунок, Пушкин залился смехом:

— Уморительные персонажи! В особенности этот страж законности и порядка. Подари мне его, душа моя. Подари, Карл Павлович!

— Никак не могу, Александр Сергеевич, я этот рисунок обещал одной даме.

«Да что же это за человек! — возмутился про себя Мокрицкий, — Пушкин просит, а он отказывается!»

А Пушкин настаивал:

— Подари, Карл Павлович! Я на колени перед тобой стану.

У Мокрицкого сжалось сердце:

«Неужели все же не подарит? Ведь никто мне не поверит, когда расскажу. А Тарас и вовсе разъярится».

Брюллов даже изменился в лице, но все же еще раз отказал:

— Хочешь, я тебе Волконскую с младенцем изобразю? Или подарю акварель — Сергей Волконский, прикованный к каторжной тачке, видит сон: жену и сына...

Пушкин мгновенно стал серьезен. Выпрямился, встряхнул головой.

— Хочешь, я твой портрет напишу? — продолжал Брюллов. — Хоть завтра приезжай на первый сеанс.

— Хорошо, душа моя, — уже спокойно ответил Пушкин, — если только будет можно, завтра же приеду позировать. А теперь прощай!

— Да побудь хоть еще немного! — попросил Брюллов. — Экой ты непоседа, право. Вечно куда-то спешишь. И как только я тебя писать стану? Ведь ты и самого короткого сеанса не высидишь...

— Зато, если помру, мертвого срисуешь, — серьезно проговорил Пушкин, крепко пожимая художнику руку.

В ответ на прощальный кивок поэта Мокрицкий в пояс поклонился ему. Когда он вышел, Мокрицкий с укором поглядел на своего учителя, но ничего не сказал. Брюллов явно был очень расстроен — не то он был недоволен собой, не то еще чем-то, чему не находил причины.

Когда Мокрицкий рассказал в Академии художеств о визите Пушкина к Брюллову, молодые художники все, как один, были возмущены «скупердьяем Карлом».

А Тарас Шевченко, потрепав себя за губ, что он имел обыкновение проделывать, когда бывал чем-нибудь возмущен, воскликнул:

— Да я бы Пушкину всего себя... Да что себя... Я бы ему Сикстинскую мадонну, як бы вона була моею, подарував бы... Я б ему душу віддав...

И в знак протеста не присутствовал в этот день на занятиях у Брюллова.

42. Последние строки

Дома Пушкина ждали две записки. Одна от детской писательницы Ишимовой. Она просила зайти к ней для переговоров по поводу полученного ею приглашения участвовать в «Современнике»; другая от д'Аршиака, который настойчиво требовал присылки секунданта.

Пушкин, не медля, написал д'Аршиаку, что, не желая, чтобы праздные петербургские языки вмешивались в его семейные дела, он привезет своего секунданта к месту дуэли. Или же пусть Дантес сам выберет такового, а он, Пушкин, заранее принимает всякого, «если это будет даже его егеря».

Данзас все еще не приезжал.

«А вдруг денщик забыл передать мою просьбу? — тревожился Пушкин. — А может быть, и не забыл, а ждет, покуда Данзас проснется. А тот может спать до полудня...»

Беспокойство Пушкина нарастало с каждой минутой. Однако в столовую, где уже сидели за завтраком старшие дети и Александрина, он вышел, глубоко спрятав тревогу.

Поцеловав у свояченицы руку, он потрепал Машу по румяной щеке:

— Как почивала, Пускина?

— Кулицы клевали меня, — ответила девочка, подымая на отца длинные, как у матери, ресницы.

— А ты в другой раз хворостинку в постель с собой клади, — серьезно проговорил Пушкин, — не ровен час, снова курицы нападут — тебе будет, чем их отгонять...

Девочка перестала пить молоко и недоуменно глядела на отца.

— И я тоже хворостинку положу, — проговорил четырехлетний Саша, особенно

старательно выговаривая букву «ж».

— Экой сметливый, — погладил его по голове Пушкин. — Но в кого-то он рыжий? — обратился он к пригорюнившейся Александре Николаевне.

Та подняла невеселые глаза:

— Наташа дитёй рыжеватой была.

В передней залился колокольчик. Пушкин вздрогнул, выронил ложку и бросился туда:

— Константин Карлыч, голубчик!

Данзас вошел в серой шинели с заиндепевшим бобровым воротником и пылающими морозным румянцем щеками.

— Лютый холодище, — густым басом проговорил он.

Пушкин крепко обнял его:

— Как я тебе рад, Константин Карлыч! Уж так рад, что и выразить не умею.

— погоди, не тискай, — басил Данзас, — ведь и так запыхался, опрометью к тебе несся. Ни одного извозчика на пути: мороза испугались, анафемы, что ли!

Не дав снять шинели, Пушкин увлек Данзаса в кабинет.

— А я опасался, что твой денщик забудет передать тебе мою просьбу, — не выпуская его замерзших рук из своих горячих ладоней, взволнованно говорил Пушкин.

Данзас участливо всматривался в усталое лицо поэта, в его беспокойные серо-голубые глаза, но отвечал в своем обычно шутливом тоне:

— Это Митька-то мой забудет! Вот уж никогда — исполнитель, шельмец, донельзя. Я вернулся домой, когда люди добрые уж в департаменты собирались идти, — ведь вчера Марии именинницы, а их у меня две: почтенная тетенька Марь Васильевна да фигуранточка из кордебалета — Мусенька Ненашева. Вот я едва только к утру и управился. А Митька чуть я на порог — стал к тебе гнать. «Дело, говорит, у господина Пушкина до вас неотложное...»

— Молодец, — улыбнулся Пушкин, — я ему так и наказывал.

— И часу поспать не дал, шельмец, — продолжал Данзас. — Разбудил и выпроводил. А у меня от этих именин такое в голове творится...

— Кофе не желаешь ли? — предложил Пушкин.

— Я, Александр Сергеич, две кружки огуречного рассолу у торговки выпил, а ты с кофеем! — отмахнулся Данзас. — Ну, говори, что за дело у тебя?

Сбросив шинель, Данзас развалился на диване и исподлобья наблюдал за Пушкиным. Тот машинально переставлял на столе разные предметы. Потом остановился против Данзаса и в упор спросил:

— Ты, конечно, слышал, Константин Карлыч, что в моей семье неладно?

— Ничего не слышал, Александр Сергеич, решительно ничего, — с деланным удивлением ответил Данзас.

— Будто бы? — недоверчиво покачал головой Пушкин.

— Ей же богу, Александр Сергеич.

— Тогда мне самому придется рассказать тебе, как...

— А то не рассказывай, — поспешно перебил Данзас. — Объясни напрямик, что тебе от меня надобно, — и баста.

— Нет, нет, — решительно произнес Пушкин, — ты должен знать...

И, то шагая по кабинету, то присаживаясь в ногах у Данзаса, он тихим, вибрирующим от волнения голосом стал рассказывать, как три месяца тому назад,

узнав о распространившихся в свете слухах, касавшихся до его, Пушкина, чести, почел необходимым вызвать на дуэль приемного сына нидерландского посланника Дантеса де Геккерена.

— Об ухаживании сего кавалера за моей женою ты не мог не слышать? — неожиданно остановившись перед Данзасом, спросил Пушкин.

— Истинный бог, ни единого слова.

— Допустим, — и поэт снова заметался из угла в угол, продолжая рассказ о гнусной травле, поднятой против него великосветскими врагами.

Данзас спустил ноги с дивана и слушал, подперши голову обеими руками. В его воображении со всей отталкивающей реальностью вставали и старый интриган Геккерен, и подлая мстительная «Нессельродиха», и наглый красавец Дантес, и Идалия Полетика, взявшая на себя роль сводни. И над всеми ними — особенно опасный в искусном лицемерии и неумной жестокости царь Николай.

Чем дальше рассказывал Пушкин, тем больше Данзасу начинало казаться, что и сам он задыхается в той атмосфере злобы и клеветы, о которой с таким гневом говорил поэт:

— Невдолге по отсылке вызова я узнал, что Дантес сделал предложение сестре моей жены, Екатерине Гончаровой...

— Слышно было, что и свадьба состоялась? — вырвалось у Данзаса.

Пушкин чуть-чуть усмехнулся этому невольному опровержению, что Данзас «решительно ничего» не слышал о его семейной драме, и торопливо изложил все дальнейшие события, вплоть до визита д'Аршиака, привезшего вызов Дантеса.

— Понимаю, — глухо произнес Данзас, и остатки напускной веселости окончательно сошли с его лица.

— Ты понимаешь, конечно, — с живостью откликнулся Пушкин, — что тотчас же по получении вызова встал вопрос о моем секунданте.

И Данзас услышал рассказ о том, как Пушкин старался выбрать своего секунданта среди иностранцев, которые стояли вне угрозы русских законов, карающих всех участников поединка; как на эту роль пошел, было, секретарь английского посольства, но затем отказался по той причине, что не считал для себя возможным участвовать «в деле, где нет никакой надежды на примирение противников».

— А это верно, касательно безнадежности примирения? — спросил Данзас в этом месте рассказа.

— Абсолютно, — решительно проговорил Пушкин, и брови его сурово сдвинулись. — Ведь мириться мне пришлось бы не только с Дантесом, но и с теми, кто ставит передо мною эту мишень...

В кабинете стало тихо. Из столовой донесся детский смех и шум отодвигаемых стульев.

Пушкин прислушался. Потом снова зашагал по кабинету, рассказывая дальнейшие перипетии с предстоящей дуэлью.

Когда он упомянул о том, что предложил д'Аршиаку самому выбрать для него, Пушкина, секунданта, Данзас улыбнулся:

— Ну, брат, как это могло только прийти тебе на мысль! Ведь д'Аршиак похож на твоего Зарецкого:

В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,

И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
А в строгих правилах искусства...

— Нет, душа моя, — улыбнулся Пушкин, — виконт д'Аршиак, пожалуй, будет даже построжее Зарецкого. Поэтому-то я и ожидал тебя с таким нетерпением.

Поэт снова остановился против Данзаса и вопросительно-пристально смотрел на него.

Данзас встал и низко поклонился:

— Спасибо за честь, Александр Сергеич...

Пушкин стиснул его руку и поспешил сообщить, как на случай открытия участия Данзаса в поединке надо будет оправдать его в глазах начальства: он, Пушкин, будто бы встретил его на Цепном мосту, усадил в сани и, ничего не объясняя, повез на Миллионную, во французское посольство. И уже здесь представил его д'Аршиаку как своего секунданта. А раз это было сделано при таких обстоятельствах, Данзас, как друг поэта и подполковник русской армии, никак не мог отказаться.

— Отлично придумано, — одобрил Данзас, — только дело ведь не во мне, а в тебе... в Пушкине... — он хотел еще что-то прибавить, но как-то странно кашлянул и отвернулся к окну.

Солнце уже теряло малиновый цвет и, поднявшись, горело золотыми бликами и на льду Мойки, и в куполах маленькой церкви, и в повисших по краям ее крыши длинных, как зубчатая бахрама, сосульках.

Пушкин подошел к Данзасу и положил руку ему на плечо:

— Ты сказал, мой друг, что дело во мне, в Пушкине, — заговорил он с проникновенной искренностью, — а мне-то, милый, больше невмоготу барахтаться в тенетах... Я положил непреложно вырваться из них любой ценой...

— Даже ценою жизни? — все еще глядя в окно, глухо спросил Данзас.

— Да, — твердо произнес Пушкин. — Верь мне, Константин Карлыч, что давно мне не дышалось так легко, как сейчас, когда я принял это непоколебимое решение. Я будто из смрада распахнул окно навстречу вот этому морозному утру.

Данзас шумно вздохнул. Тряхнул кудрями и стал натягивать шинель.

— Коли так... едем к д'Аршиаку, — проговорил он дрогнувшим голосом.

Приоткрыв дверь в прихожую, Пушкин велел Никите подать медвежью шубу.

— Батюшки! — вдруг спохватился он. — Едва не забыл... Присядь на минутку, Константин Карлыч. Мне надо написать несколько слов одной даме...

— И тут женщина, — укоризненно покачал головой Данзас.

— Что ты, голубчик! — улыбнулся Пушкин, торопливо отыскивая почтовую бумагу и конверт. — Письмо деловое: писательнице Ишимовой. Она написала рассказы из русской истории, и я хочу привлечь ее к участию в моем «Современнике». Я заходил к ней по этому делу, да не застал. Она мне прислала приглашение, так вот надо на него ответить.

И Пушкин быстро написал учтивую записку: «Крайне сожалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к вам Barry Cornawall. Вы найдете в конце этой книги пиесы, отмеченные карандашом, переведите их, как умеете, — уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно раскрыл вашу „Историю в рассказах для детей“ и поневоле зачитался ею. Вот как надобно писать».

Подписавшись, Пушкин положил записку в конверт, завернул том Корнуолла и обратился к Никите, который уже держал наготове шубу.

— Непременно надо доставить этот пакет госпоже Ишимовой нынче же.

— Самолично снесу, Александр Сергеич, — ответил старик.

— Я готов, Константин Карлыч. Прощай, метафизик, — и, потрепав еще раз Никиту по плечу, Пушкин скрылся вслед за тяжело ступавшим Данзасом.

К французскому посольству они подъезжали молчаливые и серьезные.

Через несколько минут, стоя там перед д'Аршиаком, Пушкин говорил официальным тоном:

— Получив ряд неизвестного автора писем, в коих виновником, ежели не прямым, то косвенным, я почитаю нидерландского посланника, и, узнав о распространившихся в свете слухах, касающихся до чести моей жены, я в ноябре месяце вызвал поручика Дантеса-Геккерена, чье имя связывалось с именем моей жены. Но, когда господин Дантес сделал предложение моей свояченице, я отступил от поединка, потребовав, однако ж, от него, чтобы никаких сношений между нашими семействами не было. Невзирая на это, отец и сын Геккерены даже после свадьбы не переставали при встречах в свете с моей женой дерзким обхождением с нею давать повод к усилению мнения, поносительного как для моей чести, так и для чести моей жены. Дабы положить сему конец, я написал нидерландскому посланнику несколько дней тому назад письмо, бывшее предлогом вызова господина Дантеса. Копию этого письма я вручаю господину Данзасу и прошу разрешения рекомендовать его вам, виконт, как моего секунданта.

Д'Аршиак и Данзас церемонно раскланялись.

— Где мы встретимся? — спросил Пушкин Данзаса.

— В кондитерской Вольфа, в два с половиной часа.

43. На Черной речке

В кондитерской Вольфа, где, несмотря на середину дня, горели китайские фонарики, в клубах табачного дыма Данзас не сразу нашел Пушкина.

Поэт сидел в отдаленном углу у круглого стола, склонив голову на руку. Перед ним стояла бутылка недопитого лимонада и пустой стакан.

— Давно ль ждешь? — подойдя сзади, спросил Данзас.

Пушкин вздрогнул.

— Как это я не заметил, когда ты вошел! — проговорил он, с беспокойством глядя на Данзаса. — Надеюсь, все улажено?

— Да, все, — тяжело опускаясь на стул, ответил Данзас и велел подошедшему официанту подать чаю.

— Вот погляди текст условий, которые мы выработали с д'Аршиаком. — Данзас вынул из-за борта мундира лист бумаги и положил его перед Пушкиным на мраморный столик.

— Заранее одобряю, — кладя на бумагу руку, проговорил Пушкин. Но Данзас настаивал, чтобы он непременно прочел ее.

Пушкин неохотно развернул твердую, как пергамент, бумагу, точно такую, на какой раньше получал приглашения из французского посольства на балы и вечера, и быстро просмотрел условия. Их было шесть:

«1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.

3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым огнем своего противника подвергся на том же расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременно посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Нижеподписавшиеся секунданты, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

— Отличные условия, — похвалил Пушкин, — особенно четвертый пункт.

— Д'Аршиак много упорствовал на недопустимости каких-либо объяснений между тобой и Дантесом, — сказал Данзас, — но, имея в виду не упускать все же надежды к примирению, я настоял, чтобы при малейшей к тому возможности...

— Не бывать такой возможности, — перебил Пушкин, и все лицо его вспыхнуло гневом. — В каком часу поединок?

— В пятом, — коротко ответил Данзас и, достав брегет, долго глядел на его затейливый циферблат.

Пушкин через плечо Данзаса тоже посмотрел на часовые стрелки и поспешно встал.

— Так нам пора ехать, Константин Карлыч, — проговорил он и постучал по краю стакана надетым на большой палец перстнем-амулетом.

Расплатившись, они вышли из кондитерской.

Поджидавший Данзаса извозчик откинул запорошенную снегом меховую полсть. Пушкин вскочил в сани вслед за Данзасом. Ноги обоих уперлись в ящик с пистолетами.

— Куда прикажете? — берясь за вожжи, спросил извозчик.

— Поезжай через Троицкий мост, — ответил Данзас.

— Уж не в Петропавловскую ли крепость ты меня везешь? — пошутил Пушкин.

— С превеликою охотой изменил бы маршрут даже в этом направлении, — с печальной серьезностью ответил Данзас.

— Экой жестокосердный, — искоса взглянув на него, улыбнулся Пушкин. И оба замолчали.

Как ни нахлобучивал Пушкин свою шляпу, его то и дело узнавали и окликали знакомые. При выезде на Дворцовую набережную повстречавшийся конногвардейский офицер Головин, отдав поэту честь, весело крикнул вдогонку:

— Опоздали, Александр Сергеич!

— Куда опоздал? — вырвалось у Пушкина.

И он приказал извозчику остановиться.

— Да ведь вы, наверно, на катанье с гор спешите, — улыбаясь, ответил Головин, — а там уже почти все разъехались.

— Экая жалость! — с облегчением произнес Пушкин, дотрагиваясь пальцами до

края шляпы. — Ну, пошел, голубчик, пошел живее, — заторопил он извозчика.

Тот хлестнул лошадь, но не проехали они и десятка сажен, как из встречного нарядного экипажа зазвенел молодой женский голос:

— Мсье Пушкин, вы за Натали, наверно? А она уже уехала с катанья вместе с мадемуазель Гончаровой.

Пушкин с досадой поднял глаза на молоденькую графиню Воронцову-Дашкову, потом перевел взгляд на сидящую у нее на коленях японскую собачку с мордочкой полусовы, полумартышки и холодно ответил:

— Благодарю вас, графиня. — И, обернувшись к Данзасу, проговорил: — Скорей бы избавиться от этих ненужных встреч. |

Данзас сохранял хмурое молчание, хотя и знал, что оно тяготит Пушкина. Но он не умел найти слов, которые не казались бы ему ничтожными в эти грозные минуты.

А Пушкин явно старался развлечь его.

— Знаешь, Константин Карлыч, — говорил он, — этот повстречавшийся нам Головин удивительно схож с поручиком Зубовым, с которым я дрался на дуэли в бытность мою в Кишиневе. Кабы не Инзов, плохо бы кончилась для меня эта история. Кто-то донес о ней в Петербург, и Инзов пенял мне, что со мной одним ему куда больше забот, чем со всеми южно-поселенцами.

Когда сани поднялись на крутой хребет Троицкого моста, Данзас взглядом указал Пушкину на мчавшегося впереди них по Каменноостровскому проспекту лихача.

Над полированным задком саней виднелись фигуры седоков. Одна стройная, в военной шинели и кавалергардской треуголке с пышным, развевающимся по ветру султаном, другая в штатском, воплощение чопорности и элегантности.

— Отлично, — проговорил Пушкин, мгновенно узнав и Дантеса и д'Аршиака, — приедем одновременно...

Откинув за плечи медвежью шубу, Пушкин присел на холм, покрытый снегом, и рассеянно смотрел, как д'Аршиак, не поднимая ног, продвигался по голубоватому в сумерках снегу, расчищая дорожку. Данзас отсчитывал за ним шаги. Дантес, отвернувшись, следил взглядом за парой ворон, качающихся на мерзлых ветвях кустарника.

— Двадцать! — громко сказал Данзас и, сделав назад пять шагов, сбросил шинель на проведенную сапогом в этом месте черту.

Д'Аршиак отсчитал от нее еще десять шагов и тоже положил поперек свою шинель. Эти шинели обозначали барьер. Щелкнул ключ у ящика с пистолетами, и через минуту сталь их потускнела в руках противников. Пушкин и Дантес стали на свои места. Данзас, отходя спиной в сторону, взмахом перчатки сигнализировал начало поединка.

Пушкин, выставив грудь, сделал к барьеру несколько твердых шагов. Дантес сделал одним шагом меньше и нажал курок. Огненный толчок в бок, а за ним колкий удар в поясницу свалили Пушкина. Он упал, уткнувшись в снег лицом. Но через мгновение приподнялся, оперся на левую руку и открыл уже плохо повинующиеся веки. Перед глазами на снежной дорожке стоял Дантес, а над ним и вокруг него плыли клочки каких-то оранжевых с зеленым радуг. Данзас и д'Аршиак кинулись к Пушкину, но он, не отводя глаз от Дантеса, проговорил отдельно и требовательно:

— Attendez. Je me sens assez de force pour dormir mon coup note 72, — и шарил

Note72

Подождите. У меня хватит силы нанести свой удар (франц.).

обсыпанной снегом рукой, отыскивая пистолет.

Данзас поднял его и, заглянув в забитое снегом дуло, взял из ящика другой. Когда он подал этот пистолет Пушкину, д'Аршиак пожал плечами: по его понятиям это нарушало дуэльный кодекс. Но он промолчал.

Дантес, стоя у барьера, выпрямился и прикрыл грудь пистолетом.

Еще один выстрел щелкнул в морозном воздухе. Дантес упал.

— Браво, — со вздохом удовлетворения произнес Пушкин и будто в истоме медленно опустился на снег.

Данзас наклонился над ним.

— Он убит? — спросил Пушкин, тяжело переводя дыхание.

— Нет, только ранен.

Брови Пушкина сдвинулись:

— Лишь бы нам только выздороветь, а тогда мы снова... — и, не договорив, потерял сознание.

Данзас подозвал насмерть перепуганного извозчика. Бережно приподняв раненого поэта, секунданты понесли его к саням. Когда извозчик тронулся, Пушкин застонал и приоткрыл глаза, уже ушедшие вглубь орбит. Только на один миг он задержал свой взор на покрасневшем от его крови снегу и снова смежил отяжелевшие веки.

Дантес, раненный в руку, перевязав ее носовым платком, медленно шел к своему экипажу, оставленному у Комендантской дачи.

Вспугнутые выстрелами вороны вернулись на мерзлые ветви кустарника и закачались на них с важным спокойствием.

44. Народная скорбь

Шел второй акт волшебного-комической оперы «Бронзовый конь», когда Бенкендорф, войдя в царскую ложу, доложил Николаю о состоявшейся дуэли.

— Тсс... — строго поднял палец царь, — пока об этом никто не знает. — И снова навел лорнет на хорошенькую балерину, порхающую в розовом трико и тюле среди розовых кустов. — Эта Ветвицкая, пожалуй, перещеголяет Истомину, — заговорил он после некоторого молчания. — Но мне кажется, что она как будто бы не совсем твердо усвоила роль и слегка сбивается с такта?.. Вот уж при Дидло этого никак не могло бы случиться. Эти ронджамбы с его легкой руки проделывались ученицами безукоризненно.

— Именно потому, ваше величество, что у Дидло была нелегкая, а весьма тяжелая рука, — почтительно пошутил Бенкендорф. — Его воспитанницы-танцовки не однажды показывали мне знаки отличия в виде синяков на их ручках и спинках.

— Что же, — пожал плечами царь, — строгость во всяком деле необходима. Нет, вы поглядите на эти движения! — снова обернулся он к сцене.

Алексей Орлов, наклонившись к царскому плечу, восторженно зашептал:

— Идеал грации, идеал пантомимы! Как розовые цветы в ее веночке, в ней сплетены достоинства высокой драматической игры с совершенством первоклассной танцовщицы. Смотрите, ваше величество, каждая ее поза, малейшее движение производят живительный восторг...

— Она мелькает калейдоскопом легкости и грации, — похвалил и Николай.

Балерина действительно кружилась по сцене, как розовый взвихренный дымок, и

громовые рукоплескания заглушали оркестр.

Верхние ярусы неистовствовали от восторга, и даже в первых рядах кресел было заметно необычайное волнение.

— Странно, что кресло князя Голицына пусто, — заметил Орлов. — Наверно, занемог, если пропустил балет.

Бенкендорф указал ему на одну из лож бенуара, в которой рядом с чопорной старухой сидела красавица в белом платье, с анютиными глазками в волосах и на корсаже.

Орлов вопросительно поднял брови.

— Сестра Муравьевых-Апостолов, первая красавица в Малороссии и при этом не желающая выходить замуж.

Он говорил шепотом, но царь все же услышал и зорко посмотрел в сторону Олеси Муравьевой-Апостол. Она сохраняла ту же спокойную, чуть-чуть надменную позу, хотя в ложе, где она сидела, заметили направленный на нее царский лорнет.

— Кто-то мне рассказывал, что она будто решила остаться в девах, чтобы быть при отце, схоронившем всех своих сынов, — сказал царь.

— Из Муравьевых, ваше величество, старший Сергей и младший Ипполит померли. Средний же в Сибири, — ответил Орлов.

Царь холодно взглянул на него.

— Если и так, то равнозначно. Все схоронены! — и повернулся к жене: — А тебе, конечно, больше нравится Истомина?

Александра Федоровна слегка повела обнаженными плечами.

— Ветвицкая слишком юна, у нее нет того шарма, что у Истоминой, но зато она обладает еще и голосом. И притом это *voix argentine, voix veloute* note 73.

— Именно, ваше величество, в этом милом горлышке есть и серебро и бархат, — проговорил Орлов, — а в груди ее чувства, излетающие из сердца в мелодийных звуках.

Александра Федоровна наклонила в знак согласия голову.

— Но в пушкинской «Черкешенке» я больше люблю Истому, — сказала она.

— Я также весьма ценю, как сделан сей балет. Истомина в нем очень мила, — одобрил царь. — И как славно изобразил Дидло и игры, и танцы, а особенно стрельбу кавказских народностей.

Когда царица снова устремила взгляд на сцену, Николай обернулся к Бенкендорфу.

Тот быстро наклонил голову так, что его крупное ухо, заросшее рыжеватыми волосами, пришлось в уровень с царскими усами.

— Сказать Жуковскому, чтобы принял срочные меры, дабы никто не смел проникнуть к рукописям Пушкина. Не сомневаюсь, что среди них найдется немало непозволительных. Надлежит незамедлительно опечатать его кабинет.

— Слушаюсь-с, ваше величество.

— К Пушкину послать моего хирурга.

— Арендт уже был у него, ваше величество. И определил рану смертельной.

Царь приподнял брови, потом нахмурил их.

— С Дантесом, конечно, дрался?

Note73

Голос серебряный, голос бархатный.

— Дантес также слегка ранен, ваше величество.

— Этого надо было ожидать, — проговорил Николай. — Обо всем, что творится у Пушкина, мне доносить каждодневно. Я нынче долго не лягу.

И снова устремил лорнет на сцену, куда выпорхнула из-за кулис воздушно-розовая Ветвицкая. Но, против обыкновения, царь не отвечал одобряющей улыбкой на очаровательные улыбки и почтительнейшие, но смешанные с кокетливым заигрыванием взгляды, устремленные на него со сцены.

Сообщение Бенкендорфа все же вывело Николая из равновесия. Дуэль не только не была неожиданной, но царь удивлялся, что ее могли так долго оттягивать. Ноябрьский конфликт между Пушкиным и Дантесом закончился явным перемирием, а не миром. И, конечно, царь имел полную возможность развести стороны так, чтобы продолжение враждебных действий стало для них невозможным. Если ему и Бенкендорфу не хотелось выпускать Пушкина из сферы своих наблюдений, что произошло бы в случае высылки поэта из Петербурга, если царю не хотелось лишать себя удовольствия встреч с Натальей Николаевной, то отправить из Петербурга Дантеса Николаю ничего не стоило.

Генерал Адлерберг, который покровительствовал Дантесу со дня его приезда в Россию, не раз указывал царю на неминуемо назревающую развязку в отношениях между Пушкиным и Дантесом. Адлерберг предлагал послать Дантеса на Кавказ, где молодому офицеру так легко было выслужиться, отличившись жестокостью к побежденным, но не покоренным горцам.

Царь чувствовал постоянное раздражение, когда на вечерах неизменным спутником Пушкиной видел Дантеса. Видел он также, что спутник этот для нее не безразличен. Но считал неудобным убрать Дантеса, чтобы не дать повода к возникновению подозрения о его ревности к кавалергарду. Ибо в отношении себя во всех областях жизни Николай признавал только завистников, но не соперников.

И в ответ на предложение Адлерберга отшучивался:

— Могу ли я лишать моих дам столь очаровательного кавалера? Подождем, авось уладится.

Но, ознакомившись с содержанием «диплома», в котором явно указывалось, что внимание Пушкина должно быть направлено в сторону самого царя, Николай уже видел в Дантесе ту фигуру, которую необходимо в интересах себя самого неотступно держать пред грозным взором Пушкина. Неизбежная дуэль становилась нужной царю, ибо любое ее завершение для него было бы благоприятно. «Если будет убит Пушкин, — рассуждал царь, — значит, из жизни уйдет человек, который своими писаниями и поведением причинял и причиняет мне и властям столько беспокойства. Тогда будет полное основание без нареканий и со стороны света и со стороны дипломатического корпуса выслать из Петербурга Дантеса, да еще, следуя закону, карающему участников дуэлей, выслать его, разжаловав в солдаты. Интересно, будут ли тогда дамы, и главным образом Натали Пушкина, любоваться Дантесом, когда вместо блестящей кавалергардской формы он предстанет пред ними в грубой солдатской одежде?..»

А если бы был убит Дантес, жестокое отношение царя к Пушкину, за которое — Николай знал — им недовольны не только в широких кругах русского общества, но возмущаются и за границей, сразу получит свое оправдание. Натали же в обоих случаях останется пострадавшей, и особенное внимание к ней царя получит совершенно иную оценку.

Когда же эта дуэль произошла, царь решил держать себя в отношении Пушкина в зависимости от того, какова его рана. Если она действительно смертельна, надо проявить к нему всевозможное внимание, надо тронуть и тех, кто сейчас подымет вопли о «безвременно сраженном злым роком поэте». Николай вспомнил именно это выражение, которое осталось у него в памяти из разговоров о смерти Байрона.

«Что-то там у нее делается?» — думал царь о Пушкиной и, кажется, единственный раз в жизни пожалел о том, что он не простой смертный, которому можно было не только прямо проехать к Пушкиной, чтобы посмотреть, «что там у нее», а еще проще — пройти в квартиру поэта через черный ход, чтобы узнать подлинно и досконально все подробности.

Не досидев до конца третьего акта, Николай предложил жене отправиться домой.

Преждевременное опустение царской ложи вызвало за кулисами целый переполох.

Директор, разъяренный, вбежал в уборную Ветвицкой.

— Что же это, красавица моя, за «па» вы в последней мизансцене вытворять изволили? Бывало, в моменты вашего появления в павильоне нимф весь театр плещет и даже царственные длани принимали участие в выражении восторгов, а ныне вот эдакие штуки...

Подняв ногу, он неуклюже покрутил ею почти перед самым вздернутым носиком балерины.

Носик этот покраснел, и к его гневно раздувающимся ноздрям покатались слезинки.

— Мосье Гедеоновский напрасно винит меня, — осторожно прикладывая кружевной платочек к покрытым тушью ресницам, возразила Ветвицкая. — Нынче, как, впрочем, и всегда, я согласовала танцы с тем душевным подъемом, какой охватывает меня всякий раз при вступлении на священные для меня подмостки сцены. Отбытие государя до окончания представления может быть вызвано и иными причинами...

— А почему же вдруг стали так холодны партер и кресла?

— В публике, ваше превосходительство, прошел слух, — осторожно вмешался в разговор парикмахер Федор Федорович, или «Тэдди», как его коротко, на английский лад, называли актрисы, — прошел слух, будто нынче пополудни ранен на дуэли поэт Пушкин. Так не то что в райке переполох, а, сказывают, и партер наполовину опустел...

— Молчать! — гаркнул на него Гедеоновский. — Знай свое дело!

— Слушаю-с, — смиренно ответил Федор Федорович и, пощелкав у собственных усов щипцами, наложил их на золотистый парик, украшающий головку Ветвицкой.

— Мне очень тяжело, что, возможно, я теряю прежнее расположение публики, — сдерживая слезы, говорила Ветвицкая, — но я постараюсь, однако ж, употребить все способы, чтобы вернуть себе былое отличие в ее глазах.

Гедеоновский сердито отошел от нее. Порылся зачем-то в коробке с гримом, потрогал пышный, как орхидея, приготовленный для следующего акта костюм балерины и вышел из уборной.

Проходя по сцене и за кулисами, он всюду слышал одно и то же имя: «Пушкин... Пушкин...», произносимое то с ужасом, то испуганно, то со слезами...

Это же имя отовсюду слышалось ему в замороженной мгле петербургской ночи, когда после окончания оперы он, по обыкновению, шел домой пешком.

К серому, казенного вида дому на Мойке с вечера двадцать седьмого января и до глубокой ночи на первое февраля, когда по приказанию царя тело Пушкина было тайно вывезено в сопровождении жандармов в Конюшенную церковь, — к этому дому, в бельэтаже которого находилась квартира Пушкина, шло и ехало бесконечное множество людей.

От сановников и дипломатов, от знатных и чопорных дам с лакеями на запятках карет, от различных чинов привилегированных полков, от щеголей штатских, от князей, графов и аристократических денди до чиновников в зябких шинелях, студентов с пледом на плечах, журналистов, писателей, актеров... Франтовские формы, бобры на шинелях, соболя, горностаи и куницы на дамских шубках смешивались с заячьими тулупами и покрытыми драдедамом салопами, плюмажи и султаны — с фуражками и мерлушковыми шапками, цилиндры и парижские шляпки — с картузами, платками и капорами из Гостиного двора.

Кареты с княжескими и иными дворянскими гербами должны были останавливаться далеко от дома, так как толпа была настолько густа, что сквозь нее невозможно было проехать, несмотря на непрерывные окрики кучеров: «По-бе-ре-гись!»

Министр Уваров издал специальный по этому случаю приказ о строгом соблюдении распорядка учебного дня, но студенты, оставив учебные заведения, бурными потоками влились в разношерстную толпу и открыто высказывали свое возмущение против всех, кого считали виновниками совершившегося несчастья. Лазутчики, в гороховом пальто, шныряли тут и там. Жандармы врезывались в отдельные группы негодующих и ропщущих людей. Но толпа, охваченная общим горем и скорбью, снова соединялась...

Все жадно прислушивались к каждому слову, которое хоть сколько-нибудь касалось того, что происходило за непроницаемыми стенами серого дома. Всем хотелось собственными глазами видеть бюллетени о состоянии здоровья поэта.

Рядом со вчерашним бюллетенем, который гласил: «Первая половина ночи беспокойна, вторая лучше; новых угрожающих припадков нет, но также нет и не может еще быть облегчения», Жуковский вывесил на воротах новый бюллетень со старательно выведенными буквами на полулисте почтовой бумаги: «Больной находится в весьма опасном положении».

Кроме этих скудных сведений, о состоянии больного выпытывали у всех, кто выходил из квартиры Пушкина.

Толпа окружала их плотным кольцом и забрасывала вопросами:

— Что сказал Арендт?

— А лекарь Даль надеется?

— А каково мнение Спасского?

— Глядите, глядите, — вот доктор Спасский показался в окне, — увидел кто-то.

И тотчас же раздались громкие крики:

— Выйдите на улицу, доктор! Сделайте божескую милость, выйдите! — призывы эти сопровождались умоляющими жестами.

Спасский понял и кивнул в знак согласия головой.

Едва только он показался в воротах, невысокого роста гусарский офицер схватил его за руку. Темные глаза офицера горели лихорадочным огнем.

— Он... в сознании? — спросил он срывающимся голосом.

— Сознание полное, да что же из того, — ответил Спасский, обводя всех

придвинувшихся к нему людей бесконечно печальным и усталым взглядом.

— Но, может быть, неукротимый дух поэта... даст ему силы преодолеть телесные страдания? — снова спросил гусарский офицер, впиваясь в Спасского страдальческим взглядом больших темных глаз.

Спасский безнадежно опустил голову:

— Необычайное присутствие духа не покидает мученика, но минуты его жизни сочтены, чело покрылось холодным потом, пульс едва уловим...

Офицер застонал и едва не упал на руки товарищу. Тот крепко охватил его плечи и стал горячо убеждать:

— Прошу тебя, Мишель, поедem домой! Бабушка, наверно, уже хватилась и в отчаянии... Едем, ты весь в жару...

Их оттеснили. Спасский сообщил еще:

— Бедный страдалец все повторяет: «Не может быть, чтобы этот вздор меня пересилил». Увы, он ошибается. Раздробление крестцовой кости вызвало истечение кровью, воспаление брюшных внутренностей и поражение необходимых для жизни нервов. А при таких обстоятельствах смерть неизбежна.

Услышав последние слова, высокий голубоглазый студент в отчаянии схватился за голову:

— Мой мозг отказывается осознать эту страшную беду! Ведь всего только несколько дней тому назад я видел Пушкина у Энгельгардта...

— Каков он был?

— С кем говорил?

— Долго ли пробыл?

Не отрывая от окон пушкинской квартиры налитых слезами глаз, красивый студент отвечал на вопросы:

— Поэт стоял в дверях гостиной, скрестив на груди руки. Он был бледен и явно не в духе. Вдруг его взгляд остановился на мне... Я даже вздрогнул и только хотел поклониться, как Пушкин...

— Гляди, Тургенев, — дернул студента за рукав его товарищ, — гляди, вон на крыльце показался баснописец Крылов. Давайте выпытаем у него.

Крылов медленно сошел с обледенелых ступеней. Длинная его шинель с пелериной была распахнута. Он держал в руках меховую шапку, которой смахивал катящиеся по его полным бритым щекам крупные слезы. Толпа расступалась, давая ему дорогу. Весь вид Крылова, больше слов, говорил о неотвратимо надвигающемся несчастье.

— Пушкин уходит от нас! — надрывно закричала девушка в простенькой шляпке и забилась у матери в руках.

Та, вынув из муфты смятый платок, прикладывала его к мокрым щекам дочери и просила:

— Успокойся, Катенька, успокойся, голубка моя...

— Помирает наш Пушкин, помирает, — повторил Крылов, едва шевеля бледными старческими губами, но и этот слабый голос был слышен по всей толпе.

Продвигаясь неверными шагами в людской гуще, Крылов столкнулся с Каратыгиным.

— Что же это такое, Иван Андреевич? Неужто Пушкина ныне отпевать будем?! — проговорил артист так трагически, что Крылов, припав к его плечу, заплакал.

— Ох, кабы я мог это предвидеть, Пушкин мой! — говорил он сквозь всхлипывания. — Я запер бы тебя в моем кабинете... Я связал бы тебя... Если бы только я знал, что ты задумал... Ведь вот совсем недавно был он у меня... Балагурил, по обыкновению, «Крыловочкой» меня называл... И ничего, ничего не предвещало эдакой беды... — Крылов поминутно прижимал к глазам свою меховую шапку. Ветер трепал его седые волосы, сдувал с них застрявшие снежинки.

Мимо прошел Брюллов. Его глаза были устремлены поверх людей на окна пушкинской квартиры. Обе руки были прижаты к груди и казались мраморными на черном сукне шубы.

За Брюлловым спешили его ученики — Мокрицкий и Тарас Шевченко.

Шевченко задержался возле Крылова.

— Загубили-таки Пушкина треклятые каты! — глухим от ярости голосом проговорил Тарас, и слезы, как хрустальные бусинки, сыпались по его лицу. — Ой, лишенько, лишенько!

Кругом тоже слышались плач и вздохи.

— Пушкин кончается...

— Помирает Пушкин...

Пушкин умирал. Зловещая желтизна расплзлась от его запавших глаз по щекам и заострившемуся носу. Пальцы словно высохли, а длинные ногти окрашивались синевой.

Князь Вяземский то отходил от дивана, на котором лежал поэт, то снова склонялся над ним, стараясь угадать каждое его желание.

— А почему я не вижу твоей сестры Екатерины Андреевны? — едва слышно спросил Пушкин. — Я так хотел бы, чтобы она... — и не договорил: нарастающий приступ жестокой боли заставил его стиснуть зубы и глухо застонать.

Вяземский поспешно вышел во двор, где его с ночи дожидался экипаж, и велел кучеру во весь дух мчаться за Екатериной Андреевной.

Она явилась немедленно в своем неизменном, после кончины Николая Михайловича, черном платье, с черным вдовьим крепом на голове, в черных замшевых перчатках. Белыми были только ее совсем поседевшие волосы и бескровное худое лицо. По выражению этого лица видно было, какие усилия делала над собой Карамзина, чтобы не показать Пушкину своего отчаяния.

Постояв несколько минут у порога с устремленным на умирающего горестным неотрывным взглядом, она медленно сняла перчатки и, приблизившись, охватила холодеющую руку Пушкина своими теплыми пальцами. Под ними, то учащаясь, то замирая, трепетал его едва уловимый пульс.

Пушкин взглядом попросил, чтобы она поднесла свою руку к его губам, и поцеловал ее. Потом закрыл глаза и чуть-чуть наклонил голову — не то благодаря, не то отпуская Екатерину Андреевну.

Она закрыла лицо руками и неверными шагами направилась к двери. У порога она столкнулась с Натальей Николаевной, которая держала в руках стакан воды с плавающими в нем ломтиками лимона.

Они не сказали одна другой ни одного слова...

Сквозь полузакрытые веки Пушкин гаснущим взглядом смотрел на стоящую возле него на коленях жену.

Ее лицо, странно измененное выражением отчаяния, ее словно ветром растрепанные локоны, какой-то как будто никогда ранее не виданный на ней капот и

смятая косынка, — все казалось Пушкину чужим и далеким. Он силился понять, когда и откуда пришла эта странная и страшная отчужденность, но мысль непослушно скользила с одного предмета на другой. И с губ слетали слова совсем не те, которые ему хотелось сказать. Слабеющей рукой он брал с тарелки кусочки мелко нарубленного льда и тер ими свой лоб и потрескавшиеся губы.

— Да нет же, нет, — повторял он свистящим шепотом, — этого никак не должно быть.

— Конечно, этого не может быть, чтобы ты умер, Саша, — доносился до его сознания умоляющий голос Натальи Николаевны. — Ты не можешь, ты не посмеешь причинить мне такое горе... А как же дети?! — и ложечка, которой она подносила мужу лимонное питье, стучала о его зубы. — Ну, скажи мне хоть одно слово, утешь меня, Сашенька! — молила она.

Грудь Пушкина вздымалась порывисто. Он делал нечеловеческие усилия, чтобы сказать жене что-то очень важное, но язык, сухой и жесткий, не повиновался ему.

Он отпил глоток ледяной воды и, наконец, смог произнести:

— Мне бы моченой морошки, Ташенька...

Наталья Николаевна опрометью бросилась в кухню.

— Беги скорее в Милютины лавки, — приказала она Никите, — барин моченой морошки требует!

— Господи милостивый, да неужто же Александр Сергеевич кушать захотели?! — обрадовался Никита.

— Скорей, скорей, Никита, — торопила Наталья Николаевна и метнулась обратно.

Никита схватил с полки засаленную тетрадку с надписью: «Из лавок Милютиных купца Герасима Дмитриева заборная книжка на имя господина Пушкина» и, надевая на ходу полушубок, выскочил за ворота. Его тотчас же окружили:

— Братец, скажи правду, каков Александр Сергеич? Что говорят лекари?

— Царь, сказывают, своего прислал, иностранного? Ему, может, и приказ дан извести нашего Пушкина! Истину скажи хоть ты...

— Что уж таить! Замахнула над ним смертушка косу, — сокрушенно говорил Никита, — страждет, сердешный, вот как страждет, а виду не показывает. Намедни принес я льду, а Александр Сергеевич таково ли жалостливо поглядел на меня... А поутру, когда я умывал их, спросить изволили: «Что, брат, тяжело тебе было нести меня?..» Это, то есть, когда привезли его раненого, нес я его на руках в квартиру... Погубили нашего голубчика злые враги...

— Чужеземец убил! — звучали возмущенные возгласы.

— Затравили!

— Погубили!

— Кто смел сказать такое?! — и быстрые, пронырливые глаза забежали по лицам.

— А ты кто, доносчик?

— Бери его, окаянного!

— Хватай!

И толпа всколыхнулась, зашумела и закружилась спиралью вокруг перепуганного сыщика.

Верховые жандармы хлестнули по заиндевелым крупам лошадей. Те, вздыбясь, втиснулись в толпу, тыкались мордами о меховые шапки и картузы, напирали на плечи и спины, покуда не проломили просеки в людской чаще. По этой просеке вскачь

понеслись к Невскому. А оттуда на смену уже двигался отряд черных полицейских шинелей, сверкающих начищенными орлами пуговиц, блях и портупьями шашек.

45. Безвременный конец

Было около трех часов дня, когда и врачам и друзьям Пушкина стало ясно, что жизнь его надо считать минутами.

— Светильник догорает последней искрой, — чуть слышно проговорил доктор Даль.

— Наш Искра угасает, — беззвучно, одними губами прошептал Жуковский, заламывая руки.

— Хорошо, ах, как хорошо... — в забытьи слабо произнес Пушкин. — Пойдем же выше, выше!

Вяземский наклонился над ним:

— Что, Александр Сергеевич, что, милый мой?

Пушкин открыл уже безжизненные глаза. Тень улыбки скользнула по его губам.

— Мне пригрезилось, что я карабкаюсь по этим книжным полкам все выше и выше, так что голова кружится, — с трудом dokonчил он и задышал отрывисто и громко. Лицо его вздрагивало от страданий.

Все подошли ближе и стали вокруг дивана. Жуковский не переставал беззвучно рыдать. Врачи и Александр Тургенев всячески старались сохранять внешнее спокойствие, потому что на них то и дело поднимались глаза Натальи Николаевны. И были эти глаза неузнаваемы. Их всегдашнее, из-за того, что Наталья Николаевна слегка косила, выражение лукавого кокетства и беспечной веселости сменилось струившимся сквозь слезы отчаянием.

Пушкин, поняв неумолимое приближение смерти, еще час тому назад просил, чтобы поставили об этом в известность его жену.

— Иначе, — с невыразимой горечью сказал он, — видя ее относительное спокойствие, ее, пожалуй, станут упрекать еще и в бессердечии.

Наталья Николаевна не хотела и не могла понять надвигающееся горе, потому что чувствовала перед ним лютой страх. Страх этот мутил ее разум, затмевал все остальные ощущения. Когда наступила агония, и Пушкин уже перестал говорить, она уверяла, что он задремал, и стояла, не шевелясь, не позволяя говорить и другим.

Так шли минуты.

Вдруг Пушкин широко раскрыл глаза и прежним голосом внятно произнес:

— Кончена жизнь.

Только мгновенье в глазах его сиял лучистый свет, потом веки дрогнули и закрылись навсегда.

Доктор Даль наложил на них пальцы, подержал немного.

Наталья Николаевна, не подымая головы с края постели, спросила шепотом:

— Что, уснул?

Ей никто не ответил. Вяземский подошел, взял ее под руку и увел из кабинета.

— Час его пробил, — горестно вздохнул Спасский и сложил на груди поэта его теперь покорные, еще не остывшие руки.

— И вот уж нас от него отделяет неизмеримая пропасть, — проговорил доктор Даль и, отвернувшись, зарыдал.

Жуковский, опустившись на колени, положил голову на вытянутые ноги

покойника и долго оставался неподвижным. Потом близко склонился над мертвым лицом и всматривался в него с изумлением. На лице Пушкина разлилось и застыло торжественное спокойствие, как будто бы поэт постиг еще никем не разгаданную, важную и глубокую тайну смерти...

Когда Жуковский вновь показался перед толпой, по его лицу все поняли, что он сообщит сейчас страшную весть. И толпа замерла.

— Александр Сергеевич Пушкин скончался, — снимая шапку, сдавленным голосом проговорил Жуковский.

И люди в скорбном молчании обнажили головы. Но вот гнетущая тишина нарушилась громким плачем и гневными выкриками:

— Убийца подослан!

— На суд виновников злодеяния!

— Да суд-то царский!

— Сами рассудим по чести!

Жандармские синие и полицейские черные шинели темными пятнами вкрапливались в потрясенную толпу.

Пронзительно засвистели свистки, застучали лошадиные копыта, понеслись окрики:

— Раз-зой-дись! Раз-зой-дись!..

Пошел густой, мягкий снег. Сумерки переходили в ночь...

А у серого дома на Мойке народу все прибывало и прибывало.

На другой день по дороге во дворец, куда Жуковский направлялся в присланной за ним придворной карете, он заехал в типографию заказать траурные пригласительные билеты. Вытирая припухшие от слез глаза, он продиктовал конторщику текст:

«Madame N. Pouchkine, en vous annoncant avec une profonde douleur la mort de son mari Alexandre Pouchkine, gentilhomme de la chambre de S. M. I. decede le 29 de ce mois, vous prie lui faire l'honneur d'assister au service funebre qui sera celebre dans la Cathedrale de st. Isaak a l'Amiraute le 1/13 fevrier, a 11 heures du matin» *note 74*

— Прикажете с одной черной каймой в край или в две узеньких? — спросил конторщик.

Жуковский рассеянно смотрел в сторону.

— Извольте выбрать образец.

Конторщик протянул ему несколько глянцевитых прямоугольников картона.

Жуковский машинально ткнул пальцем в один из них и медленно направился к ожидающей его карете.

Всю дорогу он никак не мог осознать, что сейчас будет говорить с царем о Пушкине и, что снова будет защищать его, уже мертвого, от того, что причиняло Пушкину так много страдания при жизни.

Царь, который при первом известии о смерти Пушкина приказал Жуковскому просмотреть все его бумаги и запечатать кабинет, через несколько часов, по

Note74

«Мадам Н. Пушкина, извещая вас с глубокой скорбью о смерти своего мужа Александра Пушкина, дворянина и камер-юнкера двора его императорского величества, скончавшегося 29 сего месяца, просит вас оказать ей честь присутствовать на похоронном богослужении, имеющем быть в Соборе св. Исаакия, при Адмиралтействе, 1/13 февраля, в 11 часов утра».

настойчивому совету Бенкендорфа, приставил к Жуковскому «помощника» — жандармского полковника Дуббельта.

И снова в сокровенное и интимное Пушкина проникли жандармские глаза и руки.

Во дворце Жуковскому сказали, что государь находится в угловом маленьком кабинете и очень не в духе.

— Граф Бенкендорф там? — спросил Жуковский.

— Ожидается, — ответил дежурный офицер.

К Жуковскому царь относился с недоверием. Никак не мог понять, как этот религиозный человек и монархист может быть другом Пушкина — атеиста и вольнодумца. И поэтому Бенкендорфу нетрудно было для сведения своих счетов с уже мертвым Пушкиным и живым Жуковским бросать зерна недоверия в развороченное всегдашней подозрительностью воображение царя.

Жуковский, почувствовав настороженную злобность в первых же словах Николая, заговорил с вкрадчивой мягкостью:

— Государь, бумаги, вредные для памяти поэта, мною предположено, а вашим величеством утверждено — сжечь. Граф Бенкендорф, вероятно для сугубой предосторожности, прислал мне в помощь Дуббельта. Однако кроме сих мер, он требует часть бумаг себе.

Царь ядовито улыбнулся.

— От принятых Бенкендорфом мер вреда покойному не причинится, а от наблюдения правительства ничего не должно быть скрыто. Бдительность должна быть обращена на всевозможные предметы.

Жуковский прерывисто вздохнул, вспомнив, как возмущался Пушкин широко практикуемой перлюстрацией писем, как негодовал он на царя за то, что тот не стыдился лично принимать участие в таком сыске. Царь понял вздох Жуковского и с той же усмешкой бросил:

— Однако, сам-то, ты читаешь адресованное не тебе.

Жуковский прямо взглянул царю в глаза.

— Мне, государь, также прискорбно принимать участие в нарушении семейственной тайны. Но воля вашего...

— Довольно об этом! — Николай сделал решительный жест рукой. — Ты что еще мог бы передать мне?

Жуковский вытер лоб платком, мокрым от слез, пролитых над гробом Пушкина, и, преследуя только одну цель, — сделать все, что могло бы облегчить участь семьи умершего, — стал рассказывать, как будто бы охотно исполнил Пушкин долг христианина, исповедавшись и причастившись по совету царя. Как поэт якобы был тронут и успокоен монаршим обещанием заботиться о его семье. При этом Жуковский сознательно приписывал Пушкину такое поведение и такие слова, которые могли бы сломить всегдашнее к нему недоброжелательство царя. И для этого нового, угодного царю, Пушкина Жуковский просил:

— Необходимо, ваше величество, очистить от всех долгов заложенное имение Пушкина, где покоятся его предки и где он сам будет почивать вечно, иначе деревню эту могут продать с торгов, и может случиться так, что и прах Пушкина делается собственностью равнодушного к нему владельца. И тогда русские могут не знать, где лежит их Пушкин, а осиротевшее семейство его лишится приюта при гробе своего отца.

— Об этом напрасно хлопчешь, — не глядя на Жуковского, сказал Николай. —

Я и сам решил, чтобы вдова с детьми отбыла в Михайловское. Надо, чтобы здешние толки умолкли, да и Наталье Николаевне покуда приличнее будет там оставаться... А, скажи, ей, вероятно, весьма... — он хотел спросить: «весьма идут траурные плерезы?», но спохватился и спросил приличествующее в данном случае: — Ей, вероятно, весьма тяжело переносить разразившееся несчастье?

Жуковский стал описывать бурное отчаяние Натальи Николаевны, ее ужасные припадки, при которых все ее тело корчилось в судорогах и конвульсиях.

Царь, все время слушавший его с застывшим выражением лица, вдруг спросил:

— А почему Пушкин положен в гроб не в камер-юнкерском мундире, а в статском платье?

— Такова была воля покойного, государь, не раз выраженная им при жизни. Пушкин имел некоторые странные привязанности к вещам, в том числе и к некогда подаренному ему Нащокиным фраку, в котором ныне положен в гроб. Распоряжение вашего величества об увозе Пушкина на предмет погребения в Святогорский монастырь также совпало с волею покойного.

Царь удивленно поднял брови.

— Матушка Пушкина, недавно скончавшаяся, — продолжал Жуковский, — а также и другие его родственники нашли в сем монастыре вечное упокоение. И Наталья Николаевна сказывала, будто покойный супруг ее, присутствовавший при погребении матушки, утешался сухим грунтом могилы и выражал желание быть погребенным рядом.

— Это желание вполне допустимо, и я рад, что смог содействовать ему.

Жуковский быстро опустил голову и потупил глаза, будто испугался, что Николай увидит в них нечто для него оскорбительное.

— Ну-с! — нарушил царь затянувшееся молчание.

— Еще прошу ваше величество об издании сочинений поэта в пользу его семьи.

— На это также соизволяю.

— Государь, — не поднимая головы, говорил Жуковский, — в доме Пушкина нашлось триста рублей. На похороны дал родственник жены его, граф Строганов. Но нужда велика. Не благоволите ли пожаловать на расходы первостепенной надобности?

— Десять тысяч единовременно, — бросил царь и уже нетерпеливо окрикнул: — Еще что?

— О секунданте Пушкина, Данзасе, государь... Приняв участие в дуэли, он, несомненно, виновен, но несчастье упало на него невзначай, он предал себя судьбе своего товарища и друга и если будет сослан, то погибнет.

Николай погрозил пальцем, но Жуковский продолжал просительно и настойчиво:

— И самое главное, ваше величество: в свое время вы изволили даровать мне счастье быть через вас успокоителем последних минут Карамзина, мною же переданы Пушкину ваши утешительные...

— Сравнил! — грубо прервал Николай. — Карамзин и жил и умирал, как истинный христианин, а этого, небось, едва уговорили за попом послать? Думаешь, я верю его искренности? Не знаю, что он был атеистом и всю жизнь любил фрондировать и куролесить? Что, кроме дозволенных стихов, он писал иные, крайне неуважительные в отношении власти? И эти стихи, будучи омерзительны по содержанию, столь обольстительны по форме, что лоботрясы и шалопаи не устают переписывать их от руки, и они буквально наводнили мою страну...

«Много же, очевидно, „шалобаев“ и „лоботрясов“ в твоей стране!» —

возмущенный злобностью царя, подумал Жуковский, но поспешил оправдать своего мертвого друга:

— Не знаю, государь, точно ли все ходящие в рукописном виде непозволительные стихи принадлежат покойному поэту. Возможно, что многие из них являют лишь пример злостного использования обаяния его имени...

— Я так и знал, — опять перебил царь, — что ты будешь отрицать даже то, в чем признавался сам Пушкин. Он однажды при допросе сам предложил написать свои уничтоженные перед ожидаемым обыском стихи.

— Знаю, государь, — со вздохом проговорил Жуковский. — Раздраженное самолюбие и разум писателя, ищущего на бумаге излить свои чувства и мысли и не могущего сего осуществить из-за запрета печатания, невольно переступают границы умеренности. Но, ваше величество, Пушкин приумножил славу вашего царствования в столь же сильной степени, как Державин — славу императрицы Екатерины, а Карамзин — славу незабвенной памяти императора Александра.

Жуковский начинал путаться под пристальным, налитым недоверием взглядом царя, но все же продолжал убеждать его в необходимости оказать Пушкину те же почести, которые были оказаны и Карамзину, то есть разрешить ему, Жуковскому, написать указ о монаршей милости Пушкину.

Когда Жуковский умолк, царь после паузы произнес:

— Об этом подумаю.

«Сиречь посоветуюсь с Бенкендорфом», — мысленно добавил Жуковский с безнадежностью.

— Еще не схоронили Пушкина, — брюзгливо, в нос продолжал царь, — а уже появился новый хлесткий писака. Этот гусарский поручик Лермонтов заносчив и дерзок не менее покойного. Стихи его о смерти Пушкина слышал?

— Так точно, государь.

Доложили о Бенкендорфе.

— Вот, граф, Василий Андреевич недоволен тем, что ты приставил ему в помощники жандармского полковника Дуббельта.

Бенкендорф с деланным удивлением взглянул на Жуковского:

— Я полагал, что, дав в помощники такое лицо, удостоюсь вашей благодарности, Василий Андреевич, ибо разобраться в рукописях такого демагогического писателя, каковым был покойный Пушкин...

— Виноват, граф, — перебил Жуковский, и мягкое расплывчатое его лицо вдруг приобрело не свойственное ему выражение едкой ненависти. — Вы как обозвали Пушкина вольнодумцем и демагогом в пору его юности, так и пребываете к нему с таким же неизменным мнением. А между тем в последние годы вы имели дело вовсе не с тем Пушкиным. Что вы знаете о нынешнем Пушкине? Лишь то, что вам доносили о нем полиция и жандармы. Какие его произведения вы читали, кроме тех, кои вам подносили агенты от сыска и порядка да еще злобные, завистливые клеветники?

Бенкендорф щелкнул шпорами.

— Справедливо изволили заметить, Василий Андреевич, я литературой не занимаюсь, — и, уловив в царском взгляде одобрение, уже с нескрываемым издевательством добавил: — Недосуг мне, иные дела мешают.

Лицо Жуковского пылало, когда он продолжал:

— Пушкин мужал умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения. Ведь он постиг, что ему никогда не

освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, продолжал быть подвержен, как двадцатилетний шалун. Вашему сиятельству незнакомо то угнетающее чувство, которое грызло и портило поэту жизнь. Вы, сделав ему выговор, тотчас забывали о нем, переходя к другим вашим занятиям. А каково это действовало на Пушкина?

Бенкендорф недоуменно передернул плечами, отчего густая щетка его эполет перелилась золотом.

— Я лишь исполнял волю моего государя, — строго проговорил он и опять вопросительно взглянул на царя.

Тот проговорил, насупившись:

— Я своим особенным покровительством желал лишь остепенить Пушкина и дать должное направление развитию его таланта...

— Но из сего покровительства вашего величества граф Александр Христофорович сделал строгий надзор, который для поэтической музыки всегда притеснителен, сколь бы кроток и благороден он ни был.

Резкий тон, каким вначале говорил Жуковский, постепенно спадал, как будто его грудь, стесненную горем и негодованием, пробуравили злобные взгляды его собеседников. Голова его сокрушенно опустилась, когда он говорил:

— Если бы тяжелые обстоятельства всякого рода не упали на бедного Пушкина тем обвалом, который столь внезапно раздавил его, что бы он еще написал! И сколь умирительно действует на нас, его друзей, охватившая десятки тысяч соотечественников печаль о невозвратимой потере! День и ночь там, у дома Пушкина, раздаются исполненные неподдельной скорби вздохи, льются слезы, слышится негодующая речь против того, кто отнял у России часть ее славы...

Бенкендорф снова многозначительно переглянулся с царем.

А Жуковский продолжал так же скорбно:

— Надо было бы удивляться, если бы в обществе равнодушно приняли эту потерю. И осмелюсь сказать вашему сиятельству, что напрасно вы вклинили в эту преисполненную унынием мирную толпу — жандармов и полицию. И напрасно жандармы теснятся рядом с друзьями почившего у его гроба. Блюстительная полиция ведет себя с таким явным изъявлением опасности, что мы не можем не чувствовать себя оскорбленными. Какое злоумышление может посетить наши головы, склоненные под гнетом постигшего нас несчастья? Мыслимо ли даже думать о волнении умов, о каком-то заговоре, будто бы существующем среди тех, кто пришел поклониться праху поэта?..

— А, правда, что Пушкин на смертном одре с верою исполнил долг христианина? — обратился царь к Бенкендорфу.

— Исполнил, ваше величество, он исповедался и причащался отцом...

— Я рад, — перебил царь, — я очень рад, что мне хоть на отлете удалось захватить душу Пушкина и очистить ее для жизни вечной.

Царь встал. Аудиенция была кончена.

Жуковский молча поклонился и вышел.

С Бенкендорфом царь разговаривал так, как говорят люди, хорошо понимающие друг друга и, несмотря на показное расположение, очень друг друга недолголюбивающие.

— Каков неустанный ходатай по поэтическим делам? — кивнул царь вслед только что вышедшему Жуковскому.

— И после смерти своего протезе неутомим, — ловя иронию в голосе царя, сказал Бенкендорф.

— Так, говорят, много народу было на отпевании Пушкина?

Бенкендорф знал, что надо сказать правду. Но знал также, какое объяснение надо ей дать, чтобы Николаю не было неприятно ее слушать.

— Так точно, ваше величество, народу тьма. Но все больше купчишки, простолюдины, чувствительные девицы и барыньки, мелкие чинуши и прочие.

— Что же их побудило выражать столь пылкие чувства к усопшему? — хмурился царь.

Бенкендорф был готов к этому вопросу.

— Весьма понятно, ваше величество. Жители эти иностранных литератур не знают, критерия для справедливого сравнения литературных заслуг почившего не имеют. Вот и возвеличили его наподобие гения. Да еще немаловажную роль в таком возбуждении низших слоев населения играет и то обстоятельство, что Дантес иноземного происхождения. Национальное самолюбие раздражено непомерно. Мои жандармы и сыщики докладывали мне о дерзких выкриках в толпе у дома, где жил поэт, и у церкви.

— В газете «Прибавление к русскому инвалиду», — ворчливо говорил Николай, — я видел черную рамку вокруг извещения о кончине Пушкина. Ни к чему! И само извещение слишком высокопарно по адресу нечиновного дворянина... И чего только в нем не нагорожено! И что Пушкин скончался в середине своего «великого поприща»! И что всякое русское сердце знает цену этой невозвратимой потери и будет растерзано. Пушкин приравнивается даже к славе русского народа... И еще что-то насчет заката солнца поэзии... Даже в «Северной пчеле» имеются выражения вроде того, что Россия обязана Пушкину за его заслуги и тому подобное... Эх, куда хватили господ газетчики... Тебе, Александр Христофорович, следовало бы принять должные меры к недопущению подобного печатного словоблудия. Ведь газеты наши и в Европе читаются. И ежели у меня, в столице бог весть, какие слухи ходят, то можно себе представить, что станут врать за границей...

— Должные меры мною уже взяты, — веско сказал Бенкендорф. — Министр Уваров уже имел по этому поводу беседу с князем Дундуковым-Корсаковым...

— Попечителем округа? — спросил царь.

— Он же и председатель Цензурного комитета, ваше величество, — ответил Бенкендорф, — и редактору Краевскому сделано строгое внушение...

— В пустой след, — раздраженно перебил царь. — Вы с Алексеем Орловым в последнее время все не ладите, какие-то личные счёты сводите, а вот такие серьезные случаи оба и проглядели. Чего, например, стоит такое письмо? — он поднес к самому лицу Бенкендорфа листки анонимного письма. — Жуковский отдал его императрице, а она мне...

Бенкендорф просмотрел письмо и понял, что оно написано тем же лицом, которое писало и Орлову. В нем тоже настойчиво советовалось правительству употребить всевозможные старания к изгнанию из России обоих Геккеренов, которые стали ненавистны каждому русскому. Указывалось, что дальнейшее пренебрежение к подданным, увеличивающееся во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, и, главное, стая немцев, окружающая трон, — все это рождает справедливый ропот в народе и повлечет за собою грозную расплату.

— Очень жаль, что Жуковский не передал это письмо сразу же мне, как это

сделал Орлов, — проговорил Бенкендорф, пожимая плечами. — Орлов получил почти такое же, и даже слова о якобы умышленном и обдуманном убийстве Пушкина в обоих письмах подчеркнуты дважды.

— Что ты думаешь по этому поводу? — спросил царь.

— Прежде всего, ваше величество, я убежден, что меры, предпринятые корпусом жандармов и полицией в отношении того, что связано с кончиной Пушкина, совершенно своевременны и правильны. В самом деле: разве содержание этих писем не вызывает в памяти подобных же высказываний деятелей четырнадцатого декабря?! Тут и пресловутый «дух народный», и любовь к славе отечества, и упреки в пренебрежении к интересам народа, и обличение неограниченной власти, врученной недостойным... И открытая угроза грядущей революцией...

— И о стае немцев, окружающих мой трон, — подсказал Николай, прищуривая глаза.

Намек задел Бенкендорфа, но он сделал вид, что не заметил его, и продолжал:

— Совершенно поразительно, как весь тон этих анонимок, — он кивнул на брошенные на стол письма, — и как их содержание, похоже на письма одного из самых отчаянных головорезов заговора, омрачившего вступление вашего величества на российский престол.

— А именно? — спросил царь.

— В Петербург приходят письма от Лунина к его сестре. Он шлет их почтой и какими-то еще не установленными моими агентами тайными путями. Если бы я верил в чудеса, я решил бы, что именно Лунин диктовал автору этих анонимных листов их содержание. Письма государственного преступника Лунина суть не что иное, как самые настоящие политические прокламации, призывающие к ниспровержению существующего государственного порядка.

— Так уж и к «ниспровержению», — сердито передразнил царь.

— Лунин подвергает жесточайшей критике все государственные учреждения и законы. А критиковать, государь, по моему мнению, равнозначно требованию изменения, — ответил Бенкендорф и сделал многозначительную паузу. — Мне хорошо запомнились некоторые предезостные выражения лунинских писаний, — продолжал он. — К примеру, том законов, относящийся до прав состояния крепостных людей, он называет «таблицей, где обозначена цена человека и где его однолетнее дитя оценено дешевле телят». Наши государственные суды для него «базары, на которых совершаются купчие по продаже человеческой совести...»

Царь слушал, молча барабанил пальцами по столу, а Бенкендорф говорил уже с негодованием:

— Сестра Лунина сообщила ему о каком-то деле, которое должно быть рассмотрено в Сенате. И вот этот отверженный осмеливается писать о высшем государственном учреждении в таких выражениях: «Не надейся на мудрость сенаторов, дражайшая! Кто они, сии блюстители законности? Кавалеристы, которые уже не в силах усидеть верхом. Моряки, которые уже не снесут качки...»

Николай вдруг расхохотался во все горло:

— А ведь ловко подметил, шельмец! Кавалеристы, которые уже не держатся в седле... Ха-ха-ха! Например, князь Лопухин или Татищев... Или моряки, которые не снесут качки... Назимов... или этот, как его... де Траверсе... Ха-ха-ха! Оч-чень метко сказано!

Бенкендорф выждал, пока царь перестал смеяться, и продолжал:

— Если бы эти письма оставались только семейной перепиской, им можно было бы не уделять такого внимания. Но жандармский офицер Маслов, посланный мною в Урик для тайного наблюдения за ссыльными, пограничный пристав Черепанов, якутский полицмейстер Слежановский и другие агенты Третьего отделения доносят мне, что подобные письма ходят во многих списках среди жителей тех мест и имеют развращающее, бунтовщическое влияние на их образ мыслей. Да если бы эти письма ходили только по Сибири. К сожалению, в последнее время они доставляются в Третье отделение и из обеих столиц и из различных губерний.

— Однако это весьма серьезное обстоятельство! — воскликнул царь.

— Меры пресечения и в этом отношении мною уже взяты, — продолжал Бенкендорф. — Сестра Лунина непрерывно осаждает меня просьбами «во имя бога милосердия и всепрощения» оказать ее брату то одну, то другую милость. То ему понадобилось охотничье ружье, то какие-то древние философские книги. Я ей отныне во всем отказываю, ибо не вижу надобности исполнять желание преступника, который, судя по его письмам, нисколько не изменил образа мыслей, приведших его в крепость и в Сибирь... Недавно я предупредил ее, что лишаю их переписки на год...

— Этого недостаточно, — отрубил царь. — Следует отдать приказание местным властям сделать внезапный и рачительнейший осмотр в уриковской квартире Лунина, отобрать от него все без исключения бумаги, а самого отослать куда-нибудь подальше.

— Весьма подходящим считаю Акатуевский острог, ваше величество. Это около тысячи верст за Читой... До сосланных за польское восстание в остроге этом содержались самые страшные разбойники, которых приковывали цепями к стене.

— И чтобы он ни с кем ни личных, ни письменных сношений иметь не мог, — добавил царь. — Но вернемся к Пушкину. Итак, ты считаешь, что его кончина — это кончина одного из деятелей Тайного общества и может случиться так, что толпы у его квартиры вот-вот направятся к Петровой площади, а, Бенкендорф?

Бенкендорф, не мигая, выдержал тревожный взгляд царя и ответил уже своим обычным, спокойно-уверенным тоном:

— Несомненно, что ко всему, что творится у праха Пушкина, и к газетным статьям, и к выкрикам против убийцы-иностранца, причастны разные альманашники и тайные последователи участников четырнадцатого декабря. Почти двенадцать лет прошло с тех пор, как их главари понесли заслуженную кару, а они рады всякому случаю проявить свое недовольство властью. Сам Пушкин, как хорошо известно вашему величеству, состоял в дружбе даже с Рылеевым, не говоря уже о тех, которые сосланы в каторгу. Он до самой смерти не переставал высказывать им свое благоволение то в восторженных стихах, то в посылке книг, то в хлопотах об их семьях. Недавно, например, добивался он пенсии для тещи Сергея Волконского... Ясно, что нынче у гроба Пушкина его поклонники и тайные сторонники ссыльных его друзей воспрянули духом. И само прискорбное для них событие они намереваются использовать как противуправительственную демонстрацию. Сомневаюсь, пойдут ли они к Сенату, но пикеты я на всякий случай приказал расставить по дороге к Исаакию и на прилегающих к собору улицах.

— Разве отпевание будет у Исаакия? — спросил Николай.

— Поскольку Пушкин был прихожанином именно этого...

— Ни к чему! — запретил царь. — Вели отпеть в Конюшенной церкви. И чтобы при выносе из дому никого посторонних не было.

— Я уже предусмотрел все, государь. Вынесут ночью. Толпа разойдется, как и

накануне, часам к трем...

Дальнейшая беседа велась уже в чисто деловом тоне, хотя царя, как всегда, немного раздражала самоуверенность и какая-то веселая наглость шефа жандармов.

— Надо еще, чтобы псковский губернатор, — распорядился Николай, — воспретил для имеющего следовать по его губернии тела Пушкина всякое особенное изъятие, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашим церковным обрядам исполняется при погребении каждого дворянина.

«Мертвого остерегается не менее, нежели живого», — подумал Бенкендорф.

— Жуковский еще просит разрешения подписки на сочинения Пушкина, — продолжал царь. — Это допустить, но сочинения, еще не печатанные, отослать в цензуру для строжайшего разбора. Особливое внимание должно быть обращено касательно истории Петра Великого.

— По сему поводу, государь, я имел беседу с цензором, и он здраво рассудил, что хотя ради благополучия сюжета каждый сочинитель имеет право удаляться от истории, но пользоваться таким правом за счет здравого рассудка автор не должен, и вмешивание в сочинение нелепостей есть погрешность непростительная. Тем более, если он избрал предмет из отечественной истории.

— Согласен, — одобрил царь. — Впрочем, об этом у меня с Жуковским уже все сговорено.

Помолчал и вдруг опять впал в резкий тон:

— Так нынче в ночь увозят его?

— Так точно, ваше величество. Везет Александр Тургенев в сопровождении с жандармом...

— Да еще велеть почтдиректору, — приказал Николай, — нарядить почтальона и до заставы эскадрон жандармов.

— Слушаю, ваше величество.

— И чтобы ни-ни!..

Царь поднял указательный палец.

Бенкендорф звякнул шпорами:

— Слушаю, ваше величество.

— Да, вот еще... — продолжал Николай. — Как обстоит дело с Дантесом в военно-судной комиссии?

Бенкендорф едва заметно улыбнулся:

— Я самолично был в кордегардии и адмиралтействе. Аудитор Маслов решительно настаивал на необходимости вызвать госпожу Пушкину, дабы взять у нее объяснения о поведении господ Геккеренов в отношении обращения их с нею.

Николай оттопырил губы:

— Пушкину не к чему вызывать. Я знаю, что обращение с нею Дантеса заключалось в одних светских любезностях. К тому же он сознался, что, посылая Пушкиной книги и театральные билеты, прилагал записки, кои могли возбудить щекотливость Пушкина, как мужа.

— Само собой разумеется, ваше величество, — подтвердил Бенкендорф. — Пушкин был весьма раздражен еще в ноябре месяце прошлого года, что известно вашему величеству из письма Пушкина к отцу подсудимого, старику Геккерену, и личного разговора поэта с вашим величеством...

— Да, да... — поспешно проговорил царь и снова задал резкий, как окрик,

вопрос: — А непозволительные стихи корнета лейб-гвардии гусарского полка пошли гулять по столице?

— За эти стихи на корнета Лермонтова уже заведено дело, и он будет строго спрошен за них.

— Да известность-то они все равно приобрели, — разозлился Николай. — Кстати, они при тебе, эти предерзостные вирши?

Бенкендорф с готовностью извлек их из кармана мундира:

— Так точно, государь!

— Как там насчет иностранного происхождения Дантеса сказано?

Презрительно кривя губы, Бенкендорф прочел:

...издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока,
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы,
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал.

— Явно возмущает народ против иностранцев, — проворчал царь.

— Стихи, ваше величество, дерзки превыше всякой меры. Есть строки, никак не допустимые и в отношении лиц, близких к трону. Таковы, к примеру, об аристократии, гордящейся отцами, прославленными якобы не заслуженными перед отечеством и государями почестями, а сотворенными подлостями. Для них, дескать, и закон...

— Читал, знаю! — оборвал Николай. — Лермонтова покуда перевести прапорщиком из лейб-гвардии гусарского полка в Нижегородский драгунский. Приказ подпишу завтра.

Вставая, он шумно отодвинул кресло. Бенкендорф щелкнул шпорами и, пятясь, скрылся в дверях.

46. Последний путь

Жуковский послал слугу с запиской к Александру Тургеневу, в которой сообщал, что уже точно определено ему, Тургеневу, сопровождать прах Пушкина в Святогорский монастырь, и звал его к себе хотя бы на самое короткое время. Слуга скоро вернулся, подал письма и газеты, и не успел Жуковский спросить об ответе, как высокая представительная фигура Александра Тургенева показалась в дверях кабинета. Жуковский приказал подать чаю, до которого ни сам, ни гость не прикоснулись. Оба были поглощены горем, которое на них обрушилось. Долго сидели молча, Жуковский — положив голову на скрещенные на столе руки, Тургенев — прислонившись к спинке дивана и закрыв глаза.

— Газеты видел? — первым нарушил паузу Жуковский.

— А есть о нем? — быстро спросил Тургенев.

— Вяземский сказывал, что Краевский выразил сердечную скорбь об Александре Сергеевиче. И, должно быть, по этой причине ни одного номера «Прибавлений к

Русскому инвалиду» нигде не достать. Есть и в этих. Я хотел, было читать, да не смог...

Жуковский протянул газеты Тургеневу.

Александр Иванович развернул «Северную пчелу» от тридцатого января и пробежал взглядом со статьи на статью. Сначала сообщалось о высочайшем приказе, коим «инспектор пехоты и член генерал-аудиториата военного министерства, генерал-лейтенант Скобелев увольняется в отпуск с состоянием по армии», затем шло изложение статьи, напечатанной накануне в «Коммерческой газете», о «сильно проявившемся в последнее время духе общественной предприимчивости и вызванной этим необходимости определить законом порядок учреждения различных коммерческих компаний», и, наконец, дошел до строк о кончине Пушкина.

Их было немного.

— «Двадцать девятого января, — читал он вслух, — в третьем часу пополудни литература русская понесла невознаградимую потерю: Александр Сергеевич Пушкин, после кратковременных страданий телесных, оставил юдольную сию обитель. Пораженные глубочайшей горестью, мы не будем многоречивы при сем извещении. Россия обязана Пушкину благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов. Пушкин прожил тридцать семь лет, весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много в сравнении с тем, что совершил уже он в столь короткое время существования. Хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное отечество».

Тургенев перевел дыхание.

— Ну, а дальше? — спросил Жуковский, всхлипывая.

— А дальше подпись: «Л. Якубович».

— И больше ничего?

— Ничего.

— Не может быть, Александр Иванович! А следующая статья о чем? — допытывался Жуковский.

Тургенев снова приблизил к глазам газету.

— А следующий абзац сообщает, что в среду двадцать седьмого января прибыл в столицу из Новгорода командующий гвардейским драгунским полком генерал-майор барон Врангель...

Тургенев отшвырнул газету в сторону и взял другую.

— А в этой, конечно, и того меньше, — чуть слышно проговорил Жуковский.

В «Санкт-петербургских ведомостях» строки, посвященные Пушкину, Тургеневу едва удалось отыскать. Газета начиналась с высочайшего повеления о том, чтобы «по истечении трех лет никто из уроженцев остзейских губерний не был определен учителем в гимназию или школу, если не будет способен преподавать свой предмет на русском языке, и за исполнением сего наблюдать без упущения...»

Александр Иванович нетерпеливо водил глазами по столбцам газеты. Наткнулся еще на ряд запретов, вернулся назад и, наконец, увидел три строки:

«Вчера, 29 января, в третьем часу пополудни скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина».

— И все, — сквозь стиснутые зубы произнес Тургенев.

— И все, — скорбно повторил Жуковский, когда Тургенев отложил и эту газету.

Прощаясь, Жуковский крепко сжал руку Тургенева:

— Ты содействовал поступлению Пушкина в лицей... Ты вместе с Карамзиным уговорил императора Александра не высылать поэта в Сибирь, ты ходатайствовал о его переводе из Кишинева в Одессу. И вот теперь — ты повезешь нашего Пушкина в Святогорский монастырь... Ты опустишь его в могилу...

В двенадцать часов ночи к трактиру Демута, где остановился Александр Иванович Тургенев, подъехала казенная карета. Спрыгнув с козел, жандарм резко дернул за ручку звонка у входной двери. За стеклом ее блеснул позумент на ливрее швейцара, и тяжелая дверь медленно открылась. Жандарм, задав короткий вопрос, звеня шпорами, взбежал по затянутой полосатым ковриком лестнице и постучал в номер первый.

Через несколько минут жандарм уже возвращался с такой же стремительностью, а за ним, закутанный в длинную шубу, спешил Тургенев.

— Ежели будет спрашивать кто, — сказал он швейцару, — скажи, что буду обратно дня через три-четыре.

Едва захлопнулась дверца кареты, лошади рванулись и понеслись вдоль набережной Мойки. У Конюшенной церкви карета круто остановилась. Тургенев вошел в церковный двор и, обогнув дом священника, приблизился к низенькой дверце, ведущей в подвал. Какая-то фигура стояла у порога. Тургенев, близко заглянув ей в лицо, узнал камеристку Елизаветы Михайловны Хитрово.

— Зачем вы здесь? — с удивлением вырвалось, у него.

— Госпожа там, у гроба, — чуть слышно ответила девушка. — Как все разошлись, подъехали мы сюда неприметно и умолили батюшку, чтоб допустил проститься. Он сперва не соглашался было, боялся. Да Елизавета Михайловна были очень настойчивы.

Тургенев, осторожно спустившись по обледенелым ступеням, открыл еще одну дверь.

В подвале, где стояли пустые ящики и бочки, где лежала, на боку, позеленевшая медная крестильная купель и валялся ржавый кладбищенский крест, прямо на кирпичном полу стоял открытый гроб с телом Пушкина. У его изголовья горели три свечи, прикрепленные растопленным воском к ящику, приготовленному для упаковки гроба. Пламя, задуваемое сквозняком, колебалось, и восковые слезы скатывались со свечей, застывая на них белыми рубцами.

Елизавета Михайловна сидела на сложенных кирпичях и неотрывно смотрела в мертвое лицо. Она даже не обернулась к Тургеневу, когда он подошел и, опустившись на колени, поцеловал мертвую руку поэта.

— Сейчас придут за ним, — осторожно касаясь плеча Елизаветы Михайловны, тихо сказал Тургенев.

— Уже? — спросила она, перевела дыхание и отчаянно зарыдала.

— Утешьтесь, — мягко успокаивал Тургенев. — Конец безвременный, но все же конец его страданиям.

Хитрово обернулась. На какой-то миг она показалась Тургеневу поразительно похожей на своего отца — Михаила Илларионовича Кутузова.

Вместо женщины средних лет со свежим румянцем и статной фигурой, какою Тургенев видел ее недавно на балу у ее дочери Долли Фикельмон, перед ним была согбенная горем старуха. И когда она заговорила, то и голос ее, обычно сочный и задушевный, прерывался старческой дрожью:

— Не могу поверить, Александр Иванович... Не может быть, чтобы эти сжатые губы не шевельнулись улыбкой и вот эти руки не взъерошили кудрей... Поглядите, как его причесали нелепо! Височки загладили, будто чиновнику перед представлением начальству...

Она наклонилась, пальцами, как гребнем, провела по мертвым кудрям. И припала к окоченевшей груди Пушкина.

— Нет, нет! — через минуту вскрикнула она. — Не бьется сердце, там тихо, ужасно тихо! — вырывались у нее скорбные восклицания.

Тургенев, тяжело дыша, тер рукой сдавленное спазмами горло, и ему вспоминались его крепостные крестьянки, вот так же причитающие и голосящие над дорогим покойником.

Петербург был мрачно-молчалив, когда по его ночным пустынным улицам в узком нестроганом ящике везли заколоченное в гробу тело Пушкина. Едва намечались контуры дворцов и церквей, едва дымились сальные плошки в уличных фонарях, и чуть брезжили в окнах полосы света сквозь опущенные на ночь занавески.

Когда проезжали заставу, часы на какой-то колокольне пробили один раз. Под ноги жандармской лошади из подворотни бросилась с визгливым лаем собака. Ей откликнулись другие. Где-то на ржавых петлях заскрипели ворота, и пьяный голос хрипло завопил:

— Хожалы-ый!!..

Заунывной трелью залился полицейский свисток.

Собачий лай стал яростней.

Тургенев забился в угол кибитки, завернулся плотнее в тяжелую енотовую шубу и крепко зажмурил усталые глаза. Собачьим лаем, сливавшимся с перекличкой полицейских свистков, провожал Петербург мертвого Пушкина. Глухо стучался его гроб о доски ящика. Сбоку, примостившись на облучке и придерживаясь за веревку, которой ящик был привязан к саням, сгорбился старик Никита, камердинер Пушкина, сопровождающий его и в этом последнем пути. А между санями с покойником и санями Тургенева маячила угрюмая фигура верхового жандарма.

«Вот уж подлинно истинная картина николаевской Руси, сказал бы брат», — вспомнил Александр Иванович о Николае Тургеневе, уже начавшем писать свои страницы «О России и русских».

Когда выехали на Псковское шоссе, колючие крупинки снега, словно замерзшие слезы, дробно застучали о натянутый верх кибитки. Сквозь щель ее мехового полога Тургеневу видна была мутная, будто заплаканная луна. Время от времени она задергивалась темными, похожими на траурный креп облаками...

С короткими остановками, во время которых Тургенев поил чаем и Никиту и жандарма, снова и снова мчались по полям, над которыми белым дымом кружилась поземка-метель. И все время впереди Тургенева скакали сани с узким ящиком, запорошенным снегом. Снег этот отливал тусклой посеребренной парчой, но при рытвинах и ухабах осыпался, оставляя обнаженными шершавые, сучковатые доски.

«Неужели, — думал Тургенев, — в этих сколоченных тесовых досках — Пушкин? Пушкин — олицетворение жизни, кипучей, искрометной. Пушкин — всегда пылкий и глубокий, и в неистощимой жизнерадостности прежних лет и в мрачной безысходности последних месяцев жизни».

Отдельные сцены с живым Пушкиным вставали в памяти. Вот он у Александры Осиповны Смирновой-Россет читает после обильного, с винами обеда отрывки из

«Пугачевского бунта». Тургенев задремал под чтение. Хозяйка, заметив это, покраснела до слез. Заливчатый смех Пушкина разбудил Тургенева. «Прости, Александр Иванович, прости, что помешал спать», — шутливо извинялся он и снова принялся читать... А вот он на дворцовом балу. Изысканно любезный, но неотрывно и зорко наблюдающий за своей женой, которая танцует с царем... Вот поэт быстро и широко шагает вдоль Невы, никого не замечая, с лицом, освещенным каким-то внутренним ярким светом. И, наконец, смертельно раненный, с глазами, устремленными на полки с книгами, с безысходной тоской в каждом движении, в каждом повороте гениальной головы... Целый мир радостей, печалей, ненависти, любви, добра и гнева, бурное сплетение этих чувств — все это вдруг застыло навеки и заключено в этом гробу, ныряющем по сугробам и ухабам метелью занесенных трактов и проселочных дорог...

И чем больше думал о Пушкине Александр Иванович, чем ярче вспоминал всю его жизнь — от лицейских дней до этого скачущего впереди гроба, тем больше ему начинало казаться, что ему, Тургеневу, пришлось наблюдать в жизни прохождение прекрасного светила, его восход, зенит и, наконец, закат...

В Луге решили отдохнуть. Ящик с гробом подвезли к окраинной церкви. Тургенев распорядился позвать попа и отслужить панихиду. Священник явился с дьяконом и пономарем. С изумлением выслушал Тургенева, переводя растерянный взгляд с него на необычайного покойника. Долго шептался с причтом, покуда, наконец, решился начать панихиду.

— ...«Упокой, боже, раба твоего и учини его в раи, идеже лица святых, господи, и праведницы сияют, яко светила, усопшего раба твоего упокой, презирая его вся согрешения...» — надорванным баритоном выводил дьякон, когда в церковь ворвался исправник и, с трудом переводя дыхание, подбежал к Тургеневу.

— Никак невозможно, ваше высокородие! — скороговоркой выпалил он. — Экстренный фельдъегерь... Секретное распоряжение шефа жандармов, его сиятельства графа Бенкендорфа, чтобы никаких... — и совал в руку Тургенева какую-то бумагу с казенным орлом и печатями.

Тургенев взглянул на нее. Бросились в глаза выведенные канцелярским писарем строки:

«Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле... Поручение графа Александра Христофоровича Бенкендорфа и вместе с тем имею честь сообщить волю государя императора, чтобы воспретить всякое особенное изъявление...»

Не дочитав, Тургенев с негодованием вернул бумагу:

— Да ведь это обычный церковный обряд! Не стоять же гробу на дворе, рядом с возами с живностью и мукой, — кивнул он в сторону нескольких крестьянских саней, наполненных направляемой помещику кладью.

— Так точно, ваше высокородие, но уж лучше подальше от греха.

Исправник переминался с ноги на ногу, делая священнику знаки прекратить службу.

— «Вечная память, вечная память, вечная память...» — комкая слова, торопился священник, а дьякон уже спешил гасить намусоленными пальцами тонкие, едва обгоревшие свечи и складывал облачение в желтенький ситцевый узелок.

Вошедшие мужики просунули шапки под кушаки и понесли гроб обратно, оставляя следы от оттаявших валенок.

Тургенев взобрался в свой возок, жандарм тяжело влез в седло, а Никита

примостился на облучке возле ящика.

И снова необычайный кортеж двинулся к околице.

— Гляди-ко, чего дется! — сказал один из крестьян, смотря вслед процессии.

— Диво! — коротко поддержали другие и стали медленно расходиться каждый к своим саням...

Поп с дьяконом и пономарем постояли некоторое время на паперти.

— Отбить звоны по душе? — спросил пономарь.

— Ударь разков десятков, — разрешил поп.

Медленные, тягучие удары колокола донеслись к саням, когда они уже мчались по сверкающим от солнца снежным полям.

Под вечер прискакали в Псков.

Губернатор встретил Тургенева в своем жарко натопленном кабинете очень любезно и даже пригласил остаться ночевать.

— У меня нынче танцуют, — прибавил он и взял Тургенева за талию.

Александр Иванович отшатнулся.

— Где же танцевать, когда... — он сделал жест рукой в ту сторону, где за высоким окном темнел силуэт длинного ящика.

Губернатор немного смутился.

— Грустно, грустно... — проговорил он со вздохом. — И так внезапно. Я ведь всегда был преисполнен к покойному лучших чувств и всегда готов был оказать ему услугу... Между прочим, мой Евстигней — отличнейший повар. Жаль, что не остаетесь отужинать, а то убедились бы самолично. Я весьма ревниво отношусь к тайнам его искусства. Но в угоду Александру Сергеевичу разрешил Евстигнею взять к себе в учебу поваренка Пушкина, и мой повар так вышколил парнишку! Если изволили кушать у покойного, не могли не обратить внимания. Особенно умело приготавливал его повар дичь. Зайца, бывало, нашпигует малороссийским салом и так подаст! — Губернатор прищелкнул языком. — Оставайтесь, Александр Иванович, право. Гроб сейчас пошлем, а вы утречком вслед поскачете. Об обряде погребения я предупредил...

Тургенев отказался еще суше и решительней.

— Как угодно, — с сожалением произнес губернатор и велел чиновнику вручить Тургеневу две бумаги: одну — от архиерея настоятелю Святогорского Успенского монастыря, другую — от себя исправнику «на место назначения следования покойника».

Последняя остановка была в Тригорском у Осиповой. Прасковья Александровна, простоволосая, в накинутой на плечи черной шали, выбежала на крыльцо и с воплем упала на гроб. Обе ее дочери, дрожащие от слез и холода, старались оторвать ее от обледенелого ящика.

— Маменька, полноте, уймите горе.

— Боже мой, — рыдала Осипова, — наш Пушкин, наш Александр в этих досках! Холодный, навеки умолкший...

Кто-то накинул ей на плечи лисий салоп, кто-то подал успокоительных капель, кто-то распорядился:

— Нарубить ельнику и прикрыть гроб. Да снарядить мужиков в Святогорский монастырь копать могилу.

С вечера долго сидели в гостиной, в беседе изливая свое неизбывное горе.

— Надо было действовать и действовать без промедления, — говорила Прасковья

Александровна. — Ведь он еще в двадцать четвертом году посвятил меня в свой план задуманного бегства за границу. Ведь писал же он мне еще недавно, что петербургское его житье отнюдь не по нем, что ни его склонности, ни его средства не ладятся с проживанием в столице. И мне надлежало проявить большую настойчивость в деле покупки для Пушкиных Савкина. Быть может, если бы он приехал сюда, мы все силою своей дружбы и любви удержали бы его в этих местах, если не на постоянное жительство, то хотя бы на длительные периоды. Нам надо было бы воздействовать и на его жену. И кто знает, не нашлось ли бы в ее голове достаточно внимания, чтобы выслушать доводы в пользу преимуществ жизни в деревне... Надо было, во что бы то ни стало заполучить их сюда... Но все мы, как вандалы, не умеем беречь свои сокровища. И вот это сокровище погибло, и завтра мы зароем его в землю.

Прасковья Александровна заплакала навзрыд: Плакали и ее дочери.

Тургенев утешал их:

— Пусть вас хоть в некоторой степени облегчит мысль, что дни, которые он провел с вами в Тригорском, останутся вовеки незабвенными для сердца.

Александр Иванович, заложив руки за спину, шагал по гостиной со стенными зеркалами, штофной мебелью и овальными вверху окнами.

«Сюда приходил или приезжал он верхом из Михайловского... В этих зеркалах отражались стремительные его движения, кудрявая голова, сверкающая улыбка... Здесь звучал его заразительный смех... Из этих окон любовался он яблоневым садом...»

Тургенев задержался у большого полотна «Искушения святого Антония», висевшего над диваном.

Заметив, что он всматривается в картину, старшая дочь Осиповой сказала:

— С этой картины Александр Сергеевич взял чудищ для сна Татьяны в «Онегине»...

— Сколько бывало у нас в те годы шума, смеха, легкокрылых забав... — вздохнула младшая дочь. — Какие люди гостили тогда у нас...

— Александр Сергеевич по-юношески влюблялся тогда в моих племянниц, дочерей, кузин... И писал стихи им всем. Всем, всем... И даже мне... — сказала Прасковья Александровна, потупив заплаканные глаза. — И какие стихи! — Она порывисто встала, вышла в свою спальню и вернулась с большим альбомом в тисненем кожаном переплете.

— Этот альбом — подарок моего незабвенного двоюродного брата — Сережи Муравьева-Апостола, — с гордостью проговорила она.

Все наклонились над альбомом, перелистывая страницу за страницей.

Стихи Пушкина, Дельвига, Языкова и снова Пушкина украшали эти пожелтевшие страницы.

С болью в сердце читал Тургенев драгоценные, собственноручно написанные поэтами строки. А сидящие рядом с ним женщины наперебой сообщали ему, когда и по какому поводу было написано каждое стихотворение, вспоминая даже мелкие подробности, которые теперь казались им такими значительными.

За чаем, Тургенев рассказывал, как незадолго до кончины Пушкин вспомнил о своей поездке летом двадцать девятого года на Кавказ, где по пути из укрепления Гер-Гер к Безобдальскому перевалу он повстречался с телом Грибоедова, которое везли на волах, впряженных в арбу. Грибоедов погнб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства.

Обезображенный труп его, бывший в течение трех дней игралищем разбушевавшейся тегеранской черни, узнан был лишь по простреленной в дуэли с Якубовичем кисти правой руки.

— Подлый прицел в руку! — сказала Прасковья Александровна. — Ведь Грибоедов был отличный музыкант.

Поздно ночью, когда все разошлись по комнатам, она встала с постели и подошла к окну, на подоконнике которого много раз сиживал Пушкин в его частые наезды в Тригорское. Воспоминания, дорогие ей одной, охватили ее. Она приникла лбом к обледенелому стеклу. Сквозь набросанные на нем морозом узоры смутно синел силуэт покрытого снегом и еловыми ветвями гроба. Вьюга усиливалась. Ветер взметал и трепал снежные вихри, и казалось, что земля в отчаянии рвала на себе седые космы...

Тургенев бросил первую горсть земли на крышку гроба. Стоящие с лопатами мужики встрепенулись и, разобрав воткнутые в сугроб лопаты, стали зарывать могилу. И мерзлые комья застучали сначала гулко о крышку гроба, потом глуше и глуше. Священник непослушными от холода губами дочитывал молитвы. Когда над могилой у подножия монастырской стены образовался черно-белый из снега и земли холм, Тургенев нагнулся, взял щепотку земли и всыпал в свою табакерку из слоновой кости.

— Семье? — спросила Осипова и озябшей рукой провела по заплаканному лицу.

— Нет, Элизе Хитрово.

Тургенев подал Прасковье Александровне руку, и они стали медленно спускаться по крутому склону монастырской горы. Жандарм следил за ними слезящимися от мороза глазами. По пути Осипова сломала мерзлую веточку яблони.

— Свезите ей и это. Александр Сергеевич так любил яблони, в особенности когда они бывают в цвету.

— Ты долго ль здесь торчать будешь? — с сердитым нетерпением окликнул жандарм Никиту, неподвижно стоящего у свежей могилы.

Тот не ответил и, не спуская глаз с могильного холма, продолжал горестно, нараспев вполголоса причитать:

— Спи, Александр Сергеевич, спи, соколик, уж тутотка не беспокоят тебя ни ябеды, ни указы. Не разбудят ни други, ни вороги. Может, ворон каркнет, али соловушка засвистит по весне... Может, ветерок в зиму снежком, а летом травушкой зашелестит, али облачко краешком заденет, али зорька слезами оросит, али тучка дождиком прольется...

Мужики молча слушали эти обычные для деревни причитания, не казавшиеся им странными даже в устах прошедшего всю жизнь в городе барского камердинера.

Жандарм окликнул Никиту еще раз:

— Уйдешь, что ли?

Никита вытер рукавом слезы, перекрестился и, не надевая шапки, пошел прочь...

Жандарм рысцей побежал греться в старостину избу.

Аккуратно окопав могилу, мужики тоже стали расходиться, перекидываясь фразами о похороненном барине:

— Хранцуз убил его, сказывал Никита. Жену его будто облюбовал для себя хранцуз, а Лександр Сергеич и заступись за нее. «Не дам, гыть, никому жены своей на поругание, не допущу до сраму...» А тот возьми да и бахни его из пистолета.

— У них, у господ, это — что сплюнуть, — сказал живший когда-то при барах в Петербурге Тимоха Падышев. Тимоху давно, после того как его изуродовала оспа, мать Пушкина вернула назад в деревню, но все же он считал себя большим знатоком

господских нравов и обычаев. — У них не то что на большом трахте али в густом бору в ночную темь, а прикончат друг дружку при людях, средь бела дня, и делу конец...

— Жалко барина! — вздохнул парень, с которым Пушкин часто посылал записочки к тригорским соседкам.

— Добрый был барин, — поддержал Ефим Захаров, — братуху моего помиловал когдысь.

— А за что взыскан был браток? — спросил Леха Тарасов.

— А рожь он из-под колосников крал да рижнику Кярею свозил.

— А вот кому теперь тоска-кручина, так это Ольге Калашниковой, — сказал Тимоха. — Хотя прошло тому немало времени, как барин еще в холостяках любилсся с нею, хоть и вышла Ольга за повытчика, а все ж, бывало, как стряется с нею или с ейным семейством беда какая, так она Лександр Сергеичу письмецо и шлет. И, глядишь, беспрременно он ей помощь окажет.

Мужики помолчали. Леха Тарасов завернул козью ножку.

— А шутник был покойный... Уж такой озорник... Помню, дело было в самый тот год, как холера людей косила. Вышел Лександр Сергеич после поповской проповеди вместе с народом на паперть. Мужики и приступили к нему: «По какой-такой причине болезнь эта самая вредная приключилась?» А он зубы оскалил, белые, ровно репки, и смеется народу: «Начальство, грит, полагает, что холера оттого приключилась, что мужики оброка в срок не платят».

Тургенев с Осиповой обошли все комнаты господского дома. В кабинете Пушкина постояли над запыленным письменным столом, на котором лежали пожелтевшие листы бумаги и несколько огрызков гусиных перьев. Прасковья Александровна, горько всхлипывая, задернула зеленую шторку над книжной полкой. Переставила светильник с круглого столика на письменный, поправила сбившийся коврик возле дивана.

Потом они вышли к покрытой льдом Сороти. Поглядели на снежные дали, на синий лес. Перед ссутулившимся домиком Арины Родионовны Тургенев снял шапку.

— А эти две — самые его любимые, — сказала Прасковья Александровна, указывая, на высокие красавицы сосны в приусадебном парке. Одна из них положила свои мохнатые от снега ветви на маленькие сосенки, как мать опускает руки на плечи детей.

— Для русских эти сосны будут так же священны, как дерево Торквато Тассо над вечным городом, — благоговейно глядя на них, сказал Тургенев.

47. Дорогие воспоминания

Марья Николаевна и Поджио шли берегом реки. Тонкой клюкой, срезанной Поджио в лесу, Волконская раздвигала высокую траву и под корень срывала полевые лилии — саранки. Они никли на тонких стеблях. Марья Николаевна думала, что, вероятно, так никла головка ее больного Николеньки, который был не в силах держать ее на тонкой шее.

Набрав целый букет, Волконская на миг прижала его к своему разгоряченному лицу и вдруг широким взмахом бросила в речную гладь.

Поджио с удивлением посмотрел на свою спутницу. Заметив на ее глазах слезы, он осторожно взял ее под руку.

— Вы сегодня очень нервны. И расстроила вас, конечно, почта.

— Да, Сергей получил от губернатора срочную эстафету. Губернатор требует от него немедленного прибытия. А от таких вызовов я ничего хорошего не жду.

— Губернатор вызывает только одного вашего мужа?

— Нет, всех, у кого есть дети...

— Формальность какая-нибудь, — успокаивающе сказал Поджио и, наклонившись, поцеловал руку, лежащую на его руке.

Волконская прерывисто вздохнула:

— Если еще и с нашими детьми придумали что-нибудь сделать, тогда уж и не знаю, где взять силы жить...

Она опустила глаза, и несколько слезинок скатилось с ее длинных ресниц.

Поджио крепче прижал к себе ее локоть.

— А мне достаточно только видеть вас, — с глубокой нежностью заговорил он после долгой паузы, — только хоть изредка видеть вас и изредка хоть вот так побыть с вами наедине, пройти с вами рука об руку хоть несколько шагов, чтобы жизнь имела для меня и цель и смысл.

— Как вы щедры на слова! — с укоризной проговорила Волконская.

Поджио по привычке тряхнул длинными черными кудрями, в которых было уже много седины.

— Будто вы не знаете, что я люблю вас с нашей первой встречи в Одессе, потом в Каменке...

Марья Николаевна, покраснев, перебила шутливо:

— В те годы мы все были влюблены в кого-нибудь...

— А я и в Благодатском руднике, и в Петровском каземате, и вот здесь, в Урике, и до конца дней моих буду любить вас.

— Зачем вы мне уже не впервой говорите об этом?

— Затем, что не знаю, для чего я должен молчать о том, чем живу.

— Но ведь вы знаете, что я приехала сюда ради Сергея.

— О, да, — поспешно согласился Поджио. — Чувство долга и готовность во имя этого чувства идти на жертву вам весьма свойственны. На то вы и дочь своего отца. Разве он не из чувства долга в двенадцатом году вывел впереди полка пред лицом врага двух своих малолетних сыновей? Это та же готовность к жертве.

При упоминании об отце глаза Волконской заблестели гордостью.

— Мне недавно прислали из дому письмо Дениса Давыдова о папеньке. Он пишет, что не существовало полководца, коего жизнь более подлежала бы перу философа. Отец, пишет Денис, был отличный воин, герой на полях битвы. Но на него надо глядеть не с одной этой точки зрения. Ибо героизм военный был в нем не что иное, как один из лучей его прекрасной души, которая вмещала в себе и гражданские и семейственные добродетели.

— И в этих последних вы, кажется, хотите его превзойти? — с едва уловимой иронией спросил Поджио.

— Оставим этот разговор, — решительно проговорила Волконская.

— Извольте, отложим его.

Оба помолчали.

— А у меня тяжелые известия о брате, — грустно заговорил Поджио.

Марья Николаевна вопросительно взглянула на него.

— Матушке удалось узнать из верного источника, — продолжал Поджио, — причину, по которой несчастного брата держат в крепости уже десять лет.

Оказывается, его тесть, статс-секретарь Бороздин, лично просил об этом царя. Дело в том, что супруга моего брата хотела непременно следовать за ним в Сибирь. И вот отец ее не постеснялся придумать, такой мерой, удержать дочь при себе.

— Как это бесчеловечно! — возмутилась Волконская.

Поджио подавил тяжелый вздох и поспешил переменить разговор.

Река порозовела от косых лучей солнца. Рябь мелких волн, прибываясь к берегу, оставляла середину ее гладкой и переливчатой, как перламутр. Какие-то рыбешки вскидывались над водой и вновь исчезали, оставляя на зеркальной поверхности реки зыбкие расплывающиеся круги. В воздухе медленно и лениво звучали удары церковного колокола.

— Когда так звонит колокол, — грустно заговорила Болконская, — мне всегда вспоминается наша гувернантка мисс Матен, которая до экстаза любила английскую поэзию и в особенности Томаса Мура. Когда мы живали у бабушки в Каменке, она, бывало, выйдет с нами гулять к Тясмину, и, как только зазвонят к вечерне, сложит молитвенно руки и начинает декламировать под звон колоколов:

Those evening bells, those evening bells,
How many a tale their musik tells...
(Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он...)

И при этом и нам начинало казаться, что колокола так и произносят: bells, tells...

— Давайте попробуем и сейчас, — с улыбкой предложил Поджио.

Они остановились и прислушались.

— Ну, что? Слышите? — краснея под влюбленным взглядом Поджио, спросила Марья Николаевна.

— Да, — решительно тряхнул кудрями Поджио, — явственно слышу.

В это время к редким звукам большого колокола присоединились частые и веселые удары маленьких.

Поджио наклонил голову к плечу и приложил согнутую ладонь к уху.

— Что они вам говорят? — мечтательно спросила Волконская.

Поджио встал в позу дирижера и, взмахивая рукой, произносил в такт колокольному звону: то басом — ром, ром, — когда ударял большой колокол, то фальцетом — джин, глинтвейн, джин, глинтвейн, — когда перезванивали маленькие.

— Как вам не стыдно! — хотела рассердиться Марья Николаевна, но смех смял серьезность.

— Нет, ей-богу, славно получается! — по-мальчишески радовался Поджио и, надувая щеки, продолжал: — Ро-ом, пунш, ро-ом, глинтвейн...

— Полно дурачиться! — сказала Волконская и повернула обратно.

— Не сердитесь, — попросил Поджио, — сами же научили. Вот я вам цветов нарву. Смотрите, какие незабудки! Ведь в гривенник величиной. А эти оригинальные саранки! Не сошли нас сюда царь, мы бы и понятия не имели об эдакой прелести...

Нагибаясь к цветам, он ловко срывал их на ходу.

— Надо бы в детской ставни закрыть, — сказала Марья Николаевна, подходя к дому, — а то там уже зажгли свечи, и выходит, что два света. Это нехорошо для Мишина зрения: оно у него и так слабое.

— Можно мне зайти к вам? — спросил Поджио.

— Приходите позже. Я сейчас займусь детьми, а Сергея нет дома.

Она подошла к окну детской и, прикрыв ставни, просунула сквозь круглое отверстие железный болт.

Тотчас же изнутри кто-то притянул его втулкой, и Мишин голос радостно проговорил:

— Это, наверно, маменька вернулась.

Марья Николаевна быстро взбежала по ступенькам крыльца.

— Букет возьмите! — крикнул ей вдогонку Поджио, но она уже скрылась в дверях.

Сквозь кружевные гардины Поджио видел, как она со свечой в руках прошла по комнатам. Он вздохнул всей грудью и, перебросив цветы через ограду палисадника, повернул к своему дому.

Улинька читала детям вслух пушкинскую сказку. Но едва только Марья Николаевна переступила порог, как Миша бросился ей на шею, через минуту Нелли вскарабкалась на колени, а маленькая дочь Пущина прильнула щекой к ее плечу.

Няня Варя, одетая в новое голубое с оборками платье, в сторонке взяла крошечные рукавички.

— Кому это они предназначаются, Варвара Самсоньевна? — спросила Волконская.

— А тому, кто меньше озорничает да капризничает, — дипломатично ответила Варя. — Вот сейчас, к примеру, принесу я кашу, мы и поглядим, кто ее послушенько скушает, — и она вышла.

Марья Николаевна попросила Улиньку испечь чего-нибудь к чаю.

— Я и то думала, — сказала Улинька. — Ведь у нас нынче гостей много будет. Уж Якушкин с Оболенским приехали, а Горбачевский и другие, должно, попозже явятся.

— Ну, как Оболенский? — спросила Марья Николаевна.

— Приветливы, как всегда... — ответила Улинька.

— А ты знаешь, зачем он ездит к нам? — улыбнулась Марья Николаевна.

— Что ж ему не ездить...

Марья Николаевна взяла ее за подбородок и приподняла смущенное лицо.

— Ты скажи мне откровенно, ужели так всю жизнь и будешь любить... — Марья Николаевна не хотела при детях называть Давыдова.

Но Уля догадалась, вспыхнула:

— Мне супругу его, Александру Ивановну, больно жалко. Хворает она за каждым ребенком и, от худых мыслей, чисто извелась вся.

— А ведь Оболенский, кажется, не на шутку... — начала, было, Волконская, но Улинька с усмешкой отмахнулась:

— На мое мнение, Оболенский блажит, только и всего. А не пойду за него я, он на Варваре Самсоньевне женится. Чай, заметили вы, как она расфуфырилась нынче. И так всякий раз, как Евгений Петрович приезжает... Вот помяните мое слово, поженятся они, — прибавила она с такой уверенностью, будто знала, что ее предсказание впоследствии действительно сбудется.

Марья Николаевна уселась с детьми на диван. Они прижались к ней с обеих сторон и наперерыв сообщали, что делали в ее отсутствие. Потом стали просить, чтобы она рассказала что-нибудь.

— Что бы такое?.. — задумалась Марья Николаевна.

— Расскажите, как вы Байкал переезжали, — попросил Миша.

— Да ведь я это не раз рассказывала.

— Ну, маменька, голубушка, — попросила и Нелли, — расскажите! Я это люблю, — и, подражая во всем старшему брату, прижалась к материнской руке.

— Ну, маменька, мы слушаем.

И дети притихли.

— А как твои занятия, Миша? — спросила Марья Николаевна.

— Сегодня еще с паном Сабинским урок истории. Он предупредил, что немного опоздает, — ответил мальчик и еще раз попросил: — Да ну же, маменька!

— Чтобы тебе, Мишенька, тогда еще совсем крошке, было свежее молоко, — начала Марья Николаевна любимым детям рассказ из прошлого, — посоветовал мне князь Оболенский взять с собой в парусник корову. Мы купили ее у бурята. Но как только она увидела бушующие волны озера, — уперлась и ни за что не хотела идти в баркас. Насилу ее втащили туда за рога. Не успели мы отъехать несколько от берега, как она стала мычать и метаться так, что баркас со стороны на сторону кренился и зачерпывал воду. Решили ее высадить на берег, и как только развязали ей на суше ноги, так она и бросилась стремглав...

— Нет, нет, маменька, вы пропустили самое чудесное, как перевозчик сказал: «Княгиня матушка, взбесилась Буренка, молоко от нее как бы беды их сиятельству князю Михайле не натворило. Упаси бог, и дитяtko взбесится»... — и Нелли закатилась звонким смехом. Смеялась и Аннушка.

Миша сдвинул густые, как у отца, брови.

— Вот уж хохотушки! Ведь мы же помним, что сказал лодочник.

— А я хочу, чтобы маменька еще раз рассказала.

— Ну, не спорьте, — остановила детей Марья Николаевна и продолжала свои воспоминания о переезде через Байкал, когда Мише было около двух лет.

Пять дней бросал, как ореховую скорлупу, парусное рыбацкое судно разбушевавшийся Байкал. Миша, весь продрогший от холода, уже не плакал, а только жалобно взвизгивал, едва шевеля сухими, посиневшими губами. Марья Николаевна в отчаянье прижимала его к своей застывшей груди. Ей казалось, что она теряет и ребенка, который у нее на руках, и того, кто в последнее время уже так уверенно шевелился под сердцем, а в эти дни почти прекратил свои движения.

Марья Николаевна задумалась над тем, как передать детям ее тогдашнюю тревогу. Посмотрела на Нелли. Тяжелые ресницы слипались у девочки в медово-сладкой дремоте.

— Ты, Миша, пойдй в классную, — шепотом, сказала Марья Николаевна сыну.

— Нет, нет, маменька, рассказывайте, я слушаю, рассказывайте! — сквозь сон просила Нелли.

— Я лучше спою тебе, маленькая моя, ту песенку, что певала над твоей колыбелью, — ответила мать.

— Ну, и еще лучше! — улыбнулась девочка, не открывая глаз.

Аннушка тоже прикорнула на диване.

Убаюкивая дочь, Марья Николаевна пела колыбельную песенку:

Налетели гуленьки на Неллину люленьку...

Нелли попыталась было подтянуть, но ничего, кроме сонного мурлыканья, не

вышло. Марья Николаевна положила ее на диван рядом с Аннушкой и пела еще немного, все понижая голос. Потом прикрыла обеих девочек беличьим одеяльцем и вышла в соседнюю комнату.

На освещенном свечой столе белело оставленное накануне письмо от сестры, Катерины Орловой. Захотелось снова прочитать его:

«Среди посылаемых тебе, дружочек мой, книг ты найдешь роман госпожи Дюдеван, или, как она себя величает, Жорж Санд „Le Secretaire intime“ *note 75*, в русском переводе названный почему-то «Квинтилия». Романы этой писательницы вообще суть живые картины сокровенных чувств, рождающихся в самых тайных изгибах женского сердца. В «Квинтилии» ты увидишь главную героиню романа, женщину, созданную повелевать не только людьми, но и своими страстями. Женщину — прекрасную фантазию воображения, которая вряд ли может существовать на земле. Ибо, если б эта женщина жила, она свела бы с ума самого холодного флегматика, так много в ней прекрасного, возвышенного, так много простоты и очарования.

Она похожа несколько на нашу свойственницу княгиню Зинаиду Волконскую.

Кстати, да будет тебе известно, что Зинаида купила в Риме участок земли, принадлежащий некогда императрице Елене, матери равноапостольного князя Константина, и выстроила для себя виллу, необычайную по строгой роскоши, на самом краю вечного города. Великолепный фасад святого Иоанна Латеранского осеняет виллу с одной стороны, в то время как по далеко расстилающейся Кампанье из голубого лона Албанских и Сабинских гор тянутся к ней и входят в самый сад древние своды римских акведуков. Элен пишет, что вилла эта напоминает более католический костел, нежели обителище одной из красивейших в свете женщин, каковою все еще слывет Зинаида. Боюсь думать, что опасения мои относительно ее намерения принять католичество скоро оправдаются. Уж слишком много возле нее, по словам Элен, вертится всяких монахов и прелатов! К тому же смерть Веневитинова не могла не подействовать на нее в смысле отхода от суетной светской жизни. При вилле раскинут украшенный скульптурами сад, который она называет «кладбищем друзей». Возле мраморного бюста Веневитинова мраморная же урна, увитая розами. Наша Элен часто бывает у Зинаиды и, несомненно, находится под сильным ее влиянием. Мать покойного Пестеля прислала Элен масонские знаки своего сына. Элен подробно описывает их в письме ко мне: на черном суконном нагруднике, обшитом прозрачным серебряным позументом, изображены череп и кости. И белый из слоновой кости ключ на голубой ленте. Элен счастлива этим подарком. «Значит, — пишет она, — Павел Иванович говорил обо мне своей матери, а это очень, очень много». Элен не стремится к восстановлению своего здоровья, ибо, по ее выражению, она жаждет лишь скорейшей встречи с Пестелем, если только душа ее достигнет тех высот, где, по ее убеждению, витают души таких подвижников, как он. Бедная наша Элен! Зинаида послала тебе ноты и несколько листьев с могилы Вергилия...»

Набежавшие слезы затуманили строки письма. Марья Николаевна отложила его и стала медленно ходить по комнате. Потом подошла к фортепиано, открыла ноты и запела. Сначала романсы Глинки, потом попробовала разучивать пьесы, которые прислала Зинаида из Рима. Последние были похожи на псалмы и церковное песнопение, но все же что-то теплое, как лучи итальянского солнца, проникало в эту

Note75

Доверенный секретарь (франц.).

строгую музыку. Когда она умолкла, в комнату после легкого стука вошел Лунин.

— Я долго стоял по ту сторону двери и слушал ваше пение, — заговорил он в сильном волнении. — Я давно-давно не слышал такой музыки. Я избегаю музыки, ведь она — язык окружающего нас невидимого мира и, как все таинственное, глубоко волнует все мое существо.

Марья Николаевна внимательно посмотрела в его худое лицо с большими глазами. Глаза эти светились болезненным блеском.

— А вот Веневитинов, — задумчиво проговорила Марья Николаевна, — когда накануне моего отъезда из России мы встретились с ним у Зинаиды, сказал, что ничто согласнее музыки не может раздаваться в нашей душе, когда все струны нашего сердца растроганы чувством меланхолии и сливаются в один вечный аккорд печали.

Произнося эти слова, Марья Николаевна перебирала клавиши, как бы вспоминая что-то. Лунин прошелся несколько раз по комнате и снова сел у фортепиано.

Марья Николаевна видела его тонкий профиль, тенью упавший на белую известь стены, видела сухие со стиснутыми пальцами руки.

— Вы очень похудели, Михаил Сергеевич, — ласково сказала она.

Лунин пожал плечами.

— Тело мое испытывает в Сибири страдания. Но дух мой, свободный от жалких уз немоги, странствует по равнинам вифлеемским и вместе с волхвами вопрошает звезды: что есть истина? Я жажду истинного счастья, а оно состоит в познании истины. Все остальное — лишь относительное счастье, которое не может насытить сердце, ибо не находится в согласии с нашими бесконечными плотскими желаниями.

Марья Николаевна снова пристально посмотрела в его лицо, и оно своей экзальтированностью напомнило ей какого-то средневекового фанатика.

Лунину показалось, что в ее глазах мелькнуло выражение страха, и он резко спросил:

— Быть может, мне лучше уйти? Вам тяжело со мной?

Волконская положила свои теплые пальцы на его руку.

— Не знаю, Михаил Сергеевич, — мягко сказала она, — не знаю почему, но я чувствую над собой ваше нравственное владычество. И от этого мне нелегко с вами. В этом вы правы...

Лунин поднес ее пальцы к своим бледным губам.

— Я счастлив, княгиня, вашим признанием и объясняю его лестным для меня соображением, что хотя вы по молодости не в силах принять сердцем моего трактования цели и смысла жизни, но разумом вы уже постигаете его. Подобное уже совершилось однажды в моей жизни с женщиной, которую я тоже глубоко любил.

Последнюю фразу Лунин произнес очень тихо, чуть запнувшись перед словом «тоже». Марья Николаевна опустила глаза на клавиши. В полированной слоновой кости отражалось колеблющееся пламя свечей и неясное очертание ее склоненной головы.

— Сыграйте мне Бетховена, — попросил Лунин.

— Конечно, вашу любимую «Героическую симфонию»? — с уверенностью спросила Марья Николаевна.

Лунин помог ей найти ноты и, пока она играла, сидел неподвижно, изредка шепча в восторге:

— Какое неисчерпаемое вдохновение! Какая мощь!..

Когда она исполнила последние аккорды, он глубоко вздохнул:

— Я не знаю ничего лучше этой музыки.

— Наша Жозефина рассказывала, что Бетховен посвятил эту вещь герою французской республики, консулу Бонапарту, — сказала Марья Николаевна.

— Да. Но когда он провозгласил себя императором, Бетховен разорвал свое посвящение, — задумчиво проговорил Лунин.

— Хотите, я вам сыграю листовскую «Quasi una fantasia», — перелистывая ноты, предложила Марья Николаевна. — Я очень люблю ее.

Лунин поднял на нее серьезный и в то же время восхищенный взгляд.

— Вероятно, потому, что вы и есть тот цветок между двух бездн, о которых говорит Лист в объяснениях к своей пиесе.

Марья Николаевна взяла первые аккорды, но в этот момент послышался шум подъехавших дрожек, и она опрометью бросилась из комнаты.

— Не волнуйся, Маша, — быстро подходя к ней, заговорил Волконский, — возможно, гроза пройдет стороной.

— Дети?.. — тревожно вырвалось у Марьи Николаевны.

— Сейчас все расскажу, — разматывая шейный шарф, говорил Волконский.

Марья Николаевна впиалась в его хмурое лицо выжидательным взглядом.

— Милость, видите ли, монаршую объявить вызывал, — пожимая руку Лунина, продолжал Волконский. — Сыновей наших, буде мы на это согласимся, мы вправе отдать в военные учебные заведения с тем, что в правах дворянства они будут утверждены по выходе из корпуса, только если заслужат сего нравственным поведением, хорошими правилами и успехами в науках... Дочерей также можем отдать в учебные заведения, состоящие под надзором правительства.

— Так ведь это хорошо, в Иркутске есть гимназии... — произнесла с облегчением Марья Николаевна.

Волконский иронически улыбнулся.

— Интересно, по каким причинам царь от рукоприкладства переходит к подобному рукоположению? — желчно спросил Лунин.

— Причины не столь важны, — ответил Волконский. — Но слушайте, слушайте! Милость эта связана со следующими кондициями: детям обоего пола не дозволять носить фамилий, коих невозвратно лишились их отцы.

Волконская, как бы от испуга, втянула голову в плечи:

— Как же без фамилии? Я что-то не понимаю, Сергей...

— Фамилии предложено давать по именам отцов, то есть мои дети будут называться Сергеевы, Муравьева — Никитины...

Марья Николаевна привсталала с места.

— Что же вы ответили?

Лунин тоже остановил на Волконском испытующий взгляд.

Мы с Никитой и Трубецким тут же отказались, и только Давыдов немедля согласился.

— Неужто? — ахнула Улинька, которая неслышно возилась у буфета.

Волконский молча кивнул головой и продолжал:

— Рупперт ужасно рассердился. Стал попрекать нас неизъяснимым упрямством и себялюбием. Грозил донести Бенкендорфу, что вместо умиления и благоговения, с коими нам следовало бы принять милосердную волю царя, мы обнаружили суетность и противоречие, свойственные закоренелым преступникам. Трубецкой пробовал было указать на то, что лишение фамильного имени отцов применяется в отношении

незаконнорожденных и накладывает на чело матерей незаслуженное ими пятно. Но Рупперт приказал нам в течение сорока восьми часов письменно изложить ответы.

— Что же ты напишешь? — упавшим голосом спросила Марья Николаевна.

— Я напишу, что здоровье моего сына еще настолько слабо, что самое путешествие его из Сибири в Россию для поступления в кадетский корпус может стать для него пагубою и что дочь моя еще совсем ребенок, коему заботы матери ничто заменить не может.

— И непременно напиши, — настойчиво произнесла Волконская, — что мое существование так совершенно слито с благополучием и жизнью моих детей, что одна мысль о возможности разлуки с ними затемняет мой разум... И что дети наши не должны вступать в свет с мыслью, что их житейские выгоды куплены ценой страданий и, быть может, даже ценою жизни их матери...

Прижав платок к глазам, она почти выбежала из гостиной. Натыкаясь в темноте неосвещенных комнат на мебель, она вошла в детскую и наклонилась над спящей дочерью. Несколько слезинок упало на голое плечико девочки. Марья Николаевна осторожно вытерла его концом одеяла, выпрямилась и пошла к сыну.

Из его комнаты слышался необычайно взволнованный голос Сабинского.

Марья Николаевна остановилась на пороге. За партой спиной к двери сидел Миша, а рядом, сложив руки крестом на груди, стоял Сабинский. Уши у мальчика ярко рдели под светом стеклянного абажура, а голова, приподнятая к учителю, подавалась вперед в напряженном внимании.

Они оба не заметили прихода Марьи Николаевны. Упрямо нагнув голову, Сабинский смотрел перед собой сузившимися от ненависти глазами и тяжело переводил дыхание. И Мише казалось, что перед ним стоят те представители города Варшавы, о которых ему сейчас рассказывает Сабинский. Они слушают царя Николая, бросающего в их смятенные ряды угрозы самовластной расправы.

— Вы достаточно взрослые, Мишель, — говорил Сабинский, — чтобы понять те чувства, которые волновали нас, когда император Николай говорил с нами в Лазенском дворце. Он был взбешен, узнав, что в дни восстания в Варшавском костеле была отслужена панихида по Пестеле, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, Каховском и Бестужева-Рюмине и гроб с начертанными на нем именами этих казненных патриотов был пронесен по улицам Варшавы. Мы пытались в самых изысканных выражениях просить пощады для поруганной Польши. Но царь не пожелал нас слушать. Он предпочел говорить сам. И я на всю жизнь запомню его падающие, как удары хлыста, слова.

Сабинский хрустнул пальцами и, не глядя на своего ученика, продолжал:

— О, как он издевался над нами! Он имел наглость сказать, что мы черной неблагодарностью заплатили императору Александру, который сделал из нас цветущую нацию... Александр Первый! Этот величайший позер, какого когда-либо знал свет! Этот компановщик лживых обещаний, злостный банкрот, цинично обманувший своих доверителей!..

Сабинский совсем забыл, что перед ним сидит худенький мальчик с пылающими от волнения щеками. Он как будто видел перед собой фигуру ненавистного поработителя Польши с грозно поднятым пальцем. Подражая царю, он жестко отчеканивал:

— «Поляки, если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной национальности, бредни о независимой Польше и тому подобные химеры, вы только накличете на себя

большие несчастья. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город. Я разрушу Варшаву и уж, конечно, не отстрою ее снова». Он назвал данную Польше Александром I конституцию «покойницей» и распорядился поставить ларец с нею в ногах гробницы своего брата. Отхлестав нас таким образом, царь поехал, прежде всего, осмотреть цитадель, о которой он упомянул. И остался очень доволен, увидев, что дула ее орудий действительно направлены на Варшаву.

— Неужели он мог бы это сделать? — с ужасом воскликнул Миша.

Сабинский потер лицо руками, оглянулся по сторонам и, только сейчас заметив Марью Николаевну, смущенно поклонился ей.

Она подошла к сыну и нежно погладила по разгоряченной щеке, потом спокойно обратилась к Сабинскому:

— Я думаю, пан Сабинский, *ce n'est pas ici le lieu de parler de la Pologne* note 76.

Сабинский молчал, не поднимая низко опущенной седой головы.

Марье Николаевне вдруг стало невыразимо жаль этого некогда прославленного мецената, поражавшего своей щедростью даже выдавших виды польских магнатов.

— Пойдемте в гостиную, — пригласила она его, — я вам сыграю чудесный полонез Огинского. Ноты прислал Катерине Ивановне мсье Воше. В России этот полонез запрещен к исполнению, но за границей пользуется большим успехом.

— Я предсказывал Огинскому большую будущность, — сказал Сабинский. — В мое время он уже подавал надежды.

Он подал руку Марье Николаевне и с таким видом повел ее в гостиную, как будто они должны были войти в залитый огнями бальный зал.

В гостиной все уже были в сборе, и, очевидно, шла одна из обычных бесед, темы которых не переставали волновать декабристов до конца не только их ссылки, но и жизни.

— Какой честный и истинно просвещенный человек может равнодушно смотреть на нравственное унижение России? — говорил Лунин, шагая из угла в угол. — Государство, обширностью своей не уступающее древней Римской империи, окруженное морями, орошаемое великолепными реками, населенное сильным, смышленным, добрым в основании своем народом, управляется властью, которая с духовной стороны представляет зрелище гнусное и даже отвратительное.

— Чем он так взволнован? — шепотом спросила Марья Николаевна у Оболенского.

— Между прочим, и тем, что посылки пришли снова наполовину испорченные, наполовину раскраденные, — так же тихо ответил Оболенский. — А главное, вырваны страницы из книг, которые он ждал с таким нетерпением.

Марья Николаевна вышла распорядиться о чае.

Улинька стояла возле печи и вытаскивала из нее железный лист с готовыми пирожками.

— Хороши? — спросила Марья Николаевна.

— Извольте отведать, — протянула ей Улинька самый румяный.

Марья Николаевна надкусила его и, обжегшись, держала меж зубов, выдыхая пар.

— Какая ты нынче хорошенькая и нарядная! — сказала она, любясь

Note76

Здесь не место говорить о Польше (франц.).

разрумянившейся у печи Улинькой.

— Какая уж в мои годы краса! А что приоделась, так ведь нынче будут большие гости, — сказала Улинька, укладывая пирожки на блюдо.

— Так, говоришь, в твои годы уж и красоты быть не может? — улыбнулась Марья Николаевна. — Тогда, значит, и я старушка, потому что мы с тобой ровесницы.

— Вы — другое дело, — уныло проговорила Улинька.

— Ты что сегодня такая грустная? — спросила Волконская.

— Уж очень обидно мне было давеча слышать про Василия Львовича... Отказаться от своего имени...

Улинька взяла новый противень и бросила на него горсть муки. Белые пылинки осели на ее обнаженных до локтей руках.

Когда ясный день сменился синевой ночи, к крыльцу подъехали сразу два экипажа.

Хозяева с фонарем вышли встречать гостей. Почему-то сразу почувствовалось, что произошло что-то такое, что отличало эту встречу друзей от того, как она обычно происходила.

Оба сына Василия Львовича, против обыкновения без громких восклицаний, чинно подошли к руке Марьи Николаевны, а Пущин, как вошел, сел на первый у двери стул и поднес к глазам шелковый клетчатый платок.

Наступила мгновенная тишина.

— Что еще случилось? — вырвалось у Волконской.

— Пушкина нет больше, — обводя всех плачущими глазами, проговорил Пущин.

Прозвучал общий горестный стон, и снова наступила гнетущая тишина.

Улинька подала Пущину стакан студеной воды.

— Он погиб, защищая свою честь. Ужасное это известие привез плац-адъютант, возвратившийся из столицы. Я сколь возможно выведал от него подробности этого ужасного несчастья. Убит на дуэли одним из поклонников жены — каким-то чужеземцем Дантесом. — Пущин схватил себя за голову и воскликнул с отчаянием: — Ах, зачем меня не было возле него! Я бы нашел средство сохранить поэта — достояние России. Роковая пуля встретила бы мою грудь...

— Я с самого начала опасалась за благополучие его брака, — вытирая слезы, проговорила Марья Николаевна. — Да и не я одна... Элиза Хитрово оказалась в этом случае провидицей.

— Вспоминаются мне сейчас, — горестно заговорил Волконский, — слова Александра Бестужева: «Молния не свергается на мураву, но на главы гор и высокие деревья. Так и высь души манит удар жребия...» Какие люди сражены! Задушены Пестель и Рылеев. Растерзан выгнанный на чужбину Грибоедов... Сколько могли они дать нашему отечеству своим умом, познаниями, талантом... Кого же еще пометил в своей черной книжице царь Николай в жертву собственной злобы? Поднялась же у него рука на самого Пушкина. В былое время многие из нас высказывались против приема поэта в Тайное общество, боясь подвергнуть его риску, коему мы сами были подвергнуты. И вот ныне мы зрим, какую допустили ошибку. Разделив нашу участь, он остался бы жив, и перенесенные бедствия, возможно, еще больше заострили бы его перо, создали бы новые грани в его творческой душе...

— Нет, — горячо перебил его Пущин, — нет, друзья! Изгнание иссушило бы его талант. В нашем заточении природу он видел бы сквозь железные решетки каземата

или ограниченную узкой чертой тюремного частокола. О событиях же, совершающихся в мире, слышал бы из каторжного далека в той интерпретации, какая является удобной для корпуса жандармов... Я даже убежден, что резкий перелом, испытанный нами, мгновенно пагубно отозвался бы на всем его существое....

— А ведь он обещал мне в наше последнее свидание в Москве, — сказала Марья Николаевна, — он обещал с поездки на Урал явиться к нам в Нерчинские рудники искать пристанища. Он ездил в оренбургские степи, написал прекрасную повесть об Емельяне Пугачеве, но к нам так и не был. Спешил в Петербург, к жене, к этой «*ame de dentelles*» *note 77*, как ее справедливо называли в свете...

Из угла гостиной послышались всхлипывания. Это плакала Улинька.

Оболенский подошел к ней и погладил по голове с золотящимися завитками на висках.

— Полно, Улинька, не надо горевать. Правда, что если нам суждено вернуться когда-либо в Россию, тяжело будет увидеть среди милых нашему сердцу, — его место пустым... Но будем утешаться мыслью, что Пушкин в своих великих творениях будет жить в веках...

Эпилог

Много неизбывного горя и страданий пришлось испытать декабристам за долгие годы изгнания...

Один за другим уходили из жизни их друзья и товарищи по казематам Петропавловской, Выборгской, Шлиссельбургской, Кексгольмской крепостей, по Нерчинским рудникам, по читинскому и петровскому острогам, по глухим углам сибирской ссылки... До глубины души потрясла всех скоропостижная смерть в страшной акатуйской тюрьме Михаила Лунина — до последнего дыхания ярого и неотступного борца против николаевского самодержавного зловластья.

От Финского залива до мрачных сопок Акатуя, через необъятные российские просторы, сквозь дремучие леса Урала и сибирскую тайгу примчала Екатерина Сергеевна Лунина-Уварова памятник на одинокую могилу своего безмерно почитаемого и любимого брата.

Горькими слезами подруг и мужей были оплаканы кончины Камиллы Ивашевой, Александрины Муравьевой, Екатерины Ивановны Трубецкой...

Еще не успела утихнуть скорбь по трагической гибели Пушкина, как Михаил и Николай Бестужевы получили в Селенгинске весть о кончине их брата Александра. Исхлопотав через Дибича, разрешение отправиться рядовым для участия в военных действиях на Кавказе, он был убит в стычке с горцами у мыса Адлер. Незадолго до смерти он отправился на могилу Грибоедова и заказал панихиду по двум своим друзьям-поэтам. И когда священник возгласил: «За убиенных Александра и Александра», Бестужев заплакал, как ребенок, предчувствуя и свою скорую смерть.

Там же, у Черного моря, в урочище Кар-Агач через два года после Бестужева скончался Александр Одоевский, переведенный «по милости» царя в Нижегородский драгунский полк.

Note77

Кружевной душе (франц.).

Еще во время пребывания в Чите, потеряв здоровье, Одоевский написал самому себе некролог, сожалея, что «рано выпала из рук едва настроенная лира, и не успел я в стройный звук излить красу и стройность мира...»

Сосланный на Кавказ Лермонтов посвятил памяти этого своего друга и однополчанина проникновенно печальные, прекрасные стихи... А спустя еще два года сибирские изгнанники, как громом, были поражены известием об убийстве великого поэта, которого они со всей мыслящей Россией считали законным наследником поэтического гения Пушкина.

Из года в год, несмотря на бдительную проверку жандармами переписки, узнавали декабристы о новых и новых жертвах неумолимого и неустанного душителя русской свободы — Николая Первого.

Узнали они, что угнан в Оренбургскую ссылку певец украинского народа Тарас Шевченко.

Что вместе с петрашевцами сослан в Сибирь Федор Достоевский.

Что отправлен в Вятку под надзор полиции Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, от сатирического хлыста которого багровели щеки больших и малых николаевских «помпадуров».

Что только смерть избавила от заточения в Петропавловскую крепость замечательного революционного критика Виссариона Григорьевича Белинского.

Что выдающийся писатель, революционер-демократ Александр Иванович Герцен, вырвавшись из жандармских когтей, вынужден был эмигрировать за границу, покинув родину, любимую всем сердцем.

На страницах, отпечатанных у далеких берегов Темзы, прочли декабристы вольное русское слово, посвященное Герценом тому делу, которое было начато ими на берегах Невы:

«Четырнадцатое декабря действительно открыло фазу нашему политическому воспитанию... Громадное влияние, которое имело это дело и которое действовало сильнее, чем пропаганда и теории, оказало само восстание, героическое поведение заговорщиков на площади, во время суда, в кандалах, в присутствии императора Николая, в рудниках, в Сибири. Не либеральных стремлений или сознания злоупотреблений не доставало русским, а прецедента, который дал бы им смелость инициативы. Убеждения внушаются теорией, поведение же образуется примером... И вот нашлись и с таким величием души, с такой силой характера... Безмолвие, немая пассивность были нарушены; с высоты своих виселиц эти люди разбудили душу у нового поколения — повязка спала с его глаз».

Из писем от родных и друзей, приходивших в Усть-Куду, Оёк, Селенгинск, Петровский завод, Ялutorовск, Урик и многие медвежьи углы Западной и Восточной Сибири, из переправляемой декабристам всяческими хитроумными оказиями «недозволенной» литературы, они видели пробуждение великого русского народа, видели «разбуженную душу» нового поколения: все чаще и чаще вспыхивали крестьянские бунты то на Кавказе, то в Ставрополье, то на Смоленщине, Витебщине, в губерниях Саратовской, Новгородской, Рязанской, Тульской...

Бунтовали, добиваясь облегчения своей горькой участи, московские бумагопрядильщики, тульские полотнянщики, вознесенские ткачи...

Когда до отдаленных окраин и глухих поселений Сибири донеслись раскаты военной грозы — Крымской кампании, декабристы, в прошлом участники войн против Наполеона, всем сердцем, всеми помыслами были на далеких полях сражений.

Каждая победа русского оружия воспринималась ими, как большое счастье. Каждая неудача — как глубокое горе.

Николай Бестужев в самом начале войны говорил с волнением и тревогой:

— Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтоб наши поколотили этих вероломных островитян за их коварную политику во всех частях света... Надобно скорее занимать Сахалин и ближайšie к нему берега... Мы живем в интересное время. Сколько совершилось событий в эти тридцать лет, что мы сошли со сцены света, и сколько еще совершится до нашей смерти!

Сергей Григорьевич Волконский, которому шел уже шестьдесят четвертый год, заготовил прошение на «высочайшее имя» о разрешении отправиться на театр военных действий, хотя бы рядовым.

Никакие уговоры товарищей и родных отказаться от этого намерения не помогали. И только когда Марья Николаевна напомнила мужу, впервые за долготное изгнание, о своей жертве и просила принести теперь жертву ей и детям, Волконский крепя сердце согласился остаться.

Когда события в Крыму приняли трагический характер, Николай Бестужев, будучи при смерти, повторял еле слышно уже остывающими губами:

— Севастополь... Что наш Севастополь? — и тяжелые слезы медленно текли из-под его опущенных век.

Изгнанники не сомневались все же в конечном торжестве русского оружия, которое в свое время низвергло Наполеона.

После смерти брата Михаил Бестужев испросил разрешение отправиться на Амур, откуда писал в Россию одному из своих старых друзей:

«...Даю себе неперемный зарок: посадить по всему течению Амура, на каждом нашем ночлеге, по несколько семечек севастопольских акаций... К ним присоединю косточки одной из лучших родов владимирской вишни, и когда со временем эта великолепная амурская аллея разрастется, то грядущее поколение юных моряков, отправляясь Амуром служить на Тихий океан, будет отдыхать под их сенью, составляя планы будущей жизни, — незабвенная слава погибших под Севастополем навеет на их душу благородную решимость подражания таким высоким образцам...»

Еще не утихли отголоски боев у черноморских берегов, когда сын Волконских — Михаил, участник экспедиции на Амур, сообщил родителям о встречах русских китоловных судов в Охотском море с английским флотом...

В 1855 году умер Николай I.

Вступление на трон нового царя полагалось ознаменовывать торжествами и «милостями».

Новый шеф жандармов нового царя Александра II — Долгоруков вызвал к себе сына декабриста Волконского — Михаила Сергеевича, приехавшего в это время в Москву с докладом об Амурской экспедиции.

— Государь император, — напыщенно заговорил Долгоруков, — узнав, что вы в Москве, повелел передать вам манифест о помиловании декабристов с тем, чтобы вы немедленно отвезли его вашему отцу и его товарищам. — И он протянул молодому Волконскому пакет, украшенный сургучными печатями с двуглавым орлом.

В тот же вечер Михаил Волконский выехал в Иркутск по той же самой дороге, по которой двадцать девять лет тому назад его мать, Марья Николаевна Волконская, держала путь из Москвы в Нерчинск.

Свой шеститысячеверстный путь сын совершил тоже в необычайно короткое время — всего за пятнадцать дней. Последние версты он уже не мог ни лежать, ни сидеть, он стоял в кибитке на коленях.

По пути его следования, как когда-то по пути следования декабристов, на дорогу выходил народ — крестьяне и ссыльные. Михаил приказывал кучерам остановиться, поспешно читал людям манифест и, сопровождаемый добрыми пожеланиями, скакал дальше.

Когда он примчался, наконец, к Ангаре, дул сильный ветер. Ночное небо было хмуро, тяжелые тучи громоздились одна на другую. Кругом стояла непроглядная темь. Река бушевала. С трудом удалось Михаилу Сергеевичу уговорить перевозчика переправить его на другой берег.

Сильное течение уносило баркас в сторону от кое-где светящихся в ночной темноте огней Иркутска.

Едва только баркас причалил к берегу, Волконский во весь дух побежал в город...

По дощатым, скользким от оттепели тротуарам, спотыкаясь и падая, добрался он, наконец, до отцовского дома.

Порывисто дернул звонок.

— Кто там? — послышался удивленный голос отца.

— Открывай скорей — я привез помилование! — запыхавшись, едва смог произнести сын.

Через мгновение он был в объятиях отца. Оба рыдали...

Не дожидаясь утра, послали за всеми, кто в это время уже жил в Иркутске и его окрестностях.

В эту ночь никто не спал. Все заставляли Михаила рассказывать о том, что творится в России, в Москве...

И он рассказывал о студенческих волнениях в Харькове, Петербурге, Киеве, Казани и Варшаве, о том, как студенты прекращают посещение лекций, требуя возвращения на кафедры уволенных за прогрессивные убеждения профессоров, о возникающих повсюду конспиративных кружках, о том, что в некоторых городах бастуют рабочие, требуя повышения заработной платы, что именно такая забастовка была и в Перми, когда он ее проезжал, что крестьянские бунты усилились до такой степени, что в обеих столицах только и разговору о необходимости отмены крепостного права, и уже создаются многочисленные комиссии, которые должны разработать предстоящие либеральные реформы...

Его слушали, затаив дыхание.

Уже под утро Михаил Бестужев, докурив свою трубку, с грустью произнес:

— Миловать-то новому Романову пришлось лишь немногих из тех, кого «незабвенный» его родитель отправил на каторгу. Ведь из ста двадцати одного нас осталось... девятнадцать! Бедный Давыдов совсем немного не дотянул, чтобы быть двадцатым...

Наступило долгое молчание.

— Настоящее положение нашего отечества, — вновь заговорил Бестужев, — напоминает интереснейшее явление, которое наблюдал мой покойный брат Николай в Баренцевом море. Там бывает так: вверху дует западный ветер, который гонит судно на восток. Внизу гуляет ветер с востока и такой силы, что мачты клонятся к самым волнам, а морская гладь остается с виду неподвижной... Наш «незабвенный» мучитель был убежден в спокойствии и незыблемости его «фасадной» империи... А между

тем...

— А между тем, — как бы закончил за него старик Волконский, — не прав ли был Одоевский, когда в ответ на «Послание» к нам Пушкина писал:

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя...

Светало. Над Ангарой клубился туман. Солнце еще не всходило, но разорванные ветром тучи уже были охвачены пламенем занимающейся зари.